ВОКРУГ ЧЕХОВА

ВОКРУГ ЧЕХОВА




ЛИТЕРАТУРНЫЕ · ВОСПОМИНАНИЯ

ВОКРУГ ЧЕХОВА

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1990

84 Р
В 66

Составление, вступительная статья
и примечания
Е. М. Сахаровой

В $\frac{4702010000-2164}{080(02)-90}$ 2164—90

ISBN 5—253—00123—9

ВСПОМИНАЮТ ЧЕХОВЫ...

«Он был гостеприимен, как магнат. Хлебосольство у него доходило до страсти»[1],— писал К. И. Чуковский в своей книге «О Чехове». И с этим трудно не согласиться. Чехов в течение двух десятилетий находился в центре литературной жизни, был связан со многими писателями, художниками, артистами. Его личное обаяние притягивало к нему людей разных сословий, социального положения, возраста. Многие из них оставили воспоминания, полный свод которых составил бы, вероятно, несколько солидных томов. Лишь часть из наиболее интересных и значительных воспоминаний выходила в свет в составе сборников «А. П. Чехов в воспоминаниях современников» (издания 1947, 1952, 1954, 1960, 1986 годов).

В этом своде мемуарной литературы как-то затерялись, а иногда ушли в тень воспоминания родных Чехова, членов его семьи, живших рядом и постоянно общавшихся с ним. Так, например, в издании сборника «А. П. Чехов в воспоминаниях современников» 1986 г., богатом и интересном по своему составу, совершенно отсутствуют как разбросанные по различным советским публикациям, так и затерявшиеся в дореволюционных сборниках, воспоминания братьев и сестры Чехова. В результате читатели этой книги знакомятся сразу с Чеховым — начинающим писателем. Выпадает, таким образом, очень важный период духовного развития писателя, его детство и отрочество, имевшие большое влияние на формирование личности писателя, его творчества.

Одна из задач данного издания — восполнить этот пробел.

Как-то раз, рассматривая этюды Марии Павловны Чеховой, друг чеховской семьи художник И. И. Левитан воскликнул: «Какие же вы, Чеховы, все талантливые». И действительно, природа богато одарила детей разорившегося таганрогского лавочника, бывшего крепостного Павла Егоровича Чехова. Александр и Михаил стали литераторами, Николай — художником, Иван — оставил добрую память, будучи учителем. И, наконец, Мария Павловна, прожившая самую долгую жизнь, была и ху-

[1] Чуковский К. О Чехове. М., 1967. С. 3.

дожницей, и мемуаристкой, создательницей и хранителем Музея А. П. Чехова в Ялте.

Талантливым оказалось и следующее чеховское поколение. Это и знаменитый актер Михаил Чехов, сын старшего брата Чехова Александра Павловича, и дети младшего брата — певица Евгения Михайловна и художник Сергей Михайлович. Все они, независимо от основной профессии, были наделены и литературным даром.

Собранные вместе мемуарные свидетельства трех поколений Чеховых составляют своеобразную семейную энциклопедию, содержащую интереснейшие, а часто и уникальные сведения о Чехове, людях, его окружающих, обо всем, что входит в емкое понятие «мир Чехова» и чрезвычайно обогащает наше представление о том, что собой представляет этот мир.

Семейная летопись была начата еще отцом писателя и называлась «Жизнь Павла Чехова». Первая дата в ней, относящаяся к 1825 г., гласит: «Родился в с. Ольховатке Воронежской губ. Острогож. уезда от Георгия и Ефросинии Чеховых». А далее, с тщательностью и присущей ему аккуратностью Павел Егорович заносил сюда все важные события жизни своей семьи. Вот запись 1860 года: «Родился у нас сын Антоний 17 января».

Когда Чехов приобрел под Москвой имение Мелихово, Павел Егорович начал вести мелиховский дневник, куда регулярно вносил самые разные сведения: о погоде, урожае, приезде и отъезде гостей и т. д. Дневник этот, полностью, к сожалению, до сих пор не изданный,— ценнейший источник для специалистов, занимающихся изучением жизни и творчества писателя. Есть там и строчки, принадлежащие Чехову, выдержанные в духе и стиле отцовских заметок, с известной долей юмора. Например: «Баран прыгает. Марьюшка радуется» (15—16 марта 1893 г.)[1]. Записи оборвались лишь со смертью Павла Егоровича. Отрывки из мелиховского дневника приведены Михаилом Павловичем в публикуемых в этом издании мемуарах (см. с. 288). «Мне кажется,— писал Чехов сестре 14 октября 1898 г.,— что после смерти отца в Мелихове будет уже не то житье, точно с дневником его прекратилось и течение мелиховской жизни».

Так оно и случилось — в 1898 г. кончилось «мелиховское сидение» чеховской семьи, начался ялтинский, последний период жизни писателя.

Первым мемуарным очерком о Чехове следует, вероятно, считать воспоминания его брата художника Николая Чехова. Писались они в 1889 г. на Украине, куда Чехов привез угасающего от чахотки Николая. Уже не имея физических сил заняться живописью, Николай решил обратиться памятью к далеким годам детства, не думая, конечно, ни о публикации своих заметок, ни о мировой славе брата Антона, когда драгоценной станет каждая строка воспоминаний о нем.

Не только родственная, но духовная, творческая близость связывала братьев. Сохранилась фотография: Антон Павлович внимательно и заин-

---

[1] Записи, сделанные А. П. Чеховым, полностью опубликованы в Полном собрании сочинений и писем А. П. Чехова (М., 1980. Т. 17. С. 230—232).

тересованно следит, как движется рука Николая, набрасывающего рисунок — возможно, к рассказам самого Чехова. Братья сотрудничали в одних и тех журналах — «Зритель», «Будильник» и др. Николай иллюстрировал раннюю повесть Чехова «Зеленая коса», юмореску «Свадебный сезон», первый, не вышедший в печать сборник рассказов, ряд других произведений. Его рисункам присущи изящество, грация, юмор — черты, отличавшие и ранние вещи Антоши Чехонте. Николаю принадлежит также ряд больших живописных полотен («Гуляние первого мая в Сокольниках», «Въезд Мессалины в Рим» и др.). Участвовал он и в росписи стен Храма Христа Спасителя в Москве. Веселый, общительный, необычайно добрый, Николай был дружен со многими художниками и любим ими. И. Левитан, К. Коровин, Ф. Шехтель стали друзьями и Антона Павловича. Современники вспоминают, каким одаренным музыкантом был Николай, замечательно игравший на рояле и скрипке.

Нежно любя брата, Антон Павлович со всевозрастающей тревогой наблюдал, как беспечно относится он к своему таланту, ведет беспорядочную жизнь, покучивает, не выполняет взятых на себя деловых обязательств. Болью проникнуты строки его письма старшему брату Александру (20-е числа февраля 1883 г.): «Николай... шалаберничает; гибнет хороший, сильный, русский талант, гибнет ни за грош».

В марте 1886 г. Чехов пишет Николаю замечательное письмо о том, каким должен быть воспитанный человек (он обязан уважать «человеческую личность» и «чужую собственность», не лгать, не быть суетным и т. д.). И главное: воспитанные люди если «имеют в себе талант, то уважают его... Они жертвуют для него покоем, женщинами, вином, суетой...»

И. А. Бунин прозорливо заметил, что из этого письма «можно понять, как А. П. сам себя воспитывал, как он был строг к себе»[1].

Опасения Чехова оправдались — Николаю удалось сделать гораздо меньше того, что можно было бы ждать от его таланта, — остались недописанными картины, неосуществленными замыслы. На полуслове оборвались и его воспоминания: Николай умер в то же лето 1889 года на Украине, когда и набрасывал их строки.

В его мемуарном наброске идет речь о раннем детстве братьев Чеховых. Описываемые события, как можно заключить из текста («двадцать три года назад»), следует отнести к 1866 г., когда Александру было 11, Николаю — 9, Антону — 6, а Ивану — 5 лет. Знаменательно, что уже в это время Николай отметил в шестилетнем Антоне и богатство воображения, и талант импровизации, и склонность к внутренней сосредоточенности при веселости и общительности характера.

Вскоре после смерти Антона Павловича стали появляться в печати мемуарные очерки его старшего брата Александра Павловича. Это была, по свидетельству всех знавших его, личность талантливая, оригинальная. «...Интереснейший и высокообразованный человек, добрый, нежный, со-

[1] Бунин И. А. Собр. соч.: В 9 т. М., 1967. Т. 9. С. 175.

страдательный, изумительный лингвист и своеобразный философ», «одна сплошная энциклопедия, и не могло быть темы, на которую с ним нельзя было бы с интересом поговорить»,— так характеризует Александра Павловича брат Михаил.

Его сын, артист Михаил Александрович Чехов, преклонялся перед своим отцом.

«... Я уважал его и даже благоговел перед ним... Эрудиция его была поистине удивительна: он великолепно ориентировался не только в вопросах философии, но и в медицине, естествознании, физике, химии, математике и т. д., владел несколькими языками и в 50-летнем возрасте, кажется, в 2—3 месяца, изучил финский язык»[1].

По свидетельству И. А. Бунина, «Александр Павлович был человек редко образованный, окончил два факультета — естественный и математический, много знал и по медицине. Хорошо разбирался и в философских системах. Знал много языков <...> человек на редкость умный, оригинальный». Но тут же Бунин замечал: «ни на чем не мог остановиться»[2]. Эти особенности личности Александра Павловича ярко иллюстрируются оставленным им литературным наследием — он писал рассказы, очерки, исторические романы, редактировал журналы «Слепец», «Пожарный», был автором брошюр «Исторический очерк пожарного дела в России», составил «Химический словарь фотографа» и т. д.

В этом обширном и пестром литературном хозяйстве сохранили ценность прежде всего воспоминания об Антоне Павловиче и письма к нему. Переписка братьев (известно 381 письмо Александра и 196 писем Антона) является ценнейшим источником для понимания творческой личности Антона Павловича, его этики, литературно-критических взглядов. Кроме того, чтение этих писем, где братья как бы соревнуются друг с другом в юморе, где разбросана масса интересных, тонких и точных наблюдений, общих воспоминаний, может доставить читателю и эстетическое наслаждение[3].

Раскрывают они и характер отношений братьев.

Александр Павлович, обремененный большой семьей, вынужденный постоянно думать о заработке, в литературной работе был не всегда требователен к себе, в спешке недостаточно отделывал свои рассказы, бывал груб и несдержан в семье и так же, как и Николай, злоупотреблял алкоголем. Это глубоко огорчало Антона Павловича, и об этом он со всей прямотой, не унижая старшего брата фальшью и неискренностью, не раз говорил ему. Так, вернувшись в Москву из Петербурга, где он посетил семью старшего брата, Чехов писал Александру 2 января 1889 г.: «Я прошу тебя вспоминать, что деспотизм и ложь сгубили молодость твоей матери. Деспотизм и ложь исковеркали наше детство до такой степени, что тошно и страшно вспоминать. Вспомни те ужас и отвращение, какие мы чувствовали во время оно, когда отец за обедом поднимал бунт из-за пересоленного супа или ругал мать дурой. Отец

---

[1] Чехов М. А. Путь актера. Л., 1928. С. 17.

[2] Лит. наследство. Чехов. М., 1960. Т. 68. С. 5—666.

[3] См. кн.: Письма А. П. Чехову его брата Александра Чехова. М.: Соцэкгиз, 1939; Переписка А. П. Чехова. М.: Худож. лит., 1984. Т. 1. (Гл. «А. П. Чехов и Ал. П. Чехов», подгот. М. П. Громовым).

теперь никак не может простить себе всего этого... <...> Для тебя не секрет, что небеса одарили тебя тем, чего нет у 99 из 100 человек: ты по природе бесконечно великодушен и нежен. Поэтому с тебя и спросится в 100 раз больше. К тому же еще ты университетский человек и считаешься журналистом».

Пожалуй, ни с кем не был Антон Павлович так близок, как с Александром. 9 января 1888 г. он писал В. Г. Короленко: «...около меня нет людей, которым нужна моя искренность и которые имеют право на нее». Александра Павловича можно отнести к таким людям.

Когда Антон Павлович чувствовал необходимость дружеского участия и поддержки, он, человек необычайно сдержанный в изъявлении чувств, обращался именно к Александру. Свидетельство тому — письмо старшего брата от 5 сентября 1887 г., его ответ на неизвестное нам письмо Чехова (возможно, уничтоженное по его же просьбе). Из этого ответа ясно содержание письма Антона Павловича: «Ты пишешь, что ты одинок, говорить тебе не с кем, писать некому... Глубоко тебе в этом сочувствую всем сердцем, всею душою, ибо и я не счастливее тебя. <...> У меня ведь тоже нет друзей и делиться не с кем. <...> Теперь о будущем. Ты пишешь, что если судьба не станет милосерднее, то ты не вынесешь... <...> Я назвал бы себя подлейшим из пессимистов, если бы согласился с твоей фразой: «Молодость пропала». Когда-то и я гласил тебе то же. Твое, а пожалуй и наше, не ушло. Стоит только улитке взять свою раковинку покрепче на бугор спины и перетащить на новый стебель»[1].

Можно с уверенностью сказать — в обширном эпистолярном наследии Чехова нет писем такой откровенности.

Александр Павлович, живя в Петербурге, был доверенным лицом Чехова в делах с книгоиздательством А. С. Суворина и редакцией «Нового времени», курировал издание чеховских сборников, содействовал подготовке Собрания сочинений Чехова в книгоиздательстве А. Ф. Маркса. И все это бескорыстно, с полной отдачей сил. Смерть Антона Павловича ошеломила его. Как писал его сын Михаил, отец «потерял своего единственного друга, которого нежно любил и перед которым преклонялся. <...> Их переписка, полная юмора, взаимной любви и глубоких мыслей, была после смерти отца и А. П. Чехова подобрана мною в хронологическом порядке. Известие о смерти А. П. Чехова не только вызвало приступ болезни отца, но и изменило его характер»[2].

Данью памяти любимого брата явились воспоминания Александра Павловича, написанные ярко, образно, талантливо. Они позволяют живо представить обстановку и людей, окружавших будущего писателя в детские годы, воссоздают характер всех членов чеховской семьи — отца Павла Егоровича, требовательного, подчас деспотического, матери — мягкой и заботливой Евгении Яковлевны, скупых на ласку и доброе слово деда и бабушку, Егора Михайловича и Ефросинью Емельяновну Чеховых. Читая мемуарные очерки Александра Павловича, мы знакомимся с посетителями лавочки Павла Егоровича, сочувствуем мальчи-

[1] Переписка А. П. Чехова. Т. 1. С. 81—83.
[2] Михаил Чехов. Лит. наследие. М., 1986. Т. 1. С. 156—157.

кам Чеховым, обреченным на изнурительное сидение в этой лавке и утомительные спевки (Павел Егорович был большим ревнителем церковной службы). В воспоминаниях оживают смешные и грустные эпизоды пребывания братьев Чеховых в греческой школе и богатая впечатлениями поездка в степь, к бабушке и дедушке (эти картины и образы воскреснут позже в рассказах, повестях и первой пьесе Чехова «Безотцовщина»).

Здесь следует сделать небольшое отступление. Дело в том, что младшие Чеховы — Мария и Михаил — находили, что Александр в своих мемуарных очерках необъективен по отношению к отцу, сгущая мрачные краски их детства. Однако ряд высказываний самого Антона Павловича и свидетельства его современников подтверждают точку зрения Александра Павловича. Об этом говорит, в частности, цитированное выше письмо Антона Павловича об отравляющих их жизнь в семье деспотизме и лжи. И. Л. Леонтьеву-Щеглову 9 марта 1892 г. Чехов писал: «Я получил в детстве религиозное образование и такое же воспитание — с церковным пением, с чтением апостола и кафизм в церкви, с исправным посещением утрени, с обязанностью помогать в алтаре и звонить на колокольне. И что же? Когда я теперь вспоминаю о своем детстве, то оно представляется мне довольно мрачным; религии у меня теперь нет. Знаете, когда, бывало, я и два моих брата среди церкви пели трио «Да исправится» или же «Архангельский глас», то на нас все смотрели с умилением и завидовали моим родителям, мы же в это время чувствовали себя маленькими каторжниками». А в одном из писем к Александру (4 апреля 1893 г.) А. П. Чехов заметил: «Детство отравлено у нас ужасами...» Вл. И. Немирович-Данченко приводит слова, сказанные ему Чеховым: «Знаешь, я *никогда* не мог простить отцу, что он меня в детстве сек»[1]. А. С. Лазарев-Грузинский в неопубликованных воспоминаниях «Антон Чехов и литературная Москва 80—90-х годов» (ЦГАЛИ) утверждал, что так же, как Александр Павлович, относился к отцу и Николай Павлович: кроткий и милый человек, «он весь вспыхивал и загорался гневом, когда ему случалось касаться самодурства отца».

Эту разницу в отношении старшего и младшего поколений детей можно, вероятно, объяснить тем, что тяжесть семейной обстановки особенно остро ощущалась в таганрогский период, когда Мария и Михаил были еще маленькими. В Москве же обстоятельства изменились, отец потерял былую власть, решающим стало влияние Антона Павловича. Да и Павел Егорович во многом переменился сам.

И в то же время и Александр, и Антон понимали, что отец их рожден определенной средой и его поступки продиктованы желанием сделать все, чтобы вывести сыновей в люди. Отметим, в частности: деспотичный Павел Егорович в отличие от мягкого и доброго, любимого братьями Чеховыми дяди Митрофана Егоровича постарался дать детям образование. Да и в воспоминаниях Александра Павловича образ отца дан неоднозначно — достаточно вспомнить, с каким сочувствием к отцу слушают мальчики Чеховы рассказ бабушки о том, сколь тяжелым было детство самого Павла Егоровича.

---

[1] А. П. Чехов в воспоминаниях современников. М., 1986. С. 283.

Первым мемуарным очерком Александра Павловича можно считать его письмо от 17 января 1886 г., где он, поздравляя брата Антона с днем рождения, отдался воспоминаниям: «Я помню <...>,— писал Александр,— что в моисеевском доме я «дружил» с тобою. У нас был опешенный всадник «Василий» и целая масса коробочек, похищенных из лавки. Из коробок мы устраивали целые квартиры для Васьки, возжигали светильники и по вечерам по целым часам сидели, созерцая эти воображаемые анфилады покоев <...>. Ты был мыслителем в это время и, вероятно, рассуждал на тему: «у кашалот голова большая?» Я был в это время во втором классе гимназии. Помню это потому, что однажды, «дружа» с тобою, я долго и тоскливо, глядя на твои игрушки, обдумывал вопрос о том, как бы мне избежать порки за полученную единицу от Крамсакова.

Затем я раздружился с тобою. Ты долго и много, сидя на сундуке, ревел, прося: «дружи со мною!», но я остался непреклонен и счел дружбу с тобою делом низким. Я уже был влюблен <...>. Мне было не до тебя.

Далее протекли годы. Я вспоминаю тебя в бурке, сшитой отцом Антонием, припоминаю тебя в приготовительном классе, помню, как мы оставались хозяевами отцовской лавки, когда он уезжал с матерью в Москву, и в конце концов останавливаюсь на тарсаковской лавке, где ты пел: «Таза, таза, здохни!» Тут впервые проявился твой самостоятельный характер, мое влияние, как старшего по принципу, начало исчезать. Как ни был я глуп тогда, но я начинал это чувствовать. По логике тогдашнего возраста я, для того чтобы снова покорить тебя себе, огрел тебя жестянкою по голове. Ты, вероятно, помнишь это. Ты ушел из лавки и отправился к отцу. Я ждал сильной порки, но через несколько часов ты величественно в сопровождении Гаврюшки прошел мимо дверей моей лавки с каким-то поручением фатера и умышленно не взглянул на меня. Я долго смотрел тебе вслед, когда ты удалялся, и, сам не знаю почему, заплакал...

Потом я помню твой первый приезд в Москву <...>. Помню, как мы вместе шли, кажется, по Знаменке <...>. Я был в цилиндре и старался как можно более, будучи студентом, выиграть в твоих глазах <...>. Я рыгнул какой-то старухе прямо в лицо. Но это не произвело на тебя того впечатления, какого я ждал. Этот поступок покоробил тебя. Ты с сдержанным упреком сказал мне: «Ты все еще такой же ашара (пьяница.— *Е. С.),* как и был» <...>.

Потом... потом мои воспоминания начинают принимать уже характер нашего общего совместного жития, обмена мыслей и чувств»[1].

«Твое поздравительное письмо чертовски, анафемски, идольски художественно»,— ответил Антон Павлович брату 3 февраля 1886 г.

Большой интерес представляют и воспоминания Александра Павловича о пребывании в Мелихове. Все это живые черты быта, нравов, взаимоотношений и чеховской семьи, и людей той ушедшей в прошлое поры, которые делают наше представление о Чехове ярче, ближе.

---

[1] Переписка А. П. Чехова. М., 1984. Т. 1. С. 63—64.

Наибольшую известность в семейной летописи получили мемуары младшего брата Чехова, Михаила Павловича. М. П. Чехов — автор биографических очерков, открывавших тома чеховских писем, вышедших в 6 книгах в 1912—1916 гг. (под редакцией М. П. Чеховой). В 1923 г. увидела свет его книга «Антон Чехов и его сюжеты», в 1924 г. — «Антон Чехов, театр, актеры и "Татьяна Репина"». И наконец, была создана и издана в 1933 г. итоговая мемуарная книга «Вокруг Чехова», охватывающая всю жизнь писателя. На ее страницах читатель встречается не только с главным героем — Антоном Павловичем, его семьей и родственниками. В поле зрения автора попадают и те, кто был «вокруг Чехова», с кем он был связан дружескими, творческими, деловыми отношениями.

Здесь мы встречаем и таганрогских друзей-гимназистов, и первых издателей, и товарищей по университету, а также многих актеров, писателей, художников. Среди них и имена знаменитые (Л. Толстой, Д. Григорович, В. Короленко, П. Чайковский, И. Левитан), и те, кто представляет интерес главным образом своими связями с Чеховым (семья Киселевых и др.). Большую ценность имеют воспоминания Михаила Павловича о постановках чеховских пьес, о творческой истории ряда чеховских произведений (например, рассказа «Черный монах»), о тех жизненных впечатлениях и людях, которые преломились в воображении писателя, возродившись в его сюжетах и художественных образах.

Михаил Павлович, юрист по образованию, тяготился службой, очень рано начал печататься и затем сделался профессиональным литератором. Решающую роль в его духовном становлении сыграл Антон Павлович, которого младший брат буквально боготворил, стараясь подражать ему во всем. В свое время Михаил Павлович был довольно известным писателем — в 1907 г. он получил Пушкинскую премию Академии наук за сборник «Очерки и рассказы», произведения его выходили и в наше время — сборник «Свирель» (1976 и 1986).

Сестре писателя Марии Павловне принадлежит ряд воспоминаний, публиковавшихся в различных сборниках, периодических изданиях, очерках, открывавших путеводители по Дому-музею А. П. Чехова в Ялте. Уже на склоне лет она обобщила и пополнила их, подготовив книгу «Из далекого прошлого» (главы из нее публикуются в настоящем издании).

Семья Павла Егоровича переехала в Москву в 1876 г., когда Мария Павловна перешла в третий класс. «Первый учебный год я пропустила,— вспоминает она,— не училась, так как не было денег платить за мое ученье в гимназии. Лишь на другой год я поступила учиться в Московское Филаретовское епархиальное училище, когда один из старых таганрогских знакомых отца, купец Сабинников, увидав бедственное положение нашей семьи, решил помочь нам и согласился платить за мое обучение»[1].

Духовное развитие Марии Павловны, как и ее младшего брата Михаила, совершалось под влиянием Антона Павловича. «В нашей семье,— пишет М. П. Чехов,— появились вдруг неизвестные мне дотоле резкие, отрывочные замечания: «Это неправда», «Нужно быть справедливым», «Не надо лгать» и так далее».

[1] Чехова М. П. Письма к брату А. П. Чехову. М., 1954. С. 15.

Внимательно и любовно следил Чехов за тем, как его сестра становилась на ноги, «засела за серьезную науку, стала серьезной» (после окончания епархиального училища М. П. Чехова поступила на Высшие женские курсы проф. В. И. Герье, куда за сестру платил уже сам Антон Павлович). «Она ничем не хуже теперь любой тургеневской героини... Я говорю без преувеличений»,— писал Чехов Александру Павловичу зимой 1883 г.

По окончании курсов, с 1886 г., М. П. Чехова начала преподавать в гимназии географию и историю, серьезно занималась живописью, где ее руководителями были Серов, Коровин, Левитан. Но главным смыслом своей жизни М. П. Чехова считала помощь брату, создание наиболее благоприятной обстановки для его творчества, душевную поддержку и внимание.

Вл. И. Немирович-Данченко, хорошо знавший Чехова и его семью, писал: «Сестра, Марья Павловна, была единственная, это уже одно ставило ее в привилегированное положение в семье. Но ее глубочайшая преданность именно Антону Павловичу бросалась в глаза с первой же встречи. И чем дальше, тем сильнее. В конце концов она вела весь дом и всю жизнь свою посвятила ему и матери. А после смерти Антона Павловича она была занята только заботой о сохранении памяти о нем, берегла дом со всей обстановкой и реликвиями, издавала его письма и т. д.»[1].

Воспоминания Марии Павловны охватывают почти всю жизнь Чехова, в чем-то совпадая с книгой «Вокруг Чехова» Михаила Павловича,— иначе и не могло быть: какие-то события они, младшие в семье, пережили вместе. Но о многом знала и могла рассказать лишь сестра Чехова. Она была близкой подругой Лидии Стахиевны Мизиновой, «прекрасной Лики», судьба которой, глубокое чувство к Чехову, а также ее многолетняя переписка с ним заняли большое место в жизни и отразились в творчестве Чехова. В своей книге М. П. Чехова рассказывает о том, как складывались отношения ее брата и Лики, цитирует адресованные ей письма Лики, касается и трагедии этой незаурядной и красивой девушки, отвергнутой тем, кого она любила, а затем оставленной писателем Потапенко, романом с которым она хотела заглушить душевную травму. История Лики нашла отражение в пьесе «Чайка». Известным ученым и писателем Л. П. Гроссманом в свое время была написана работа «Роман Нины Заречной», героиней которой была Лика. Переписка Антона Павловича и Лики, их отношения отражены в пьесе Л. Малюгина «Насмешливое мое счастье» и в фильме С. Юткевича «Сюжет для небольшого рассказа».

Не меньший интерес читателей вызывают и отношения Чехова с писательницей Л. А. Авиловой, особенно после посвященных ей повестей И. Гофф. Воспоминания Авиловой «Чехов в моей жизни» (первоначально — «Роман моей жизни») привлекли внимание И. А. Бунина, знавшего Авилову. Бунин отнесся к ее «мемуарному роману» с полным доверием. Однако письма Чехова к Авиловой — сдержанные, спокойные, деловые — не дают никаких оснований для подтверждения этой версии, рав-

[1] А. П. Чехов в воспоминаниях современников. М., 1986. С. 283.

но как и первые варианты воспоминаний самой Авиловой, опубликованные в 1910 г. Мнение Марии Павловны, знавшей Авилову, встречавшейся с ней после смерти Антона Павловича, передавшей Авиловой ее письма к Чехову (письма эти, как и некоторые чеховские, по словам самой Лидии Алексеевны, были ею уничтожены), имеет в данном случае не последнее значение.

Наименее всего в чеховской родословной «высветлена» фигура Ивана Павловича, брата Чехова, который был всего на год моложе его. Иван после отъезда семьи из Таганрога какое-то время оставался в родном городе вместе с Антоном. Окончив пять классов таганрогской гимназии, он выдержал экзамен на звание учителя и всю жизнь посвятил работе в школе. Читая письма Антона Павловича к брату Ивану, поражаешься обилию хозяйственных поручений и просьб, которые тот аккуратнейшим образом исполнял. И где бы ни находился Чехов — на даче под Москвой, в Мелихове, в Ялте,— приезд Ивана Павловича всегда был желанен. Надежность, чувство долга перед семьей — качества, которыми в полной мере обладал Иван Павлович,— особенно ценил Чехов.

Иван Павлович не оставил подробных воспоминаний. Он рассказывает в основном об интересе Чехова к театру, пробудившемся еще в гимназические годы.

Иван Павлович — единственный из семьи — знал о свадьбе Антона Павловича и Ольги Леонардовны Книппер, но не присутствовал на брачной церемонии, выполняя желание Антона Павловича. Ольга Леонардовна писала Марии Павловне 28 мая 1901 г., через три дня после свадьбы: «Мне страшно было обидно, что не было Ивана Павловича <...> ведь Иван Павлович знал, что мы венчаемся. Антон ездил с ним к священнику»[1].

Иван Павлович был очень внимателен к больному Чехову в последний приезд его в Москву. «Иван бывает почти каждый день»,— сообщала О. Л. Книппер-Чехова сестре писателя 29 мая 1904 г. У него и его жены искала вдова писателя понимания и участия, о чем она говорит в своем письме-дневнике, адресованном покойному мужу: «...сейчас приехала от брата Ивана, разволновала их своими рассказами о тебе, о твоих последних днях, почувствовала, что им было хорошо, хотя и тяжело»[2].

О. Л. Книппер-Чехова посвятила брату Чехова специальный очерк. Она писала: «Иван Павлович, с которым я была очень дружна, был замечательный педагог, народный учитель. У него и жены его, Софии Владимировны, была какая-то совсем необычная система воспитания детей, которые, сделавшись людьми, не теряли связь с Чеховыми и с любовью и благодарностью вспоминали годы, проведенные в школе Ивана Павловича»[3].

И по горькой иронии судьбы этот человек, выведший в жизнь стольких учеников, не смог уберечь единственного сына от рокового вы-

---

[1] Ольга Леонардовна Книппер-Чехова. М., 1972. Ч. 2. С. 22.
[2] Там же. Ч. 1. С. 380.
[3] Там же. С. 388.

стрела, оборвавшего его жизнь. Об этом рассказывает в своих воспоминаниях «Три двоюродных брата» сын Михаила Павловича, Сергей Михайлович Чехов.

14 сентября 1898 г. Чехов был на репетиции «Царя Федора Иоанновича» в Московском Художественном театре. «Меня приятно тронула интеллигентность тона,— писал он А. С. Суворину,— и со сцены повеяло настоящим искусством... <...>. Ирина, по-моему, великолепна. Голос, благородство, задушевность — так хорошо, что даже в горле чешется. <...>. Если бы я остался в Москве, то влюбился бы в эту Ирину». Ирину играла О. Л. Книппер. О встрече с Чеховым, о Художественном театре, соединившем их, а затем обрекшем на разлуку, рассказывает в своих воспоминаниях О. Л. Книппер-Чехова. «Жизнь внутренняя за эти шесть лет прошла до чрезвычайности полно, насыщенно, интересно и сложно, так что внешняя неустроенность и неудобства теряли свою остроту, но все же когда оглядываешься назад, то кажется, что жизнь этих шести лет сложилась из цепи мучительных разлук и радостных свиданий».

Далее мемуарную чеховскую летопись продолжает следующее поколение Чеховых — сын Александра Павловича Михаил и дети Михаила Павловича Евгения и Сергей. В письмах Чехов постоянно интересовался своими племянниками, осведомлялся об их здоровье, давал медицинские советы. Но из них троих лишь старшему Михаилу довелось встретиться с Антоном Павловичем. В 1895 г., навестив в Петербурге старшего брата, Чехов сообщал сестре: «А сын его Миша удивительный мальчик по интеллигентности. В его глазах блестит нервность. Я думаю, что из него выйдет талантливый человек». Мише в то время было четыре года. В феврале—марте 1904 г. мальчик с отцом был в Ялте и встречался с Чеховым, который подарил ему «Каштанку» с надписью: «Милому моему племяннику Мише на добрую память о дяде, авторе «Каштанки». 20 февраля 1904 г. Ялта». Книга эта сохранилась и находится в Музее-квартире А. Б. Гольденвейзера в Москве. А о своих воспоминаниях об этих ялтинских днях Михаил Александрович рассказал в автобиографических очерках «Жизнь и встречи».

О том, что вообще значили для Михаила Чехова жизненный пример и творчество его великого дяди, очень точно сказала режиссер и актриса М. О. Кнебель, в свое время бравшая театральные уроки в Чеховской студии, хорошо знавшая артиста. Чрезвычайно интересны и ее соображения об особенностях «чеховского клана», давшего России и гениальных, и талантливых людей.

«Если в жизни М. А. Чехова был человек, оказавший на него первое решающее влияние,— это был Антон Павлович Чехов. История чеховского семейного клана, сложного и талантливого, чрезвычайно характерна для уклада русской жизни и культуры. В этой семье были таланты, погибавшие от алкоголя, были натуры религиозные, были мужественные и самоотверженные. Писательский дар А. П. Чехова формировался в невероятном сопротивлении тому, что сгубило талант его

братьев, Николая и Александра <...>. Писатель Чехов будто указывал мальчику Мише Чехову пример того, что из всей этой сложной паутины вырваться *можно* — вырваться, чтобы жить достойной человека жизнью. Мне кажется, Михаил Чехов с годами вполне сознательно принял этот завет и этот высокий пример. Творчество А. П. Чехова он не просто любил. Это творчество повлияло на него в самых его истоках. Он впитал написанное А. П. Чеховым, как впитывают воздух семьи, дома, хотя собственный дом и детство М. А. Чехова были крайне сложными и нерадостными. Поразительно, что с годами все более проступала внутренняя связь, духовная близость Михаила Александровича Чехова и его дяди, Антона Павловича Чехова, которого давно уже не было в живых»[1].

В последнее время к личности и творчеству М. А. Чехова проявляется большой и все растущий интерес. Событием, отмеченным театральной общественностью, стал выход в свет в 1986 г. посвященных ему двух томов «Литературного наследия», что дает возможность прикоснуться к его теоретическим трудам, попытаться понять творческий мир этого замечательного мастера и причины, побудившие его покинуть родину. И здесь, конечно, прежде всего следует выслушать самого Михаила Александровича, который с редкой, пронзительной искренностью рассказал о своих исканиях, тяжелых душевных кризисах, отстаивании права на свой путь в искусстве.

М. А. Чехову посвящены и часть публикуемых в сборнике воспоминаний Е. М. Чеховой о молодости артиста, окрашенных светлыми, радостными тонами, и впервые публикуемые мемуары С. М. Чехова. Во всех этих материалах отражены важнейшие вехи его биографии: Суворинский театр в Петербурге, Московский Художественный театр, затем Первая студия Художественного театра и, наконец, МХАТ 2-й, художественным руководителем и ведущим актером которого был Чехов. Его успех в ролях Хлестакова, Гамлета, Мальволио (по Шекспиру), Аблеухова (по роману А. Белого «Петербург»), Эрика XIV (в одноименной пьесе Стриндберга) был ошеломляющим. Талант Михаила Александровича признавали все, а те, кому довелось видеть его на сцене, помнили об этом всю жизнь.

Первым отметил дарование Михаила Чехова Станиславский. Прослушав в исполнении начинающего артиста монолог Мармеладова из «Преступления и наказания» Достоевского и отрывок из «Царя Федора Иоанновича» А. К. Толстого, он сказал Вл. И. Немировичу-Данченко: «Племянник Антона Павловича Миша Чехов — гений». После этого в 1912 г. Чехов и был принят в Художественный театр.

О выдающемся таланте актера Чехова писали С. Бирман, С. Гиацинтова, А. Дикий и многие другие известные актеры. А. Д. Попов утверждал: «Своим огромным талантом Чехов широко раздвинул границы сценического реализма»[2].

Однако методы работы Чехова-режиссера, его театральная система, приверженность к классике и ее трактовка вызвали резкое неприятие

---

[1] Михаил Чехов. Лит. наследие. М., 1986. Т. 1. С. 29.

[2] Попов А. Воспоминания и размышления о театре. М., 1963. С. 108.

А. Дикого и группы актеров (О. Пыжова и др.), упрекавших Чехова в увлечении мистицизмом, в его якобы враждебной «духу времени» деятельности. Актриса С. Бирман возражала Дикому, отвергая, в частности, его упреки Чехову в том, что он занимался с учениками «мистическими радениями»: «Мы видели в Чехове театр. Только театру учил он нас. Никто не занимался идеологической пропагандой»[1].

Особенно болезненным для Чехова оказалось расхождение с единомышленниками, теми, кто вместе с ним создавал театр,— Б. Сушкевичем и И. Берсеневым. В результате острого кризиса, может быть, даже опасаясь ареста, М. А. Чехов оказался в эмиграции. «Знаю, что не в моих силах ответить на вопрос, почему Чехов покинул родину. Думаю, что сделал он это, почувствовав себя ненужным, устранил себя — нелюбимого»[2],— писала Бирман.

На обстоятельства этой трагедии артиста в известной мере проливают свет воспоминания его двоюродного брата Сергея Михайловича. Их автор, профессиональный художник, всю жизнь был причастен к творчеству А. П. Чехова. Его работы, посвященные А. П. Чехову, экспонировались и выходили отдельными изданиями («По чеховским местам Подмосковья», «Мелихово», «Дом-музей А. П. Чехова в Ялте», серия портретов членов чеховской семьи и т. д.). В 1958 г. Сергей Михайлович вместе с сыном Сережей, тоже художником, к сожалению, рано ушедшим из жизни, повторил путь А. П. Чехова по Сахалину, создав серию линогравюр «Сахалин каторжный и Сахалин советский».

Сергей Михайлович известен также как неутомимый собиратель биографических и мемориальных материалов, связанных с Чеховым и его семьей. Результатом этой работы явилась тщательно составленная родословная, широко использованная при подготовке Полного собрания сочинений и писем А. П. Чехова в 30 томах (М.: Наука, 1974—1983, в настоящее время выходит 2-е издание). Достаточно сказать, что в этом издании имеется около 120 ссылок на материалы и свидетельства С. М. Чехова! Хорошо известны чеховедам его статьи и книга «О семье Чеховых» (Ярославль, 1970).

Все, кто знал Сергея Михайловича, могут засвидетельствовать, с какой страстной заинтересованностью, не щадя сил и здоровья, он буквально сражался, отстаивая свою позицию в вопросах мемориальности музеев, чеховской родословной, режиссерской трактовки произведений Чехова в театре и кино, с какой щедростью помогал чеховским музеям, передавая сохраненные им семейные реликвии, как охотно делился с исследователями своими знаниями.

После смерти Сергея Михайловича его ценнейший архив — за небольшими исключениями — был передан в ЦГАЛИ. К числу исключений относятся публикуемые здесь воспоминания (рукопись полностью находится у вдовы Сергея Михайловича Валентины Яковлевны Чеховой). Память Сергея Михайловича сохранила много драгоценных подробностей жизни великого артиста. Мемуарист находился рядом с ним

---

[1] Бирман С. Путь актрисы. М., 1962. С. 171.
[2] Там же. С. 122.

во время зенита его славы, а затем тех сложных, драматических обстоятельств, которые вызвали его отъезд из России.

Сергей Михайлович является участником описываемых событий. Любя брата, переживая вместе с ним судьбу его театра, добившись в нем успеха на поприще театрального художника, он, может быть, иногда и пристрастен в оценке лиц и событий. Но бесспорно одно — Сергей Михайлович был верным соратником Чехова-режиссера и, безусловно, разделял его позицию — необходимость обращения к подлинным художественным образцам, ради воплощения которых и работал Михаил Александрович над новой актерской техникой. «Классики, — писал М. А. Чехов, — величие которых в том и заключается, что они далеко выходили за пределы своего времени и в своем творчестве затрагивали интересы грядущих эпох, эти классики оживут и заговорят с нами на нашем языке, если мы, вместо того, чтобы душить и гнать их, предоставим в их распоряжение новую технику, новое искусство, нового актера, могущего воплотить классика так, как хочет этого эпоха»[1]. О творческой близости братьев Чеховых свидетельствует их совместная работа над спектаклем «Смерть Иоанна Грозного».

Дневник Павла Егоровича кончался записью: «1898. 6 февраля у Миши и Лели родилась в Ярославле дочь Евгения». Антон Павлович приветствовал невестку Ольгу Германовну, мать новорожденной, шутливым посланием: «...поздравляю Вас с прибавлением семейства и желаю, чтобы Ваша дочь была красива, умна, занимательна и в конце концов вышла замуж за хорошего человека... который от своей тещи не выскочил бы в окошко».

Шестилетнюю Женю, крестницу Чехова, и ее трехлетнего брата Сережу привезли летом 1904 г. в Ялту, где чеховскую семью настигло известие о смерти Чехова в Баденвейлере. Память девочки, почувствовавшей важность события, сохранила многие детали этих дней — и осиротевшую белую дачу, и отъезд взрослых в Москву на похороны, и их возвращение, и скорбную фигуру Ольги Леонардовны в кресле в кабинете писателя...

Евгения Михайловна Чехова говорила, что ее отец создавал биографию Чехова у нее на глазах: в ответ на просьбы детей Михаил Павлович рассказывал им о своих дедушке и бабушке, о жизни в Таганроге, тем — о Москве и Мелихове.

Так же родились и мемуары самой Евгении Михайловны; она охотно отвечала на вопросы, щедро делясь воспоминаниями о дорогих ей и близких Чехову людях — о любимой тетке «Маше, Машечке, Графине», Александре Павловиче и его сыне Мише, о своем отце...

К жанру воспоминаний Евгения Михайловна обратилась уже в зрелом, если не сказать, преклонном возрасте. Всю свою жизнь она посвятила музыке, работая в Московской консерватории певицей-иллюстратором концертмейстерского класса. После открытия в 1954 г. Дома-музея А. П. Чехова в Москве она активно включилась в его работу, организуя музыкальные вечера. Неразрывно связана ее судьба с другим Домом-му-

---

[1] Михаил Чехов: Лит. наследие. М., 1986. Т. 1. С. 145.

зеем Чехова — в Ялте и с Музеем-заповедником в Мелихове, которым она всегда была готова прийти на помощь.

С 70-х годов квартира Евгении Михайловны на Пятницкой становится своеобразным центром, где собираются писатели, литературоведы, «музейщики», артисты и режиссеры — все, кто причастен к Чехову, занимается им, любит его. Здесь можно было встретить О. Н. Ефремова, А. П. Зуеву, А. А. Попова, М. И. Прудкина, И. М. Смоктуновского, Е. А. Хромову, С. Г. Десницкого, И. С. Козловского, чеховедов — З. С. Паперного, Э. А. Полоцкую, Т. К. Шах-Азизову, музыкантов — М. В. Водовозову, А. А. Егорова, К. А. Юганову, музейных сотрудников — Ю. К. Авдеева с женой Любовью Яковлевной, Г. Ф. Щеболеву, Г. А. Шалюгина, А. В. Ханило.

Удивительную атмосферу непринужденности, свободы и веселья умела создавать чеховская крестница. Она тщательно готовилась к каждому своему вечеру. И каждого ждал подарок. Обычно это были сделанные ею шляпки из разноцветной бумаги. И когда, например, Иван Семенович Козловский надевал смешной цилиндрик, — он совершенно преображался. Розыгрыши, шутки, неожиданные «номера» следовали один за другим. Весело встречался каждый подарок шуточной беспроигрышной лотереи. Так, например, А. А. Попов однажды выиграл веник и гордо пошел с ним на репетицию в Художественный театр. И, конечно, невозможно забыть, как на именины, в сочельник, хозяйка дома в свои 80 лет встречала гостей в наряде Снегурочки. И все это легко, естественно, с юмором. Создавалось впечатление, что Евгения Михайловна несла в себе один из чеховских «генов» — по ассоциации вспоминались рассказы современников Чехова о веселой атмосфере в чеховском доме на Кудринской или в Мелихове.

Много интересного узнавали гости и посетители квартиры на Пятницкой о Чехове, его семье. Иногда это был рассказ об отце, которого Евгения Михайловна боготворила, или о «тете Лике», которую она хорошо помнила, а то хозяйка доставала подаренные ей Марией Павловной письма Миши Чехова, в те времена еще начинающего актера — и все весело смеялись, соприкасаясь с непринужденной, веселой чеховской атмосферой, отраженной в письмах племянника и тетушки.

Однажды Евгения Михайловна показала нам прекрасно изданную книгу Ольги Чеховой «Мои часы идут по-другому» на немецком языке и рассказала удивительную историю, вернее, то, что ей было известно о судьбе этой, можно смело сказать, легендарной женщины. Но здесь лучше обратиться к самим воспоминаниям Евгении Михайловны, опубликованным в сборнике.

Когда вторично в 1984 г. в Москву приехала внучка Ольги Константиновны и Михаила Александровича, Вера Чехова, немецкая актриса, Евгения Михайловна пригласила ее в гости: Вера пришла с мужем, режиссером В. Гловной, и со съемочной группой — фирмой ФРГ снимался фильм о Чехове.

И вот они сидят рядом — Евгения Михайловна, уже тяжело больная, с трудом передвигающаяся (ей оставалось жить менее двух месяцев), и изящная, выглядевшая совсем юной Вера, почти не говорящая по-русски.

Однако через несколько минут в квартире на Пятницкой за накрытым столом («должно быть все, как принято у Чеховых, обязательно — пирог с капустой») воцарилась непринужденная, истинно чеховская атмосфера, назывались имена «дяди Антона», Миши Чехова, Ольги Леонардовны. И вопросы, вопросы... Участники беседы даже не чувствовали, что идет съемка. Эта была живая связь поколений, атмосфера того единения, которое рождает имя «Чехов».

Сто шестьдесят лет охватывает чеховская летопись, с которой познакомится читатель настоящего сборника, — от 1825 года, когда в семье крепостного Егора Чехова родился сын Павел, и до середины 80-х годов нашего века. История чеховской семьи, по живым свидетельствам тех, кто принадлежал к ней, важна, конечно, прежде всего для более полного понимания личности и творчества А. П. Чехова. Но эта мемуарная родословная представляет также несомненный интерес и как часть истории России, богатой талантами, осуществлявшими свое назначение несмотря на препятствия, стоящие на их дороге. А кроме того, судьба всех Чеховых — авторов этой книги, их победы и поражения дают богатую пищу для размышлений о важности для каждого человека самовоспитания характера и воли, стойкости в преодолении трудностей, верности в следовании по избранному пути, уважения к людям и к своему назначению.

Е. М. Сахарова



ВОКРУГ ЧЕХОВА

ЖИЗНЬ ПАВЛА ЧЕХОВА

Царствование Николая I.

1825 Родился в с. Ольховатке Воронежской губ. Острогож. уезда от Георгия и Ефросинии Чеховых.

1830 Помню, что мать моя пришла из Киева, и я ее увидал.

1831 Помню сильную холеру, давали деготь пить.

1832 Учился грамоте в с. школе, преподавали по А. Б. по-граждански.

1833 Помню неурожай хлеба, голод, ели лебеду и дубовую кору.

1834 Учился пению у дьячка Остапа.

1835 Ходил в церковь и пел на клиросе.

1836 Родился брат Митрофан.

1837 Приехал регент дьякон, жил у нас и учил меня на скрипке.

1838 В певчевском хоре я пел 1-м дискантом.

1839 Учился закону божию у свящ. о. Константина Устиновского.

1840 Учился на сахарном заводе у арендатора Гирша сахароварению.

1841 Отец откупил все семейство на волю за 3500 руб. ас. по 700 р. за душу.

1842 Гирш отправил меня с быками в Москву для продажи.

1843 Выехали совсем из родины в Зайцовку к дедушке Шимке.

1844 Из Ольховатки переехал в Таганрог 20 июля к купцу Кобылину.

1845 Начал там заниматься торговлею по конторской части.

1854 Вступил в брак с девицею Е. Я. Морозовою 29 октября.

1855 Родился у нас сын Александр 10 августа.

1856 Царствование Александра II.

1857 Открыл самостоятельно торговлю в Таганроге (3-й гильдии).
1858 Родился у нас сын Николай 9 мая.
1859 Открыл торговлю по 2-й гильдии купеческого свидетельства.
1860 По выбору целого городского общества утвержден ратманом таганрогской полиции 2 генваря градоначальником.
Родился у нас сын Антоний 17 генваря
1861 Квартировали в доме Евтушевского, в котором родился у нас сын Иоанн 18 апреля.
1862 Торговля производилась на Петровской площади против собора.
1863 Родилась у нас дочь Мария 31 июля.
1864 Торговлю производил на Петровской улице в д. Третьякова.
1865 Родился у нас сын Михаил 6 октября.
1866 По выбору купеческого общества утвержден градоначальником в члены торговой депутации с 11 февраля.
1869 Родилась дочь Евгения 12 октября, а скончалась в сентябре 1871 г.
Торговля производилась в доме Моисеева.
1870 По определению городской думы составлен формулярный список 12 ноября.
1871 Государь император в 17-м декабря соизволил пожаловать серебряную медаль для ношения на Станиславской ленте на шее за усердную службу.
1872 Ездили с Е. Я. в Москву на политехническую выставку, а оттуда в Шую Вл. губ. к Закорюкиным. Были в Калуге, виделись с семейством брата Михаила Георгиевича Чехова.
1875 Александр, сын, окончивший курс в Таганрогской клас. гимназии с серебряной медалью, отправился с братом Николаем, гимназистом V кл., в Москву 10 августа. Александр поступил в университет, а Николай в школу художественной живописи и ваяния.
1876 Окончательно я оставил собственную торговлю и Таганрог, выехал в Москву 23 апреля.
В этом же году приехали в Москву Евгения Яковлевна и дети Маша и Миша 25 июля.
1877 Ваня, сын, приехал окончательно из Таганрогской гимназии.
1878 Антоша остался в Таганрогской гимназии оканчивать учение. Мамаша скончалась 26 февраля в Княжей.

Родитель мой, Георгий Михайлович Чехов, приехал в Москву 26 августа для свидания с нами последний раз.

1877 В Москве я жил без всякого занятия 10 месяцев. К строителю Троицкого подворья на Ильинке поступил с 18 февраля для отчета громадного дома.

К московскому купцу И. Е. Гаврилову приглашен в конторщики по торговле 10 ноября с окладом жалованья.

1879 Антоша по окончании курса в Таганрогской гимназии приехал в Москву 8 августа для поступления в университет. По возвращении из Москвы и Калуги Георгий Михайлович, родоначальник наш, умер 12 марта в слободе Твердохлебовое Бог. уез.

1881 Кончина Александра II, царствование Александра III.

1889 Скончался сын наш Николай 17 июня, погребен в г. Сумах Харьк. губ.

1890 Антоша поехал на Сахалин в апреле, вернулся благополучно в декабре.

1891 Сего года 28 апреля прекращены мои занятия и служебные дела по торговле у почетного потом. граж. И. Е. Гаврилова.

1892 Куплено имение Антоном при с. Мелихове 1 марта, вся семья наша переехала из Москвы в деревню жить. Второй раз я ездил в С.-Петербург в октябре.

1893 9 июля Ваня с Софьей Влад. венчался в Мелихове.

1894 Начало царствования Николая II.

1896 Антоша сделал училище в Талеже, колокольню в Мелихове.

1897 Была всенародная России перепись. Неурожайный год. Антоша сделал училище в Новоселках. 1 сентября Антоша поехал за границу. Ваня получил большую медаль на шею на Станиславской ленте.

1898 6 февраля у Миши и Лели родилась дочь Евгения в Ярославле. К Пасхе Миша получил орден.

Н. П. ЧЕХОВ

<ДЕТСТВО>

I



Я помню себя с того времени, когдя я жил в маленьком одноэтажном домике с красной деревянной крышей, домике, украшенном репейниками, крапивою, куриной слепотой и вообще такою массою приятных цветов, которая делала большую честь серому палисаднику, обнимавшему эти милые создания со всех сторон. Нет ничего легче, как пробраться в этот трехоконный домик: стоит только перелизнуть через забор, и готово, брать в руки щеколду. Если кто-либо, движимый рычагом цивилизации, захотел проникнуть во двор, минуя указанный выше способ доставки своей особы через забор, то должен был сначала обеими руками взяться за кольцо калитки и, понатужившись, стараться повернуть его вправо, затем, видя, что кольцо не поддается даже после чрезмерных усилий, цивилизованному человеку нужно отереть пот, посмотреть на забор, ворота, на палисадник с его милыми цветами, окрашенными лунным светом, посмотреть на луну и опять приняться за трудную работу.

Ни улица, поросшая какими-то небывалыми, но прекрасными кустиками, которых так любовно ласкает луна, ни воздух, в котором чувствуется вся поэзия южной ночи, ни абсолютнейшая тишина, ничто, ничто в мире не привлечет внимания цивилизованного человека, он занят, он, все еще пыхтя, борется с кольцом. Бывали нередко случаи, когда подобная операция имела счастливый успех, и счастливец был поощряем. Ужаснейший выстрел свидетельствовал, что калитка была отворена, это может подтвердить даже та стая псов, которая с громким лаем обыкновенно несется к месту катастрофы. Счастливец закрывает калитку с приятной улыбкой и любовно смотрит через палисадник на открытые пасти псов, с большой

энергией грызущих частокол, и их дикое рычанье производит на него отрадное впечатление, в нем он слышит хвалебную песню его особе за его... Но не в том дело. В этом домике пять комнат и затем три ступеньки вниз ведут через кухню к тому святилищу, где возлежат великие мужи, хотя самый старый из них немножко перешагнул аршин. Комната, в которой почивают еще великие мужи, очень просторна, она разрослась в вышину на три аршина и в ширину на пять. Она выбелена и раскрашена под мрамор. Злые языки утверждают, что она только выбелена, что же касается до раскраски, то это, как говорят они, не что иное, как «последствия совершенного насилия над слабым индивидуумом и к тому же впоследствии убитым». Но я не согласен с их мнением, есть очень много мраморных стен, но неужели каждая носит на себе печать убийства... какие пустяки!..

Хотя я и не стою за это мнение, но тем не менее его и не отрицаю.

Гаснущая лампадка указывает на иконы какого-то неопределенного цвета, между тем умирающий луч ее скользит по лицам и одеялу спящих, обрисовывая четыре рядом лежащие фигуры малолетних юнцов. Лампадка со скрипом тухнет, и комната погружается во мрак. Из кухни слышится храп, и кажется, что этим аппетитным храпом просопел весь город. На улицах темно, пусто, дико; луна не знает, за какое облачко ей спрятаться, потому что не нашла в городе ни одного поэта, хотя бы помещающего свои талантливые произведения в почтовом ящике. Наконец, самолюбие луны берет верх, она прячется и уж больше не показывается. Где-то крикнувший петух захлопал крыльями, где-то зевнула собака, и все смолкло. Это таганрогская ночь.

II

Назойливый луч солнца прошел сквозь ставни и разбудил меня. Прищурившись, я посмотрел на него и повернулся в сторону. (Он) осветил по очереди всю спящую компанию и, играя на лице каждого, как бы думал, вызовет ли эта игра эффект или нет.

Все в комнате было мертво, всюду раздавалось тонкое сопенье, покрываемое толстым храпом из кухни, но была и жизнь. Жил один только дымчатый луч солнца, нечаянно пробравшийся сквозь щель ставни и замерший на первой попавшейся ему фигуре, принадлежащей Ивану. Он

поласкал ее, обнюхал, но Иван счел за нужное перевернуться на другой бок, чем, должно быть, очень оскорбил достоинство луча, так как сейчас же последний остановился на давно уже бодрствующей фигуре Антона. В то самое время, когда луч осветил его нос, Антон, обхватив колена руками, глубокомысленно рассуждал, что больше, кит или кашалот, но тот же луч, сев ему на правый глаз, помешал его мозгам привести свои мысли к какому-либо положительному результату. Все знания эквилибристики были пущены в ход: ослепленный Антон заболтал руками и ногами зараз, точно хотел сказать: «А ведь мы еще не умерли, мы спим»; и если и не прикрыл свои глаза ладонью вроде козырька, то только потому, что был слишком увлечен своим занятием гимнастикой. По-видимому, он обиделся за прерванную цепь его научных рассуждений. Я не знаю, хотел ли он свои соображения подвести под научную категорию, но, насколько помнится, ни одна академия наук не признала его своим членом. Обиженный луч делает свое дело: он идет дальше и освещает мою особу, которая трудится над разрешением важного вопроса: из чего делается смычок для скрипки. Утомив свой мозг над решением трудной задачи, я вдавался в область астрономии. Желая изощрить свое зрение, я пристально вглядывался в луч, как бы желая отыскать в нем законы физического спектра, но — увы! Я пал жертвою науки: я сделался косым. Надоедливый луч расхаживал и по лицу Александра; сначала Александр отмахивался от него, как от мух, затем проговорил что-то вроде «меня сечь, за что?», потянулся и сел. Три старших брата сидели рядом в одной и той же позе и глубокомысленно молчали. Кинув в сторону философские рассуждения, Антон вытащил из-под подушки какую-то деревянную фигурку, которая, по его мнению, должна была олицетворять некоего мифического «Ваську». Взяв деревяшку за то место, где, по его мнению, должна быть голова, он начал проделывать с ним самые уморительные штуки: сначала «Васька» прыгал у него на коленях, затем вместе с Антоном он пополз по мраморной стене. Я и Александр смотрели с большим наслаждением на все похождения «Васьки» до тех пор, пока Антон, оглянувшись, не спрятал его самым быстрым образом обратно под подушку. Дело в том, что проснулся Иван. «Где моя палочка, отдайте мою палочку», — запищал он и далее поднял такой страшный рев, на который сбежалась прислуга и встревоженная мать. В то самое время, когда мать утешала Ивана, умоляла нас, ре-

бятишек, отдать ему палочку, Иван переставал реветь и с большей энергией нюхал воздух, чувствуя себя кровно обиженным. Антон, желая удостовериться, нет ли под подушкой палочки, прятал под нее как можно дальше своего «Ваську».

Уже давно три старших брата бегают на дворе по крыше погреба, а крик в комнате все еще продолжается. Одному из них у погреба удалось найти знаменитую палочку, и сразу все трое с громким криком, царапаясь и невозможно подставляя синяки друг другу, принялись оспаривать право на владение палочкой. Неистовый шум от погреба перешел к тому окну, в котором показалась фигура капризнейшего из смертных. С ловкостью пантеры он перескочил за окно, подбежал к воюющей компании, зажмурил глаза, открыл рот и принялся с большою ловкостью наносить удары направо и налево. В конце концов он остался победителем и, завладев трофеем, самодовольно удалился в комнаты, с наслаждением шморгая носом.

У меня до сих пор живет еще в памяти «моя палочка». Дело в том, что 23 года назад брат моей матери Иван Яковлевич от нечего делать нашел камышинку, из которой он состряпал нечто вроде палки для людей в пол-аршина ростом, верхушку которой он ухитрился так загнуть, что любой кузнец, загибая подковы, позавидовал бы искусству дяди Вани. Дядя был, как говорится, молодцом на все руки. Он торговал в Таганроге в рядах на новом базаре бакалейным товаром, но так как покупатели его мало жаловали, то он свободное время посвящал великому искусству. Плодом его творчества было изображение атаки какой-то мифической крепости, нарисованное на громадном листе бумаги в добрую простыню. Это художественное произведение вместо ширмы отделяло магазин от той каморки, в которой он по природной доброте угощал всякого встречного чаем. Когда занятие искусством его утомляло, то он обращался к своему столу с мраморной доской и делал на нем превкусные конфеты или же клеил из картона какую-либо церковь весьма затейливого характера. Иногда он забегал и к нам только разве для того, чтобы сказать моей матери: «Ну, Евочка, не умереть твоему Сашке своею смертию, он непременно подавится». Это было в тот период детства старшего из нас, Александра, когда он жил у сестры матери, Федосьи Яковлевны, которая, горячо любя племянника, сильно его баловала. Любовно смотрела на Александра и бабушка, уже четыре года разбитая параличом, лежавшая в той са-

мой комнате, где сидел на полу Александр, уписывая разложенные перед его особой лакомства.

Помнится мне, один раз мать была сильно перепугана. Влетает к ней Федосья Яковлевна и со слезами, едва переводя дух, заявляет матери, что «Сашечка подавился». Через пять минут мать была на месте происшествия и застала Александра ревущим во все лопатки и держащим что-то во рту, за левой щекой. Около него суетилась прислуга, всхлипывала, хлопая ладонями, тетка, и даже бабушка перестала улыбаться. Мать посмотрела пристально на Александра, топнула ногой и закричала: «Что у тебя во рту? Вынь сейчас же, подлый мальчишка!» Невозможно описать изумления и радости присутствующих, когда Александр, перестав реветь, открыл рот и вынул оттуда большой волошский орех.

Мы редко видели рыженькую бородку дяди Вани, он не любил бывать у нас, так как не любил моего отца, который отсутствие торговли у дяди объяснял его неумением вести дела. «Если бы высечь Ивана Яковлевича,— не раз говорил мой отец,— то он знал бы, как поставить свои дела». Дядя Ваня женился по любви, но был несчастлив. Он жил в семье своей жены и тут тоже слышал проклятое «высечь». Вместо того чтобы поддержать человека, все придумывали для него угрозы одна другой нелепей, чем окончательно сбили его с толку и расстроили его здоровье. Тот семейный очаг, о котором он мечтал, для него более не существовал. Иногда, не желая натолкнуться на незаслуженные упреки, он, заперев лавку, не входил в свою комнату, а оставался ночевать под забором своей квартиры в росе, желая забыться от надоедливого «высечь», «высечь».

Помнится мне, раз как-то он забежал к тетке и попросил уксусу растереться и, когда она спросила его о чем-то, со слезами на глазах, дядя махнул рукой и быстро выбе...

АЛ. П. ЧЕХОВ

В ГРЕЧЕСКОЙ ШКОЛЕ

осле смерти Антона Павловича Чехова о нем возникла целая литература, отнесшаяся в высшей степени сочувственно к его памяти. Покойный писатель был охарактеризован со многих сторон — и как человек, и как автор, и как мыслитель-идеалист, и даже как quasi-пессимист. Были также попытки дать материал для его биографии. Но это был лишь отрывочный, случайный материал — эпизоды, выхваченные из жизни писателя и переданные частью правдиво, частью же в искаженном виде. Стройного целого по этим отрывкам составить нельзя. Биография Антона Павловича — дело будущего, да, пожалуй, — и не особенно близкого.

О детстве покойного А. П. Чехова, о его первоначальном воспитании и о первых школьных шагах не написано пока еще ни одной строки. Правда, когда телеграф принес из Баденвейлера известие о его ранней кончине и когда искренно горевала об ушедшем крупном таланте вся интеллигентная и мыслящая Россия, редакции некоторых южных газет самым добросовестным образом собрали от проживающих в Таганроге родственников покойного — преимущественно от дальней тетки Антона Павловича, Марфы Ивановны Морозовой, — немало сведений о его детских годах. Но эти сведения односторонни и не всегда точны. Оно и понятно. М. И. Морозова теперь — уже преклонных лет: многое уже испарилось из ее памяти, а многое и перемешалось. О первых же собственно школьных годах Антона Павловича никто не мог ничего рассказать репортерам ростовских и таганрогских газет. Эти сведения можно было почерпнуть только в тесной семье его ближайших родственников. Но семье, подавленной горем, было не до того. Да к ней, к слову

сказать, мало кто и обращался. Представители журнального и газетного мира были — за немногими исключениями — очень деликатны, щадили чужое горе и не приставали с расспросами.

Ближе всех жизнь покойного писателя знали его братья. Но ни один из них, под давлением семейного горя, вызванного тяжелою утратой, долго не мог взяться за перо, и только сравнительно недавно Мих. П. Чехов напечатал в «Журнале для всех» обстоятельную и правдивую страничку из жизни Антона Павловича — юноши[1]. Период же первого и самого раннего школьного возраста составляет пробел.

Теперь, когда жгучая боль улеглась и когда воспоминание об утрате волнует уже не так сильно, я позволю себе скромную попытку пополнить пробел и набросать по воспоминаниям несколько страниц из ранней школьной жизни Антона Павловича. Я уверен, что эти страницы известны только одному мне, как самому старшему члену в семье и как ученику той самой греческой школы, о которой сейчас пойдет не лишенная — как мне думается — некоторого бытового интереса речь.

I

Антон Павлович, как известно, родился в Таганроге и там же получил свое первоначальное и гимназическое образование. Он до самой своей смерти относился к этому городу, как к родному, заботился о его публичной библиотеке и вел оживленную переписку с его видными представителями.

Павла Егоровича и Евгению Яковлевну Чеховых — родителей покойного писателя — Бог благословил многочисленной семьей — у них было пятеро сыновей и одна дочь. Антон Павлович был третьим сыном. Павел Егорович был таганрогским купцом второй гильдии, торговал бакалейным товаром, пользовался общим уважением и нес на себе общественные — почетные, а потому и бесплатные — должности ратмана полиции, а впоследствии — члена торговой депутации. Слыл он среди сограждан за человека состоятельного, но на самом деле едва сводил концы с концами. Таганрог, некогда цветущий в торговом отношении город, понемногу падал. Падала вместе с этим и торговля Павла Егоровича. Жизнь с каж-

дым годом становилась дороже, а семья — все прибавлялась и разрасталась. Все это незаметно, но упорно подтачивало материальное положение семьи Чеховых и в конце концов привело к краху, который заметным образом отразился и на дальнейшей жизни писателя. Но об этом речь впереди.

Для того же, чтобы читателю был ясен дальнейший рассказ, необходимо дать хоть некоторое понятие о том, чем был Таганрог в то время, когда Антон Павлович достиг школьного возраста.

Это был город, представлявший собою странную смесь патриархальности с европейской культурою и внешним лоском. Добрую половину его населения составляли иностранцы — греки, итальянцы, немцы и отчасти англичане. Греки преобладали. Расположенный на берегу Азовского моря и обладавший мало-мальски сносною, хотя и мелководною гаванью, построенной еще князем Воронцовым, город считался портовым и в те, не особенно требовательные времена оправдывал это название. Обширные южные степи тогда еще не были так распаханы и истощены, как теперь; ежегодно миллионы пудов зернового хлеба, преимущественно пшеницы, уходили за границу через один только таганрогский порт. Нынешних конкурентов его — портов ростовского, мариупольского, ейского и бердянского — тогда еще не было.

Большие иностранные пароходы и парусные суда останавливались в пятидесяти верстах от гавани, на так называемом рейде, и производили выгрузку и нагрузку с помощью мелких каботажных судов. Каботажем занимались по преимуществу местные греки и более или менее состоятельные мещане из русских. Огромный же контингент недостаточного русского населения, так называемые «дрягили» (испорченное немецкое «Träger») снискивали себе пропитание перевозкою хлеба из амбаров в гавани и нагрузкою его в трюмы судов. Народ этот находился в полной материальной зависимости от богатых негоциантов — греков, и зависимость эта нередко переходила в самую откровенную и ничем не прикрываемую кабалу. В кабале же состояли и владельцы мелких каботажных судов — они же и шкипера этих судов.

Аристократию тогдашнего Таганрога изображали собою крупные торговцы хлебом и иностранными привозными товарами — греки: печальной памяти Вальяно, Ска-

раманга, Кондоянаки, Мусури, Сфаелло и еще несколько иностранных фирм, явившихся Бог весть откуда и сумевших забрать в свои руки всю торговлю юга России. Все это были миллионеры и притом почти все более или менее темного происхождения, малограмотные и далеко не чистые на руку. Архимиллионер Вальяно держал в полной экономической от себя зависимости не только торговое и мореходное население Таганрога, но и множество окрестных помещиков-хлеборобов. Его огромные богатства не помешали ему, однако же, стать во главе контрабандистов и сделаться первым персонажем в памятном еще и до сих пор громком процессе хищений в таганрогской таможне. Этот процесс, наделавший в свое время столько шума, прочно установил, что такие финансовые тузы, как Вальяно, Мусури и tutti guanti, не стыдились с помощью тогдашней таможни обворовывать в течение ряда лет русскую казну на сотни тысяч рублей ежегодно. Наличность миллионов в кармане, крупная торговля с Европою и мелкие сделки с совестью шли у этих господ рука об руку и друг другу не мешали. Таможенные чиновники пошли в ссылку, а виноватые негоцианты переменили лишь вывески фирм и продолжали торговать и блаженствовать.

Зато внешнего, мишурного лоска было много. В городском театре шла несколько лет подряд итальянская опера с первоклассными певцами, которых негоцианты выписывали из-за границы за свой собственный счет. Примадонн буквально засыпали цветами и золотом. Щегольские заграничные экипажи, породистые кони, роскошные дамские тысячные туалеты составляли явление обычное. Оркестр в городском саду, составленный из первоклассных музыкантов, исполнял симфонии. Местное кладбище пестрело дорогими мраморными памятниками, выписанными прямо из Италии от лучших скульпторов. В клубе велась крупная игра, и бывали случаи, когда за зелеными столами разыгрывались в какой-нибудь час десятки тысяч рублей. Задавались лукулловские обеды и ужины. Это считалось шиком и проявлением европейской культуры.

В то же время Таганрог щеголял и патриархальностью. Улицы были немощеные. Весною и осенью на них стояла глубокая, невылазная грязь, а летом они покрывались почти сплошь буйно разраставшимся бурьяном, репейником и сорными травами. Освещение на двух глав-

ных улицах было более чем скудное, а на остальных его не было и в помине. Обыватели ходили по ночам с собственными ручными фонарями. По субботам по городу ходил с большим веником на плече, наподобие солдатского ружья, банщик и выкрикивал: «В баню! В баню! В торговую баню!» Арестанты, запряженные в телегу вместо лошадей, провозили на себе через весь город из склада в тюрьму мешки с мукой и крупой для своего пропитания. Они же всенародно и варварски уничтожали на базаре бродячих собак с помощью дубин и крюков. Лошади пожарной команды неустанно возили «воду и воеводу», а пожарные бочки рассыхались и разваливались от недостатка влаги. Иностранные негоцианты выставляли на вид свое богатство и роскошь, а прочее население с трудом перебивалось, как говорится, с хлеба на квас.

Такова была физиономия тогдашнего Таганрога.

Помимо крупных негоциантов и закабаленных ими полуголодных пролетариев, существовал еще класс обывателей. Это были так называемые «маклера», тоже большею частью иностранцы. Эти господа имели свои «конторы», скупали мелкими партиями привозимый из деревень чумаками на волах хлеб, ссыпали его в амбары и затем перепродавали Вальяно или другим тузам, составлявшим крупные партии уже для отправки за границу. У этих тузов также были свои конторы. В них совершались торговые сделки и велась обширная коммерческая переписка с иностранными европейскими фирмами. У Вальяно, который до конца дней своих не научился ни читать, ни писать и умер в буквальном смысле слова неграмотным, служил в конторе целый штат клерков, бухгалтеров и разных делопроизводителей. Штат этот получал довольно солидное содержание — и попасть клерком в контору к Вальяно или к Кондоянаки, к Скараманга или к кому-нибудь из этих финансовых дельцов значило составить себе карьеру.

Об этих местах в греческих конторах мечтали как о манне небесной подраставшие юноши; о том же мечтали и отцы, поднимавшие на ноги своих чад. Но для того чтобы явиться достойным кандидатом на эту манну, нужно было знать иностранные языки и главным образом греческий — не древний, изучаемый в гимназиях, а новейший, на котором говорят, читают, пишут и издают газеты

нынешние измельчавшие потомки великих Софоклов, Демосфенов, Сократов и Платонов.

Павел Егорович — отец Антона Павловича — тоже мечтал о подобной карьере для своих сыновей. В то время оклад жалованья в тысячу или в полторы тысячи рублей в год считался не только достаточным, но и богатым. А греческие конторы выплачивали такие оклады без труда, лишь бы служащий был человеком подходящим, расторопным, сметливым и знал свое дело.

— Ну, что вот я, — говаривал нередко Павел Егорович Евгении Яковлевне, — с утра до ночи сижу в своей лавке, торгую, а каждый год при подсчете оказываются одни убытки... То ли дело служить у Вальяно или у Скараманги... Сидит человек в тепле, спокойно за конторкой, пишет и щелкает на счетах, и без хлопот получает чистоганом тысячу рублей в год. Надо будет отдать детей в греческую школу...

— Не лучше ли в гимназию? — возражала Евгения Яковлевна.

— Бог с нею, с гимназией!.. Что она дает? Вон у Ефремова сын вышел из пятого класса и латынь учил, — а что в нем толку? Сидит у отца на шее, ходит без дела по городу да пожарного козла дразнит...

В Таганроге в то время существовали: мужская и женская гимназии, уездное училище и та самая греческая школа, о которой идет речь.

II

Греки имеют в Таганроге свою греческую церковь, стоящую на Греческой улице. Церковь эта — довольно изящной архитектуры — построена почти на самом краю высокого обрыва, спускающегося круто к морю. Принадлежит она исключительно одним только грекам, и богослужение в ней совершается на одном только греческом языке. Храм этот очень богат. Почти все иконы и лампады увешаны серебряными и золотыми корабликами — приношениями шкиперов, обращавшихся во время бури к заступничеству угодников и спасшихся от нея. В этой церкви воспринимается от купели, венчается, говеет и отпевается испокон века вся местная греческая аристократия. (У итальянцев есть свой костел, а у немцев — кирка.) Посвящен храм — как и следует быть —

святым, особенно чтимым в самой Греции. Главный престол — во имя св. царя Константина и матери его Елены — и два боковые придела — во имя св. Герасима и Спиридона, которые у греков так же чтимы, как у нас Николай Угодник и Илья Пророк. Церкви принадлежит большой участок земли; на нем построены дома для церковного причта и посередине между ними — большое одноэтажное здание греческой школы, которая тогда называлась официально: «Приходская при Цареконстантиновской церкви школа».

Содержалась она на доброхотные пожертвования богатых греков-меценатов. Тратя ежегодно несколько десятков тысяч на итальянскую оперу и на симфонический оркестр, они милостиво уделяли около тысячи рублей на школу. Обучались в ней главным образом дети шкиперов, дрягилей, матросов, мелких маклеров, греков-ремесленников и вообще лиц низшего ранга. Негоцианты-меценаты и мало-мальски достаточные купцы детей своих сюда не отдавали и к самой школе относились брезгливо. И, пожалуй, не без основания: ученики представляли собою «смесь одежд и лиц». Один, по бедности родителей, являлся в класс без всякой обуви, босиком, другой — в изорванной и вымазанной Бог весть чем рубахе, третий — со следами уличной битвы, и только очень немногие были одеты более или менее прилично. В большинстве случаев это были «уличные мальчишки», изощрившиеся в кулачных боях и всякого рода подвигах и шалостях, свойственных детям, оставляемым без призора. Любимым занятием большинства было шататься по гавани среди выгружаемых иностранных товаров и воровать из ящиков, бочонков, кулей и мешков рожки, орехи, винные ягоды, апельсины и лимоны. За это им, что называется, «влетало» от дрягилей и хозяев товара, и многие из них являлись в школу с выдернутыми вихрами, распухшими от пощечин физиономиями, сильно надранными ушами, а иногда и со следами той экзекуции, которая мешает наказанному сидеть.

Школа состояла из пяти классов. Кроме того, был еще и шестой — нечто вроде приготовительного: в нем малыши начинали с греческой азбуки. В первом классе ученики учились читать и писать, а в пятом изучали греческий синтаксис и историю Греции. Это была высшая премудрость, дальше которой учение не шло. В младших классах

обучались мальчуганы, начиная от шести лет, а в самом старшем — пятом — заседали на партах молодцы лет девятнадцати и двадцати, очень мало помышлявшие о школьной премудрости.

Судя по этому короткому описанию, о греческой школе можно составить себе представление как о заведении обширном и с довольно широкой программой преподавания. Но это было бы ошибкой. Все шесть классов помещались в одной комнате, и во всех них занимался только один учитель — кефалонец Николай Спиридонович Вучина, или — как он сам называл себя — Николаос Вутсинас.

— Как же это, — спросят нас, — шесть классов в одной комнате? И как мог учитель одновременно исполнять свои педагогические обязанности в нескольких классах? Не разрывался же он на части?!

Дело объясняется просто. В большой комнате стояли пять рядов длинных, черных, грязных и изрезанных ножами школьников парт. В начале каждого ряда этих парт возвышался черный шест и наверху его — черная же табличка с римскою цифрою от I до V. Это и были классы. В каждом классе велось свое отдельное преподавание. Но если по каким-либо обстоятельствам в каком-либо классе становилось тесно, то учитель, не задумываясь и не соображаясь с познаниями, переводил учеников в другие классы, где места было больше. Справлялся же Вучина со своим трудным преподавательским делом очень легко: он почти ничего не делал и только дрался и изобретал для учеников наказания. В этом и заключалось все преподавание. В настоящее время существование подобного учебного заведения было бы немыслимо, а тогда оно было не только возможно, но даже и в порядке вещей. Шкипера и дрягили отдавали своих детей в эту школу не столько для обогащения ума книжной наукой, сколько для того, чтобы они не баловались и не мешали дома. Одни только наивные люди и меценаты могли верить в то, что в этой школе ребенок мог чему-нибудь научиться.

К числу таких наивных людей принадлежал и Павел Егорович. Не зная ни языка, ни программы школы, ни ее порядков, ни внутренней ее уродливой жизни, он в простоте душевной верил, что если его сын научится греческому языку да еще вызубрит какой-то таинственный греческий синтаксис, то дорога этому сыну в заманчивую

контору Вальяно или Кондоянаки, как в Обетованную землю, будет открыта наверняка и настежь.

Бакалейная лавка Павла Егоровича с вывескою «Чай, сахар, кофе и другие колониальные товары», как и большинство лавок в провинции, представляла собою в одно и то же время и торговое заведение, и клуб. Сюда, кроме покупателей, каждый день приходили и просиживали по нескольку часов безо всякого дела скучавшие и шатавшиеся без определенных занятий обыватели. Это были мелкие маклера по хлебной части, давно обжившиеся в Таганроге, и довольно сносно, хотя и не без акцента говорившие по-русски греки. Субъекты эти, весьма необразованные, очень недалекие, явившиеся в Россию — как они сами выражались — «без панталониа» и женившиеся на русских мещаночках из-за грошового приданого, были влюблены в свою давно уже покинутую Грецию и лучше ее не находили в мире ни одной страны. К слову сказать, Антон Павлович в своей пьесе «Свадьба» вывел под именем грека Дымбы один из этих типов, искренне убежденных в том, что «в Греции все есть». Эти-то лавочные завсегдатаи и убедили Павла Егоровича в том, что выше и благороднее греческого языка нет ничего и что в Афинах есть такое высшее учебное заведение — «то панэпистимион», т. е. университет, из которого выходят только одни гении и мудрецы. Павел Егорович, сам обучавшийся на медные деньги, не имел основания не доверять этим россказням, которые к тому же почти всякий раз заканчивались убедительною ссылкою на то, что вот-де сын русского человека — Николаев — изучил греческий язык и теперь получает в конторе Вальяно 1800 рублей в год.

С другой стороны, два или три педагога, преподававшие в гимназии и забиравшие в лавке Павла Егоровича товар на книжку от «двадцатого до двадцатого», всячески предостерегали от греческой школы и стояли горою за гимназию.

— Ну на что вам, Павел Егорович, этот греческий язык, будь он неладен? — говорили они. — Отдавайте детей в гимназию. Во-первых, из гимназии выходит образованный человек с правом на четырнадцатый класс; во-вторых, навсегда избавляется от солдатчины и, в-третьих, может поступить в университет. А из университета дороги всюду открыты: хочет — в чиновники идет, хо-

чет — в доктора, хочет — в учителя... А то можно и в инженеры... Словом, куда угодно...

Павел Егорович колебался. Евгения Яковлевна, смотревшая в будущее шире, стояла за гимназию. Но тут судьба подсунула учителя греческой школы, кефалонца Вучину. Тот в интересах своего учебного заведения и кармана наговорил таких «турусов на колесах» о преимуществах и выгодах греческого языка и так расписал значение синтаксиса, что симпатии Павла Егоровича почти бесповоротно перешли на сторону школы. Выпив два или три стакана сантуринского вина, Вучина увлекся, повел рассказ об Илиаде и Одиссее, рассказал с пеною у рта и с ворочаньем белков о подвигах греческих героев Марка Боцариса и Миаулиса и заявил, что сведения об этом можно почерпнуть только в одной греческой школе и больше нигде.

— Никого я теперь не послушаю, кроме Николая Спиридоновича,— решил Павел Егорович по уходе кефалонца.— Никуда, кроме греческой школы, не отдам детей учиться. Эта школа много выше гимназии...

Таким образом, участь Антона Павловича была решена. Остановка была только за деньгами. За обучение в школе нужно было вносить двадцать пять рублей в год. А их-то, денег, как раз в то время и не было: торговля, как назло, шла из рук вон плохо. В делах был застой. Но судьба и тут оказалась для будущего писателя мачехой. В начале сентября совершенно неожиданно явился в лавку старый должник — степной помещик. Он много лет тому назад задолжал Павлу Егоровичу за товар свыше ста рублей и не платил. Павел Егорович привык уже считать этот долг безнадежным.

— Урожай в этом году был, слава Богу, хорош. Зерно полновесное,— пояснил помещик.— Посмотрите-ка, Павел Егорович, сколько я вам должен?

Павел Егорович раскрыл старые, запыленные книги, помещик, в свою очередь, достал из бокового кармана толстый бумажник — и долг был уплачен. Павел Егорович тотчас же пошел поделиться радостным известием с Евгенией Яковлевной и прибавил:

— Завтра же отвезу Колю и Антошу в школу к Николаю Спиридоновичу.

— Коле и Антоше нужно сначала сшить теплые пальто на зиму,— ответила предусмотрительно Евгения Яков-

левна.— Нужно будет послать за отцом Антонием: он сошьет и дешево, и скоро...

За о. Антонием послали в тот же день, а вечером уже велись с ним серьезные переговоры относительно материи, подкладки, фасона, цены за работу и т. п.

О. Антоний был, что называется теперь, личность темная. Никто не знал, откуда он и кто он. Явился он в Таганрог из неведомых мест в виде странника с посохом в руках и с котомкою за плечами. В таком виде он в один прекрасный июльский вечер вошел в лавку к Павлу Егоровичу и попросил ночлега. Будучи человеком религиозным и добрым, Павел Егорович не отказал, и о. Антоний был оставлен ночевать. За ужином он рассказал столько назидательного и чудесного о святых местах, что его наутро попросили остаться обедать. Он согласился и в течение дня помог кому-то чем-то в хозяйстве — и с той поры получил право приходить, когда ему вздумается. Паспорта у него не спрашивал никто, зла он никому не делал, ни в чем дурном замечен не был и, кроме того, объявил себя портным, правда, плохим, но зато очень дешевым. Впоследствии он исчез из Таганрога так же неизвестно куда, как и пришел неизвестно откуда.

Процедура с шитьем двух детских пальто вышла долгая и несколько напомнила гоголевскую «Шинель», но кончилась благополучно, хотя и не без переделок и поправок. Два не по росту длинных пальто с уродливыми капюшонами и длинными рукавами были сшиты — и Коля, и Антоша после молитвы «о еже хотящим учитися» торжественно отведены в греческую школу[2]. Кефалонец, потирая от удовольствия руки, тут же занес в списки учеников два новых имени:

«Николаос Тсехоф» и «Антониос Тсехоф».

Коля — это старший брат Антона Павловича, художник, обнаруживавший недюжинный талант, но рано умерший, так же, как и Антон Павлович, от чахотки. Оба брата ходили в школу вместе, оба тянули в ней бесполезную лямку и оба испытывали те прелести, о которых речь впереди.

III

<...> Учение началось с того, что Николай Спиридонович, проводив с поклонами Павла Егоровича до дверей класса, посадил обоих новых учеников на самую первую

скамью, т. е. в приготовительный класс, положил перед каждым из них по тоненькой книжечке под заглавием «Неон Алфавитарион», т. е. «Новая азбука», и сказал:

— Завтра нада приносити за каздая книзка 20 копейк. Сказите это васа папаса. А типер вазмите книзка и уцыте: альфа, вита, гамма, дельта, эпсилон...

Преподав такое наставление, Николай Спиридонович заложил руки в карманы панталон и медленно отправился в свою жилую половину, которая отделялась от класса одной только дверью. По дороге он заметил, что два ученика третьего класса — Ликиардопулос и Пиратис — не смотрели в книжку, а о чем-то оживленно спорили между собою, и тотчас же принял меры. Взяв каждого ученика за чуб, он несколько раз стукнул их головы висками друг о друга и, выбранившись на греческом диалекте, пошел далее.

Пока он проходил по классу, вся школа, состоявшая из шестидесяти или семидесяти учеников, прилежно читала и зубрила; но лишь только он скрылся за своею дверью, как сразу же поднялся громкий говор и затеялась возня. Молодые силы, насильственно запертые в четыре стены и предоставленные самим себе, рвались наружу. Тут были прыжки и зуботычины и всякого рода шалости. Учитель не показывался из своих апартаментов часа полтора и только раза два, когда шум в классе делался уж очень громким, грозно стучал в свою дверь изнутри. Тогда сразу все смолкало и затихало, и среди учеников пробегал трусливый шепот:

— Дидаскалос! Дидаскалос! (Учитель!)

Время приближалось к полудню. Новички, братья «Тсехофы», уже успели к этому времени и натерпеться от своих товарищей всяких толчков и пинков, и проголодаться, но заданного урока не выучили. Оба они тупо смотрели в свои книжки и ровно ничего не понимали в мудреных буквах греческой азбуки. На их грустное положение не откликнулся никто.

Наконец вышел из своей двери учитель. Все затихло и замерло.

— Встаньте и читайте молитву! — скомандовал он по-гречески.

Ученики быстро поднялись и, стоя на своих местах, оборотились лицом к задней стене, близ которой висела в углу крохотная, едва заметная иконка.

— Спиридон Фекиакис, читай сегодня ты!

Вызванный ученик прочел по-гречески «Отче наш» и еще какую-то молитву в стихах. На половине этой второй молитвы учитель остановил его бранью, вовсе не соответствовавшей религиозному настроению, грозным окриком:

— Врешь! Не так! Герасимос Вогазианос, читай ты!

Второй ученик докончил прерванное чтение. Пока он читал, глаза учителя метали искры на Фекиакиса, который проштрафился ошибкою в молитве.

— К полукругам! — раздалась команда.

Ученики вылезли из-за парт, и каждый класс, за исключением самого старшего, пятого, направился в свой определенный угол. В углах были устроены особые педагогические приспособления. От одной стены до другой, на высоте аршина от пола, шла выгнутая дугой железная круглая полоса, отмежевывавшая четверть окружности, центр которой находился в самом углу. Ученики разместились у этих полос снаружи, лицами в угол и спинами к середине комнаты. Когда это было сделано, учитель вызвал четверых учеников старшего класса и отправил их по одному в каждый угол. Эти старшие ученики, очень польщенные оказанным им почетом, пролезли под полосами в пространство между углом и железом и, очутившись лицом перед младшими товарищами, тотчас же приняли важную и строгую осанку и начали спрашивать уроки.

В классной комнате, у передней стены, лицом к партам стояла на возвышении полукруглая черная деревянная кафедра со стулом внутри. Вокруг этой кафедры стали полукругом ученики пятого класса — здоровенные великовозрастные молодцы, а на стуле поместился учитель. Здесь тоже началось спрашивание уроков. Но перед этим провинившемуся во время молитвы Спиридону Фекиакису было сделано должное внушение. Кефалонец подозвал его к кафедре и, держа в руке толстую линейку, приказал по-гречески:

— Протягивай руку!

Фекиакис заревел.

— Протягивай руку! — уже грозно крикнул Вучина.

Виноватый, не переставая реветь, робко и опасливо протянул руку ладонью вверх. Началась игра кошки с мышкой. Кефалонец взмахивал линейкою в воздухе, с удовольствием нацеливался ею и делал вид, что хочет

ударить по ладони. Фекиакис всякий раз нервно отдергивал руку назад, но, повинуясь новым грозным окрикам, должен был протягивать ее снова вперед. Наконец, вдоволь натешившись, Николай Спиридонович отсчитал несколько очень горячих ударов, от которых не только покраснела, но и вспухла ладонь, и отослал плачущего ученика на место.

Занятия в углах тянулись около часа. У учеников, в том числе и у обоих новичков, давно уже устали и отекли ноги. Занимавшийся с приготовительным и с первым классом старший ученик прямо объявил на русском языке Антону Тсехофу:

— Ты, свиня, ницево ни знаис. Ты — новый. Тебе я ни буду спросить урока.

Уроки во всех четырех углах были уже давно спрошены у всех, и ученики с томлением поглядывали на кафедру. Там трое верзил старшего класса стояли на полу на коленях, а Николай Спиридонович, сидя на своем стуле и положив каблук правой ноги на колено левой, молчал, ковырял перышком в зубах и с равнодушием плотно позавтракавшего и сытого человека глядел раздвоенным и ничего не выражавшим взглядом на окно, сквозь которое был виден кусочек моря, противоположный берег залива и над ним — полоска голубого, безоблачного неба. Созерцание это, должно быть, очень нравилось ему, потому что прошло еще довольно много времени, прежде чем он вышел из забытья, очнулся и скомандовал:

— Маршировка вокруг класса!

Ученики, начиная с самых младших, потянулись гуськом вдоль парт. По мере того как они, выстукивая ногами, подвигались вперед, к ним присоединялись постепенно ученики из прочих углов, и, в конце концов, к самому хвосту присоединился и пятый класс, за исключением тех, которые стояли на коленях. Они так и остались стоять. Марширующие, стуча, как лошади, обошли вокруг парт три раза и затем, опять-таки по команде, уселись по местам.

— Достаньте ваши тетради и пишите чистописание! — последовал приказ.

У новичков еще не было ни тетрадей, ни перьев — и они остались сидеть сложа руки. Прочие же ученики, без различия возрастов и классов, достали тетради, гусиные перья, чернила и греческие прописи и принялись за рабо-

ту. В воздухе повис скрип более полусотни перьев. Вучина, окинув комнату строгим взглядом, ушел опять к себе. Вместе с его уходом прекратилось и чистописание. Но возни и драк уже не было. Ученики были утомлены и голодны. Одни, чтобы убить как-нибудь время, действительно царапали перьями по бумаге, а другие просто сидели, уныло повесив головы или положив их на парты.

Время тянулось бесконечно долго. У мелковозрастных мальчуганов приготовительного и первого класса от голода и от истомы на лицах выступила бледность. Но до этого дела не было никому. Где-то на половине учителя часы наконец пробили чуть слышно три, и только тогда на пороге входных дверей показалась растрепанная и грязная фигура хохлушки-кухарки и повелительно произнесла:

— Ходыть до дому! Миколай Спиридоныч вiлiв, щоб вы тiкали до дому!

Ученики гурьбою и с шумом, давя друг друга в дверях, бросились в обширную переднюю, где висело верхнее платье, и быстро разбежались. В классе остались только печальные коленопреклоненные фигуры трех старших учеников. Они были оставлены без обеда на неопределенно долгое время, потому что Николай Спиридонович после своего обеда имел обыкновение спать и просыпался в разное время — когда Бог на душу положит...

Истомленные и голодные братья с трудом доплелись до дома. У обоих от пережитых ощущений так болели головы, что они ничего не могли есть. Первый визит в школу произвел на них далеко не веселое впечатление.

— Надо будет давать детям с собою по куску хлеба, — решила с материнскою заботливостью Евгения Яковлевна и, покачав грустно головою, прибавила: — Право, лучше было бы их в гимназию отдать, благо она под боком. А с этой школой от одной только ходьбы можно захворать. Шутка ли ходить каждый день такую даль — к Греческой церкви... Тут и у взрослого ноги заболят...

IV

Николай Спиридонович Вучина, или — в греческом произношении — Николаос Вутсинас, по его собственным словам, родился в Кефалонии и в Россию прибыл «без

панталониа» искать счастья, которое никак не давалось ему в руки на родине. Получил ли он хоть какое-нибудь образование — осталось навсегда тайною. Точно так же никто из таганрожцев не знал, когда и в каком виде он вступил впервые на русскую землю. Все узнали его уже прямо учителем греческой школы, точно он именно учителем, а никем другим, свалился прямо с облаков.

С внешней стороны это был высокого роста, рыжий, бородатый, типичный грек с резкими и угловатыми движениями, с южным сангвинистическим темпераментом, способный быстро воспламеняться, свирепо вращать белками глаз и изрыгать на своем родном наречии всякие отборные словеса. По крайней мере, школа наслушалась этих словес достаточно. Весьма возможно, что в душе он, может быть, был и добрым человеком, но невоспитанность и темперамент делали его подчас очень жестоким. Это тоже многие ученики школы испытали на себе. Учитель он был вообще плохой, с весьма узким кругозором и почти с полным отсутствием преподавательской жилки. Глядя на него и на его занятия в школе со стороны, можно было подумать, что он несет на своих плечах бремя преподавательских забот только потому, что это самое бремя возложено на него его покровителями-меценатами. Если бы его, когда он был еще «без панталониа», меценаты посадили клерком в какую-нибудь хлебную контору, то он и там чувствовал бы себя так же, как чувствовал в школе. Был бы лишь обеспечен кусок хлеба.

Все-таки, при всей своей ограниченности, он был достаточно умен для того, чтобы держаться за этот кусок как можно крепче. Перед меценатами он преклонялся и лебезил; родителей уверял, что их дети учатся прекрасно, умел с увлечением потолковать о синтаксисе, о величии современной Греции и о великодушии и благородстве меценатов и самыми лучшими воспитательными средствами считал оплеухи, щелчки по головам и чуть ли не инквизиционные приемы. Одною из самых несимпатичных сторон его характера было то, что, наказывая ученика, он увлекался, входил во вкус и даже наслаждался страданиями своей жертвы.

Занимался он с учениками очень мало и старался сводить все преподавание к раз навсегда установившейся форме и к установленному числу часов в сутки. Ученики

должны были высиживать ежедневно от 9-ти до 3-х, а вопрос об их успехах интересовал его мало. Изредка он подсаживался к какому-нибудь ученику и спрашивал его урок. Но так как учеников было около семидесяти, а он был один, то и не было никакого дива в том, что какой-нибудь Герасимос Магулас или Александрос Ликацас по четыре и по пяти месяцам сидели над одной и тою же страницей раскрытого учебника, нисколько не продвигаясь вперед.

Вутсинас был холост и жил одиноко, но всегда держал у себя женскую прислугу, которую менял часто и присутствие которой тут же рядом, по соседству с классной комнатой, немало волновало старший пятый класс. Великовозрастные детины всегда находили способы пробираться в кухню своего дидаскала (учителя) и затем ухарски рассказывали о своих похождениях, а подростки слушали их, разинув рты и захлебываясь...

На второй день своего поступления братья Чеховы явились в школу с книжками и двумя двугривенными за них, но без знания греческой азбуки. Учитель подсел к ним, как к новичкам, и, увидев, что ни один из них не усвоил названий: альфа, вита, гамма, дельта и т. д., сокрушенно проговорил:

— Ни знаись урок... Ни харасо, ни харасо!.. Нада уцица (учиться)...

Высказав это соболезнование, он отошел к другим ученикам и ровно две недели не обращал никакого внимания на новичков, а те столько же времени тупо просидели над раскрытыми азбуками. Просветил их помощник Вучины — некто Спиро.

По ремеслу Спиро был маклер по хлебной части и справлял кое-какие поручения греческих купцов в таможне по очистке товаров пошлиною. Являлся он в школу довольно редко и занимался с учениками то арифметикой, то греческим чтением, то чистописанием. Урок арифметики заключался в том, что он всей школе сразу задавал задачи на правило сложения и далее этого правила не шел. Человек он был добродушный, но небогатый образованием и весьма скверно говорил по-русски. Ему-то Николай Спиридонович и поручил заняться с двумя новичками. Благодаря лишь ему они кое-как сладили с азбукою, но поладить с своеобразным произношением буквы «фита» не могли никак. Их русские рты не поддава-

лись греческой ломке и не повиновались. Спиро доходил в своем усердии чуть не до белого каления, оттягивал своим большим пальцем нижнюю губу Антона Павловича книзу и приказывал:

— Полози языка на зуба и скази: фита!..

Как ни силился злополучный новичок совладеть с греческим произношением — ничего у него не выходило. Спиро бился, бился и бросил. Братья Тсеховы были опять на несколько месяцев брошены и предоставлены самим себе. В школу они ходили аккуратно, каждый день до утомления высиживали положенное число часов, но к концу первой половины академического года дальше чтения слогов не ушли.

За этот промежуток времени Павел Егорович, чтобы осведомиться об успехах своих сыновей, один раз побывал в школе.

— О, васи сины харасо, дазе оцень харасо уцица! — доложил ему Николай Спиридонович.

Павел Егорович, ничего не смысливший в греческом языке, поверил на слово и ушел домой вполне успокоенный и довольный. Ему по дороге уже грезились где-то на горизонте, в туманной дали будущего, места в конторах: он в мечтах уже видел своего Колю клерком в конторе у Вальяно, а Антошу — в конторе у Скараманга...

Вучина же, чтобы еще более укрепить отца в уверенности, что его дети преуспевают, в тот же день выдал каждому из них по награде. Это были маленькие четырехугольные листочки зеленоватой бумаги, называвшиеся «вравион» (от слова «браво»). На этих листочках по-гречески были напечатаны прилагательные, обозначавшие разные добродетели. Коля принес домой листочек с надписью: «эвсевис», т. е. «благочестивый», а Антоша — «эпимелис», т. е. «прилежный», Павел Егорович показал эти награды своим лавочным завсегдатаям, и те поспешили уверить его, что он прекрасно сделал, что отдал детей в школу, а не в гимназию, и что лучше греческой школы в Таганроге ни единого учебного заведения нет.

V

В тот же самый день, когда Павел Егорович посетил школу, Коля и Антоша, вернувшись домой, рассказали за вечерним чаем, что учитель поставил на колени ученика

Фекиакиса. Но на этот рассказ ни Павел Егорович, ни Евгения Яковлевна, занятые своими мыслями и делами, не обратили особенного внимания. Евгения Яковлевна мельком лишь осведомилась, за что именно ученик был наказан, и, узнав, что у него был найден табак, нравоучительно проговорила:

— И за дело. Рано ему еще курить... Смотрите, вы у меня не курите, когда вырастете...

На деле же в школе произошло следующее событие. За полчаса до прихода Павла Егоровича Вучина, выйдя из своих апартаментов, с каким-то особенным выражением лица и особенной походкой хищного зверя направился прямо к парте пятого класса и, схватив семнадцатилетнего Фекиакиса за шиворот, молча приподнял его на ноги и приказал:

— Покажи пальцы!

Застигнутый врасплох, Фекиакис покраснел и в один миг спрятал обе руки за спину, но учитель круто вывернул их, разжал сомкнутые в кулаки пальцы, внимательно осмотрел их и грозно крикнул:

— Фумарис, анафема-су! Ты куришь, анафема!

— Охи! Ма то Феó óхи! Нет! Ей-Богу, нет! — ответил струсивший ученик и в ответ получил два полновесных удара по лицу.

— Показывай карманы! Дьявол!

И, не давая малому пошевелиться и опомниться, учитель быстро, обеими руками залез ему в карманы панталон и свирепо выворотил их наружу. Из карманов посыпались гвозди, обрывки веревки, камешки, пробки и корка хлеба, но табаку в них не оказалось. Вучину это нисколько не смутило.

— Показывай, анафема, карманы сюртука!

На обыскиваемом был надет старый, поношенный сюртук с отцовского плеча, застегнутый на пуговицы доверху. Услышав приказ учителя, Фекиакис сильно смутился и судорожно прижал обе руки к пуговицам.

— Ага! — вскричал с торжеством Вучина. — Прячешь!

Ударив малого кулаком по рукам, он одним резким движением расстегнул сюртук и распахнул его. Фекиакис смутился еще более и громко заревел, призывая всю вселенную в свидетели, что он не курит. Распахнутый сюртук обнаружил перед всем классом тайну бедняка: на нем совсем не было сорочки, и только на шее был повязан

сложенный в несколько раз коленкоровый женский головной платок. Но учителя эта нагота не смутила нисколько. Он храбро залез рукою во внутренние боковые карманы, но и тут потерпел неудачу: рука его свободно проваливалась под подкладку до самого низа фалд. Карманов в сюртуке не было: были только одни бездонные дыры. Таким же манером были обысканы и задние карманы, но и там оказались такие же дыры.

С лица учителя сразу сбежало уже заранее подготовленное торжествующее выражение, и он уже начинал чувствовать себя неловко перед всеми учениками, с любопытством и страхом следившими за происходящей сценой. Но вдруг его осенила счастливая мысль, и на лице показалось прежнее выражение. Он, как коршун, набросился на шейный платок Фекиакиса, быстро развязал узел, сдернул с шеи и, разложив у себя на колене, стал разворачивать его складки. Фекиакис побледнел.

Увы! В складках платка оказались табак и папиросная бумага. Учитель с неописуемым торжеством поднял эти трофеи театральным жестом вровень со своей головой и показал всему классу, как будто желая оправдаться в произведенном насилии и обыске.

— Принесите лестницу! — скомандовал он.

Двое услужливых учеников-подхалимов, вскочив со своих мест и сбивая от усердия друг друга с ног, бросились опрометью вон из класса и через полминуты не без труда приволокли из кухни переносную, стоячую лестницу о трех ступенях, с помощью которой кухарка закрывала у печей вьюшки. Привычным движением лестница была установлена на середине комнаты, перед кафедрой.

— На колени, на вторую ступень! — скомандовал учитель инквизиторским тоном.

Фекиакис, застегивая застенчиво пуговицы сюртука, пошел молча к лестнице, понурив голову, как приговоренный к смерти, и встал коленями на вторую ступеньку.

— Подайте штрафные дощечки!

Те же двое подхалимов, радуясь возможности прислужиться, сбегали в комнату Вучины и вернулись оттуда с двумя черными дощечками, сквозь которые были продеты шнурки. На одной из них учитель собственноручно написал мелом: «Курит», а на другой — бранное слово. Одна из дощечек была повешена Фекиакису на грудь, а другая

на спину. Окончив эту процедуру, учитель отошел на несколько шагов назад и полюбовался фигурою казнимого.

— Этого мало,— произнес он.— Принесите из кухни кочергу!

Кочерга была принесена и подана.

— Принесите из моей комнаты с рукомойника полотенце!

Полотенце было подано, и с помощью его кочерга была повешена за спиною наказуемого наподобие солдатского ружья. Вучина полюбовался и этой картиной. В глазах его уже стало мелькать увлечение.

— Подними, анафема, правую руку кверху и, не переставая, двигай указательным пальцем! Теперь ты будешь знать, как курить...

Сгибать и разгибать непрерывно палец — это чисто инквизиционная пытка. В этом каждый легко может удостовериться на опыте. Несчастный Фекиакис уже через пять минут со страданием на лице опустил отекшую и омертвевшую руку; но кефалонец дал виновному подзатыльник и собственноручно придал руке прежнее положение.

Прошло еще несколько минут. Обессилевшая рука три или четыре раза опускалась, но учитель неумолимо поднимал ее опять вверх.

— Можете меня убить, но я дольше не могу держать,— проговорил со стоном Фекиакис.

— Врешь, анафема! Я тебя научу курить...

— Дидаскале (Учитель)! Кто-то идет! — заявил один из учеников, показывая на двор рукою.

Вучина выглянул в окошко. По двору, по направлению к школе, шел Павел Егорович.

— Убирайся вон, скотина! Садись на место! — крикнул Вучина Фекиакису.

В один миг исчезли и кочерга, и штрафные доски, и лестница. Фекиакис сидел на своем месте и потряхивал онемевшей рукой. Николай Спиридонович в это время стоял уже около двери с самой приветливой улыбкой и, потирая от удовольствия руки, встречал входящего Павла Егоровича.

— Оцень приятна! Оцень приятна! Позалуйте... Бакорнейсе прасу...

VI

Наступили рождественские вакации. У Павла Егоровича вечерком на рождественских святках собрались гости, и ему вздумалось прихвастнуть перед ними познаниями своих детей в греческом языке. Он позвал Колю и Антошу и велел им принести свои книжки и прочесть что-нибудь при гостях. Гости изъявили желание послушать и, как водится, приготовились заранее похвалить из вежливости прилежных мальчиков. Но вместо ожидаемого эффекта получилось полное огорчение для родительского сердца. Коля еще кое-как прочел по складам два слова, а Антоша не мог сделать даже и этого и только пыхтел от напряженных усилий прочесть. Павел Егорович был поражен.

— Полгода ходите в школу, а даже и читать не научились?! — воскликнул он.

— Нам в школе никто не показывает,— ответили мальчики.

Начались на эту тему разговоры. Павел Егорович обвинил детей в лености и тут же, при гостях, сделал им выговор. Коля и Антоша ушли спать в слезах. Ночью Антоша во сне вздрагивал и часто просыпался. <...>

VII

Но не всегда кефалонец оказывался строг. Бывали недели, когда он был кроток и добр и не только не отжаривал учеников по рукам линейкою и не давал им оплеух, но даже снисходил до того, что поглаживал некоторых мальчуганов по головке. Вся школа в такие «добрые» промежутки оживала и дышала свободнее.

Но юные натуры всегда остаются юными, и от шалостей молодежь не отказывается никогда. В один из таких добрых промежутков ученики пятого класса совершили выходку, испортившую все дело и повернувшую настроение учителя опять на старый строгий лад.

Одна из дверей классной комнаты вела в то необходимое помещение, без которого не обходится ни одно жилье. Этим помещением пользовались одинаково как ученики, так и учитель, но только учитель держал свое отделение на замке.

В один довольно пасмурный и нагонявший угрюмое настроение день помощник учителя — Спиро, побывав

в этом местечке, подошел к Николаю Спиридоновичу и сказал по-гречески:

— Пойдем-ка, я тебе покажу нечто интересное.

Вслед за этим они оба удалились туда, откуда только что вышел Спиро, и менее, чем через пять секунд, Вучина вылетел, взбешенный донельзя.

— Кто осмелился написать? — закричал он, вращая белками.

Ответа не последовало.

— Вы молчите? Хорошо же! — прошипел он, захлебываясь от гнева. — Это сделал кто-нибудь из пятого класса... Я найду виноватого... Антонопулос, ступай к доске и напиши слово «дидаскалос» (Учитель).

Антонопулос исполнил это. Учитель всмотрелся в его почерк и сбегал свериться.

— Что там такое написано? — осведомились встревоженные ученики у Спиро.

— Там какая-то скотина написала на стене мелом: «Дидаскалос треллос» (учитель — дурак), — ответил добродушный Спиро.

Возвратившийся с ревизии учитель стал вызывать поочередно к доске остальных учеников, прихватывая кое-кого и из четвертого класса.

— Вогазионос, напиши ты «дидаскалос»!... Диамандидис, иди ты и напиши то же слово... Магулас, пошел к доске ты...

Все писали, и учитель с тщательностью эксперта сверял почерки и старался открыть виновного. Один из учеников, памятуя фразу, произнесенную устами Спиро, вздумал было написать ее целиком, но лишь только вывел первые три буквы «трел...» (дур...), как сподобился пощечины.

Перебрав и сличив все почерки и сбегав еще раз пять или шесть сверить с подлинною фразою, кефалонец решил, что дерзким злоумышленником должен быть не кто иной, как Фекиакис. Напрасно бедняга божился и каялся, что он не писал ни одной буквы и что его почерк совсем иной. На него посыпались оплеухи и щелчки без счета. Он едва успевал прикрывать голову руками.

Но оскорбление не могло быть смыто одними только колотушками. Оно было слишком глубоко. Немезида требовала мщения, соответствующего вине. Фекиакиса увешали позорными досками, привязали к спине накрест

кочергу и ухват и в таком виде поставили на стул, как на лобное место, перед кафедрой. Так он простоял до самого конца дневных занятий в школе. В этот день учеников распустили по домам не всех сразу, а поодиночке. Каждого ученика в отдельности Спиро и Вучина подводили к виновнику и приказывали:

— Скажи: «мерзавец», и плюнь ему в лицо.

Ученики в точности выполняли приказ, и только после этого их выпускали в переднюю одеваться. Антон Павлович тоже исполнил этот обряд оплевания и долго потом помнил его, хотя и не любил вспоминать о нем, как о гнусном надругательстве над человеком из чувства личной мести.

Фекиакис простоял на стуле трое суток. Его отпускали домой только на один час пообедать. Вся эта печальная история закончилась еще более печальным финалом. Вскоре после этого происшествия вышел из школы самый старший по возрасту ученик, двадцатилетний Антонопулос. Ему стало уже невмоготу сидеть на школьной скамье. Уходя и прощаясь с товарищами, он со злым смехом заявил:

— А ведь эту фразу «дидаскалос треллос» написал не Фекиакис, а я...

Кефалонец заскрежетал зубами, но уже было поздно. Антонопулос уже не был учеником школы и в случае сведения личных счетов мог бы постоять за себя и ответить с лихвою...

Зимние месяцы прошли. Запахло весною — ароматною южною весною. Скоро в садах зацвели тюльпаны и сирень. Приближались экзамены. Павел Егорович ждал их с нетерпением и был вполне уверен, что Коля и Антоша перейдут в следующий класс. Но на деле оказалось, что они в течение всего года не только не учили таинственного «синтаксиса», но даже и не научились по-гречески ни читать, ни писать. Мечтам о конторе не суждено было осуществиться. Они разлетелись как дым. Евгения Яковлевна, стоявшая за гимназию, и знакомые педагоги взяли верх. Павел Егорович вздохнул и ближайшей же осенью облек детей в гимназические мундиры. Антоша поступил в приготовительный класс.

Незадолго до смерти Антона Павловича я был в Ялте и сидел в его кабинете. Толковали о многом и, между прочим, вспоминали старину. Антон Павлович тогда собирался за границу, в Баденвейлер. Он был весел и хорошо настроен. Предстоящая поездка ему улыбалась. Во время разговора принесли почту — объемистый пук газет, книг и писем. Отложив газеты в сторону, Антон Павлович стал пересматривать присланные ему книги и, раскрыв одну из них, засмеялся своим тихим, добродушным смехом.

— Вот меня и на греческий язык перевели; издатель книжку прислал[3],— сказал он.— По-видимому, и биографию приложили. Посмотри-ка, что такое обо мне пишут... Ты ведь еще помнишь греческий язык.

Первые же переведенные строки биографии заставили его еще раз засмеяться. Там значилось, что Антон Павлович происходил из духовной семьи и что отец его был певчий.

— Ты, однако же, несмотря на свои старые годы, все еще помнишь греческий язык,— сказал он.— А вот я так совсем не знаю его, хотя тоже когда-то учился в греческой школе. Не люблю я вспоминать о ней. Много испортила она моих детских радостей... Интересно было бы знать, живы ли еще Вучина и Спиро?..

Разговор перешел на воспоминания. И это был один из последних наших разговоров в Ялте.

В ГОСТЯХ У ДЕДУШКИ И БАБУШКИ

Страничка из детства Антона Павловича Чехова

I

<...> Мы были гимназистами: я только что перешел в пятый класс, а Антон — в третий. Первую половину дня мы, братья, проводили в гимназии, а вторую, до поздней ночи, обязаны были торговать в лавке по очереди, а иногда и оба вместе. В лавке же мы должны были готовить и уроки, что было очень неудобно, потому что приходилось постоянно отвлекаться, а зимою, кроме того, было и холодно: руки и ноги коченели, и никакая латынь не лезла в голову. Но самое скверное и горькое было то, что у нас почти вовсе не было времени для того, чтобы порез-

виться, пошалить, побегать и отдохнуть. В то время когда наши товарищи-гимназисты, приготовив уроки на завтра, гуляли и ходили друг к другу в гости, мы с братом были прикованы к лавке и должны были торговать. Вот почему мы ненавидели нашу кормилицу-лавку и желали ей провалиться в преисподнюю.

Отец наш смотрел на дело совсем иначе. Он находил, что шалить, бездельничать и бегать нам нет надобности. От беганья страдает только обувь. Гораздо лучше и полезнее будет, если мы станем приучаться к торговле. Это будет и для нас лучше, и для него полезнее: в лавке постоянно будет находиться свой «хозяйский глаз». Об этом «хозяйском глазе» Павел Егорович хлопотал особенно. Дело в том, что в лавке находились «в учении» и торговали два мальчика-лавочника — оба очень милые ребята; но их постоянно подозревали в том, что они тайком едят пряники, конфеты и разные лакомства и воруют мелкие деньги. Для того же, чтобы этого не было, отец и сажал нас в лавку в надежде, что мы, как родные дети, будем оберегать его интересы. Не знаю, был ли прав Павел Егорович и воровали ли мальчики-лавочники, но если говорить по совести, то первыми воришками были мы с Антошей. Когда отец уходил из лавки, трудно было удержаться в нашем возрасте от таких соблазнительных вещей, как мятные пряники или ароматное монпасье: и мы охулки на руку не клали и этим отчасти утешали себя за вынужденное лишение свободы и за тяжелый плен в лавке.

Особенно обидно бывало во время каникул. После трудных и богатых волнениями и заботами экзаменов все наши товарищи отдыхали и разгуливали, а для нас наступала каторга: мы должны были торчать безвыходно в лавке с пяти часов утра и до полуночи. В этих случаях нередко заступалась за нас наша добрая мать, Евгения Яковлевна. Она не раз приходила часов в одиннадцать вечера в лавку и напоминала отцу:

— Павел Егорович, отпусти Сашу и Антошу спать. Все равно ведь уже торговли нет...

Отец отпускал нас, и мы уходили с глубокою благодарностью матери и с ненавистью к лавке. Отец же, ничего не подозревая, простодушно и искренно говорил матери:

— Вот, Евочка, слава Богу, уже и дети мне в торговле помогают...

— Конечно, славу Богу,— соглашалась мать.— Жаль только, что у них, у бедных, каникулы пропадают.

— Ничего. Пусть к делу приучаются. Потом, когда вырастут, нагуляются...

Судьба однакоже сжалилась над нами, и одни каникулы у нас не пропали даром. Нас отпустили из душного города в деревню, к дедушке и к бабушке в гости. Это не важное само по себе событие осталось у нас в памяти надолго.

Дедушку Егора Михайловича и бабушку Ефросинью Емельяновну мы знали очень мало или даже почти вовсе не знали. Но рассказов и притом рассказов самых завлекательных мы слышали о них очень много. Отец нередко, придя в благодушное состояние, говаривал сам про себя:

— Эх, теперь бы в Крепкую съездить к папеньке и к маменьке! Теперь там хорошо!..

Если это восклицание вырывалось у нашего отца при нас, при детях, то мы настораживались, а он обыкновенно начинал с любовью рассказывать о своих родителях, то есть о наших дедушке и бабушке, и в его рассказах слобода Крепкая выходила таким раем земным, а старые дедушка и бабушка такими прекрасными людьми, что нас так и тянуло к ним.

— Вот бы поехать в Крепкую! — вздыхая, говаривал Антоша после таких рассказов.

— Да, не дурно бы,— вздыхал в свою очередь и я.— Но ведь нас одних не пустят. К тому же и лавка...

Дедушка наш, Егор Михайлович, много, много лет служил управляющим у богатого помещика, графа Платова, и жил безвыездно в слободе Крепкой, лежащей верстах в семидесяти от Таганрога. В те времена на юге России железных дорог не было и семьдесят верст были таким огромным расстоянием, что наш отец и дедушка, живя так недалеко друг от друга, не виделись целыми десятками лет. Отец наш если и вздыхал по временам по Крепкой, то скорее по воспоминаниям, и если бы и попал в эту слободу как-нибудь вдруг, каким-нибудь волшебством, то, наверное, не узнал бы ее, а пожалуй, и заблудился бы в ней. Тем не менее она казалась ему прекрасной, и рассказы о ней приводили нас в восхищение. Мы с детства были знакомы со степями, окружавшими Таганрог, но, по рассказам отца, степи в Крепкой были куда роскошнее и просторнее наших, а степная речка Крепкая

являлась чуть ли не царицей всех степных рек России. Отец невольно, и сам того не подозревая, поэтизировал места и людей, которые окружали его молодость, но мы, дети, принимали все это за чистую монету и страстно мечтали о том, чтобы хоть когда-нибудь побывать в этих благодатных местах.

— Когда я вырасту большой и у меня будут свои деньги, то я непременно съезжу к дедушке и бабушке,— мечтал Антоша.

Я хотя и был почти на три года старше брата Антона, но на этот счет думал так же, как и он, и мечтал буквально так же. Я уже побывал в соседних городах: Ростове-на-Дону и Новочеркасске, и видел воочию реку Дон; но все-таки мне казалось, что степная слобода Крепкая, с ее речонкой, гораздо больше, красивее и даже величественнее этих городов — и меня тянуло туда.

Можно представить себе поэтому, что испытали я и брат Антоша, когда однажды в июльский вечер наша добрая мать, Евгения Яковлевна, с улыбкою шепнула нам:

— Проситесь у папаши: может быть, он вас и отпустит ненадолго погостить в Крепкую. Оттуда оказия пришла...

«Оказия пришла» — значило, что кто-нибудь из Крепкой приехал. Мы давно уже привыкли к этому слову и понимали его. В те времена почта в слободу Крепкую не ходила.

Узнав от матери об оказии, я и Антоша со всех ног опрометью бросились в лавку, к отцу, и, несмотря на то что там были посторонние покупатели, заговорили в один голос.

— Папаша, милый, дорогой, отпустите нас к дедушке в гости!..

Не знаю, было ли заранее условлено между нашими родителями доставить нам это удовольствие, или же на отца напал особенно добрый стих, но только, к нашему необычайному удивлению, прямого отказа мы не получили.

— Там увидим,— сказал отец в ответ на наши просьбы.— Утро вечера мудреней. Там посмотрим,— прибавил он загадочно.

С этим ответом мы оба, взбудораженные и взволнованные, полетели к матери.

— Мамочка, папаша сказал, что утро вечера мудренее. Как вы думаете, отпустит он нас или нет?

— Не знаю,— отвечала мать, тоже, как нам показалось, улыбаясь загадочно.

— Попросите, дорогая, золотая, чтобы отпустил! — взмолились мы оба.

— Проситесь сами. Может быть, и отпустит...

Тон, которым мать произнесла последние слова, показался нам почти что обнадеживающим, и мы возликовали и попросились в городской сад, где каждый вечер играла музыка и собиралось много публики. Нас отпустили с обычным напутствием:

— Идите, только возвращайтесь пораньше и смотрите не шалите там...

Какое тут шалить!!. Тут было не до шалостей. Мы переживали такое важное событие, что о шалостях нечего было и думать. Душа просилась наружу и требовала поделиться с товарищами. Антоша, как маленький гимназистик, встретив своих товарищей, сказал просто:

— Меня с Сашей папаша, кажется, отпустит в Крепкую к дедушке. Говорят, что там хорошо...

Ученику пятого класса, каким я гордо считал себя в то время, не годилось, конечно, объявлять о предстоящей поездке так просто и так детски наивно. Поэтому я, напустив на себя серьезность, начинал речь с гимназистами и с товарищами по классу не иначе, как словами:

— Я, кажется, скоро ненадолго уеду из Таганрога, поэтому...

Эту ночь мы спали довольно плохо, и старая нянька, Аксинья Степановна, доложила наутро матери, что Антоша ночью метался. Мне же снилось, что куда-то еду и никак не могу приехать: что-то задерживает и препятствует... Первый вопрос утром, когда мы только что раскрыли глаза, был:

— Отпустят нас или не отпустят? Поедем мы или не поедем?

Понятное дело, что мы сейчас же пристали к родителям; но мать была чем-то озабочена по хозяйству, а отец приказал нам заняться торговлею в лавке и сам ушел куда-то по делу до самого обеда. Мы приуныли было, но скоро несколько и утешились. Мы узнали, кто приехал от дедушки и от бабушки «с оказией».

Это был машинист графини Платовой!.. Это была в своем роде персона!

Часов около двенадцати дня к дверям лавки подъехали длинные дроги, запряженные в одну лошадь. Лошадью правил молодой хохол, парень лет восемнадцати или девятнадцати. Дроги остановились, и с них слез и вошел в лавку приземистый человек лет сорока, или около того, в поношенной и запыленной нанковой паре и в измятой и тоже запыленной фуражке. Мы приняли его за обычного покупателя и уже приготовились задать обычный вопрос: «Что вам угодно?», но он опередил нас озабоченным вопросом:

— А Павел Егорович где?

Мы ответили, что отец наш, Павел Егорович, скоро придет, но что если нужен какой-нибудь товар, то можем отпустить и мы, без отца.

— Да нет же, не то! Какой там товар,— заговорил еще более озабоченным тоном приземистый человек.— Мне самого Павла Егоровича нужно. Да и не его самого, а письмо. Он обещал приготовить письмо в Крепкую, к своему родителю, и велел заехать... Я заехал, а его нету... А мне спешить надо: завтра утречком раненько я домой отправлюсь...

У меня и у Антоши забилось сердце.

— Вы не знаете, дети, написал ваш папаша письмо к Егору Михайловичу или нет?— обратился он к нам.

Мне показалось обидным, что этот господин так бесцеремонно зачислил меня, ученика пятого класса, в разряд детей, но я поборол в себе оскорбленное самолюбие, потому что видел перед собою ту самую «оказию», от которой зависела, быть может, наша предполагаемая поездка. Я вежливо ответил, что о письме нам ничего не известно, и с бьющимся сердцем спросил:

— Вы из Крепкой? Как поживают там дедушка Егор Михайлович и бабушка Ефросинья Емельяновна?

— А что им, старым, делается?— равнодушно и как бы нехотя ответил приземистый человек.— Только они живут не в Крепкой, а в Княжой, в десяти верстах. В Крепкой другой управляющий, Иван Петрович.

— Как не в Крепкой?— удивился я.— Ведь дедушка раньше в Крепкой служил у графини Платовой.

— Служил, а теперь не служит больше. Проштрафился чем-то, ну, графиня и перевела его подальше от себя, в Княжую...

Еще более удивленный этим неожиданным сообщением, я стал было задавать еще целый ряд вопросов, но человек, изображавший собою «оказию», уже не слушал меня, а подойдя к дверям лавки, стал кричать на улицу молодому парню, сидевшему на дрогах:

— Ефим! Гайка цела?

— Цела,— отвечал лениво парень.

— И винт цел?

— Все цело! — ответил еще ленивее парень.

— То-то, гляди у меня, не потеряй: без гаек и без винта машина не пойдет... Ежели потеряешь, не дай Бог, то придется опять в Таганрог ехать и графиня ругаться будет!.. Ты погляди под собою на всякий случай: цело ли?

Ефим отмахнулся от этих слов как от назойливой мухи, ничего не ответил и только вытер ладонью вспотевшие и загорелые лицо и шею. Июльское полуденное солнце пекло страшно и накаливало все — и каменные ступени крыльца, и пыль на немощеной улице. Все изнывало от жары. Одни только воробьи задорно чирикали и весело купались в дорожной горячей пыли. Не получив ответа от Ефима, приземистый человек обернулся к нам и стал объяснять:

— Тут, дети, такая история вышла, что и не дай Бог. В машине лопнула гайка от винта — и пришлось за нею, за треклятой, из Крепкой в Таганрог ехать. Без гайки машина не пойдет. Без гайки возьми ее да и выбрось. Привезли винт да по нем и подобрали гайку в железной лавке.

— Какая это машина? — полюбопытствовал брат Антоша.

— Известно, какая бывает машина, обыкновенная,— получился ответ.— Так нету письма? Что же мне теперь делать? Мне надо завтра раненько утречком, чуть свет, домой отправляться, иначе мы к ночи назад в Крепкую не поспеем... И графиня будет недовольна... Графиня у нас строгая.

— Подождите. Скоро папаша придет,— посоветовали мы.

— Как тут ждать, когда спешка... Ежели нескоро, то я без письма уеду. Так и скажите папаше...

Он снова повернулся лицом на улицу и крикнул своему вознице:

— Гляди же, Ефим, не потеряй!.. Накажи меня Бог, опять придется в город ехать...

Тут, к нашему неописанному удовольствию, на пороге показался возвратившийся отец. Приземистый человек снял фуражку и с выражением радости на лице обратился к нему:

— А я, Павел Егорыч, за письмом!... Думал уже, что с пустыми руками уеду, накажи меня Бог...

Когда отец был в лавке, наше присутствие не считалось необходимым, и мы тотчас же полетели к матери докладывать о происшедшем.

— Значит, мы с ним поедем? С этим человеком, у которого винт и гайка? — захлебываясь, допрашивали мы.

Но ответа мы не получили. Мать вызвали к отцу в лавку, и мы не узнали ничего. Через четверть часа однако же я не утерпел и послал брата.

— Сходи, Антоша, в лавку будто бы по какому-нибудь делу и посмотри, что там творится. Может быть, и услышишь что-нибудь.

Брат сходил и очень скоро вернулся с известием, что родители и приезжий сидят за столом в комнате при лавке и что перед приезжим поставлены графинчик с водкой и маслины. Когда же Антон остановился среди комнаты и хотел послушать, о чем говорят, то ему было сказано:

— Иди себе. Нечего слушать, что старшие говорят...

— Ну, брат Антоша, значит, поедем, — решил я. — Папаша зря никого водкой угощать не станет... Советуются...

Брат только вздохнул, и мы оба еще пуще заволновались. Очень уж нам хотелось вырваться на свободу и хоть на несколько дней избавиться от опостылевшей лавки. Собственно, дедушка и бабушка манили нас к себе очень мало: нас прельщала жажда новых мест и новых приключений. Года два или три тому назад старики, Егор Михайлович и Ефросинья Емельяновна, приезжали на короткое время в Таганрог и произвели на всю нашу семью и на всех наших знакомых не особенно выгодное для себя впечатление своей деревенской мужиковатостью и тем, что

осуждали городские порядки. Дедушка резко нападал на моды, и матери, и теткам сильно досталось от него за тогдашние шляпы и шлейфы. Отцу нашему сильно досталось за то, что он отдал нас в гимназию, а не рассовал в мастерство к сапожникам и портным.

— Там, по крайней мере, из них люди вышли бы,— подкрепил дедушка свои доводы,— а в гимназии они, не дай Бог, еще умнее отца с матерью станут...

Я попробовал было тогда вмешаться в разговор и заступиться за честь гимназии, но дедушка без церемонии оборвал меня грозными словами:

— А ты молчи и не суйся, когда старшие говорят... Из молодых да ранний!.. Ученый дурак...

Тогда я страшно оскорбился, но возражать, конечно, не смел и только затаил оскорбление в душе. Я помнил эту обиду и теперь; но что стоит какая-нибудь ничтожная размолвка в сравнении с веселой поездкой, с сознанием того, что ты свободен, что ты принадлежишь самому себе и что не нужно сидеть в лавке! За это все можно было простить...

Антоша привык верить мне, как старшему, и теперь смотрел мне прямо в лицо, стараясь прочесть на нем, точно ли я сам уверен в том, что мы действительно поедем. Но я сам страшно волновался и испытывал ощущения человека, которого приговорили к наказанию, но могут и простить; состояние довольно жуткое — в душе и надежда, и страх...

По случаю угощения «оказии» обедали несколько позже обыкновенного, но мы с братом Антошей почти ничего не ели и томились страшно в ожидании, чем решится наша участь. А отец и мать как назло молчали и только изредка перекидывались между собою ничего не значащими словами. Лишь уже вставая из-за стола, отец как-то вскользь проговорил матери:

— Я, Евочка, пойду писать папеньке и маменьке письмо, а ты приготовь детям что нужно в дорогу...

— Поклонись им и от меня,— совершенно спокойно ответила мать.

Мы с братом радостно переглянулись. Хотя нам не было прямо сказано ни одного слова, но мы поняли, что наша давнишняя мечта близка к осуществлению и что мы едем. Но нас страшно удивило то спокойствие, с каким

родители отнеслись к такому необычайному событию, как наша поездка. Тут нужно радоваться, кричать, прыгать. А они...

И действительно, как только отец скрылся за дверью, я сразу позабыл, что я ученик пятого класса, и принялся так прыгать козлом и выдавать такие коленца, что старая нянька, Аксинья Степановна, только всплеснула руками и в испуге проговорила:

— Мать царица Казанская богородица! Никак ты, Саша, белены объелся?! Антошу-то пожалей: ведь и он, малый ребенок, глядя на тебя, такие же выкрутасы выделывает и того и гляди шейку себе сломает!.. Не беснуйся, говорят тебе!..

Но мы не слушали няньку и продолжали бесноваться и неистовствовать. Я вертелся на одной ноге и бессмысленно, бессчетное число раз повторял:

— Едем в Крепкую! Едем в Крепкую! Едем в Крепкую!..

В этот миг малороссийская, совершенно еще незнакомая нам слобода казалась прекраснее всех населенных мест в мире и даже много лучше, чем повествовал о ней отец.

Вечером нам было официально объявлено, что нас отпускают к дедушке и к бабушке в гости, что повезет нас машинист графини Платовой и что мы должны вести себя как в дороге, так и в Крепкой прилично, не шалить, между собою не ссориться и не драться, к дедушке и к бабушке относиться почтительно и так далее, и так далее. Словом, было прочитано неизбежное в таких случаях нравоучение, удостоверявшее, что мы и в самом деле едем... В заключение нам рекомендовалось лечь спать как можно пораньше.

— Машинист сказал, что в шесть часов утра он уже приедет за вами, и просил его не задерживать. Вам надо встать в пять. Явдоха вам самовар поставит,— сказала мать.

Само собою разумеется, что от волнения и от радости мы не были в состоянии заснуть добрую половину ночи и после долгой, нервной бессонницы сладко и крепко разоспались как раз к тому времени, когда уже нужно было вставать. Дюжая хохлушка Явдоха лишь с большим трудом растолкала меня и Антошу.

II

Июльское раннее утро, как это часто бывает на юге России, выдалось прелестное — ясное и свежее, с чуть заметной, приятной прохладой. В самом начале шестого мы с Антошей были уже на ногах и пили чай, поданный полусонной Явдохой. Но чай не лез в горло. Какое могло быть чаепитие, когда мы по десяти раз в одну минуту должны были подбегать к окошку и смотреть, не подъехал ли машинист графини Платовой?!. При охватившем нас волнении мы не были в состоянии проглотить ни одной крошки хлеба, а чая не были в силах выпить и по полустакану. Мы боялись, как бы не прозевать.

В шесть отперли лавку, и мы бросились туда, потому что из дверей ее были видны три улицы сразу. Вышел отец, степенно, как всегда, помолился Богу, сел за конторку спокойно и чинно и минут через десять спросил:

— Не приезжал еще этот, как его..?

— Нет еще, — ответили мы оба в один голос, почти дрожа от нетерпения.

Отец зевнул и, по-видимому, от скуки, так как не было еще ни одного покупателя, начал:

— Так вы, Саша и Антоша, того... Кланяйтесь дедушке и бабушке, ведите себя хорошо, не балуйтесь...

Началась снова длинная, тягучая вчерашняя канитель, но мы не в силах были ее слушать. Уже была половина седьмого, а машиниста еще не было. В моем мозгу вдруг пронеслась убийственная мысль.

— Уж не проспали ли мы его? — шепнул я брату. — Он ведь хотел с зарею, чуть свет...

Антоша изменился в лице и только пристальнее стал смотреть на дорогу, по которой должен был приехать машинист.

Пробило семь. С того момента, как мы проснулись, протекло уже два часа — два часа самого беспокойного и томительного ожидания. Кто переживал подобные часы, тот поймет, что мы перечувствовали. В наши души начало прокрадываться отчаяние. Вскоре вышла и мать, слегка заспанная, и первым делом удивилась:

— Вы еще не уехали? А я боялась, что просплю... Передала вам няня Аксинья Степановна узелки: один с едою, а другой с бельем? Смотрите не забудьте взять с собою гимназические драповые пальто на случай, если пойдет дождь... Досыта ли напились чаю?..

Добрая мать сразу же захлопотала о нас и о наших удобствах в дороге, вовсе даже и не догадываясь о той муке, которая терзала наши души. Она хлопотала, но мы только делали вид, будто слушаем ее; на самом же деле все наше внимание было обращено на улицу, где должны были загрохотать колеса вчерашних дрог. Часы пробили половину восьмого, и на наших лицах, должно быть, появилось очень скорбное выражение, потому что и мать, взглянув на нас и на часы, сочувственно произнесла:

— Что же это он? Обещал в шесть... Верно, задержало что-нибудь... Как бы не обманул...

Это еще более подлило отчаяния в наши уже и без того исстрадавшиеся сердца. Но судьбою нам предназначено было испытывать воления и муки еще целые полчаса. Машинист приехал только в восемь и приехал озабоченный и торопливый. <...>

Мы стояли тут же перед ним, держа каждый по узелку, но он не видел нас и только торопил.

— Да поскорей же, Павел Егорыч, давайте детей! Не поспеем, накажи меня Бог... Дорога длинная... Ефимка, гайка и винт целы? Гляди не потеряй!.. Ага, вы уже готовы?! Вот и хорошо! Садитесь поскорее на дроги, и поедем! Скорей, скорей!.. Господи, куда уже солнце поднялось, убей меня Бог!.. Ну, живо, живо!

Но не тут-то было. Отец величаво поднялся с своего места, взял в руки книжку в кожаном переплете и сказал, обращаясь к нам и к машинисту:

— Пожалуйте!

— Куда еще? — оторопел машинист. — Мне некогда. Ехать надо... Опоздали...

— Пожалуйте! Без этого никак нельзя! — строго сказал отец и повел нас всех в комнату при лавке. Здесь, поставив нас лицом к висевшей в углу иконе, он не торопясь раскрыл книгу в кожаном переплете, порылся в ней и начал внятно и медленно читать молитву «о странствующих, путешествующих и сущих в море и далече...»

— Да Боже мой! Какие тут молебны, когда ехать надо?! — запротестовал машинист.

— Молитесь и вы, — сказал отец, обращаясь к машинисту. — Вы тоже едете, и вам также благословение Божие нужно.., — строго сказал отец и продолжал читать.

Читал он медленно и внятно. Он был набожен, не пропускал по праздникам и под праздники ни одной цер-

ковной службы, любил читать на клиросе и вообще ничего не предпринимал без молитвы. Машинист не знал этих особенностей и настойчиво прервал чтение.

— Ну, помолились и будет! — сказал он.— И так опоздали, накажи меня Бог!

Отец, не обращая внимания, продолжал читать, прочел молитву до конца и закрыл книгу. Машинист обрадовался.

— Положите теперь по три земных поклона,— приказал нам отец.

— Фу ты, господи боже мой! — хлопнул себя по бедрам машинист.— Говорят же вам, что мы, пожалуй, до Крепкой нынче не доедем!..

— Без благословения божия нельзя. Все надо начинать с молитвою,— произнес отец, пока мы клали поклоны.

— Вот такой же, накажи меня Господь, и родитель ваш Егор Михайлович упрямый! — проговорил с досадою машинист.— Ты ему говоришь свое, а он тебе — свое. За то его графиня и в Княжую из Крепкой на понижение перевела... Ну, дети, кончили поклоны,— теперь гайда на дроги! Берите, какие там у вас есть вещи, и скорее садитесь!.. И так опоздали, накажи меня Господь...

Мы с братом бросились опрометью к двери, но отец остановил нас.

— Подойдите под благословение! — сказал он и стал крестить нас медленно и истово.

Машинист имел вид человека, готового треснуться головою об стену.

— Живо, живо! — торопил он нас.— Ежели бы я знал, что такая проволочка времени будет... Теперь бы мы уже за пять верст от города были... Отблагословились, дети, и гайда!.. Прощайте, Павел Егорыч!..

— Сходите теперь к мамаше, пусть она вас благословит на дорогу,— обратился к нам отец с прежней степенностью.

Машинист круто повернулся и быстро направился было к двери. Мы с братом побледнели. Но, по счастью, мать оказалась тут же и поджидала нас. Она наскоро перекрестила нас и еще скорее проговорила:

— Ну, поезжайте с Богом! Все ли взяли с собою?.. Охота тебе, Павел Егорович, человек в самом деле спешит. Ему минута каждая дорога...

— Вот, вот, Евгения Яковлевна! — обрадовался машинист. — Именно каждая минута, а тут молебны поют... Все на мою бедную голову валится, накажи меня Бог!.. И винт, и гайка, и Ефимка чертов проспал... Прощайте... Я бы теперь уже за десять верст был... До свидания!.. Гайда, дети... Ефимка, пускай дети сядут!..

Само собою разумеется, что повторять нам было незачем. Наскоро поцеловав руку отцу и матери, мы менее нежели в три секунды уже сидели на дрогах, свесив ноги и прижимая к себе узелки. Отец и мать прощались на крыльце лавки с машинистом, говорили нам что-то и спрашивали, но мы не слушали и отвечали невпопад. Мы радовались и в то же время трепетали, как бы на грех не случилось опять какой-нибудь задержки. Но на этот раз все обошлось благополучно и даже, пожалуй, более чем благополучно, потому что машинист, сняв фуражку и осклабившись, сказал отцу:

— Покорнейше вас благодарю, Павел Егорыч! Будьте спокойны: довезу деток в полной сохранности. Они у вас оба хорошие дети. В целости доставлю, накажи меня Бог.

Распрощавшись с нашими родителями, машинист подошел к дрогам, спрятал в кошелек не то монету, не то бумажку и весело заговорил:

— Уселись, дети? Хорошо уселись? Ты смотри, Ефимка, это такие дети, такие дети, что... Гайка и винт целы? Не потеряли? А то ведь за ними, накажи меня Господь, опять придется ехать в Таганрог... Сиди на них покрепче, и чтобы они из-под тебя не вывалились по дороге... Убью, накажи меня Бог, убью!.. Бублики и огурцы взял?

— Садитесь уже, будет вам хороводиться! — проговорил с неудовольствием Ефим.

— Садитесь! — передразнил машинист. — Надо сесть поудобнее и чтобы не раздавить... Теперь нас на дрогах не двое, а четверо... Фу, как солнце высоко поднялось! Не доедем нынче... Ну, гайда с Богом! Трогай... Господи благослови...

Машинист, усевшись спиною к нам и тоже свесив ноги, перекрестился несколько раз быстро, скорее махая рукою, нежели крестясь. Ефим чмокнул, и мы тронулись. С крыльца лавки нас провожали напутственными возгласами чуть не все домочадцы. Даже Явдоха, бросив кухню, выбежала сюда же поглядеть, как отъезжают паничи. Мать благословляла нас вслед и что-то говорила, но мы

не слышали ничего, да, по правде сказать, и не слушали, не до того нам было. Последняя фраза, долетевшая до нас, была:

— Смотрите же, не шалите там! Дедушка этого не любит.

Больше мы уже ничего не могли услышать, потому что за нами уже стояло огромное облако пыли, поднятой с немощеной улицы копытами лошади и колесами наших дрог. Эта пыль сразу окутала нас и мигом осела на нас же. Но мы были рады ей как чему-то особенно приятному и дорогому. Мы были на свободе. Все осталось позади нас в этом буром столбе — и гимназия, и лавка, а впереди нас ждали широкие и необъятные степи и такой простор, широкий и ничем не стесняемый простор, что перед ним покидаемый нами город казался тесной тюрьмою.

III

Минут через десять мы были уже в степи, переживавшей в июле вторую половину своей молодости. Все степные растения спешат отцвести к июню и в июле дают уже семена, а сами блекнут, покорно отдаются во власть палящего солнца, буреют и сохнут. Но и в эту пору степь прекрасна своим широким простором и курганами. Сверху, с голубого горячего неба, льется трель невидимого жаворонка. Сколько ни ищи его глазами — ни за что не увидишь. Виден только плавно парящий коршун. Крылья его почти неподвижны, и он каким-то чудом держится в воздухе; потом вдруг, свернувшись клубком, стремительно падает на землю, как камень, и вновь взвивается вверх, но теперь уже с добычей. Низко над травою и бурьяном летают разноцветные бабочки, а в траве, сидя на задних лапках, свистят суслики.

Хорошо, ах, как хорошо, просторно и свободно! Мы с Антошей онемели от восторга, молчали и только переглядывались. Дорога была гладкая, и мы катились ровно и без толчков, оставляя за собою ленивый столб пыли, уже успевшей покрыть собою наши гимназические мундиры и фуражки. Отчего нельзя ехать по степи всю жизнь, до самой смерти, не зная ни забот, ни латыни, ни греческого, ни проклятой алгебры, огорчавшей меня всегда одними только двойками?

Антоша, судя по его жизнерадостному лицу и счастливой улыбке, думал то же самое. Его широко раскрытые глаза говорили: к чему лавка, к чему гимназия, когда есть степь и в этой степи так хорошо и приятно?..

Мы глядели на грязную холщовую рубаху Ефима, упершегося ногами в оглобли, на его загорелую шею и на затылок,— и они казались нам красивыми и чуть ли не родными; а тащившая нас некрупная степная лошадка была нам симпатична и мила.

Проехав три или четыре версты, машинист велел кучеру остановиться и спрыгнул на землю. Порывшись у себя под сиденьем, он достал оттуда солидных размеров штоф, приложился к нему и потом передал Ефиму со словами:

— Пей, только не очень, а то пьяный будешь... Да и жаркий же день нынче будет, накажи меня Бог...

Версты через три машинист повеселел и заговорил с кучером про нас.

— Это, Ефимка, такие дети, такие дети, что и... Других таких детей не найдешь. Ихный папаша бакалейной лавкой торгует. Славные дети, накажи меня Бог... Тпру, стой! Я еще выпью... Выпей и ты, только не очень, а то пьяный будешь.

Поехали дальше. Несколько верст машинист разговаривал то сам с собою, то с Ефимом и говорил о винте, о гайке и о строгой графине, но потом умолк. А Ефим неожиданно обернулся к нам и, глядя на нас посоловевшими глазами, ни с того ни с сего спросил:

— А у вашего папаши много денег?

Все это — и бормотание машиниста, и частые остановки, и прихлебывание, и посоловевшие глаза Ефима, и суслики, и знойный воздух,— все это нравилось нам. Часа через полтора мы въехали в веселенькую слободку, состоявшую из беленьких, чистеньких и ослепительно блестевших на солнце хаток, крытых соломою, и остановились у кабака. Машинист слез, достал опустевший штоф и скрылся в дверях, казавшихся после яркого солнечного света черными и прохладными. Скоро оттуда послышался голос:

— Ефимка, иди сюда!..

Кучер медленно и лениво пошел на зов и, уходя, буркнул:

— Поглядите, паничи, за конякою. Я сейчас...

Мы охотно согласились. Но разве утерпишь? Разве не любопытно посмотреть, что делается в кабаке? Через минуту мы оба были уже в грязной, пропитанной сивухою комнате с грязным полом. На грязном и мокром прилавке стоял поднос с двумя толстостенными стаканчиками, а еще дальше — бочонок с позеленевшим краном.

— Пей, Ефим, только смотри, чтобы винт и гайка были целы. Без винта машина не пойдет, накажи меня Бог... Мойше, дай огурчика закусить...

Ефим выпил с трудом и чуть не подавился. Увидев нас, машинист осклабился и стал объяснять стоявшему за прилавком еврею:

— Внуков к дедушке и бабушке везу в гости... Это такие дети, такие дети, что и за деньги не купишь.

— И слава Богу, — сказал равнодушно еврей, даже не взглянув на нас. — У меня тоже дети есть.

Нас потянуло на улицу, которая сразу показалась нам горячей. На белые хатки больно было смотреть. Пирамидальные тополи и зеленые садики не то нежились на солнце, не то страдали от зноя. У колодца с журавлем, вырытого почему-то на самой середине улицы, тощая черная собака жадно лакала из лужи воду. На улице не было ни души. Антоша и я вдруг почувствовали голод, развязали узелок и принялись есть колбасу, пирожки и крутые яйца. Боже, до чего это было вкусно! Впоследствии, во всю жизнь мы ни разу не ели с таким дивным аппетитом. К концу трапезы в нашем узелке оставалось уже очень немного. К нам подошла черная собака, завиляла хвостом и стала подбирать кожицу от колбасы и крошки. Мы ее погладили... Через несколько времени в дверях показались машинист и Ефим. Машинист поглядел на солнце и с досадою проговорил:

— Фу, как высоко поднялось, будь оно неладно!.. Пожалуй, нынче до Крепкой не доедем... Винт и гайка целы?.. Накажи меня Бог...

Оба они подошли к дрогам очень нетвердою походкой. Ефим долго усаживался на свое место, а усевшись, уронил вожжи и должен был слезть, чтобы поднять их. Сел и опять уронил. Машинист стоял у дрог, покачиваясь взад и вперед, и никак не мог запрятать под сиденье наполненный штоф. После долгих усилий однако же все уладилось и все были на своих местах.

— Вы, господин, смотрите не упадите,— произнес еврей, показываясь в дверях кабака.

— Не твое дело,— обиделся машинист и выбранился.

— Я для вас же говорю, господин, для вашей пользы,— продолжал, нисколько не смущаясь, еврей.— Вы бы легли. Ей-Богу, лучше бы легли. А хлопчики сядут по бокам.

Машинист опять выбранил еврея, но задумался и наконец решил:

— А ну-ка и вправду слезьте, дети.

Мы слезли. Машинист растянулся во всю длину дрог, лицом кверху, и с блаженною улыбкою проговорил:

— Как в царстве небесном... Садитесь, дети... Ефим, трогай...

Дроги опять покатились. Мы с Антошей кое-как приткнулись, и сидеть нам было ужасно неудобно. Но это только прибавляло веселья. Машинист скоро захрапел, несмотря на то что горячее солнце жгло ему прямо в лицо и в глаза. Ефим замурлыкал какую-то заунывную песенку, но пел ее очень недолго. Не успели мы отъехать и версты от слободы, как голова его бессильно опустилась на грудь и вожжи выпали из рук. Мы с братом переглянулись.

— Ефим заснул! — воскликнул Антоша.

Как бы в ответ на это восклицание тело нашего кучера стало понемногу клониться и валиться на спину и после короткой, но бессознательной борьбы свалилось совсем, и голова его пришлась как раз на плече у машиниста, а ноги болтались у передка дрог. Он тоже начал громко храпеть. Лошадь шла по дороге сама, а вожжи ползли по земле.

Тут для нас с братом наступило настоящее раздолье, начавшееся спором, дошедшим чуть не до драки. Каждому из нас захотелось овладеть вожжами и править лошадью.

— Я буду править! — крикнул я.

— Нет, я! — тоже вскричал Антоша.

— Ты не умеешь...

— И ты не умеешь...

— Нет, умею!

На наше счастье и лошадь встала. Мы оба соскочили с дрог на землю, подняли волочившиеся по дороге вожжи и за обладание ими чуть не подрались. Верх взял, конечно, я, как старший и сильнейший, но решили мы

все-таки править по очереди. Ни один из нас до сих пор не держал в руках вожжей, и потому можно себе представить, что испытала бедная лошадь, когда я, понукая, стал дергать ее изо всей силы. Несколько десятков саженей она действительно будто бы и пробежала, но потом встала и упорно отказалась двигаться с места.

Вожжи перешли в руки Антоши. Он надулся, покраснел от счастья и задергал лошадь еще неистовее, чем я. Несчастная лошадь только замотала головою, я пустил в дело кнут, и к великому нашему удовольствию дроги покатились вперед.

— Ты не умеешь править, а я умею,— торжествовал брат, дергая и хлопая вожжами изо всей силы.

Но торжество его было непродолжительно. Лошадь неожиданно свернула с дороги в поле, засеянное каким-то сочно-зеленым растением, врезалась далеко в траву и принялась с видимым наслаждением лакомиться чужим добром и производить потраву. Как мы ни были глупы и неопытны, однако же сообразили, что вышло что-то неладное. Точно сговорившись, мы бросили вожжи и кнут, уселись как ни в чем не бывало по своим местам и принялись будить и толкать Ефима. Но усилия наши были тщетны.

— Нехай сперва Ванька, а потом уже и я,— бормотал Ефим, не раскрывая глаз.

Принялись за машиниста и стали расталкивать его самым добросовестным образом. Но и тут получился плачевный результат. Машинист раскрыл глаза, обвел нас мутным, бессмысленным взором, почавкал губами и дружелюбно проговорил:

— После, дети, после... Я знаю... винт...

Он сделал было попытку повернуться поудобнее на бок и освободил плечо, на котором лежала голова кучера, но это ему не удалось и он захрапел еще слаще и сильнее. А лошадь тем временем подвигалась шаг за шагом все глубже и глубже в зеленое поле. За нами уже осталось позади сажени три измятой свежей зелени, безжалостно притиснутой к земле колесами и копытами. Проезжая дорога виднелась как бы через живой коридор.

Положение наше было и жутко, и комично. И как назло на пустынной дороге ни одной живой души и ни одного воза!.. Выждав несколько времени, мы попробовали было еще раз потормошить наших менторов, но ре-

зультат получился тот же. Простояли мы таким манером довольно долго и от нечего делать прогулялись взад и вперед по дороге, посидели на меже, несколько раз подходили к дрогам и опять принимались слоняться. Сначала наше положение занимало нас, а потом наконец нам стало скучно. На дрогах царствовал сон, а лошадь углублялась в чужое засеянное поле все больше и больше. В конце концов стоянка показалась нам до того продолжительной, что нам снова захотелось есть, и мы направились к дрогам, к нашему узелку с остатками провианта. Но тут уже к нашему неописуемому удовольствию начиналось пробуждение. У машиниста, вероятно, заболело плечо от тяжелой головы Ефима. Он беспокойно задвигался, открыл глаза, но долго не мог ничего сообразить. Не без труда высвободив плечо, он сел и начал дико озираться. Кучер же продолжал храпеть.

— С нами крестная сила! Где же это мы, накажи меня Бог? — проговорил машинист. — Ефимка, ты спишь, дьявол?!.

Антоша и я наперебой поспешили разъяснить вопрос о том, где мы и что с нами случилось, но при этом, конечно, умолчали о том, что мы оба «правили» лошадью и что лошадь зашла в чужое поле, пожалуй, по нашей вине. Машинист выслушал нас внимательно, выбранился и без всякой церемонии схватил сонного кучера за волосы и стал таскать из стороны в сторону до тех пор, пока тот не проснулся. Испуганный Ефим поспешил вывести лошадь на дорогу и подал совет:

— Садитесь все скорее, надо утекать что есть духу. А то придется платить за потраву, да еще и шею накостыляют...

— Анафема ты собачья, накажи меня Бог! — с отчаянием воскликнул машинист и поднес к лицу кучера судорожно сжатый кулак.

IV

С версту мы промчались чуть не в карьер. Кнут без перерыва свистал в воздухе и безжалостно хлестал несчастную лошадь по бокам.

<...> Версты через две Ефим поглядел на небо и проговорил:

— До ночи мы на постоялый двор не поспеем.

Машинист так и подпрыгнул на своем сиденье.

— Не поспеем? — испуганно проговорил он. — Где же тогда, накажи меня Бог, ночевать будем?

— А я почем знаю? Должно быть, в степи заночевать придется, — спокойно и даже равнодушно ответил Ефим.

Машинист заметно побледнел.

— Может быть, до хутора доедем? — спросил он.

— И до хутора не доедем: проспали.

— О, чтоб тебя, проклятого! Чтоб ты скис, чертов сын! Чтоб ты... накажи меня Господь...

Из машиниста, как из мешка, посыпались брань и укоризны.

— Как хочешь, а поспешай, — проговорил он решительно и строго. — Куда-нибудь приткнуться надо. В степи я ночевать боюсь... Так и знай, что боюсь, накажи меня... С нами дети чужие: им нельзя в степи ночевать. Егор Михайлыч узнает, так он тебя со свету сживет...

По бокам злополучной лошади опять зачастил кнут. Солнце уже заметно склонялось к западу, и Ефим не без тревоги поглядывал на него. Прошло несколько времени — и лошадь, выбившись из сил, пошла шагом. Машинист заволновался. А тут еще и Антоша прибавил ему тревоги, сделав неожиданное заявление.

— Пить хочу. Дайте воды.

— Пить? — встревожился машинист. — Вот тебе и раз! Где я тебе возьму воды в степи? Тут близко ни одной криницы нет. Отчего ты, накажи меня Бог, в слободе не пил, когда проезжали?

— Тогда не хотелось.

— Ну, и дурак, что не хотелось. Теперь жди, покамест до какого-нибудь хутора доедем. Тогда и напьешься... Вот еще наказание...

Заявление брата напомнило и мне о воде; я тоже вдруг почувствовал жажду — и это сразу испортило наше хорошее настроение духа. Теперь уже все — и степь, и дорога, и люди, и лошадь стали казаться нам скучными и неприятными. Выходило так, как будто бы мы кем-то и чем-то были обижены, и оба мы нахохлились. Ефим поглядел на нас с состраданием.

— А вы, паничи, кислицы поешьте: вам легче будет. Все равно как будто бы напьетесь.

— Что это за кислица? — спросил Антоша.

— Трава такая в степи растет. Погодите, я сейчас вам нарву... Тпру!..

Ефим остановил лошадь, соскочил с дрог и побежал в сторону от дороги, в степь.

— Куда ты, чертов сын? — свирепо закричал машинист. — Тут поспешать надо, а ты... Да я тебя за это убью, накажи меня Бог!..

— А вы покамест выпейте, — крикнул на ходу Ефим. — Я скоро...

Машинист сразу успокоился, перестал протестовать и начал возиться со штофом. Через три минуты мы с Антошей жевали какие-то кисленькие листья, похожие на листья подорожника. Во рту как будто бы посвежело и похолодело, как от мятных капель. Приятное ощущение было однако же непродолжительно: его заменила какая-то горечь и жажда усилилась. Мы повесили носы.

Но мы не знали, какой неожиданный сюрприз ждет нас еще впереди.

На юге летние сумерки очень коротки, а в этот вечер они наступили гораздо скорее, нежели всегда. Солнце село в темную, почти черную тучу, и в природе стемнело как-то сразу. Ефим поглядел на эту тучу и крякнул.

— Что такое? — встревожился машинист и тоже стал смотреть на запад.

Кучер промолчал и только пощупал у себя под сиденьем. Машинист пристально следил за его медленными движениями, затем что-то сообразил и вдруг заревел не своим голосом.

— Убью, ежели нас захватит! Накажи меня Господь, убью!..

— Разве же я виноват? Это от Бога, — флегматично процедил сквозь зубы парубок.

— До Ханженкова хутора далеко еще? — взвизгнул машинист.

— Должно быть, верстов восемь будет, — тем же тоном ответил Ефим. — Только это в сторону.

— Сворачивай в сторону, чертов сын... Все равно... Хоть ты тут тресни, а до жилого места довези... Убью... Я страшно этого боюсь... Накажи меня Бог, боюсь.

— Хоть и сверну, так все равно не доедем. Лошадь заморилась. Придется где рысью, а где шагом.

— Ах, ты Господи, напасть какая! — заныл машинист. — И надобно же было такому горю случиться?!

И как назло я с собою ничего не взял... А чтоб тебе ни дна, ни покрышки, убей меня Бог...

Он вдруг стал неузнаваем. То он поглядывал на запад, нервно крестился и обращался ко всем угодникам с мольбою о том, чтобы что-то миновало, то разражался неистовой и отчаянной бранью.

— Понимаешь, морда твоя свинячая, что я боюсь?! — повторял он, обращаясь к Ефиму.

— А вы выпейте: тогда не так страшно будет,— посоветовал тот.

— Разве что выпить... Вот, прости Господи, неожиданная напасть... Не дай, Боже, помереть в степи без покаяния...

Антоша и я слушали эту перебранку, разинув рты, и никак не могли понять, чего ради волнуется машинист и что именно так испугало его. Пока он для возбуждения храбрости булькал из штофа прямо в горло и угощал кучера, мы тоже поглядывали на запад, но ничего там не видели, кроме самой обыкновенной черной тучи, заметно увеличивавшейся в размерах. Не видя в ней ничего опасного, я, в те времена уже читавший Майн-Рида, стал придумывать какое-нибудь воображаемое приключение, но машинист не дал разыграться моему воображению и обратился к нам с непонятным, но тревожным вопросом:

— У вас, дети, есть что-нибудь?

— Что такое? — спросили мы в один голос.

— Пальтишки какие-нибудь или что-нибудь такое, чтобы укрыться?

— От чего укрыться?

— Ах, Боже мой, какие вы непонятные!.. Промокнете... Не видите разве, какая туча находит?

— Нет. Мы с собою не взяли.

— Ну вот, накажи меня Бог... Как же теперь быть?

В голосе машиниста слышалось отчаяние.

— Что же мне с вами делать? — повторил он.— И как же это вас папаша и мамаша без всего отпустили? В уме они, убей меня Бог, или нет?

Мы промолчали, и я почувствовал страшную неловкость. Перед отъездом нам было приказано взять с собою наши драповые серые гимназические пальто; мать даже выложила их в столовой на самое видное место и несколько раз повторяла мне, как старшему, чтобы я их не забыл. Но в момент отъезда, за прощаниями и за сутоло-

кой, я совсем забыл исполнить это приказание, и наши пальто так и остались в столовой. Родители, провожая и благословляя нас, тоже забыли о них — и мы уехали в одних только мундирчиках...

Перспектива промокнуть была не особенно приятна для нас, и Антоша уже смотрел на меня своими большими глазами и с укоризной.

— Отчего ты не взял? — спросил он меня с упреком.

— А ты отчего не взял? — огрызнулся я.

— Я забыл.

— И я забыл.

Слово за слово, и дело у нас дошло до ссоры. Переругались мы порядочно и, главным образом, потому, что ни один из нас не хотел признать себя виноватым, а туча надвигалась, и волнение машиниста передалось и нам. Ефим же смотрел на нас с заметным состраданием. Выразилось оно в том, что в то время, когда растерявшийся машинист потребовал самой быстрой езды, он остановил лошадь, слез с дрог и начал копаться в своем сиденье. Первым делом он отложил в сторону грубую коричневую свитку, без которой ни один хохол не пускается в путь. Потом достал мешок и небольшую рогожку. Последние два предмета он протянул нам с ласковым приглашением:

— Вот вам, паничи, заместо пальтов. Как дождик пойдет, накиньте на плечи. Оно не так промочит...

Машинист смотрел на нас и на своего запасливого возницу не без некоторой зависти. Оказалось, что и он, отправляясь в дальний путь, не захватил с собою никакой верхней покрышки, вероятно, рассчитывая на неизменно хорошую погоду и на ночевку под кровлею. Долго он стоял и раздумывал, с тоскою и с нескрываемым страхом поглядывая на разраставшуюся тучу, и затем стал довольно красноречиво смотреть на свитку Ефима. Но Ефим делал вид, будто не замечает этого взгляда. Впрочем, его жалостливая душа откликнулась и тут. Он посоветовал машинисту сделать себе покрышку на случай дождя из того холщового длинного рядна, которое было разостлано на сене во всю длину дрог. Машинист ужасно обрадовался, согнал нас с наших мест и стащил дерюгу. Сидеть пришлось теперь прямо на сене.

Лошадь теперь уже не гнали. Да и бесполезно было бы гнать. Она была истомлена до крайности. За весь

длинный день пьяные хозяева не покормили и не попоили ее ни разу. Единственным ее кормом было то, что она съела на потраве. Но зато кнутов ей досталось порядочно и труда от нее потребовали немалого. Только маленькая степная лошадка может быть так вынослива.

Должно быть, и лошадь предчувствовала, что в природе должно произойти что-то особенное и необычайное. Она беспокойно водила ушами, фыркала, часто поворачивала голову назад, навстречу чуть заметному ветерку, и широко раздувала ноздри. Это не ускользнуло от внимания Ефима.

— Коняка, а погоду чует,— проговорил он.

Погода действительно резко переменилась. Черная туча, сначала наступавшая очень медленно, теперь двигалась быстро и уже заняла большую половину неба. Белесоватый край ее повис уже над самыми дрогами, а передовые мелкие тучки в виде небольших, оборванных по краям лоскутов неудержимо забегали и рвались вперед. Сумерки сгущались с неимоверной быстротой и падали на степь преждевременною ночью. Степь затихла, замолкла и притаилась, точно придавленная тяжестью надвигающейся тучи. Воздух застыл словно от испуга. В траве не было слышно ни одного из обычных степных звуков — ни стрекотания насекомых, ни писка сусликов и мышей. Не было слышно ни дерганья коростеля, ни криканья перепела. Все замерло и притаилось. Природа готовилась к чему-то торжественному.

Неожиданно откуда-то издалека донесся унылый крик совы.

— На свою голову, будь ты проклята! — суеверно произнес машинист.

По его мнению, крик совы предвещал несчастие. Он нервно задвигался и стал бесцеремонно толкать нас обоих локтями в спины. Это он напяливал на себя рядно так, чтобы закрыть им не только голову и плечи, но и лицо. Он боялся увидеть то, что должно произойти, и старался наперед трусливо зажмуривать глаза.

С каждою минутою становилось все темнее и темнее. Сначала исчезли из глаз более отдаленные стебли высокого бурьяна, потом заволоклись тьмою края дороги, а через несколько минут Ефим с оттенком покорности в голосе проговорил:

— Нема дороги. Не бачу (не вижу). Нехай коняка сама везет, как знает...

Он подложил конец вожжей под себя, всунул руки в рукава свитки, как во время мороза, выгнулся всем туловищем вперед и стал ждать, что будет. Нам все-таки он сказал сердобольно:

— Хорошенько закутайтесь, паничи, в мешок да в рогожу. Здоровый дождик будет... А то, чего доброго, и воробьиная ночь.

— Чтоб ты скис, поганец, со своей воробьиной ночью! — отозвался из-под своего прикрытия машинист. — Типун тебе на язык. Ты еще нагадаешь (напророчишь)! Тут и так страшно, а ты, накажи меня Бог...

Воробьиной ночью в Малороссии называется такая страшная грозовая ночь, что даже воробьи от испуга вылетают из своих гнезд и мечутся как угорелые по воздуху.

— Погляди хорошенько по сторонам, не видно ли где-нибудь огонька, — ухватился за последнюю надежду машинист. — Где огонь, там хата.

Ефим не успел ответить. Яркая ослепительная молния перерезала небо от одного края до другого и на миг осветила всю степь со всеми ее подробностями. Мы все вздрогнули. Лошадь от испуга попятилась назад. Через несколько секунд над самыми нашими головами раздался оглушительный треск, понесся по небу бесконечными трескучими раскатами и замер где-то вдали грозным, гремучим грохотом.

— Свят, свят, свят! — в испуге зашептал машинист.

Не успел он дошептать, как степь осветилась от второй такой же молнии и раздался такой же ужасающий треск. За ними другая и третья молния с громом — и пошла греметь без перерыва.

Грузно ударила об мою рогожу первая крупная капля дождя, и не успел я опомниться, как вдруг с неба обрушился жестокий ливень — ливень, знакомый только нашим южным степям. Когда вспыхивала молния и на миг освещала дождь, то перед нашими глазами открывались не нити дождя, а сплошная стена воды без разрывов, точь-в-точь, как рисуют низвергающуюся воду в водопаде.

Не прошло и двух минут, как мы все уже были мокры насквозь. Холодная вода неприятно текла между лопаток, по спине и по всему телу и вызывала дрожь. Платье и белье прилипли.

Было страшно и жутко. Мы все, с наброшенными на головы и плечи мокрыми мешками и рогожею, казались друг другу при вспышках молнии какими-то уродливыми чудищами. Машинист, страшно боявшийся грозы, взобрался на дроги с ногами, съежился под своею дерюгой, согнулся в три погибели и превратился в какой-то безобразный ком со страшными очертаниями. Он не переставая молился и молился жалко и трусливо. Один только Ефим, одетый в свитку, представлял собою фигуру с человеческими очертаниями, и это несколько успокаивало нас.

Долго, бесконечно долго тянулись мы на измученной лошади, с боков которой ручьями стекала вода. Степная дорога превратилась в липкую грязь, облепившую колеса по ступицу. Казалось, что не будет конца ни грозе, ни ливню, ни ознобу, пронизывавшему нас насквозь. У меня застучало в висках и заболела голова. Затем мне стало «все равно», и я не могу отдать себе отчета — задремал ли я, или же у меня помутилось в глазах. Вероятно, это была лихорадочная дрема, потому что я хорошо чувствовал и сознавал, как Антоша навалился на меня сбоку всем телом и беспомощно положил голову ко мне на плечо. Я заглянул ему в лицо и при блеске молнии увидел, что глаза его закрыты, как будто бы он спит.

Не помню, долго ли тянулось это дремотно-равнодушное состояние среди разбушевавшейся стихии, но меня разбудил голос Ефима.

— Вот коняка и привезла,— радостно воскликнул он.— Куда привезла, не знаю, а только привезла... Добрая скотина... Слезайте... Приехали...

Что было дальше — я помню плохо. Помню, что перед моими глазами вдруг выросла белая стена какой-то хатки, с соломенной крышей, что мне пришлось будить Антошу, уснувшего на моем плече, и что мы вошли в грязную комнату с сивушным запахом. Помню еврейский озабоченный говор. Кто-то раздел Антошу и меня догола, и чьи-то грубые руки стали ходить по моему телу, от которого сейчас же нестерпимо запахло водкой. Как сквозь туман я видел, что то же самое проделывали и с Антошей.

— Ой, вей, паничи... Какие же хорошие молодые паничи! Янкель, принеси с нашей кровати одеяло и подушку,— говорил певучий голос еврейки.— Мы обоих паничей положим под одну одеялу...

По моему телу стала разливаться приятная теплота. Скоро я почувствовал себя лежащим под теплым ватным одеялом. Рядом со мною лежал Антоша. Меня начала одолевать истома и клонило ко сну. По полу шлепали туфли, и по звуку слышно было, что они одеты на босую ногу. За стенами комнаты по-прежнему бушевала воробьиная ночь. В узенькие окошечки врывалась молния, и вся комната дрожала от раскатов грома. Но теперь мне уже не было ни страшно, ни жутко, ни холодно. Только во рту было гадко и в голове вертелась назойливая мысль.

«Я простудился, и Антоша тоже захворал... И зачем только мы поехали?...»

— О, какие же хорошие паничи! Мы повесим ихнюю одежу в сенях на веревку: нехай сохнет... Ой, какие паничи!..

Это было последнее, что я слышал, а затем мир перестал для меня существовать.

V

Утром мы проснулись как ни в чем не бывало — оба веселые и жизнерадостные: ни озноба, ни лихорадки, ни насморка. В узенькие, маленькие окошечки бил яркий свет. Толстая, средних лет и довольно грязная еврейка, шлепая туфлями, принесла нам наше платье и заботливо и ласково поздоровалась.

— Ну, как вы, паничи, поживаете? Чи хорошо вы спали? Как ваше здоровьечко? А какие вы вчера были мокрые! О, вай... Янкель вас водкой мазал... Одежда не совсем еще высохла, только это ничего: солнышко досушит... Одевайтесь.

Еврейка вышла, а мы с братом стали быстро надевать на себя полувлажное белье, прикосновение которого холодило тело и вызывало приятную дрожь. Мы были здоровы и искренно радовались этому. Вчерашняя воробьиная ночь, со всеми ее ужасами, казалась нам чем-то отдаленным, похожим на сон. Одеваясь, мы осматривались с любопытством по сторонам. Обстановка была такая же, как и в том кабаке, в котором вчера машинист и Ефим пили водку. Стало быть, мы опять попали в кабак. Но слава Богу и за это. Иначе что было бы с нами, если бы лошадь, руководствуясь инстинктом, не набрела ночью на это жилье? Мы, наверно, серьезно захворали бы от про-

студы, а может быть, даже и умерли бы. Воробьиная ночь — не шутка...

Надев мокрые мундирчики и фуражки, мы поспешили выйти на воздух, где нас сразу ослепило ярким светом. Небо было голубое, чистое и такое глубокое, что трудно было поверить, чтобы между ним и землею могли ходить тяжелые, мрачные тучи, вроде вчерашних. Пирамидальный тополь, два или три вишневых деревца и бурьян, росший во дворе, еще не обсохли и блестели золотом. В воздухе было тихо. В небе заливался жаворонок, и ему вторила коротеньким нежным писком какая-то птичка на тополе. Природа точно помолодела. Все дышало какой-то особенной, невыразимой прелестью, и мы с Антошей тоже дышали полной грудью и чувствовали, как в нас с каждым вдыханием вливается что-то свежее, здоровое, приятное, живительное и укрепляющее. Хорошо! Ах, как хорошо!

Мы побежали к колодцу и стали умываться, брызгаясь, шаля и обливая друг другу голову прямо из ведра. А таскать воду из колодца — какое наслаждение! Дома нам, наверное, запретили бы это удовольствие, и мать в испуге, наверное, закричала бы:

— Нельзя! нельзя! Упадете в колодец! утонете!

А тут свобода! Делай, что хочешь... Полотенца у нас не было, и мы, глядя друг другу на мокрые лица и головы, весело рассмеялись. Сзади нас тоже послышался смех. Мы оглянулись. На завалинке, вытянув ноги и заложив руки в карманы, сидел машинист. Вся его фигура выражала благодушие.

— Вот теперь и утирайтесь, чем хотите,— заговорил он.— Это не у папаши с мамашей. Ага! Попались! Ничего, обсохнете.

Мы, мокрые, сели рядом с ним, и нам было очень весело: все это было так забавно и непохоже на городскую жизнь.

— Жаркий денек будет нынче после вчерашней грозы,— проговорил машинист, подбирая ноги.— А и гроза же была, чтоб ей пусто было! Я уже думал, что тут мне и капут, накажи меня Господь... Скоро можно и ехать по утреннему холодку. Как только Ефимка проснется, так и запрягать. Вы не знаете, дети, где Ефимка спит? По правде сказать, я вчера от грозы был того. Не помню, накажи меня Бог, где приткнулся и как заснул... Теперь,

слава Богу, выпил шкалик и поправился... Вы только дедушке с бабушкой не рассказывайте. Дедушка хоть и хороший человек, а ябеда... Ну, Господи благослови!

Он вытащил из кармана новый шкалик, выпил его и стал еще веселее. Откуда-то, из какого-то сарая выполз Ефим с сеном в волосах и на одежде и стал, зевая и потягиваясь, глядеть на солнце.

— Вот и ты! — обрадовался ему, как родному, машинист. — Снаряжайся да и запрягай: поедем по холодку...

Вскоре мы выехали. От предложенного евреем самовара машинист и Ефим отказались, а еврейка, заметив наши по этому поводу кислые мины, сунула нам с братом в руки по два бублика.

В воздухе было прохладно и удивительно тихо, а солнце, не успевшее еще накалить землю и воздух, разливало вокруг кроткую негу и ласкающую теплынь.

Наши путники, по-видимому, были проникнуты прелестью утра. К штофу прикладывались реже, и, подъехав к ближайшей слободе, машинист даже выразил желание напиться чаю. Остановились у крайней хаты, из трубы которой поднимался к небу дымок. На наше счастье, у хозяев-хохлов нашелся кипяток, а у машиниста в кармане оказались чай и сахар. Началось чаепитие, сдобренное штофом, из которого было налито по доброй порции хозяину и хозяйке. После такого угощения хозяйское гостеприимство развернулось во всю ширь: на столе появились деревенские сдобные бублики, книши, пампушки, яйца и молоко. Мы с Антошей блаженствовали и уписывали за обе щеки.

Беседа машиниста и Ефима с хозяевами приняла самый дружеский характер и затянулась. Вскоре Ефим побежал куда-то с пустым штофом и через пять минут воротился с полным. Стало ясно, что теперь мы опять тронемся в путь не особенно скоро. Хмельной разговор опьяневших старших не интересовал нас, подростков, нисколько, и мы вышли из хаты, где уже становилось душно, в садик. Здесь было хорошо, тенисто и прохладно.

— Вы далеко не уходите, дети, скоро поедем, — крикнул нам вслед машинист, и затем до нас донеслось: — Это такие дети, такие дети, что... Ихний батько богатый человек...

В садике мы пробыли недолго. Прежде всего мы начали разбойничать и набили себе рты и карманы незрелыми

сливами и вишнями, а затем нас потянуло куда-нибудь вдаль. Мы пошли в противоположный конец садика и очутились в огороде, в котором на грядках зрели помидоры, капуста и фиолетовые баклажаны и нежились на солнце арбузы, дыни и огромные тыквы; а над всем этим царством овощей пестрым ковром раскинулись разноцветные маки. Картина была милая и красивая. Пройдя через этот огород, мы оказались на берегу большой речки. Над нею свешивались густые, зеленые, корявые ивы. По поверхности воды играла мелкая рыбешка.

— Давай выкупаемся,— предложил я.

— Давай,— согласился Антоша.

Менее чем через минуту мы уже весело барахтались в воде. Купанье было превосходное. Но тут случилось горе: Антоша увяз ногою в корягах и поднял рев. Я страшно испугался, но мне кое-как удалось высвободить его. Происшествие это однако же очень скоро было забыто, и мы плескались и окунались уже на новом месте. Время летело незаметно, и мы совсем забыли о том, что нас могли хватиться.

А нас действительно давно уже хватились. И машинист, и Ефим, и хохол, и хохлушка, окончив чаепитие и бражничанье, вспомнили о нашем существовании и принялись нас звать. Не получая ответа, принялись искать и искали долго, пока, наконец, Ефим случайно не забрел в огород и с середины его не увидел нас в речке.

— Вот они где, бесовы хлопцы! — крикнул он одновременно и радостно, и сердито.— А мы вас ищем, ищем... Все перепугались: думали, что вы пропали... Идите скорей домой. Ехать пора.

Дав нам наскоро одеться, Ефим потащил нас за собою, как страшно провинившихся преступников, которых ожидает жестокое наказание. Подойдя к избе, мы нашли машиниста с страшно искаженным от водки и от испуга лицом. Он был в полнейшем отчаянии и клял себя за то, что связался с такими балованными и непослушными детьми. Хозяева, хохол и хохлушка, оба пьяные, стояли, пригорюнившись, с такими физиономиями, с какими стоят на похоронах. Увидев нас, машинист вскочил на ноги и издал восклицание, выражавшее не то радость, не то гнев, не то порицание. Несколько секунд он не мог вымолвить ни слова и только пучил пьяные, посоловевшие глаза. Наконец, собравшись с духом, выпалил:

— Что вы со мною делаете? Куда вы запропастились? Мы уже думали, что вы оба утопли в колодце.

Вслед за этим из его уст полилось оскорбительное и страшно обидевшее нас пьяное нравоучение, из которого хохол и хохлушка должны были вынести самое невыгодное о нас мнение. По крайней мере пьяный хохол совершенно серьезно подал совсем уже невменяемому машинисту такой совет:

— Вместо того чтобы разговаривать, я спустил бы с них штанишки, взял бы хворостину, да и...

— Не мои дети,— скорбно вздохнул машинист,— а то бы я...

— Не бейте хлопчиков: они маленькие,— вступилась за нас хохлушка.

Машинист и хохол смотрели на нас сердито и даже зло. Антоша побледнел. И я тоже струхнул. А что, если и в самом деле два пьяных скота вздумают пустить в ход лозу?! Меня взорвало. Пьяная физиономия машиниста показалась мне противной, и я крикнул:

— Хорошо же! После этого мы расскажем не только дедушке с бабушкой, но и самой графине, как вы пьянствовали, как вы спали и как украли у еврея три шкалика водки... Мы все расскажем...

Смешно было угрожать почти невменяемому человеку глупым доносом, но к неописанному моему удивлению моя угроза подействовала. Машинист испуганно замигал глазами, сразу осел, опустился и уже совсем другим тоном заговорил:

— Ну, ну, будет... Это я так... Вы хорошие дети... Я только испугался: ехать пора, а вы пропали... Это, дядя,— обратился он к хохлу,— такие дети, такие дети, что и... Ихние родители...

Победа осталась за мною, и я торжествовал, особенно после того, как заметил, что Антоша смотрит на меня не без некоторого уважения...

— То-то, смотрите! Вы не очень! — пригрозил я.

— Ну, ну, ладно,— залепетал машинист виновато и трусливо.— Садитесь, садитесь, поедем... Пора... Ну, дядя, прощай! Прощай, тетка... Спасибо за хлеб, за соль, за борщ, за кашу и за милость вашу...

— Прощавайте,— ответила хохлацкая чета.— С Богом. Дай вам Господи засветло доехать. Пошли, Боже, скорый и счастливый путь...

Опять со всех сторон охватила нас благоухающая, ровная и безграничная степь, сливавшаяся своими краями с небом. Но теперь солнце уже пекло и утренних звуков в траве не было. Теперь степь лежала в истоме от зноя. Купанье пришлось как нельзя более кстати, освежило нас, и жара была для нас не так чувствительна; но машиниста и Ефима так развезло, что на них даже жаль было смотреть. И лошадь вся была в поту и в мыле и даже перестала отмахиваться хвостом от слепней, густо облепивших ее бока и спину. Наступила пора, когда становится скучно и от жары начинает болеть голова. Антоша стал просить воды и, конечно, не получил ее, потому что ее с нами не было. От жажды, от жары и от утомления наше настроение стало опять мрачным, и обида, нанесенная нам машинистом, сделалась еще чувствительнее.

— Хоть бы уж скорее доехать до дедушки! — с тоскою проговорил Антоша.— Едем, едем и никак не доедем.

— Уже скоро, скоро дома будем,— утешил Ефим, но утешил так кисло и натянуто, что мы не поверили.

— Много еще верст осталось? — спросил Антоша.

— А кто ж его знает?! Дорога тут немереная,— ответил Ефим.

Антоша не выдержал жары и усталости, нервно завозился на дрогах и как-то ухитрился свернуться на своем сиденье калачиком. Через минуту он, несмотря на свою страшно неудобную позу, уже спал крепким детским сном. Солнце немилосердно жгло его в щеку, палило шею и забиралось через расстегнутый ворот рубахи на грудь. Он ничего этого не замечал и не чувствовал.

Машинист клевал носом. Кучер следовал его примеру. Лошадь плелась еле-еле. Всем нам стало скучно, безотрадно и беспричинно грустно. Яркие краски прекрасного утра исчезли и растворились в пекле полудня. <...>

VI

Когда мы с братом проснулись, машинист и Ефим еще спали. Лица у обоих от жары, от водки и от сытости были красны. На губах у каждого из них сидели кучами мухи. По их позам и по дыханию было видно, что сон их был неприятный и тяжелый. Взглянув на оплывшее лицо машиниста, я почувствовал ненависть. Мне припомнились тяжкие оскорбления, которые он нанес мне и брату пе-

ред хохлом и хохлушкой. Во мне заговорила обиженная гордость.

— Я отомщу ему! — сказал я брату.

— За что? — спросил Антоша, поднимая на меня свои большие глаза.

— Разве ты забыл, как нагло оскорбил он нас? Он не имеет никакого права. Он ругался, как извозчик.

— Все пьяные ругаются. И у нас в городе тоже. Мамаша говорила всегда, что пьяных не нужно слушать, а то, что они говорят, надо пропускать мимо ушей.

— Но ты не забудь, Антоша, что мы гимназисты, а он простой мужик. Я уже ученик пятого класса, а ты — третьего. Мы умнее и образованнее его. Он должен стоять перед нами без шапки, а не ругаться.

— Мамаша говорит, что на пьяную брань никогда не нужно обращать внимания.

Я начинал злиться на то, что Антоша так еще мал и неразвит, что не может понять меня, ученика пятого класса.

— А ты забыл, что этот пьяный скот хотел нас выдрать? — возразил я. — Что бы ты почувствовал, если бы машинист высек тебя? Приятно было бы тебе? Хорошо, что мне удалось своей находчивостью предотвратить опасность, а то был бы срам. Ты только представь себе, что пьяные мужики не только оскорбляют словами, но еще и секут тебя и меня.

Против этого Антоша не мог возразить ничего.

— Да, мне было больно и обидно, когда папаша однажды меня высек, — тихо сказал он.

— Вот видишь, — обрадовался я. — Машинисту надо отомстить, и я отомщу.

— Как же ты отомстишь? Что ты ему сделаешь?

— Пока еще я сам не знаю, но я придумаю; я читал у Майн-Рида, что настоящая месть должна быть обдуманной и хладнокровной. Помнишь, индейский вождь Курумила...

— Я не читал про Курумилу, — сознался Антоша.

— Жаль, Майн-Рида необходимо прочесть. Впрочем, ты еще молод и тебе извинительно. Так вот я хочу отомстить, как благородный Курумила... Я придумаю для этого скота что-нибудь жестокое и ужасное, чтобы он долго помнил.

— Ты ему пригрозил, что расскажешь дедушке, бабушке и самой графине, что он пьяница.

— Нет, Антоша, я ученик пятого класса и благородный человек. Я не унижусь до доноса. А это был бы донос. Это было бы подло.

— Значит, ты будешь молчать?

— Нет, когда-нибудь расскажу при случае, но в виде шутки. Может быть, и графине расскажу.

— Графине? — удивился Антоша. — Ты ее не знаешь и никогда не видел.

— Ничего не значит. Я познакомлюсь с нею и отрекомендуюсь ей. Она не может не принять меня. Правда, наш дед — мужик и ее бывший крепостной, но я уже ученик пятого класса. Через три года я буду уже дворянином... вот как, например, чиновник Жемчужников или помещик Ханженков.

Антоша смотрел на меня наивными недоумевающими глазами и не понимал.

— Всякий ученик, который получает аттестат зрелости, сейчас же делается дворянином, — пояснил я. — Есть такой закон. Мне это говорил первый ученик в нашем классе, Чумаков. А его отец служит в окружном суде и знает законы.

Антоша был подавлен моими доводами, и в его больших серьезных глазах я прочел некоторую долю уважения к такому умному брату, как я. Это поддало мне еще больше жару.

— А раз я дворянин, то я обязан защищать свою честь, — сказал я твердо. — Я должен, понимаешь ли, должен отомстить этой пьяной скотине.

Имея перед собою податливого и внимательного слушателя, я увлекся и стал рассказывать о том, как дворяне защищают свою честь. С пылающими щеками я сообщил Антоше, как благородный Дон Диего в одном испанском романе проколол насквозь шпагою своего обидчика, Дона Фернандо.

Антоша глубоко задумался и смотрел куда-то вдаль.

— Теперь, должно быть, мамаша кофе пьет, — проговорил он. — Кофе с бубликами...

Фраза эта, далекая от дворянской чести, несколько смутила меня, но я все-таки продолжал. Я привел пример из нашей таганрогской жизни: у нас одно время долго говорили о дуэли, происшедшей между двумя дворянами.

Из-за чего они стрелялись — я не знал, но был глубоко уверен в том, что каждый из них защищал свою дворянскую честь.

— Так и я должен поступить,— закончил я.

Закончил же я не потому, что у меня не хватило красноречия или неопровержимых доводов, а потому, что проснулся мой враг — машинист, которого я не считал достойным слушать те возвышенные речи, которые я говорил. Поднявшись, он сел и начал тупо обводить кругом мутными, полусонными глазами. Теперь я пылал к нему ненавистью и презрением.

— И он смел оскорбить нас с тобою! — прошипел я Антоше на ухо.— Клянусь тебе, мы будем отомщены.

— Не мсти, Саша,— тихо ответил Антоша.— Нехорошо. В Евангелии сказано, что не надо мстить, да и папаша рассердится, если узнает. Пожалуй, еще и порку задаст.

— Порку? Мне, ученику пятого класса? Ну, уж это дудки! — воскликнул я.— Впрочем, насчет мести я еще подумаю. Может быть, даже и прощу.

— Прости, Саша,— стал просить брат.— Если ты станешь мстить, как Курумила, то ты должен будешь одеться краснокожим индейцем и вымазать лицо, а дедушка, пожалуй, не позволит, рассердится и пожалуется папаше. А папаша тебя выпорет... Теперь Никитенко и Браславский, вероятно, на качелях качаются... У них хорошие качели...

— Хорошо, Антоша, я подумаю,— великодушно уступил я.— Но во всяком случае, помни, что оскорблять себя я не позволю.

Машинист тем временем согнал с себя сонную одурь, растолкал Ефима и велел ему запрягать. Но перед этим оба они подошли к колодцу, зачерпнули из бадьи ковшом воды и пили долго, долго.

— Теперь, Ефимка, баста! — сказал машинист.— Отгулялись. Скоро дома будем.

Ефим ничего не ответил и пошел запрягать. Мы с Антошей держались в стороне, и он ни разу не подошел к нам и не заговорил. Ему, вероятно, было совестно за свое недавнее поведение, и лицо его было пасмурно.

Вдали, у самой дороги, показалось что-то серое, неподвижное, но как будто бы волнующееся. Я долго не мог разгадать, что это такое. Когда мы подъехали ближе, то это серое оказалось обыкновенною отарою овец. Это под-

твердилось еще и тем, что навстречу нам выбежали на дорогу две громадные овчарки и стали на нас лаять. Бежали они за нами с хриплым лаем до тех пор, пока мы не поравнялись с отарою.

— Ударь по лошади, Ефимка, а то не дай Бог, которая-нибудь еще укусит,— сказал машинист.— Я этих овчарок страсть как боюсь.

Я взглянул сбоку на машиниста. На его лице была написана самая низменная трусость.

«Ага! Вот прекрасный случай отомстить,— промелькнуло у меня в голове.— Погоди, голубчик, я тебя проучу! Будешь помнить...»

Ефим подстегнул лошадь, дроги покатились быстрее, и овчарки стали лаять ленивее и решили было наплевать на нас и отстать. Но это не входило в мои планы: мне нужно было во что бы то ни стало напугать врага-труса. Я хорошо подражал собачьему лаю и, обратившись в сторону овчарок, начал злобно на них лаять. Овчарки снова бросились за нами в погоню, но на этот раз гораздо бешенее. Машинист страшно испугался, побледнел и забрался на дроги с ногами. Испугался и Ефим. Но я продолжал подражать злобному лаю, махал руками и ногами и всячески дразнил собак.

— Спаси, Господи, и помилуй! — кричал не своим голосом машинист.— Пронеси, Царица Небесная!..

— Что вы, панич, делаете? — испуганно вскрикнул в свою очередь Ефим.— Ведь тут нам и смерть!.. Поглядите!..

Тут только я понял, какой страшной беды я натворил. На подмогу к двум овчаркам прибежали от отары еще четыре, и мы сразу оказались в осадном положении. Антоша побледнел и с выражением смертельного ужаса на лице запрятал руки и ноги... Я тоже страшно испугался. Повсюду были видны злобные глаза и оскаленные зубы. Инстинктивно мы все подняли страшный крик и этим еще более раздразнили нелюдимых собак. А тут еще и пастухи стали издали кричать нам:

— Что вы, бісовы люди, собак дротуете?! Они вас разорвут!..

Некоторые из собак в озлоблении хватались зубами за спицы колес, а другие делали огромные прыжки, стараясь достать кого-либо из людей. Ефим в отчаянии хлестнул одну из овчарок кнутом — и это только подлило масла

в огонь. Положение наше стало не только критическим, но даже и отчаянным. У меня душа ушла в пятки, у Антоши на бледном лице был написан смертельный ужас, а о машинисте и говорить нечего: он был близок к обмороку. Скоро однако же подбежали пастухи и с криком и с бранью отогнали собак. Потом они долго грозили нам вслед своими длинными палками.

Пришли мы в себя не раньше, как отъехав четверть версты. Первым пришел в себя машинист. К моему удивлению, он не бранился, а только произнес как будто бы про себя:

— Ну, уж и дети! Уродятся же у отца с матерью такие бродяги!!

Чтобы оправдать свое глупое поведение в глазах брата, я наклонился к нему и шепнул:

— Это была моя месть. Я отомстил...

Но Антоша поглядел на меня такими глазами, что мне стало стыдно. Но чтобы не уронить свой авторитет, я принял небрежную позу и произнес:

— Ты ничего не понимаешь... Ты глуп.

VII

Через час мы подъезжали к Крепкой.

Я читал, что русские паломники, подходя к стенам Иерусалима, а магометане, еще издали завидев Мекку, испытывают какое-то особенное благоговейное и торжественное чувство. Нечто подобное испытали и мы с Антошей, приближаясь к Крепкой. Нам обоим вспомнились восторженные рассказы отца об этой слободе и ее необычайных красотах. По его рассказам, в Крепкой был земной рай. Проникнутые этим, мы с каждою минутой ожидали, что перед нами вдруг откроется что-то чарующее и прекрасное — такое прекрасное, что мы замрем и застынем от восторга.

Блеснула серебряная ленточка обычной степной речки. Показалась из-за зелени садов колокольня, а затем по ровной, как ладонь, местности побежали во все стороны беленькие хатки с соломенными крышами. Вишневые сады с неизбежными желтыми подсолнечниками, красные маки, колодец с журавлем — и только. Слобода как слобода. Где же ее хваленые прелести? На лице у Антоши было написано разочарование. Должно быть, и у меня тоже.

Проехав разными улочками и переулочками, мы оказались около церкви, выкрашенной в белый цвет. Тотчас же за церковью начинался тенистый вековой парк, из глубины которого выглядывал большой каменный барский дом с колоннами и террасами. Близ церковной ограды приветливо улыбался небольшой каменный же домик с железною крышей — местного священника. Наискось от него точно протянулась по земле длинная и невысокая хата с деревянным крыльцом. Это была контора графского имения, в которой сосредоточивалось все управление экономии в несколько тысяч десятин. У дверей этого здания и остановились наши дроги. Машинист и Ефим слезли. Слезли и мы. Скоро и нас, и дроги обступила целая толпа любопытных мальчишек, девчонок и подростков.

В дверях хаты показалась сухая, длинная фигура старика в накинутой на плечи солдатской шинели.

— А-а, приехали! Что так долго? — спросил старик.

— Гроза была. Дорога испортилась, накажи меня Бог... Гайку к винту долго искали,— ответил машинист, искоса поглядывая на Антошу и на меня.— А что графиня?

— Графиня гневается за промедление. Машина стоит.

Машинист понурил голову и еще раз поглядел на нас искоса. В его взгляде было написано: «Боже сохрани, ежели выдадите!»

— Управляющий Иван Петрович здесь? — спросил он глухо.

— Ивана Петровича нет. Должно быть, в поле с косарями,— ответил старик.— Когда приедет, тогда и отдашь ему отчет, а я с тобой заниматься не буду. Отчего у тебя морда такая пухлая? Пьянствовал, видно?

— Накажи меня Бог... Спросите Ефимку...

— Так я тебе и поверил... Графиня разберет... А это что за гимназисты?

— Это к Егору Михайловичу в Княжую внуки приехали. Это такие дети, такие дети, что им и цены нет... Ихний папаша в бакалейной лавке в Таганроге торгует.

— Внуки Егора Михайловича? Что же, очень приятно,— заговорил старик, глядя на нас.— Пожалуйте в комнату, милости просим. А ты ступай. После придешь, когда управляющий вернется... Милости просим.

Старик повернулся, и мы с Антошей вошли вслед за ним в комнату с низким потолком и глиняным полом.

В ней были стол, два стула и деревянная кровать с тощеньким тюфячком. На столе стояла чернильница с гусиным пером и лежала тетрадка серой писчей бумаги. Над кроватью висело католическое Распятие.

— Ну, познакомимся,— сказал старик, не снимая с плеч солдатской шинели.

Я выступил вперед и отрекомендовался:

— Александр Чехов, ученик пятого класса, а это мой брат, Антон Чехов, ученик третьего класса.

— Смиотанко,— коротко отрекомендовался в свою очередь старик.— Был когда-то офицером, а теперь разжалован в солдаты, служу у графини писарем и обречен на вечный борщ.

Мы пожали друг другу руки.

— Садитесь, молодые люди. К дедушке в гости?

— Да.

— Что же, хорошо. Только ведь ваш дедушка очень крутой человек и страшный холоп и ябедник. Я его, признаться, не люблю.

— И мы с братом его тоже не любим,— ответил я.— Когда он приезжал в Таганрог, то от него никому житья не было. Не знали, как от него избавиться, и рады были, когда он уехал.

— А бабка ваша набитая дура,— сказал Смиотанко.

— Да, глуповата,— согласился я.

Разговор продолжали в том же духе. Я либеральничал и был доволен собою, не подозревая, что мое либеральничанье не идет дальше глупого злословия. Антоша не проронил ни одного слова.

— В какие часы принимает графиня?— спросил я развязно.

— А на что вам?

— Хотел бы ей представиться вместе с братом.

— По делу или так?

— Просто из вежливости.

— Без дела она вас не примет. Она старуха, и дочь ее, княгиня, тоже старуха. Какая вы им компания? О чем вы с ней говорить будете?

Мое самолюбие было уязвлено.

— Надеюсь, что я, как ученик пятого класса, нашел бы о чем поговорить с графиней,— с достоинством ответил я.

— О чем? Об латыни да об арифметике? — усмехнулся Смиотанко.— Не годитесь. Я бывший офицер — и то очень редко удостоиваюсь милостивой беседы с ее сиятельством, а вы что? Безусый мальчишка, сын какого-то бакалейщика, и больше ничего. Нет, не годитесь.

Мне стало неловко. Какой-то неведомый старик писарь унижал мой авторитет перед братом. А я еще так недавно и так уверенно говорил Антоше, что непременно познакомлюсь с графиней... Я поспешил переменить разговор.

— Скоро нас отправят к дедушке? — спросил я.

— А это, господа, не от меня зависит,— ответил Смиотанко.— Про то знает управляющий Иван Петрович. Он скоро должен приехать. К нему и обратитесь. Только имейте в виду, что он с вашим дедушкой в контрах... Слышал я, будто сегодня отправляют в Княжую оказию с мукою. Если сумеете примазаться к ней, то и поедете.

— А другого способа нет? — спросил я.

— Для вас отрывать от работы лошадь и человека не станут. Пора горячая. А вот и Иван Петрович приехал.

На улице продребезжали беговые дрожки, и через две минуты в комнату вошел приземистый старичок с бритым, умным и благодушным лицом, одетый по-городскому. Он был в пыли. Войдя, он снял картуз, смахнул с него платком пыль, похлопал себя тем же платком по плечам и по брюкам и, не замечая нас, обратился к Смиотанке:

— Переписали ведомость, Станислав Казимирович?

— Нет еще,— ответил Смиотанко с легким смущением.

— Ах, Боже мой! Что же это вы? — с неудовольствием воскликнул Иван Петрович.— Ее сиятельство давно уже дожидаются ведомости и уже два раза спрашивали... Так нельзя... Ее сиятельство могут прогневаться.

— Сегодня перепишу... А вот гости...

Смиотанко указал на нас. Иван Петрович обернулся в нашу сторону, прищурился и спросил:

— Кто такие?

— Егора Михайловича внуки.

Я поспешил отрекомендоваться.

— А-а, очень приятно, очень приятно,— благодушно засуетился управляющий.— Ваш дедушка прекрасный человек. Я их очень уважаю.

— Иван Петрович, бросьте политику. Скажите прямо, что он подлец и что вы терпеть его не можете,— вмешался Смиотанко.

— Идите, Станислав Казимирович, переписывайте ведомость,— строго сказал Иван Петрович.— Вы беспокойный человек... А вы, молодые люди, не слушайте. Это у него такая привычка. Оно, положим, правда, что вашего дедушку отсюда, из Крепкой, сместили и перевели в Княжую, а меня ее сиятельство посадили на их место, но ведь это не наше дело, а графское. Нет, Егор Михайлович прекрасный человек. И Ефросинью Емельяновну я тоже уважаю. А ежели они на меня сердятся, так Бог с ними.

Не желая вмешиваться в деревенскую «политику», я заговорил об оказии в Княжую.

— Есть, есть,— заторопился Иван Петрович.— Из Княжой Егор Михайлович за мукой для косарей подводу прислали. Теперь уже нагружают. Через четверть часа и поедете. Кланяйтесь от меня почтенному Егору Михайловичу и многоуважаемой Ефросинии Емельяновне. Надолго к нам в гости приехали?

— Неизвестно. Как поживется.

— А это ваш братец? Кажется, Антон... Антон Павлович? так? Славный молодой человек. Хорошо учитесь? Ну, по глазам вижу, что хорошо и даже отлично... Очень приятно... Приезжайте к нам сюда в Крепкую почаще... К о. Иоанну на вакации сынок семинарист приехал — приятный и образованный молодой человек. С ним о серьезных материях потолкуете... Умный господин.

— Балбес и дубина,— вставил Смиотанко.

— Переписывайте ведомость, Станислав Казимирович. Их сиятельство могут прогневаться... А вот и ваша оказия с мукою. Пожалуйте, я вас посажу и самолично отправлю.

Мы вышли на улицу. Перед крыльцом стояла повозка, нагруженная четырьмя мешками муки. У переднего колеса с вожжами в руках стоял мужик лет пятидесяти, похожий на отставного солдата николаевских времен.

— Так вот, Макар,— обратился к нему Иван Петрович,— скажешь Егору Михайловичу, что я записал эту муку в отпускную ведомость по княжеской экономии, а Егор Михайлович пускай к себе на приход запишет... Заодно отвези в Княжую и этих двух прекрасных юношей.

Садитесь, господа молодые люди, да смотрите, не перепачкайтесь в муке... Все? Ну, с Богом. Кланяйтесь.

Макар, как нам показалось, посмотрел на нас не очень дружелюбно.

— Посмотри, Саша, у него нет двух пальцев на руке,— шепнул мне брат.

Я посмотрел. Действительно, у Макара на правой руке не хватало указательного и среднего пальцев. Я хотел было спросить его, куда они девались, но он угрюмо сел к нам задом и, по-видимому, не намерен был начинать разговора.

Мы поехали по слободе. Из одного из переулков выскочил, пошатываясь, Ефим и весело крикнул нам:

— Гей, паничи, счастливый путь!.. В воскресенье я приду к вам в Княжую в гости... Я вас люблю. Вы хорошие... А машиниста жинка раздела, заперла в чулан и не дает горилки... А он ругается... Я приду... Рыбу ловить будем...

Макар злобно посмотрел на него.

— Пьяница чертова! Батька с матерью пропил! Махамет! — проговорил он громко и презрительно.

— А ты беспалый черт! — ответил Ефим.— Свиньи пальцы отъели, а ты и не слышал.

Макар сердито плюнул, ударил по лошади, и скоро мы оказались снова в степи. Ехали молча. Солнце уже давно перешло за полдень, и нам очень хотелось есть. У Антоши от голода даже ввалились щеки.

— Скоро мы до Княжой доедем? — спросил я Макара.

— Когда приедем, тогда и дома будем,— ответил он угрюмо.

— А много еще верст осталось? — спросил Антоша.

— Сколько осталось, столько и есть,— последовал угрюмый ответ.

На половине дороги Макар однако же вдруг круто повернулся к нам вполуоборот и спросил:

— А вы кто же такие будете?

— Мы внуки Егора Михайловича,— ответил Антоша,— и едем к дедушке и к бабушке в гости.

— Ага, к аспиду аспидята едут,— проворчал Макар по-хохлацки себе под нос.— Значит, аспидово племя.

Он сердито повернулся к нам спиною и до самой Княжой не проронил ни одного слова.

VIII

У графини была дочь, вышедшая замуж за князя, фамилию которого я не помню. За молодой княгиней в приданое дана была слобода, которую поэтому и назвали Княжой. Лежит она в десяти верстах от Крепкой, и церкви в ней нет. Слобода маленькая, невзрачная. Ценны в ней только необозримые поля. Тем не менее и здесь построен барский дом городского типа в шесть или семь комнат. Построен он был для новобрачных княгини и князя, но они предпочли жить в Крепкой, у графини, и барский дом пустовал и всегда был на запоре. Окружал его небольшой, тенистый и сравнительно еще молодой садик, спускавшийся к речке.

Когда дедушку из Крепкой перевели в Княжую, то ему и бабушке пришлось поселиться в пустом барском доме. Но их обоих угнетал простор больших комнат, и приличная, мягкая заграничная мебель пришлась им не по вкусу.

— А ну их к бесу! — говаривал дедушка, глядя на венское кресло-качалку.— Стул не стул, санки не санки, а так, черт знает что. Или вот,— сердился он на вольтеровское кресло,— плюхнул в него и пропал в нем: совсем человека не видно... Господа с жиру бесятся... Делать им нечего.

Больших комнат старики не любили потому, что анфилады их вселяли в них суеверный страх.

— Тут слово скажешь или крикнешь, а оно из пятой комнаты тебе отзывается...

— Кто это «оно», дедушка?

— Известно кто: либо домовой, либо нечистая сила... Люди Бога забыли и модничать начали; и все оттого, что у господ денег много и они по разным заграницам ездят... Ну, вот погляди: заграничный стол. А может быть, его какой-нибудь басурман и еретик делал, который и в церкви никогда не бывает?! По-настоящему, такую вещь и в доме держать нельзя... Грех...

Ввиду этого Егор Михайлович выпросил у графини позволение построить для себя жилище по своему вкусу и выстроил тут же, рядом с барскими хоромами, маленькую хатку с двумя крохотными низенькими комнатками. Очутившись в привычной тесноте и духоте, оба старика почувствовали себя привольно и хорошо, как рыба в воде.

Князь к этому времени уже умер, и овдовевшая княгиня жила со своей графиней-матерью в Крепкой, а управ-

ление Княжой было всецело передано на руки дедушке Егору Михайловичу. Он был здесь полным властелином и командовал всем как ему угодно. Иногда, еще при жизни, покойный князь наезжал делать ревизию. Об этих наездах бабушка Ефросинья Емельяновна рассказывала так:

— Князь был толстый, тучный и жирный барин. Вынесут ему на балкон вот это большое кресло, он и сядет. Тогда вынесут и поставят перед ним этот заграничный столик, а на столик большой кувшин молока. И он сидит и все пьет, и до тех пор дует, пока в кувшине не останется ни одной капельки... А Егор Михайлович стоят перед ним и докладывают. Когда князь увидит, что молока уже нет, то сядет в коляску и уедет... Любил покойничек молоко, царство небесное... И куда только в него лезло!..

В таком положении было дело, когда мы с Антошей приехали в Княжую.

Перед барским домом расстилался густо заросший травою и бурьяном большой двор, с одной стороны которого стояла конюшня, а с другой — амбар; посередине — колодец с журавлем и недалеко от него, на двух крепких столбах, голубятня. Ни одной красивой черточки, ни одного красивого выступа, на котором мог бы отдохнуть глаз; кругом — бесконечные поля. Самая слобода спряталась где-то в овраге. После невзрачной, но еще сносной Крепкой здесь уже веяло самой прозрачной и безвыходной скукой и тоской. Нас так и обдало этой благодатью, как только мы въехали во двор. Мы с Антошей только переглянулись, и каждый из нас невольно вздохнул.

А мы-то так рвались сюда из Таганрога! Нас так тянуло в этот рай, в эту обетованную землю. Но раскаиваться было уже поздно, приходилось переживать обидное разочарование и покориться судьбе.

Бабушка Ефросинья Емельяновна — совсем деревенская старуха — встретила нас далеко не ласково. Несмотря на свои шестьдесят пять лет, она была еще жилиста и крепка. Приехав, мы застали ее за стиркой. Подоткнув подол, она в тени своей хатки трудилась над какими-то грубыми тряпками в корыте, и когда мы с Антошей подошли к ней поздороваться, то на нас пахнуло атмосферой противного мыла. Мы и не ожидали особенно радушного и родственного приема, но теперь почувствовали себя сра-

зу очень неловко; на лице бабушки было написано, что приезд наш был ей совсем неприятен.

«Тут и так хлопот много, а нелегкая еще внучат принесла! — говорили ее старческие глаза.— Теперь придется еще и о них заботиться...»

Мы с Антошей были в порядочном затруднении. По-настоящему, следовало бы поцеловать бабушке ручку, но Ефросинья Емельяновна и не подумала вынимать своих рук из корыта.

— Егора Михайловича дома нема,— заговорила она по-хохлацки (она говорила только по-хохлацки).— Они поехали в поле на бегунцах (беговых дрожках). Поехали и пропали. Должно быть, косари бунтуют... Такой треклятый народ, что и не дай Господи...

— Кланяются вам и дедушке папаша и мамаша,— начали мы в один голос.

Но бабушку, по-видимому, эти нежности нисколько не интересовали. Не вынимая рук из корыта, она повернула к нам свое покрытое морщинами лицо и спросила:

— Едите голубей?

Само собою разумеется, что мы оба, страшно голодные, выразили живейшее согласие. Ефросинья Емельяновна выпрямилась, протянула вдоль бедер распаренные тощие руки с налившимися жилами и, глядя куда-то во двор, стала кричать во весь свой старческий голос:

— Гапка! Гапка! Где ты провалилась? Гапка!

Кричала она довольно долго. Из дверей другой маленькой хатки, которой мы сначала не заметили, вышла не молодая уже женщина, босая и загорелая, но считавшая себя, по-видимому, красавицей, потому что ее загорелую шею в несколько рядов окутывали разноцветные мониста, в ушах висели тяжелые медные серьги с поддельным кораллом, а волосы были перехвачены желтой выцветшей лентой. Шла она медленно, не торопясь, и, подойдя, стала пристально и без всякой церемонии рассматривать нас.

— Это кто же такие? — спросила она по-хохлацки.

— Внуки. Моего сына Павла дети,— ответила бабушка таким тоном, как будто бы хотела сделать упрек кому-то за то, что нас принесло в Княжую.

Гапка стала еще пристальнее и еще бесцеремоннее рассматривать нас с таким же любопытством, с каким смотрят на зверей в зверинцах, бродящих по ярмаркам.

— Яков где? — спросила бабушка.

— А я почему знаю? — ответила красавица.

— А Гараська шибеник (висельник) где?

— Балуется где-нибудь с хлопцами, а то, може, и на речке купается или рыбу ловит...

После этих справок последовал со стороны бабушки приказ: отыскать либо Якова, либо шибеника Гараську, и пусть кто-нибудь из них слазит на голубятню и поймает пару молодых голубей. Гапка же должна немедленно ощипать и зажарить этих голубей и подать нам для утоления нашего голода.

— Если бы вы раньше приехали, то застали бы обед и поели бы борща, — утешила нас бабушка, когда Гапка удалилась, — а теперь уже все съедено. Мы обедаем рано, не по-вашему, не по-городскому... Покушайте теперь голубей. А у нас есть такие люди, что совсем не едят голубей оттого, что на иконах в церквах пишут Духа Святого в виде голубя... А Егор Михайлович в это не верят. Они говорят, что голубь — птица, а не Дух Святой... Да что же это я с вами разбалакалась?! У меня стирка стоит. Не мешайте. Идите куда-нибудь гулять. Вас потом позовут... А то вы мне еще голову заморочите.

«Так встретила нас бабушка. Как-то встретит нас дедушка?» — подумали мы.

Куда же идти? Здесь и идти-то некуда. Мы пошли наудачу, куда глаза глядят. Обогнули барский дом и вошли в сад. Сад был давно запущен. Дорожки густо заросли травою и были еле-еле заметны. Перед балконом, выходящим в сад, были заметны заросшие бурьяном бугорки — когда-то бывшие клумбы. В одном месте в саду под деревом мы нашли старую скамейку, тоже кругом обросшую травой и лопухами. От нечего делать мы посидели на ней.

— Скучно здесь будет, — сказал уныло Антоша.

— Да, брат, порядочная мерзость запустения, — заметил я.

Немножко левее блеснула речка. Мы, точно сговорившись, поднялись, отыскали какую-то тропинку и стали спускаться по ней к воде. Первым делом мы наткнулись на купальню с дверью, висевшей косо только на одной петле: другая была сломана. Было ясно, что дедушка и бабушка не были охотниками до купанья. Речка была ти-

пичная степная с песчаными берегами. Кое-где росли и шептались камыши.

— Давай выкупаемся,— предложил Антоша.

— Убирайся ты со своим купаньем. Мне страшно есть хочется,— ответил я с сердцем.

Я был зол от голода. Когда еще мы этих несчастных голубей дождемся?! Хоть бы уж по куску хлеба дали...

— Пойдем, Антоша, попросим у бабушки хлеба.

— Пойдем. Только она нас прогонит. Раз уже прогнала... А мне страшно есть хочется.

Мы решили вернуться к бабушке. Но тут недалеко раздались женские голоса. На вдающийся в реку песчаный мысок пришли три бабы и стали полоскать в реке белье. Пробравшись не без труда через бурьян и репейник, мы подошли к ним.

— Здравствуйте.

— Здравствуйте и вы.

— Помогай Бог!

— Спасибо.

Бабы глядели на нас приветливо и в то же время с любопытством осматривали нас.

— Как называется эта речка?

— Крепкая.

— Та самая, что течет в слободе Крепкой?

— Эге... Она самая.

— А рыба в ней есть?

— Есть, только мелкая. Наши паробки бреднем ловят. Уха бывает добрая. Местами и раки есть.

— А можно бредень достать?

— В слободе можно. У кривого Захара целых два бредня есть. Он даст.

Бабы продолжали с добродушным любопытством рассматривать наши синие мундирчики и даже забыли о белье. Загорелые лица их приветливо улыбались из-под цветных платочков, покрывавших их головы.

— А вы кто такие будете? — спросила одна из них.

— Мы внуки Егора Михайловича.

— Гаспида проклятого? — взвизгнула одна из баб с неподдельным испугом.— Гаспидята!

Затем вдруг произошло превращение. Бабы неожиданно вспомнили о белье и принялись спешно полоскать его. Добродушные и приветливые улыбки сбежали с их лиц

и заменились какою-то пугливой серьезностью. На наши вопросы они уже не отвечали.

— Что это значит, молодайки? — спросил я с удивлением.

— Идите, идите своею дорогою,— сердито ответила одна из баб и принялась полоскать с таким усердием, что кругом далеко полетели брызги.

Мы постояли еще немного и не без смущения стали подниматься по тропинке вверх.

— Саша, отчего это бабы вдруг так переменились? — спросил Антоша, глядя на меня широко раскрытыми глазами.

— Не знаю, Антоша,— ответил я.— Должно быть, дедушку здесь не любят за что-нибудь. Припомни: машинист всю дорогу бранил дедушку, в Крепкой Смиотанко тоже бранил, и управляющий Иван Петрович отзывался о нем как-то двусмысленно. Впрочем, не наше дело. Есть здорово хочется. Пойдем к бабушке. Может быть, голуби уже и готовы.

Поспели мы, что называется, в самый раз. Гапка уже искала нас, а бабушка сделала нам выговор за то, что мы пропали. Два тщедушных голубиных птенца и два ломтя пшеничного хлеба исчезли быстро, но не насытили нас, а только раздразнили наш здоровый молодой аппетит. Попросить еще по ломтю хлеба нам показалось почему-то совестно. Мы только вздохнули и грустно поднялись из-за низенького стола.

— Бабушка, скоро чай будет? — спросили мы в один голодный голос.

— Когда Егор Михайлович приедут, тогда и чай будет,— ответила Ефросинья Емельяновна и ушла куда-то.

Жди, когда он приедет! А если он до ночи не вернется? Значит, нам до самой ночи и голодать? Эх, зачем мы поехали?

Куда же теперь деваться? Что с собою делать? Через двор от угла хатки и до угла амбара протянулась веревка. На ней Гапка, гремя монистами, развешивала выстиранное бабушкой грубое белье. Подле нее вертелся и прыгал на одной ножке мальчуган, лет одиннадцати, с давно не стриженной головой, в холщовых портках и рубахе и босой. Палец правой руки он воткнул себе глубоко в ноздрю и, припрыгивая, гнусавил:

— Нгу, нгу, нгу, нгу!..

Мы подошли. Гапка, не покидая работы, приветливо нам улыбнулась, а мальчуган, не вынимая пальца из ноздри, уставился на нас.

— Хорошо я вам, паничи, голубят изжарила? — спросила она.

— Голуби были очень вкусны, но только для нас этого было мало. Мы с Антошей по-прежнему голодны, — сказал я.

— Я тут, паничи, не виновата, — ответила Гапка. — Приказали бабушка пару, я и изжарила пару. Я не виновата, что ваша бабушка такая скупая и жадная.

— Разве Ефросинья Емельяновна скупа? — спросил Антоша.

— И-и, не дай Бог, какая скупая... Как скаред... Я наставлю курам зерна сколько надо, а она придет да половину с земли соберет. Корки хлеба — и те считает... Куда вы теперь, паничи?

— И сами не знаем. Мы здесь ничего не знаем.

— Гараська, — обратилась Гапка к лохматому мальчугану. — Поди, детка, с паничами. Покажи им что-нибудь. Сходите в балку, на криницу. Там вода холодная и чистая, как слеза.

Гараська вынул из ноздри палец, глубокомысленно задумался и, тряхнув головою, решительно проговорил по-хохлацки:

— Ходимте. Я вам щось покажу.

Он степенно и важно, точно сознавая значение возложенного на него поручения, пошел впереди, а мы за ним. Завязался разговор.

— Ты Гараська Шибеник? — спросил Антоша. — Это твоя фамилия?

— Сам ты шибеник. Хоть и панич, а шибеник, — ответил сердито Гараська.

— Это бабушка сказала, что тебя зовут шибеником, — оправдался Антоша.

— Ее самое, старую каргу, надо на шибеницу (виселицу). Она только и знает, что с утра до ночи лается.

— Значит, ты Ефросинью Емельяновну не любишь?

— А кто ее любит? И деда вашего страсть как не любят.

— За что же его не любят?

— Всех притесняет... Гаспид.

Наступило неловкое молчание. Антоша переменил разговор.

— Гапка — твоя мать? — спросил он.

— Эге, мать.

— А отец у тебя есть?

— Нет. Батька у меня нема.

— Значит, он умер?

— Не знаю... Я спрашивал об этом маменьку, а они сказали: «На что тебе батька понадобилось? Проживем и без батька...» Сказали и заплакали.

Мы ничего не поняли и хотели было расспросить подробнее, но Гараська вдруг сделал вдохновенное лицо, раздул ноздри и крикнул:

— Пойдемте в клуню (в ригу) горобцов (воробьев) драть!

Вслед за этим он побежал вперед к большому четырехугольному зданию, сплетенному из ивовых ветвей и покрытому соломой. Оно находилось шагах в трехстах от барской усадьбы. Окон в нем не было, а были только двери, похожие на ворота. В эти двери мог свободно въехать большой нагруженный воз. Гараська приоткрыл их, влез в щель и пропустил нас туда же. Мы сразу попали в полумрак и долго не могли освоиться, несмотря на то, что сквозь плетеные стены со всех сторон проникал снаружи свет. Плотно убитый и укатанный пол занимал довольно большую площадь, и на нем в разных углах стояло несколько молотилок и веялок. Антоша и я не утерпели и стали вертеть ручку одной из веялок. Она загрохотала, застучала и даже, как нам показалось, жалобно застонала. Это нам понравилось, но забаву эту пришлось скоро бросить: не хватало силенки.

Тем временем Гараська, знавший здесь каждый уголок и каждую щелочку, ловко, как кошка, вскарабкался по плетеной стене под самую крышу и стал шарить рукою в соломе. Послышалось тревожное воробьиное чириканье, и несколько испуганных воробьев вылетели из-под крыши и стали метаться по клуне.

— Давайте шапку! — крикнул Гараська.

Мы с Антошей оба протянули ему вверх наши гимназические фуражки.

— Выше держите, а то яйца побьются, — скомандовал Гараська.

Я поднялся на цыпочки и поднял фуражку еще выше. Гараська, держась одной рукой за стропило, повис всем телом вниз, протянул другую руку к моей фуражке и сказал:

— Вот. Получай.

Я поглядел в фуражку. На дне ее лежало пять маленьких крапленых воробьиных яичек. Антоша тоже поглядел и, подняв свою фуражку как можно выше, стал умоляющим тоном просить:

— И мне! и мне! Гарася, дорогой, милый, золотой, и мне...

Гараська бросил и ему в фуражку пяток яичек. Затем началась настоящая охота. Гараська, как кошка, держась за стропила, лазил вдоль стен и шарил в соломе. Среди злополучных воробьев поднялся неописуемый переполох, и в какие-нибудь десять минут в фуражке у каждого из нас была масса яиц. Гараська, красный от движения и от натуги, слез на землю и, взглянув на добычу, довольным голосом сказал:

— Будет с вас.

— Что же мы теперь будем делать с этими яйцами? — спросил я.

— Что? Ничего, — ответил Гараська. — Возьмем да и бросим, а сороки потаскают и съедят.

Мы вышли из клуни, бережно неся фуражки. Вдруг ни с того, ни с сего Антоша произнес жалобным тоном:

— Бедные воробушки! Зачем мы их грабили? За что мы их разорили и обидели? Ведь это грех... Саша, зачем мы разорили столько гнезд? Гараська, надо положить яички обратно в гнезда.

Гараська поглядел на Антошу выпученными и удивленными глазами и ответил:

— Поди и положи сам. Я все гнезда разорил. Теперь и не найдешь.

Антоша бережно выложил яйца на землю и стал с грустью и с раскаянием смотреть на них.

— За что мы обидели ни в чем не повинных божьих птичек? — пробормотал он.

Глядя на него, и мне стало стыдно за нашу бесполезную жестокость. Мы, печальные и смущенные, пошли домой, а Гараська, набрав полные пригоршни яиц, шел за нами и беззаботно швырялся ими, как камешками.

Дедушка Егор Михайлович приехал на дребезжащих беговых дрожках, когда уже солнце было близко к закату. Увидев нас, он так же, как и бабушка, не высказал ни малейшего удовольствия по поводу нашего прибытия. Он явился не в духе, ввиду того, что крысы в амбаре съели кожух (овчинный тулуп). Об этом событии он рассказывал бабушке таким тоном, как будто бы дело шло о целом состоянии или о выгоревшей дотла слободе. Он жестикулировал и бранился на чем свет стоит.

— Как я поглядел — а в кожухе дырка! Такая дырка, что аж перст пролез. Вот этот самый перст.

Дедушка при этом поднес бабушке указательный палец к самому лицу так близко, что та отшатнулась. Излив свой гнев и пожелав в заключение кому-то скиснуть, Егор Михайлович обратил, наконец, внимание и на нас, внуков, и сухо, ради одной формальности, спросил:

— Ну, как там у вас? Все ли живы и здоровы в Таганроге?

Получив ответ, он уже более не обращал на нас никакого внимания и выразил свое родственное расположение только тем, что сказал:

— Скоро чай пить будем.

Вслед за этим он деловым тоном заявил бабушке:

— К чаю армяшки придут два. Те самые, что через графскую землю овец прогоняют. Я с них пятьдесят целковых взял за прогон, за то, что отара вытопчет и съест. Смотри, мать, чтобы парадно было.

Бабушка, смертельно не любившая никакой парадности, связанной для нее с излишними хлопотами, недовольно промычала что-то и проворчала чуть слышно про себя:

— Поганым армяшкам, да еще и парад!.. Нехай они скиснут!

К чаю действительно прибыло двое армян-гуртовщиков с огромными носами, в грязных рубахах и в истоптанных сапогах, сделавших, по-видимому, не одну сотню верст по степи. Пригласив их, дедушка высказывал этим свое благоволение, так как знал, что и сам получит от графини словесную благодарность и похвалу.

Чаепитие было действительно обставлено некоторой парадностью. На середину двора был вынесен низкий круглый деревянный стол, ножки которого были ниже

ножек обыкновенного стула. Вокруг уселись на скамейках, вроде тех, которые ставятся под ноги, дедушка, бабушка, Антоша и я. Для армян же, как для почетных гостей, были вынесены из дома два обыкновенных стула. По мнению дедушки и бабушки, это было парадно, но мы с Антошей едва удерживались от смеха и по временам довольно невежливо хихикали и фыркали. Очень уж комичен был вид армян, восседавших на стульях и испытывавших от такой высоты ужасное неудобство. По сравнению со всеми, сидевшими чуть не на корточках, они казались чем-то вроде громадных верблюдов. Посередине стола стоял маленький и давно уже не чищенный самоварчик. Сахар помещался в старой жестянке из-под монпасье. Чайник был без носка. Пили из разнокалиберных чашек и пили вприкуску, стараясь кусать как можно громче.

— Угощай гостей, мамаша,— обратился Егор Михайлович к супруге, желая показать себя радушным хозяином.

— Кушайте, господа вирмешки (армяшки)! — угощала бабушка.

Армяне пили не спеша, и все время разговаривали между собою по-армянски, и громко сморкались в пальцы. Но ни то, ни другое однако же никого не стесняло, как не стесняло и то, что один из них вытер со лба пот подолом рубахи и при этом обнаружил довольно солидный кусок смуглого брюха.

— Что же ты, мамаша, не наливаешь гостю еще? — указал дедушка на пустую чашку одного из армян.

— Будет с него. Он уже и так три чашки выпил,— недовольным тоном ответила бабушка.

Дедушка бросил на бабушку молниеносный взгляд, но армянин поспешил поблагодарить:

— Благодару. Давольно.

Антоша и я не выдержали и фыркнули, за что и удостоились от дедушки лестной аттестации:

— Дураки! Невежи! Не умеете себя при гостях держать. А еще ученые!..

Дедушка Егор Михайлович никак не мог помириться с тем, что наши родители не сделали из нас лавочников и ремесленников, а отдали нас в гимназию. Поэтому он не упускал никогда случая ругнуть нас «учеными». Антоша и я однако же не придавали этому никакого значения.

Оба мы в те времена были глубоко уверены в том, что дедушка во сто крат неразвитее и невежественнее каждого из нас. Дедушка же, в свою очередь, не раз предупреждал нашего отца:

— Не учи, Павло, детей наукам, а то станут умнее батька с матерью. <...>

Тем не менее дедушка и бабушка, после короткого совещания, решили, что нас, гостей, надо положить в большом доме, потому что в их маленькой хатке четверым будет душно, да и блох много. Дом отперли, набросали на пол душистого сена, покрыли простыней и таким образом устроили для нас одну общую постель и вместо пожелания спокойной ночи сказали:

— Смотрите же, не балуйтесь, а спите...

Мы остались в пустом доме одни, без огня. По счастью, теперь мы были сыты. За чаем мы умяли целую паляницу вкусного пшеничного хлеба. Но все-таки нам было скучно и спать не хотелось. Мы вышли на галерею и уселись рядом на ступеньках лестницы. Во всей усадьбе была такая мертвая тишина, что явственно было слышно, как изредка фыркают лошади в отдаленной конюшне. Кругом все спало. Тихо было повсюду — и в степи, и на речке, с ее кустарниками и камышами, и в ночном воздухе. Раз только низко над землею пролетела какая-то ночная птица, да из степи донеслось что-то похожее на крик журавля. Антоша глубоко вздохнул и задумчиво проговорил:

— Дома у нас теперь ужинают и едят маслины... В городском саду играет музыка... А мы здесь бедных воробьев разоряем да несчастных голубей едим.

Мечтою и думами он жил в этот момент в Таганроге и думал о родной семье и о родной обстановке. И в самом деле, мы чувствовали себя здесь одинокими, точно заброшенными на необитаемый остров.

— Зачем мы сюда приехали? Здесь нехорошо, — проговорил Антоша с грустью.

Через полчаса он ушел спать, а я остался один со своею безотрадною скукою. Ночь была тиха, пленительно тиха. Как был бы здесь уместен живой человеческий голос!

Но, чу! Я даже вздрогнул... Произошло что-то волшебное. Из-за реки вдруг донеслась нежная, грустная песня. Пели два голоса — женский контральто и мужской баритон. Что они пели — Бог его знает, но выходило что-то

дивное. То женский голос страстно молил о чем-то, то баритон пел что-то нежное, то оба голоса сливались вместе, и в песне слышалось безмятежное счастье... Я невольно окаменел и заслушался. Я любил пение нашего соборного хора и наслаждался концертами Бортнянского, но такого пения я не слыхивал ни разу в жизни.

— Саша, где это поют?

В дверях стоял Антоша, весь озаренный луною, с широко раскрытыми глазами и с приятно изумленным лицом.

— Это ты, Антоша? А я думал, что ты уже спишь.

— Я собирался заснуть, да услышал это пение... Где это поют?

— Должно быть, за рекой. Какой-нибудь паробок и дивчина.

Антоша опять сел подле меня, и оба мы застыли, слушая неведомых певцов. Где-то во дворе тихонько скрипнула дверь, и через несколько времени мимо нас прошла, вся залитая луною, Гапка. Она шла медленно по направлению к реке и тихо рыдала.

— Боже ж мой! Боже ж мой, как хорошо! — бормотала она. — Когда-то и я тоже... А где оно теперь?..

— Саша, о чем она, бедная, плачет?

— Не знаю, Антоша...

И нам обоим захотелось заплакать.

Пенье умолкло, когда небо уже начинало бледнеть. Мы вошли в комнату и улеглись усталые, но счастливые и довольные. Но заснули мы только под утро, когда в слободе пастух, собирая скотину, заиграл в трубу.

X

Проснулись мы на следующее утро в девять часов — по-деревенски очень поздно. Дедушка давно уже был в поле. Бабушка не захотела ставить для нас самовар и с недовольным ворчанием дала нам по горшку молока и ломтю хлеба, а затем мы снова были предоставлены самим себе.

<...>Мы пошли бродить по двору и забрели в конюшню. Там мы застали того самого угрюмого беспалого солдата Макара, который привез нас вместе с мукою в Княжую. Он с помощью тряпицы, намотанной на палочку, смазывал чем-то жирным израненные плечи лоша-

ди. На нас он не обратил ровно никакого внимания, вероятно, желая выказать этим свое презрение к нам.

— Чем это ты мажешь? — полюбопытствовал от нечего делать Антоша.

Макар смерил нас обоих взглядом с ног до головы, ничего не ответил и только оттопырил щетинистые усы.

— Это лекарство? — допытывался Антоша.

Солдат сердито сплюнул и не нам, а куда-то в сторону сердито проворчал:

— Сколько раз говорил гаспиду, что хомут тесный... Ишь, какие раны натер... А в рану муха лезет, червяки заводятся. Так нет: гаспид удавится, а нового хомута не купит... Ему нужно, чтобы графиня похвалила его за экономию.

— Кто это аспид? — спросил я.

— А тот, кто и был гаспидом, — ответил Макар лаконически и повернулся спиною.

Очевидно было, что аспидом величал он Егора Михайловича, который был до невозможности экономен там, где дело касалось барского добра и барских денег.

Первый блин был комом. Завязать знакомства с Макаром не удалось. Мы пошли прочь и вдогонку услышали сердитую фразу:

— Идите, гаспидово племя, ябедничайте! Никого не боюсь.

— Никому мы ябедничать не станем, — оскорбленно ответил я, вернувшись. — Мы сами Егора Михайловича не любим. Он отсталый человек.

Я и не подозревал в своем тогдашнем самомнении (еще бы: ученик 5-го класса), что говорю ужасные нелепости, за которые мне следовало бы, по-настоящему, краснеть, но все-таки тон мой на Макара подействовал.

— Не любите? — переспросил он.

— Не за что любить его. С самого приезда нашего в Крепкую мы не слышали о нем ни одного доброго слова; все только бранят его.

— А не врете вы? Ну, да там увидим, — ответил Макар недоверчиво и стал ворчать себе под нос что-то непонятное.

Теперь он стал смотреть на нас как будто ласковее.

— Где ты потерял свои два пальца? — рискнул спросить я.

— Где? — ответил он угрюмо. — Известно где: на войне... Под Севастополем.

И как будто бы раскаявшись в том, что заговорил с «гаспидятами», он грубо крикнул:

— Уходите из конюшни! Чего вам здесь надо? Лошадь ударит, а за вас отвечай...

Мы поспешно ретировались. Навстречу нам опять попался Гараська и без приглашения пошел с нами. Антоша шел задумавшись.

— Отчего это дедушку так не любят здесь? — проговорил он, ни к кому не обращаясь.

— Оттого, что он управляющий, — пояснил Гараська тоном знатока. — Он собирает с мужиков деньги и отвозит их к графине в Крепкую. У графини денег много, а у мужиков мало — вот они и злятся на него. Маменька говорили мне, что Егор Михайлович не может делать иначе, потому что у него должность такая. Если бы у него были свои деньги, то он не требовал бы с мужиков, а отдавал бы графине свои.

Антоша посмотрел на Гараську с удивлением и даже раскрыл рот.

— Маменька говорят, что добрый. Когда им со мною некуда было деваться, то Егор Михайлович приняли их к себе в кухарки и даже полтора рубля в месяц жалованья положили.

Это было для нас обоих новостью, которая рисовала дедушку Егора Михайловича совсем в другом свете.

— Вы у кузнеца Мосия в кузне были? — спросил Гараська.

— Нет, не были. А где кузня?

— Тут недалеко. Там работают кузнец Мосий и молотобойца Павло. Пойдемте, я поведу. Мосий — добрый человек и со всеми ласковый. Он не любит только одного Макарку беспалого. Ух, как не любит!..

— За что?

— А кто же их знает. Как только сойдутся, так и начинают лаяться... И молотобойца Павло — тоже ласковый и добрый паробок. Пойдемте.

Гараська привел нас к небольшой каменной полуразрушенной постройке. Это была кузня. Она стояла на косогоре и производила такое впечатление, как будто бы она по каким-то важным причинам убежала из усадьбы, но поче-

му-то остановилась на косогоре и, по некотором размышлении, осела тут навсегда.

Познакомились с Мосием — дюжим, мускулистым и закопченным мужиком, стучавшим молотом по раскаленному железу. Молодой Павло — тоже закопченный, но с удивительно добрыми глазами — помогал ему, ударяя по тому же железу огромным тяжелым молотом. Заговорили о Макаре.

— Хороший человек, только свинья,— аттестовал своего недруга кузнец.

— Как жалко, что он потерял на войне в Севастополе два пальца,— сказал Антоша.

Мосий опустил молот, широко раскрыл глаза и рот и проговорил с негодованием:

— На войне? Под Севастополем?! Брешет как сивый мерин. Ему три года тому назад два пальца молотилкою оторвало, попал рукою в барабан... Два месяца в больнице провалялся... Слыхал, Павло? Под Севастополем? Да он, бродяга, Севастополя и не нюхал...

Павло сочувственно улыбнулся. Разговор перешел на дедушку Егора Михайловича. Кузнец отозвался о нем одобрительно.

— Егор Михайлович меня в люди вывели,— заговорил он.— Они из меня человека сделали, и я за них и день, и ночь Богу молюсь.

Это был первый человек, который отозвался о дедушке хорошо. Но когда мы разговорились и Мосий увидел, что мы не ябедники и что с нами можно говорить откровенно, то дело сразу приняло иной оборот. Оказалось, что и в кузне Егор Михайлович был прозван гаспидом.

— Очень его у нас не любят,— пояснил кузнец.— И я, грешный, его недолюбливаю. Перекинулся он на сторону графини и очень народ допекает. Вместо того чтобы иной раз заступиться, он сам на мужика наседает. Нет ни одного человека, чтобы о нем хорошее сказать. А ведь он и сам из мужиков... Не будет душа его в царстве небесном, попадет в самое пекло...

Молодой молотобоец Павло слушал, вздыхал и сочувственно кивал головою. Антоша все время молчал и был грустен. Ему было больно, что о дедушке отзывались так дурно. Многого он не понимал, и его добрая, незлобивая душа страдала. Молотобоец Павло все время смотрел на него своими добрыми глазами, и на лице его

было написано сочувствие, хотя и неизвестно чему. В самое короткое время молотобоец сошелся с Антошей и в свободные часы делал для него силки и удочки. Они сразу сделались двумя приятелями, превосходно понимавшими друг друга, несмотря на разницу лет. По его наущению и под его руководством мы пошли на реку ловить рыбу удочками. Антоша и я прошли открытой тропинкой, а он — какими-то окольными путями, чтобы не попасться как-нибудь на глаза «гаспиду».

— Если пустить отсюда на реку кораблик, то дойдет он до слободы Крепкой? — спросил Антоша.

— Нет, — ответил Павло. — Речка загорожена плотиною. Там есть став (пруд) и водяная мельница. В этом ставу водятся здоровенные сомы. Такие сомы, что как вывернется да ударит по воде, то так круги по омуту и заходят... А утка или какая-нибудь другая птица — так и не садись на воду: слопает. <...>

— А можно этого сома поймать?

— Можно. Для этого нужен большой крючок. На маленькую удочку его не поймаешь. Нужно будет сковать в кузне крюк побольше.

— Скуй, пожалуйста, и поймаем сома, — стал просить Антоша.

— Хорошо. Скую, — согласился Павло. — Завтра воскресенье, день свободный, мы и пойдем на став.

— И отлично! — обрадовался Антоша.

— Поймаю воробья и поджарю.

— Для чего? — не без тревоги в голосе спросил Антоша.

— Надеть на крючок... Приманка... Сом только на жареного воробья и идет.

— Тогда не надо, — разочарованно вздохнул Антоша. — Грешно и жалко убивать бедную птичку.

— Тю-тю! — удивился паробок. — У нас воробьев — миллионы!..

— Все равно... Божья тварь... И она жить хочет... <...>

— Знаешь что, Антоша, — заговорил я, осененный идеей. — Давай бреднем ловить. Может быть, что-нибудь и поймаем.

— А бредень где возьмем? — спросил Антоша.

— Экий ты безмозглый! — вскричал я. — А простыня на что? Возьмем вместо бредня простыню, на которой мы

спим, и пройдемся по реке. Когда кончим ловить, развесим простыню здесь же, на кустах. К ночи она высохнет, и никто не узнает. Простынею можно много наловить.

Сказано — сделано. Слетать в дом за простынею было делом одной минуты. Еще через минуту оба мы были уже по пояс в воде и, держа простыню за углы, бродили по реке взад и вперед. Но как ни старались, ничего у нас не выходило. Время подходило к полудню, и солнце палило наши обнаженные тела жестоко, но, несмотря на это, нам было весело. Веселье, однако же, было омрачено появлением дедушки, который, увидев нас за нашим занятием, страшно разбранился. Мне, как коноводу, досталось особенно, и по моему адресу была произнесена лестная фраза:

— Ученый дурак! Что у вас, из вашей гимназии, все такие же ученые дураки, как и ты, выходят? Идите обедать.

За обедом дедушка рассказывал бабушке, якобы иносказательно, как некоторые ученые и умные люди портят чистые простыни, употребляя вместо бредня. Я молчал и дулся, а Антоша исподтишка ехидничал и дразнил меня, выпячивая нижнюю губу и гримасничая. Я не выдержал и прыснул. Егор Михайлович, приняв этот смех на свой счет, обиделся и страшно рассердился и раскричался.

— Ты осел! Ты бык! Ты верблюд! Не уважаешь старших! Ты...

Дедушка перебрал целый зверинец. За эту услугу Антоша получил от меня шлепка по затылку.

Вечером мы с Антошей были свидетелями довольно своеобразной сцены. Перед закатом солнца дедушка Егор Михайлович куда-то исчез, а у бабушки, как у большинства простоватых и недалеких людей, появилось на лице какое-то особенное, таинственное выражение. Ее глаза, рот и все морщины вокруг губ как будто хотели сказать: «Я знаю кое-что секретное, но, хоть убей, не скажу... Никому в мире не скажу».

Мы с Антошей недоумевали. По мере того как солнце закатывалось за далекий край степи, во дворе стали появляться загорелые и усталые косари и разные другие рабочие. Они сбивались в кучу и подходили то поодиночке, то группами к хате, в которой жили дедушка и бабушка, заглядывали в окна и в двери и спрашивали:

— Чи скоро управляющий выйде?

Бабушка Ефросинья Емельяновна все с тем же загадочным выражением на лице копошилась у стола с кипевшим самоваром и отвечала:

— Егор Михайлович в Крепкую поехали.

— А мабудь (может быть) вы, стара́, брешете?

— Чего мне брехать? Поехали к графине за деньгами,— повторяла бабушка.

Рабочие вглядывались в ее лицо и начинали сомневаться еще более. <...>

В среде косарей начался сперва глухой, а потом уже и явный ропот. Упоминалось о гаспиде и об антихристе. Наконец один из наиболее храбрых и настойчивых подступил к бабушке вплотную и потребовал:

— Давай, стара́, расчет. Сегодня суббота. Давай гроши!

— А где я вам возьму? Разве же я управляющий? — крикнула Ефросинья Емельяновна.— Идите к управляющему.

— Управляющий где-нибудь захovався (запрятался). Говори, стара́, где вин захoвався?

— Отчепись, окаянный!..

Началась перебранка, тянувшаяся добрых десять минут! Бабушка уверяла, что Егор Михайлович — в Крепкой, а косари стояли на том, что он спрятался, чтобы не отдать денег, заработанных за неделю. Рабочие грозили и притом так энергично, что мы, братья, слушая их в стороне, не на шутку струхнули. Нам казалось, что если дедушка приедет без денег, то от его хатки останутся одни только щепки... Наобещав бабушке всевозможных ужасов, косари ушли с бранью.

Когда они скрылись, бабушка подошла к двери крохотного чуланчика и спокойно произнесла:

— Егор Михайлович, выходите. Ушли...

Спрашивать у дедушки и у бабушки причину их загадочного поведения мы не дерзнули, но на другой день беспалый Макар объяснил все.

— У нас так всегда ведется,— сказал он по-хохлацки.— Как суббота, так аспид и спрячется, чтобы не платить денег. Он по опыту знает, что лишь только косари или рабочие получат деньги, то сейчас же разбегутся, а других не найдешь. Работа в поле и встанет. А как аспид денег не дает, то они поневоле еще на неделю останутся. За такие дела ему уже доставалось. Ему и смолою голову

мазали, и тестом вымазывали, и всякие неприятности ему выделывали. Раз ночью он шел домой от попа, а паробки перетянули поперек дороги бечевку. Он спотыкнулся и упал. А хлопцы выскочили, надели ему мешок на голову, завязали вокруг шею и разбежались. Хотел Егор Михайлович подняться, ан глядь, и ноги завязаны. А хлопцы из-за угла ржут, хохочут...

Само собою, мы повествование Макара передали от слова до слова в кузне. Кузнец Мосий мотнул головою и тоном, не допускающим никаких возражений, подтвердил.

— Было, было... Все это было... Да еще и будет...

— Как же это дедушка не боится? — спросил наивно Антоша.

— Может быть, и боится. Мы этого не знаем. А может быть, за наши тяжкие грехи и антихрист ему помогает, — философски-глубокомысленно ответил кузнец.

XI

Молотобоец Павло сдержал свое слово — и мы побывали на ставке, у водяной мельницы. Здесь было очень красиво и в то же время жутко. Серая меланхолическая мельница с огромным деревянным колесом и вся заросшая вербами гляделась в спокойную воду запруженной речки. Она давно уже не работает и давно заброшена, так давно, что деревья и трава выросли даже там, где им не полагалось. На заснувшей поверхности ставка то и дело всплескивала рыба, по временам даже и крупная.

— Смотрите, смотрите, какой вывернулся! — вскрикивал всякий раз Павло. — Видели? Тут глубоко, выше головы. Люди рассказывают, что одна дивчина пошла сюда купаться, а ее что-то схватило за ногу и держит... Одни говорят, что это был сом, а другие — что то был сам, чортяка-водяной. Так дивчина так перепугалась, что потом три года головою трясла...

Мы уселись на берегу ставка и долго любовались красивой, жуткой картиной и игрою рыбы, а Павло без умолку болтал и приводил много страшных и загадочных случаев, доказывавших несомненное существование водяного в этом ставке. И рассказы шли к общей картине как нельзя более кстати. Так и казалось встревоженному воображению, что вот-вот из-под огромного колеса высунется из

воды страшная голова и грозно поведет большущими глазами. Вероятно, и Антоше думалось и казалось то же самое, потому что он неожиданно поднялся и с робостью в голосе проговорил:

— Пойдемте домой...

Дедушки не было дома. Он с раннего утра уехал в Крепкую в церковь к обедне. Бабушка осталась дома хозяйничать. Вернувшись со ставка, мы с Антошей сели на галерее играть в дурачки. Картами нас снабдил Павло. Они были до того стары и засалены, что на них с трудом различались очки. К нам подошла бабушка Ефросинья Емельяновна в праздничном деревенском платье. В воскресенье работать было грех, и она не знала, куда девать себя, подсела к нам и заговорила о своей прошлой молодой жизни. Рассказ ее был долог, тягуч и скучен. Немножко интереснее стало, когда она заговорила о воспитании своих детей, Павла Егоровича и Митрофана Егоровича, т. е. нашего отца и дяди. И доставалось же им бедным! За всякую малость их драли... Нам с Антошей теперь стало вполне понятным, почему и наш отец, добрейшей души человек, держался той же системы и был убежденным сторонником лозы, применяя ее к нашему воспитанию.

— И горько мне бывало,— повествовала бабушка,— когда Егор Михайлович понапрасну и безвинно дрались. Пришли раз соседи и говорят, будто бы Павло — ваш батько — с дерева яблоки покрал. А Павло вовсе и не крал, а покрали другие хлопцы. Егор Михайлович взяли кнут и хотят Павла лупцевать. Говорят: «снимай портки!» А Павло, бедняжка, снимает штанишки, горько заплакал и начал креститься. Крестится и говорит: «Подкрепи меня, Господи! Безвинно страдаю!» Я даже заплакала и стала молить: «Егор Михайлович, он не виноват». А Егор Михайлович развернулись с правого плеча да как тарарахнут меня по лицу... Я — кубарем, а из носа кровь пошла... И Павла бедного до крови отлупцевали, а потом заставили триста поклонов отбухать.

Антоша и я невольно переглянулись: так вот откуда получили начало те сотни земных поклонов, к которым присуждал нас отец за разные проступки!.. Наследственность...

— А то еще с вашим дядей, Митрофаном, история была,— продолжала бабушка.— Послали его Егор Михай-

лович на крышу что-то починить. Дали ему молоток и гвоздик. Он, бедненький, полез да и не удержался. Не удержался жа и покатился вниз. У меня даже сердце остановилось... Только, слава Богу, он не упал, а как-то уцепился руками за желоб и повис. Висит, а сам боится просить, чтобы его сняли, и только стонет: «Господи, помилуй! Господи помилуй!» Егор Михайлович, как увидели, что он висит, схватили палку и начали его колотить по чему попало. Он висит, а они бьют... До тех пор били, пока Митрофан на землю не свалился. Упал и лежит как мертвый. Я подбежала, слезами обливаюсь и кричу во весь голос: «Митрофаша, детинка моя!..» А Егор Михайлович давай и меня тою же палкою полосовать.

Антоша давно уже выронил карты и смотрел на Ефросинью Емельяновну большими испуганными глазами.

— Какой он злой! — вырвалось у него.

— Нет, Егор Михайлович добрые,— заступилась бабушка.— Они и нищеньким и слепцам милостинку подают. Они только очень строги, но, должно быть, это так и надобно. Они и теперь: как что не по-ихнему, так и норовят либо в зубы, либо в шею ударить. Только теперь крепостного права нет, и они боятся очень драться, а при крепостном праве они очень били... Много в них тогда строгости было...

Бабушка примолкла, стала глядеть вдаль, на голубятню, но, вероятно, не видела ее. Она вся ушла в воспоминания.

— Горькая была моя жизнь, когда я была еще молодою,— продолжала она.— Когда Егор Михайлович только в писарях были, было еще ничего; а как сделал их граф, царство ему небесное, управляющим, тут и настало мое горе. Начали Егор Михайлович надо мною мудровать. Возгордились и запретили мне с деревенскими бабами знаться и с подругами балакать. И стала я все одна да одна, и в слободу ходить не смею. Сижу в хате, как в остроге. Которая подруга ко мне прибежит по-старому покалякать — а они в шею... Засосала мое сердце тоска. Не могу одна быть, да и только. И стала я обманывать. Как Егор Михайлович в поле или в объезде, так я сейчас тайком в слободу, к подружкам душу отвести. Приехали раз Егор Михайлович с объезда и не застали меня дома. Рассердились и поехали по слободе меня искать. Нашли меня у Пересадихи, схватили за косу и поволокли домой.

Они верхом едут, а я пешком за ними бегу. А они все погоняют кнутом — раз по лошади, а раз по мне... Две недели я тогда больная вылежала...

— Не говорите лучше, бабушка,— сморщился нервно Антоша.— Это что-то ужасное...

— Неужели дедушке все его жестокости сходили с рук? — спросил я.

— Нет, бывали злые люди и против них. Один раз — давно уже это было — пришли они домой побитые и на себя не похожие. Вся голова и все лицо — в перьях, и глаз не видать. Какие-то злодеи вымазали им голову смолою и обваляли в перьях... Уж я их мыла, мыла... И горячей водою, и щелоком... Два гребешка сломала... А то еще в другой раз...

Ефросинья Емельяновна вдруг оборвала, быстро поднялась со ступеньки и торопливо проговорила:

— Егор Михайлович из Крепкой от обедни едут. Надо, чтобы все было готово, а то будет лихо...

Она ушла. На дороге показалась повозка, на которой восседал дедушка, одетый в свой парадный костюм. Он слез, бросил вожжи подоспевшему Макару и направился прямо к низенькому столику, на котором в тени хатки уже кипел начищенный самоварчик. Ефросинья Емельяновна уже суетилась.

— Бог милость прислал,— сказал дедушка и выложил из кармана на стол просфору.

Но на лице у него было написано, что он не в духе и даже как будто бы раздражен.

За чаем из разных отрывочных слов, намеков и недомолвок выяснилось, что он потерпел неудачу. После обедни он прямо из церкви отправился к графине поздравить с праздником и отдать словесный отчет, но графиня не приняла его, ссылаясь на мигрень; а между тем он сам, собственными глазами видел, как графиня вместе с дочерью-княгиней прогуливались по дорожке парка и обе нюхали какие-то красные цветы из оранжереи. Потерпев неудачу, он отправился к управляющему, Ивану Петровичу, в надежде выпить рюмку водки и заморить червячка, но Иван Петрович, пользуясь праздничной свободой, еще с пяти часов утра уехал в гости к своему куму за двадцать верст. Егор Михайлович сунулся было к о. Иоанну, но оказалось, что тот, едва успел разоблачиться и наскоро

проглотить стакан чаю, спешно уехал к соседнему помещику крестить...

Все эти неудачи Егор Михайлович приписывал чьим-то коварным проискам.

Обед прошел пасмурно, без разговоров и все с теми же несчастными голубями, которые успели уже приесться. После обеда дедушка и бабушка завалились спать, а мы пошли на реку и от нечего делать закинули удочки. <...>

XII

Между тем время бежало, и день ото дня жизнь наша в Княжой становилась все скучнее и тошнее. Старики, занятые своей будничной работой, не обращали на нас ровно никакого внимания. Ни книг, ни занятий у нас не было никаких. Мы использовали уже все что можно: ограбили все соседские сады; переслушали все, что нам могли рассказать беспалый Макар, кузнец Мосий и молотобоец Павло; вздумали сами надувать кузнечный мех и что-то испортили в нем, и в заключение я, терзаемый жаждою ездить верхом, оседлал тайком от всех одну из рабочих лошадей и страшно изодрал ей седлом и без того натертую и глубоко израненную спину. За это я сподобился услышать от Макара такие благословения, каких еще никогда в жизни не слыхивал. Мало-помалу на нас напала тоска, похожая на одурь. Мы стали слоняться как сонные мухи и по целым часам лежали на траве в степи и тупо смотрели без мыслей в глубокое небо. Со стариками мы почти и не разговаривали. У них была своя логика, отбивавшая всякую охоту вступать с ними в беседу. Кроме того, заметно было, что они тяготились нами.

— Дедушка, кто такой этот машинист, с которым мы приехали? — спросил однажды за обедом Антоша.

— Такой же, как и все машинисты,— ответил Егор Михайлович.— Около машины ходит.

— Около какой?

— А не знаешь, какая бывает машина, так и не спрашивай.

— Но какая же именно машина? — добивался Антоша.

— Машина как машина... С трубою... Пыхтит... Вот и все.

Так мы ничего и не узнали. В другой раз, видя в степной дали силуэт пахавшего хохла, я спросил деда:

— Какая разница между сохою и плугом?

— То — плуг, а то — соха,— ответил Егор Михайлович.

На этом разговор и оборвался. С мужиками Егор Михайлович вел только деловые и притом кратковременные беседы, которые почти всегда оканчивались одним и тем же возгласом.

— Ты дурак! Ты пентюх!

Более разговорчивым дедушка становился только тогда, когда речь заходила об их сиятельстве графине или княгине. В этих случаях лицо его принимало особенное, умиленное выражение бывшего крепостного человека. Каждому слову и каждому движению помещицы придавалось почти такое же значение, как и изречениям оракула. Иван Петрович, занявший место дедушки в Крепкой, дедушке никакого зла не сделал, но Егор Михайлович все-таки сильно недолюбливал его. Однажды, по возвращении из Крепкой, дедушка при нас рассказывал бабушке:

— Предстали мы оба пред ея сиятельством, перед графинею, с отчетами, Иван Петрович хотел доложить первым, а графиня сделала ему рукою отклонение и изрекла: «Говори ты, Егор Михайлович».

Нужно было видеть, сколько на лице у дедушки было торжества, когда он произносил слово «отклонение»! Враг был уничтожен, а он возвеличен самою графинею! И какое блаженство: «Говори ты, Егор Михайлович!»...

И этой мелочностью, и этими ничтожными, булавочными уколами жили и дышали люди... Более разумных и высших интересов у них, по-видимому, не было. По воскресеньям и по праздникам Егор Михайлович ездил в Крепкую к обедне и всегда старался стать впереди Ивана Петровича, а на аудиенциях у графини неукоснительно докладывать последней о замеченных им по дороге недостатках в обработке полей, вверенных управлению кроткого соперника. Это, однако же, нисколько не мешало ему после аудиенции заходить к этому сопернику выпить рюмочку водки и стакан чаю.

За одну только неделю пребывания в Княжой мы истосковались, и Антоша даже осунулся и похудел. О скором возвращении домой, в Таганрог, нечего было и ду-

мать. На просьбу отправить нас к родителям дедушка объявил наотрез:

— Коней нема и людей нема: все на работе в поле. Для вас отрывать от дела не буду. Ждите оказии.

— А скоро будет оказия?

— Когда будет, тогда и будет.

По-своему он был совершенно прав, но для нас это значило ждать до бесконечности. Антоша заплакал, а я с досады готов был на какой угодно отчаянный поступок. Весь этот день мы прослонялись хмурые, а ночью долго не могли заснуть, проклиная себя за то, что поехали к дедушке и к бабушке в гости.

Утром я заговорил с братом.

— Знаешь что, Антоша, нам с тобою не уехать отсюда до того времени, когда начнутся в гимназии занятия, и наши каникулы пропадут. Раньше этого у дедушки оказии не будет.

— Ты почему знаешь, что оказии не будет? — спросил Антоша.

— Мне кузнец Мосий говорил, что в эту пору оказия бывает только тогда, когда повезут в Таганрог мед продавать. А это раньше августа не будет... Мосий даже побожился.

— Что же нам делать? — уныло проговорил Антоша. — Тут умрешь от скуки.

— Что делать? Давай уйдем.

— Куда? В Таганрог? Туда мы дороги не найдем.

— Зачем в Таганрог. Давай уйдем в Крепкую.

— Там что?

— В Крепкой я побываю у самой графини и попрошу ее, чтобы нас отправили домой... Не станет же она насильно задерживать нас у себя! Мы не мужики, а гимназисты. И притом же я постараюсь быть красноречивым.

Мысль удрать тайком от дедушки и бабушки была сама по себе нелепа и глупа, но мне казалась очень заманчивой, тем более что старики явно тяготились нами, — и я стал уламывать брата. Антоша робел и всячески отнекивался. Он страшно боялся ответственности и говорил, что дедушка напишет об этом побеге отцу, а отец непременно задаст нам обоим солиднейшее внушение. Я чувствовал, что Антоша был прав, и уже заранее предвкушал наказание, но в Княжой жизнь становилась уже невмоготу. Легко было одуреть до идиотизма. К тому же пред-

ставлялся редкий случай поступить так же отважно, как поступали герои Майн-Рида, которым я тогда зачитывался. В конце концов мне удалось-таки убедить и уломать Антошу — и мы незадолго до обеда вышли из усадьбы в степь будто бы для прогулки, а там — пошли и пошли... Дорога была прямая, и заблудиться было нельзя.

В первое время нам было весело и приятно, и мы даже воображали себя до некоторой степени отважными путешественниками, идущими по бесконечной прерии. По крайней мере я старался убедить в этом Антошу, который шел по мягкой, пыльной дороге молча. Мне было лестно, что я нашел себе такого внимательного слушателя, и я развивал свои мечтательные идеи все шире и красноречивее и, наконец, дошел до описания диких лошадей-мустангов, ехать на которых было бы несравненно приятнее, чем идти пешком. Но Антоша перебил меня на самом интересном месте.

— Я пойду назад в Княжую,— проговорил он и остановился.

— Струсил,— упрекнул я его.

— Нет. Я есть хочу,— коротко ответил он.

Тут только я понял, какими опрометчивыми и несообразительными оказались «отважные путешественники», ударившись в бега на голодный желудок, перед самым обедом. У меня у самого защемило под ложечкой... Как же теперь быть? Вид у Антоши был действительно тощий, постный и плачевный. Мы отошли всего только версты полторы, не более, а впереди было еще полных восемь с половиною.

— Пойдем вперед. Нас в Крепкой накормят.

— Кто?

— Графиня,— храбро ответил я.— Я употреблю все свое красноречие.

Антоша сомнительно покачал головою.

— А помнишь, что говорил Смиотанко? — проговорил он.— Ты графине не компания, и она тебя не примет.

Он решительно повернул назад. Я произнес какое-то проклятие в духе героев Майн-Рида и, в свою очередь, зашагал за ним. Вернулись мы как раз к самому обеду, когда бабушка уже собиралась посылать Гапку разыскивать нас.

— Где вы пропадали?

— На ставок ходили...

Ели мы с преотменным аппетитом.

XIII

Прошло три дня — и мы все-таки бежали, но на этот раз уже после обеда и с спокойной совестью. Мы еще раз попросили у дедушки лошадь, но он затопал ногами и назвал нас учеными дураками. Десять верст отмахали мы довольно бодро и в Крепкой объявились прямо в контору, где как раз в это время находился управляющий — кроткий Иван Петрович. Я немедленно объяснил ему, что мы, т. е. я и Антоша, желаем ехать в Таганрог к родителям и просим графиню отправить нас по возможности скорее, а пока рассчитываем на ее любезное гостеприимство. Говорил я так красноречиво, что добродушный старичок понял не сразу и сказал:

— Вы, господин, извините, не запускайтесь, а скажите толком. Я ведь не ученый.

После повторного, но уже менее красноречивого объяснения Иван Петрович побывал у графини с докладом и, вернувшись от нее, объявил, что «от ее сиятельства последовало соизволение внучатам Егора Михайловича ждать оказии и, в ожидании ее, проживать в конторе».

Мы были довольны, и я торжественно произнес:

— Теперь дедушке — кукиш с маслом! Сама графиня на нашей стороне.

Время до вечера мы провели беззаботно, гуляя по слободе, и вернулись в контору, когда уже начало смеркаться и когда нам обоим захотелось есть. Я был до того уверен в гостеприимстве графини Платовой, что сказал брату:

— Довольно гулять. Пойдем ужинать. Вероятно, графиня уже присылала за нами.

Но за незваными гостями не присылал никто, и моя гордость была уязвлена в сильной степени, тем более что Антоша в течение получаса не один раз повторял:

— Я есть хочу!.. Зачем мы ушли от дедушки?! Там мы поужинали бы...

Прошло еще добрых полчаса. В контору вошел управляющий Иван Петрович, добродушно спросил нас, хорошо ли нам гулялось и понравилась ли Крепкая, а затем сел на лавку рядом со Смиотанкой и стал с ним калякать.

— Иван Петрович,— начал я,— в котором часу графиня ужинает?

— Их сиятельство не ужинают, а только молочко пьют,— ответил управляющий.— А что?

— Как что? Мы с братом есть хотим,— тоном страшно обиженного человека воскликнул я.— Это, наконец, негостеприимно.

— А вы еще не кушали? — всполошился Иван Петрович.— Это об вас бабы забыли... Я приказал... Ах, Боже мой, все уже повечеряли. Побегу посмотрю, не осталось ли чего после рабочих.

Антоша бросил на меня укоризненный взгляд. Вскоре, однако же, откуда-то принесли поливанную миску с полухолодным борщом, большую краюху пшеничного темного хлеба и пару деревянных ложек. Мы накинулись на еду, как голодные волки на добычу, а Смиотанко, глядя с ненавистью на миску, несколько раз повторил:

— Но избави нас от вечного борща... Не от лукавого, а от вечного борща.

Этим он намекал на однообразный стол, которым кормили служащих в экономии... Через несколько времени вошла хохлушка, разостлала на полу толстый войлок, бросила два мешка с сеном и объявила, что постель для паничей готова. Ни о простынях, ни об одеялах не было и речи. Зашел управляющий посмотреть, все ли в порядке, и проститься на сон грядущий. Отведя меня в сторону, он шепнул:

— Вы, господин, не верьте, ежели Станислав Казимирович начнет вам про себя чудеса рассказывать. Он когда-то в полку проиграл в карты казенные деньги, и его за это разжаловали в рядовые. С горя он тронулся умом и выдумывает про себя разные истории. Он пристроился у их сиятельства по их неизреченной доброте и щедротам... Спокойной ночи...

Добродушный старичок ушел, и мы стали укладываться спать. Вошел и Смиотанко в солдатской шинели внакидку и сел на свой тощий тюфячок.

— Эта старая шинель,— заговорил он,— мое почетное страдание, все равно что генеральские эполеты или что вериги. Я заслужил ее подвигом... Был когда-то молод и был храбр и горд... Подъехал на лошади к командиру, отдал как следует честь, отрапортовал что надо, по форме, потом перед всем фронтом...

Конца «истории» мы не слышали, потому что спали сладким сном...

Наутро я, почистив найденной в конторе щеткой свой гимназический мундир, отправился без приглашения

к графине просить ее о скорейшей отправке нас в Таганрог. Долго бродил я по старому тенистому парку, окружавшему помещичий дом-дворец. В парке не было ни души. Половина его заглохла. Видно было, что графиня мало заботится об этом прелестном уголке своей усадьбы. Дорожки и аллеи сплошь поросли травой.

Долго я не решался войти в дом. Несколько раз подходил я к стеклянным дверям и заглядывал в окна, но каждый раз трусливо возвращался в парк. Наконец, мне попалась навстречу какая-то прислуга, одетая наполовину в городской и наполовину в малороссийский костюм. Я обратился к ней с просьбой доложить обо мне графине. Та осмотрела меня с ног до головы молча, но пошла. По ее уходе я стал мысленно репетировать «красноречивую речь», которую давно уже приготовил для графини. Скоро меня окликнули и ввели в большую, изящно, но просто убранную комнату. Из боковой двери вышла ко мне благообразная старушка в черном платье и чепце.

— Вы внук Егора Михайловича? — обратилась она ко мне.— Что вам нужно?

Я понял, что передо мною сама графиня. Приготовленная речь вылетела у меня из головы, и я кое-как изложил просьбу о лошади, ссылаясь на то, что скоро будто бы начнутся в гимназии занятия и надо готовиться...

— Теперь лошади все заняты, но как только будет оказия в Таганрог, так я вас сейчас же отправлю,— ответила графиня.

Я почтительно поцеловал ей руку, откланялся и ушел в довольно веселом расположении духа. Я в первый раз в жизни говорил с такой важной особой, как графиня, и гордился тем, что Егор Михайлович и Иван Петрович боятся ее, а я не боюсь и разговариваю с нею смело... А все-таки своим визитом я не выиграл ничего и не ускорил отъезда. Мне нечем было порадовать Антошу. Оставалось только прихвастнуть перед ним с подобающим достоинством, что я был у графини...

День прошел так себе, не очень скучно. Я познакомился с семинаристом, сыном о. Иоанна, и вел с ним серьезную беседу о Спинозе, о котором до сих пор не имел ни малейшего понятия, но это нисколько не помешало мне поддержать достоинство ученика пятого класса и ожесточенно спорить о том, в чем я ничего не смыслил. Антоша

сошелся с деревенскими мальчуганами и удил с ними рыбу.

Ночь мы проспали спокойно и безмятежно. Но наутро в конторе разыгралась сцена. Чуть свет прискакал из Княжой встревоженный нашим исчезновением дедушка Егор Михайлович и в присутствии всех, кто тут был, разразился неистовой бранью.

— Ты беглец! Ты осел! Ты бык! — накинулся он в бешенстве на меня.— И сам ушел, и ребенка с собою потащил... Беглец!

Окружающие, в том числе и кроткий Иван Петрович, слушали распинания дедушки в почтительном молчании, преклоняясь перед его правом старшего. Антоша забился куда-то в угол, а я, струсивший было в первый момент, скоро оправился и, скрестив руки на груди, довольно храбро ответил:

— Не горячитесь, пожалуйста. Я был вчера у графини, и она обещала мне отправить нас на своих лошадях. Вас мы беспокоить не станем и кланяться вам тоже не станем.

— Ты был у графини? — с недоверием выпучил глаза Егор Михайлович.

— Да, был. И она приняла меня очень любезно.

Егор Михайлович в изумлении хлопнул себя по бедрам обеими руками.

— Да как же ты смел беспокоить ее сиятельство? — крикнул он.

— Как видите, смел... Я ей не подчинен и говорю вам еще раз, что она приняла меня очень любезно и обещала дать оказию... Хотел было я рассказать ей, как вас в Княжой все ненавидят, да пожалел вас...

Дедушка еще недоверчивее выпучил глаза, но Иван Петрович утвердительно кивнул головою и прибавил, что ее сиятельство приказали ему заботиться о детях, чтобы они были сыты и довольны. Дедушка Егор Михайлович сразу осел, перестал браниться и вышел из конторы с презрительными словами:

— Из молодых да ранний! Вот нынче какие дети! Без дозволения старших до самой графини дошел!..

Выпив и закусив у Ивана Петровича, дедушка уехал к себе, не простившись с нами.

Мы прожили в Крепкой еще два дня и встретили машиниста Василия Григорьевича. Он шел с женою и с ка-

ким-то мужиком и был слегка навеселе. Увидев Антошу и меня, он осклабился во весь рот, расцеловался, как с родными, и радостно крикнул жене и спутнику:

— Это такие дети, такие дети, что... Ихний папаша бакалейную лавку содержит.

Еще через сутки мы были уже дома в Таганроге и рассказывали всем и всякому о своей поездке.

Потом в течение всей жизни мы вспоминали о том, как мы гостили у дедушки и бабушки и как в те времена я был смешон и глуп. Не чванься я тогда тем, что я ученик пятого класса, многое было бы иначе и на многое мы посмотрели бы иными глазами. Может быть, и старики, дедушка и бабушка, показались бы нам иными, гораздо лучшими. Да они и на самом деле были лучше.

— Ты, Саша, тогда был страшно глуп, а я — детски наивен, но я с удовольствием вспоминаю эту поездку, — говорил мне брат незадолго до своей последней поездки за границу в Баденвейлер. — Хорошее время было... Его уже не вернешь...

Теперь уже давно нет на свете ни дедушки, ни бабушки, ни графини, ни машиниста, ни Макара, ни кузнеца Мосия. Нет и Антоши — писателя Антона Павловича Чехова, преждевременную смерть которого и до сих пор оплакивает родина, которой он с такой любовью отдал свой крупный талант.

В МЕЛИХОВЕ

(Страничка из жизни Антона Павловича Чехова)

Гости. — Усадьба. — Пруд. — Караси. — Мать. — Отец. — Флигель для гостей. — Зеркальные кресты. — Сад и огород. — Сестра М. П. — Пожар. — Переезд в Ялту.

Когда Антон Павлович еще во времена студенчества жил в Москве на Садовой, в доме Карнеева, у него не было отбоя от гостей. Редкий день проходил без того, чтобы у него не перебывало несколько человек — зачастую людей праздных и ни на что ему не нужных. Были даже такие господа и госпожи, которые приходили и приезжали только потому, что им дома делать было нечего и они не знали, как убить время. И являлись они как раз в то время, когда покойный писатель думал и писал, т. е. в самое

дорогое для него время. И каждый или каждая считали долгом войти к нему в кабинет, сесть сбоку письменного стола и задать какой-нибудь нелепый вопрос вроде:

— Какого вы мнения, Антон Павлович, о физическом труде?

Антон Павлович отвечал вежливо и ласково, но, выйдя в другую комнату, чуть не с отчаянием произносил:

— Они отнимают у меня пятаки!

А в то время вопрос о пятачковой построчной плате был для него вопросом поистине шкурным: он оплачивал квартиру, содержал всю семью и, кроме того, должен был еще прирабатывать на то, чтобы иметь приличный стол, так как за обедом, за ужином и за чаем всегда был кто-нибудь посторонний, да и не один, а иногда и по два, и по три человека. Надо сказать правду, надоели Антону Павловичу и мы, братья; но мы, как родные, в счет не шли и надоедливыми беседами пятаков у него не отнимали.

Хозяйством управляли мать наша, Евгения Яковлевна, и отчасти сестра — Мария Павловна. В доме царили радушие и хлебосольство, и никто из гостей не знал, как тяжело достаются Антону Павловичу его пятаки и как вообще нелегко живется ему на свете.

Понятно после этого, почему Антон Павлович, еще будучи студентом, мечтал о деревенской тиши где-нибудь в глухом уголку, подальше от праздных гостей и от московской сутолоки. У него не раз из глубины души вырывалась фраза:

— Как бы мне хотелось сделаться на короткое время начальником какого-нибудь полустанка в степи!..

Когда он окончил курс в университете, судьба, по-видимому, вняла его желанию и помогла ему сделаться владельцем небольшой помещичьей усадьбы Мелихово при небогатом селе того же имени.

— Наконец-то я уйду от гостей,— говорил он, совершая покупку, и радовался.

Но он, как увидим дальше, радовался преждевременно.

Паломники, совершавшие набеги на Мелихово, помнят путь туда прекрасно. Нужно было сесть на Московско-Курском вокзале в курский поезд и сделать восемьдесят верст до ст. Лопасня, где за буфетом заседала дебелая и весьма солидная по возрасту француженка; но она пред-

ставляла собою в этой глуши что-то такое цивилизованное и какой-то такой сколочек Европы, что почти все паломники-мужчины, ехавшие к Антону Павловичу, считали своей обязанностью выпить у нее по рюмочке финьшампани, причем она тоном отставной французской актрисы как-то особенно грациозно произносила:

— Du cognac, monsieur? A l'instant, monsieur! Voilà le citron. Merci, monsieur!..*

Я во время своих поездок к брату в Мелихово почти всегда делал честь ее финьшампани для того только, чтобы поболтать по-французски и полюбоваться ее манерами. По тем же побуждениям и паломники пили у нее коньяк. Антон Павлович трунил надо мною, называл меня археологом и, как местный абориген, уверял меня, что сердце дебелой француженки занято и что для меня в нем места уже не найдется даже и в том случае, если бы я выпил и съел весь ее буфет. Точно так же и в той же юмористической форме предостерегал он и других своих гостей, относившихся более или менее благосклонно к французскому напитку. Злые языки, впрочем, говорили, будто бы и сам Антон Павлович был однажды изловлен кем-то с рюмкою в руке у буфета в Лопасне.

Десятиверстая дорога от станции в Мелихово была проселочная, ужасная, а во время ненастья — прямо-таки убийственная. Полуглинистая, получерноземная грязь толстым и тяжелым слоем облепляла колеса; а в одном месте после хороших дождей приходилось ехать добрые полверсты прямо по воде, буквально доходившей лошадям по брюхо. Словом, дорога настоящая, российская. Пока, бывало, доедешь в такую распутицу от Мелихова до Лопасни — разломит всю спину. Случалось, что в такую погоду каких-нибудь десять верст приходилось плестись два с половиною, а иногда и три часа. А Антону Павловичу приходилось ездить довольно часто. Но его это неудобство не очень стесняло: он жил надеждою, уповая на то, что со временем будет проложено шоссе.

— Нужно только постоянно твердить в земстве о шоссе — и через три года здесь будет непременно шоссе,— говорил он неоднократно и верил в то, что говорил.— Тогда и собакам легче будет ходить,— добавлял он, улыбаясь.

---

* Коньяку, сударь? Сейчас, сударь! Вот лимон. Спасибо, сударь!.. *(фр.)*

Дело в том, что вся провизия и напитки добывались из Москвы и из Лопасни, и посылать за ними на станцию приходилось чуть ли не каждый день. У брата во дворе жили три черные дворовые собаки (кажется, доставшиеся новому владельцу вместе с имением), и между ними среднего роста пес — «Белолобый». Последнего брат обессмертил в своем коротеньком рассказе «Белолобый». Все эти три собаки считали почему-то своей непременнейшей обязанностью, невзирая ни на погоду, ни на состояние дороги, следовать за экипажем на станцию и обратно. Что побуждало их делать по двадцати верст в оба конца — так и осталось неразгаданным для брата. Но возвращались они иной раз до такой степени густо покрытые грязью, мокрые, иззябшие и утомленные, что оставалось только руками разводить и дивиться собачьему самоотвержению и самопожертвованию без малейшей надобности.

Переселившись в Мелихово, брат ожил и весь окунулся в природу и в сельскую жизнь. У него был лес, были поля, был огород и был запущенный сад, были лошади, земледельческие орудия и коровы. Было над чем развернуться и поработать после душного города. Он стал пахать, сеять, сажать и выращивать. В первое время ему стали помогать ревностно по хозяйству брат, Михаил Павлович, и особенно сестра Мария Павловна. Михаил Павлович взял на себя полевое хозяйство и разъезжал по полям в высоких сапогах верхом не хуже любого управляющего, а Марья Павловна занялась огородом и с первого же года поставила его в блестящее состояние. У нее, помимо обычных рыночных овощей, вызревали дыни, арбузы, томаты, нежная столовая кукуруза, артишоки и спаржа. А. П. в своих письмах ко мне (да, вероятно, и другим) подписывался помещиком, умышленно коверкая это слово в «помесчик». Тогдашние письма его дышали довольством и жизнерадостностью. Он усиленно звал меня к себе, и когда я в первый раз приехал к нему из Петербурга, то нашел такую идиллию, что и сам тут же воспылал и заразился желанием приобрести клочок земли.

Мой приезд был встречен чисто по-деревенски: первым делом при въезде во двор бричку окружили с громким лаем три черных, лохматых дворовых пса; затем из стоявшего в стороне флигелька — людской вышла девчонка-прислуга, поглядела на меня, приложив ладонь ко лбу,

и равнодушно ушла; потом из того же флигелька вышел работник Роман и крикнул на собак:

— Пошли вон, подлые!

И уж после всего на крыльце дома показалась мать наша, Евгения Яковлевна, и остановилась на пороге.

— А, это ты, Саша,— обрадовалась она мне.— А уж я испугалась: думала, что кто-нибудь из гостей. Бедному Антоше и тут от них покоя нет.

По заведенному с детства обычаю, я поцеловал ей руку и затем поцеловался с нею.

— Как от тебя, Саша, вином пахнет,— с легкой укоризной произнесла мать.

— Это я в Лопасне у француженки рюмочку финьшампани выпил. Мне еще в Москве говорили, что без этого нельзя попасть в Мелихово,— ответил я.

— И охота же тебе!.. И что это за француженка такая? Хоть бы раз на нее взглянуть... Иди, Антоша в кабинете.

— Сестра где?

— Где-нибудь в огороде копается. Она там целые дни проводит. И не оторвешь ее... Тебе чаю или кофе? У вас, в Петербурге, все больше кофе пьют.

— Чего-нибудь, мама. Все равно.

— Скоро обедать будем. Антоша завел здесь деревенские порядки: встаем рано, чай пьем в восемь и обедаем в двенадцать. Иди к нему.

Антона Павловича я застал в его кабинете за письменным столом у большого, тройной ширины окна, из которого была видна расчищенная дорожка, по бокам усаженная кукурузой и другими декоративными растениями. Вид был довольно веселенький. Одна из стен кабинета от потолка до пола была уставлена книгами на черных полках. Брат обрадовался мне и тотчас же повел показывать свои владения. Дом, службы, двор, сад и огород были сгруппированы в одном месте, за одной оградой. Все было близко, под рукою. Поля, сенокос и лес, называвшийся «Сазонихой», были уже за чертою усадьбы, и дорога из Лопасни в имение бежала некоторое время по полям брата.

Сад был запущен, и это придавало ему особенную прелесть. Он весь порос высокою, густою травой, и в нем особенно красиво и даже в своем роде величественно (по сравнению с молодняком) было старое, развесистое,

с дуплистым стволом, почти в два обхвата, дерево, прозванное на библейский лад дубом «Маврийским». На одной из толстых боковых ветвей его брат Михаил Павлович прикрепил ящик-скворечник с несколькими отделениями. Над рядом отверстий на скворечнике была надпись: «Питейный дом братьев Скворцовых». Таких скворечников по саду было разбросано много. Антон Павлович очень чутко относился к приходу весны, жизнерадостно следил за таянием снега, за разбуханием почек и за прилетом птиц. Особенно любил он скворцов и в своих письмах ко мне сообщал: «У нас уже прилетели скворцы, начали вить гнезда и поют. А у вас на севере? Не прилетели еще?»

Я приехал в конце весны и в начале лета, когда подмосковная природа была, что называется, в полной силе и в полном расцвете. В бордюрах, окаймлявших дом со стороны сада, цвели нарциссы и розы.

— Розы я из Риги выписал, нарциссы сам садил,— показывал мне А. П., ощущая прелесть быть помещиком.— А теперь пойдем, я тебе покажу две лиственницы. Я их тоже выписал и посадил. Ничего, принялись. Осенью я выпишу и посажу штамбовый крыжовник. Говорят, это — что-то особенное.

По пути он часто наклонялся и подбирал с дорожки упавшие с деревьев сухие сучья и веточки и не швырял их куда-нибудь подальше, а складывал кучечками у края дорожки. Потом я узнал, что он собирает этот хворост, связывает мочалкою в пучки и складывает в особом месте. Это он собирал на зиму растопки для печей. Ну, прямо настоящий хозяин, который дышит и живет любовью к своей маленькой усадьбе, к ее уюту и к окружающей ее деревенской природе. Правда, за все это удовольствие приходилось приплачивать, потому что Мелихово не приносило никакого дохода, но зато приятное сознание, что есть свой уголок, искупало все и благотворно действовало на нервы. Тут главную роль играл самогипноз, а это — самое главное. В некоторых случаях А. П., выходя из дома в сад или в поле, надевал в сухую погоду высокие сапоги — опять-таки в силу общепринятого мнения, будто бы в городских сапогах по полю и по траве ходить нельзя; в деревне непременно нужны большие сапоги...

Дойдя до огорода, мы застали там сестру — Марию Павловну. Она усердно копалась в грядках в простеньком

ситцевом платье и в платочке на голове. Издали ее можно было принять за деревенскую бабу-огородницу.

— Саша-Терентяша! — обрадовалась мне сестра. — Руки не подам, — в земле. Целуй так. Видишь, как мы тут хозяйничаем! Пойдем, я тебе огород покажу. Какие у меня огурцы растут!..

Началось вождение горожанина по огороду и показывание то того, то другого. Всякое растение, даже простое, вроде зеленых бобов или гороха, было не простое, а какое-то особенное, одухотворенное, имевшее свою историю, свой цикл развития, свое значение в хозяйстве и свое родственное отношение к посадившей и взлелеявшей его сестре, Марии Павловне. Казалось, вырвите у нее из гряды какой-нибудь боб, на котором вырастет всего четыре или пять стрючьев, и вы ее ничем не утешите, даже целым возом купленных на рынке стрючьев, потому что они покупные, а не свои.

Я сам впоследствии испытал и теперь испытываю иногда это ощущение. Иное огородное растение — какой-нибудь кочан капусты или артишок — на рынке стоит грош. Но раз выводишь его у себя на огороде сам, ухаживаешь за ним и с любовью выращиваешь его — оно становится дорогим для тебя. Когда оно созреет и его подадут в готовом виде на стол, то ешь его с удвоенным удовольствием. На рынке оно стоит гривенник, а тебе обошлось в шесть гривен, но зато это не покупное, а свое... Это — богатейшее чувство, и не всякому дается испытать его.

Пока шло обозрение огорода, Антон Павлович отошел в сторону, углубился в траву и стал рвать что-то такое, тщательно выбирая. Скоро он вернулся с целым пучком травы, которую тут же и разбросал по дорожке на солнышке.

— Что это? — спросил я.

— Это клевер. Тут он высохнет на солнце. У телушки от зеленой травы пищеварение испортилось.

И тут проглядывает хозяин!..

До обеда оставалось еще три четверти часа.

— Пойдем, если хочешь, на пруд карасей ловить, — предложил брат. — У меня и караси есть! — прибавил он с гордостью.

Громкое название «пруд» относилось к небольшой четырехугольной яме, выкопанной подле самого дома, — са-

жени четыре в длину и не более двух с половиной в ширину. Удочки лежали тут же на берегу.

«В деревне никто не украдет,— это тебе не город»,— светилось в глазах брата.

Сели на бережку и закинули удочки. А. П. вооружился золотым пенсне и стал внимательно следить за поплавком. Заговорили о знакомых, о домашних и семейных обстоятельствах, о Москве и Петербурге. Вдруг брат прервал разговор на полуслове и с торжеством вытащил карася величиною в медный пятак.

— Отпусти его обратно в воду,— такую молодь не стоит таскать,— сказал я.

— Это не молодой карась, а старый. Может быть, даже старше нас с тобою,— ответил брат.— В этом пруду были когда-то караси настоящие, но теперь они давно уже выродились в эту мелочь... Погоди, брат, я мечтаю за усадьбою большой пруд со временем выкопать,— там у меня будут караси!.. А в этом пруду все-таки достаточно воды. Весною я боялся, что воды совсем не будет, и мы с братом Мишей сгребали со двора снег и сюда возили... Однако и без нашей помощи натекло и набралось...

Во время дождей прудик этот пополнялся, и пополнялся очень оригинальным способом, применяемым еще прежним владельцем. У водосточной трубы, по которой стекала дождевая вода с крыши дома, вкопана в землю небольшая бочка без верхнего дна. От втулки этой бочки была проведена в пруд железная труба. Само собою разумеется, что приток воды через этот оригинальный водопровод был каплей в море, но — блажен, кто верует, тепло тому на свете.

До обеда мы оба успели вытащить и обратно отпустить в воду по паре карасиков-лилипутов. За это время и я успел по неведению совершить большое прегрешение. Я курил и окурок папиросы бросил в воду.

— Не бросай в воду окурков,— сказал мне серьезно А. П.

— Да ведь на поверхности пруда и без того плавает много дряни,— заметил я.

— Окурки отравляют воду никотином и могут отравить рыбу.

В этом замечании сказался одновременно и медик, и влюбленный в свое имение хозяин.

К самому обеду, когда почти уже садились за стол, подъехали из Москвы двое неинтересных и скучных гостей. Когда о них доложила босоногая девица-горничная, Антон Павлович сделал недовольную гримасу, а мать жалующимся голосом проговорила:

— Господи Боже мой! А у меня, как нарочно, ничего лишнего к обеду не приготовлено... Чем я их кормить буду? И чего их сюда носит, прости Господи! Нигде от этих гостей покоя не найдешь... Анюта, неси еще два прибора.

Гости вошли развязно и сразу заговорили таким тоном, как будто бы сделали брату огромное одолжение тем, что приехали. За обедом пили очень много водки, ели с аппетитом и рассказывали самые неинтересные вещи. Брат был с ними любезен и не показывал вида, что они ему неприятны. Вставая из-за стола, оба гостя в один голос заявили:

— Как хотите, Антон Павлович, а мы у вас переночуем. Мы приехали к вам отдохнуть... Не прогоните?

Брат ответил так, как обыкновенно отвечают в таких случаях, т. е. пробормотал что-то невнятное, ушел в свою маленькую спаленку и заперся там на ключ, что он делал каждое после обеда, а приезжие пошли в сад курить и наслаждаться природой, предварительно спросив отца:

— Сено у вас есть где-нибудь, Павел Егорович? В деревне, знаете ли, приятно поваляться на свежем сене... Что? Сенокос еще не наступал? Жалко, очень жалко...

— Мать Пресвятая Богородица! — взмолилась мать.— На чем и где я их спать положу? Ведь не спросят же, есть ли подушки и одеяла, а прямо говорят, что останутся ночевать... И хоть бы уж друзья какие-нибудь или близкие, а то я знаю наверное, что Антоше они не нравятся... По глазам его вижу...

— Таких гостей — за хвост, да палкою,— проговорил недовольным тоном отец наш.

Отец занимал в доме положение, которое одним словом определить трудно... Он ухитрился устроиться так, что в некоторых случаях на него нельзя было смотреть со стороны без улыбки. Он пользовался полным почетом. За столом он занимал почетное место против Антона. Оба они помещались по краям, а в промежутках между ними размещались домочадцы и гости. Первый лучший кусок попадал на тарелку к нему. Мнения его, каковы бы они ни были, выслушивались с уважением. Если ему приходи-

ло в голову начать есть «для здоровья» в скоромные дни постное — мать беспрекословно исполняла его желание. Водку за обедом и ужином он пил из своего графинчика в виде настоя из каких-то загадочных трав. Комната у него была отдельная и уютная, и в ней пахло ладаном. На столе у него лежала большая тетрадь — дневник с короткими ежедневными записями: «Иван Петрович приехал в гости», «Иван Петрович переночевал и уехал», «Посылали на станцию», «Антоша уехал в Москву», «Без него приезжал в гости Федор Степаныч с женою» и т. п. в этом же роде. Забот у него не было никаких.

Казалось бы, при таких условиях старик должен был быть здоровым. Но на деле выходило не совсем так. Его душу тревожило недоразумение: имение принадлежало Антону Павловичу, следовательно, хозяином, распорядителем и вершителем судеб является он, Антон Павлович. Но ведь Павел Егорович старше Антона Павловича: он его отец, стало быть, и он, Павел Егорович, в силу своего родительского старшинства, имеет еще большее право распоряжаться и отдавать приказания в имении сына. Его все должны слушаться, как самого старшего в доме. Если он не будет так или иначе проявлять своей власти, то его не станут уважать ни прислуга, ни мужики.

Отсюда подчас выходили препотешные для посторонних, но очень досадные для Антона Павловича недоразумения. При мне, например, случилась такая история. Отец для удовольствия и от нечего делать посыпал площадку перед домом желтым песком и любовался делом рук своих. Раным-рано поутру собралось к А. П., как к врачу, несколько человек больных мужиков и баб. Брат никогда не отказывал им в помощи. Пациенты это знали и шли к доктору смело. Но на этот раз им не повезло. По простоте душевной они сбились в кучу как раз на площадке, так любовно и старательно усыпанной песком. Отец увидел, рассердился и без церемонии прогнал их, объявив, что сегодня приема не будет.

— Своими сапожищами весь песок расшаркали и растоптали! Пошли вон отсюда!..

Брату, когда он проснулся и узнал об этом происшествии, подобное вмешательство в его врачебные дела, конечно, не понравилось, и он за обедом серьезно попросил отца впредь этого не делать.

— Хорошо, Антоша, я больше не буду,— покорно извинился отец.

Но жажда власти и хозяйничанья не покидала старика и не давала ему покоя. Добродушный и в старости очень добрый, он никак не мог переварить мысли, что он не имеет права распоряжаться полновластно в имении своего сына, которому он дал жизнь и над которым, следовательно, имеет все права. К тому же он был твердо убежден, что старые люди знают всякое дело лучше молодых.

У брата в саду были два или три фруктовых деревца, за которыми он ухаживал с особенной любовью и от которых осенью ждал плодов. Он даже книжку выписал по плодоводству. В одно прекрасное утро, когда еще все спали, отец взял ножницы и обрезал деревца по-своему.

— Так лучше будет...

Увидев изуродованными своих любимцев, брат сильно огорчился, но отец взял смирением:

— Я больше не буду, Антоша... Все-таки оно лучше, когда деревья обрезаны... Красивее...

Случались и комичные мелочи. Посылает, например, Антон Павлович работника Романа куда-нибудь очень спешно по хозяйству. Роман спешит со всех ног. Встречается по дороге отец.

— Куда идешь?

— По такому-то делу. Ан. П. приказали как можно скорее.

— Успеешь. Собери вот щепочки и сор с дорожки.

— Приказано скорее, бегом...

— Делай, что тебе велят старшие...

Отец прошел тяжелую жизненную школу. С детства его отдали в мальчики-лавочники и колотили нещадно. Сделавшись самостоятельным купцом, он, в свою очередь, кормил зуботычинами и подзатыльниками своих мальчиков-лавочников и приказчиков. За одну зуботычину сподобился даже побывать и у мирового. Поселившись у сына в Мелихове и оказавшись не у дел, он никак не мог расстаться со своей старой привычкой, как с атрибутом власти, и не раз угощал подзатыльниками двух прислуг — девочек Машу и Анюту. Брата это страшно возмущало, но отец всякий раз прибегал к своей покаянной фразе:

— Прости, Антоша, больше не буду... А если их не учить, то никакого повиновения не будет.

Брат, всегда сдержанный и в высшей степени деликатный, никогда не возвышал голоса, и сделать кому-либо даже легкое замечание было для него очень тяжело. После смиренной фразы отца брат обыкновенно умолкал.

— Вот этак вот обезоружит,— сказал мне однажды брат,— а там, глядишь, опять...

Смешного однако же во всем этом было гораздо больше, нежели грустного, особенно в тех случаях, когда мнения старика менялись в зависимости от состояния желудка. Сидит, бывало, за обедом или ужином, пьет из своего графинчика загадочный травник, кушает с аппетитом и много и начинает искренно восхвалять житье в деревне:

— Нет ничего лучше деревни! Приезжайте, господа гости, к нам почаще в деревню!

Нередко случалось ему съедать лишний кусок, и от этого страдал. Тогда он, позабыв только что пропетые хвалебные гимны и держась руками за живот, сердито вскрикивал:

— Ну ее к черту, эту деревню! И кто ее выдумал?! В городе лучше...

Однажды, недовольный порядками в Мелихове, он рассердился на деревню и демонстративно уехал в Москву. Но там, вероятно, он не встретил того гостеприимства, на которое рассчитывал. Через два дня он вернулся в Мелихово и прошел в свою комнату такою виноватою походкою, что брат не мог не улыбнуться. За обедом он находил в Москве одни только непорядки и недостатки... Дня два или три старик просидел у себя в комнате за чтением церковной литературы, но вскоре опять кто-то из прислуги пожаловался на полученную «стукушку».

Благодаря почти постоянному присутствию гостей и наездам нас, братьев, водка покупалась в Лопасне четвертями, и это, конечно, было известно в Лопасне и в деревне Мелихове, среди мужиков, которые, как известно, отлично знают, как живут «господа». По этому поводу А. П. с добродушным смехом рассказал мне такой анекдот:

— Отец пьет меньше всех нас: каких-нибудь три рюмки — и шабаш; мы, молодежь, выпиваем много больше его. А знаешь, какая про него слава идет в деревне? Мужики говорят, что четвертные покупаются для него, что он напьется и пойдет драться... По мнению мужиков, только один отец наш и пьет, а мы — вне подозрений... Вот что значат подзатыльники.

Однажды на мое письмо из Петербурга с запросом, как поживают отец и мать, Антон ответил мне:

«Мать все бегает и смотрит на часы, а папаша объявил, что ему надо заниматься богомыслием. Сидит в своей комнате и занимается».

Нужно объяснить, что означает упоминание о часах. Брат, как медик, завел в деревне правильную, размеренную жизнь. Обедали в двенадцать. Большие круглые часы висели в столовой над дверью. Брат, работая у себя в кабинете, нередко выходил в столовую посмотреть, который час. Заботливая мать принимала это за молчаливые намеки на то, чтобы обед был готов вовремя, и волновалась.

— Антоша уже два раза выходил смотреть на часы, а у кухарки обед еще не готов,— заботилась она.— Ну, как она опоздает?

И мать тревожно смотрела на часы. И чем ближе стрелка подходила к 12, тем она делалась озабоченнее и бормотала:

— Горькое мое произволение!

И с этими словами сама бежала в кухню, хотя в этом не было ни малейшей надобности и брат никогда не настаивал на пунктуальности.

К вечеру в тот день, как я приехал, судьба принесла еще гостью — добрую знакомую сестры и Антона. Ей были очень рады, но для матери опять поднялся горестный вопрос:

— Где я ее положу? Где я возьму подушку и одеяло?..

Впоследствии Антон выстроил специально для гостей в саду флигелек и поставил там три или четыре кровати с бельем, с подушками и одеялами. Некоторые из биографов покойного писателя (а их за последнее время развелось очень много) утверждают со смелостью, достойной лучшего приложения, будто бы в этом флигельке Антон написал свою «Чайку». Это вздор[1]. Флигель был специально предназначен для ночлега гостей, и брат не написал в нем ни единой строчки. Впрочем, дилетанты-биографы наговорили в своих печатных произведениях немало чепухи о брате. Наговорили и таких вещей, каких никогда и не было*.

---

* В недавно вышедшей книге «О Чехове», не знаю, кем изданной[2], помещена иллюстрация с подписью: «Первый гонорар», очевидно, полученный Антоном Чеховым, который с вожделением смотрит на 25-рублевку. Между тем на этой карточке изображены: я, Александр Чехов, и мой товарищ по университету — И. В. Третьяков, а Антона нет вовсе. Так пишутся дилетантами биографии. *(Примеч. Ал. П. Чехова.)*

Ужин в присутствии гостьи и двух гостей прошел очень весело, несмотря на то, что оба москвича говорили одни только неинтересные банальности и усердно налегали на водку и на свежий редис прямо с грядки. Гостья и сестра весело и остроумно щебетали, и отец изредка вставлял свое словцо. Сели за стол, по обыкновению, в восемь часов и кончили есть в девять. Брат из вежливости протянул с гостями до десяти и, распрощавшись, ушел к себе спать. Долее этого времени в Мелихове он очень редко засиживался. Гостью сестра увела к себе, а гостям-мужчинам были постланы постели в зале.

— Как вы рано ложитесь,— недовольным голосом проговорили москвичи.— Мы привыкли отходить ко сну не ранее двух-трех часов ночи. Куда мы теперь время денем?

— У нас, в деревне, рано ложатся,— ответила мать.

— Велите, по крайней мере, Евгения Яковлевна, подать нам бутылочки две красного вина. Авось за вином как-нибудь скуку ночи скоротаем...

В вине им было отказано, потому что его и в самом деле не было дома. Москвичи с неудовольствием пожали плечами, как будто бы хотели сказать: «Попали же мы в берлогу! А еще называется писателем!» — и ушли. Не знаю, хорошо ли им спалось, но мать не сомкнула глаз почти всю ночь. Прислушиваясь к говору полуношников, она ворочалась с боку на бок и в страхе шептала:

— Не наделали бы они там, не дай Господи, пожара... Что с них возьмешь?

Меня положили спать в «Пушкинской»; это была проходная комната, в которой над диваном висел портрет Пушкина. Москвичи проспали до одиннадцати и вышли в столовую заспанные, надутые и недовольные. Стол уже был накрыт к обеду, и мать по своему обыкновению тревожно поглядывала на часы. От чая гости отказались и изъявили желание, в ожидании фундаментальной еды, прямо приступить к водке «начерно». Вышел брат, как и всегда, приветливый, но за обедом ему пришлось выслушать несколько колкостей в иносказательной и замаскированной форме. Москвичи, налегая на очищенную, завели речь о каком-то знакомом интеллигенте, который забился в медвежий угол, одичал, оброс волосами и настолько раззнакомился с цивилизацией, что забыл даже о существовании красного вина... После обеда они потре-

бовали лошадей. Брат распорядился, чтобы работник Роман отвез их на станцию,—и они уехали, простившись очень сухо.

— Кто эти два господина, Антоша?—спросила мать после того, как телега выехала из ворот.—Какие-то они странные: того подай, этого подай, точно в трактире... Из-за них я всю ночь не спала: боялась пожара... Невежи какие-то... Кто они?

— Я и сам не знаю, мамаша, кто они такие,—ответил брат.—Я даже не помню, где я с ними встречался. Может быть, даже и нигде не встречался.

Вскоре после обеда небо как-то вдруг по-летнему заволокло тучами и пошел дождик. Антон Павлович с облегчением вздохнул и сказал:

— Слава Богу, наконец-то!

— Радуешься тому, что твои хлеба и травы поправятся?—спросил я.

— Это само по себе. А я радуюсь ненастью потому, что нельзя выходить из дома и поневоле больше напишешь. А то так и тянет в сад и в огород, а писание стоит. Хорошая погода меня обкрадывает.

Под звуки дождя, забарабанившего в окна, брат ушел в кабинет и засел за работу, мать прилегла отдохнуть после бессонной ночи, отец занялся богомыслием, а сестра увела гостью в свою комнату. В доме воцарилась невозмутимейшая тишина—не та, которую мы испытываем в городе, а какая-то особенная, приятная, деревенская, среди которой хорошо работается и еще лучше думается... Под впечатлением этой тишины я впервые позавидовал брату и дал себе слово копить и тоже приобрести со временем небольшой клочок земли... И мне кажется, что на моем месте каждый ощутил бы подобное желание. Впрочем, мне не раз приходилось видеть и слышать, как литераторы, приезжая к брату и насмотревшись на его житье-бытье, искренно вздыхали и говорили:

— Найдите-ка и мне, Антон Павлович, где-нибудь по соседству, поближе к вам, кусочек землицы.

Часа через полтора вернулся со станции весь мокрый Роман, но вернулся не один. Он привез с собою со станции еще более мокрого нового гостя—московского корреспондента одной из петербургских газет.

— Фу, ты, Господи!—проговорил отец, узнав о его приезде.—Придет беда, отворяй ворота!

Мать и сестра захлопотали. Брат был принужден отложить работу в сторону и заняться с гостем у себя в кабинете. Радовался ли брат его приезду — я не знаю, но я подметил несколько скорбных взглядов на отодвинутую на отдаленный конец стола рукопись.

— Чем это вы, Антон Павлович, обидели гг. N и NN? — спросил, между прочим, новый гость. — Я их встретил на станции.

— Ничем не обижал, — ответил брат. — А что?

— Ругаются на чем свет стоит и клянутся, что больше их нога у вас не будет. Пьют коньяк и ругаются.

— Фатум! — сказал брат, с улыбкою пожимая плечами. — Кстати. Кто они такие?

— Разве вы их не знаете? Один пописывает изредка дрянные стишонки в маленький юмористический журнальчик, а другому второй год возвращают из всех редакций его рассказик. И оба мнят себя литераторами. Неужели вы их не знали?

Корреспондент петербургской газеты оказался догадливее и деликатнее своих предшественников и, поговорив немного с братом, вышел в залу, где его заняли мать, сестра, гостья и отчасти я. Нового и интересного он не привез с собою ничего и откровенно сознался, между прочим, что в Москве душно и что он приехал к Антону Павловичу подышать чистым воздухом и послушать соловья. Надо успеть насладиться всем сегодня же, потому что ему завтра непременно надо быть в Москве. Все вздохнули свободно при этом признании.

Часам к четырем дождь перестал, небо прояснилось и наступила чудная погода. Все, в том числе и корреспондент, пошли погулять. Какими-то судьбами присоединился к нам и брат. Во время этой прогулки произошла сцена из мира животных, которую брат в шутку назвал: «Монтекки и Капулетти». Усадьба брата примыкала вплотную к усадьбе некоего г. Вареникова и в одном месте отделялась от нее только одним тыном из стоячих жердей. У брата, как я уже заметил раньше, было три дворовых собаки, и у г. Вареникова, кажется, было столько же. Все шестеро псов жили между собою дружно и вместе, стаей, бегали по полям и по дорогам; но каждая знала свой двор. Когда мы всей компанией вышли гулять, наши собаки поплелись за нами. Когда же подошли к тыну, то произошло нечто неожиданное. Собаки г. Варени-

кова с одной стороны тына и наши с другой подняли между собою такую ожесточенную грызню, что, казалось, не будь между ними перегородки, они растерзали бы друг друга в клочки. Когда компания прошла мимо, грызня прекратилась.

— Удивительна собачья логика,— сказал брат,— так псы живут между собою в добрососедских отношениях и миролюбиво помахивают хвостами; но стоит только показаться у плетня мне или моему соседу, как они начинают войну. Что они этим хотят показать?

За ужином произошел инцидент, несколько встревоживший брата как медика. Благодаря усердию двух москвичей не хватило водки. Заметили это поздно, когда Роман уже уехал на станцию. И не хватило именно отцу. Но отец не смутился. Он потребовал себе древесного спирта, на котором мать варила кофе, налил в свой графинчик с травами, разбавил водою и пил вместо водки, находя, что это очень хорошо. Боялись, как бы с ним не случилось чего, но все обошлось благополучно.

На следующее утро гостья, корреспондент и я уехали. Я, как истый петербуржец, уехал очарованный сельской жизнью и не без зависти в душе. Письма брата ко мне носили все тот же веселый и жизнерадостный колорит, но в них нередко попадались и фразы вроде: «Если бы не частые наезды гостей — совсем было бы хорошо».

Съездил я в Мелихово зимою (1891—1892 г.) и тоже застал гостей. Все было по-старому, но только брат, как я заметил, начал покашливать. Впрочем, он объяснил этот кашель бронхитом. Кроме того, в его кабинете произошла перемена: книги с полок исчезли. Они были отправлены в Таганрог, в городскую библиотеку, которая впоследствии была названа Чеховской. Зато мать и сестра за обедами и за ужинами хвастали прелестными пикулями, маринадами и соленьями — все с собственного огорода. Радушие было прежнее.

В мае (если не ошибаюсь) следующего года я опять побывал у брата. В это время у него уже были выстроены флигелек для гостей и баня и, кроме того, он выписал на деревенскую церковь зеркальные кресты, еще издали производившие эффект при известном освещении. Вообще он обнаруживал усиленную деятельность в своих палестинах, как врач-бессребреник и как попечитель школы, и в то же время очень много писал, несмотря на то, что

гости буквально одолевали его и отнимали дорогое время, которое, как я узнал случайно, он наверстывал в ущерб своему здоровью. Беседуя с ним однажды в спаленке, я полюбопытствовал узнать, зачем у него перед кроватью стоит такой огромный стол вместо маленького ночного.

— Пишу иногда по ночам,— сознался он неохотно.

Покашливал он уже чаще и сильнее.

— Ты бы попробовал поездить на велосипеде,— посоветовал я.— Я на велосипеде всегда дышу глубже.

— Нет,— сказал он с оттенком грусти,— велосипед мне не поможет. Я теперь как только шесть часов, так и должен уходить из сада в комнаты.

— Как ты определяешь свою болезнь? — спросил я.— Какой ты поставил аутодиагноз?

— Catharus pulmanum,— ответил он мне по-латыни.

В этот приезд я прожил у брата несколько дней, и наговорились мы досыта. Он по-прежнему был деликатен, сдержан и как-то особенно кроток. Смеялся он уже значительно реже и ко всему стал относиться как-то равнодушнее, но не жаловался ни на что, а от того, что было ему неприятно, он уходил без борьбы.

Отец вздумал по какому-то поводу отслужить у дома, на открытом воздухе, молебен и для этого усыпал большую площадь песком, поставил столы и на них расположил несколько икон. Кроме того, из церкви духовенство должно было принести еще икон. Всем домочадцам и прислуге приказано было явиться к молебну. Брат, искренно любивший неприкрашенную природу, терпеть не мог разных парадностей и торжественностей вроде посыпания песком.

— Точно губернаторского приезда ждут,— говорил он с неудовольствием.— К чему этот маскарад? Будь самим собою.

Он ушел в деревню к какому-то больному, а я и двое гостей фланировали. Обед запоздал, потому что кухарка была отвлечена от своего прямого дела. Мать волновалась и чаще, чем всегда, посматривала на часы.

— Что же ты, Антоша, и вы, господа гости, не приходили молиться? — начал было с торжественно-благочестивым лицом отец, но, встретив утомленный взгляд брата, сразу умолк и почувствовал некоторую неловкость.

Он понял, что брат уходил из дома и устал по его милости, чтобы избежать этой парадности и этого молебна, в служении которого было больше тщеславия, нежели искренности: вот, мол, как мы! Не в церкви, а дома служим, и даже для нас из церкви сюда иконы приносят... Надо, чтобы нас уважали...

После обеда брату доложили, что пришел за помощью какой-то приказчик с сильно порезанной рукой. Мы с братом вышли к нему. Из обвязанной тряпкою кисти руки капала часто и обильно кровь. Брат потребовал льду, более получаса провозился с раненым, остановил кровотечение и посоветовал приказчику отправиться к доктору в больницу, где есть все приспособления для лечения.

— До свидания-с,— сказал приказчик, надел картуз и ушел.

— Заметил? Даже и спасибо не сказал,— обратился ко мне брат,— точно я обязан был возиться с ним! Мужик всегда скажет спасибо, а вот этакие гуси в сапогах бутылками и в щегольских картузах — никогда. Страшно невежественный и грубый народ. И заметил: как отбился от мужика, так и стал таким. Много мне их приходилось наблюдать.

За ужином были гости, и между ними, сколько мне помнится, две дамы. По обыкновению, было весело. Но после ужина произошло неожиданное и очень печальное происшествие.

Разошлись в десять часов. Вечер был дивный. Я жил в флигельке и, распрощавшись, ушел к себе с твердым намерением лечь сейчас же на боковую. Но тут запел соловей так близко, так громко и так дивно, что я невольно просидел у окна целый час. Кругом было тихо. Вдруг недалеко от сада раздались тревожные голоса, и во дворе брата зазвонили в колокол, сзывавший рабочих. Занавеска, которой было задернуто мое окно, вдруг стала розово-красной. Я выскочил в сад и осмотрелся. На крестьянской избушке, ближайшей к усадьбе, горела соломенная крыша. В один миг я оказался подле загоравшейся избы в качестве зрителя, но какая-то баба со стоном бегала около крылечка и причитала:

— Старик там! Старик там!..

Я вбежал в избу (опасности пока еще не было) и не без труда вытолкал оттуда пьяного и почти обалделого и ничего не понимавшего старика крестьянина. Сбежался

народ, притащили откуда-то плохонькую машину, прибежал ухарски пьяный парень, схватил кишку и стал заливать. Часа полтора тушил он и высосал почти всю лужу, игравшую роль пруда, но изба все-таки сгорела почти до основания. На этом пожаре были и гости, и брат, которому нельзя было выходить на воздух после шести часов. На этот раз он сделал исключение. Удивительная была обстановка: трещит пылающая изба, к небу вьются багровые клубы дыма, кричит и галдит народ — и в двух шагах во всю мочь заливается соловей!..

Но еще удивительнее была причина пожара. Старик — хозяин избы (которого я вытолкал) пил вместе с каким-то своим приятелем в избе, и оба допились до помрачения.

— Давай подожжем избу,— предложил хозяин.

— Давай,— согласился приятель.

— Поглядим, как она гореть будет... Старуха, выноси на улицу сундуки!

Старуха вынесла имущество, старик подставил изнутри лестницу, взобрался по ней и поджег спичкою солому, а сам сел на лавку. Приятель, увидев, что дело принимает серьезный оборот, удрал.

На следующее утро мать сказала мне:

— Сходи, Саша, на новый пруд и налови отцу карасей на обед. Сегодня среда.

Я с охотою пошел. Это был большой пруд, выкопанный братом недалеко от усадьбы. Вокруг него было посажено свыше двухсот молодых деревьев, обещавших со временем густую тень. Брат напустил туда на племя крупных карасей. Когда я закинул удочки, мимо меня сотский и какое-то другое деревенское начальство провели виновника вчерашнего пожара. Вели его к становому как поджигателя. Увидев меня, он остановился и попросил милостыню...

Через полгода меня в Петербурге пригласили в камеру судебного следователя для дачи показаний о личности поджигателя. Я постарался особенно оттенить его невменяемое, обалдело-пьяное состояние. Целый год почти я в переписке запрашивал, между прочим, брата и о судьбе старика и получал один и тот же лаконичный ответ: «сидит».

Мне пришлось после этого еще раз побывать в Мелихове. Оно было в удивительно цветущем состоянии. Все

посаженное в прошлые годы разрослось; появились новые насаждения; огород был разработан на славу. Глядишь на все, и у тебя, что называется, слюнки текут. В доме обстановка та же: те же часы в столовой, тот же портрет Пушкина, те же неизменные прошеные и непрошеные гости за столом, тот же графинчик с загадочными травами перед прибором отца, то же радушие и гостеприимство, но только брат как будто уже не тот. Он похудел, слегка как будто сгорбился, и жира в подкожной клетчатке стало как будто меньше. Но он был по-прежнему ласков со всеми и разговорчив. За обедом он рассказал, между прочим, как простой народ понимает его произведения.

Пришел к нему как-то работник Роман и попросил почитать чего-нибудь от скуки. Брат дал одно из своих произведений[3], в котором героиня-крестьянка преступает крестьянскую мораль, но вместе с тем вызывает к себе в читателе искреннюю симпатию и сожаление. Того же автор ожидал и от Романа и его аудитории. Но Роман дал категорический отзыв:

— Ишь, подлая...

Все сидевшие за столом весело засмеялись. Одна только мать чуть-чуть улыбнулась... После обеда, когда я вошел к ней в ее комнату, она грустно сказала:

— Антоша бедный что-то покашливает...

Сердце матери чуяло надвигавшуюся беду...

На следующий день около полудня мы с братом остались наедине и сидели в саду на скамеечке. Брат поеживался, грелся на солнышке и как-то скорбно смотрел на окружающее.

— Не хочется что-то ни сеять, ни садить, и в будущее вперед заглядывать не хочется,— заговорил он.

— Полно, пустяки. Это — мерлихлюндия,— утешил я, сознавая, что говорю банальность.

— Вот что,— проговорил он твердо, обернувшись ко мне лицом.— После моей смерти сестре и матери я оставляю то-то и то-то, на нужды образования то-то...

Он перечислил свое словесное духовное завещание и закончил словами:

— Так помни же. Ты старший брат...

Тяжело мне было слушать это. Кругом все цвело, радовалось, жило и благоухало, а тут врач, ясно сознающий свой недуг,— врач, которого не обманешь никакими со-

физмами,— читает себе отходную... Не дай Бог никому переживать такие моменты...

Это был мой последний визит в Мелихово. Скоро оно было продано, со всею тою любовью, которую питал к этому уголку брат, и со всем тем, что было в него вложено, чтобы сделать его цветущим кусочком земли.

С Мелиховым связано, между прочим, и большое семейное горе. Брат уехал куда-то. Хозяйничал отец, и хозяйничал, что называется, вовсю, делая по большей части то, чего не нужно было делать. Привезли как-то из Лопасни провизию. Отец, всю жизнь страдавший грыжей, поднял пакет с полупудом сахара и вызвал этим ущемление грыжи [4]. Его с трудом доставили в Москву и поместили в клинику, где хирургическим путем была удалена омертвевшая часть кишки. Операцию почему-то пришлось повторить, но он не вынес ее и умер на операционном столе.

Между тем здоровье потребовало переезда брата в Ялту. Но и оттуда он писал мне: «Ялта скучна». И немудрено, потому что там ничто не напоминало Мелихова, разве только одни гости, число которых здесь увеличилось вдвое, если не втрое.

М. П. ЧЕХОВ

ВОКРУГ ЧЕХОВА

Встречи и впечатления

I

Наш дядя Митрофан Егорович. — Случай в дворцовом парке. — Протоиерей Покровский. — Отец Павел Егорович. — Деды и прадеды по отцовской и материнской линии. — Легенда дяди Митрофана о нашем «чешском» происхождении. — Бомбардировка Таганрога английской эскадрой. — Братья Александр (литератор А. Седой) и Николай (художник).

Одни считали нашего дядю Митрофана Егоровича чудаком, оригиналом и даже юродивым, другие относились к нему с уважением, а мой брат, писатель Антон Чехов, даже с нежной любовью. Человек этот посвятил всю свою жизнь общественным делам и, отдавшись им целиком, умер от истощения, ибо работал через меру. Правда, «общественные дела» 50—60 лет тому назад были совсем не похожи на теперешние; то, что делал дядя Митрофан, было прежде всего благотворительством. Он был гласным, и церковным старостой, и создателем Таганрогского благотворительного братства, имевшего целью помочь бедным. Его дом всегда был доступен для бедняков; в день его именин ворота этого дома были раскрыты настежь; среди двора были накрыты столы, уставленные пирогами и разными яствами, и каждый имел право войти и усесться за еду.

Это был богомольный человек, устраивавший у себя на дому целые молебствия, но в то же время любивший бывать в театре и смеявшийся до слез на веселых комедиях и водевилях вроде «Маменького сынка» и «Беды от нежного сердца»[1]. Он ходил всегда изысканно одетым и в цилиндре, его дом внешне представлял собой полную чашу. Его деятельность начиналась с рассветом и кончалась поздно вечером, и только один воскресный день он

проводил в полном покое, весь целиком уходя в чтение книг и газет и в разговоры с детьми. Он обожал своих детей, говорил с ними на «вы» и ласкал их так, что нам, его племянникам, становилось завидно. Когда мы мальчиками и затевали какое-нибудь представление, в котором будущий писатель Антон Чехов, тогда еще гимназист, принимал деятельное участие, то дядя Митрофан всегда был нашим гостем и ценителем. Это был человек не без литературного дарования, и его письма, которые, уже взрослыми, мы получали от него, всегда по части слога и поэтических приемов были безукоризненны. В молодости он был большим романтиком, увлекался сочинениями А. Марлинского (Бестужева) и на всю жизнь усвоил его манеру выражаться. В нашей семье долго хранились его письма, переплетенные в целую книгу, которые он писал, еще будучи холостым, моим родителям, когда совершал путешествие по России,— и я твердо уверен, что литературное дарование дяди Митрофана в известной степени передалось от него и нам, и в особенности моим братьям Антону и Александру, которые сделались потом настоящими литераторами.

В жизни Митрофана Егоровича интересными страницами прошла история его любви и женитьбы. В канцелярии таганрогского градоначальника служил некто Евтушевский. У него была дочь Людмила, которую все звали Милечкой. Эта Милечка была поразительно похожа на дочь герцога Гессен-Дармштадтского Максимилиану, которая вышла потом замуж за тогдашнего наследника Александра Николаевича и приняла имя Марии Александровны. Увидев однажды в какой-то иллюстрации ее портрет, дядя Митрофан Егорович полюбил ее как женщину с первого же взгляда. Эту свою симпатию он перенес на Милечку и сделал ей предложение. Она отказала ему. Тогда, романтик до мозга костей, он исчез из города. О том, что он отправился путешествовать, узнали только из писем, которые стали получаться от него с дороги.

О трудностях тогдашнего путешествия можно судить уже по тому, что между Таганрогом и Харьковом, на пространстве целых 470 верст, в то время не было ни одного города, и по пути можно было встретить разве только одних чумаков. Ночевать приходилось часто под открытым небом, прямо среди безграничной степи. Тогда это были все «новые места», описанные Данилевским в его

романе такого же заглавия, с раздольем, разбойниками и рассказами о таинственных приключениях, в которых была замешана нечистая сила. Железных дорог не существовало, и когда наш отец ехал в Харьков за товаром, то, отправляя его, служили молебен. Одна только Николаевская железная (ныне Октябрьская) дорога находилась еще в постройке и в описываемое мною время действовала только на головных участках, причем расстояние от Москвы до Твери (157 верст) поезд покрывал за полутора суток. И это считалось тогда верхом удобства и быстроты.

Письма дяди были полны глубокого интереса. Все в том же стиле Марлинского он описывал свою поездку в Москву и в Петербург и свои впечатления от путешествия по первой тогда железной дороге. Письмо же о посещении им Царского (ныне Детского) Села побило рекорд и сразу выявило всю тайную цель такого путешествия.

Войдя в дворцовый парк, дядя остановился в ожидании, не удастся ли ему увидеть ту, на которую походила его возлюбленная. И вдруг — неожиданность: он увидел направлявшуюся к нему пару. Это шел Александр II под руку со своей женой, бывшей принцессой Максимилианой. Они приближались прямо к нему. Дядя опустился на колени. Думая, что это какой-нибудь проситель, Александр II нагнулся к нему и спросил:

— Что вам угодно?

— Мне ничего не нужно, государь,— ответил ему дядя.— Я счастлив только тем, что увидел ту, на которую похожа любимая мною девушка.

Максимилиана, вероятно, не поняла его слов, а Александр приподнял его, похлопал по плечу, и они пошли далее.

В этой сцене, конечно, много наивного, но в ту пору, в особенности на окраине, на далеком юге, она должна была произвести известное впечатление. Так, по крайней мере, писал романтик-дядя, может быть, в значительной степени и прикрасивший в письме историю встречи в дворцовом парке.

Вот почему, когда Митрофан Егорович вернулся потом на родину, то у Милечки не нашлось уже больше никаких возражений против выхода за него замуж. Они зажили вдвоем, состарились, и в их уютном, гостеприимном домике мы, племянники, всегда находили родственный прием; позднее, поселившись на севере, при каждом

нашем наезде в Таганрог мы любили останавливаться у дяди Митрофана. В этом именно домике и схвачены Антоном Чеховым некоторые моменты, разработанные им впоследствии в таких рассказах, как, например, «У предводительши». Мне кажется, что дядя Митрофан пописывал и сам, потому что, когда мне было уже 25 лет, он затеял со мной переписку и целыми страницами присылал мне выдержки из описаний природы: «цветочков в монастырской ограде на монашеских могилках», «ручейков», игриво протекавших по «росистому лугу», и так далее. Все это были выдержки, в которых по слогу и по манере письма можно было легко догадаться, что он был их настоящим автором.

Как я упомянул, дядя Митрофан был церковным старостой, и по своему характеру и по должности он любил принимать у себя духовенство. Желанным гостем у него был всегда протоиерей Ф. П. Покровский. Это был своеобразный священник. Красавец собой, светский, любивший щегольнуть и своей ученостью, и своей нарядной рясой, он обладал превосходным сильным баритоном и готовил себя ранее в оперные певцы. Но та обстановка, в которой он жил, помешала развить его дарования, и ему пришлось ограничиться местом настоятеля Таганрогского собора. Но и здесь он держал себя как артист. Он эффектно служил и пел в алтаре так, что его голос покрывал собой пение хора и отдавался во всех закоулках обширного собора. Слушая его, действительно казалось, что находишься в опере. Он был законоучителем в местной гимназии. Нас тогда училось в ней пять братьев; я — в первом классе, брат Антон — в пятом. Никто из нас никогда не слышал от Покровского вопросов. Он вызывал, углублялся в газету, не слушал, что отвечал ему ученик, и ставил стереотипное «три». Свою нелюбовь к нашему отцу за его религиозный формализм он перенес на нас, его сыновей. Уже будучи взрослым, брат Антон рассказывал не раз, как Покровский в разговоре с нашей матерью, в присутствии его, Антона, высказал такое мнение:

— Из ваших детей, Евгения Яковлевна, не выйдет ровно ничего. Разве только из одного старшего, Александра.

Он любил давать своим ученикам насмешливые имена. Между прочим, это он, Покровский, первый назвал

Антона Чехова «Антошей Чехонте», чем и воспользовался писатель для своего псевдонима...

Антон Чехов был уже известным писателем... Брат Антон вместе с петербургским адвокатом Коломниным, тоже окончившим курс в таганрогской гимназии, послал протоиерею Покровскому в подарок серебряный подстаканник.

Протоиерей... в умилении от подстаканника... будучи уже в преклонном возрасте, благодарил брата Антона и просил выслать ему свои сочинения.

«Поброунсекарствуйте старику»,— писал он (Броун-Секар — изобретатель «омолаживающей» жидкости).

Антон Павлович распорядился о высылке ему «Пестрых рассказов», на заглавном листе которых стояло: «А. Чехонте».

Предсказание старика, таким образом, не сбылось. Из Антона все-таки вышел толк, но выдуманный Покровским псевдоним стал достоянием русской литературы.

То, что нас было в семье шестеро человек детей — пять братьев и одна сестра — и все мы были гимназистами, придавало нашей семье бо́льшую светскость и интеллигентность, чем это чувствовалось у дяди Митрофана. Правда, и наш отец, Павел Егорович, любил помолиться, но, сколько думаю даже теперь, сколько вдумываюсь в его жизнь, его больше занимала форма, чем увлекала вера. Он любил церковные службы, простаивал их от начала до конца, но церковь служила для него, так сказать, клубом, где он мог встретиться со знакомыми и увидеть на определенном месте икону именно такого-то святого, а не другого. Он устраивал домашние богомоления, причем мы, его дети, составляли хор, а он разыгрывал роль священника. Но во всем остальном он был таким же маловером, как и мы, грешные, и с головой уходил в мирские дела. Он пел, играл на скрипке, ходил в цилиндре, весь день Пасхи и Рождества делал визиты и страстно любил газеты, выписывал их с первых же дней своей самостоятельности, начиная с «Северной пчелы» и кончая «Сыном отечества». Он бережно хранил каждый номер и в конце года связывал целый комплект веревкой и ставил под прилавок. Газеты он читал всегда вслух и от доски до доски, любил поговорить о политике и о действиях местного градоначальника. Я никогда не видал его не в крахмальном белье. Даже во времена тяжкой бедно-

сти, которая постигла его потом, он всегда был в накрахмаленной сорочке, которую приготовляла для него моя сестра, чистенький и аккуратный, не допускавший ни малейшего пятнышка на своей одежде.

Петь и играть на скрипке, и непременно по нотам, с соблюдением всех адажио и модерато, было его призванием. Для удовлетворения этой страсти он составлял хоры из нас, своих детей, и из посторонних, выступал и дома, и публично, и часто, в угоду ей, забывал о кормившем его деле и, кажется, благодаря этому потом и разорился. Он был одарен также и художественным талантом; между прочим, одна из его картин, «Иоанн Богослов», находится ныне в чеховском музее в Ялте. Отец долгое время служил по городским выборам, не пропускал ни одного чествования, ни одного публичного обеда, на котором собирались все местные деятели, и любил пофилософствовать. В то время как дядя Митрофан читал одни только книги высокого содержания, отец вслух перечитывал французские бульварные романы, иногда, впрочем, занятый своими мыслями, так невнимательно, что останавливался среди чтения и обращался к слушавшей его нашей матери:

— Так ты, Евочка, расскажи мне, о чем я сейчас прочитал.

Я не знаю, кто был наш прадед с отцовской стороны, Михаил Емельянович[2]. Со слов отца мне известно, что у прадеда был брат, Петр Емельянович, который по какому-то случаю собирал на построение храма, исходил всю Россию пешком вдоль и поперек и действительно выстроил церковь в Киеве. Наша семейная хронология застает нашего деда, Егора Михайловича, в селе Ольховатке, Воронежской губернии, Острогожского уезда, уже женатым, имеющим трех сыновей и дочь. Все они — крепостные помещика Черткова, внук которого впоследствии был ближайшим единомышленником Льва Толстого. Ненасытная жажда свободы заставила нашего деда выкупиться на волю еще задолго до всеобщего освобождения крестьян. На выкуп дочери Александры у него денег не хватило, и, прощаясь с помещиком, он убедительно просил его не продавать ее на сторону, а подождать, пока у него будут деньги и он сможет выкупить и ее. Чертков подумал, махнул рукой и сказал:

— Так уж и быть, бери ее в придачу.

И стала таким образом свободной и моя тетушка Александра Егоровна.

То, что мои прадед и дед носили у себя в Ольховатке прозвище «Чехи», а не «Чеховы», и то, что они всегда алчно стремились к свободе, заставило моего дядю-романтика Митрофана Егоровича верить в следующую выдумку, которой он неоднократно делился со мной:

— Несомненно, что наш предок был чех, родом из Богемии, бежавший вследствие религиозных притеснений в Россию. Здесь он, естественно, должен был искать покровительства кого-нибудь из сильных людей, которые его и закрепостили впоследствии, или же, женившись на крепостной, он тем самым закрепостил и прижитых от нее своих детей, сам, по своей воле, или же в силу требований закона.

При этом романтик-дядя прибавлял:

— Я так думаю, душенька, что простому крестьянину бежать из своей родины незачем и даже почти совсем невозможно. Наверное, это был какой-нибудь особо знатный человек.

С этим легендарным предположением дядя Митрофан и умер, а мы, его племянники, только улыбались, так как к нашим услугам имелась еще и другая, более документальная версия: Царь-пушку, находящуюся в Кремле в Москве, отлил в 1586 году литейный мастер Андрей Чехов. Но значило ли это, что наши предки происходили от него?

Дед отдал своего старшего сына, Михаила, в Калугу в ученье к переплетному мастеру, а сам поступил в управляющие к графу Платову, в его необъятные имения под Таганрогом и Ростовом-на-Дону, куда и переехал вместе со своими двумя другими сыновьями, Павлом и Митрофаном. Дочь Александра тогда же была выдана замуж в Ольховатке и осталась там навсегда[3]. Таким образом, мой отец и дядя оказались на дальнем юге, у побережья Азовского моря. Отец был отдан в приказчики к таганрогскому купцу и городскому голове Кобылину, дядя — в Ростов к купцу Байдалакову. Впоследствии дядя тоже переселился в Таганрог. Пробыв у Кобылина требуемое количество лет, Павел Егорович открыл потом свой собственный колониальный магазин и женился на девице Евгении Яковлевне Морозовой, нашей дорогой, незабвенной матери.

Мы не знаем, кто был нашим прадедом по матери[4]. Наш дед, Яков Герасимович Морозов, жил в Моршанске, Тамбовской губернии, где и женился на Александре Ивановне, нашей бабушке. От этого брака у них было трое детей: две дочери — Фенечка и Евочка (наша мать) и сын Иван (наш дядя Ваня). Яков Герасимович вел большую торговлю сукнами, знался с французами, которые называли его «мосье Морозоф», и по своим торговым делам часто надолго уезжал из Моршанска. Между прочим, он заезжал и в Таганрог, игравший тогда роль столицы, где останавливался в доме генерала Папкова, граничившем с садом дворца Александра I. У нашей бабушки, Александры Ивановны, была сестра, Мария Ивановна, которая была выдана замуж в город Шую, Владимирской губернии, в семью старообрядца. В одну из таких отлучек мужа по его суконным делам Александра Ивановна забрала своих девочек и сына и отправилась погостить с ними к сестре в Шую. В это время случилась холера, и наш дед, Яков Герасимович, умер от нее в Новочеркасске, далеко от дома и от родных. По всей вероятности, после него остались там суконные товары и кое-какие деньги. Тогда наша бабушка, Александра Ивановна, забрала своих детей, наняла тарантас и отправилась с ними через всю Россию на лошадях из Шуи в Новочеркасск отыскивать могилу своего мужа.

Это путешествие оставило глубокий, неизгладимый след в душах моей матери и ее сестры. Дремучие леса, постоялые дворы с запертыми, точно в остроге, воротами и с убийствами и ограблениями проезжих купцов, всевозможные встречи, наконец — раздолье и свобода приазовских степей, где не нужно было останавливаться в подозрительных постоялых дворах, а ночевали прямо под открытым небом, на лоне природы, не боясь ни лихих людей, ни нападений, — все это послужило потом для нашей матери и тети Фенечки неистощимыми темами для семейных повествований, когда мы были маленькими и слушали их, затаив дыхание и широко раскрыв глаза. Тетка и мать были впечатлительными, чуткими созданиями, умели прекрасно рассказывать, и я уверен, что в развитии фантазии и литературного чутья в моих братьях эти их повествования сыграли выдающуюся роль.

Александра Ивановна с детьми не нашла в Новочеркасске ни могилки мужа, ни каких-либо вещественных

после него воспоминаний. Она уже не вернулась к себе обратно в Моршанск, а поехала далее, в Таганрог, остановившись по пути в Ростове-на-Дону, где пристроила на службу по торговой части своего сына Ивана у купца Байдалакова.

Здесь наш дядя Ваня встретился с братом нашего отца, Митрофашей, который, как я сказал, тоже служил тогда у Байдалакова. Оба большие мечтатели, они скоро сдружились и оставались друзьями до самой кончины дяди Вани, умершего от чахотки.

Александра Ивановна приехала с двумя девочками в Таганрог и поселилась в нем навсегда в доме генерала Папкова, где ранее живал ее муж.

Время шло, и Митрофан и дядя Ваня стали уже молодыми людьми. Митрофаша переехал из Ростова в Таганрог, открыл здесь свою собственную торговлю, и вслед за ним переехал туда же, к матери и сестрам, и дядя Ваня. Через него-то и Митрофашу наш отец и познакомился с семьей Морозовых и женился затем на младшей дочери Александры Ивановны — Евгении Яковлевне. Артист в душе, музыкант на всех инструментах, художник и полиглот, дядя Ваня женился на Марфе Ивановне Лобода, нашей любимой тете, а о Митрофаше и его сватовстве к Милечке я сообщил уже в начале этих записок.

Мой отец женился на моей матери 29 октября 1854 года, в то самое время, когда только что начиналась севастопольская война. По-видимому, первый год своей брачной жизни он прожил у тещи, так как родители мои любили рассказывать о том, как англичане бомбардировали в 1855 году летом Таганрог и какой переполох это произвело в их общей семье, из чего можно думать, что Чеховы и Морозовы жили в то время вместе. Летом, под Казанскую, наша бабушка, Александра Ивановна, была у всенощной в соборе. Служил отец Алексей Шарков. Вдруг бомба ударила в стену, и все в церкви задрожало. Посыпалась штукатурка. Публика испугалась и сгрудилась в кучку. Отец Алексей, у которого от страха затряслись руки, державшие книжку, продолжал читать шестопсалмие. Но когда служба кончилась и прихожане вышли со страхом из церкви, то английские суда, с которых последовал выстрел, уже ушли и только белелись на горизонте.

Затем они не показывались вплоть до самого 26 июля. Накануне этого дня, вечером, к нашей бабушке, Александре Ивановне, пришел отец Алексей Шарков и предупредил ее, что на горизонте опять появились белые корабли. Он сам влезал на соборную колокольню и видел их оттуда стоящими на рейде. Он советовал ей увезти на всякий случай из города мою мать, которая в то время была беременна моим старшим братом, Александром. На следующий день было воскресенье, и мой отец и дядя Ваня отправились к обедне. Когда после ее окончания они взошли на «валы», то есть на самый край высокого берега над морем, то действительно увидели прямо перед собой английскую эскадру. Они стали с любопытством рассматривать диковинные суда, из труб которых клубился дым, как вдруг с них раздался залп. Мой отец от страха покатился вниз, а дядя Ваня со всех ног пустился бежать домой. На дворе, у входа, прямо на воздухе грелся самовар. Александра Ивановна только что поставила вариться суп из курицы. Моя мать лежала. В это время бомбы уже летали через весь город, и тогдашние хулиганы стали врываться в дома и разбивать зеркала и ломать мебель, чтобы ничто не досталось неприятелям. Дядя Ваня схватил кипевший самовар и стал его вытряхивать. Встревоженные женщины не знали, что им делать. Как раз к этому времени подоспел мой отец, прихватив по дороге деревенскую подводу. На нее усадили тещу, мою беременную мать и Фенечку, и, бросив все, женщины выехали в деревню. Сидя на телеге и слыша отдаленные выстрелы, Александра Ивановна то и дело вздыхала:

— Курица-то, курица-то моя там в печи перепарится...

Доехали до слободы Крепкой, за 60 верст от Таганрога, остановились у местного священника отца Китайского, и там 10 августа 1855 года моя мать, Евгения Яковлевна, разрешилась от бремени первенцем — сыном Александром.

Это был впоследствии интереснейший и высокообразованный человек, добрый, нежный, сострадательный, изумительный лингвист и своеобразный философ. Он был литератором и писал под псевдонимом «А. Седой». Благодаря своим всесторонним познаниям он вел в газетах отчеты об ученых заседаниях, и сами лекторы специально обращались перед своими выступлениями к редакторам газет, чтобы в качестве корреспондента они коман-

дировали к ним именно моего старшего брата, Александра. Известный А. Ф. Кони и многие профессора и деятели науки часто не начинали своих лекций, дожидаясь его прихода. Но точно в подтверждение того, что он родился в такие тревожные дни,— так сказать, под выстрелами неприятеля,— он страдал запоем и сильно и подолгу пил. В такие периоды он очень много писал, и то, что выходило у него во время болезни из-под пера, если попадало в печать, заставляло его потом сильно страдать. Так, его воспоминания о детстве Антона Чехова, о греческой школе и многое другое написаны им под влиянием болезни, и в них очень мало достоверного. Во всяком случае, к тому биографическому материалу, который напечатан им об Антоне Чехове, нужно подходить с большой осторожностью. Но когда он выздоравливал, когда он опять становился настоящим, милым, увлекательным Александром, то его нельзя было наслушаться: это была одна сплошная энциклопедия, и не могло быть темы, на которую с ним нельзя было бы с интересом поговорить. Он умер в 1913 году, оставив после себя сына, моего крестника Михаила Чехова, известного артиста Художественного театра[5].

В мае 1857 года у моих родителей появился на свет их второй сын, будущий художник, Николай. Это также был высокоодаренный человек, превосходный музыкант на скрипке и на рояле, серьезный художник и оригинальный карикатурист. Он выступал на выставках с огромными полотнами («Гулянье в Сокольниках», «Мессалина»), его работы находились в бывшем московском храме Христа Спасителя[6]. О том, как легки, изящны и остроумны были его рисунки и карикатуры, могут свидетельствовать коекакие остатки, собранные в московском чеховском музее, а также картина и две-три акварели, находящиеся в ялтинском доме писателя А. П. Чехова. Он умер в самом расцвете лет, тридцати одного года от роду, и теперь мирно почивает на Лучанском кладбище, близ города Сум, Харьковской губернии.

17 января 1860 года родился Антон Чехов, будущий знаменитый писатель, а годом позже — брат Иван, известный московский педагог. Затем появились на свет моя сестра, Мария Павловна, и я.

II

В Таганроге. — Наши соседи. — Экзекуция на Митрофаньевской площади. — Похищение девушек для турецких гаремов. — Антоша и Ираида Савич. — Переезд в собственный дом. — Наше образование. — Неудачное учение в греческой школе. — Домашние досуги. — Как шла торговля у отца. — Путешествие в Криничку. — Домашние спектакли. — Болезнь Антоши. — Отъезд старших братьев в Москву. — У нас отняли дом. — Антон один в Таганроге. — Поездки в имения Кравцова и Зембулатова. — Посещения театра. — Чтение. — Издание рукописного журнала «Заика». — Эпизод у одинокого колодца по рассказу Суворина.

В то время, когда я стал сознательно относиться к окружающему и уже научился около братьев сам читать вывески, старший брат, Александр, был в пятом классе гимназии, а три других — Николай, Антон и Иван — следовали за ним двумя классами ниже в нисходящей арифметической прогрессии[7]. Тогда мы жили в доме Моисеева на углу Монастырской улицы и Ярмарочного переулка, почти на самом краю города. Мы занимали большой двухэтажный дом с двором и постройками[8]. Внизу помещались магазин нашего отца, кухня, столовая и еще две комнаты, а наверху обитало все наше семейство и были еще жильцы: некий Гавриил Парфентьевич, столовавшийся у нас же (о нем будет речь впереди), и гимназист восьмого класса, Иван Яковлевич Павловский. Этот Павловский уехал затем в Петербург, где поступил в Медицинскую академию, но вскоре же был арестован, судим по известному процессу 193-х и заключен в Петропавловскую крепость. При депортации в Сибирь он бежал в Америку, где некоторое время был парикмахером в Нью-Йорке, о чем директор таганрогской гимназии, которому Павловский оттуда писал, рассказывал своим питомцам с чувством горького разочарования в человеке. Из Америки Павловский переселился в Париж, где в одной из местных газет напечатал статью о своем пребывании в Петропавловской крепости. Статья эта обратила на себя внимание жившего тогда в Париже Тургенева, который и принял Павловского под свое покровительство. С его легкой руки Павловский стал писать и на французском и на русском языках и скоро сделался видным литератором. Писал он под псевдонимом «И. Яковлев» и был деятельным сотрудником «Нового времени», где вел постоянные парижские фельетоны и корреспондировал по знаменитому делу Дрейфуса. Его перу принадлежит большая книга «Ма-

ленькие люди с большим горем» и очень интересные «Очерки современной Испании». Много лет после, когда Антон Чехов был уже большим писателем и жил в Мелихове, Павловский получил амнистию, приезжал в Россию и навестил брата в его усадьбе. Вспоминали о Таганроге и о том времени, когда Павловский жил на хлебах у моей матери.

Рядом с нашим домом, бок о бок, жила греческая обрусевшая семья Малоксиано. Она состояла из отца с матерью, двух девочек и мальчика Афони. С Афоней я дружил, а с девочками играла моя сестра Маша. Одна из этих девочек впоследствии сделалась видной революционеркой, была судима и затем сослана в каторжные работы. Там за нанесенное ей оскорбление она, как говорил мне брат Антон, ударила надзирателя по физиономии, за что подверглась телесному наказанию и вскоре затем умерла[9].

Ярмарочный переулок соединял в Таганроге две площади — Ярмарочную и Митрофаниевскую, так что из окон нашего углового дома были видны они обе. На Митрофаниевской площади был новый базар, на котором совершались экзекуции над преступниками. Устраивался черный помост со столбом, вокруг которого собирался во множестве народ. Затем с барабанным боем на высокой черной колеснице мимо нашего дома провозили несчастного преступника с закрученными назад руками и с черной доской на груди, на которой была написана его вина. Когда кортеж подъезжал к выстроенному на новом базаре эшафоту со столбом, то преступника переводили с колесницы на эшафот, привязывали к столбу, читали над ним приговор и, если он был дворянин, ломали над его головой шпагу. Все это мы видели из окон нашего верхнего этажа, причем наша мать, Евгения Яковлевна, всегда глубоко вздыхала о преступнике и крестилась. Для нее это был несчастный, достойный сострадания человек, над которым глумились сильные, и в таком именно духе она воспитывала и нас. Вообще сострадание к преступникам и заключенным было очень развито в нашей семье. Мой дядя Митрофан Егорович всегда в день своего ангела посылал в острог целые корзины французских хлебов по числу заключенных, а наша мать, Евгения Яковлевна, пока мы жили в доме Моисеева, каждый год 24 октября, в день престольного праздника, ходила в острожную цер-

ковь ко всенощной. При каждом возможном случае она расспрашивала заключенных об их нуждах и за что они сидят. Один из них рассказал ей, что он сидит уже 16-й год и только потому, что о нем забыли. А посадили его за то, что он собирал без разрешения начальства на построение храма.

Я помню, как в один из таких вечеров, 24 октября, наша мать отправилась в острог и долго не возвращалась. Там затянулась служба, но дома забеспокоились, и, взяв меня с собой, наша няня, Агафья Александровна, вышла за ворота на тротуар и стала с тревогой поджидать мать. Было уже совсем сумеречно. По противоположному тротуару шла молоденькая девушка, очевидно, спешила домой; как вдруг по улице промчался экипаж, затем вернулся и, поравнявшись с девушкой, остановился. Двое мужчин выскочили из него, прямо у нас на глазах схватили девушку, бросили ее в экипаж, прыгнули в него сами и помчались далее. Девушка в отчаянии кричала из всех сил: «Спасите! Помогите!» И я долго еще слышал ее голос, пока он не затих, наконец, в недалекой от нас степи. И ни одна душа не выскочила и не поинтересовалась, только няня Агафья Александровна почесала у себя за ухом спицей от чулка, вздохнула и сказала: «Девушку украли».

Для меня, мальчика, это было не совсем тогда понятно, но потом я узнал, что похищение девушек для турецких гаремов в то время в нашем городе очень процветало.

В 1874 году мы переехали в свой собственный дом, выстроенный нашим отцом на глухой Елисаветинской улице, на земле, подаренной ему дедушкой Егором Михайловичем. Отец был плохим дельцом, все больше интересовался пением и общественными делами, и потому его собственные дела пошли на убыль, и самый дом вышел неуклюжим и тесным, с толстыми стенами, в которые подрядчиками было вложено кирпича больше, чем было необходимо, ибо постройка оплачивалась с каждой тысячи кирпича; поэтому нажились только подрядчики, оставив отцу невозможный дом и непривычные для него долги по векселям. Вся семья теснилась в четырех комнатках; внизу, в подвальном этаже, поместили овдовевшую тетю Федосью Яковлевну с сыном Алешей, а флигелек, для увеличения ресурсов, сдали вдове Савич, у которой были дочь-гимназистка Ираида и сын Анатолий. Это-

го Анатолия репетировал мой брат Антон Павлович. Кажется, Ираида была первой любовью будущего писателя. Но любовь эта проходила как-то странно: они вечно ссорились, говорили друг другу колкости, и можно было подумать со стороны, что четырнадцатилетний Антоша был плохо воспитан. Так, например, когда в одно из воскресений Ираида выходила из своего флигелька в церковь, нарядная, как бабочка, и проходила мимо Антона, то он схватил валявшийся на земле мешок из-под древесного угля и ударил им ее по соломенной шляпке. Пыль пошла, как черное облако. Как-то, размечтавшись о чем-то, эта самая Ираида написала в саду на заборе какие-то трогательные стишки, Антон ей тут же ответил мелом следующим четверостишием:

О поэт заборный в юбке,
Оботри себе ты губки.
Чем стихи тебе писать,
Лучше в куколки играть.

Семья нашего отца была обычной патриархальной семьей, каких было много полвека тому назад в провинции, но семьей, стремившейся к просвещению и сознававшей значение духовной культуры. Главным образом по настоянию жены, Павел Егорович хотел дать детям самое широкое образование, но, как человек своего века, не решался, на чем именно остановиться: сливки общества в тогдашнем Таганроге составляли богатые греки, которые сорили деньгами и корчили из себя аристократов,— и у отца составилось твердое убеждение, что детей надо пустить именно по греческой линии и дать им возможность закончить образование даже в Афинском университете. В Таганроге была греческая школа с легендарным преподаванием, и по наущению местных греков отец отдал туда учиться трех своих старших сыновей — Александра, Николая и Антона[10]; но преподавание в этой школе даже для нашего отца, слепо верившего грекам, оказалось настолько анекдотическим, что пришлось взять оттуда детей и перевести их в местную классическую гимназию. О пребывании моих братьев в этой греческой школе в семейных воспоминаниях не осталось ничего достоверно определенного, а к тому, что было напечатано моим покойным братом Александром в «Вестнике Европы», повторяю, нужно относиться с большой осторожностью.

День начинался и заканчивался трудом. Все в доме вставали рано. Мальчики шли в гимназию, возвращались домой, учили уроки; как только выпадал свободный час, каждый из них занимался тем, к чему имел способность: старший, Александр, устраивал электрические батареи, Николай рисовал, Иван переплетал книги, а будущий писатель — сочинял... Приходил вечером из лавки отец, и начиналось пение хором: отец любил петь по нотам и приучал к этому и детей. Кроме того, вместе с сыном Николаем он разыгрывал дуэты на скрипке, причем маленькая сестра Маша аккомпанировала на фортепиано. Мать, вечно занятая, суетилась в это время по хозяйству или обшивала на швейной машинке детей. Всегда заботливая, любвеобильная, она, несмотря на свои тогда еще сравнительно молодые годы, отказывала себе во многом и всю свою жизнь посвящала детям. Она очень любила театр, но бывала там не часто, и когда, наконец, вырывалась туда, то с нею вместе, для безопасности возвращения, отправлялись и мои братья-гимназисты. Мать садилась внизу, в партере, а братья — на галерке, причем Антон после каждого действия на весь театр вызывал не актеров, а тех аристократов-греков, которые сидели рядом с матерью в партере. К нему приставал весь театр, и греки чувствовали себя так неловко, что иной раз уходили до окончания спектакля. Убежденная противница крепостного права, мать рассказывала нам о всех насилиях помещиков над крестьянами и внушала нам любовь и уважение не только ко всем, кто был ниже нас, но и к маленьким птичкам и животным и вообще ко всем беззащитным существам. Мой брат Антон Павлович был того убеждения, что «талант в нас со стороны отца, а душа — со стороны матери», хотя я лично думаю, что и со стороны матери в моих братьях было прилито таланта не мало.

Приходила француженка, мадам Шопэ, учившая нас языкам. Отец и мать придавали особенное значение языкам, и когда я только еще стал себя сознавать, мои старшие два брата, Коля и Саша, уже свободно болтали по-французски. Позднее являлся учитель музыки — чиновник местного отделения государственного банка, — и жизнь текла так, как ей подобало течь в тогдашней средней семье, стремившейся стать лучше, чем она была на самом деле.

Как я уже говорил, наш отец был большим формалистом во всем, что касалось церковных служб, а потому мы, мальчики, не должны были пропускать ни одной всенощной в субботу и ни одной обедни в воскресенье. Отсюда у Антона Чехова такое всестороннее знание церковных служб («Святою ночью» и другие). Одно время мы пели в церкви местного дворца, в котором жил и умер в 1825 году Александр I. Здесь служба совершалась только в Страстную неделю, в первый день Пасхи и на Троицу*. Кстати, маленькая историческая подробность. Сад таганрогского дворца, в котором жил Александр I, граничил бок о бок с садом генерала Папкова, в котором обитал при Александре его всесильный министр князь Воронцов, заведовавший всеми делами царя. Оба сада отделены каменной стеной, в которой имеется калитка. Полагают, что эта калитка была пробита по повелению Александра I для того, чтобы ему было ближе ходить к Воронцову. На самом же деле история с этой калиткой такова. Приехав с севера в Таганрог, моя бабушка, Александра Ивановна, вместе со своими дочерьми Фенечкой и Евочкой поселилась в упомянутом выше доме генерала Папкова, когда об Александре I и о Воронцове не было в Таганроге уже ни слуху ни духу. В то время смотрителем дворца был некто полковник Лаговский. У него была дочь Людмилочка. Девочки перезнакомились между собой и для совместных разговоров стали вскарабкиваться на стену. Чтобы облегчить возможность Фенечке, Евочке и Людмилочке бывать друг у друга, Лаговский и приказал пробить в стене означенную калитку (записано со слов самой Евочки, то есть моей матери, Евгении Яковлевны).

Любовь к пению, посещение церквей и служба по выборам отнимали у нашего отца слишком много времени. Он посылал вместо себя в лавку кого-нибудь из нас, для «хозяйского глаза», но, заменяя отца, мы не были лишены таких удовольствий, какие и не снились многим нашим сверстникам, городским мальчикам: мы на целые дни уходили на море ловить бычков, играли в лапту, устраивали домашние спектакли. Несмотря на сравнительную строгость семейного режима и даже на обычные тогда те-

---

* Утверждение же А. Седого, что Антон Чехов пел во дворце вместе с кузнецами, неверно, так как кузнецы — любители церковного пения пели не во дворце, а в Митрофаниевской церкви. *(Примеч. М. П. Чехова.)*

лесные наказания, мы, мальчики, вне сферы своих прямых обязанностей, пользовались довольно большой свободой. Прежде всего, сколько помню, мы уходили из дому не спрашиваясь, мы должны были только не опаздывать к обеду и вообще к этапам домашней жизни, и что касается обязанностей, то все мы были к ним очень чутки. Отец был плохой торговец, вел свои торговые дела без всякого увлечения, а вследствие того, что его пустили с детства по этой линии. Лавку открывали только потому, что ее неловко было не открывать, и детей сажали в нее только потому, что нельзя было без «хозяйского глаза». Отец выплачивал третью гильдию лишь по настоянию матери, так как это могло избавить нас, сыновей, от рекрутчины, и как только была объявлена в 1874 году всесословная, обязательная для всех воинская повинность, эта гильдия отпала сама собой, и отец превратился в простого мещанина, как мог бы превратиться в регента или стать официальным оперным певцом, если бы к тому его направили с детства.

Я помню об одной далекой поездке, которую сорганизовали для нас родители,—это путешествие в слободу Криничку[11], за 70 верст от Таганрога. К этой поездке приготовлялись задолго. Старший брат, Александр, клеил себе из сахарной бумаги шляпу с широкими полями, а брат Николай, будучи пятнадцатилетним мальчуганом, добыл себе откуда-то складной цилиндр (шапокляк) и задумал ехать в нем. Добродушным насмешкам со стороны Антона не было конца. Мать, Евгения Яковлевна, конечно, напекла и наварила всякой снеди на дорогу. Наняли простого драгаля, то есть ломового извозчика, Ивана Федоровича, устлали его дроги подушками, одеялами и ковром, и все семеро, не считая самого извозчика, уселись на дроги и поехали. Я даже и не представляю себе теперь, как мы могли тогда на них разместиться и ехать целые 70 верст туда и столько же обратно. И все время Николай сидел в цилиндре и, прищуря один глаз, терпеливо выслушивал от Антона насмешки. Николай немного косил с самого раннего детства и ходил прищуриваясь на один глаз и склонив голову на плечо. Любивший всех вышучивать и давать всем названия Антон то и дело высмеивал его:

— Косой, дай покурить! Мордокривенко, у тебя есть табак?

До Криничк добрались к вечеру, когда заходило солнце. Это было обыкновенное село, в котором при церкви стоял колодец с очень холодной водой, почитавшейся целебной. Около колодца был выстроен барак, в котором этой водой обливались, черпая ее ведрами. При въезде в Криничку Антон, все время не оставлявший Николая в покое своими шутками, наконец не выдержал и сбил с его головы цилиндр. Шляпа попала как раз под колесо, и ее раздавило так, что с боков повылезали наружу пружины. Тем не менее безропотный Николай подобрал свой головной убор, снова надел его и так, с торчавшими из боков пружинами, и продолжал дальнейший путь. А в это время Александр кричал, сколько хватало у него сил:

— Эй, дивчина! Поди скажи батюшке, что архиерейская певческая приехала!

Не успели приехать и остановиться у какого-то крестьянина, как Александр и Антон уже достали откуда-то бредень и пошли на реку ловить рыбу. Поймали пять щучек и с полсотни раков. На следующий день мать сварила нам превосходный раковый суп.

Мы провели в Криничке двое суток и затем отправились к дедушке в Княжую, верст за двадцать в сторону от Кринички. Наш дедушка, Егор Михайлович, был в то время управляющим у графа Платова, сына известного атамана, героя 1812 года. Княжая представляла собою заброшенную барскую усадьбу с большим фруктовым садом при реке.

Дедушка и бабушка жили в простой хатке, выстроенной ими специально для себя рядом с большим барским домом, так как дедушка не пожелал жить в «хоромах». Когда мы приехали туда, нас, мальчиков, поместили в этом большом доме, где мы никак не могли уснуть от необыкновенного множества блох, несмотря на то что дом целыми десятилетиями оставался необитаем. В этой усадьбе мои братья Антон и Александр гостили уже однажды, в прошедшем году, попав как раз на молотьбу, так что, когда мы приехали туда, то они уже чувствовали себя там как хозяева. Кузница, клуня, масса голубей, сад, а главное — простор и полная безответственность делали наше пребывание в Княжей счастливым. Здесь же, в этой Княжей, несчастный цилиндр Николая нашел свою судьбу. Николай не мог расстаться с ним и во время купанья.

Голый, в цилиндре, он барахтался в реке, когда Антон подкрался к нему сзади и сбил с него шляпу. Она свалилась у Николая с головы, упала в реку, ко всеобщему удивлению захлебнула воды и... утонула.

Антон вообще был из всех самым талантливым на выдумки, но и менее всех нас способным к ручному труду. Среди нас, его братьев, он был белоручка. Он устраивал лекции и сцены, кого-нибудь представлял или кому-нибудь подражал, но я никогда не видал его, как других братьев, за переплетным делом, за разборкой часов и вообще за каким-либо физическим трудом.

Правда, был однажды такой случай, когда проявил свое стремление к физическому труду и он. В 1874 году при таганрогском уездном училище открывались ремесленные классы, которыми заведовал некто Порумб — человек на все руки: он и швейные машины чинил, и сапоги шил, и преподавал портняжное мастерство. У него была такая длинная борода, что он сметал ею обрезки кожи с доски, лежавшей у него во время работы на коленях. Так как образование в этих ремесленных классах было бесплатное, то мои братья воспылали желанием обучиться мастерствам: брат Иван принялся за переплетное дело, брат Антон стал изучать портняжное ремесло. Скоро будущему писателю пришлось проявить свои способности на деле, так как подошло время шить для брата Николая серые гимназические штаны. Антон Павлович принялся за шитье смело, с ученым видом знатока. Тогда была мода на узкие брюки, и, пока Антон кроил, Николай, любивший щегольнуть, все время стоял тут же и приставал к нему:

— Поуже, Антон... Теперь носят узкие брюки. Да крои же поуже!

И Антон так накроил, что когда брюки были уже готовы и Николай стал их надевать, то сквозь них не пролезали его ноги. Тем не менее он все-таки натянул их на себя, точно трико, надел штиблеты и отправился гулять.

— Братцы! Глянь! Тю! — стали указывать на него пальцами уличные мальчишки.— Сапоги — корабли, а штаны — макароны!

Так это выражение «штаны макароны» и осталось в нашей семье на всю жизнь.

В домашних спектаклях Антон был главным воротилой. Будучи еще детьми, мы разыграли даже гоголевского

«Ревизора». Устраивали спектакли и на украинском языке про Чупруна и Чупруниху, причем роль Чупруна играл Антон. Одной из любимых его импровизаций была сцена, в которой градоначальник приезжал в собор на парад в табельный день и становился посреди храма на коврике, в сонме иностранных консулов.

Старший брат, Александр, в это время уже не принимал участия в совместной жизни семьи. Он считался уже большим, жил на стороне, у директора гимназии[12], а затем кончил курс, уехал в Москву и с тех пор (с 1875) не возвращался в семью уже никогда. Уехал с ним и брат Николай, и спектакли прекратились. Таким образом, молодое поколение чеховской семьи ограничилось только тремя младшими братьями и сестрой. Антон стал теперь старшим и пользовался наибольшим авторитетом. Этим четверым было предназначено судьбой не расставаться друг с другом на долгое время — до самой средины девятидесятых годов.

В 1875 году Антон тяжело заболел и чуть не отправился к своим праотцам. Как я упомянул выше, несколько лет подряд у нас жил нахлебником мелкий чиновник коммерческого суда Гавриил Парфентьевич. Днем он служил в суде, а по вечерам играл в клубе на большие ставки; ему везло, он выигрывал, так что лет через десять имел уже своих лошадей и большое именье. У него был брат Иван Парфентьевич, тоже игрок, но в другом отношении: он все время подыскивал себе богатую невесту, не имея за душой ровно ни гроша. И вот судьба послала ему в жены уже пожилую женщину, вдову, имевшую в Донецком бассейне большую усадьбу в несколько сот десятин. Этот самый Иван Парфентьевич пригласил к себе погостить Антона. По дороге в имение или обратно из имения в Таганрог мальчик Антоша выкупался в холодной речке и схватил тяжелую простудную болезнь[13].

— Заболел у меня Антоша...— говорил мне потом, лет двадцать спустя, Иван Парфентьевич.— Я не знал, что с ним делать. Уж я его завез на жидовский постоялый двор, и там мы его уложили.

Антошу привезли домой. Как сейчас помню его, лежавшего при смерти. Около него гимназический доктор Штремпф, который говорит с немецким акцентом:

— Антоша, если ты желаешь быть здоров...

Озабоченная мать жарит на сковородке льняное семя для припарок, а я бегаю в аптеку за пилюлями, на каждой из которых, к моему удивлению, напечатано имя их изобретателя — «Covin». Уже будучи врачом, Антон Павлович говорил впоследствии, что это были совершенно ненужные рекламные пилюли.

Болезнь оставила в нем большие воспоминания. Это была первая тяжкая болезнь, какую он испытал в жизни, и именно ей он приписывал то, что уже со студенческих лет стал страдать жестоким геморроем. Постоялый же двор, в который завозил его Иван Парфентьевич, и симпатичные евреи выведены им в «Степи» в лице Моисея Моисеевича, его жены и брата Соломона. Кстати: болезнь настолько сдружила Антона с доктором Штремпфом, окончившим медицинский факультет в Дерптском университете, что все время будущий писатель мечтал отправиться по окончании курса гимназии в Дерпт и там получить медицинское образование. И если бы к тому времени его семья не переехала вся целиком в Москву, то возможно, что он выполнил бы это свое заветное желание.

По отъезде двух старших братьев в Москву наш отец стал едва сводить концы с концами. Его дела окончательно упали. Вся жизнь семьи потекла замкнуто, в бедности, хотя и в своем доме, над которым тяготели долги. Целые дни для мальчиков проходили в труде. По вечерам Антоша веселил всех своими импровизациями или же все слушали рассказы матери, тетки Федосьи Яковлевны или няни, которая жила у нас долго и ушла только в самое последнее время пребывания нашего в Таганроге. Это была превосходная женщина, умевшая удивительно рассказывать эпизоды из своей многоопытной жизни. Я уже упоминал о ней: это была Агафья Александровна Кумская. Она была в молодости крепостной известных на юге Иловайских, была приставлена в качестве подруги к единственной дочери генерала Иловайского, совершила с ней большое путешествие, помогла затем этой дочери бежать из дому и выйти против воли отца за барона Розена, за что и была продана потом в чужую семью. Она все больше повествовала о таинственном, необыкновенном, страшном и поэтическом. «Счастье» Чехова, безусловно, написано им под впечатлением ее рассказов.

В 1876 году отец окончательно закрыл свою торговлю и, чтобы не сесть в долговую яму, бежал в Москву к двум

старшим сыновьям, из которых один был тогда студентом университета, а другой учился в Училище живописи, ваяния и зодчества. За старшего уже официально стал у нас сходить Антон. Я отлично помню это время. Было ужасно жаркое лето; спать в комнатах не было никакой возможности, и потому мы устраивали в садике балаганы и в них и ночевали. Будучи тогда гимназистом пятого класса, Антон спал под кущей посаженного им дикого винограданика и называл себя «Иовом под смоковницей». Вставали в этих шалашах очень рано, и, взявши с собой меня, Антон шел на базар покупать на целый день харчи. Однажды он купил живую утку и, пока шли домой, всю дорогу теребил ее, чтобы она как можно больше кричала.

— Пускай все знают,— говорил он,— что и мы тоже кушаем уток.

На базаре Антон присматривался к голубям, с видом знатока рассматривал на них перья и оценивал их достоинства. Были у него и свои собственные голуби, которых он каждое утро выгонял из голубятника, и, по-видимому, очень любил заниматься ими. Затем дела наши стали так туги, что для того, чтобы сократить количество едоков, меня и брата Ивана отправили к дедушке в Княжую. А потом мы испытали семейную катастрофу: у нас отняли наш дом.

Дом этот был выстроен на последние крохи, причем недостававшие пятьсот рублей были взяты под вексель из местного Общества взаимного кредита. Поручителем по векселю был некий Костенко, служивший в том же кредите. Долгое время переворачивали этот несчастный вексель, пока, наконец, отцу не пришлось признать себя несостоятельным должником. Костенко уплатил по векселю и предъявил к отцу встречный иск в коммерческом суде. В то время неисправных должников сажали в долговую яму, и, как я сказал, отцу необходимо было бежать. Он сел в поезд не на вокзале в Таганроге, а с первого ближайшего полустанка, где его не мог бы опознать никто.

Дело о долге Костенко велось в коммерческом суде. Там, в этом суде, служил наш друг Гавриил Парфентьевич. Чего же лучше? Было решено, что он оплатит долг отца, не допустит до продажи с публичных торгов нашего дома и спасет его для нас.

— Я это сделаю для матери и сестры,— обнадежил Гавриил Парфентьевич нашу мать, Евгению Яковлевну,

которую всегда называл матерью, а маленькую Машу — сестрой.

А сам устроил так, что, вовсе без объявления торгов, в самом коммерческом суде дом был укреплен за ним, как за собственником, всего только за пятьсот рублей.

Таким образом, в наш дом, уже в качестве хозяина, въехал Гавриил Парфентьевич. Кажется, за проценты Костенко забрал себе всю нашу мебель, и матери ничего более не оставалось, как вовсе покинуть Таганрог. Она захватила с собой меня и сестру Машу и, горько заливаясь слезами в вагоне, повезла нас к отцу и двум старшим сыновьям в Москву, на неизвестность.

Антоша и Ваня были брошены в Таганроге на произвол судьбы одни. Антоша остался в своем бывшем доме, чтобы оберегать его, пока не войдет в него новый хозяин, а Ваню приютила у себя тетя Марфа Ивановна. Впрочем, Ваню тоже скоро выписали в Москву[14], и Антон остался в Таганроге один как перст. Ему нужно было кончать курс, он был еще только в пятом классе гимназии[15].

Когда Гавриил Парфентьевич въехал в дом, он застал там Антона, которого за угол и стол и пригласил готовить своего племянника, Петю Кравцова, в юнкерское училище. Петя был сын казацкого помещика из Донецкого округа, служившего когда-то на Кавказе.

Репетируя Петю, Антон близко сошелся с ним и полюбил его, тем более что они оказались почти сверстниками. Когда наступило лето, этот Петя приглашал его к себе в имение[16], и Антон Павлович впоследствии с восторгом рассказывал мне о своем пребывании в этой степной первобытной семье. Там он научился стрелять из ружья, понял все прелести ружейной охоты, там он выучился гарцевать на безудержных степных жеребцах. Там были такие злые собаки, что для того, чтобы выйти ночью по надобности на двор, нужно было будить хозяев. Собак не кормили, они находили себе пропитание сами. Там не знали счета домашней птице, которая приходила уже с готовыми цыплятами и была так дика, что не давалась в руки, и для того, чтобы иметь курицу на обед, в нее нужно было стрелять из ружья. Там уже начиналась антрацитная и железнодорожная горячка и уже слышались звуки сорвавшейся в шахте бадьи («Вишневый сад»), строились железнодорожные насыпи («Огни») и катился сам

собою оторвавшийся от поезда товарный вагон («Страхи»).

У того же Гавриила Парфентьевича жила его племянница Саша[17], учившаяся в местной женской гимназии. Еще до нашего отъезда в Москву эту девочку поместили к нам в нахлебницы, и она спала в одной комнате вместе с моей сестрой. Все мы, мальчики, скоро сдружились с ней, и за то, что она ходила в красненьком платьице с черными горошками, Антон продразнил ее «Козявкой», и она плакала. Когда мы уехали в Москву, она перешла к своему дяде и вместе с ним потом въехала в наш дом. Впоследствии, через пятнадцать лет, когда мы жили в Москве в доме Корнеева на Кудринской-Садовой, она приезжала к нам уже взрослой, веселой, жизнерадостной девицей и пела украинские песни. Она остановилась у нас, прожила с нами около месяца, и мои братья, Антон и Иван Павловичи, заметно «приударяли» за ней, а я писал ей в альбом стишки, а на братьев — стихотворные эпиграммы. Ее дразнили, что на юге у нее остался вздыхатель, который очень скучает по ней, и Антон Павлович подшутил над ней следующим образом: на бывшей уже в употреблении телеграмме были стерты резинкой карандашные строки и вновь было написано следующее: «Ангел, душка, соскучился ужасно, приезжай скорее, жду ненаглядную. Твой любовник».

Нарочно позвонили в передней, будто это пришел почтальон, и горничная подала Саше телеграмму.

Она распечатала ее, прочитала и на другой же день, несмотря на то что все мы умоляли ее остаться, уехала домой к себе на юг. Мы уверяли ее, что телеграмма фальшивая, но она не поверила.

Впоследствии, уже вдовой, она приезжала к нам в Мелихово, где также заражала всех своей веселостью и пела украинские романсы. И Антон Павлович, подражая ей, говорил:

— И-и, кума, охота вам колотиться!

В пору своего одинокого пребывания в Таганроге (1876—1879 годы) ездил Антон и к своему приятелю В. И. Зембулатову в усадьбу. Любитель давать каждому человеку прозвище, он еще гимназистом стал дразнить этого своего толстого одноклассника Макаром[18]. Так эта кличка и осталась за почтенным доктором Зембулатовым до самой его смерти. А когда оба они были гимназистами,

то довольно весело проводили лето вместе. Антон Павлович рассказывал мне один эпизод любовного свойства из своей жизни у этого толстяка, но я, к сожалению, не могу о нем сообщить в этих воспоминаниях. Я очень жалею, что, уехав в 1876 году в Москву, был разлучен с братом Антоном на целые три года и что эти три года его жизни так и остались неизвестными в его биографии. А между тем именно в эти три года он мужал, формировал свой характер и из мальчика превращался в юношу.

Сколько знаю, будучи учеником седьмого и восьмого классов, он очень любил ухаживать за гимназистками, и, когда я был тоже учеником восьмого класса, он рассказывал мне, что его романы были всегда жизнерадостны. Часто, уже будучи студентом, он дергал меня, тогда гимназиста, за фалду и, указывая на какую-нибудь девушку, случайно проходившую мимо, говорил:

— Беги, беги скорей за ней! Ведь это находка для ученика седьмого класса!

В эти три года он часто посещал театр, любил французские мелодрамы вроде «Убийства Коверлей»[19] и веселые французские фарсы вроде «Маменького сынка», много читал. Особенное впечатление на него произвели «Между молотом и наковальней» Шпильгагена и романы Виктора Гюго и Георга Борна. Написал он в это время сам целую драму «Безотцовщина» и водевиль «Недаром курица пела»[20]. Будучи гимназистом, он выписывал газету «Сын отечества» и сам сочинял рукописный журнал с карикатурами «Заику», в котором выводил своих московских братьев и посылал им его в Москву.

Впоследствии, уже после смерти брата Антона, А. С. Суворин рассказывал мне, со слов самого писателя, следующий эпизод из его жизни: где-то в степи, в чьем-то имении, будучи еще гимназистом, Антон Павлович стоял у одинокого колодца и глядел на свое отражение в воде. Пришла девочка лет пятнадцати за водой. Она так пленила собой будущего писателя, что он тут же стал обнимать ее и целовать. Затем оба они еще долго простояли у колодца и смотрели молча в воду. Ему не хотелось уходить, а она совсем позабыла о своей воде. Об этом Антон Чехов, уже будучи большим писателем, рассказывал А. С. Суворину, когда оба они разговорились на тему о параллельности токов и о любви с первого взгляда.

III

Мы переезжаем в Москву.—Первое впечатление от столицы.—Письма Антона из Таганрога.—Мое поступление в гимназию.—Приезд Антона.—Учение сестры на курсах Герье.—Наша бедность.—Двенадцать квартир за три года.—1879 год.—Антон поступает в университет.—Наши нахлебники.—Работа по поднятию материального благополучия семьи.—Первые выступления Антона в печати.—Дружба Николая с М. М. Дюковским.—«Шуйские купчики» в Москве.—Разрыв Антона с «Стрекозой».—Сотрудничество братьев Чеховых в «Зрителе».—Вс. Вас. Давыдов.—В редакции «Зрителя».—История с «Королем и Бондаривной».—Рисунки Николая.—А. М. Дмитриев (барон Галкин).

В Москву мать привезла меня и сестру 26 июля 1876 года. Таганрог—новый город, с прямыми улицами и с аккуратными постройками, весь обсаженный деревьями, так что все его улицы и переулки представляют собой сплошные бульвары. Того же я, но только в более грандиозных размерах, ожидал от Москвы. В нашем доме издавна, еще с моего появления на свет, висели картины, изображавшие Лондон, Париж и Венецию. На венецианской картине был изображен Большой канал (Canale grande) с дворцами по берегам и с гондолами; под картиной надпись на трех языках: «Vue de Venice», «Aussicht von Venedig»* и по-русски: «Утро в Венедикте». Таким образом, в моем детском мозгу составилось впечатление, что столица каждого государства должна быть красива, изящна и отвечать всем требованиям совершенной культуры. Каковы же были мои удивление и разочарование, когда поезд подвез нас к паршивенькому тогда Курскому вокзальчику в Москве, который перед Таганрогским вокзалом мог сойти за сарайчик, и когда я увидел отвратительные мостовые, низенькие, обшарпанные постройки, кривые, нелепые улицы, массу некрасивых церквей и таких рваных извозчиков, каких засмеяли бы в Таганроге. Правда, я въехал в Москву уже немного знакомый с ее Кремлем и с Сухаревой башней по рисункам, помещенным в сборнике «Пчела»[21], изданном еще при царе Горохе некиим Щербиной и целые годы лежавшем у нас на столе вместе с другой нашей настольной книгой—«Дети капитана Гранта», но даже и Кремль с Сухаревой башней меня разочаровали.

---

* Вид Венеции *(фр., нем.).*

Нас встретили на вокзале отец и брат Николай, и всю дорогу к квартире, на Грачевку, я и отец, за неимением у него шести копеек для того, чтобы проехать на верхушке конки, прошли пешком. Отец был еще без должности, оба брата тоже дули в кулаки — и это сказалось с первой же минуты нашего прибытия в Москву. Пошли в ход привезенные матерью серебряные ложки и рубли. Всем нам пришлось поместиться в одной комнате с чуланчиком под лестницей, в котором должны были спать я и братья Александр и Николай. Резкий переход с южного пшеничного хлеба на ржаной произвел на меня самое гнетущее впечатление. Хозяйства не было никакого: то за тем, то за другим нужно было бежать в лавчонку, и скоро я превратился в мальчика на побегушках, а моя одиннадцатилетняя сестра Маша — в прачку, обстирывавшую и обглаживавшую всю семью. Маленькая, она гладила даже крахмальные рубашки для отца и для старших братьев. Привыкшему к таганрогскому простору, мне негде было даже побегать. Эти первые три года нашей жизни, без гроша за душою, были для нас одним сплошным страданием. Я тосковал по родине ужасно. Часто я ходил, несмотря на дальность расстояния, на Курский вокзал встречать поезд с юга, разговаривал с прибывшими из Таганрога вагонами и посылал с ними ему поклоны.

Антон часто писал нам из Таганрога, и его письма были полны юмора и утешения. Они погибли в недрах московских квартир[22], а из них-то и можно было бы почерпнуть данные о ходе развития и формирования его дарования и духа. Часто в письмах он задавал мне загадки, вроде: «Отчего гусь плавает?» — или: «Какие камни бывают в море?», сулился привезти мне дрессированного дубоноса (птицу) и прислал однажды посылку, в которой оказались сапоги с набитыми табаком голенищами: это предназначалось для братьев. Он распродавал те немногие вещи, которые оставались еще в Таганроге после отъезда матери, — разные банки и кастрюльки, — и высылал за них кое-какие крохи и вел по этому поводу с матерью переписку. Не признававшая никаких знаков препинания, мать писала ему письма, начинавшиеся так: «Антоша в кладовой на полке...» и т. д., и он вышучивал ее, что по розыскам никакого Антоши в кладовой на полке не оказалось. Он поощрял меня к чтению, указывал, какие книги мне следовало бы прочесть, а между тем вопрос о продолже-

нии образования моего и сестры с первых же дней нашего поселения в Москве стал для нас довольно остро. Я приехал в Москву уже перешедшим во второй класс, а сестра Маша — в третий. 16 августа началось уже учение, а мы сидели дома, потому что нечем было платить за наше учение. Требовалось сразу за каждого из нас по 25 рублей, а достать их по тогдашним временам не представлялось никакой возможности.

Прошли август и сентябрь, наступили ранние в тот год холода, а мы с сестрой все еще сидели дома. Наконец, это стало казаться опасным. Поговаривали об отдаче меня в мальчики в амбар купца Гаврилова, описанный у Чехова в его повести «Три года»; в амбаре служил племянник моего отца[23], которому не трудно было составить протекцию, но это приводило меня в ужас. Кончилось тем, что, не сказав никому ни слова, я сам побежал в Третью гимназию на Лубянке. Там мне отказали в приеме. Тогда, совершенно еще незнакомый с планом Москвы и с адресами гимназий, я побежал за тридевять земель, в сторону знакомого мне Курского вокзала, на Разгуляй, во Вторую гимназию. Я смело вошел в нее, поднялся наверх, прошел через всю актовую залу, в конце которой за столом, покрытым зеленым сукном, сидел одиноко директор. Из классов доносились звуки занятий. Я подошел к директору и, еще не свободный от южного акцента и интонаций, рассказал ему, в чем дело, и, стараясь как можно вежливее выражаться, попросил его принять меня, так как мне грозит гавриловский амбар, а я хочу учиться. Он поднял бритое лицо, спросил меня, почему не пришли сами родители; я ответил что-то очень удачное, и он подумал и сказал:

— Хорошо. Я принимаю тебя. Начинай ходить с завтрашнего же дня. Только скажи кому-нибудь из своих, чтобы пришли за тебя расписаться.

Трехсветное пространство от гимназии до своей квартиры я уже не шел, а бежал. Узнав от меня, что я опять стал гимназистом, все мои домашние пришли в радость, и с тех пор за мной так и установилась репутация: «Миша сам себя определил в гимназию».

Зима была жестокая, пальтишко на мне было плохонькое, и, отмеривая каждый день по три версты туда и по три обратно, я часто плакал на улице от невыносимого мороза.

Вопрос о плате за ученье для меня вырешился сам собой. Все время оставаясь без должности, отец мой исполнял то те, то другие поручения временно. Так, для усиления письменной части в том же амбаре Гаврилова в Теплых рядах «в городе» он был принят на время в качестве писца. Возвратясь из гимназии, я бежал к нему помогать. Откуда-то приехал купец для закупки товаров у Гаврилова и, увидев меня, заговорил со мной, задавал вопросы, и окончилось дело тем, что он в ту же зиму и умер, завещав мне на образование по пятьдесят рублей в год. Душеприказчиком он назначил того же купца И. Е. Гаврилова, который, выдавая мне эти деньги, всякий раз делал мне допрос, хожу ли я в церковь, чту ли царя, не готовлю ли себя в «спецывалисты» (социалисты) и так далее, чем приводил меня в большую обиду, так что с пятого класса, когда я стал зарабатывать уже сам, я отказался от его подачек.

На пасху 1877 года нас обрадовал своим приездом в Москву Антоша. Я водил его по Кремлю, показывал ему столицу и в первый же день так «усахарил» его, что все следующие сутки он жаловался на то, что по пяткам у него от усталости бегали мурашки. Против ожидания, Москва произвела на него ошеломляющее впечатление. Из-за отсутствия денег на обратный проезд он зажился у нас и уехал с медицинским свидетельством о болезни, которое выдал ему через брата Александра доктор Яблоновский. Гостя у нас, Антон рассказывал нам о таганрогской гимназии, о проделках товарищей, о редкостно близкой дружбе с учителями, и это заставляло меня тяжело скорбеть от зависти, ибо мне в гимназии было очень тяжело.

Тогда были произведены одно за другим покушения на Александра II, подпольщики-революционеры стали развивать свою деятельность, и в обществе уже вслух стали высказываться пожелания конституции. Развертывалась реакция. Из нас, гимназистов, даже самых маленьких, принялись выколачивать «социализм». В министерстве просвещения стала господствовать нелепая доктрина, что страх влечет за собой уважение, а уважение всегда переходит в любовь. Внушая воспитанникам безумный страх, гимназическое начальство думало этим возбудить в них любовь к правительству, и среди педагогов нашлись поэты этого дела. Одни из желания выслужиться, другие

по глупости, а третьи из простого садизма стали есть своих учеников поедом. К людям последнего сорта принадлежал преподаватель К. К. П—ский[24]. Он глумился над мальчиками и упивался их страданиями. Он сочинял совершенно ненужные книжки, и мы должны были их покупать, платя по 1 рублю 50 копеек и по 2 рубля за экземпляр, только для того, чтобы дать ему заработать, и затем, неразрезанные, они так и оставались валяться без употребления. На его уроках с учениками делались истерики, а когда вдруг неожиданно являлся окружной инспектор, он прикидывался сразу овечкой и ползал перед ним на животе. Торжественно в гимназической церкви этот гусь совершил обряд перехода из католичества (не то из униатства) в православие. Многим своим ученикам он испортил судьбу и жизнь. Один раз он так придрался к одному из учеников пятого класса, что сидевший в стороне, тоже пятиклассник, Раков не выдержал, поднялся с места и в негодовании крикнул:

— О П—ский! Я вижу, что ты подлец большой руки!

Конечно, Раков был исключен из гимназии немедленно, тотчас же по окончании урока, а П—ский на благо министерства просвещения еще долго оставался преподавателем древних языков.

Другой преподаватель, под предлогом искоренения среди гимназистов курения, ощупывал у них карманы, отбирая серебряные портсигары и не возвращая их обратно. Известный переводчик учебников древних языков Курциуса и Кюнера — Я. И. Кремер, по которым учились мои братья и я, рассказывал мне, что как раз перед самыми выпускными экзаменами, которые должен был держать его сын, мой сверстник, к нему в два часа ночи явился его сослуживец, тоже один из моих преподавателей древних языков, и поднял его с постели. Я. И. Кремер сошел к нему вниз в халате и со свечою в руках.

— Сейчас я проигрался, — сказал пришелец. — Дайте мне сейчас же двадцать пять рублей.

— Но у меня их нет, — ответил Я. И. Кремер.

— А вы позабыли, что я завтра экзаменую вашего сына?

Я. И. Кремер смутился, поднялся наверх, достал из шкатулки двадцатипятирублевку и, возвратившись, покорно отдал ее проигравшемуся коллеге.

И поразительнее всего то, что такая камарилья сразу же ощетинивалась и становилась на дыбы, когда в чем-нибудь провинился гимназист. Я помню, какой кавардак со стихиями поднялся в нашей гимназии, когда у двоих моих одноклассников Ю. и Н. нашли роман Чернышевского «Что делать?».

Позднее, в министерстве Делянова, был издан циркуляр о том, чтобы дети бедных родителей вовсе не принимались в гимназии[25], а я был беден, ходил весь в заплатах, — и мне грозило исключение. Учителя должны были следить за интимной жизнью воспитанников, и ко мне то и дело врывались в квартиру соглядатаи, попадая в самые критические моменты, когда все мы уже укладывались спать или сидели за ужином.

По-видимому, этот террор не дошел еще до юга, да и Таганрог был совсем другого учебного округа (Одесского), потому что приехавший к нам Антон был весел, жизнерадостен, и то, что он говорил о своей дружбе с учителями, казалось мне фантастической сказкой. Все мои товарищи и соученики были угрюмы, вечно оглядывались и смотрели исподлобья. Так насаждались в Московском учебном округе любовь и уважение к правительству.

В этот период брат Антон познакомился и близко сошелся в Москве с нашим двоюродным братом Михаилом Михайловичем Чеховым. Этот Михаил Михайлович был сыном старшего нашего дяди, Михаила Егоровича, которого, как я упомянул выше, наш дедушка, Егор Михайлович, выкупившись на волю, отправил в Калугу учиться переплетному мастерству. Поразительный красавец, очень порядочный человек, добрый и великолепный семьянин, Михаил Михайлович, наслышавшись от нас об Антоне и еще не будучи с ним знакомым, несмотря на значительную разницу лет (ему было тогда около тридцати лет), первый написал Антону в Таганрог письмо, в котором предлагал ему свою дружбу. Между ними завязалась переписка, и только теперь, в этот приезд Антона в Москву, они познакомились. Михаил Михайлович служил в пресловутом амбаре И. Е. Гаврилова, был у него самым доверенным лицом и вел компанию с тем приказчиком, который в повести Чехова «Три года» назвал хозяина «плантатором». Между прочим, этот самый Михаил Михайлович имел обыкновение, вытянув вперед ребром ладонь, говорить при всяком случае: «кроме...»

Труднее обстояло дело с возобновлением образования для сестры. За пропуском всех сроков и за полным отсутствием вакансий ее решительно нигде не принимали, а может быть, за семейными заботами и перегрузкою в труде или из-за своей провинциальной непрактичности мои родители не сумели приступить как следует к делу. Но и тут все обошлось благополучно. Сестре удалось тоже самой определить себя в учебное заведение и кончить курс со званием домашней учительницы по всем предметам. Затем она поступила на Высшие курсы Герье и успешно закончила и их. С большим восторгом я вспоминаю то время, когда она слушала таких профессоров, как Ключевский, Карелин, Герье, Стороженко. Я был тогда в старших классах гимназии, по всем швам сжатый гимназическими дисциплинами и сухими учебниками,— и вдруг, переписывая для сестры лекции, окунулся в неведомые для меня науки. Скажу даже более, что общение с лекциями сестры определило и дальнейшее мое образование. Казалось, что от пребывания сестры на Высших женских курсах Герье изменилась и самая жизнь нашей семьи. Сестра сдружилась с курсистками, завела себе подруг, и сообща они собирались у нас и читали К. Маркса, Флеровского и многое другое, о чем тогда можно было говорить только шепотом и в интимном кругу. Все эти милые девушки оказались, как на подбор, интересными и развитыми. Некоторые из них остались нашими знакомыми до настоящего времени. За одной из них, Юношевой, кажется, ухаживал наш Антон Павлович, провожал ее домой, протежировал ей в ее литературных начинаниях и даже сочинил ей стихотворение:

Как дым мечтательной сигары,
Носилась ты в моих мечтах,
Неся с собой судьбы удары,
С улыбкой пламенной в устах...[26]

И так далее.

С другой — астрономкой О. К.[27] — он не прерывал отношений до самой своей смерти, познакомил ее с А. С. Сувориным, и оба они принимали участие в ее судьбе. Между прочим, он вывел ее (во внешних чертах) в лице Рассудиной в повести «Три года».

Наконец, после трехлетних поисков места, отцу удалось получить настоящую должность все у того же И. Е. Гаврилова по письменной части, с жалованием по

тридцать рублей в месяц и с правом жить и столоваться у него на дому в Замоскворечье, вместе с другими его приказчиками, чем отец и воспользовался. Старший брат, Александр, уже давно отошел от семьи, художник Николай учился в своем Училище живописи и вел дружбу с соучеником Ф. О. Шехтелем, впоследствии знаменитым архитектором и академиком, выстроившим, между прочим, Московский Художественный театр[28]; брат Иван готовился в сельские учителя. К нашей семье прибавилась еще и тетя Федосья Яковлевна, которую мы выписали из Таганрога. Мы жили в тяжкой бедности, перебивались кое-как и не видели никакого просвета впереди. За три года жизни в Москве мы переменили двенадцать квартир и наконец в 1879 году наняли себе помещение в подвальном этаже дома церкви святого Николая на Грачевке, в котором пахло сыростью и через окна под потолком виднелись одни только пятки прохожих.

В эту-то квартиру и въехал к нам 8 августа 1879 года наш брат Антон, только что окончивший курс таганрогской гимназии и приехавший в Москву поступать в университет. Мы не видели его целых три года и с нетерпением ожидали его еще весной, тотчас по окончании экзаменов, но он приехал только в начале августа, задержавшись чем-то очень серьезным в Таганроге. Это серьезное состояло в том, что он хлопотал о стипендии по двадцать пять рублей в месяц, которую учредило как раз перед тем Таганрогское городское управление для одного из своих уроженцев, отправляющихся получать высшее образование. Таким образом, он приехал в Москву не с пустыми руками; кроме того, зная стесненное положение нашей семьи, привез с собою еще двух нахлебников, своих товарищей по гимназии — В. И. Зембулатова и Д. Т. Савельева. Он приехал к нам раньше их, один, как раз в тот момент, когда я сидел за воротами и грелся на солнце. Я не узнал его. С извозчика слез высокий молодой человек в штатском, басивший. Увидев меня, он сказал:

— Здравствуйте, Михаил Павлович.

Только тогда я узнал, что это был мой брат Антон, и, взвизгнув от радости, побежал скорее вниз предупредить мать.

К нам вошел веселый молодой человек, все бросились к нему, начались объятия, лобзания, и меня послали тотчас же в Каретный ряд на телеграф, чтобы сообщить отцу

в Замоскворечье о приезде Антона. Вскоре явились и Зембулатов с Савельевым, началось устройство помещения для вновь приезжих, и я был точно в чаду. Затем гурьбой отправились смотреть Москву. Я был чичероне, водил гостей в Кремль, все им показывал, и все мы порядочно устали. Вечером пришел отец, мы ужинали в большой компании, и было так весело, как еще никогда.

На следующий день — новый сюрприз. Приехал какой-то человек из Вятки и привез с собою нежного, как девушка, сына. Откуда-то он узнал, что мы — порядочные люди, и вот решился просить мою мать взять в нахлебники его сына, тоже приехавшего в Москву поступать в университет. Это были очень богатые люди, квартира наша была убога и темна и помещалась в глубоком подвале, но отец так заботился о нравственности своего сына, что не обратил на это внимания и поместил его у нас. Этого молодого человека звали Николай Иванович Коробов. Он быстро сошелся с Антоном, и до самых последних дней оба они были близкими друзьями. Таким образом, в нашей тесной квартире появилось сразу четыре студента, и все — медики, связанные единством науки и в высокой степени лично порядочные. Наша жизнь сразу стала легче в материальном отношении. Конечно, прибылей с нахлебников не было никаких, мать брала с них крайне дешево и старалась кормить их досыта. Зато, несомненно, поправился и стал обильнее наш стол.

Прошения о поступлении в университет подавались не позже 20 августа на имя ректора в правлении, в старом здании на Моховой, в отвратительном помещении внизу направо. Антон еще не знал хорошо Москвы, и туда повел его я. Мы вошли в грязную, тесную, с низким потолком комнату, полную табачного дыма, в которой столпилось множество молодых людей. Вероятно, Антон ожидал от университета чего-то грандиозного, потому что та обстановка, в какую он попал, произвела на него не совсем приятное впечатление. Но то, что ему пришлось потом большую часть своего университетского курса проработать в анатомическом театре и в клиниках на Рождественке, и то, что в самом университете на Моховой он бывал очень редко, по-видимому, изгладило в нем это первое впечатление. Впрочем, ему было не до впечатлений: на его долю с первых же шагов его в Москве свали-

лось столько обязанностей и труда, что некогда было думать о сентиментальностях.

С осени того же года мы все оптом переехали на другую квартиру по той же Грачевке, в дом Савицкого, на второй этаж, и разместились так: Зембулатов и Коробов — в одной комнате, Савельев — в другой, Николай, Антон и я — в третьей, мать и сестра — в четвертой, а пятая служила приемной для всех. Так как отец в это время жил у Гаврилова, то волею судеб его место в семье занял брат Антон и стал как бы за хозяина. Личность отца отошла на задний план. Воля Антона сделалась доминирующей. В нашей семье появились вдруг неизвестные мне дотоле резкие, отрывочные замечания: «Это неправда», «Нужно быть справедливым», «Не надо лгать» и так далее. Началась совместная работа по поднятию материального положения семьи. Работали все, кто как мог и умел. Я, например, должен был вставать каждый день в пять часов утра, идти под Сухаревку, покупать там на весь день харчи, возвращаться с ними домой и потом уже, напившись чаю, бежать в гимназию. Часто случалось, что я от этого опаздывал на уроки или приходил в гимназию весь окоченевший, как сосулька. С этой квартиры началась литературная деятельность Антона.

Брат Александр, как я уже упомянул выше, не жил с нами. Мы даже очень редко его видели. Он бесконечно долго учился в университете[29], и что он в это время делал, чем занимался, мы не знали. У него было два товарища по математическому факультету — братья Леонид и Иван Т.[30]. Они были круглыми сиротами, были очень богаты, и душеприказчиком у них был инспектор народных училищ В. П. Малышев, живший в их же доме на 1-й Мещанской. Это была обширная помещичья усадьба с громадным садом и массою сирени. Братья Т. жили по одну сторону ворот, в большом родительском доме, а В. П. Малышев — во флигеле, по другую. В описываемое время братья Леонид и Иван Т. достигли совершеннолетия и, будучи еще молокососами, приняли от Малышева все имение и капиталы, доставшиеся им от родителей. Начался кутеж. Сорили деньгами, напивались, держали около себя подозрительных женщин. С ними покучивал и наш Александр. Он познакомил с ними и нашего скромного брата Ивана, который держался в сторонке и вел себя так солидно, что резко выделялся на фоне

этой развеселой жизни. Это обратило на себя внимание В. П. Малышева, который, несомненно, сокрушался, видя, какое применение получали родительские капиталы. Ваня понравился ему. Разговорились. Узнав, что по обстоятельствам, совершенно от него не зависящим, он лишился возможности продолжать свое учение в гимназии и теперь готовится в учительскую семинарию военного ведомства, В. П. Малышев, как инспектор народных училищ Московской губернии, предложил ему держать экзамен сразу на приходского учителя и немедленно же отправляться на место. Иван (да и все мы) обрадовались этому. Он съездил в Звенигород, выдержал там незамысловатый экзамен и вскоре же был назначен Малышевым в заштатный городок Воскресенск Московской губернии. Он уехал туда, и наша семья убавилась на одного человека. Вот почему он не упомянут мною в числе обитателей нашей квартиры у Савицкого.

Брат Антон получал свою стипендию из Таганрога не ежемесячно, а по третям, сразу по сто рублей. Это не облегчало его стесненных обстоятельств, так как полученной суммой сразу же погашались долги, нужно было купить пальто, внести плату в университет и так далее, и на другой день на руках не оставалось ничего. Я помню, как он в первый раз получил такую сумму и накупил разных юмористических журналов, в числе которых была и «Стрекоза». Затем он что-то написал туда и стал покупать «Стрекозу» у газетчика уже каждую неделю, с нетерпением ожидая в «Почтовом ящике» этого журнала ответа на свое письмо. Это было зимой, и я помню, как озябшими пальцами Антон перелистывал купленный им по дороге из университета номер этого журнала. Наконец появился ответ: «Совсем не дурно, благословляем и на дальнейшее сподвижничество». Затем, в марте 1880 года, в № 10 «Стрекозы» появилось в печати первое произведение Антона Чехова[31], и с тех пор началась его непрерывная литературная деятельность. Произведение это называлось в рукописи «Письмо к ученому соседу» и представляло собою в письменной форме тот материал, с которым он выступал по вечерам у нас в семье, когда приходили гости и он представлял перед ними захудалого профессора, читавшего перед публикой лекцию о своих открытиях. Это появление в печати первой статьи брата Антона было большой радостью в нашей семье. Радость эта лично

для меня усиливалась еще и тем, что как раз в это же время в журнале «Свет и тени» было помещено мое стихотворение, которое я перевел с немецкого из Рюккерта и за которое получил гонорар 1 рубль 20 копеек.

Как уже известно, мой брат Николай учился живописи на Мясницкой, против почтамта, в Училище живописи, ваяния и зодчества. На вечеровые классы ходил туда каждый день из далекого Лефортова К. И. Макаров — учитель рисования в 3-й военной гимназии (тогда кадетские корпуса назывались военными гимназиями). Ему хотелось стать настоящим художником, и он мечтал выйти в отставку и целиком отдаться искусству. Они сдружились с Николаем, и К. И. Макаров стал часто бывать у нас и полюбил нашу семью. Ходили пешком в Лефортово и мы к нему. Там мы познакомились с одним из воспитателей корпуса, М. М. Дюковским, человеком необычайно чутким к искусству и превратившимся потом в пламенного почитателя моих братьев Николая и Антона. Он дорожил каждой строчкой Антона и каждым обрывочком от рисунка Николая и хранил их так, точно собирался передать их в какой-нибудь музей. Когда Николай затевал какую-нибудь большую картину, например «Гулянье в Сокольниках» или «Мессалину», то Дюковский давал ему приют у себя в корпусе, и картины брата на мольбертах занимали всю его комнату. Он охотно позировал ему, надевал даже женское платье, когда требовалось рисовать складки, и смешно было смотреть на молодого человека с бородкой, одетого по-дамски. Между прочим, он увековечен Николаем на картине «Гулянье в Сокольниках» в образе молодого человека на первом плане, с букетом в руках. Некоторые думают[32], что это мой брат Антон, но это неверно.

К. И. Макаров действительно вышел в отставку, поехал в Петербург поступать в Академию художеств и в ту же осень скончался там от брюшного тифа. Таким образом, в Лефортове остался у моих братьев только один друг, с которым они не прерывали знакомства до самой гробовой доски. Нам было приятно бывать у М. М. Дюковского, хотя дойти до Лефортова от Грачевки составляло целый подвиг. Но я и Антон «перли» туда, несмотря на жестокий мороз, и как-то особенно жутко было проходить через Яузский мост, под которым всегда шумела незамерзавшая вода, и по окружавшим его тогда унылым

пустырям. Об этом мосте Антон вспоминал, уже будучи известным писателем. Кроме гостеприимства Дюковского, нас привлекало к нему множество иллюстрированных журналов, которые он выписывал или брал из кадетской библиотеки и с которыми мы могли знакомиться только здесь и больше нигде. Мы брали иногда эти журналы к себе домой, и тащить громадные фолианты в переплетах по морозу было ужасно тяжело. Приходилось хвататься за уши, оттирать себе пальцы и топать окоченевшими ногами.

М. М. Дюковский разошелся со своим кадетским начальством и вскоре перешел на службу в Мещанское училище на другом конце Москвы, на Калужской улице, где получил должность эконома, стол и квартиру. Братья Чеховы стали бывать у него и здесь, а самая квартира его превратилась в студию моего брата Николая.

Дюковский с нами едва не породнился. У моей матери была в Шуе двоюродная сестра, выданная замуж за местного городского голову Н. А. Закорюкина, у которого была дочь от первого брака, выданная замуж за некоего И. И. Лядова. Дочь эта умерла, оставив И. И. Лядову девочку, Юленьку, которую стали воспитывать старики Закорюкины. В ту пору Юленьке исполнилось восемнадцать лет. Возникла мысль выдать ее замуж за М. М. Дюковского, тем более что Юленька была очень милая, воспитанная девушка, да к тому же и с приданым, кажется, тысяч в сорок. Дюковский ничего не имел против и отправился вместе с братом Николаем в Шую представляться старикам. Утверждение некоторых биографов, что туда ездил с Дюковским не Николай, а Антон, неверно[33]. Брак не состоялся, тем не менее завязались отношения у Николая и Антона с отцом Юленьки, И. И. Лядовым, и его свояком Ф. И. Гундобиным, которые стали наезжать в Москву довольно часто и, как люди с довольно большими средствами, стали в ней покучивать. Они принялись за моих братьев и стали водить их по ресторанам, чтобы не сказать хуже, в известный тогда «Salon des Variétés» («Соленый вертеп») и по разным притонам, где шуйские толстосумы развертывали всю свою купеческую удаль. Гундобина Антон прозвал Мухтаром, и так сей почтенный шуянин именовался до своего восьмидесятилетнего возраста. Оба эти типа попали в печать и в некоторых рассказах послужили Чехову моделью. О том, как проводили время

Лядов и этот Мухтар с моими юными, еще безусыми братьями, свидетельствует предпоследний абзац в рассказе Чехова «Салон де Варьетэ», помещенный в № 11 «Зрителя» за 1881 год, где все эти четыре лица названы по имени[34].

После «Стрекозы» Антон Павлович перешел сотрудничать в «Зритель». История этого перехода такова. Пока Антон Павлович работал в «Стрекозе», старший мой брат, Александр, пописывал в «Будильнике», где появился один из его рассказов — «Карл и Эмилия», обративший на себя внимание. Между тем редакция «Стрекозы» стала то и дело возвращать брату Антону его статьи обратно с ехидными ответами в «Почтовом ящике», и, после того как он поместил в ней около десятка статеек, тот же «Почтовый ящик» «Стрекозы» переполнил чашу терпения брата следующим ответом: «Не расцвев, увядаете. Очень жаль. Нельзя ведь писать без критического отношения к делу»[35]. Антон обиделся и стал искать себе другой журнал. К «Будильнику» и «Развлечению» он тогда относился недоверчиво, а подходящего органа не находилось. Если не ошибаюсь в хронологии, то как раз в это время группа московских писателей затеяла издавать литературный сборник «Бес», к участию в котором пригласили Антона и в качестве художника — Николая. Вместе с другим художником, А. С. Яновым, Николай с азартом принялся за иллюстрации, Антон же собирался написать туда кое-что, да так и не собрался. «Бес» вышел без его материала. Брат Антон остался без заработка, но его вскоре выручил «Зритель». Как потом оказалось, журнал этот стал специально «чеховским», так как в нем все литературно-художественное производство целиком перешло в руки сразу троих моих братьев — Александра, Антона и Николая, причем Александр, кроме того, стал еще заведовать в «Зрителе» секретарской частью. Помещался этот журнал на Страстном бульваре, в доме Васильева, недалеко от Тверской. Я ходил туда после гимназии каждый день.

Основателем «Зрителя» был некто Вс. Вас. Давыдов, у жены которого была модная мастерская, а у него самого — небольшая типография. Он занимался, кроме того, фотографией и был необыкновенным энтузиастом. Планы его были всегда грандиозны и масштабы безграничны. Когда он что-нибудь затевал, то размахивал руками и го-

ворил с таким увлечением, что брызгал во все стороны и то и дело свистел:

— И будет у меня — фюить!..— и то, и это... А потом я разверну это дело — фюить!..— так широко, что чертям тошно покажется — фюить! — и так далее.

Тогда только что стала входить в употребление цинкография. Все существовавшие в Москве иллюстрированные журналы печатались литографически, только одна «Стрекоза» в Петербурге пользовалась цинкографическими клише (ее издавал цинкограф Герман Корнфельд).

Давыдов ухватился за цинкографию с увлечением и, выражаясь словами Антона Чехова, стал портить рисунки своих художников. Цинкографическую мастерскую он устроил сам, своими руками, и она была чрезвычайно примитивна. Три ящика, обмазанные смолой и наполненные раствором азотной кислоты, парами которой Вс. Вас. дышал с утра до вечера и с вечера до утра, и валик с черной краской, которой он накатывал переведенные на цинк рисунки,— вот и все устройство цинкографии. С такими средствами и без гроша за душой он начал издавать журнал «Зритель». Журнал этот должен был выходить (фюить!) по три раза в неделю, должен был (фюить!) затмить собою все другие московские журналы, должен был стоить (фюить!) всего только три рубля в год и с первого же номера приобрести (фюить!) не менее 20000 подписчиков! Кажется, Вс. В. Давыдову помогали материально в этой затее служивший в одном из московских банков О. И. Селецкий и помощник присяжного поверенного Озерецкий, потому что, кроме братьев Чеховых да еще провинциального актера Стружкина, вечно толкались в редакции «Зрителя» и они. Стружкин писал стихи под псевдонимом «Шило», и брат Антон острил над ним, что это шило колет не острым концом, а тупым. По-видимому, у Озерецкого вовсе не было адвокатской практики, потому что для своей рекламы он затевал фантастические дела. Так, по его проекту мои братья Антон или Александр, кто-нибудь из них двоих, должен был подать мировому судье жалобу на то, будто Стружкин разбил на его голове гитару. Процесс должен был перейти потом в мировой съезд, принять юмористическую окраску и попасть затем в печать прямо из-под пера Антона или Александра, причем в судебном отчете собственного изготовления проектировалось привести и защитительную речь

нашего «талантливого и подающего громадные надежды» адвоката Озерецкого.

Редакция «Зрителя» была более похожа на клуб, чем на редакцию. Сюда, как к себе домой, сходились каждый день ее члены, хохотали, курили, рассказывали анекдоты, ровно ничего не делали и засиживались до глубокой ночи. Служитель Алексей раз десять подряд обносил всех чаем; тут же сидел сортировщик из почтамта Гущин, который почтительно прислушивался к разговорам и подбирал адреса подписчиков по трактам и местам. Каждую трактовую ведомость он подписывал так: «Сортир. Гущин». За это его прозвали «Ватерклозетом».

В это время в типографии у Давыдова случилась презабавная история. Кто-то печатал у него свой перевод романа польского писателя Крашевского «Король и Бондаривна», но так как денег на расплату за печатные работы и за бумагу у переводчика не оказалось и эти книги нечем было выкупить, то все 2000 экземпляров так и остались у Давыдова на складе.

Они были связаны в пачки и составлены штабелями в углу. Сторож Алексей устроил на них для себя постель и, отдаваясь здесь в объятия Морфея, стерег редакцию по ночам, хотя в ней, кроме кухонных столов и простых базарных табуреток, никакой другой мебели не было. Переводчик не являлся за своим заказом более года, так что уже и отчаялись в том, что он когда-нибудь выкупит своих «Короля и Бондаривну». Решили продать книги на пуды. Но тут я, гимназист, проявил свою сообразительность. Я спросил у Давыдова: почему бы этих самых «Короля и Бондаривну» не дать в качестве премии к журналу «Зритель» для привлечения подписчиков? Брат Антон одобрил этот план. В. В. Давыдов пришел в восхищение, замахал руками и в увлечении воскликнул:

— А что бы вы думали? Фюить! Их у меня всего только две тысячи экземпляров, но ведь и подписчиков у меня больше не будет! А если их у меня, кроме розницы, будет две тысячи, то я буду миллионером. Фюить!

Решено и подписано. Брат Антон сочинил рекламу, и «Король и Бондаривна»... так и остались в редакции в штабелях составлять постель для сторожа Алексея, ибо подписки не было никакой.

Брат Николай с азартом и с увлечением принялся за иллюстрации к «Зрителю». Он нарисовал заглавную ви-

ньетку для журнала и массу рисунков и заставок, но первый номер вышел бледным в литературном отношении и успеха не имел. Брат Антон начал свое сотрудничество только с № 5 статейкой «Темпераменты», затем журнал целиком перешел под власть моих братьев. Николай рисовал буквально с утра и до вечера; Давыдов портил его рисунки тоже с утра и до вечера, причем приходилось их перерисовывать вновь; Антон писал не скупясь, но журнал не шел, его трудно было выпускать по три раза в неделю, он стал запаздывать и, наконец, потерял доверие у публики. Дело погибало, и, чтобы хоть сколько-нибудь скрасить положение, Давыдов напечатал сообщение, что у художника Н. П. Чехова заболели глаза, что он почти ослеп и по этому поводу выход журнала в свет временно приостанавливается. Подписчики ответили рядом писем, что они желают художнику скорейшего выздоровления, но что из этого вовсе не следует, чтобы редакция могла воспользоваться их деньгами, далеко не удовлетворив их журналом.

Как раз в то время, когда издавался «Зритель», приезжала в Москву на гастроли знаменитая артистка Сара Бернар, давшая собою обоим моим братьям богатый материал. Между прочим, тогда же в одном из номеров «Зрителя» в обе страницы был помещен превосходный рисунок брата Николая, на котором изображен московский Большой театр во время представления Сары Бернар. На этом рисунке — все действительные посетители спектакля: в левом углу — И. С. Аксаков, рядом с ним через человека — директор филармонии П. А. Шостаковский, второй от зрителя в первом ряду — Гиляров-Платонов, первый от зрителя во втором ряду — почтеннейший издатель В. В. Давыдов, о котором шла речь выше, и так далее[36].

Выход в свет «Зрителя» подтянул и другие московские журналы. Так, «Будильник», испугавшись конкуренции, стал печатать обложку золотой краской. После кончины «Зрителя» мои братья Антон и Николай перешли работать туда. Впрочем, сколько помню, брат Антон сотрудничал в «Зрителе» всего только один год[37], и, когда этот журнал потом возобновился, он уже больше в нем не участвовал. Он написал на него удивительно смешную сатиру под заглавием «Храм славы»[38], которую и преподнес в рукописи самому В. В. Давыдову. О дальнейшей судьбе ее я, к сожалению, ничего не знаю.

Забыл сказать о деятельном члене редакции «Зрителя» — талантливом беллетристе и переводчике Андрее Михайловиче Дмитриеве, писавшем под псевдонимом «Барон Галкин». Он был редактором «Московской театральной газеты»[39] и вместе с Н. Ланиным издавал «Русский курьер»; написал и издал несколько книг, поставил на сцене несколько пьес. Это был интереснейший живой человек, которого можно было заслушаться. К слову сказать, это он рассказывал моему брату Антону в моем присутствии эпизод о «бихорке», который тот использовал в своем рассказе «Иван Матвеич», а самый герой этого рассказа, Иван Матвеич, списан с моего же брата Ивана, когда тот еще до поступления своего в учителя, нуждаясь в заработке, ходил через всю Москву к жившему тогда в Сокольниках писателю П. Д. Боборыкину записывать под его диктовку.

IV

«Будильник» и его руководители. — Н. П. Кичеев и Ф. Ф. Попудогло. — Несколько слов о М. Евстигнееве. — П. А. Сергеенко. — Лиодор Иванович Пальмин. — Встреча Антона с Лейкиным. — «Дядя Гиляй» (В. А. Гиляровский) и его причуды. — На свадьбе у И. А. Белоусова. — Журнал «Москва» И. И. Кланга. — «Медицинское свидетельство» для получения гонораров брату. — «Новости дня» А. Я. Липскерова. — Происхождение «Ненужной победы». — Н. А. Пушкарев. — «Свет и тени». — Пушкаревская «Европейская библиотека». — Мое участие в «Мирском толке». — «С Гатцуком знаком, с Прудоном не согласен и при часах ходит». — Предприятие Пушкарева. — На сеансе гипнотизера Роберта. — Издатели братья М. и Е. Вернеры и их «Сверчок».

«Будильник» в то время издавала Л. Н. Уткина, а редактировал его А. Д. Курепин, который на каждый обращенный к нему вопрос всегда отвечал вопросом же: «Но почему же? Почему же?» Большую роль в «Будильнике» играл также и Николай Петрович Кичеев. Редакция помещалась в Леонтьевском переулке, в доме Мичинера. Курепин вел, кроме того, в «Новом времени» московский фельетон, а Кичеев вел такой же фельетон сначала в «Голосе», а потом в «Новостях». Он был большой театрал, писал театральные рецензии и сам пописывал пьесы. Между прочим, он дал мне заработать: я должен был четыре раза подряд переписать пьесу «Война с немцем», которую он сочинил вместе с Ф. Ф. Попудогло. Пьеса эта вышла тяжеловесной, публике не понравилась и после первого же

представления была снята с репертуара. Кичеев уплатил мне за работу 25 рублей, которые я предназначил в уплату за учение. Но братьям понадобились эти деньги, они растратили их, и когда пришел последний срок платежа в гимназию и инспектор сказал, чтобы я завтра уже и не являлся, то оба брата, Николай и Антон, стали бегать по редакциям и выклянчивать гонорар. Поздно вечером, когда я уже спал, они вернулись домой, разбудили меня и вручили мне тяжелый сверток, который я чуть не упустил из рук. Это были мои 25 рублей — исключительно в одних серебряных гривенниках. Как оказалось потом, мои братья не ушли из одной редакции до тех пор, пока не вернулись туда с отчетом газетчики, продававшие журнал в розницу по гривеннику за экземпляр. Всю выручку братья и арестовали. Эти деньги я нес в гимназию в ранце, за плечами, и очень смутил инспектора, когда уплатил ему одними гривенниками. Он допытывался от меня, откуда я их взял, но я отговорился незнанием; сказал, что дали родители.

Кичеев был очень милый, воспитанный человек, с которым было приятно провести время и которого интересно было послушать. Он бывал у моих братьев, распространяя вокруг себя запах великолепных духов; и я бывал у него в «Будильнике», причем он угощал меня крепким, как деготь, чаем, который я пил из вежливости. Для переписки кичеевской пьесы меня порекомендовал ему брат Антон, для которого я два раза переписывал его тяжеловесную драму, так и не увидевшую вовсе сцены[40]. Я не помню ее заглавия, но это было нечто невозможное, с конокрадами, стрельбой, женщиной, бросающейся под поезд, и так как я был тогда еще гимназистом, то при переписке у меня от волнения холодело под сердцем. Драму эту брат Антон, тогда студент второго курса, лично отнес на прочтение М. Н. Ермоловой[41] и очень хотел, чтобы она поставила ее в свой бенефис. Но пьеса вернулась обратно, и мои труды пропали даром. Эту пьесу издал потом Центрархив.

Упомянув о Кичееве, хочу написать два слова об его сотруднике Федоре Федосеевиче Попудогло. Это был очень популярный человек среди московской пишущей братии. Он представлял собою старожила, которому было известно все, отличался большою личной порядочностью, но неудачи преследовали его со всех сторон, и он

едва зарабатывал себе литературным трудом на пропитание. Он водил компанию с известным тогда сочинителем книжек для народа Мишей Евстигнеевым, которого страшно эксплуатировали книгопродавцы. На каждой ярмарке и по всему лицу земли родной можно было встретить произведения М. Евстигнеева, продававшиеся прямо с рогожки, и купить за пятачок любое из них, вроде «Улыбки в пять рублей» или «Мосье фон герр Петрушки». Он писал свои произведения исключительно только для книгопродавцев, имевших дело с офенями, и получал от них гонорар от 50 копеек до 1 рубля 50 копеек за книжку. В сущности говоря, этот Миша Евстигнеев своим дарованием пробивал дорогу таким будущим издательствам, каким было впоследствии громадное дело И. Д. Сытина.

Встречаясь в редакциях с Ф. Ф. Попудогло, Антон Павлович сошелся с ним и почему-то, как он сам после говорил и выразился даже в одном из своих писем, стал ходить к нему по вечерам «яко тать в нощи», точно хотел скрыть от кого-нибудь эти свои визиты. Попудогло в то время хворал, хотя все еще был на ногах, и Антон Павлович принялся за лечение. С первых же шагов он поставил диагноз рака в прямой кишке и, как оказалось потом, не ошибся. Попудогло умер, и Антон Павлович потерял в нем друга и собеседника. Библиотека Попудогло, по воле последнего, досталась Антону Павловичу, который оплатил ее стоимость его вдове,— я помню, как к нам привезли громадный сундук, битком набитый книгами. Я и брат Антон стали разбирать их. К сожалению, все это оказалось самым типичным книжным хламом, не имевшим никакой цены даже для букиниста: разные каталоги, книжки Миши Евстигнеева — и ничего ценного. Антон Павлович, я помню, отложил всего только с десяток книг, из которых «Песни, собранные Рыбниковым» и «Тишь да гладь» Бабикова находятся в настоящее время в Таганрогской библиотеке, а книга «Командные слова для совершения главнейших на корабле действий» дала Чехову материал для роли Ревунова-Караулова в его водевиле «Свадьба». Все остальное пришлось попросту сжечь.

Кроме моих братьев, в то время в «Будильнике» сотрудничали: художник Н. Чичагов, подписывавшийся монограммой «Т. С.», П. А. Сергеенко, писавший под псевдонимом «Эмиль Пуп», В. А. Гиляровский («Дядя Гиляй») и поэт Л. И. Пальмин.

П. А. Сергеенко долго жил за границей, затем возвратился в Россию, стал сотрудничать в юмористических журналах и в конце концов застрял в тине толстовщины. Как пламенный почитатель Л. Н. Толстого, он написал о нем книгу[42], которой сам придавал очень серьезное значение. Он был нашим земляком, со всеми нами был на «ты» и слыл остроумцем и даже чудаком. Про него ходили разные анекдоты, и брат Антон рассказывал мне, что он любил поиздеваться над жандармами и вообще над полицией. Кроме того, он выпустил в свет две или три драмы, из которых одна, написанная, правда, в сотрудничестве с И. Н. Потапенко, имела несомненный успех; кроме того, он подбивал меня в 1902 году издавать вместе с ним толстый журнал. Я совсем уже было согласился, да меня разговорил брат Антон. Но самым важным для Антона Чехова деянием Сергеенко была помощь в продаже А. Ф. Марксу полного собрания его сочинений. Об этой сделке в свое время было много разговоров и в обществе, и в печати, и повторять их здесь я нахожу неуместным.

Л. И. Пальмин был сутул, ряб, картавил букву «р» и всегда был так неряшливо одет, что на него было жалко смотреть. Он был благороден душой и сострадателен. Особую слабость его составляли животные. Всякий раз, как он приходил к нам, вместе с ним врывалось в дверь сразу пять-шесть собак, которая без ноги, которая без глаза, которая с расчесанной до крови паршивой спиной. Всех их он подбирал по дороге и давал им у себя приют. Это был высокоталантливый, но совершенно уже опустившийся человек. В свое время он участвовал в «Библиотеке для чтения», был близок к «Искре», обладал прекрасным стихом, изящной формой, но несчастная страсть к пиву (именно к пиву, а не к вину) свела его на нет... В дни нашего знакомства с ним он не был еще стариком, но дряхлость уже клонила его к земле. Он жил всегда где-то на задворках, в переулках с ужасными названиями, так что к нему даже страшно было ходить. Жил он с какой-то простой, неряшливой бабой Авдотьей, которую брат Антон прозвал Фефелой,— так за ней это имя и осталось навсегда. Она тоже любила выпить и, чтобы иметь к этому возможность, подзадоривала и Пальмина.

— Лиодор Иванович, вам не пора еще пиво пить?

Он знал хорошо языки, переводил классиков, и его стихи всегда доставляли читателю удовольствие. Однажды брат Антон обратился к нему с просьбою прислать ему новый устав какого-то общества или учреждения. Лиодор Иванович прислал его при специальном стихотворении, из которого я помню только некоторые строки:

Коллега, милый мой Антоша!
По обещанью шлю «Устав».
Сейчас, немножечко устав
И волосы себе ероша,
Сижу один я в тишине,
Причем Калашникова пиво
Юмористически игриво
В стакане искрится на дне...
Простите шалость беглой рифмы,
Как математик логарифмы,
Всегда могу ее искать.
Как мореход на острый риф, мы
Поэты, лезем все на рифмы...

И так далее.

Дальше не помню.

Этот поэт Л. И. Пальмин сыграл в литературной судьбе Антона Чехова очень большую роль, хотя это и вышло совсем случайно. Он пописывал стишки в петербургских «Осколках», которые издавал известный юморист Н. А. Лейкин. В один из своих приездов в Москву Лейкин затащил Пальмина обедать в ресторан Тестова, и когда оба они ехали оттуда на извозчике, то Пальмин увидал шедших по тротуару двух моих братьев, Николая и Антона, и указал на них Лейкину:

— Вот идут два талантливых брата: один из них — художник, а другой — литератор. Сотрудничают в здешних юмористических журналах.

Лейкин остановил извозчика. Пальмин окликнул моих братьев, и они познакомились с Лейкиным, который тут же пригласил Антона сотрудничать в его «Осколках»[43]. Так случился переход брата Антона в литературе из Москвы в Петербург, где и создавалась мало-помалу его слава.

На В. А. Гиляровском стоит остановиться подольше.

Однажды, еще в самые ранние годы нашего пребывания в Москве, брат Антон вернулся откуда-то домой и сказал:

— Мама, завтра придет ко мне некто Гиляровский. Хорошо бы его чем-нибудь угостить.

Приход Гиляровского пришелся как раз на воскресенье, и мать испекла пирог с капустой и приготовила водочки. Явился Гиляровский. Это был тогда еще молодой человек, среднего роста, необыкновенно могучий и коренастый, в высоких охотничьих сапогах. Жизнерадостностью от него так и прыскало во все стороны. Он сразу же стал с нами на «ты», предложил нам пощупать его железные мускулы на руках, свернул в трубочку копейку, свертел винтом чайную ложку, дал всем понюхать табаку, показал несколько изумительных фокусов на картах, рассказал много самых рискованных анекдотов и, оставив по себе недурное впечатление, ушел. С тех пор он стал бывать у нас и всякий раз вносил с собой какое-то особое оживление. Оказалось, что он писал стихи и, кроме того, был репортером по отделу происшествий в «Русских ведомостях». Как репортер он был исключителен.

Гиляровский был знаком решительно со всеми предержащими властями, все его знали, и всех знал он; не было такого места, куда бы он не сунул своего носа, и он держал себя запанибрата со всеми, начиная с графов и князей и кончая последним дворником и городовым. Он всюду имел пропуск, бывал там, где не могли бывать другие, во всех театрах был своим человеком, не платил за проезд по железной дороге и так далее. Он был принят и в чопорном Английском клубе, и в самых отвратительных трущобах Хитрова рынка. Когда воры украли у меня шубу, то я прежде всего обратился к нему, и он поводил меня по таким местам, где могли жить разве только одни душегубы и разбойники. Художественному театру нужно было ставить горьковскую пьесу «На дне»,— Гиляровский знакомил его актеров со всеми «прелестями» этого дна. Не было такого анекдота, которого бы он не знал, не было такого количества спиртных напитков, которого он не сумел бы выпить, и в то же время это был всегда очень корректный и трезвый человек. Гиляровский обладал громадной силой, которой любил хвастнуть. Он не боялся решительно никого и ничего, обнимался с самыми лютыми цепными собаками, вытаскивал с корнем деревья, за заднее колесо извозчичьей пролетки удерживал на всем бегу экипаж вместе с лошадью. В саду «Эрмитаж», где была устроена для публики машина для измерения силы, он так измерил свою силу, что всю машину выворотил с корнем из земли. Когда он заду-

мывал писать какую-нибудь стихотворную поэму, то у него фигурировали Волга-матушка, ушкуйники, казацкая вольница, рваные ноздри...

В мае 1885 года я кончил курс гимназии и держал экзамены зрелости. Чтобы не терять из-за меня времени, брат Антон, сестра и мать уехали на дачу в Бабкино, и во всей квартире остался только я один. Каждый день, как уже будущий студент, я ходил со Сретенки в Долгоруковский переулок обедать в студенческую столовую. За обед здесь брали 28 копеек. Кормили скупо и скверно, и когда я возвращался домой пешком, то хотелось пообедать снова.

В одно из таких возвращений, когда я переходил через Большую Дмитровку, меня вдруг кто-то окликнул:

— Эй, Миша, куда идешь?

Это был В. А. Гиляровский. Он ехал на извозчике куда-то по своему репортерскому делу. Я подбежал к нему и сказал, что иду домой.

— Садись, я тебя подвезу.

Я обрадовался и сел.

Но, отъехав немного, Гиляровский вдруг вспомнил, что ему нужно в «Эрмитаж» к Лентовскому, и, вместо того чтобы попасть к себе на Сретенку, я вдруг оказался на Самотеке, в опереточном театре. Летние спектакли тогда начинались в пять часов вечера, а шел уже именно шестой, и мы как раз попали к началу.

— Посиди здесь,— сказал мне Гиляровский, введя в театр,— я сейчас приду.

Поднялся занавес, пропел что-то непонятное хор, а Гиляровского все нет и нет. Я глядел оперетку и волновался, так как ходить по «Эрмитажам» гимназистам не полагалось. Вдруг ко мне подошел капельдинер и потребовал билет. Конечно, у меня его не оказалось, и капельдинер взял меня за рукав и, как зайца, повел к выходу. Но, на мое счастье, точно из-под земли вырос Гиляровский.

— В чем дело? Что такое?

— Да вот спрашивают с меня билет...— залепетал я.

— Билет? — обратился Гиляровский к капельдинеру.— Вот тебе, миленький, билет!

И, оторвав от газеты клочок, он протянул его вместо билета капельдинеру. Тот ухмыльнулся и пропустил нас обоих на место.

Но Гиляровскому не сиделось.

— Пойдем, мне пора.

И мы вышли с ним из «Эрмитажа».

— Я, кажется, хотел подвезти тебя домой...— вспомнил Гиляровский.— Где же наш извозчик?

Он стал оглядываться по сторонам. Наш извозчик оказался далеко на углу, так как его отогнал от подъезда городовой. В ожидании нас он мирно дремал у себя на козлах, свесив голову на грудь.

Гиляровский подошел к нему и с такой силой тряхнул за козлы, что извозчик покачнулся всем телом и чуть не свалился на землю.

— Дурак, черт! Слюни распустил! Еще успеешь выспаться!

Извозчик очухался, и мы поехали.

Нужно было уже сворачивать с Садовой ко мне на Сретенку, когда Гиляровский вдруг вспомнил опять, что ему необходимо ехать зачем-то на Рязанский вокзал, и повез меня насильно туда. Мы приехали, он рассчитался с извозчиком и ввел меня в вокзал. Встретившись и поговорив на ходу с десятками знакомых, он отправился прямо к отходившему поезду и, бросив меня, вдруг вскочил на площадку вагона в самый момент отхода поезда и стал медленно отъезжать от станции.

— Прощай, Мишенька! — крикнул он мне.

Я побежал рядом с вагоном.

— Дай ручку на прощанье!

Я протянул ему руку.

Он схватился за нее так крепко, что на ходу поезда я повис в воздухе и затем вдруг неожиданно очутился на площадке вагона.

Поезд уже шел полным ходом, и на нем вместе с Гиляровским уезжал куда-то и я. Силач увозил меня с собой, а у меня не было в кармане ни копейки, и это сильно меня беспокоило.

Мы вошли с площадки внутрь вагона и сели на местах. Гиляровский вытащил из кармана пук газет и стал читать. Я постарался казаться обиженным.

— Владимир Алексеевич, куда вы меня везете? — спросил я его наконец.

— А тебе не все равно? — ответил он, не отрывая глаз от газеты.

Вошли кондуктора и стали осматривать у пассажиров билеты. Я почувствовал себя так, точно у меня приготови-

лись делать обыск. У меня не было ни билета, ни денег, и я уже предчувствовал скандал, неприятности, штраф в двойном размере.

— Ваши билеты!

Не поднимая глаз от газеты, Гиляровский, как и тогда в театре, оторвал от нее два клочка и протянул их обер-кондуктору вместо билетов. Тот почтительно пробил их щипцами и, возвратив обратно Гиляровскому, проследовал далее. У меня отлегло от сердца. Стало даже казаться забавным.

Мы вылезли из вагона, кажется, в Люберцах или в Малаховке и крупным, густым лесом отправились пешком куда-то в сторону. Я не был за городом еще с прошлого года, и так приятно было дышать запахом сосен и свеженьких березок. Было уже темновато, и ноги утопали в песке. Мы прошли версты с две, и я увидел перед собою поселок. Светились в окошках огни. По-деревенски лаяли собаки. Подойдя к одному из домиков с палисадником, Гиляровский постучал в окно. Вышла дама с ребенком на руках.

— Маня, я к тебе гостя привел,— обратился к ней Гиляровский.

Мы вошли в домик. По стенам, как в деревенской избе, тянулись лавки, стоял большой стол; другой мебели не было никакой, и было так чисто, что казалось, будто перед нашим приходом все было вымыто.

— Ну, здравствуй, Маня! Здравствуй, Алешка!

Гиляровский поцеловал их и представил даме меня. Это были его жена Мария Ивановна и сынишка Алешка, мальчик по второму году.

— Он у меня уже гири поднимает! — похвастался им Гиляровский.

И, поставив ребенка на ножки на стол, он подал ему две гири, с которыми делают гимнастику. Мальчишка надул щеки и поднял одну из них со стола. Я пришел в ужас. Что, если он выпустит гирю из рук и расшибет себе ею ноги?

— Вот! — воскликнул с восторгом отец.— Молодчина!

Таким образом я нежданно-негаданно оказался на даче у Гиляровского в Краскове.

Я переночевал у него, и Мария Ивановна не отпустила меня в Москву и весь следующий день. Мне так понравилось у них, что я стал приезжать к ним между каждых

двух экзаменов. В один из дней, когда я гостил в Краскове, Гиляровский вдруг приехал из Москвы с громадной вороной лошадью. Оказалось, что она была бракованная, и он купил ее в одном из полков за 25 рублей. Вскоре выяснилось, что она сильно кусалась и сбрасывала с себя седока. Гиляровский нисколько не смутился этим и решил ее «выправить» по-своему, понадеявшись на свою физическую силу.

— Вот погоди,— сказал он мне,— ты скоро увидишь, как я буду на ней ездить верхом в Москву и обратно.

Лошадь поместили в сарайчике, и с той поры только и стало слышно, как она стучала копытами об стены и ревела да как кричал на нее Гиляровский, стараясь отучить ее от пороков. Когда он входил к ней и запирал за собой дверь, мне казалось, что она его там убьет; беспокоилась и Мария Ивановна. Гиляровский же и лошадь поднимали в сарайчике такой шум, что можно было подумать, будто они дерутся там на кулачки; и действительно, всякий раз он выходил от своего Буцефала весь потный, с окровавленными руками. Но он не хотел сознаться, что это искусывала его лошадь, и небрежно говорил:

— Так здорово бил ее, сволочь, по зубам, что даже раскровянил себе руки.

В конце концов пришел какой-то крестьянин и увел лошадь на живодерку. Гиляровский потерял надежду покататься на ней верхом и отдал ее даром.

Он не прерывал добрых отношений с моим братом Антоном до самой его смерти и нежно относился ко всем нам. Бывал он у нас и в Мелихове в девяностых годах. Всякий раз, как он приезжал туда, он так проявлял свою гигантскую силу, что мы приходили в изумление. Один раз он всех нас усадил в тачку и прокатил по всей усадьбе. Вот что писал брат Антон А. С. Суворину об одном из таких его посещений Мелихова: «Был у меня Гиляровский. Что он выделывал! Боже мой! Заездил всех моих кляч, лазил на деревья, пугал собак и, показывая силу, ломал бревна» (8 апреля 1892 года).

Я не помню Гиляровского, чтобы когда-нибудь он не был молод, как мальчик. Однажды он чуть не навлек на нас неприятное подозрение. Дело было так. Жил-был в Москве, в Зарядье, портной Белоусов. У него был сын, Иван Алексеевич, впоследствии известный поэт и переводчик и член Общества любителей российской словесно-

сти. Тогда он тоже был портным и между делом робко пописывал стишки. Задумал отец женить этого милейшего Ивана Алексеевича. Сняли дом у какого-то кухмистера, «под Канавою» в Замоскворечье, позвали оркестр, пригласили знакомых и незнакомых — и стали справлять свадьбу. Думаю, что гостей было человек более ста. Тогда мой брат Иван Павлович служил в Мещанском училище[44], в котором Белоусов обшивал кое-кого из учителей. Обшивал он, спасибо ему, тогда и меня. И вот он пригласил к себе на свадьбу всех нас, братьев Чеховых, но отправились мы трое: Антон, Иван и я. Вместе с нами пошел туда и Гиляровский.

Там мы познакомились с приятелем жениха, Николаем Дмитриевичем Телешовым, молодым, красивым человеком, который был шафером и танцевал, ни на одну минуту не расставаясь с шапокляком, в течение всей ночи. Это был известный потом писатель, литературный юбилей которого не так давно трогательно справлялся в Союзе писателей. Когда мы возвращались уже под утро домой, — братья Антон, Иван и я, Телешов и Гиляровский, — нам очень захотелось пить. Уже светало. Кое-где попадались ночные типы, кое-где отпирались лавчонки и извозчичьи трактиры. Когда мы проходили мимо одного из таких трактиров, брат Антон вдруг предложил:

— Господа, давайте зайдем в этот трактир и выпьем чаю!

Мы вошли. Все пятеро, во фраках, мы уселись за неопрятный стол. Трактир только что еще просыпался. Одни извозчики, умывшись, молились богу, другие пили чай, а третьи кольцом окружили нас и стали нас разглядывать. Гиляровский острил и отпускал словечки. Брат Антон Павлович и Телешов говорили о литературе.

Вдруг один из извозчиков сказал:

— Господа, а безобразят...

Конечно, он был прав, но Гиляровскому захотелось подурачиться, он вскочил с места и пристально вгляделся в лицо извозчика.

— Постой, постой, — сказал он в шутку. — Это, кажется, мы вместе с тобой бежали с каторги?

Что тут произошло! Все извозчики повскакали, всполошились, не знали, что им делать, — хватать ли Гиляровского и вести его в участок, доносить ли на своего же брата извозчика или постараться замять всю эту историю. Но

дело вскоре уладилось само собой: Гиляровский сказал какую-то шуточку, угостил извозчиков нюхательным табачком, моралист-извозчик постарался куда-то скрыться, и стали подниматься и мы. Помнит ли об этом Телешов? Впрочем, он так был увлечен разговором с Антоном Павловичем, что, вероятно, не обратил на всю эту сцену никакого внимания.

Одновременно с «Будильником» Антон Павлович сотрудничал в 1882 году и у И. И. Кланга. Кланг был литографом. Вероятно, литография приносила очень мало дохода, потому что он рисовал посредственные карикатуры, которые помещал во второстепенных журналах. Впрочем, все тогдашние московские иллюстрированные журналы были второстепенными. Я так полагаю, что для того, чтобы усилить свои средства и дать постоянную работу своей литографии, И. И. Кланг затеял в 1882 году издание большого иллюстрированного художественного журнала «Москва», в котором все иллюстрации должны были изготовляться в красках. Это была по тогдашнему времени довольно смелая и оригинальная затея. Были приглашены в качестве художников мой брат Николай, Н. Богатов, И. Левитан и другие, а к участию в литературном отделе — мой брат Антон. На первых номерах журнала И. И. Кланг постарался. Они действительно для не особенно требовательного подписчика могли казаться художественными. Некоторые рисунки в красках были положительно хороши. Брат Николай поместил там, между прочим, репродукцию со своей громадной картины «Гулянье в Сокольниках» и, кроме того, презабавную иллюстрацию «Он выпил»[45], в которой позировал ему наш старший брат, Александр, действительно страдавший тогда влечением к алкоголю, но отнюдь не Антон, как это некоторые утверждают в печати. Брат Антон выступил в «Москве» почему-то не с рассказом, а с рецензией, но затем смилостивился и дал туда целую повесть «Зеленая коса», которую отлично иллюстрировал брат Николай[46]. Но недостаток средств для хорошей рекламы и равнодушие публики не дали «Москве» окрепнуть, и она скоро увяла. По каким-то соображениям И. И. Кланг переименовал ее в «Волну», но не помогло и это. Дело прекратилось. Я долго ходил в редакцию получать для Антона причитавшийся ему гонорар, но это не всегда удавалось, так как издатель, по словам служившего у него в конторе мальчика

Вани Бабакина, тотчас же через задний ход уходил из дому.

Вообще мне часто приходилось получать за брата Антона гонорар. Он вечно был занят, ему не хватало времени, и я был его постоянным адвокатом. Он даже выдал мне для этого шуточную доверенность следующего содержания:

«МЕДИЦИНСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Дано сие Студенту Императорского Московского Университета Михаилу Павловичу Чехову, 20 лет, православного исповедания, в удостоверение, что он состоит с 1865 года моим родным братом и уполномочен мною брать в редакциях, в коих я работаю, денег, сколько ему потребно, что подписом и приложением печати удостоверяю.

Москва, 1886 г. *Врач А. Чехов*
Января 15-го дня».

С этим «медицинским свидетельством» я ходил получать для брата Антона гонорар в «Новости дня». Ах, что это были за дни тяжкого для меня испытания! За свой роман «Драма на охоте», печатавшийся в «Новостях дня» в 1884 году, брат Антон должен был получать по три рубля в неделю. Бывало, придешь в редакцию, ждешь-ждешь, когда газетчики принесут выручку.

— Чего вы ждете? — спросит, наконец, издатель.

— Да вот получить три рубля.

— У меня их нет. Может быть, вы билет в театр хотите или новые брюки? Тогда сходите к портному Аронтрихеру и возьмите у него брюки за мой счет.

«Новости дня», или, как их называл брат Антон, «Пакости дня», издавал Абрам Яковлевич Липскеров. Еще до издания газеты он был одним из лучших, если не единственным, стенографом и записывал в окружном суде судебные процессы. Знаменитый адвокат Ф. Н. Плевако, который составлял тогда себе репутацию своими защитительными речами, брал его с собою на провинциальные процессы, где А. Я. Липскеров записывал речи Плевако слово в слово, и затем они появлялись в печати в столичных газетах.

Про Плевако и Липскерова рассказывали следующее. Однажды в одном из провинциальных городов был назначен к слушанию какой-то знаменитый процесс.

Ф. Н. Плевако должен был выступить на нем не то в качестве защитника, не то как гражданский истец. Он захватил с собой А. Я. Липскерова, и они поехали туда как раз накануне судебного разбирательства. Поезд в этот город приходил только один раз в день, и то к вечеру, так что волей-неволей приходилось в нем ночевать. Приехали зимой, в метель, в шесть часов вечера и остановились в паршивой провинциальной гостинице. Привыкшие к шуму и гаму столицы, они сразу же почувствовали тоску и не могли приложить ума, как им скоротать этот только что еще начавшийся вечер. А снег так и носился тучами вдоль улиц.

Они позвонили. Явился коридорный.

— А что, голубчик, нет ли у вас здесь хорошего театра или ресторана?

— Так точно-с! У нас есть городской театр на такой-то улице-с! В нем каждый день, кроме суббот, происходят представления-с!

Плевако и Липскеров надели шубы и отправились в театр. Увязая в снегу, потому что извозчиков не было, они с трудом добрались до храма Мельпомены.

И вдруг — о, ужас! — на кассе театра объявление: «По случаю ненастной погоды спектакль отменяется».

В кассе светится огонек. Сидит кассирша на всякий случай, если кто-нибудь все-таки соблазнится и, несмотря на плохую погоду, забредет в театр и, быть может, купит билет.

Ф. Н. Плевако просунул голову в окошко кассы.

— Не может ли сегодня состояться спектакль? — спросил он.

— Это никак невозможно, — ответила кассирша. — Только сейчас приходили актеры, чтобы играть, но по случаю ненастной погоды я не продала еще ни одного билета.

— А каков у вас полный сбор?

— 458 рублей 50 копеек.

Плевако полез в толстый бумажник, достал всю эту сумму и протянул деньги кассирше:

— Я плачу за весь сбор, — сказал он. — Потрудитесь собрать всех артистов и начать спектакль.

Аллах керим! Никогда еще такого счастья не бывало. Сразу полный сбор, да еще в такую погоду, когда потеряна уже всякая надежда хоть на малейший заработок! Кас-

сирша засуетилась. Послала одного сторожа к антрепренеру, другого — собирать труппу, благо живут недалеко и все в одной и той же захудалой гостинице.

Потянулось время. «Знатные иностранцы» куда-то исчезли.

Появился ламповщик, зажег огни у рампы, и мертвая зала ожила. Затем пришел, весь заиндевевший, капельмейстер, за ним потянулись один за другим музыканты и стали настраивать свои инструменты.

Трень-трень-трень... Брень-брень-брень... Пи-пи-пи... Ту-ту-ту...

Послышались по ту сторону занавеса шаги, голоса, ожили уборные. Кое-кто из любопытных актеров силился посмотреть в дырочку в занавесе на сумасшедших приезжих. Но их в зрительном зале не оказалось. Наверное, в ожидании спектакля они сидели в фойе.

Но вот оркестр сыграл марш, затем какую-то увертюру, — и занавес поднялся. Начался спектакль. Все первое действие прошло при совершенно пустом зрительном зале. Второе тоже. Актеры стали приходить в недоумение, и им невесело было играть для пустого пространства. Приезжих гостей не было нигде — ни в ложах, ни в партере.

Как вдруг, к их удивлению, с самой последней лавочки галерки послышались аплодисменты и крики «браво».

Это аплодировали им Плевако и Липскеров.

Широкие москвичи, купив сразу весь театр, предпочли для шутки занять места на галерке.

Я плохо припоминаю, где помещалась редакция «Новостей дня» в то время, когда я приходил туда получать по три рубля в неделю, — кажется, где-то на Тверской, недалеко от Газетного переулка. Она состояла всего только из одной комнаты, где принималась подписка, шумели сотрудники и где стоял рояль, и под этот шум племянница или свояченица Липскерова разыгрывала гаммы. Около нее стояла ее учительница музыки и, стараясь перекричать сотрудников, отбивала ногою такт и отсчитывала:

— Раз-два-три-четыре... Раз-два-три-четыре...

Бывало, сидишь-сидишь в этой обстановке, дожидаясь трех рублей, и так вдруг захочется обратно домой!

Дело «Новостей дня», впрочем, скоро поправилось. Как ходили слухи, эта газета стала довольно безошибочно сообщать, какие именно лошади на предстоящих скачках

должны были выиграть. Тотализатор сделал свое дело, и прежние недостатки сменились полным благополучием: у «Новостей дня» появился у Красных ворот целый дворец, а сам издатель стал разъезжать по городу на породистых лошадях.

Большой роман «Драма на охоте» был у Антона Чехова не первый. Еще раньше, в «Будильнике», печатался его роман «Ненужная победа», происхождение которого было совершенно случайно. Брат Антон поспорил с редактором «Будильника» А. Д. Курепиным о том, что напишет роман из иностранной жизни не хуже появлявшихся тогда за границей и переводившихся на русский язык. Курепин это отрицал. Порешили на том, что брат Антон приступит к писанию такого романа, а Курепин оставляет за собою право перестать печатать его в любой момент. Но роман оказался настолько интересным и публика так заинтересовалась им, что он благополучно был доведен до конца[47]. В редакцию, сколько я припоминаю, поступали письма с запросами, не Мавра ли Иокая этот роман или не Фридриха ли Шпильгагена?

Были и еще журналы в Москве, в которых сотрудничали мои братья Николай и Антон,— это «Свет и тени» и «Мирской толк». Издавал их Н. Л. Пушкарев. Это был высокоинтеллигентный и всесторонне образованный человек и весьма популярный в свое время поэт-сатирик во вкусе Некрасова. Его обличительные стихотворения вроде «Гадко, мерзко, неприлично», «Ну, так это ничего» и «Три няньки трех наций — все разной закваски» говорились с любой эстрады; его стихотворения не сходили с уст, но едва ли кто знал их автора. Не было актера по всему лицу земли родной, который не декламировал бы его произведений со сцены. Кроме того, он был и драматургом; его пьеса «Ксения и Лжедимитрий» шла в театрах.

Это был человек чрезвычайно предприимчивый и изобретательный. У него на Бригадирской улице в Москве был свой собственный дом, в котором помещались его типография, литография, редакция и довольно обширная квартира. Сперва он издавал журнал «Московское обозрение», которое выпускал еженедельно книжками и в котором печатался уголовный роман Шкляревского «Утро после бала, или Убийство в Китайских банях», написанный на сюжет волновавшего тогда московские умы сенсацион-

ного процесса. Затем, основав юмористический журнал «Свет и тени», Пушкарев переименовал «Московское обозрение» в «Мирской толк» и стал выпускать его совместно со «Светом и тенями». Это был очень чуткий журнал, отзывавшийся на все события в общественной и политической жизни, почему и понес на себе две кары: один раз он был приостановлен на целые полгода, а в другой ему надолго была воспрещена розничная продажа. Конечно, это сильно подорвало материальные средства журнала, хотя общественное мнение целиком было на стороне Пушкарева, и в особенности за рисунок, помещенный после 1 марта 1881 года и изображавший виселицу, над которой была надпись: «Наше оружие для разрешения насущных вопросов»[48].

Но Пушкарев не унывал: он основал еще толстый журнал «Европейская библиотека», который выходил еженедельно книжками в 12—15 печатных листов; каждая из этих книжек содержала в себе вполне законченный роман какого-нибудь иностранного писателя в русском переводе. К чести этой «Европейской библиотеки» нужно сказать, что она первая познакомила русскую публику с произведениями таких писателей, как Гектор Мало, Карл-Эмиль Францоз, А. Доде, А. Терье, Э. Золя и Пьер Лоти. Нужно было удивляться, как Пушкарев мог выпустить за один год такое громадное количество книг, напечатанных на таком количестве бумаги, да еще при тогдашних средствах. «Европейская библиотека» просуществовала, кажется, года полтора и затем прекратилась: подписчикам некогда было читать такое громадное количество книг; достаточно было бы и двенадцати в год, а их издавалось целых пятьдесят. «Мирской толк» оставил по себе хорошую память изданием «Песен старого моряка» Кольриджа с превосходными рисунками Густава Доре[49].

В «Мирском толке» брат Антон поместил повесть «Цветы запоздалые», а Николай — целый ряд рисунков и карикатур в «Свете и тенях». Помещал там под фирмой брата Николая свои рисунки и я, а мои ребусы печатались там на премию. В «Европейской библиотеке» должен был появиться мой перевод Морица Гартмана, но «по не зависящим от редакции причинам» рукопись вернулась из цензуры без одобрения. Я и не думал, что, будучи гимназистом, мог переводить с немецкого такие зловредные вещи. Воображаю, как бы переполошилось мое гимназиче-

ское начальство! Вообще я в те времена подавал большие надежды на писательство. Так, я скомпоновал целый роман и отнес его в «Газету А. Гатцука», и он появился бы в печати в этой нетребовательной газете, если бы ее не прикрыли. Я тогда много читал социальную литературу, за журнальную работу мне кое-что перепадало, и я даже приобрел себе часы. Иметь тогда карманные часы, да еще гимназисту, и читать такие предосудительные книги, как сочинения Прудона, казалось верхом свободомыслия и вольнодумства. И брат Антон не оставлял меня ни на минуту в покое и все время вышучивал:

— С Гатцуком знаком, с Прудоном не согласен и при часах ходит.

А надо заметить, что карманных часов тогда не было даже и у Антона.

Пушкарев был очень отзывчив на все новое в науке, искусстве и литературе. Так, когда приехал в Москву известный тогда гипнотизер Роберт и ему было запрещено показывать свои сеансы публично, то Пушкарев предложил ему свой дом и пригласил на них московских представителей печати и профессоров. Было условлено так, что мои братья от имени Пушкарева пригласят на этот вечер известного профессора Остроумова.

Роберт делал поразительные вещи, приводившие в недоумение профессоров. Так, он не только усыплял гипнотизируемого, но приостанавливал во всем его теле кровообращение. Загипнотизированному прокалывали вены, делали надрезы на теле — и кровь не текла, сердце переставало биться, деятельность мозга прекращалась. Но что было страннее всего и что приводило в волнение даже профессора Остроумова, так это то, что Роберт устроил один раз так, что у его клиента при полном прекращении во всем теле кровообращения и при полной остановке деятельности сердца все-таки не прекращалась деятельность головного мозга и объект мог видеть, обонять, слышать и даже отвечать на задаваемые ему вопросы. Таким образом, тут же возник неразрешимый вопрос: как мог правильно функционировать в человеке головной мозг при полном параличе сердца и легких?

— Вот тут-то и загвоздка! — громко воскликнул Остроумов.

Было страшно смотреть, когда Роберт вверг своего клиента в состояние тетануса, а когда человек весь одере-

венел, сделался как камень или бревно, его положили затылком на один стул, а пятками на другой, и три взрослых человека сели на него, как на скамью. И он сам этого не почувствовал и очень удивился, когда его потом разбудили и рассказали ему обо всем. Тогда все это было внове, считалось необъяснимым, и даже сами профессора становились в тупик и искренне восклицали: «Загвоздка!»

По-видимому, Н. Л. Пушкареву, как натуре всесторонне одаренной, все очень скоро надоедало, или же природа его была настолько широка, что он не мог остановиться на чем-нибудь одном. Страстный рыболов, он изобретал какие-то самодействующие подсекатели, которые продаются в магазинах и теперь, и никто не знает, что их изобрел именно он; открыл фотографию на Лубянке; затем весь отдался изобретенной им «пушкаревской свече», которою потом за бесценок воспользовались иностранцы и которая приобрела себе право гражданства на всем земном шаре в виде обычных бензинных и спиртовых горелок, которыми пользуется каждая хозяйка при варке кофе и при завивке волос. Но все эти затеи и неудачи с журналами скоро разорили Н. Л. Пушкарева вконец, и он умер, как говорили, в глубокой нищете.

Из журналов, в которых сотрудничал Антон Павлович, мне хочется еще остановиться на «Сверчке». Этот французистый юмористический журнальчик издавали два брата Вернеры, Евгений и Михаил. Это были бодрые, полные сил молодые люди, долгое время прожившие за границей, окунувшиеся в коммерческие дела и приехавшие в Россию, чтобы делать дело «по-настоящему». Они основали журнал «Вокруг света» и благодаря ему познакомили публику с произведениями Луи Буссенара, Стивенсона, Райдера Хаггарда и других. Это был очень занимательный тогда журнал, который выписывал каждый гимназист. Дела их пошли отлично. Они приобрели от А. Каринской громадную типографию на Арбате и стали расширять дело еще больше. Кроме «Вокруг света», они стали издавать еще два журнала: юмористический «Сверчок» и детский «Друг детей». Но тут-то они и нажглись.

Если в журнале «Вокруг света» они ухватили вкус и требования читателя, как говорится, за хвост, то в издании юмористического и детского журналов они оказались слабоваты. Правда, внешне «Сверчок» был очень оригинален. Он представлял собою копию одного из парижских

журналов, причем братья Вернеры, надо отдать им честь, первые ввели в России раскрашивание рисунков не литографически, а акварелью, посредством трафаретов. Но по содержанию «Сверчок» был бледноват, а «Друг детей» (в нем сотрудничал и я) был и вовсе неинтересен. Детям он положительно не нравился и не мог конкурировать даже с таким плохо издававшимся журналом, как «Детский отдых» Истоминой. Но тому, кто хоть раз побывал в типографии братьев Вернер, могло показаться, что он попал нечаянно за границу. Дело кипело, машины гремели, газовый двигатель вспыхивал и пыхтел, и сами Вернеры не сидели барами, сложа руки и дожидаясь прибылей, а оба, по-рабочему одетые, в синих блузах, работали тут же не покладая рук.

Пустились они и в издательство беллетристики. Между прочим, они издали книгу рассказов брата Антона Павловича «Невинные речи», для которой обложку рисовал наш брат Николай. Все издания их отличались оригинальностью и изяществом, и при более счастливых обстоятельствах они могли бы сделать многое. Главное — то, что они сами по уши уходили в самую черную работу. Но когда они освобождались от своих дел, то, как истые европейцы, они появлялись в обществе в самых изысканных модных костюмах, и Антон Павлович подтрунивал над ними в своих «Осколках московской жизни», которые он помещал в лейкинском журнале «Осколки». Он писал про них так: «Вы думаете, что легко издавать журналы? Это вам не то, что носить жилетки с лошадками». Братья Вернеры не знали, что это писал именно он, и жаловались ему же «на чьи-то выходки по их адресу».

Братья Вернеры тоже потом разорились; их «Вокруг света» перешел к И. Д. Сытину, а «Сверчок» и «Друг детей» прекратили свое существование. Кажется, оба брата тогда же уехали за границу.

V

В Воскресенске у брата Ивана. — «Кукуевская катастрофа» и реприманд с Антоном. — П. А. Шостаковский. — «Сказки Мельпомены» на прилавках детской литературы. — В Чикине у врача П. А. Архангельского. — Источники чеховских сюжетов. — История с «атаманом» Ашиновым. — Звенигородские впечатления 1884 года в сюжетах Чехова. — Антон Павлович и доктор П. Г. Розанов. — Встреча с Скрябиным. — Первые пациенты брата. — Блюстители звенигородского поряд-

ка. — Близость к семейству Киселевых. — «Бабкинское» в творчестве Чехова. — В мире литературных и музыкальных впечатлений. — М. В. Бегичева-Киселева и предложение Чайковского. — Замысел «Бэлы» с либретто брата. — Приезд Григоровича. — Проказы Чехова и Левитана. — Маркевич в Бабкине. — Сотрудничество Левитана с братом Николаем. — Романы Левитана. — Детали для сюжета «Чайки».

Как я уже упомянул в свое время, мой средний брат, Иван Павлович, выдержал в декабре 1879 года экзамен на учителя и был назначен в заштатный городок Воскресенск, Московской губернии, в одной версте от которого находится знаменитый монастырь новый Иерусалим, основанный патриархом Никоном с целью дать возможность русским паломникам не ездить в Палестину на поклонение «святым» местам, а «иметь» их у себя под боком. Этот монастырь представляет собою точную копию с Иерусалимского храма — палестинского[50]. В нем устроены и Голгофа, и часовня «гроба господня», и Гефсиманский сад, и Кедронский поток, и даже имеются две библейские горы, Фовор и Ермон. Местность подбиралась специально. Воскресенск был тогда еще очень маленьким городком, и в нем было всего только одно училище — приходское; им-то и заведовал мой брат.

Попечитель этого училища — известный суконный фабрикант Цуриков — не пожалел денег на его благоустройство, и у Ивана Павловича оказалась вдруг просторная, хорошо обставленная квартира, рассчитанная не на одного холостого учителя, а на целую семью. Для Чеховых, живших тогда в Москве тесно и бедно, это было чистой находкой. Едва только у меня и у моей сестры Маши кончались переходные экзамены, как наша мать, Евгения Яковлевна, уже ехала с нами в Воскресенск «на подножный корм» и проживала там с нами до самого начала учения. Для меня и сестры Воскресенск казался земным раем, тем более что мы очень утомлялись в Москве. Воскресенск замечателен своими окрестностями. В округе много грибов, а мы, Чеховы, страстные любители собирать грибы.

В городе стояла батарея, которою командовал полковник Б. И. Маевский, человек очень общительный и живой. Там проживал тогда П. Д. Голохвастов, много работавший по вопросу о земских соборах. Это был высокий чернобородый и черноволосый человек с седой прядью от лба до затылка, ходивший вразвалку и низко опустив

голову на грудь. Он так всегда был занят своими мыслями, что часто проходил мимо своего дома и не мог найти своих ворот. Для того чтобы он попадал домой, к нему была приставлена девочка Авочка, которую он потом удочерил. Он много занимался древней историей, сделал немало открытий по эпохе Смутного времени и вместе с тогдашним министром Н. П. Игнатьевым думал ввести в России нечто вроде конституции, но на манер древних земских соборов. Язык у него был архаический: он и писал и разговаривал на языке древних летописей и сам придумывал слова, которые были громоздки, как леса вокруг строящегося трехэтажного дома. С ним было очень интересно поговорить, так как он держал себя чрезвычайно просто и поражал своей эрудицией. Разговаривая, он постоянно ходил взад и вперед по комнате. Его жена, Ольга Андреевна, была писательницей: ей принадлежит драма «Лихому лихое» и известный шумный водевиль «Назвался груздем — полезай в кузов».

Жили в Воскресенске еще две-три интересные семьи, но центром всей воскресенской жизни была все-таки семья Маевских. У них были очаровательные дети — Аня, Соня и Алеша, с которыми сдружился мой брат Антон Павлович и описал их в рассказе «Детвора». У них же бывал и раненый в турецкую войну офицер Э. И. Тышко, который всегда ходил в черной шелковой шапочке и которого брат Антон называет в своей переписке «Тышечкой в шапочке». Здесь же брат познакомился с другими офицерами батареи и вообще с военной жизнью, что оказало ему впоследствии услугу в создании «Трех сестер». Поручик этой батареи Е. П. Егоров был близким приятелем братьев Чеховых и упомянут Антоном Павловичем в его рассказе «Зеленая коса». Впоследствии этот Е. П. Егоров вышел в отставку с таким же желанием «работать, работать и работать», как и барон Тузенбах в «Трех сестрах», и оказал немалую услугу населению Нижегородской губернии в 1892 году. К нему ездил туда брат Антон, и оба принимали там участие в обеспечении крестьян рабочими лошадьми.

Брат Антон не сразу стал ездить с нами в Воскресенск. Ему было не до дач, так как необходимость зарабатывать в московских журналах удерживала его на лето в Москве, и он не ездил из нее дальше Сокольников, Богородского и других подмосковных дачных выселков, так талантливо

осмеянных в «Пестрых рассказах». По-видимому, он тогда не чувствовал себя скучно летом в душной Москве. Тогда там была большая Всероссийская выставка[51], а в 1881 году последовало открытие памятника Пушкину, взволновавшее всю русскую интеллигенцию. Тогда он совершал новые знакомства, входил в литературные связи, целиком ушел в газетные и журнальные дела. Между прочим, на Всероссийской выставке он получил реприманд*, который его очень взволновал.

В тот год, летом, шедший из Москвы на юг почтовый поезд, набитый пассажирами, целиком свалился под насыпь между станциями Московско-Курской железной дороги Чернь и Бастыево, близ деревни Кукуевки. Насыпь обвалилась вслед за ним и заживо погребла под собою всех пассажиров. По имени деревни и самая катастрофа получила название «Кукуевской». Туда был послан корреспондентом упомянутый выше В. А. Гиляровский, которому и принадлежит честь выяснения всех подробностей этой ужасной катастрофы.

На Всероссийской выставке, в отделе повременной печати, находился киоск от журнала «Свет и тени». Заведовала им наша знакомая А. А. Ипатьева; брат Антон разговаривал с ней, как вдруг по выставке пронеслась, точно судорога, весть о катастрофе. Пробежали мальчишки с экстренными телеграммами. Брат Антон заинтересовался, купил телеграмму, прочел и разволновался.

— Ведь такие катастрофы могут случаться только в одной нашей свинской России,— сказал он А. А. Ипатьевой вслух.

В эту минуту к нему вдруг подскочил генерал в синей фуражке и с белыми погонами и строго сказал:

— Как вы сказали, молодой человек? Повторите! Кажется, «в нашей свинской России»? Как ваша фамилия? Кто вы такой?

Брат Антон смутился.

— Хорошо-с. За это вы можете ответить,— сказал генерал и быстро удалился.

Брат Антон ожидал, что его сейчас арестуют, отвезут в Бутырки и так далее, но все обошлось благополучно, и генерал больше не возвращался.

На Всероссийской выставке был особый музыкальный отдел, на котором были выставлены разными фирмами

---

* выговор (от *фр.* réprimande).

музыкальные инструменты, главным образом рояли, пианино и оркестрионы. Чтобы сделать своим экспонатам хорошую рекламу, фирмы приглашали европейских знаменитостей играть на них целые концерты, и, таким образом, можно было послушать бесплатно великого артиста. Один из таких знаменитых — дирижер и основатель филармонических курсов и концертов в Москве П. А. Шостаковский впервые сыграл в этом музыкальном отделе на рояле чьей-то фирмы известную рапсодию Листа. Она так увлекла моих братьев Николая и Антона, что с тех пор эту рапсодию можно было слушать по нескольку раз в день у нас дома в исполнении Николая. Оба познакомились потом с Шостаковским и стали у него бывать запросто.

Это был приятнейший, гуманнейший и воспитаннейший человек, и все, кто его знал, высоко ценили его как исполнителя и любили как человека. Но раз дело касалось музыки, которую он обожал, то он забывал обо всем на свете, превращался в льва и готов был разорвать в клочки каждого из своих музыкантов за малейшую ошибку в оркестре. Заслышав такую ошибку, он тотчас же стучал палочкой и останавливал весь оркестр.

— Если ты, скотина эдакая,— обращался он к музыканту,— будешь портить мне ансамбль, то я тебя выгоню вон.

В один из таких случаев наш милый знакомый А. И. Иваненко, флейтист в его оркестре, приняв эту обиду на свой счет, спросил с достоинством:

— Смею думать, Петр Адамович, что эти ваши слова относятся не ко мне?

— Да, не к тебе, не к тебе,— ответил плачущим голосом Шостаковский,— а вот к этому болвану!

Другой случай был с С. М. Гр., исполнявшим партию барабана.

Замечтавшись и устав ожидать, когда дирижер подаст ему такт, он ударил в него раньше, чем следовало.

Петр Адамович положил палочку и остановил оркестр.

— Если ты будешь продолжать в таком же духе,— обратился он к барабанщику,— то я тебя за уши выдеру.

Барабанщик обиделся и демонстративно сошел с эстрады.

Но после репетиций и концертов на Шостаковского не обижался никто, все знали его характер и были уверены, что потом он сам же будет всех ласкать и восторгаться успехами своего оркестра.

Кажется, в своем рассказе «Два скандала» Антон Чехов, описывая дирижера, взял за образец именно Шостаковского. Этот рассказ вошел в самую первую книжку рассказов А. П. Чехова — «Сказки Мельпомены», изданную им в 1884 году. Книжке этой, как говорится, не подвезло. Она была напечатана в типографии А. А. Левенсона в долг, с тем чтобы все расходы по ее печатанию были погашены в первую голову из ближайшей выручки за книжку. Но не пришлось выручать даже и этих расходов, и вот по какой причине: владельцы книжных магазинов, которым «Сказки Мельпомены» были сданы на комиссию, вообразили, что это не театральные рассказы, а детские сказки, и положили ее у себя в детский отдел. Случались даже и недоразумения. Так, один генерал сделал заведующему книжным магазином «Нового времени» скандал за то, что ему продали такую безнравственную детскую книжку. Что сталось потом со «Сказками Мельпомены», не знал даже и сам автор. Такая же неудача постигла и другую книгу Чехова того времени. Она была уже напечатана, сброшюрована, и только недоставало ей обложки. В эту книгу вошли, между прочим, рассказ «Жены артистов», впоследствии напечатанный в «Сказках Мельпомены», и «Летающие острова». Книжка же была очень мило иллюстрирована братом Николаем. Я не знаю, почему именно она не вышла в свет и вообще какова была ее дальнейшая судьба[52].

Только студентом последнего курса Антон Павлович приехал на лето в Воскресенск. Здесь он нашел уже порядочный круг знакомых. Высокий, в черной крылатке, широкополой шляпе, он стал принимать участие в каждой прогулке, а гуляли большими компаниями и каждый вечер, причем дети гурьбой бежали впереди, а взрослые шли далеко позади и вели либеральные беседы на злобы дня. А поговорить было о чем. Кроме сочинений Щедрина, которыми тогда зачитывались, выписывали в складчину положительно *все до одного* выходившие в то время толстые журналы, наибольшим успехом из которых пользовались «Отечественные записки», «Вестник Европы» и «Исторический вестник». Как писателю Антону Чехову

нужны были впечатления, и он стал их теперь черпать для своих сюжетов из той жизни, которая окружала его в Воскресенске: он вошел в нее целиком. Как будущему врачу ему нужна была медицинская практика, и она тоже оказалась здесь к его услугам.

Верстах в двух находилась усадьба Чикино, при громадном красивом пруде, купленная земством и обращенная в больницу. Ею заведовал известный тогда среди земских врачей и в медицинской литературе врач П. А. Архангельский. Чикинская больница считалась поставленной образцово, сам Павел Арсеньевич был очень общительным человеком, и около него всегда собиралась для практики медицинская молодежь, из которой многие потом сделались врачебными светилами. Там брат Антон и все мы познакомились с В. Н. Сиротининым, Д. С. Таубер, М. П. Яковлевым, имена которых не прошли бесследно в медицинской науке. Часто после многотрудного дня собирались у одинокого Архангельского, создавались вечеринки, на которых говорилось много либерального и обсуждались литературные новинки. Много говорили о Щедрине, Тургеневым зачитывались взапой. Пели хором народные песни, «Укажи мне такую обитель», со смаком декламировали Некрасова. Там впервые меня, гимназиста, назвали не Мишей, а Михаилом Павловичем, и это сразу же меня подняло в моих же собственных глазах. Эти вечеринки были для меня школой, где я получил политическое и общественное воспитание и где крепко и навсегда сформировались мои убеждения как человека и гражданина.

В 1884 году мой брат Антон окончил курс в университете и явился в чикинскую больницу на практику уже в качестве врача. Здесь-то он и почерпнул сюжеты для своих рассказов «Беглец», «Хирургия», а знакомство с воскресенским почтмейстером Андреем Егоровичем дало ему тему для рассказа «Экзамен на чин».

Совсем другая обстановка царила в это время в другой ближайшей к Воскресенску больнице — при суконной фабрике А. С. Цуриковой в селе Ивановском. Больница эта была обставлена богато и даже роскошно, но популярностью она не пользовалась. Заведовал ею врач М. М. Цветаев, человек какой-то особой психологии, который на приемах не подпускал к себе близко больного, боясь, что

от него будет неприятно пахнуть. Тем не менее и этот врач не прошел бесследно в литературе.

Был некто казак Ашинов, именовавший себя атаманом, большой авантюрист, мечтавший, подобно Колумбу, открыть какой-нибудь новый материк и сделать его русской колонией.

Еще во дни молодости моего дяди Митрофана Егоровича, о котором я сообщил в самом начале этой книги, к нему пришел какой-то человек и попросил работы. Это было в Таганроге. Дядя предложил ему рыть у него погреб. Человек этот исполнял дело с таким старанием и говорил так умно, что заинтересовал дядю, и они разговорились. Чем дальше, тем этот землекоп увлекал дядю все больше и больше, и, наконец, дядя окончательно подпал под его влияние, и теории этого землекопа наложили свой отпечаток на всю его дальнейшую жизнь. Впоследствии этот землекоп оказался известным иеромонахом Паисием.

Врач цуриковской больницы М. М. Цветаев вышел в отставку и принял монашество.

И вот явился неведомо откуда «атаман» Ашинов и сообщил, что он открыл новый материк. Печать встретила его насмешливо[53], петербургские власти — недоверчиво. Тогда он решил действовать на свой страх и риск. Он напечатал объявления, в которых приглашал лиц, искавших счастья и простора, присоединиться к нему и отправиться вместе с ним на новые места. Набралось около сотни семей. Чтобы они не остались без духовной пищи, Ашинов пригласил с собою иеромонаха Паисия как главу будущей филиальной православной церкви в колонии и иеромонаха Цветаева как врача и духовного пастыря.

Авантюристы погрузились на пароход в Одессе и отплыли в обетованные места. Ашинов выгрузил их на берегу Красного моря, заняв французскую колонию Обок и переименовав ее в «Новую Москву». Выкинули русский флаг и расположились лагерем.

Французское правительство сделало русскому правительству запрос. Последнее ответило, что оно не имеет ровно никакого отношения к Ашинову и к «Новой Москве» и что «атаман» действует на свой собственный риск и страх.

Тогда французское правительство отправило в Обок крейсер. Ашинову было предложено немедленно же очи-

стить берег и спустить русский флаг. Он категорически отказался, вероятно надеясь на поддержку своих друзей в России. Тогда крейсер открыл по «Новой Москве» огонь. Было перебито много женщин и детей, некоторые семьи были взяты на борт крейсера, но куда девались затем сам Ашинов и Паисий, я теперь уже не помню. Что же касается бывшего врача Цветаева, то он через непроходимую Даникильскую пустыню в Африке совершил переезд в Абиссинию, был принят абиссинским негусом Менеликом, завязал с ним сношения и это свое путешествие описал потом, если не ошибаюсь, в «Ярославских губернских ведомостях». В монашестве он носил имя Ефрем.

В середине лета 1884 года брат Антон, прихватив с собой меня, отправился в Звенигород уже в качестве заведующего тамошней больницей на время отпуска ее врача С. П. Успенского. Вот тут-то ему и пришлось окунуться в самую гущу провинциальной жизни. Он здесь и принимал больных, и в качестве уездного врача, тоже уехавшего в отпуск, должен был исполнять поручения местной администрации, ездить на вскрытия и быть экспертом в суде. В Звенигороде был тот дом, в котором помещались все сразу правительственные учреждения и о котором один из чеховских героев говорит: «Здесь и полиция, здесь и милиция, здесь и юстиция — совсем институт благородных девиц»[54]. Звенигородские впечатления дали Чехову тему для рассказов «Мертвое тело», «На вскрытии»[55], «Сирена». А когда наступал вечер, мы с братом шли в гости к очень гостеприимной местной дачнице Л. В. Гамбурцевой, у которой были хорошенькие дочки и можно было послушать музыку и пение и потанцевать. Фельдшером в звенигородской больнице был почтенный солидный человек Сергей Макарыч, а лаборантом в аптеке — юноша Неаполитанский, который вечно перепутывал прописываемые братом Антоном лекарства, так что мне поручено было следить за действиями этого звенигородского алхимика.

В один из первых же дней заведования Чеховым звенигородской земской больницей привезли туда мальчика лет пяти, у которого был парафимоз. В деревне на такие пустяки не обратили внимания, но ущемление повлекло за собой отеки, появились признаки гангрены, и бедный мальчуган должен был бы совсем лишиться пола, если бы родители не спохватились и не привезли его в город в ле-

чебницу. Таким образом, брату Антону чуть не с первого же дня пришлось приниматься за операцию. Но ребенок так громко кричал и так неистово дрыгал ногами, что Антон Павлович по новости не решался приняться за дело. Баба, привезшая мальчика, рыдала навзрыд, два фельдшера, Неаполитанский и я, назойливо стояли тут же и ожидали результатов от такой интересной операции,— и это еще больше стесняло брата. Кончилось дело тем, что он написал записку к проживавшему в Звенигороде уездному врачу П. Г. Розанову, чтобы тот зашел к нему в больницу взглянуть на мальчугана. Почтенный доктор не заставил себя долго ждать, и не прошло и минуты, как все уже было готово, мальчишка успокоился, и мать повезла его обратно в деревню. Так им все было просто и ловко сделано, что у нас, зрителей, появилось даже разочарование, что все дело оказалось такими пустяками. Знакомство Антона с этим милым доктором, если не ошибаюсь, началось еще в Воскресенске, куда тот приезжал навестить врача Архангельского, где и встретился с моим братом, а после этого случая они сдружились и долго между собою переписывались. П. Г. Розанов был человеком науки, печатался в медицинских журналах, первый из русских врачей подал на Пироговском съезде мысль об учреждении в России министерства народного здравия и все время мечтал об издании врачебной газеты или журнала, и при этом не узкоспециальных, а с бытовым, публицистическим оттенком. Но, помнится, брат Антон отговорил его.

— Журнал вас только разорит и состарит,— сказал он.— Да к тому же вы не найдете сотрудников и придется все писать самому.

Брат Антон гулял у него на свадьбе и так там «нализался», что долго об этом вспоминал. Они были там вместе с доктором С. П. Успенским, от него они поехали «поперек всей Москвы», очутились потом в известном кафешантане, и только под утро Антон Павлович вернулся домой.

Будучи студентом, я любил бывать в гостях у упомянутой мной Л. В. Гамбурцевой, жившей по зимам в Москве, на Немецкой улице. Там было весело, всегда собиралась молодежь и поощрялись искусства. Там же летом, в пустой квартире, останавливался не раз по приезде в Москву из Звенигорода и Воскресенска и Антон Павло-

вич. В один из вечеров, в субботу, я увидел там кадетика, совсем еще юного, который не принимал никакого участия в общем веселье, а сидел у рояля и задумчиво тренькал одной рукой по клавишам.

После танцев хозяйка ему сказала:

— Саша, сыграйте нам что-нибудь.

Кадетик тотчас же встрепенулся и стал играть известный концерт на мотивы из «Гугенотов», очень трудный, но известный каждому ученику консерватории и каждому пианисту.

Это был знаменитый впоследствии виртуоз и композитор А. Н. Скрябин. Как я жалею, что не сошелся с ним тогда поближе!

У Л. В. Гамбурцевой были две племянницы — Маргарита и Елена Константиновны, или попросту Рита и Нелли[56]. Рита была замужем за известным железнодорожным инженером бароном Спенглером, а Нелли тогда только что кончила курс в гимназии. (Между прочим, у матери этих двух сестер была та самая комнатная собачка, которая ворчала «нга-нга-нга» и о которой писал в одном из своих рассказов брат Антон.) У Спенглеров всегда собиралась молодежь, было весело, и часто мы, братья Чеховы, бывали у них на Новой Басманной. В это время Антон Павлович только первый год был врачом и колебался, заняться ли ему медициной или отдаться литературе. У Спенглеров были маленькие дети, и они-то и стали первыми пациентами Антона Павловича. В качестве гонорара за лечение Спенглеры поднесли ему портмоне, в котором оказалась большая золотая турецкая монета, которую мы называли лирой. Часто потом эта лира выручала Антона Павловича в минуты жизни трудные. Он передавал ее мне, я относил ее в ломбард, закладывал там за десять рублей, и на несколько часов у брата Антона бренчали деньги в кармане. За Нелли же стал заметно ухаживать мой брат, художник Николай.

Вторыми пациентами Антона Павловича были некие Яновы, и здесь он, как говорится, попал в такую «ореховую отделку», что уже окончательно решил отдаться литературе. Жил в Москве художник А. С. Янов, который учился живописи вместе с моим братом Николаем, — отсюда и это знакомство чеховской семьи с Яновыми. Впоследствии Янов сделался главным декоратором театра Корша и затем перешел оттуда в петербургский Алексан-

дринский театр. Но в описываемое мною время он жил очень бедно с матерью и тремя сестрами, добрыми молоденькими существами. Случилось так, что эти три сестры и мать одновременно заболели брюшным тифом. А. С. Янов пригласил к ним брата Антона. Молодой, еще неопытный врач, но готовый отдать свою жизнь для выздоровления больного, Антон Павлович должен был целые часы проводить около своих больных пациенток и положительно сбивался с ног. Болезнь принимала все более и более опасное положение, и, наконец, в один и тот же день мать и одна из дочерей скончались. Умирая, в агонии, дочь схватила Антона Павловича за руку, да так и испустила дух, крепко стиснув ее в своей руке. Чувствуя себя совершенно бессильным и виноватым, долго ощущая на своей руке холодное рукопожатие покойницы, Антон Павлович тогда же решил вовсе не заниматься медициной и окончательно перешел потом на сторону литературы. Две другие сестры выздоровели и затем часто у нас бывали. Одна из них вышила золотом альбом и преподнесла его Антону Павловичу с надписью: «В память избавления меня от тифа». Так как обе они были Яновы, то для краткости он прозвал их Яшеньками. И странное дело! Эти Яшеньки приходили к нам обязательно в те дни, когда у нас на третье блюдо подавали к обеду яблочник. И стоило только появиться на столе этому самому яблочнику, как брат Антон говорил:

— Ну, сейчас к нам должны прийти Яшеньки.

И действительно, вдруг раздавался звонок и внизу в прихожей слышались голоса Яшенек.

Но я уклонился немного в сторону.

Врач С. П. Успенский, которого заменял брат Антон на время отпуска, поступил в звенигородскую лечебницу на место врача Персидского, которому пришлось оставить службу в этой больнице вот по какому случаю, возможному только в те времена.

Верстах в двух-трех от Звенигорода, на берегу Москва-реки, в очень живописной местности находится монастырь — Саввина Сторожевская пустынь. Она всегда привлекала к себе художников, вроде Левитана, Кувшинниковой, Степанова и Аладжалова, и вообще служила центром внимания воскресенских жителей, так как раз в год оттуда, за 26 верст, совершался крестный ход в Воскре-

сенск, представлявший собою целый праздник, с приуроченной к этому дню ярмаркой.

В 1883 году практиковавшие в чикинской больнице у Архангельского молодые врачи М. П. Яковлев, В. Н. Сиротинин, Д. С. Таубер и Е. Н. Собинина решили совершить пешеходную прогулку в Саввинский монастырь. К этой компании, кроме еще других лиц, примкнули и мы, Чеховы. Все 26 верст мы прошли настолько бодро, что достигли монастыря еще задолго до захода солнца. Погуляв около монастыря, молодые врачи решили, что недурно было бы навестить своего коллегу, врача Персидского, заведовавшего больницей в Звенигороде. Сказано — сделано. Персидский, конечно, обрадовался дорогим гостям и устроил для них у себя в садике чай. Отдохнули, поговорили, а потом молодежь вспомнила студенческие годы и стала петь хором. Спели «Дубинушку», «Укажи мне такую обитель» и еще что-то, как вдруг является полицейский надзиратель и составляет протокол. Напрасно Персидский доказывал, что эти люди — его гости, что у себя на квартире он может принимать кого угодно и что в домашней обстановке петь хором не запрещается,— не помогло ничто.

Протоколу дан был ход. Тогда Персидский письмом в редакцию напечатал об этом случае в «Русских ведомостях». Но и это успеха не имело. Обладавший большими связями в обеих столицах М. П. Яковлев лично отправился к московскому губернатору, чтобы объяснить, в чем дело, но губернатор ответил:

— Конечно, мы приняли бы сторону доктора Персидского, если бы он не напечатал своего письма в «Русских ведомостях», а теперь мы должны стать на сторону звенигородской полиции, чтобы не дать повода думать, что мы испугались «Русских ведомостей» и вообще прислушиваемся к печати.

И доктору Персидскому пришлось выехать из Звенигорода.

Верстах в 25 от Воскресенска, в котором учительствовал мой брат Иван Павлович, находилась Павловская слобода, в которой стояла артиллерийская бригада. К этой бригаде принадлежала и та батарея с полковником Маевским во главе, которая квартировала в Воскресенске. По какому-то случаю в Павловской слободе был бригадный бал, на котором, конечно, должны были присутствовать

и офицеры из воскресенской батареи. Поехал туда с ними и мой брат Иван Павлович. Каково же было его удивление, когда по окончании бала привезшие его туда воскресенские офицеры решили заночевать в Павловской слободе, а ему с утра уже нужно было открывать свое училище в Воскресенске; к тому же была зима, и отправиться домой пешком было невозможно. На его счастье, из офицерского собрания вышел один из приглашенных гостей, который уезжал в Воскресенск и которого тут же дожидалась тройка лошадей. Увидев беспомощного Ивана Павловича, человек этот предложил ему место в своих санях и благополучно доставил его в Воскресенск. Это был А. С. Киселев, живший в Бабкине, в пяти верстах от Воскресенска, племянник русского посла в Париже графа П. Д. Киселева. Этот граф Киселев умер в Ницце, в своем собственном дворце и оставил своим трем племянникам большие капиталы и всю обстановку. Часть этой обстановки очутилась в Бабкине у одного из его племянников — Алексея Сергеевича. Этот Алексей Сергеевич был женат на дочери известного тогда директора императорских театров в Москве В. П. Бегичева — Марии Владимировне. У них были дети — Саша (девочка) и Сережа, о которых не раз упоминается в биографии Антона Чехова. Таким образом, познакомившись за дорогу с моим братом Иваном Павловичем, А. С. Киселев пригласил его к себе в репетиторы, — так и зародилась связь чеховской семьи с Бабкином и его обитателями. Началась она с того, что наша сестра Маша, познакомившись через Ивана Павловича с Киселевым и сдружившись с Марией Владимировной, стала подолгу гостить в Бабкине, а затем с весны 1885 года и вся семья Чеховых переехала на дачу туда же.

Как уже писалось не раз, Бабкино сыграло выдающуюся роль в развитии таланта Антона Чехова. Не говоря уже о действительно очаровательной природе, где к нашим услугам были и большой английский парк, и река, и леса, и луга, и самые люди собрались в Бабкине точно на подбор. Семья Киселевых была из тех редких семей, которые умели примирить традиции с высокою культурностью. Тесть А. С. Киселева, В. П. Бегичев, описанный Маркевичем в его романе «Четверть века назад» под фамилией Ашанин, был необыкновенно увлекательный человек, чуткий к искусству и литературе, и мы, братья Чеховы, по целым часам засиживались у него в его по-жен-

ски обставленной комнате и слушали, как он рассказывал нам о своих похождениях в России и за границей. Ему Антон Чехов обязан своими рассказами «Смерть чиновника» (случай, действительно происшедший в московском Большом театре)[57] и «Володя»; «Налим» также написан с натуры (действие происходило при постройке купальни); «Дочь Альбиона» — все окружение бабкинское.

Мария Владимировна была внучкой известного издателя, гуманиста-писателя Новикова, сама писала в журналах, была страстной рыболовкой и по целым часам простаивала с моим братом Антоном и сестрой Машей с удочкой на берегу и вела с ними литературные беседы. По парку, как выражался сам брат Антон, «бродила тень Болеслава Маркевича», который только за год перед тем жил в Бабкине и писал там свою «Бездну». Певец, когда-то знаменитый тенор, Владиславлев, сделавший славу популярному романсу «На горе за рекой хуторочек стоит», в котором он по целой минуте выдерживал верхнее «ре» в слове «эх!..», жил тут же и распевал свои арии и романсы. Пела и Мария Владимировна. Е. А. Ефремова каждый вечер знакомила с Бетховеном, Листом и другими великими музыкантами. Киселевы были близко знакомы с Даргомыжским, Чайковским, Сальвини. Тогда композитор П. И. Чайковский, только незадолго перед тем выступивший со своим «Евгением Онегиным», волновал бабкинские умы; часто поднимались разговоры о музыке, композиторах и о драматическом искусстве. Очаровательные дети бегали по расчищенному английскому парку, перекидывались с братом Антоном шутками и остротами и оживляли жизнь. Охотник Иван Гаврилов, необыкновенный лгун, как и все охотники, садовник Василий Иванович, деливший весь растительный мир на «трапику» и «ботанику», плотники, строившие купальню, крестьяне, больные бабы, приходившие лечиться, наконец, сама природа — все это давало брату Антону сюжеты и хорошо настраивало его.

Просыпались в Бабкине все очень рано. Часов в семь утра брат Антон уже сидел за столиком, сделанным из швейной машины, поглядывал в большое квадратное окошко на великолепный вид и писал. Работал он тогда в «Осколках» и в «Петербургской газете» и щедро писал о бабкинских впечатлениях. Обедали тоже рано, около часу дня. Брат Антон был страстным любителем искать

грибы и во время ходьбы по лесу легче придумывал темы. Близ Дарагановского леса стояла одинокая Полевщинская церковь, всегда обращавшая на себя внимание писателя. В ней служили всего только один раз в год, на Казанскую, и по ночам до Бабкина долетали унылые удары колокола, когда сторож звонил часы. Эта церковь с ее домиком для сторожа у почтовой дороги, кажется, дала брату Антону мысль написать «Ведьму» и «Недоброе дело». Возвратившись из лесу, пили чай. Затем брат Антон опять усаживался за писание, позже — играли в крокет, а в восемь часов вечера ужинали. После ужина шли в большой дом к Киселевым. Это были превосходные, неповторимые вечера. А. С. Киселев и В. П. Бегичев сидели у стола и раскладывали пасьянсы; Е. А. Ефремова аккомпанировала, тенор Владиславлев пел, а все Чеховы усаживались вокруг Марии Владимировны и слушали ее рассказы о Чайковском, Даргомыжском, Росси, Сальвини. Я положительно могу утверждать, что любовь к музыке развилась в Антоне Чехове именно здесь. В эти вечера много говорилось о литературе, искусстве, смаковали Тургенева, Писемского. Много читали, — здесь получали все толстые журналы и много газет. Мария Владимировна не скрывала, что Чайковский ей очень нравился и с своей стороны был в нее влюблен, но сделать ей предложение, когда она была девушкой, опоздал. Попросту — он ее прозевал. Случилось все это вот как (я сообщаю это со слов самой же Марии Владимировны).

Как я упомянул выше, Бегичев был директором тогдашних императорских театров. Овдовев, он женился на знаменитой тогдашней певице М. В. Шиловской. Таким образом, дочь Бегичева, Мария Владимировна, уже взрослая двадцатилетняя девушка, да еще писаная красавица, оказалась вдруг падчерицей и должна была жить под одной кровлей со своей мачехой. М. В. Шиловская была очень ревнива к падчерице. Бегичевы жили открыто, в их обширной квартире собиралась вся Москва, но главным образом их посещали театральные, музыкальные и всякие другие знаменитости, в числе которых находился и Чайковский. Все это были люди свежие, молодые, интересные, и весьма естественно, что они группировались около молодой хозяйки. А у М. В. Шиловской в это время были уже взрослые сыновья (один из них, К. С. Шиловский, был автором известного в свое время романса «Ти-

гренок» — «Месяц плывет по ночным небесам...»). Отсюда — ревность. Мало-помалу жизнь для Марии Владимировны, у нее же в доме, стала тяжелой. Начались сцены. Этих отношений не могли не замечать молодые люди, окружавшие падчерицу,— так они стали прозрачны. И вот однажды, за большим обедом, почувствовав себя оскорбленной, Мария Владимировна не выдержала, разрыдалась и, выскочив из-за стола, выбежала в другую комнату. Сидевший в это же время за столом один из гостей, а именно А. С. Киселев, бросился вслед за ней и сделал ей предложение. Она ответила ему: «Хуже не будет». И дала ему согласие. В эту же самую минуту вслед за Киселевым вбежал в комнату и П. И. Чайковский и тоже сделал ей предложение, но было уже поздно.

А счастье было так близко, так возможно...

«Евгений Онегин» и этот эпизод, рассказанный самой Марией Владимировной, окружили в моей душе милого композитора каким-то особым обаянием. И когда в середине октября 1889 года судьба дала мне счастье лично увидеть его у нас же в гостях, то это казалось мне чем-то необыкновенным. Он пришел к нам запросто, посидел, достал из бокового кармана свою фотографию, на которой была уже заготовлена надпись: «А. П. Чехову, от пламенного почитателя. 14 октября 1889 года. П. Чайковский», и преподнес ее брату Антону[58]. Затем они разговаривали о музыке и о литературе. Я помню, как оба они обсуждали содержание будущего либретто для оперы «Бэла», которую собирался сочинить Чайковский. Он хотел, чтобы это либретто написал для него по Лермонтову брат Антон. Бэла — сопрано, Печорин — баритон, Максим Максимыч — тенор, Казбич — бас.

— Только, знаете ли, Антон Павлович,— сказал Чайковский,— чтобы не было процессий с маршами. Откровенно говоря, не люблю я маршей.

Он ушел от нас,— и то обаяние, которое мы уже испытывали от него на себе, от этого его посещения стало еще больше. Брат Антон ответил ему на его фотографию посвящением ему своей второй книжки — «Хмурые люди»[59].

Первая же книжка его, «В сумерках», как известно, была посвящена писателю Д. В. Григоровичу, и вот по какому поводу.

Ранней весною, когда мы жили на Б. Якиманке, в доме Клименкова, брат Антон напечатал в «Петербургской газете» свой рассказ «Егерь». И вдруг — письмо от старика Д. В. Григоровича[60]. «...У вас настоящий талант,— писал он брату,— талант, выдвигающий вас далеко из круга литераторов нового поколения... Как видите, я не смог утерпеть и протягиваю вам обе руки». Таким образом, старик первый угадал в Антоне Чехове всю серьезность его дарования и благословлял его на доблестные подвиги. Конечно, это письмо ошеломило и самого брата Антона, и всех нас и своею неожиданностью, и таким лестным, бодрящим мнением о таланте брата. Он тотчас же сел и написал ему известный ответ: «Ваше письмо, мой добрый, горячо любимый благовеститель, поразило меня, как молния, и так далее... 28 марта 1886 года». Затем Григорович прислал ему свой портрет с надписью: «От старого писателя молодому таланту».

После этого между старым писателем и молодым талантом завязались отношения. Брат Антон съездил в Петербург, побывал у Григоровича и возвратился из Северной Пальмиры точно в чаду от ласкового приема. Его пригласил к себе работать и А. С. Суворин. Теперь, значит, дела пойдут веселее и можно будет не особенно прижиматься.

Я был тогда уже студентом. Жизнь била во мне ключом. Из сестры Маши сформировалась очаровательная, чуткая, образованная девушка. Антону шел только 26-й год — и наша квартира наполнилась молодежью. Интересные барышни — Лика Мизинова, Даша Мусин-Пушкина, Варя Эберле и другие,— молодые музыканты и люди, причастные к искусству и литературе, постоянно пели и играли, а брат Антон вдохновлялся этими звуками и людьми и писал у себя внизу, где находился его отдельный кабинет. Попишет — и поднимется наверх, чтобы поострить или подурачиться вместе со всеми. А днем, когда все занимались делом и у нас не было никого, брат Антон обращался ко мне:

— Миша, сыграй что-нибудь, а то плохо пишется...

И я отжаривал для него на пианино по целым получасам попурри из разных опереток с таким ожесточением, на какое может быть способен разве только студент-второкурсник сангвинического темперамента.

По вечерам же у нас собиралась молодежь каждый день. И вдруг на один из таких вечеров к нам неожиданно является Григорович. Высокий, стройный, красивый, в небрежно завязанном дорогом галстуке, он сразу же попадает в молодую кутерьму, заражается ею и... начинает, старый греховодник, ухаживать за барышнями. Он просиживает у нас до глубокой ночи и кончает тем, что отправляется провожать пленившую его Долли Мусин-Пушкину до самой ее квартиры.

Второй раз я встретился с Григоровичем уже в Петербурге, у Сувориных. Он стал вспоминать об этом вечере, и, по-видимому, это было ему приятно.

— Анна Ивановна, голубушка моя,— обратился он к Сувориной, говоря быстро и задыхаясь от волнения.— Если бы вы только знали, что там у Чеховых происходило!

И, подняв обе руки к небу, он воскликнул:

— Вакханалия, душечка моя, настоящая вакханалия!

Но возвращаюсь к Бабкину. Благодаря жизнерадостности милых обитателей мы все, и в том числе и брат Антон, были очень веселы. Он писал, критики его хвалили, хотя А. Скабичевский и предсказывал ему, что он сопьется и умрет где-нибудь под забором[61], но он верил в свое дарование и пока еще был здоров. Иногда Антон дурил. Бывало, в летние вечера он надевал с Левитаном бухарские халаты, мазал себе лицо сажей и в чалме, с ружьем выходил в поле по ту сторону реки. Левитан выезжал туда же на осле, слезал на землю, расстилал ковер и, как мусульманин, начинал молиться на восток. Вдруг из-за кустов к нему подкрадывался бедуин Антон и палил в него из ружья холостым зарядом. Левитан падал навзничь. Получалась совсем восточная картина. А то, бывало, судили Левитана. Киселев был председателем суда, брат Антон — прокурором, специально для чего гримировался. Оба одевались в шитые золотом мундиры, уцелевшие у самого Киселева и у Бегичева. А Антон говорил обвинительную речь, которая всех заставляла помирать от хохота. А то брат Антон представлял зубного врача, причем меня одевали горничной; приходившие пациенты так приставали ко мне со своими любезностями, что я не выдерживал роли и прыскал от смеха им в лицо.

В Бабкине мы помещались в том самом флигеле, где до нас жил писатель Б. М. Маркевич. Я познакомился

с ним и его женой и сыном летом 1884 года, когда приезжал к Киселевым еще не на дачу, а гостить. С белой шевелюрой, с белыми бакенбардами, весь в белом и белых башмаках, Маркевич походил на статую командора. Мне нравился его роман «Четверть века назад», но то, что я слышал тогда о самом Маркевиче, как-то невольно отдаляло меня от него. Говорили о том, что он был уволен со службы в двадцать четыре часа, что был явным врагом Тургенева, которого я обожал и который на один из его выпадов ответил ему далеко не лестным письмом в «Вестнике Европы»[62]. Знал я и то, что Болеслав Маркевич придерживался взглядов «Московских ведомостей» и так далее, но все-таки как писателя и в особенности стилиста я его любил. В Бабкине Маркевич скучал ужасно. Ему недоставало там столичного шума, тем более что и газеты и журналы получались там не каждый день. Чтобы захватить их раньше всех, Б. Маркевич выходил далеко к лесу и там дожидался возвращавшегося с почты Микешку, брал у него газеты и, не отдавая их никому, уединялся где-нибудь в укромном уголке и перечитывал от доски до доски.

Уже совсем под осень, в августе, когда на севере делается так уныло и начинает рано вечереть и когда дачников начинает уже потягивать в город к обычному делу, Маркевич вышел к лесу, перенял Микешку, забрал от него все газеты и, воспользовавшись тем, что все бабкинцы увлеклись в этот вечер игрой в крокет, уселся в большом киселевском доме за обеденный стол, над которым горела керосиновая лампа, и, весь белый, принялся за чтение. Оседлав нос золотым пенсне и повернувшись спиной к свету, чтобы лучше было видно, он прибавил в лампе огня и углубился в чтение. Скоро ему показалось, что лампа стала притухать; не отрываясь от газеты, он протянул к лампе руку и прибавил огня. Она вновь стала притухать, как показалось ему, и он опять прибавил огня. Наконец, стало уже совсем темно. По-прежнему, не отрываясь от газеты, он снова протянул руку к лампе и усилил освещение.

Когда мы вернулись с крокета, то увидели следующую картину: лампа коптела, как вулкан, вся скатерть на обеденном столе стала черной, Маркевич превратился из седовласого старика в жгучего брюнета и был одет уже не

в белый костюм, а во все черное. В воздухе тучей носилась копоть. Все остановились в изумлении.

Поразительно, что Бабкино сыграло выдающуюся роль и в художественном развитии творца школы русского пейзажа И. И. Левитана. Этот художник был с нами знаком еще с того далекого времени, когда учился вместе с моим братом Николаем в Московском училище живописи на Мясницкой. Они были близкими друзьями и помогали друг другу в работах. Так, на картине Левитана, находящейся в Третьяковской галерее и представляющей даму, идущую осенью по аллее в Сокольниках, эту даму нарисовал мой брат Николай, а небо на картине Николая «Мессалина» разработал, в свою очередь, Левитан.

Случилось так, что, когда мы проводили первое лето на даче в Бабкине, невдалеке от нас оказался на жительстве и Левитан. Верстах в трех от нас, по ту сторону реки, на большой Клинской дороге, находилась деревня Максимовка. В ней жил горшечник Василий, горький пьяница, пропивавший буквально все, что имел, и не было времени, когда жена его, Пелагея, не ходила брюхатой. Художник Левитан, приехавший на этюды, поселился у этого горшечника. Как известно, на Левитана находили иногда припадки меланхолии. В таких случаях он брал ружье и уходил на неделю или на две из дому и не возвращался до тех пор, пока жизненная радость не охватывала его снова. Он или сидел, мрачный и молчаливый, дома, в четырех стенах, и ни с кем не разговаривал, или же, как дух изгнанья, скрестив на груди руки и повесив голову на грудь, блуждал в одиночестве невдалеке.

Как-то лил несколько дней подряд дождь, унылый, тоскливый, упорный, как навязчивая идея. Пришла из Максимовки жена горшечника пожаловаться на свои болезни и сообщила, что ее жилец Тесак (Исаак) Ильич захворал. Для Чеховых было приятным открытием, что Левитан находился так близко от Бабкина, и брату Антону захотелось его повидать. Мы уже отужинали, дождь лил как из ведра, в большой дом (к Киселевым) мы не пошли, и предстоял длинный вечер у себя дома.

— А знаете что? — вдруг встрепенулся брат Антон.— Пойдемте сейчас к Левитану!

Мы (Антон Павлович, брат Иван и я) надели большие сапоги, взяли с собой фонарь и, несмотря на тьму кромешную, пошли. Спустившись вниз, перешли по лавам

через реку, долго шлепали по мокрым лугам, затем по болоту и, наконец, вошли в дремучий Дарагановский лес. Было дико в такую пору видеть, как из мрака к фонарю протягивались лапы столетних елей и кустов, а дождь лил, как во время ноева потопа: в локоть толщиной. Но вот и Максимовка. Отыскиваем избу горшечника, которую узнаем по битым вокруг нее черепкам, и, не постучавшись, не окликнув, вламываемся к Левитану и наводим на него фонарь.

Левитан вскакивает с постели и направляет на нас револьвер, а затем, узнав нас, он хмурится от света и говорит:

— Чегт знает что такое!.. Какие дугаки! Таких еще свет не пгоизводил!..

Мы посидели у него, посмеялись, брат Антон много острил, и благодаря нам развеселился и Левитан.

А несколько времени спустя он переселился к нам в Бабкино и занял маленький отдельный флигелек. Брат Антон настоял на том, чтобы вместе с ним там поселился и я, и, таким образом, моя жизнь с Левитаном потекла совместно. Один из Чеховых написал стихи следующего содержания:

А вот и флигель Левитана,
Художник милый здесь живет,
Встает он очень, очень рано
И, вставши, тотчас чай он пьет...[63]

И так далее.

У Левитана было восхитительно благородное лицо,— я редко потом встречал такие выразительные глаза, такое на редкость художественное сочетание линий. У него был большой нос, но в общей гармонии черт лица его вовсе не замечалось. Женщины находили его прекрасным, он знал это и сильно перед ними кокетничал. Для своей известной картины «Христос и грешница» художник Поленов взял за образец его лицо, и Левитан позировал ему для лица Христа. Левитан был неотразим для женщин, и сам он был влюбчив необыкновенно. Его увлечения протекали бурно, у всех на виду, с разными глупостями, до выстрелов включительно. С первого же взгляда на заинтересовавшую его женщину он бросал все и мчался за ней в погоню, хотя бы она вовсе уезжала из Москвы. Ему ничего не стоило встать перед дамой на колени, где бы он ее ни встретил, будь то в аллее парка или в доме при

людях. Одним женщинам это нравилось в нем, другие, боясь быть скомпрометированными, его остерегались, хотя втайне, сколько я знаю, питали к нему симпатию. Благодаря одному из его ухаживаний он был вызван на дуэль на симфоническом собрании, прямо на концерте, и тут же в антракте с волнением просил меня быть его секундантом. Один из таких же его романов чуть не поссорил его с моим братом Антоном навсегда.

Жил в Москве в то время полицейский врач Димитрий Павлович Кувшинников. Он был женат на Софье Петровне. Жили они в казенной квартире, под самой каланчой одной из московских пожарных команд. Димитрий Павлович с утра и до вечера исполнял свои служебные обязанности, а Софья Петровна в его отсутствие занималась живописью (некоторые ее картины, между прочим, находятся в Третьяковской галерее). Это была не особенно красивая, но интересная по своим дарованиям женщина. Она прекрасно одевалась, умея из кусочков сшить себе изящный туалет, и обладала счастливым даром придать красоту и уют даже самому унылому жилищу, похожему на сарай. Все у них в квартире казалось роскошным и изящным, а между тем вместо турецких диванов были поставлены ящики из-под мыла и на них положены матрацы под коврами. На окнах вместо занавесок были развешаны простые рыбацкие сети.

В доме Димитрия Павловича собиралось всегда много гостей: и врачи, и художники, и музыканты, и писатели. Были вхожи туда и мы, Чеховы, и, сказать правду, я любил там бывать. Как-то так случалось, что в течение целого вечера, несмотря на шумные разговоры, музыку и пение, мы ни разу не видели среди гостей самого хозяина. И только обыкновенно около полуночи растворялись двери, и в них появлялась крупная фигура доктора, с вилкой в одной руке и с ножом в другой, и торжественно возвещала:

— Пожалуйте, господа, покушать.

Все вваливались в столовую. На столе буквально не было пустого места от закусок. В восторге от своего мужа, Софья Петровна подскакивала к нему, хватала его обеими руками за голову и восклицала:

— Димитрий! Кувшинников! (Она называла его по фамилии.) Господа, смотрите, какое у него выразительное, великолепное лицо!

Были вхожи в эту семью два художника: Левитан и Степанов. Софья Петровна брала уроки живописи у Левитана.

Обыкновенно летом московские художники отправлялись на этюды то на Волгу, то в Саввинскую слободу, около Звенигорода, и жили там коммуной целыми месяцами. Так случилось и на этот раз. Левитан уехал на Волгу, и... с ним вместе отправилась туда же и Софья Петровна. Она прожила на Волге целое лето; на другой год, все с тем же Левитаном, как его ученица, уехала в Саввинскую слободу, и среди наших друзей и знакомых стали уже определенно поговаривать о том, о чем следовало бы молчать. Между тем, возвращаясь каждый раз из поездки домой, Софья Петровна бросалась к своему мужу, ласково и бесхитростно хватала его обеими руками за голову и с восторгом восклицала:

— Димитрий! Кувшинников! Дай я пожму твою честную руку! Господа, посмотрите, какое у него благородное лицо!

Доктор Кувшинников и художник Степанов стали уединяться и, изливая друг перед другом душу, потягивали винцо. Стало казаться, что муж догадывался и молча переносил свои страдания. По-видимому, и Антон Павлович осуждал в душе Софью Петровну. В конце концов он не удержался и написал рассказ «Попрыгунья», в котором вывел всех перечисленных лиц. Смерть Дымова в этом произведении, конечно, придумана.

Появление этого рассказа в печати (в «Севере») подняло большие толки среди знакомых. Одни стали осуждать Чехова за слишком прозрачные намеки, другие злорадно прихихикивали. Левитан напустил на себя мрачность. Антон Павлович только отшучивался и отвечал такими фразами:

— Моя попрыгунья хорошенькая, а ведь Софья Петровна не так уж красива и молода.

Поговаривали, что Левитан собирался вызвать Антона Павловича на дуэль. Ссора затянулась. Я не знаю, чем бы кончилась вся эта история, если бы Т. Л. Щепкина-Куперник не притащила Левитана насильно к Антону Чехову и не помирила их.

Софья Петровна умерла, еще раньше умер ее муж, а Левитан еще долго продолжал свои романы[64]. Между прочим, один из них находится в некоторой связи с чеховской «Чайкой».

Я не знаю в точности, откуда у брата Антона появился сюжет для его «Чайки», но вот известные мне детали. Где-то на одной из северных железных дорог в чьей-то богатой усадьбе жил на даче Левитан. Он завел там очень сложный роман, в результате которого ему нужно было застрелиться или инсценировать самоубийство. Он стрелял себе в голову, но неудачно: пуля прошла через кожные покровы головы, не задев черепа. Встревоженные героини романа, зная, что Антон Чехов был врачом и другом Левитана, срочно телеграфировали писателю, чтобы он немедленно же ехал лечить Левитана[65]. Брат Антон нехотя собрался и поехал. Что было там, я не знаю, но по возвращении оттуда он сообщил мне, что его встретил Левитан с черной повязкой на голове, которую тут же при объяснении с дамами сорвал с себя и бросил на пол. Затем Левитан взял ружье и вышел к озеру. Возвратился он к своей даме с бедной, ни к чему убитой им чайкой, которую и бросил к ее ногам. Эти два мотива выведены Чеховым в «Чайке». Софья Петровна Кувшинникова доказывала потом, что этот эпизод произошел именно с ней и что она была героиней этого мотива. Но это неправда. Я ручаюсь за правильность того, что пишу сейчас о Левитане со слов моего покойного брата. Вводить же меня в заблуждение брат Антон не мог, да это было и бесцельно. А может быть, Левитан и повторил снова этот сюжет,— спорить не стану.

VI

Московский университет под новым уставом.— Журфиксы у Антона с обитателями «Медвежьих номеров».— На даче у Линтваревых в 1888 году.— Плещеев в гостях у Антона.— Рассказ Плещеева о казни петрашевцев.— Баранцевич, Суворин и П. М. Свободин (Поль-Матьяс) на Луке.— Из рассказов Суворина о своей биографии.— Мое знакомство с А. Ф. Кони.— Дружба брата с Свободиным.— Антон сокращает «Графа Монте-Кристо».— Чтение Чеховым «Рассказа моего пациента».— На спектакле «Иванова» у Корша.— Предложение Виктора Крылова (Александрова) о соавторстве с Чеховым.— Иван Щеглов (Леонтьев).— Кличка Чехова «Потемкин».— Знакомство Антона с Невежиным.— Мадам Бренко и вешалка Корша.— Открытие и успех коршевского театра.

В первое же лето нашего пребывания в Бабкине я поступил в университет. Я попал как раз под новый универ-

ситетский устав с его формой, карцером, педелями и прочими «прелестями» победоносцевского режима. Профессорам вменено было в обязанность во что бы то ни стало доказать студентам, что Россия — страна sui generis*, что его императорское величество есть единый правомерный источник всякой власти в государстве, что конституция со всеми относящимися к ней учреждениями ведет к роковому распутью, на котором уже заблудился Запад, как некий пошехонец в трех соснах, что народоправство не соответствует самому духу и характеру русского народа, и прочее, и прочее. Такие выпады, как аплодисменты студентов профессору, считались верхом свободомыслия, и виновные на выдержку выхватывались из аудитории педелем и отсылались в карцер. Так и я, раб божий, даже не быв вовсе на лекции профессора М. М. Ковалевского, которому без меня аплодировали, попал по недоразумению на другой день в карцер. Педель Павлов был самодержцем и неистовствовал. За время моего пребывания в университете были серьезные беспорядки, причем университет был на целые полгода закрыт, а педель Павлов оказался вдруг околоточным надзирателем, стоящим на посту против университета. Посетила университет царская семья, причем я сам собственными глазами видел, как попечитель Московского учебного округа П. А. Капнист так жадно целовал руку царя и так присасывался к ней слюнявыми губами, что царь с гадливостью отдернул ее от него, но он все-таки продолжал ловить ее в воздухе и с сладострастием целовать. Это посещение царем университета сделало потом карьеру для тогдашнего ректора Н. П. Боголепова, который был назначен на пост министра народного просвещения после бездарного Делянова и был вскоре убит.

Провожая меня однажды из Бабкина в университет, В. П. Бегичев достал из своей старой рухляди шпагу и преподнес ее мне. По новому университетскому уставу студенты должны были ходить при шпагах.

— Трепещите, Миша, и проникнитесь благоговением! — обратился он ко мне с шуточной торжественностью. — Эта шпага была в одной ложе с Александром Вторым!

---

* своего рода, своеобразный *(лат.)*.

И при этом с юмором, на который был способен только он один, рассказал о следующем происшедшем с ним случае, когда он был директором московских театров:

— По пути в Крым Александр Второй заехал в Москву. О том, что он имел в виду посетить театр, министр двора мне ничего не сообщал, а раз это было так, то, значит, можно было оставаться уверенным, что царь вовсе не будет в театре. Я спокойно сидел у себя дома, выпивая с приятелями, и, признаться, наклюкался так, что впору было пускаться в пляс или ехать к цыганам. Было уже восемь часов вечера. Как вдруг влетает ко мне чиновник особых поручений и в волнении говорит, что царь неожиданно выразил желание посмотреть балет и что министр двора приказывает мне тоже быть в царской ложе. Что тут делать? Я еле держусь на ногах, а тут нужно отправляться немедленно в театр, да еще, быть может, придется разговаривать с самим царем. Делать нечего, привожу себя в порядок, надеваю мундир и вот эту самую шпагу и, благо близко, еду в театр. Царь уже в ложе. Его окружает свита. Министр двора представляет ему в антракте меня, а в глазах у меня все прыгает. Я ничего не могу понять и боюсь, как бы не потерять баланс. А надо сказать, что Александр Второй говорил ужасно невнятно. Действие идет, я стою позади него, а он то и дело оборачивается назад в мою сторону и что-то говорит, как индюк: «Бла-бла-бла-бла!» Ровно ничего не понимаю! Опять: «Бла-бла-бла-бла!» Никак не могу сообразить, спрашивает ли это он меня о чем-нибудь, призывает ли, или просто говорит. Я только почтительно наклоняю голову. Уже не помню, как я достоял до его отъезда из театра. В ту же ночь министр двора уведомил меня, что его величество остался очень доволен мной и спектаклем и выражает мне свое благоволение. Итак, юноша, примите от меня эту историческую шпагу и носите ее с честью, как Дон-Кихот!

Боясь, чтобы студенты не печатали прокламаций, им запрещено было новым уставом издавать лекции. Профессора читали свои обычные курсы, совершенно не придерживаясь предложенных им Победоносцевым программ, и не прошло и полугода, как сразу же появились недоразумения. Делать репетиции в течение одной-двух недель сразу такой массе студентов, какая была в тот год на юридическом факультете, было невозможно, а произ-

водить семестровые экзамены значило бы вычеркнуть целый месяц полезного времени на совершенно ненужную затею. Началась неразбериха. Мы, студенты, сами не понимали, что от нас требовалось и чего не требовалось; зачеты производились формально, и когда, наконец, мы прошли весь университетский курс, проехав его, как скрипучая телега по рытвинам и ухабам, и, получив от университета свидетельство, предстали в окончательном результате перед государственной комиссией, то получились самые плачевные результаты. На государственной комиссии от нас требовали тех знаний, какие были указаны в министерских программах и какие не были преподаны нам в университете. Таким образом, мы прошли как бы два курса: один — по лекциям наших профессоров и другой — по учебникам посторонних лиц, подогнанным к министерским программам. В результате из 346 экзаменовавшихся получили диплом всего только 49 человек.

Вероятно, не без цели председателем комиссии назначен был прокурор Московской судебной палаты Н. В. Муравьев, тот самый, который выступал обвинителем в процессе 1 марта. Но он с первых же дней стал на сторону экзаменовавшихся и то и дело тут же, во время экзаменов, при нас, посылал министру Делянову телеграммы, прося у него то одной льготы, то другой. Министерство неожиданно пошло навстречу. На последних экзаменах уже не было ни председателя, ни членов комиссии, а экзаменовали сами профессора, каждый в одиночку и уже по своей программе. На экзамене по церковному праву, предмету довольно трудному и обширному, уставши уже от месячных требований, мы обратились к профессору А. С. Павлову с просьбой, чтобы он экзаменовал нас не слишком строго.

— Чего уж там строго! — ответил нам старик. — Приказано вас всех пропустить, так чего уж!

И он стал всем ставить «удовлетворительно», сплеча и не экзаменуя вовсе.

Когда я поступил в университет, брат Антон уже целый год был врачом. Жили мы тогда на Якиманке, где на дверях его квартиры была прибита дощечка с надписью: «Доктор А. П. Чехов»; он еще колебался, придерживаться ли ему одной только литературы или превратиться в настоящего врача. Было скучно так далеко жить от театров и вообще от центра города. И для того, чтобы об-

щаться с людьми, наш доктор завел у себя по вторникам журфиксы. Большими деньгами он тогда не располагал, и главным угощением для гостей было заливное из судака, на которое была большая мастерица наша мать, Евгения Яковлевна.

В Москве, на углу Большой Никитской и Брюсовского переулка, как раз против консерватории, на первом этаже старого-престарого дома помещались меблированные комнаты, которые носили кличку «Медвежьих номеров». Жила здесь самая беднота — все больше ученики консерватории и студенты. Они жили так сплоченно и дружно, что когда к кому-нибудь из них приходил гость, то его угощали все в складчину, был ли знаком он с остальными обитателями или нет. И коридорный слуга им попался такой же, как и они сами, настоящий представитель богемы. На какие-нибудь сорок копеек, собранные со всех обитателей сразу, он ухитрялся закупать целый гастрономический магазин. При этом он был каким-то своеобразным заикой, разговаривать с ним было забавно и тяжело.

— Ну, так чего же ты, Петр, купил?

— Э-ге-ге-ге... селедочки и... а-га-га-га два... ого-го-го-го... огурца и водо-го-го-го-чки полбутылку.

В этих номерах поселился наш брат, художник Николай, и быстро сошелся со всеми тамошними обитателями. На первый же журфикс он притащил своих новых приятелей из «Медвежьих номеров». Это были: Б. М. Азанчевский (впоследствии известный композитор и капельмейстер), В. С. Тютюнник (потом бас в Большой опере), М. Р. Семашко (впоследствии виолончелист в той же опере), пианист Н. В. Долгов и милейший флейтист А. И. Иваненко. Таким образом, на вечерах у брата Антона на Якиманке сразу же определилась линия концертно-музыкальная.

Прошли годы — «бурь порыв мятежный развеял прежние мечты»: все, кто бывал на этих вечерах, оказались уже семейными людьми и устроили свою судьбу, каждый нашел свою дорогу и исчез с горизонта. Один только флейтист А. И. Иваненко как привязался к нашей семье, так и остался при ней совсем, вплоть до самого переселения брата Антона в Ялту. Мне кажется, что в некоторых чертах Епиходов из «Вишневого сада» списан именно с этого А. И. Иваненко.

В марте 1888 года, когда мы жили уже не на Якиманке, а на Кудринской-Садовой, в нашей семье стал обсуждаться вопрос: куда ехать на дачу? Весна была ранняя, и после тяжких трудов тянуло на подножный корм, к природе. Отправляться опять в Бабкино уже не хотелось, ибо брату Антону нужны были новые места и новые сюжеты, к тому же он стал подозрительно кашлять и все чаще и чаще стал поговаривать о юге, о Святых горах в Харьковской губернии и о дачах в Карантине близ Таганрога. В это время на помощь явился А. И. Иваненко. Сам украинец, уроженец города Сум, Харьковской губернии, узнав о стремлениях Антона Павловича, он схватился обеими ладонями за щеки и, покачивая головою с бока на бок, стал с увлечением расхваливать свою родину и советовать нам ехать на дачу именно туда. Он указал при этом на местных помещиков Линтваревых, живших около Сум, на Луке. Антон Павлович написал им туда письмо с запросом, и вскоре был получен от них благоприятный ответ. Таким образом, вопрос о поездке на Украину был решен, хотя и не окончательно, так как брат Антон не решался еще сразу нанять дачу заглазно и ехать так далеко всей семьей без более точных сведений как о самой даче, так и о ее владельцах Линтваревых.

В это время я был студентом третьего курса. Заработав перепиской лекций и печатанием детских рассказов 82 рубля, я решил прокатиться на юг, в Таганрог и в Крым, насколько хватит этих денег, и возвратиться оттуда прямо на север. Решение ехать на дачу на Украину я не одобрял, так как привык к Бабкину и нежно привязался к его обитателям. Когда я выезжал 17 апреля из Москвы, брат Антон обратился ко мне с просьбой свернуть от Курска к Киеву и, доехав до Ворожбы, снова свернуть на Сумы, побывать у Линтваревых, осмотреть там дачу на Луке, сообразить, что и как, и обо всем подробно ему отписать.

Эта поездка не входила в мои планы, тем не менее я туда поехал.

После щегольского Бабкина Лука произвела на меня ужасно унылое впечатление. Усадьба была запущена, посреди двора стояла, как казалось, никогда не пересыхавшая лужа, в которой с наслаждением валялись громаднейшие свиньи и плавали утки; парк походил на дикий, нерасчищенный лес, да еще в нем находились могилы;

либеральные Линтваревы увидели меня в студенческой форме и с первого же взгляда отнеслись ко мне как к ретрограду. Одним словом, мое первое знакомство с Лукой оказалось не в ее пользу. Так я и писал брату Антону с дороги, советуя ему не очень торопиться переездом на лето в Сумы.

Но пока я гостил в Таганроге да ездил в Крым, Антон Павлович все-таки снял дачу у Линтваревых на Луке и с первых же чисел мая переехал туда с матерью и сестрой.

Возвратившись с юга на Луку, я застал у брата Антона поэта Алексея Николаевича Плещеева.

Старик приехал к нему гостить из Петербурга, что при его уже совсем преклонных годах можно было назвать настоящим подвигом. Все обитатели Луки носились с ним как с чудотворной иконой. Семья Линтваревых состояла из предобрейшей старушки матери и пяти взрослых детей: две дочери были уже врачами, третья — бестужевка, один сын был серьезным пианистом, другой — политическим изгнанником из университета. Все они были необыкновенно добрые люди, ласковые, отзывчивые и, я сказал бы, не совсем счастливые. Приезд к ним брата Антона, а с ним вместе и разных знаменитостей, вроде Плещеева, которому они привыкли поклоняться еще в дни своего студенчества в Петербурге, по-видимому, пришелся им по вкусу. Когда к ним приходил в большой дом Алексей Николаевич, они усаживали его на старинный дедовский диван, окружали со всех сторон и слушали с затаенным дыханием его рассказы. И действительно, было чего послушать. Этот старик, обладавший кристальной душой и простым, чистым детским сердцем, до глубокой старости сохранил любовь к молодежи и, воспламеняя ее, воспламенялся вместе с нею и сам. Глаза его загорались, лицо краснело, и руки поднимались вверх для жестов. Когда он декламировал свое известное стихотворение «Вперед без страха и сомненья, на подвиг доблестный, друзья!», то даже самый заядлый скептик и пессимист начинал проникаться верой, что в небесах уже показалась «заря святого искупленья».

Громадное впечатление на слушателей производил рассказ Плещеева об его прикосновенности к делу Петрашевского. В 1849 году он был схвачен, посажен в Петропавловскую крепость, судим и присужден к смертной каз-

ни через повешение. Уже его вывезли на позорной колеснице на Семеновский плац, ввели на эшафот, надели на него саван, палач уже стал прилаживать к его шее петлю, когда руководивший казнью офицер вдруг шепнул ему: «Вы помилованы». И действительно, прискакавший курьер объявил, что Николай I, в своей «безграничной» милости, «соизволил» заменить ему смертную казнь ссылкой в Туркестан и разжалованием в рядовые. Целые семь лет находился Плещеев в ссылке, сражался под Ак-Мечетью и, наконец, получил амнистию от Александра II и вернулся на старое пепелище в Петербург[66]. Несмотря на тяжкие пережитые страдания, Плещеев вечно был бодрым и молодым, всегда гордо и высоко держал свое знамя и увлекал за собою молодежь. Всю свою жизнь он нуждался. Он писал стихи, исполнял за редакторов их обязанности, тайком занимался переводами. Даже живя у нас на Луке, он писал стихи. Ему была отведена здесь отдельная комната, которую барышни украшали цветами; ранним утром он усаживался за стол и начинал сочинять, читая каждую свою строку вслух. Иной раз казалось, что это он звал к себе на помощь, и кто-нибудь действительно бросался к нему и этим его самого приводил в удивление.

Он очень любил все мучное, и наша мать, Евгения Яковлевна, старалась закармливать его варениками, пирогами и тому подобными блюдами, и часто случалось, что после этого он ложился на спину и начинал стонать от боли. Антон Павлович спешил к нему с грелками, строго-настрого запрещал ему увлекаться едой, но старик забывал об этом при каждом следующем сеансе. Вечно бедный, вечно нуждавшийся, он вдруг неожиданно разбогател: года за полтора до смерти он получил миллионное наследство, уехал в Париж, где его видели в цилиндре и щегольски одетым, но судьба тяжко посмеялась над ним и показала ему язык: нашелся настоящий наследник, и все капиталы были от Плещеева отобраны, и он оказался опять таким же полунищим, каким был и до получения наследства. Он умер вскоре после этого, в сентябре 1893 года, в Париже, но тело его привезли в Москву и предали земле в Новодевичьем монастыре, недалеко от того места, где впоследствии был похоронен брат Антон.

С Линтваревыми установились превосходные отношения, пережившие Луку на многие лета. Как и в Бабкине, и здесь преобладала музыка и разговоры о литературе,

в особенности когда на Луку приезжал М. Р. Семашко, о котором я упоминал выше. Ловили рыбу и раков, ездили на челнах к мельнице и по ту сторону реки в березовый лес варить кашу; брат Антон много писал, но жизнь на Украине почему-то не давала ему столько тем, как в предшествовавшие годы в Бабкине: он интересовался ею только платонически. Правда, учительница Лидия Федоровна обогатила его здесь такими фразами, как «липовая аллея из пирамидальных тополей» и «черкесский князь ехал в малиновом шербете в открытом фельетоне», но, кажется, этим дело и ограничилось. На Луке Чехов писал уже на готовые, привезенные с севера темы и окружавшую его жизнь наблюдал только этнографически.

Не успел уехать Плещеев, как приехал на Луку писатель Казимир Станиславович Баранцевич.

Это был скромный лысый человек, далеко еще не старый, всю свою жизнь трудившийся до пота лица и вечно бедствовавший. Начал он свои бедствия, как я слышал, с места приказчика, торговавшего кирпичом, затем стал писать, быстро выдвинулся вперед, обратил на себя внимание критики, включившей его в трио «Чехов, Баранцевич и Короленко», но бедность, большая семья и необходимость служить в Обществе конно-железных дорог в Петербурге отвлекли его от литературы, и он мало-помалу ее оставил. Бедняге приходилось каждый день вставать в четыре часа утра, а в пять уже быть в конторе и снабжать билетами всех кондукторов. Впоследствии он издавал детский журнал, кажется носивший название «Красные зори», но журнал этот отличался очень бледною внешностью и успеха не имел. Никогда не выезжавший из Петербурга дальше Парголова и Озерков, Баранцевич вдруг осмелился, набрался духу и катнул к нам на Украину. О том, как он почувствовал себя у нас, можно легко себе представить. Он был приятным собеседником, несколько сентиментальным, но от него веяло необыкновенной порядочностью, и когда он с неохотою, под давлением обстоятельств, уехал от нас обратно в свою контору конно-железных дорог, позабыв у нас к тому же свои брюки, то мы вспоминали о нем еще долго и, рассчитывая, что позабыть где-нибудь вещь — значит вернуться туда еще раз, поджидали его возвращения на Луку, но напрасно.

После Баранцевича на Луку приезжали А. С. Суворин и артист П. М. Свободин. Дружба с этими лицами началась у брата Антона со времени постановки его пьесы «Иванов» на Александринской сцене в Петербурге, и хотя с А. С. Сувориным он был знаком еще несколько раньше по своему сотрудничеству в «Новом времени», но приезд старика на Луку еще более укрепил их дружбу. Они близко сошлись. Не разделяя взглядов «Нового времени», Антон Чехов высоко ценил самого Суворина, отделяя его от газеты, и дорожил его дружбой. В течение нескольких лет он писал ему искренние письма, высказывая в них свои заветные мысли и переживания, которые доказывают близкие отношения, существовавшие между старым публицистом и молодым писателем.

Верстах в полутора от усадьбы, в которой мы жили, находилась большая вальцовая мельница о шестнадцати колесах. Стояла она в поэтической местности на Псле, вся окруженная старым дубовым лесом. Сюда-то и ездили на простом, выдолбленном из обрубка дерева челноке Чехов и Суворин на рыбную ловлю. Целые часы они простаивали у ее колес, ловили рыбу и разговаривали на литературные и общественные темы. Оба из народа, оба — внуки бывших крепостных и оба одаренные от природы громадными талантами и отличавшиеся редкой образованностью, они почувствовали друг к другу сильную симпатию. Эта дружба повлекла за собой громадную переписку, которая продолжалась затем долгие годы и кончилась только во время известного процесса Дрейфуса, когда «Новое время» резко и недобросовестно стало на сторону его обвинителей. Старик до самой смерти продолжал любить Чехова, но охлаждение со стороны молодого писателя, начавшееся еще за границей, во время самого разбирательства дела Дрейфуса, продолжалось и в России. Не разрывая сразу, Чехов переписывался с Сувориным все реже и реже; время, отделявшее их друг от друга, пространство тоже делали свое дело, и, наконец, переписка эта, содержавшая в себе столько удивительных мыслей, столько новых и оригинальных суждений и так характеризовавшая Чехова как мыслителя, прекратилась совсем. Литература, суд, управление, общественная жизнь — все, что глубоко захватывало Антона Чехова, вызывало в нем живой интерес, находило отражение в переписке его с Сувориным.

Сын простого солдата, сражавшегося при Бородине, Суворин выдержал экзамен на звание приходского учителя и занимался педагогией в уездных училищах городов Боброва и Воронежа. Но влечение к литературе заставило его писать то стихи, то прозаические пустячки и помещать их в разных столичных журналах, пока, наконец, он не сделался в начале шестидесятых годов постоянным сотрудником в «Русской речи», издававшейся известной графиней Сальяс[67], и не переехал в Москву. Он очень любил вспоминать об этом времени и часто мне о нем рассказывал. Он имел привычку во время таких рассказов ходить взад и вперед по комнате, и я помню, как я уставал, следуя за ним, но всегда слушал его с большим удовольствием. Он рассказывал очень образно, с тонким юмором, пересыпая свою речь удивительными сравнениями, и часто делал отступления в сторону, так как его то и дело осеняла все новая и новая мысль. Он рассказывал мне, как, приехав в Москву, он попал в самую тяжкую бедность. Надежды на литературный заработок, который обеспечил бы его в столице, не оправдались, и ему пришлось поселиться не в самой Москве, а за семь верст от нее, в деревне Мазилове, и каждый день босиком, для сбережения обуви, ходить в город в редакцию. Когда забеременела у него жена и не было даже копейки на акушерку — а роды уже приближались,— он пришел в отчаяние и, не достав денег, в бессилии опустился на лавочку на Сретенском бульваре. Далее я буду писать уже со слов моего брата Антона Павловича. Когда Суворин сидел на лавочке, какой-то молодой человек с большой папкой под мышкой подсел к нему. Они разговорились. Молодого человека тронуло его положение. Он полез в карман и вынул оттуда пакет с пятью сургучными печатями.

— Вот, маменька прислала мне пятнадцать рублей,— сказал он.— Я их только что получил в почтамте. Если хотите, возьмите их.

Это было находкой для Суворина. Чтобы не остаться в долгу, он спросил у молодого человека, кто он и как его зовут.

Это оказался В. П. Буренин, тогда еще только ученик Училища живописи, ваяния и зодчества, а впоследствии известный памфлетист и критик «Нового времени».

Из Москвы А. С. Суворин переехал в Петербург, где сделался ближайшим сотрудником коршевских «С.-Пе-

тербургских ведомостей» и писал там под псевдонимами «А. Бобровский» и «Незнакомец». Это был самый пышный расцвет Суворина как журналиста. Его фельетонами зачитывались. В них он, как говорится, бил не в бровь, а прямо в глаз, за что и был приговорен на целые полгода к тюремному заключению[68]. От него доставалось всем высшим мира сего, при этом он так искусно обличал их, что трудно было к нему придраться. Газета «С.-Петербургские ведомости» была казенной, и исключительно из-за фельетонов А. С. Суворина ее отобрали от В. Ф. Корша, передали другому арендатору (за взятку) и отстранили от нее «Незнакомца». Тогда он перешел в «Биржевые ведомости» и стал продолжать там свои воскресные фельетоны. Это продолжалось до 1876 года, когда вдруг вспыхнуло на Балканском полуострове Герцеговинское восстание, втянувшее затем Россию в русско-турецкую войну. За очень небольшую сумму А. С. Суворин купил право на издание газеты «Новое время», поручил все дело жене, а сам отправился корреспондентом на войну. Проникнув в штаб сербского князя Милана, он завязал там отношения и стал из первых же рук получать мельчайшие подробности сражений и посылать их для напечатания в свою же газету «Новое время». Жена отправляла ее прямо в пачках на войну, и там ее расхватывали в розницу свои же офицеры-русские в какие-нибудь полчаса. Только из нее они узнавали подробности тех сражений, в которых участвовали, а часто даже и то, остались ли они победителями или были побеждены. Это и было залогом успеха газеты. Не прошло и пяти-шести лет, как уже определилось, что главными подписчиками стали военные и чиновники, и благодаря этому она мало-помалу стала приобретать свойственный ей специфический характер.

Между тем Суворин стал стареть; сделались взрослыми его дети от первой жены и овладели газетой целиком. А. С. Суворин почти отстранился от нее[69], выступал в ней только в пламенных «Маленьких письмах», в которых все еще можно было узнать прежнего «Незнакомца», и весь ушел в изучение эпохи Смутного времени, в беллетристику, историю литературы и в драматургию. В это-то время и познакомился с ним Антон Чехов. Страстный любитель книги, А. С. Суворин широко развернул книгоиздательство, безгранично удешевил книгу (например, со-

чинения Пушкина в 10 томах — 1 рубль 40 копеек). Тем временем в газете, носившей его имя, стал проявляться дух ненавистничества к национальному меньшинству. Совершенно непонятное ожесточение против Финляндии, Польши и прибалтийских провинций, не говоря уже об евреях, приводило в смущение даже равнодушных людей. Это ненавистничество резче всего выразилось в 1898 году, когда в Париже начался известный процесс Дрейфуса, заинтересовавший все европейские и американские умы.

Через Суворина я познакомился с почтеннейшим А. Ф. Кони. Встретившись как-то со мной в одном из книжных магазинов на Невском в Петербурге, А. С. Суворин вдруг что-то вспомнил и, вытащив из бокового кармана пакет, обратился ко мне с просьбой:

— Миша, голубчик, съездите сейчас к Кони и передайте ему от меня вот это письмо!

С произведениями отца А. Ф. Кони[70] я был знаком уже давно по его водевилям, на которых любил посмеяться в театре; самого же Анатолия Федоровича, которого уже много времени привык уважать за его судебную деятельность и за ученые и литературные труды, я лично еще не знал. Я застал Кони в его кабинете одного, представился и передал ему пакет от Суворина. Мой брат Антон Павлович тогда уже получил Пушкинскую премию от Академии наук, в присуждении которой участвовал и Анатолий Федорович, и мы разговорились об этом. Я собрался уходить, но Кони меня задержал насильно. Разговор перешел с Пушкинской премии на самого Пушкина, и меня поразило то, что Кони знал всего Пушкина наизусть и декламировал его с увлечением и вдохновенно, иногда подымая руку кверху. Потом опять разговорились о брате Антоне Павловиче. Кони говорил о нем с дрожью в голосе, глаза его покрылись влагою, и на его бритом лице, с бородкой точно у английского квакера, появилось нежное, чисто отеческое выражение.

— Ах, какой он талант! — воскликнул Кони. — Какой значительный, прекрасный талант!

Впоследствии, когда я стал серьезно выступать на литературном поприще, Кони делал доклад в Академии наук и о моей книге «Очерки и рассказы», и она была удостоена ею почетного отзыва. Это было для меня полной неожиданностью.

Актер Павел Матвеевич Свободин приезжал к нам на дачу на Луку не раз. После постановки в Петербурге пьесы Антона Чехова «Иванов» и суворинской драмы «Татьяна Репина», что было в 1889 году, в которых Свободин принимал участие, этот артист очень привязался к брату Антону, и они сдружились. Павел Матвеевич, или, как мы в шутку называли его по-французски, «Поль-Матьяс», и мой брат Антон, оба выдающиеся юмористы, смешили все население Луки своими остроумными выходками, затевали смехотворные рыбные ловли, на которые Свободин выходил во фрачной паре и в цилиндре, и были неистощимы на шутки. Нужно только представить себе человека на деревенском берегу реки, заросшем камышами, в белой манишке и при белом галстуке, во фраке, в цилиндре и в белых перчатках, с серьезным видом удящего рыбу, и мимо него в выдолбленных челноках проезжавших крестьян. Целой компанией ездили в Ахтырку — тогда захолустный провинциальный городишко, где, остановившись в гостинице, Свободин выдал себя за графа, а брат Антон — за его лакея, чем оба они и привели в немалое смущение прислугу. Свободин, как артист, выполнял свою роль изумительно.

Приезжал он к нам потом и в Мелихово, уже совсем почти перед смертью, и оставил самые лучшие воспоминания. Он очень любил всех нас и, приезжая к нам, чувствовал себя как в родной семье, что не стеснялся высказывать вслух. В последние годы своей жизни он сделался необыкновенно мягким, нежным, привязчивым, и когда он гостил у нас, то казалось, что на всем белом свете, кроме нас, у него не было ни единой близкой души. Привозил он к нам с собой и своего сына Мишу, очень похожего на него и уже тогда обещавшего быть таким же талантливым, как и его отец, но судьба этого мальчика была очень печальна. Будучи студентом, он был найден застрелившимся на лестнице совершенно чужого для него дома, как говорили, перед дверью любимой им женщины. Сам Свободин умер осенью 1892 года от разрыва сердца на сцене Михайловского театра в Петербурге, прямо на посту, в гриме и в костюме, во время представления комедии Островского «Шутники».

По мысли Антона Чехова, Суворин затеял издание романов Евгения Сю («Вечный жид») и Александра Дюма («Граф Монте-Кристо», «Три мушкетера» и прочее). Че-

хов настаивал, чтобы романы эти, в особенности А. Дюма, были изданы в сокращениях, чтобы из них было выпущено все ненужное, только лишний раз утомлявшее читателя, не имевшее никакого отношения к развитию действия и удорожавшее книгу. Суворин согласился, но выразил сомнение, что едва ли у него найдется лицо, которое сумело бы сделать такие купюры. На это Антон Павлович вызвался сам. Ему были высланы в Мелихово книги, изданные еще в пятидесятых и шестидесятых годах, и Антон Павлович принялся за яростные вычеркивания, не щадя текста, целыми печатными листами. Это было в то время, когда гостил у нас Свободин. Милейший Поль-Матьяс уединился в уголок, и в самый тот момент, когда, сидя на турецком диване, Антон Павлович занимался избиением младенцев, нарисовал на него карикатуру: сидит Чехов с «Графом Монте-Кристо» в руках и вычеркивает из этой книги карандашом целые страницы; за его спиной стоит Александр Дюма, и горькие слезы струятся у него из глаз прямо на книгу. Эту карикатуру Антон Павлович бережно хранил у себя в бумагах, но где она теперь, я не знаю[71]. Между прочим, в один из приездов Свободина в Мелихово брат Антон написал свою повесть, вышедшую потом в свет под заглавием «Рассказ неизвестного человека». Он долго не решался посылать ее в печать[72] и сделал это только после того, как прочитал ее вслух Павлу Матвеевичу. Я помню, как это чтение происходило в саду, днем, причем у Свободина было очень серьезное лицо. Он вставлял свои замечания. Первоначально эта повесть была озаглавлена так: «Рассказ моего пациента», но Свободин посоветовал брату Антону переменить это заглавие на приведенное выше. Это чтение меня тогда очень удивило, потому что я знал, что Антон Павлович никогда никому сам своих произведений не читал и осуждал тех авторов, которые это делали.

Одновременно со Свободиным гостил на Луке у Линтваревых их знакомый — молодой профессор Харьковского университета В. Ф. Тимофеев. Он только что вернулся из командировки за границу и отлично представлял тамошних профессоров-немцев. Это был веселый, жизнерадостный молодой человек, с которым Антон Павлович, к ужасу Линтваревых, любил выпить по-студенчески. Линтваревы же боялись в своем доме водки как огня. Я уверен, что если бы В. Ф. Тимофеев

приезжал на Луку чаще и гостил в ней подольше, то он и Антон Павлович сделались бы большими друзьями.

Однажды мы пошли на Псел купаться. С нами был Свободин. Когда Тимофеев разулся, то мы, к удивлению своему, увидели, что одна из пяток у него была темно-желтого цвета. Намазал ли он ее йодом или таким появился на свет, я не знаю. Но, заметив это, Антон Павлович серьезно спросил профессора:

— Владимир Федорович, когда вы курите, то вы далеко держите пятку от папиросы?

Мы все так и покатились со смеху. Особенно долго смеялся Свободин.

Пьеса Чехова «Иванов», о которой я упомянул выше, шла в Петербурге уже в исправленном виде. В своем первоначальном виде она была поставлена в первый раз в театре Корша в Москве 19 ноября 1887 года. Написана она была совершенно случайно, наспех и сплеча. Встретившись как-то с Ф. А. Коршем в его же театре в фойе, Чехов разговорился с ним о пьесах вообще. Тогда там ставили легкую комедию и водевиль, серьезные же пьесы были не в ходу, и, зная, что Чехов был юмористом, Корш предложил ему написать пьесу. Условия показались выгодными, и брат Антон принялся за исполнение. В сумрачном кабинете корнеевского дома на Кудринской-Садовой он стал писать акт за актом, которые тотчас же передавались Коршу для цензуры и для репетиций. Но, несмотря на такое спешное исполнение, «Иванов» сразу же завоевал всеобщее внимание. Смотреть его собралась самая изысканная московская публика. Театр был переполнен. Одни ожидали увидеть в «Иванове» веселый фарс в стиле тогдашних рассказов Чехова, помещавшихся в «Осколках», другие ждали от него чего-то нового, более серьезного,— и не ошиблись. Успех оказался пестрым: одни шикали, другие, которых было большинство, шумно аплодировали и вызывали автора, но в общем «Иванова» не поняли, и еще долго потом газеты выясняли личность и характер главного героя. Но как бы то ни было, о пьесе заговорили. Новизна замысла и драматичность приемов автора обратили на него всеобщее внимание как на драматурга, и с этого момента начинается его официальная драматургическая деятельность. «Ты не можешь себе представить,— пишет Антон Павлович брату Александру после первого представления «Иванова»,— что было! Из

такого малозначащего дерьма, как моя пьесенка... получилось черт знает что... Шумели, галдели, хлопали, шикали; в буфете едва не подрались, а на галерке студенты хотели вышвырнуть кого-то, и полиция вывела двоих. Возбуждение было общее. Сестра едва не упала в обморок, Дюковский, с которым сделалось сердцебиение, бежал, а Киселев ни с того ни с сего схватил себя за голову и очень искренне возопил: «Что же я теперь буду делать?» Актеры были нервно напряжены... На другой день после спектакля появилась в «Московском листке» рецензия Петра Кичеева, который обзывает мою пьесу нагло-цинической, безнравственной дребеденью» (24 ноября 1887 года)[73].

Я был на этом спектакле и помню, что происходило тогда в театре Корша. Это было что-то невероятное. Публика вскакивала со своих мест, одни аплодировали, другие шикали и громко свистали, третьи топали ногами. Стулья и кресла в партере были сдвинуты со своих мест, ряды их перепутались, сбились в одну кучу, так что после нельзя было найти своего места; сидевшая в ложах публика встревожилась и не знала, сидеть ей или уходить. А что делалось на галерке, то этого невозможно себе и представить: там происходило целое побоище между шикавшими и аплодировавшими. Поэтому не удивительно, что всего только две недели спустя после этого представления брат Антон писал из Петербурга: «Если Корш снимет с репертуара мою пьесу, тем лучше. К чему срамиться? Ну их к черту».

На следующий же день после описанного спектакля к брату Антону пришел на квартиру известный драматург Виктор Александров-Крылов, на пьесах которого держался тогда репертуар московского Малого театра. Слава Фемистокла не давала Мильтиаду спать. С первого же нюха почуяв в «Иванове» много оригинального и предчувствуя дальнейший успех этой пьесы, он предложил брату Антону свои услуги: он-де исправит ее, кое-что в ней изменит, кое-что прибавит, но с тем, чтобы он, Крылов, шел за полуавтора и чтобы гонорар делился между ними пополам. Это возмутило Чехова, но он и вида не подал, как ему было неприятно это предложение, и деликатно ему отказал.

Когда затем брат Антон написал свой известный, обошедший всю Россию водевиль «Медведь», то и Крылов одновременно же выпустил свой водевиль «Медведь сосватал», и, должно быть, неспроста. Брат Антон рассказы-

вал нам потом со смехом по приезде своем из Петербурга, что к одному из тамошних молодых драматургов пришел Крылов, но с обратным предложением: чтобы этот драматург оживил его, Крылова, пьесу. Когда тот достаточно поработал над ней, то Крылов уплатил ему за труд всего только десять рублей. С молодым драматургом от обиды сделалась истерика.

— Я швырну их ему в морду! — волновался драматург.

А сидевший тут же, тоже драматург, В. А. Тихонов мрачно ему сказал:

— Это деньги подлые. Их надо пропить.

Почти одновременно с «Ивановым» шла в театре Корша пресмешная пьеса Ивана Щеглова «В горах Кавказа». Тогда же появилась в продаже и книга этого же автора «Гордиев узел»; и пьеса и книга брату Антону и мне очень понравились: в них было что-то свежее, молодое, прыскавшее юмором, как из фонтана. Каково же было наше удивление, когда этим самым Иваном Щегловым оказался отставной капитан, да еще совершивший турецкий поход и участвовавший во многих сражениях, — Иван Леонтьевич Леонтьев. Антон Павлович скоро познакомился с ним, они быстро сошлись, и Жан, как прозвал его Чехов, стал частенько у нас бывать. Он оказался необыкновенно женственным человеком, любвеобильным, смеявшимся высоким, тоненьким голоском, точно истерическая девица. Беллетристическое дарование у него было недюжинное, но после успеха «В горах Кавказа» он поверил в свой драматический талант, сбился на театр, и из этого ничего не вышло. Его приезд к нам в Москву был всегда желанным, он всякий раз был так мил и ласков, что не симпатизировать ему было невозможно. Щеглов был очень сентиментален, присылал нашей матери открытки с цветочками, написанные таким «трагическим» почерком, что трудно было разобрать, и не упускал ни малейшего случая, чтобы поздравить ее с праздниками, с днем ангела или рождения. Антон Павлович очень журил его за пристрастие к театру, но Жан Щеглов оставался непреклонен и, несмотря на всю мягкость своего характера, неумолим. Так его театр и сгубил. Следующие его пьесы успеха не имели, он впал в уныние и умер во цвете лет. Это он, этот самый Жан Щеглов, дал Антону Павловичу за его необыкновенные успехи в литературе кличку «Потемкин». Так Чехов иногда и подписывался

в своих письмах. Нежность и хрупкость Жана всегда трогали Антона, и он писал ему иногда так: «Жму Вашу щеглиную лапку». И действительно, в Жане Щеглове было что-то такое, что делало его похожим на птичку.

Тогда же в Малом театре в Москве шла «потрясающая» драма П. М. Невежина «Вторая молодость», имевшая шумный успех. В сущности говоря, эта пьеса была скроена по типу старинных мелодрам, но в ней играли одновременно Федотова, Лешковская, Южин и Рыбаков — и публика была захвачена, что называется, за живое и оглашала театр истерическими рыданиями, в особенности когда Южин, игравший молодого сына, застрелившего любовницу своего отца, является на сцену в кандалах проститься со своей матерью, артисткой Федотовой. Пьеса делала большие сборы.

На одном из представлений «Второй молодости» Антон Павлович встретился в фойе Малого театра с Невежиным. Они разговаривали об «Иванове» и о «Второй молодости».

— Ну, что вы еще пописываете? — спросил сверху вниз у молодого Чехова уже старый драматург.

— А что вы пописываете? — спросил в свою очередь Чехов.

П. М. Невежин с гордостью ответил:

— Разве после «Второй молодости» можно еще что-нибудь написать?

Я встречался с этим Невежиным не раз. Он перешел потом на беллетристику и часто приносил мне свои романы.

— Вы только прочтите! — говорил он. — Очень интересный роман! Не оторветесь! Замечательный роман! Захлебнуться можно!

На Ф. А. Корше мне хочется несколько остановиться.

В Москве жила антрепренерша мадам Бренко, про которую Антон Чехов как-то сострил, что она производит свою фамилию от немецкого глагола «brennen», что значит «гореть, прогорать». Вскоре после открытия в Москве памятника Пушкину там же, на Тверской, братья Малкиель выстроили большой дом и в нем театр. Про них тогда распевали с открытых сцен куплетисты:

А на Тверской чей дом большой?
А на Неглинной чей дом большой такой и длинный?

Это был первый в Москве частный театр после прекращения монополии императорских театров. Театр этот так официально и назывался: «Театр близ памятника Пушкину». Его-то и арендовала мадам Бренко. Она пригласила лучших провинциальных артистов, как, например, Иванова-Козельского, Писарева, Андреева-Бурлака, и ставила пьесы из самого разнообразного репертуара, начиная с «Блуждающих огней» Антропова и кончая «Лесом», «Гамлетом» и «Побежденным Римом»[74]. Но как ни старательно были поставлены все эти спектакли, мадам Бренко все-таки прогорела. Гораздо удачнее в ее театре были дела присяжного поверенного Ф. А. Корша, который арендовал у нее вешалку. Как тогда говорили, он во всяком случае и при всяком сборе оставался в барыше. Если мадам Бренко принуждена была раздавать для видимости контрамарки, то Корш с каждого контрамарщика обязательно взыскивал по 20 копеек за гардероб. И когда мадам Бренко, наконец, прекратила свое дело и после нее образовалось товарищество артистов, переехавшее затем в театр Лианозова в Газетном переулке, то Корш и там держал вешалку. Наконец, все дело перешло в его руки. Так как вечеровой расход составлял всегда приблизительно около одной трети всего сбора, а вешалка при полном сборе тоже давала точно такую же сумму, то, чтобы не иметь убытка, дирекция широко стала рассылать контрамарки по всем учебным заведениям. Конечно, каждому студенту было приятно пойти задаром в театр и сидеть в партере, но он обязан был уплатить за хранение платья 30 копеек, что и требовалось доказать. Таким образом, вешалка окупала вечеровой расход, а все платные зрители, как бы их мало ни было, шли на чистую прибыль.

Страстно любя театр и сам сочиняя и переводя пьесы («Сваха», «Борьба за существование», «Мадам Сан-Жен»)[75], Корш решил выстроить в Москве свой собственный театр. Я не помню, кто ему помог в этом деле, но только его театр в Москве, в Богословском переулке, выстроился быстро, по щучьему велению. Его строили и днем и ночью, при электрических дуговых фонарях — спешили открыть его не позже 16 августа. И когда он был открыт, в нем сильно пахло сыростью и в некоторых местах текло со стен. Это было в 1882 году. Труппа Корша была вся как на подбор: Градов-Соколов, Солонин, Светлов, знаменитый В. Н. Давыдов, Глама-Мещерская, Рыбчинская,

Мартынова, Кощева, Красовская,— все они составляли редкостный ансамбль в легкой комедии, которая, собственно, и составляла главный гвоздь театра Корша, и увековечили свои имена в истории театра вообще. В декораторы был приглашен упоминавшийся мной художник А. С. Янов, который пленял публику эффектными декорациями. Для тургеневского «Вечера в Сорренто» он закатил целый Неаполь с мигавшими огоньками по набережной и на лодках и кораблях, с Везувием, из которого струился дымок, и с луной, отражавшейся в заливе. Певец К. С. Шиловский пел романс: «Si tu m'aimais»*. Публика сходила с ума.

Театр Корша был очень популярен у московской публики. В отчете о его десятилетней деятельности, который долго валялся у нас в Мелихове, я помню, мы с удивлением читали, что за этот срок театр Корша посетило более полутора миллиона зрителей, было поставлено свыше пятисот пьес. Он познакомил русскую публику с произведениями Сарду, Пальерона, А. Доде и других выдающихся иностранных драматургов, которых негде было бы посмотреть, ни в каком другом театре. Но главная заслуга Ф. А. Корша — это введение утренних общедоступных спектаклей из классического репертуара, на которые охотно стала стекаться молодежь и примеру которых стали подражать многие провинциальные театры в России.

VII

1889 год. Снова на Луке.— Смерть брата Николая.— Антон скитается в Одессе и Ялте.— Встреча с Шавровыми.— Мои занятия иностранными языками.— Дружба Антона Павловича с Е. М. Шавровой.— Как ставился «Леший».— Дело скопинского банка Рыкова.— Первое кровохарканье брата.— «Прекрасная Лика».— Визиты в дом Корнеева на Кудринской-Садовой.— А. П. Ленский.— Немного о М. Н. Ермоловой.— В. Н. Давыдов читает у нас «Власть тьмы».— Его «отсебятины» в «Калхасе».— Н. А. Лейкин.— Банкет в честь французского президента Лубе.— Лесков у Чехова.— Щепкина-Куперник.— Отзывчивость А. И. Чупрова.— П. Н. Островский.— Эпизод из отношений А. Н. Островского с братом-министром.— Посещение Короленко.

Но возвращаюсь опять к Луке. Семья Чеховых провела там и следующее лето, 1889 года, но уже не так весело

* Любила б ты *(фр.)*.

и жизнерадостно, как это было в предшествовавшем году, хотя знакомство обогащалось все новыми и новыми персонажами: к Линтваревым стали приезжать и подолгу гостить у них известный экономист Вас. Павл. Воронцов и не менее известный деятель по обычному праву А. Я. Ефименко.

В это лето чеховскую семью постигло несчастье: умер художник Николай. Смерть его застала брата Антона врасплох, когда он отправился на лошадях в Сорочинцы Полтавской губернии и в другие гоголевские места по дороге, чтобы осмотреть продававшийся хутор, который он хотел приобрести для постоянного жительства. «Приехали к Смагиным ночью, мокрые, холодные; легли спать в холодные постели, уснули под шум холодного дождя. Утром была все та же возмутительная вологодская погода... приехал из Миргорода мужичонко и привез мокрую телеграмму: «Коля скончался». Можете представить мое настроение. Пришлось скакать обратно на лошадях до станции, потом ехать по железной дороге и ждать на станциях по восемь часов... Наша семья еще не знала смерти, и гроб пришлось видеть у себя впервые» (из письма Антона Павловича Чехова)[76].

Похороны были самые простые. Брат Антон затосковал и вскоре же после похорон уехал из Луки скитаться. Он стал было собираться за границу, но не поехал, почему-то застрял в Одессе, где в то время была на гастролях московская труппа Малого театра. Здесь он познакомился с перешедшей из балета в драму молоденькой артисточкой «Глафирочкой» Пановой, которая ему, по-видимому, нравилась и за которую потом в Москве сватала его жена артиста Ленского, но было очень трудно сладить в этом отношении с Чеховым, и от сватовства пришлось вскоре отказаться. Затем он переехал в Ялту. Какое-то странное равнодушие овладевает писателем, он ко всему теряет охоту и интерес, но проходит два месяца — он снова полон веры в себя, в свое призвание. И, живя все в том же доме Корнеева на Кудринской-Садовой, он лихорадочно принимается за литературную работу, и из-под его пера выходят такие вещи, как «Скучная история» и пьеса «Леший», которую он поставил в театре Абрамовой 27 декабря 1889 года. К этому присоединилась еще тяжелая, кропотливая работа по собиранию материалов для поездки на Сахалин. Но об этом я коснусь ниже.

Как я сообщил уже, летом 1889 года Антон Павлович отправился из Одессы в Ялту, без желаний, намерений и определенных планов, хотя и прожил там довольно порядочное время. В одну из своих прогулок по какой-то улице этого города он проходил мимо чьей-то дачи. Вдруг отворилась калитка, и из нее вышли три очень хорошо одетые девушки. Одна из них сказала как бы про себя, но вышло так, что брат ее услышал:

— Вот писатель Чехов.

Своим столичным видом они обратили на себя внимание Антона Павловича. После этого он встретил их в городском саду, и в конце концов они познакомились. Это были три сестры Шавровы, харьковские землевладелицы, постоянно проживавшие в Петербурге и приехавшие на лето в Крым.

Но на этом знакомство Чехова с Шавровыми не прекращается. Возвратившись в Москву, Антон Павлович как-то вечером получает посланную через горничную раздушенную записку. Это писала ему мать этих девушек, сама мадам Шаврова, которая сообщала, что они всей семьей переехали на жительство из Петербурга в Москву, и просила его возобновить с ними так счастливо начавшееся в Ялте знакомство.

Антон Павлович, только что начавший тогда поправляться от жестокой инфлуэнцы, не решался нарушать своего режима и, протянув мне записку, сказал:

— Миша, хочешь познакомиться с интересными девицами?

Я, конечно, не нашел возражений — и в тот же вечер Антон Павлович отправил к Шавровым меня, вручив для передачи им письмо, в котором он извинялся, что не мог по болезни явиться к ним лично, и рекомендовал им меня. Я поехал. Меня приняли очень радушно, и с первого же знакомства я почувствовал к этой семье большую симпатию.

Барышни Шавровы много читали, им были известны многие произведения тогдашних новейших русских и иностранных писателей, причем последних они всегда читали только в подлинниках. Я же был тогда знаком с иностранной литературой только по плохим переводам, чисто макулатурного свойства, и в разговорах с ними меня это очень стесняло. Это меня заставило приняться за

изучение языков, и я, овладев английским, французским и итальянским языками, стал переводчиком.

Достаточно упомянуть, что с того времени, кроме бесчисленного множества разных мелких журнальных и газетных статей и драматических произведений, мною переведено с иностранных языков 43 больших тома убористой печати.

Старшая из сестер, Елена Михайловна, оказалась писательницей, и о помещении того или другого ее произведения в печати иногда хлопотал Антон Павлович. Он очень одобрял ее дарование, советовал ей развивать его и работать как можно больше, но, как женщина своего круга и к тому же не нуждавшаяся в самом необходимом, она не придавала особого значения своему таланту. Подписывалась она под своими произведениями «Шастунов» и вела с Антоном Павловичем переписку. Письма к ней вошли в собрание чеховских писем, изданных нашей сестрой, Марией Павловной, где эта даровитая дама пожелала скрыть свою фамилию под инициалами «Е. М. Ш.». Между Антоном Павловичем Чеховым и «Е. М. Ш.» установилась хорошая и прочная дружба. Чехов старался продвинуть ее рассказы в печать и часто достигал этого, но всегда журил ее за то, что она мало обращала внимания на свой талант и редко пишет. Приезжая из Мелихова в Москву по делам, он иногда заранее списывался с нею и любил позавтракать вместе в «Большой Московской» или в «Эрмитаже». Она называла его своим «cher maître»* — так он и подписывался в письмах, которые к ней посылал. Она превосходно пела, и было в ней что-то такое, что надолго упрочивало с ней дружбу. Ее фотография до сих пор хранится в его кабинете в чеховском доме в Ялте.

Вторая из сестер, Ольга Михайловна, впоследствии стала известной актрисой, разорвав с тем кругом, в котором жила, и выступала довольно удачно в ролях классического репертуара. Ее фамилия по сцене была Дарская. Узнав, что она поступила на сцену, — а это было для нас совершенной неожиданностью, — Антон Павлович в разговоре со мной это искренне одобрил и назвал ее умницей.

Когда Антон Павлович жил в Мелихове и ему понадобилось усилить ресурсы на постройку школ, то обе се-

---

* дорогой учитель *(фр.)*.

стры любезно предложили свои услуги, приезжали из Москвы в Серпухов и устраивали любительский спектакль, причем привели местную публику в изумление роскошью своих нарядов, блеском брильянтов и талантливой игрой.

В 1889 году Чехов снова имеет дело с театром. Служивший у Корша актер Н. Н. Соловцов, подвизавшийся в чеховском водевиле «Медведь» и имевший в нем огромный успех, отошел от Корша и вместе с актрисой Абрамовой открыл в Москве, на Театральной площади, свой собственный театр. Но дела их не пошли. Не было боевых пьес. Оставалось Рождество и затем масленица, на которые только и можно было возлагать серьезные надежды. Но, чтобы сорвать сбор, нужно было иметь какую-нибудь значительную пьесу, а ее-то у Соловцова и не было. Тогда он обратился к Чехову:

— Поддержите, Антон Павлович, выручите, дайте пьесу.

До наступления Рождества оставалось всего каких-нибудь десять — двенадцать дней. Соловцов предлагал тысячу рублей — условия были заманчивы. И вот брат Антон принялся за пьесу «Леший». Каждый день он писал по акту, я переписывал их в двух экземплярах, Соловцов приезжал и отбирал эти экземпляры и посылал их с кондуктором в Петербург на цензуру. Работа кипела[77]. Брат Антон писал, Соловцов сидел сбоку и подгонял, я переписывал — и, таким образом, пьеса к сроку была готова, прошла несколько раз подряд, автор получил за нее тысячу рублей сполна. Соловцов все-таки «прогорел», а брат Антон остался своей пьесой недоволен. Да и нельзя было остаться ею довольным. «Леший» был написан наспех и поставлен у Соловцова ужасно. Необыкновенно тучная и громоздкая актриса М. М. Г. взяла на себя молоденькую роль первой инженю[78]; первый любовник Рощин-Инсаров, объясняясь перед ней в любви, не мог обхватить ее в свои объятия и называл ее прекрасной. Зарево лесного пожара было таково, что возбуждало усмешки. Брат Антон тогда же снял «Лешего» с репертуара, долго держал его в столе, не разрешая его ставить нигде, и только несколько лет спустя переделал его до неузнаваемости, дав ему совершенно другую структуру и заглавие. Получился «Дядя Ваня». В «Лешем» Антону Павловичу

очень понравился актер Зубов, и действительно этот премьер абрамовской сцены был тогда великолепен.

В это время Антона Павловича изводили приступы кашля, особенно по ночам. Незаметно, но настойчиво этот кашель подготовлял почву для серьезной его болезни, но он не хотел обращать на него внимание и серьезно лечиться. Первое кровохарканье случилось с ним еще в 1884 году в Московской судебной палате, когда он вел для «Петербургской газеты» записки по известному Рыковскому процессу. Сущность этого процесса была такова. В маленьком провинциальном городишке Скопине, Рязанской губернии, некто купец Рыков открыл банк и, благодаря широковещательной рекламе, стал стягивать к себе капиталы со всей России. В надежде получить громадные проценты на вклады, которые обещал Рыков, к нему стали посылать свои сбережения деревенские попы и дьяконы и мелкое провинциальное чиновничество. Банк стал оперировать целыми миллионами. Рыкова выбрали в городские головы, он стал украшать Скопин и превратил его из убогого городишки в приличный город; все ему верили, правление банка шло у него на поводу, и все шло благополучно до тех пор, пока, как говорили тогда, великие князья и генерал-губернаторы не стали черпать из его кассы в долг без отдачи. Правда, Рыков получал медали, ордена, но все это не восполняло кассы. В результате — крах банка, и Рыков вместе со всем своим правлением и бухгалтерами оказался на скамье подсудимых. Следствие было подстроено так, что во всем должен был оказаться главным растратчиком Рыков, что он ел омаров, раки-бордолез и пил шампанское. Стоило только ему на суде открыть рот, чтобы указать, кто именно его разорил, как прокурор тотчас же лишал его слова, и его выводили из залы суда обратно в подследственную комнату и приставляли к нему стражу. На этом процессе, на котором брату Антону приходилось просиживать в течение целых двух недель буквально и дни и ночи и в то же время писать дома в газеты, с ним приключился его первый припадок кровохарканья. Но болезнь его, в своем настоящем значении, стала выясняться для его семьи только много лет спустя, уже в Мелихове, когда писателя пришлось почти насильно отвезти в клинику в Москву[79]. Особенно тяжело прошла для него свирепствовавшая в 1888 году инфлуэнца, которую он перенес в Москве, но и при ней,

как, впрочем, и всегда, он не давал врачам выслушивать себя и поставить точный диагноз.

Особенно сильно кашлял брат Антон, когда мы жили на Кудринской-Садовой. Мы занимали там узенький, странной архитектуры двухэтажный дом. В нижнем этаже помещались кабинет и спальня брата, моя комната, парадная лестница, кухня и две комнаты для прислуг. В верхнем — гостиная, комнаты сестры и матери, столовая и еще одна комната с большим фонарем. На моей обязанности лежало зажигать в спальне у Антона на ночь лампаду, так как он часто просыпался и не любил темноты. Нас отделяла друг от друга тонкая перегородка, и мы подолгу разговаривали через нее на разные темы, когда просыпались среди ночи и не спали. Вот тут-то я и наслушался его кашля.

В это время Антон Павлович не мог оставаться один. У нас вечно толклись молодые люди, наверху играли на пианино, пели, вели шутливые разговоры, а внизу он сидел у своего стола и писал. Но эти звуки только подбадривали его. Он не мог жить без них: он всегда принимал самое живое участие в общем веселом настроении.

В этот дом впервые вошла к нам Л. С. Мизинова, или, как ее называл брат Антон, «прекрасная Лика». Это была действительно прекрасная девушка и по внешности и по внутреннему содержанию. Все на нее заглядывались. В этой девушке не было и тени тщеславия. Природа, кроме красоты, наградила ее умом и веселым характером. Она была остроумна, ловко умела отпарировать удары, и с нею было приятно поговорить. Мы, все братья Чеховы, относились к ней как родные, хотя мне кажется, что брат Антон интересовался ею и как женщиной. Она была нашей самой желанной гостьей, и ее приход или приезд к нам доставлял всем радость. Сестра моя, Мария Павловна, обыкновенно представляла ее новым знакомым так: «Подруга моих братьев и моя». Наш отец любил ее как дочь.

Познакомились мы с нею следующим образом. Мария Павловна была в то время учительницей гимназии и, возвратясь как-то оттуда домой, сказала нам, братьям:

— Вот подождите, я приведу к вам хорошенькую девицу.

И действительно, она скоро привела к нам «прекрасную Лику», девушку лет восемнадцати, конфузливую

и стыдливую, которая, по-видимому, чувствовала себя несколько неловко, когда все мы сразу окружили ее со всех сторон. Но все обошлось отлично, мы шутили, она нам очень понравилась, и было как-то странно, что и она тоже была учительницей гимназии, хотя и только что поступившей на должность. Казалось, что никто из учениц ее не мог бы слушаться. Мы думали, что этим наше знакомство и ограничится, но она пришла к нам и в следующий раз. Все мы были в это время наверху и, когда услышали ее звонок, столпились на площадке лестницы и стали во все глаза смотреть вниз. Ей сделалось неловко, и она от стыда закрыла лицо в висевшие на вешалке шубы.

Это был наш самый лучший друг. Приятели Антона Павловича увлекались ею. Художник Левитан (ну, конечно!) объяснялся ей в любви, а писатель И. Н. Потапенко заинтересовался ею всерьез. Но о ней я буду говорить еще и впереди, так как она сделалась в нашей семье буквально своим человеком.

Дом Корнеева на Кудринской-Садовой мог бы гордиться тем, что в нем перебывало столько знаменитых людей.

О визитах к нам Григоровича и Чайковского я уже говорил. Я помню, как нас дарил своей дружбой превосходный артист московского Малого театра А. П. Ленский. Он не только бывал у нас как гость, но и услаждал наш слух своими талантливыми декламациями. Еще до представления на сцене шекспировского «Ричарда III» он уже прочитал нам свою роль так, как намеревался читать ее на сцене, и, действительно, прочел изумительно. Он и упоминавшаяся мною знаменитая актриса М. Н. Ермолова владели тогда сердцами всех москвичей,— это были перворазрядные артисты и всегда выступали вместе; классический репертуар был немыслим без них. Я счастлив, что видел М. Н. Ермолову в самом начале ее сценической деятельности в Народном театре на Солянке в 1876 году, когда она еще была совсем юной актрисой, и что незадолго до ее смерти виделся с ней у нее же в доме на Тверском бульваре. Я припал к ее руке, старушка опустила голову ко мне на плечо, и мы прослезились.

М. Н. Ермолова, А. П. Ленский и А. И. Южин-Сумбатов были неподражаемы в пьесе Виктора Гюго «Эрнани». Пьеса захватила всю тогдашнюю Москву, о ней говорили везде и повсюду и обсуждали ее на все лады. Так

как в этой пьесе было, по мнению цензуры, кое-что неприемлемое для русских театров, то ее разрешено было ставить под именем не «Эрнани», как следовало на самом деле, а «Гернани», и без указания, что пьеса именно Виктора Гюго: авось публика не догадается и не пойдет в театр, чтобы лишний раз не испортить своей благонамеренности. Но театр все время был переполнен, и достать билет составляло целый подвиг.

Посетил нас на Кудринской-Садовой и артист В. Н. Давыдов — светило коршевской и александринской сцены. Это был прямо-таки необыкновенный человек. При своей тучности он был чрезвычайно подвижен. Он изображал, например, балерину, как она танцует самые замысловатые танцы, — и вам и в голову не пришло бы, что перед вами вовсе не балерина, а толстый мужчина. Тогда только что из-под пера Льва Толстого вышла «Власть тьмы». Давыдов разыграл нам ее у нас же в гостиной на все голоса, причем у него бесподобно вышла Анютка. Это был очень просвещенный человек. Когда он служил у Корша, то играл заглавную роль в чеховском «Иванове», и благодаря ему же увидел свет и одноактный этюд Чехова «Калхас» («Лебединая песня»). Я был тогда на первом представлении. Этот этюд был мне известен во всех подробностях, потому что я его переписывал не раз. И, батюшки-светы, сколько в него вставил тогда «отсебятины» Давыдов! И про Мочалова, и про Щепкина, и про других актеров, так что едва можно было узнать оригинал. Но в общем вышло недурно и так талантливо, что брат Антон не обиделся и не возразил. Давыдов неподражаемо рассказывал случаи из провинциальной актерской жизни, причем тут же разыгрывал все сцены в лицах, и нужно было быть очень флегматичным человеком, чтобы не почувствовать после его рассказов боли в брюшине от смеха.

Приехал к нам туда в первый раз и издатель «Осколков» Н. А. Лейкин. Низенький, широкоплечий и хромой на одну ногу, он представлял собою очень оригинального человека. Отличаясь большим, своеобразным гостеприимством, он и сам любил бывать в гостях, что называется — рассесться, снять сюртук и целые часы провести за столом. Он в компании любил здорово «урезать» и после сытного, обильного ужина посылал за отвратительной «углицкой» копченой колбасой и ел ее с наслаждением.

Лейкин был самородком. Из крестьян Ярославской губернии, он был привезен в Питер и отдан там в лавочники, но благодаря своему дарованию выбился в люди[80], сделался писателем, стал домовладельцем, гласным Думы и одним из заправил Городского кредитного общества. Он написал, по его словам, свыше 20 тысяч рассказов и сценок и всегда с гордостью и достоинством носил звание литератора. Его дом на Дворянской улице был открыт для всех. Он очень любил угостить приятеля и, чтобы показать ему, как он к нему расположен и как ничего не жалеет для него, всегда указывал цену того, чем угощал.

— Кушайте этот балык. Он стоит 2 рубля 75 копеек за фунт. Выпейте этой марсалы. Я заплатил за нее 2 рубля 80 копеек за бутылку. Вот эти кильки вовсе не 45-копеечные, а стоят целые 60 копеек жестянка.

Бездетный, живя лишь с супругой Прасковьей Никифоровной, он купил для себя огромное имение графа Строганова на Неве, с целым дворцом. Когда приехал к нему туда брат Антон и он повел его по комнатам и стал показывать ему свой дворец, то Антон Павлович удивился и спросил его:

— Зачем вам, одинокому человеку, вся эта чепуха?

Лейкин ответил:

— Прежде здесь хозяевами были графы, а теперь — я, Лейкин, хам.

Последний раз я встретил его в Петербурге уже после смерти брата Антона Павловича, на банкете печати в честь французской прессы, устроенном во время приезда в Петербург французской эскадры с президентом Лубе. Лейкин ударял себя кулаком в грудь, на глазах у него появились слезы, и он сказал:

— Я Чехова родил!

Этот грандиозный банкет происходил в ресторане «Медведь» на Большой Конюшенной. Было приглашено свыше тысячи человек, среди которых важно расхаживали представители французской прессы, приехавшие в Петербург вместе со своим президентом Лубе фабриковать франко-русский союз и раздувать таковые же симпатии. Среди них выделялся редактор газеты «Фигаро» Гастон Кальметт. Только утром в тот день все они были пожалованы русскими орденами и надели их на себя. Было как-то неловко видеть человека во фраке с орденом Ста-

нислава 3-й степени, болтавшимся в петличке, то есть с таким орденом, какой у нас стыдились надевать на себя сколько-нибудь уважавшие себя чиновники. Между тем, награждая французов орденами, почему-то страшно на них поскупились. Так, например, сам Гастон Кальметт получил только Анну на шею, хотя, по-видимому, был очень доволен.

Гостям были предложены концерт и ужин, которым устроители банкета хотели пустить французам пыль в глаза и показать, что такое русское гостеприимство. Танцевала Кшесинская, пела сверкавшая брильянтами Вяльцева, неистовствовал цыганский хор. Зернистая икра, осетрина, балыки, красный борщ из свеклы и прочие национальные представители русского чревоугодия были в изобилии. Суворин был избран в председатели и обратился к гостям с приветствием на французском языке. Начались речи с обеих сторон. Затем — тосты за Россию и Францию, за собратьев по перу, за седьмую великую державу (то есть за печать) и так далее, а один из русских представителей печати постучал палкой об стол и, когда водворилась тишина, очевидно в пику «Новому времени», провозгласил следующий тост:

— Поднимаю бокал за А. С. Суворина и мадам Анго.

— За кого? — спросил не расслышавший Суворин.

— За А. С. Суворина, — поправился писатель, — и за мадам Адан[31].

Не поняв, в чем дело, оркестр заиграл туш. Русские почувствовали томительную неловкость, а французы, не зная ни одного слова по-русски, стали неистово аплодировать. Тяжелое напряжение рассеялось только благодаря цыганам, которые вслед за этим инцидентом так завопили и затопали ногами, что своим шумом покрыли все русские и французские голоса.

Не помню, кто именно, но кажется, тот же Лейкин привел к нам писателя Н. С. Лескова. Тогда это был уже седой человек с явными признаками старости и с грустным выражением разочарования на лице. Он привез с собой в подарок брату Антону Павловичу свою книжку, «Стальную блоху», с надписью; но мы давно уже были знакомы с Лесковым как с писателем по его романам «Соборяне» и «Запечатленный ангел», которые нам очень нравились. К «Мелочам архиерейской жизни» мы относились как к юмористическому произведению, а «Некуда»

и «На ножах» положительно нас разочаровали. Эти два романа сильно вооружили в свое время читателей против их автора, испортили его репутацию, и бедняга Лесков заведомо был причислен к яростным реакционерам. К старости он сознал свои ошибки, искренне раскаивался в содеянных им романах, и, когда посетил брата Антона, глаза его наполнились слезами, и он трогательно сказал:

— Вы — молодой писатель, а я — уже старый. Пишите одно только хорошее, честное и доброе, чтобы вам не пришлось в старости раскаиваться так, как мне.

В это время он уже исповедовал непротивление злу, был вегетарианцем, своим ласковым, мягким обращением Лесков произвел на нас трогательное впечатление.

Как раз против нашего дома на Кудринской-Садовой помещалась редакция журнала «Артист». Издателем его был Ф. А. Куманин, высокий, крупный человек, сопевший при разговоре, за что брат Антон и прозвал его «Сапегой». В этом «Артисте» печатались пьесы брата «Медведь», «Предложение» и другие, там же нашли себе приют и два моих водевиля. По тому времени это был очень хороший, изящный журнал, в котором принимали участие лучшие силы. Между прочим, в нем поместила свое первое драматическое произведение «Летняя картинка» Татьяна Львовна Щепкина-Куперник. Я не знаю в точности, были ли с нею знакомы раньше мой брат и сестра, но только я лично имел удовольствие познакомиться с нею именно тогда; ее привел к нам Ф. А. Куманин. Это была малюсенькая, живая, интересная девушка, очень остроумная. Тогда я торопился с изучением языков и даже получил от Лики Мизиновой прозвание «Английская грамматика», так как всегда появлялся среди гостей с учебником в руках,— и меня сразу же поразило в Татьяне Львовне, тогда совсем еще юной девушке, чуть не гимназистке, ее основательное знание языков. Она стала бывать у нас, приезжала потом в Мелихово и в шутку приставала к моей матери, принимавшей это всерьез:

— Мамочка, выдайте меня замуж за вашего Мишу!

Мать слишком была тактична, чтобы вмешиваться в мою судьбу, и не знала, что ей ответить. Однажды, когда я находился в отсутствии, Татьяна Львовна прислала мне четверостишие:

Когда же, боль сердец утиша,
Ты наконец к нам прилетишь,
О Мишенька, всем Мишам Миша
И лучший Мишенька из Миш?

По мере того как она выступала в печати, ее дарование все крепло и развивалось, пока, наконец, из нее не получилась переводчица Мольера и Ростана и оригинальная беллетристка. Я могу с уверенностью сказать, что, путешествуя по всей России и заглянув почти во все ее углы, я всюду встречал молодежь, которая восхищалась ее произведениями и цитировала наизусть ее стихи. Я помню, с каким энтузиазмом публика встретила ее перевод пьесы «Принцесса Греза»[82], ставившейся в столицах и на сценах лучших провинциальных театров. Декламировались из этой пьесы целые монологи, сочинялись на ее слова романсы и распевались повсюду. Перу Щепкиной-Куперник принадлежит также и несколько оригинальных драм, с большим успехом ставившихся в столицах (и вероятно, и в провинции, в чем я совершенно не сомневаюсь), причем ее всякий раз шумно вызывала публика и награждала аплодисментами.

Впоследствии она вышла замуж за известного адвоката Н. Б. Полынова, и для меня составляло всегда большое удовольствие бывать в их гостеприимном доме. У них я познакомился со многими писателями, учеными и с людьми, близко стоявшими к искусству, имена которых сделались украшением энциклопедических словарей.

В один из своих приездов в Мелихово Татьяна Львовна, вместе с Антоном Чеховым, крестила у наших соседей Шаховских их дочь, и с тех пор мой брат Антон всегда величал ее «кумой».

Через Татьяну Львовну я познакомился с артисткой Л. Б. Яворской. Я никогда не был поклонником ее дарования, особенно мне не нравился ее голос, сиплый, надтреснутый, точно у нее постоянно болело горло. Но она была женщина умная, передовая, ставила в свои бенефисы пьесы, как тогда выражались, «с душком», ее любила молодежь, и у нее определенно был литературный вкус. Во всяком случае, она пользовалась большим успехом у Корша в Москве и у Суворина в Петербурге, где публика буквально носила ее на руках. Между прочим, благодаря ей, но без всякой вины с ее стороны, я упустил в жизни случай, который не повторился уже больше никогда.

Это был период в жизни Антона Чехова, когда работа в «Русской мысли» сблизила его с членами этой редакции

М. А. Саблиным и В. А. Гольцевым. К этой компании примкнул и И. Н. Потапенко, и в обществе «прекрасной Лики», моей сестры, Танечки Куперник и других они провели несколько вечеров у Тестова и в «Эрмитаже». Раза два принимал участие в этих вечерах и я. Это были милые, незабвенные часы. Чехов и Потапенко были неистощимы на остроты, а слегка подвыпивший В. А. Гольцев говорил речи, всякий раз начиная их своей стереотипной фразой:

— Позвольте мне, лысому российскому либералу...— и так далее.

Вся эта компания тянулась всегда за Антоном и шла туда, куда предлагал именно он. Тогда морским министром был назначен адмирал Авелан, и милые собеседники прозвали Чехова Авеланом, а себя — его эскадрой.

В промежутках «эскадра» собиралась или в «Лувре» у Л. Б. Яворской, или же в «Мадриде» у Т. Л. Щепкиной-Куперник, так что снова повторилась фраза, сказанная когда-то Людовиком XIV.

— Нет больше Пиренеев!

Я находился в глухой провинции[83], далеко от всяких железных дорог, когда получил однажды в январе от брата Антона письмо. Он уведомлял меня, что 12 января, в Татьянин день, по случаю университетского праздника, большинство самых популярных профессоров, артистов и представителей прессы предполагают собраться где-нибудь на частной квартире и без помехи говорить речи и вообще отпраздновать этот день так, «чтоб чертям жутко было». Брат Антон советовал мне не упускать этого редкого случая, воспользоваться им, так как это не всегда бывает, приехать в Москву и принять участие в вечере. Конечно, я обрадовался этому предложению, как манне небесной. Но дело в том, что это письмо от брата я получил только 11 января, и трудно было надеяться, чтобы, за дальностью расстояния, я поспел к самому началу вечера Татьяниного дня. Но я не унывал. Я быстро собрался и поехал. Несмотря на жестокий мороз, я целых 105 верст проехал в санях до ближайшей железнодорожной станции, затем ехал в вагоне и прибыл в Москву 12 января вечером, в самый разгар пирушки. Она происходила в квартире известного педагога Д. И. Тихомирова на Тверской, в доме Пороховщикова, и когда я вошел, то было шумно, весело и светло, и за громадным столом

я увидел весь цвет тогдашней московской интеллигенции. Профессор К. говорил речь. Не успел я сесть за стол, как ко мне бросились М. А. Саблин и В. А. Гольцев и стали упрашивать меня, чтобы я съездил в «Лувр» и привез как можно скорее Танечку Куперник и Яворскую. Все присутствующие поддержали их.

— Будь добр, роднуша! — упрашивал меня Саблин. — Да как можно скорее! Скажи, что все мы их ждем!

Отказываться было неудобно, я с неохотой встал из-за стола и, достаточно уставший с дороги, поехал в «Лувр».

Там мне сказали, что Татьяна Львовна сейчас в театре Корша, но очень просила, что если за ней пришлют, то чтобы немедленно дали ей знать.

На том же извозчике я поскакал в театр Корша. Я нашел Татьяну Львовну в директорской ложе и передал ей приглашение на вечеринку. Она тотчас отправилась на сцену к Яворской, которая в этот вечер выступала в «Даме с камелиями», и я остался в ложе один. Затем она вернулась и сообщила, что Яворская просит подождать, так как по случаю Татьяниного дня спектакль должен окончиться очень рано, ей же остается еще «только умереть» — и затем она готова. С грустью в сердце я просидел целые два акта в ложе, вместо того чтобы быть на вечеринке и слушать либеральных профессоров. А когда Яворская наконец «умерла», то оказалось, что она была так нервно потрясена от своей игры, что ей надо было успокоиться и прийти в себя. Театр опустел, погасили огни, а я все сижу в ложе и жду. Наконец, Яворская пришла в себя, мы вышли втроем на воздух, и она объявила, что ей еще нужно заехать к себе в «Лувр», чтобы смыть с себя грим и переодеться.

Мы отправились в «Лувр». Был уже двенадцатый час ночи.

А когда мы приехали наконец в дом Пороховщикова к Тихомировым, то вечеринка уже окончилась, вся публика разъехалась, и прислуга убирала со стола.

Так кончился для меня много обещавший вечер 12 января 1894 года.

На другое утро я встретился с братом Антоном у него в номере «Большой Московской». Он посмотрел на меня с сожалением, мотнул головой и сказал:

— Эх ты!..

И больше ничего.

И действительно: эх я!

Был у нас в те времена и еще один знакомый: это — несравненный человек, профессор политической экономии А. И. Чупров. Его очень любила молодежь, а слушательницы Высших женских курсов Герье, в том числе и моя сестра Мария Павловна, увлекались им. Это был необыкновенно порядочный человек, отличающийся при этом глубокой ученостью и огромным ораторским талантом. С безграничным участием относившийся к учащейся молодежи, он вечно за кого-нибудь хлопотал, кого-нибудь выгораживал и у правительства был на самом худом замечании. Я бывал у него, и мне прежде всего бросалась в глаза та скромная, даже, пожалуй, бедная обстановка, в которой он жил. А между тем, как профессор, он получал не мало. Говорили, что он очень благотворил. Его отличительной чертой было то, что он решительно никому не отказывал в услуге. Так, когда у меня захворал чахоткой товарищ и клиника отказалась его держать и уже вызвала с дальнего юга его отца, чтобы он забрал его, как безнадежно больного, и увез домой, — у этого отца положительно не было ни одной копейки не только чтобы увезти с собой умиравшего сына, но даже досыта поесть в какой-нибудь грошовой кухмистерской или столовой. А между тем на одни только билеты на проезд в третьем классе требовалось для двоих около 40 рублей. Где их было взять? Я набрался храбрости и пошел к А. И. Чупрову. Так, мол, и так, помогите, дорогой Александр Иванович! Выручите, профессор!

Он поправил на себе очки, откинулся на кресле назад и глубоко вздохнул.

— Что ж я могу для вас, голубчик, сделать? — ответил он. — Как раз и у меня-то самого сейчас денег, как говорится, кот наплакал. Давайте раскинем умом! — Он подумал. — Вот что, — продолжал он. — Рисковать — так рисковать. Я напишу сейчас записку к миллионеру Асафу Баранову, а вы снесите ее к нему на Новинский бульвар и, ничего не говоря, суньте ему ее в дверь. Больше ничего!

Я отправился на Новинский бульвар, сунул Баранову записку в дверь и безнадежно поплелся восвояси. Вечером я получил от Баранова конверт; в нем оказалась записка следующего содержания: «В кассу Курского вокзала в Москве. Предоставить г-ну Чехову для двух больных отдельное купе 1-го класса Москва — Таганрог».

На Новинском бульваре жил брат знаменитого драматурга А. Н. Островского, Петр Николаевич. Когда Антон Павлович писал свою «Степь», А. Н. Плещеев сообщил ему из Петербурга, что у него есть в Москве друг, именно Петр Николаевич Островский, который обладает замечательным критическим талантом, но так робок, что боится выступать в печати; при этом, писал А. Н. Плещеев, это поразительно добрый и образованный человек. И действительно, вскоре после этого к нам пришел уже пожилой рыжий человек, который отрекомендовался Петром Николаевичем Островским. Антон Павлович усадил его, и между ними начался тотчас же чрезвычайно интересный разговор о литературе; я сидел тут же и слушал его. Когда Петр Николаевич ушел, очень надымив в кабинете плохой сигарой, то брат Антон Павлович сказал мне:

— Замечательный критик! А сколько погибло цивилизаций и великолепных произведений искусства только потому, что в свое время не было хороших критиков!

Через несколько времени, окончив свою «Степь», Антон Павлович позвал меня к себе и вручил мне ее со словами:

— Миша, отнеси это к Островскому, пусть он прочтет!

Я понес рукопись к Петру Николаевичу на Новинский бульвар и имел удовольствие познакомиться у него с сестрой и матушкой нашего великого драматурга[84]. Меня приняли очень ласково, причем Петр Николаевич убеждал меня изучать языки, а сестра его, Надежда Николаевна, расспрашивала меня, в каких детских журналах я сотрудничаю. Оказалось, что и она тоже пописывала детские рассказы.

Кажется, на другой или на третий день после того как Чехов послал Островскому только что законченную рукопись «Степи», Петр Николаевич сам занес к Антону Павловичу его «Степь» и при ней толстое письмо. Он не вошел к нам в дом, а позвонил и подал их через дверь. Вероятно, постеснялся или из скромности, потому что в конверте оказалась пространная критика «Степи», которая очень понравилась автору своей деловитостью.

Говоря об Островских, мне хочется не забыть и того, что я знал об отношениях старших братьев. У Александра и Петра Николаевичей Островских был брат Михаил Николаевич, министр государственных имуществ, необыкно-

венный сухарь и самый заядлый петербургский чиновник. Антон Павлович любил рассказывать про него следующую историю.

— Бывало, драматург А. Н. Островский после представления какой-нибудь своей пьесы в Александринском театре прображничает с актерами всю ночь и, когда уже поздним утром возвращается с перегаром домой, вдруг вспоминает, что у него в Петербурге есть брат-министр, которого по родству следовало бы навестить. Он приказывает извозчику ехать прямо в министерство. Михаил Николаевич уже у себя в кабинете. Докладывают. «Проси». Входит прокутивший всю ночь драматург.

Не отрываясь от бумаг, министр указывает ему на кресло и продолжает подписывать.

— Да, брат Миша,— начинает драматург,— и кутнули же мы здорово! Горбунов сочинил такой, брат, монолог, что пальчики оближешь. А такой-то, черт его подери, был в ударе и такое рассказывал, что до сих пор животики от смеха болят. А потом поехали к цыганам... А после этого всей компанией отправились на Новую деревню и, чтобы не мутило, выпили у какого-то лавочника по ковшу огуречного рассольцу...

Министр резко откидывается на спинку кресла, бросает перо и сухо обрывает брата:

— Ничего я не вижу, Саша, в этом хорошего!

Драматург поднимается и с укоризной отвечает:

— А что ж, по-твоему, эти твои бумаги лучше?

И братья расстаются.

Из встреч в корнеевском доме я не забуду и следующую. Однажды вся наша семья сидела наверху (мы кончали обедать), когда вдруг внизу послышался звонок. Сестра кого-то ожидала, вышла из-за стола и стала спускаться вниз. Я ее опередил и, так как пришедшему никто не отворял, сам отпер парадную дверь и впустил гостя. Это был невысокого роста человек с окладистой широкой бородой.

— Я Короленко...— сказал он.

Боже мой! — Короленко! Вот неожиданность!

Мы все уже давно были знакомы с его произведениями, увлекались ими, а «Сон Макара» я знал чуть не наизусть.

В это время и брат Антон стал спускаться по лестнице вниз. Они познакомились, и мы трое вошли в кабинет.

Бывает иногда так, что совершенно чужие, незнакомые люди вдруг сходятся сразу, с первого же слова. Так произошло и на этот раз. Короленко очаровал нас своей простотой, искренностью, скромностью и умом. Разговорились. Я жадно слушал, как он рассказывал о своей ссылке в Сибирь, куда не только Макар не гонял своих телят, но даже и ворон не залетал. А когда после долгих лет изгнания он получил наконец право возвратиться в Россию и, добравшись до Тюмени, сел на поезд железной дороги, то так обрадовался вагону, что стал громко при всех рыдать.

— Сижу и плачу...— рассказывал он.— Пассажиры думают, что это я с горя, а я, наоборот, от радости.

Он засиделся до вечера. Антон Павлович пригласил его наверх, где наши мать и сестра уже хлопотали около самовара, и мы и там продолжали его слушать.

Приезжал он к брату Антону и в Ялту после исключения М. Горького из числа академиков; оба они обсуждали вопрос о том, как бы устроить так, чтобы в виде протеста отказались от своих академических мест и все остальные почетные академики. Кажется, они встречались еще и в Нижнем Новгороде, и в Петербурге. Я очень сожалею, что судьба не дала мне случая столкнуться вновь с этим замечательным человеком. Но воспоминание о первом знакомстве с ним не изгладится из моей памяти никогда.

VIII

Как осуществлялась поездка Антона Павловича на Сахалин.— Возвращение.— В Туле на вокзале.— Бурят-иеромонах и мангусы.— Чехов в Европе.— На даче под Алексином.— Жизнь в Богимове.— В работе над «Дуэлью».— Споры Антона Павловича с Вагнером на тему о вырождении.

В апреле 1890 года Антон Павлович предпринял поездку на остров Сахалин. Поездка эта была задумана совершенно случайно. Собрался он на Дальний Восток как-то вдруг, неожиданно, так что в первое время трудно было понять, серьезно ли он говорит об этом или шутит.

В 1889 году я кончил курс в университете и готовился к экзаменам в государственной комиссии, которая открылась осенью этого года, и потому пришлось повторять лекции по уголовному праву и тюрьмоведению. Эти лекции заинтересовали моего брата, он прочитал их и вдруг

засбирался[85]. Начались подготовительные работы к поездке. Ему не хотелось ехать на Сахалин с пустыми руками, и он стал собирать материалы. Сестра и ее подруги делали для него выписки в Румянцевской библиотеке, он доставал оттуда же редкие фолианты о Сахалине. Работа кипела. Но его озабочивало то, что его, как писателя, не пустят на каторгу или же покажут ему не все, а только то, что можно показать. Антон Павлович отправился в январе 1890 года в Петербург хлопотать о том, чтобы ему был дан свободный пропуск повсюду. С другой стороны, его беспокоило то, что его поездке могут придать официальный характер. Обращение к стоявшему тогда во главе главного тюремного управления М. Н. Галкину-Враскому не принесло никакой пользы, и без всяких рекомендаций, а только с одним корреспондентским бланком[86] в кармане он двинулся наконец на Дальний Восток.

В апреле мы проводили его в Ярославль. На вокзале собралась вся наша семья и знакомые, причем Д. П. Кувшинников повесил ему через плечо в особом кожаном футляре бутылку коньяку со строгим приказом выпить ее только на берегу Великого океана (что Чехов потом в точности и исполнил).

Была поздняя, холодная весна. Чехов должен был по Волге и Каме добраться до Перми и оттуда по железной дороге до Тюмени, а потом продолжать весь свой путь через всю Сибирь на тарантасе и по рекам. Великой Сибирской железной дороги тогда еще не существовало, и с неимоверными трудностями и лишениями, застигнутый в дороге половодьем и распутицами, брат Антон добрался наконец 11 июля до Сахалина, прожил на нем более трех месяцев, прошел его весь с севера на юг, первый из частных лиц сделал там всеобщую перепись населения, разговаривал с каждым из 10000 каторжных и изучил каторгу до мельчайших подробностей. Проехал он на лошадях, при самых неблагоприятных условиях, целые два месяца, совершив переезд на колесах свыше 4000 верст.

Как ни было неожиданно решение брата Антона ехать на Сахалин, но оно было твердо и крепко основывалось на его глубоком убеждении в том, что он должен ехать туда во что бы то ни стало. Он не был уверен в том, что эта его поездка даст какой-нибудь ценный вклад в науку или в литературу, но рассчитывал, что за всю эту поездку для него выпадут два-три дня, о которых он будет потом

с горечью или с восторгом вспоминать всю жизнь. Но, по-видимому, главной причиной его поездки на Сахалин было осознание того, что, как он писал А. С. Суворину, «Сахалин — это место невыносимых страданий, на какие только бывает способен человек вольный и подневольный... Жалею, что я не сентиментален, а то я сказал бы, что в места, подобные Сахалину, мы должны ездить на поклонение, как турки ездят в Мекку... Из книг, которые я прочел и читаю, видно, что мы сгноили в тюрьмах *миллионы* людей, сгноили зря, без рассуждения, варварски; мы гоняли людей по холоду в кандалах десятки тысяч верст, заражали сифилисом, развращали, размножали преступников и все это сваливали на тюремных красноносых смотрителей. Теперь вся образованная Европа знает, что виноваты не смотрители, а все мы...» (9 марта 1890 года).

Отправляясь в такой дальний путь, Антон Павлович и все мы были очень непрактичны. Я, например, купил ему в дорогу отличный, но громоздкий чемодан, тогда как следовало захватить с собой кожаный, мягкий и плоский, чтобы можно было на нем в тарантасе лежать. Нужно было взять с собою чаю, сахару, консервов,— всего этого в Сибири тогда нельзя было достать. Необходимо было захватить с собою лишние валенки или, наконец, те, которые им были взяты с собою, предварительно обсоюзить кожей. Но всего этого мы не сделали. А между тем нашего путешественника ожидали впереди «страшенный холодище» днем и ночью, необыкновенное разлитие рек, борьба «не на жизнь, а на смерть» с препятствиями, полное отсутствие еды в дороге, кроме «утячей похлебки», а затем — глубокая грязь, в которой он «не ехал, а полоскался», и далее — жара, пыль и удушливый дым от громадных лесных пожаров. Легочный процесс тогда еще не особенно сильно давал себя знать. Привыкший к простому образу жизни, умевший удовлетворяться лишь самым малым и не жаловавшийся ни на что, Антон Чехов бодро продолжал свой путь.

В его отсутствие судьба забросила меня в город Алексин, Тульской губернии, расположенный на высоком берегу Оки. Это был тогда жалкий городишко, только в 700 жителей, но отличавшийся великолепным климатом. Окрестности его были очаровательны. Вид с кручи, с того места, где находится собор, вниз на Оку, на протянувший-

ся через нее, как кружево, железнодорожный мост, на поселок со станцией на том берегу, а главное, на большую дорогу, обсаженную березами, и рядом с ней на железнодорожное полотно, в особенности когда шел поезд,— не поддается описанию. По ту сторону у самой станции, на лужку, некто Ковригин выстроил три дачки. Из одной дачи был виден весь железнодорожный мост и круто поднимавшийся противоположный берег Оки. Я и не воображал тогда, что эта дачка сыграет в нашей жизни роль.

7 декабря со скорым поездом в пять часов вечера Антон Чехов возвратился в Москву. Еще из Одессы он дал мне в Алексин телеграмму, чтобы я встретил его именно в Москве вместе со всеми родными. Так как мы поджидали его к десятому, а он приехал на три дня раньше, то пришлось спешить, и мы с матерью, которая в это время гостила у меня в Алексине, решили выехать к нему навстречу в Тулу, так как добраться до Москвы раньше его мы все равно не успели бы. Когда мы подъехали к Туле, скорый поезд, на котором ехал Антон, уже прибыл с юга, и брат обедал на вокзале в обществе мичмана Глинки, возвращавшегося с Дальнего Востока в Петербург, и какого-то странного с виду человека-инородца, с плоским широким лицом и с узенькими косыми глазками. Это был главный священник острова Сахалина, иеромонах Ираклий, бурят, приехавший вместе с Чеховым и Глинкой в Россию и бывший в штатском костюме нелепого сахалинского покроя. Антон Павлович и Глинка привезли с собою из Индии по комнатному зверьку мангусу, и, когда они обедали, эти мангусы становились на задние лапки и заглядывали к ним в тарелки. Этот сахалинский иеромонах с плоской, как доска, физиономией и без малейшей растительности на лице и эти мангусы казались настолько диковинными, что вокруг обедавших собралась целая толпа и смотрела на них, разинув рты.

— Это индеец?—слышались вопросы.—А это обезьяны?

После трогательного свидания с писателем я и мать сели с ним в один и тот же вагон, и все пятеро покатили в Москву. Оказалось, что, кроме мангуса, брат Антон вез с собой в клетке еще и мангуса-самку, очень дикое и злобное существо, превратившееся вскоре в пальмовую

кошку, так как продавший ее ему на Цейлоне индус попросту надул его и продал ее тоже за мангуса.

В Москву мы приехали уже при огнях, и не успел наш поезд подойти к вокзалу, как в вагон ворвалась дама с криками: «Где сын? Где сын?» — и бросилась обнимать Глинку. Это была его мать, баронесса Икскуль, выехавшая к нему навстречу из Петербурга.

С вокзала поехали домой на Малую Дмитровку, в дом Фирганга: брат Антон с матерью впереди, а я с «индейцем» позади. Почтенный бурят остановился у нас. По приезде мангуса спустили с веревочки, чтобы дать ему отдохнуть с дороги, и отворили дверцу клетки пальмовой кошки. Она тотчас же выскочила из нее и забилась глубоко под библиотечный шкаф, из-под которого вылезала потом очень редко, да и то большею частью только по ночам, чтобы есть. Мангус с первых же минут почувствовал себя в Москве как дома. Он сразу вообразил себя хозяином, и не было никакой возможности унять его любопытство. Он то и дело вставал на задние лапки и совал свою острую мордочку положительно повсюду, в каждую щелочку, в каждое отверстие. Ничего не ускользало от его внимания. Он выскребывал грязь из узеньких щелочек в паркете, отдирал обои и смотрел, нет ли там клопов, прыгал на колени и совал нос в стаканы с чаем, перелистывал книги и залезал лапкой в чернильницу. Раза два или три он поднимался на задние лапки и заглядывал в горящую лампу сверху. Когда он оставался в комнате один, то начинал тосковать, и когда к нему возвращались, он искренне радовался, как собака. К сожалению, сожительство с ним в тесной квартире, да еще зимой, и в особенности с пальмовой кошкой, на которую он ожесточенно нападал, оказалось очень неудобным. В своих экскурсиях за мухами, пауками и вообще из-за необыкновенного любопытства мангус так много портил вещей, так много рвал одежды, обоев и обуви, а главное — ставил Антона Павловича в такое подчас неловкое положение перед посещавшими его знакомыми, что все мы с нетерпением ожидали лета, когда можно будет выехать на дачу и предоставить мангусу свободу на лоне природы. Когда к нам приходил кто-нибудь из гостей и оставлял в прихожей на окошке шляпу или перчатки, можно было смело ожидать, что мангус найдет способ туда проникнуть, вывер-

нуть наизнанку перчатки и разорвать их и сделать кое-что неприличное в цилиндр.

Что же касается пальмовой кошки, то она так и не привыкла к человеку. Все время она пряталась, уединялась, и когда приходили к нам полотеры и, разувшись, начинали натирать полы, она вдруг неожиданно выскакивала из-под шкафа и вцеплялась полотеру в босую ногу. Тот ронял щетку и воск, хватался за ногу, громко взвизгивал и восклицал:

— А чтоб ты издохла, проклятая!

Квартира на Малой Дмитровке была очень тесна, и когда я приезжал, поневоле приходилось иной раз устраиваться на ночлег на полу. Бывало, нечаянно дрыгнешь во сне ногой под одеялом, и вдруг тебе в ногу впивался острыми зубами какой-то нечистый дух: это выползала ночью из-под шкафа пальмовая кошка, забиралась, чтобы погреться, ко мне под одеяло и больно, до крови кусалась.

Брат Антон привез с собою из Сахалина гипсовые группы, исполненные местным каторжником-скульптором и изображавшие сцены из повседневного сахалинского быта: телесное наказание, приковывание провинившегося к тачке и тому подобное; к сожалению, эти группы были сделаны из плохого материала и скоро рассыпались сами собой. Конечно, Антон Павлович рассказывал о своих впечатлениях, и в особенности мне, по ночам, так как за теснотою квартиры мы спали вместе в одной комнате. Между прочим, на меня произвели впечатление три сюжета. Когда он возвращался обратно через Индию на пароходе «Петербург» и в Китайском море его захватил тайфун, причем пароход шел вовсе без груза и его кренило на 45 градусов, к брату Антону подошел командир «Петербурга» капитан Гутан и посоветовал ему все время держать в кармане наготове револьвер, чтобы успеть покончить с собой, когда пароход пойдет ко дну. Этот револьвер теперь хранится в качестве экспоната в Чеховском музее в Ялте. Другой случай — встреча с французским пароходом, севшим на мель. «Петербург» по необходимости должен был остановиться и подать ему помощь. Спустили проволочный канат-перлинь, соединили его с пострадавшим судном, и когда стали тащить, канат лопнул пополам. Его связали, прицепили снова, и французский пароход был спасен. Всю дальнейшую дорогу французы, сле-

довавшие позади, кричали «Vive la Russie!»* и играли русский гимн; и затем оба парохода разошлись, каждый поплыл своей дорогой. Каково же было разочарование потом, когда на «Петербурге» вспомнили, что забыли на радостях взыскать с французов тысячу рублей за порванный перлинь (все спасательные средства ставятся в счет спасенному), и, таким образом, эта тысяча рублей была разложена на всех подписавших протокол о спасении французского судна, в том числе и на моего брата Антона. Третий случай — купанье его в Индийском океане. С кормы парохода был спущен конец. Антон Павлович бросился в воду с носа на всем ходу судна и должен был ухватиться за этот конец. Когда он был уже в воде, то собственными глазами увидел рыб-лоцманов и приближавшуюся к нему акулу («Гусев»). За все эти перипетии он был вознагражден потом на острове Цейлоне, в этом земном раю. Здесь он, под самыми тропиками, в пальмовом лесу, в чисто феерической, сказочной обстановке, получил объяснение в любви от прекрасной индианки.

После грандиозного путешествия жизнь в Москве сразу же показалась Антону Павловичу неинтересной, и он уже через несколько дней уехал в Петербург[87] повидаться с Сувориным. Затем оба они вместе уехали за границу. До этого он еще ни разу не бывал в Западной Европе.

Антон Павлович побывал в Вене, но «голубоглазая Венеция» превзошла все его ожидания. Он пришел от нее в детский восторг. Ее каналы, здания, плаванье в гондолах, площадь Святого Марка и прекрасные вечера заставили его, побывавшего в земном раю на Цейлоне, сознаться, что ничего «подобного Венеции он еще не видал. Хочется здесь навеки остаться»,— писал он брату Ивану. Из Ниццы он отправился в Монте-Карло, где проиграл в рулетку 900 франков, но этот проигрыш он ставил себе в заслугу. Он получил благодаря ему новое впечатление, вероятно, подобное тому, какое он испытывал в Индийском океане, когда бросался на всем ходу с парохода в воду: это было его купаньем. Он писал мне по поводу проигрыша: «Я лично очень доволен собой». Побывав в Неаполе, где он влезал на кратер Везувия, и в Париже, где вкусил всей его премудрости, Антон Павлович повернул, наконец, обратно в Москву.

---

* «Да здравствует Россия!» *(фр.)*

А тем временем подкрадывался уже май, когда необходимо было подумывать о даче, так как нельзя же было прожить все лето в Москве.

И вот мне было поручено найти дачу под Алексином — «во что бы то ни стало». Мои поиски помещения в чьей-нибудь усадьбе оказались безрезультатными, а время не ждало, и я снял одну из тех жалких ковригинских дач у железнодорожного моста на берегу Оки, о которых писал выше.

3 мая, всего только на другой день по возвращении своем из-за границы, Антон Павлович был уже в Алексине. Конечно, моя дача ему не понравилась, так как при ней не было даже забора, а стояла она одиноко у опушки леса, было вообще неуютно и невесело, и к тому же с первого же дня задул такой ветер, что не хотелось выходить на воздух.

Поселившись под Алексином, мы тотчас же выписали «прекрасную Лику». Она приехала к нам на пароходе через Серпухов вместе с Левитаном, и, откровенно говоря, нам негде было их обоих положить. Начались смехи, неистощимые остроты Антона Павловича, влюбленные вздохи Левитана, который любил поманерничать перед дамами. Вообще у нас на берегу Оки сразу как-то повеселело.

Вместе с Ликой и Левитаном ехал на пароходе, тоже до Алексина, молодой человек в поддевке и в больших сапогах, оказавшийся местным помещиком, некто Е. Д. Былим-Колосовский. Они познакомились. Узнав от Лики, что она едет к Чеховым, которые поселились на даче у железнодорожного моста, Былим-Колосовский принял это к сведению, потому что не прошло и двух дней, как он уже прислал за нами две тройки, приглашая нас к себе. Это было ново для нас, и мы поехали. Путешествие было довольно интересное и загадочное, так как этого Былим-Колосовского мы, Чеховы, не видали в глаза. Проехав 10—12 верст, мы увидали себя в великолепной запущенной барской усадьбе Богимово, с громадным каменным домом, с липовыми аллеями, уютной рекой, прудами, водяной мельницей и прочим, и прочим. Комнаты в доме были так велики, что эхо повторяло слова. В гостиной были колонны, в зале — хоры для музыкантов. Кончилось дело тем, что, побывав в Богимове, Антон Павлович так пленился им, что решил переселиться туда.

Неделю спустя он уже писал той же Лике, которая уже успела возвратиться обратно в Москву: «Золотая, перламутровая и фильдекосовая Лика... мы оставляем эту дачу и переносим нашу резиденцию в верхний этаж дома Былим-Колосовского, того самого, который напоил Вас молоком и при этом забыл угостить Вас ягодами», а на следующий день после этого письма отправил к А. С. Суворину следующие строки: «Ликуй ныне и веселися, Сионе... Я познакомился с некиим помещиком Колосовским и нанял в его заброшенной, поэтической усадьбе верхний этаж большого каменного дома. Что за прелесть, если бы Вы знали! Комнаты громадные, как в Благородном собрании, парк дивный, с такими аллеями, каких я никогда не видел, река, пруд, церковь для моих стариков и все, все удобства». И еще через три дня — ему же: «Я перебрался на другую дачу. Какое раздолье!.. Когда мы устанавливали мебель, то утомились от непривычного хождения по громадным комнатам. Прекрасный парк, пруд, речка с мельницей, лодка — все это состоит из множества подробностей, просто очаровательных».

В Богимове мы уже застали «готовых» дачников: это были В. А. Вагнер, впоследствии известный профессор зоологии, живший там с женой и тетушкой, и семья известного художника академика А. А. Киселева, которая состояла из премилых детей-подростков, угощавших Антона Павловича спектаклями из ими же самими инсценированных его рассказов. Таким образом, в интеллигентной компании недостатка не было, и жизнь потекла далеко не скучно.

Брат Антон занимал в Богимове бывшую гостиную — громадную комнату с колоннами и с таким невероятных размеров диваном, что на нем можно было усадить рядком с дюжину человек. На этом диване он спал. Когда ночью проносилась гроза, от ярких молний вспыхивали все громадные окна, так что становилось даже жутко. Каждое утро Антон Павлович поднимался чуть свет, часа в четыре утра, и вставал вместе с ним спозаранку и я. Напившись кофе, Антон Павлович усаживался за работу, причем всегда писал не на столе, а на подоконнике, то и дело поглядывая на парк и на поднимавшийся за ним горизонт. Писал он свою повесть «Дуэль» и приводил в порядок сахалинские материалы, что действительно представляло собой каторжную работу. Занимался он, не

отрываясь ни на минуту, до одиннадцати часов утра, после чего ходил в лес за грибами, ловил рыбу или расставлял верши. В час дня мы обедали, причем на моей обязанности лежало приготовить какую-нибудь вкусную горячую закусочку, о чем всегда просила меня мать,— и я изощрялся на все лады и достиг такого совершенства, что из меня выработался потом довольно сносный и изобретательный кулинар. И сам брат Антон настолько привык в Богимове к моему творчеству, что всякий раз, выходя к обеду, обращался ко мне с вопросом:

— Миша, нет ли у тебя чего-нибудь такого-этакого подзакусить?

Часа в три дня Антон Павлович снова принимался за работу и не отрывался от нее до самого вечера. Вечером же начинались дебаты с зоологом В. А. Вагнером на темы о модном тогда вырождении, о праве сильного, о подборе и так далее, легшие потом в основу философии фон Корена в «Дуэли». Интересно, что, побывав на Сахалине, Антон Павлович во время таких разговоров всегда держался того мнения, что сила духа в человеке всегда может победить в нем недостатки, полученные в наследственность. Вагнер утверждал: раз имеется налицо вырождение, то, конечно, возврата обратно нет, ибо природа не шутит; а Чехов возражал: как бы ни было велико вырождение, его всегда можно победить волей и воспитанием.

Между прочим, в Богимово были перевезены также и мангус с пальмовой кошкой. Как-то в июле мангус дал нам представление. Мы сидели большой компанией в парке, в одной из липовых аллей, как вдруг выползла длинная, в метр величиной, змея. Дети художника Киселева испугались и повскакали с мест, да и нам, взрослым, стало противно.

— Мангуса сюда! — крикнул брат Антон.— Скорее!

Я сбегал за зверьком и спустил его на землю. И едва он увидел змею, как превратился вдруг в круглый шар и так и замер на месте. Со своей стороны, змея, почуяв невиданного врага, свернулась клубочком и подняла голову кверху. Произошла долгая немая сцена взаимного гипноза. Затем мангус вдруг точно очнулся от него, бросился на змею, схватил ее зубами за голову, разгрыз и потащил за собою в траву.

Здесь, в Богимове, Антона Павловича посетил Суворин, приезжала из Сум Н. М. Линтварева, но главной нашей гостье — «прекрасной Лике» — так и не удалось к нам приехать. Это нас очень огорчало.

Было и еще одно развлечение в Богимове, это — устроенная Антоном Павловичем рулетка. Он так писал Суворину: «...мы устроили себе рулетку. Ставка не больше копейки. Доход рулетки идет на общее дело — устройство пикников. Я крупье» (27 мая, 4 часа утра).

Наконец, жизнь с мангусом стала прямо невозможной. Один из мангусов убежал, долго пропадал, о нем уже стали забывать, когда нашли его далеко от нас, верст за семь, в каменоломне, толстого и разжиревшего. Он сам пошел в руки нашедшему его человеку. Возвратившись осенью из Богимова в Москву, еще кое-как дотерпели до зимы, а потом Антон Павлович написал письмо в Зоологический сад с просьбой принять от него этих зверей в дар. Был трескучий мороз, приехал какой-то молодой человек в золотых очках, приехал — и с той поры мангус и его спутница, пальмовая кошка, сделались украшением Зоологического сада. Сестра Мария Павловна не раз там их навещала.

IX

Покупка Мелихова. — Дневник отца о мелиховской жизни. — Медовый месяц землевладения Чеховых. — Чеховское «герцогство». — Антон Павлович — мелиховский врач. — «Водяной» вопрос. — Зимой 1893 года. — Потапенко в Мелихове. — «Валахская легенда» Брага и история создания «Черного монаха». — Наплыв гостей. — Приезд М. О. Меньшикова. — Негласный надзор за Антоном Павловичем. — Картограмма доктора Куркина. — Иван Германович Витте. — Новые постройки. — Флигель, где писалась «Чайка». — Сотский Бавыкинского волостного правления.

Еще живя в Сумах Харьковской губернии, брат Антон задумал купить свой собственный хутор. Два раза он ездил с этой целью в Полтавскую губернию, где чуть не состоялась эта покупка в Сорочинцах, близ гоголевского Миргорода, а после лета, проведенного в Богимове, желание поселиться навсегда в имении перешло в твердое решение.

Зимою 1892 года это решение осуществилось на деле: Чехов стал землевладельцем. Прочитав в газете объявление о продаже какого-то имения близ станции Лопасня

Московско-Курской железной дороги, сестра и я отправились его смотреть. Никто никогда не покупает имения зимою, когда оно погребено под снегом и не представляется ни малейшей возможности осмотреть его подробно, но мы оба были тогда совсем непрактичны, относились доверчиво ко всем, а главное — Антон Павлович поставил нам ультиматум, что если имение не будет куплено теперь же, то он уедет за границу, и потому мы, по необходимости, должны были спешить. От станции имение отстояло в 12—13 верстах, и какова была к нему дорога, можно ли было по ней проехать в слякоть — этого мы узнать не могли, так как ехали на санях по глубокому снегу, по пути, накатанному напрямик. К тому же ямщики, которые возили покупателей осматривать это имение, считали себя обязанными его расхваливать.

Мы приехали. Все постройки были выкрашены в яркие, свежие цвета, крыши были зеленые и красные, и на общем фоне белого снега усадьба производила довольно выгодное впечатление. Но в каком состоянии находились леса, были ли они еще на корню или состояли из одних только пней, мы этого узнать не могли, да, признаться, это нас и не интересовало. Мы верили. Нужна была усадьба более или менее приличная, чтобы можно было в нее въехать немедленно, а эта усадьба, по-видимому, такому требованию могла удовлетворить. Мы видели кругом постройки, но принадлежат ли они к этой именно усадьбе или к другой, соседней, мы спросить не догадались; нас беспокоило только одно — это близость деревни, которая находилась тут же, по ту сторону решетки, составлявшей собою одну из сторон улицы этой деревни. Называлась эта усадьба — Мелихово и находилась в Серпуховском уезде Московской губернии.

Мы вернулись домой, рассказали, и тут же было решено это Мелихово купить. Условия показались Антону Павловичу приемлемыми. Большое цензовое имение в 213 десятин, с усадьбой, лесами, пашнями и лугами, которые он сам же называл «великим герцогством», досталось ему, в сущности говоря, всего только за 5000 рублей. Условленная цена была 13 000 рублей, но остальные 8000 рублей были рассрочены продавцом по закладной на 10 лет. Не наступил еще срок и первого платежа, как бывший владелец прислал письмо, в котором умолял оплатить закладную до срока, за что уступал 700 рублей. Тогда

я заложил Мелихово в Московском земельном банке, причем оно было им оценено в 21300 рублей, то есть в 60 процентов его действительной стоимости. Я взял только ту сумму, которая требовалась для ликвидации закладной, выданной продавцу, и таким образом Антон Павлович освободился от долга частному лицу, и ему пришлось иметь дело с банком и выплачивать ему с погашением долга всего только 300 рублей в год. Какую же квартиру можно было нанять в Москве за 300 рублей в год?

Брат Антон уплатил за имение деньги, так сказать, зажмурившись, ибо до покупки он не побывал в Мелихове ни разу: он въехал в него уже тогда, когда все формальности были закончены. Оказалось, что во всей усадьбе негде было повернуться от массы решеток и заборов — так неудобно было в ней расположение угодий и построек. Все было под снегом, и за неясностью границ нельзя было разобрать, где свое и где чужое, но, несмотря на все это, первое впечатление Антона Павловича было, по-видимому, благоприятное. Белый снег, близость весны и все новые и новые сюрпризы, открывавшиеся благодаря таянию снега, нравились ему. То вдруг оказывалось, что ему принадлежал целый стог соломы, который считали чужим, то в саду вдруг появилась целая липовая аллея, которой недосмотрели раньше за глубоким снегом. Началась трудовая созидательная жизнь. Все, что было дурного в усадьбе, что не нравилось, тотчас же уничтожалось или изменялось. В самой большой комнате со сплошными стеклами устроили для Антона Павловича кабинет; затем шли: гостиная, комната для сестры, спальня писателя, комната отца, столовая и комната матери. Была еще одна комната, проходная, с портретом Пушкина, которая носила громкое название Пушкинской и предназначалась для случайных гостей. Несмотря на все эти недостатки усадьбы, на отвратительную дорогу от станции (13 верст) и на недостаток помещения, наезжало столько гостей, что их негде было разместить, и приходилось иной раз устраивать постели в прихожей и даже в сенях.

Едва только сошел снег, как уже роли в хозяйстве были распределены: сестра принялась за огород и сад, я — за полевое хозяйство, сам Антон Павлович — за посадку деревьев и уход за ними. Отец с утра и до вечера расчищал в саду дорожки и проводил новые; кроме того, на нем лежала обязанность вести дневник: за все долгие годы «ме-

лиховского сидения» он вел его самым добросовестным образом изо дня в день, не пропуская записи ни одного числа. После его смерти дневник этот был собран в одно целое и представлял собою нечто милое, почти детски наивное, но имевшее большой семейный интерес. Он находится сейчас в Московском музее имени А. П. Чехова[88]. Вот некоторые из его записей, взятые мною по памяти на выдержку:

«2-го июня. Клара Ивановна[89] приехала.

3-го июня. Клара Ивановна уехала.

4-го июня. Сколь тягостен труд земледельца.

5-го июня. Пиона расцвелась.

6-го июня. Елки перед окнами Антоши срублены». И так далее.

Работниками были братья Фрол и Иван, они же шли и за кучеров. Почти ежедневно я объезжал верхом на своем скакуне все имение и наблюдал, все ли в нем было в порядке.

Нового землевладельца увлекало все: и посадка луковиц, и прилет грачей и скворцов, и посев клевера, и гусыня, высидевшая желтеньких пушистых гусенят. С самого раннего утра, часто даже часов с четырех, Антон Павлович был уже на ногах. Напившись кофе, он выходил в сад и подолгу осматривал каждое фруктовое дерево, каждый куст, подрезывал его или же долго просиживал на корточках у ствола и что-то наблюдал. Земли оказалось больше, чем нужно, и пришлось поневоле вести полевое хозяйство, но работали общими силами, без всяких приказчиков и управляющих, и работы эти составляли для нас удовольствие и потребность, хотя и не обходилось, конечно, без разочарований. Иногда до нашего слуха долетали такие фразы мелиховских крестьян:

— Что и говорить, господа старательные!..

— А что, это настоящие господа или не настоящие?

Антон Павлович съездил в Москву и привез от Сытина целый ящик его народных изданий. Книги были сданы в людскую. Каждый вечер грамотей Фрол собирал вокруг себя всю дворню и читал вслух. «Капитанская дочка» Пушкина и «Аммалат-Бек» Марлинского приводили горничных Машу и Анюту в восторг, а старая кухарка Марья Дормидонтовна, доживавшая у нас век, заливалась в три ручья.

Вставая рано, с солнцем, наша семья и обедала рано: в двенадцать часов дня. Антон Павлович купил колокол и водрузил его в усадьбе на высоком столбе. Раз в сутки, ровно в двенадцать часов дня, Фрол или кто-нибудь вместо него должен был отбить двенадцать ударов, и вся округа по радиусу верст в шесть-семь, услышав этот колокол, бросала работу и садилась обедать. Уже в одиннадцать часов утра, успев наработаться и пописать вдоволь, Антон Павлович приходил в столовую и молча, но многозначительно взглядывал на часы. Мать тотчас же вскакивала из-за швейной машинки и начинала суетиться.

— Ах, батюшки, Антоша есть хочет.

Начиналось дерганье звонка в кухню, находившуюся в отдельном помещении. Прибегала Анюта или Маша, и начинались приготовления к обеду. «Скорей, скорей!» Но вот уже стол накрыт. Совсем идиллическая картина! От множества разных домашних закусочек, приготовленных заботливой рукой Евгении Яковлевны, положительно нет на столе места. Этот обильный стол воспет даже в одном из стихотворений Т. Л. Щепкиной-Куперник. Нет места и за столом. Кроме пятерых постоянных членов семьи, обязательно обедают и чужие. После обеда Чехов уходил в спальню, запирался и там обдумывал сюжеты, если его не прерывал Морфей. А затем с трех часов дня и вплоть до семи вечера трудились снова. Не нужно забывать, что это был тогда медовый месяц землевладения для Чеховых, в крови которых все-таки текла крестьянская земледельческая кровь.

Самое веселое время в Мелихове — это были ужины. За ними, уставши за день, вся семья отдыхала и велись такие разговоры, на какие был способен один только Антон Павлович, да еще в присутствии «прекрасной Лики», когда она приезжала. Затем в десять часов вечера расходились спать. Тушились огни, и все в доме затихало, и только слышно было негромкое пение и монотонное чтение Павла Егоровича, любившего помолиться.

Это идиллическое распределение времени приведено только к примеру. Оно не всегда протекало так идиллически. Прежде всего — уставали ужасно: по новости все схватывались за сельское хозяйство с таким пылом, что к вечеру едва доволакивали ноги до постелей. Я, например, выходил в поле каждый день в три часа утра, еще до восхода солнца, и сам пахал. Один раз так устали, что

проспали колоссальный пожар рядом, бок о бок с усадьбой, и никто во всем доме так и не услышал, как его тушили, как звонили в колокол. Проснулись,— глядь, а сбоку вместо соседской усадьбы один только пепел.

— Братцы, куда девалась кувшинниковская усадьба?

Мы только переглянулись друг с другом.

Затем, с первых же дней, как мы поселились в Мелихове, все кругом узнали, что Антон Павлович — врач. Приходили, привозили больных в телегах и далеко увозили самого писателя к больным. С самого раннего утра перед его домом уже стояли бабы и дети и ждали от него врачебной помощи. Он выходил, выстукивал, выслушивал и никого не отпускал без лекарства; его постоянной помощницей, «ассистентом» была сестра Мария Павловна. Расход на лекарства был порядочный, так что пришлось держать на свои средства целую аптеку. Я развешивал порошки, делал эмульсии и варил мази, и не раз, принимая меня за «фершала», больные совали мне в руку пятачки, а один дьячок дал даже двугривенный, и все искренне удивлялись, что я не брал. Будили Антона Павловича и по ночам. Я помню, как однажды среди ночи проезжавшие мимо Мелихова путники привезли к нам человека с проколотым вилами животом, которого они подобрали по дороге. Мужик был внесен в кабинет, в котором на этот раз я спал, положен среди пола на ковре, и Антон Павлович долго возился с ним, исследуя его раны и накладывая повязки.

Первая весна в Мелихове была холодная, голодная и затяжная. Пасха прошла в снегу. Затем началась распутица. Дороги представляли собой нечто ужасное. При имении находились только три заморенные клячи, при этом одна из них была с брачком: не шла вовсе со двора. Другую, когда она была в поле, подменили дохлой, точно такой же масти, вместо кобылы подложили мерина. Таким образом, пока мне не удалось дождаться первой ярмарки и купить там сразу семерых лошадей, пришлось долгое время ездить на одной только безответной кляче, носившей имя «Анна Петровна». Сена на десятки верст вокруг не было ни клочка, пришлось кормить скотину рубленой соломой, но «Анна Петровна» ухитрялась бегать на станцию и обратно, возить Антона Павловича на практику, таскать бревна и пахать.

Надвигался голод.

Но никто из нас не унывал. Не прошло и трех месяцев, как все в усадьбе переменилось: дом стал полной чашей; застучали топоры плотников; появилась скотина; все весенние полевые работы были выполнены без опоздания и по всем правилам науки, вычитанным из книжек. На огороде у Марии Павловны творились чудеса: зрели на воздухе баклажаны и артишоки. Антон Павлович повеселел. Он уже мечтал о том, что имение даст ему тысячу рублей прибыли, но засушливая весна и лето свели урожай на нет; но и это никого из нас глубоко не затронуло. На огороде по-прежнему было прекрасно, а тут вывелись гусенята, появилась новая телка альгаусской породы. Лейкин прислал из Петербурга двух изумительных щенков, названных «Бромом» и «Хиной». Собранную рожь, давшую едва сам-три, отмолотили на своей молотилке, отвеяли и тотчас же послали на мельницу в Давыдовский монастырь. Привезенную муку, ввиду голодного времени, Антон Павлович поручил мне продать мелиховским крестьянам по полтора пуда за пуд, но так, чтобы об этом у нас в усадьбе не узнал никто, что я и исполнил в точности. Но об этом все-таки узнали: вероятно, кто-нибудь из крестьян перевесил дома свою покупку, потому что я сам слышал, как в разговоре между собой мужики называли меня «простоватым».

Бром и Хина были таксы, черненький и рыженькая, причем у Хины были такие коротенькие, все в сборах ножки, что брюхо у нее чуть не волочилось по земле. Каждый вечер Хина подходила к Антону Павловичу, клала ему на колени передние лапки и жалостливо и преданно смотрела ему в глаза. Он изменял выражение лица и разбитым, старческим голосом говорил:

— Хина Марковна!.. Страдалица!.. Вам ба лечь в больницу!.. Вам ба там ба полегчало ба-б.

Целые полчаса он проводил с этой собакой в разговорах, от которых все домашние помирали со смеху.

Затем наступала очередь Брома. Он так же ставил передние лапки Антону Павловичу на коленку, и опять начиналась потеха.

— Бром Исаевич! — обращался к нему Чехов голосом, полным тревоги. — Как же это можно? У отца архимандрита разболелся живот, и он пошел за кустик, а мальчишки вдруг подкрались и пустили в него из шприцовки струю воды!.. Как же вы это допустили?

И Бром начинал злобно ворчать.

К первой же осени вся усадьба стала неузнаваема. Были перестроены и выстроены вновь новые службы, сняты лишние заборы, посажены прекрасные розы и разбит цветник, и в поле, перед воротами, Антон Павлович затеял рытье нового большого пруда. С каким интересом мы следили за ходом работ! С каким увлечением Антон Павлович сажал вокруг пруда деревья и пускал в него тех самых карасиков, окуньков и линей, которых привозил с собой в баночке из Москвы и которым давал обещание впоследствии «даровать конституцию». Этот пруд походил потом больше на ихтиологическую станцию или на громадный аквариум, чем на пруд: каких только пород рыб в нем не было! Был в Мелихове, в самой усадьбе, как раз против окон, еще и другой пруд, гораздо меньших размеров; каждую весну он наполнялся водой от таявшего снега и не отличался особой чистотой. В первое же лето приехали к нам в Мелихово П. А. Сергеенко и И. Н. Потапенко. Увидев этот прудок, уже начавший покрываться зеленью, Сергеенко разделся, бултыхнулся в него и стал в нем плавать.

— Потапенко! — кричал он из воды. — Чего ж ты не купаешься? Раздевайся скорее!

— Ну, зачем я буду купаться в этой грязной луже?

— А ты попробуй!

— Да и пробовать не хочу. Одна сплошная грязь!

— Но ведь в химии грязи не существует. Взгляни оком профессора!

— И глядеть не желаю.

— Ну, сделай Антону удовольствие, выкупайся в этой его луже! Сделай ему одолжение. Ведь это ж невежливо с твоей стороны. Приехать к новому землевладельцу в гости и не выкупаться в его помойной яме.

Еще раньше был выкопан в Мелихове колодец, и Антону Павловичу непременно хотелось, чтобы он был на малороссийский лад, с журавлем, но место не позволило, и пришлось сделать его с большим колесом, как у железнодорожных избушек, попадающихся на пути, когда едешь в поезде. Колодец этот вышел на славу, вода в нем оказалась превосходной. Антон Павлович самодовольно улыбался и говорил:

— Ну, теперь водяной вопрос для Мелихова решен. Теперь бы еще выстроить новую усадьбу у пруда или

перенести эту в другой участок. Вот было бы хорошо! Воображаю, как будет на земле великолепно через двести — триста лет.

И он серьезно стал помышлять о постройке усадьбы. Творческая деятельность была его стихией. Он сажал маленькие деревца, разводил из семян ели и сосны, заботился о них, как о новорожденных детях, и в своих мечтах о будущем был похож на того полковника Вершинина, которого сам же вывел в своих «Трех сестрах».

Зима 1893 года была в Мелихове суровая, многоснежная. Снег выпал под самые окна, отстоявшие от земли аршина на два, так что прибегавшие в сад зайцы становились на задние лапки перед самыми стеклами окон кабинета Антона Павловича. Расчищенные в саду дорожки походили на траншеи. Мы зажили монастырской жизнью отшельников. Мария Павловна уезжала в Москву на службу, так как была в это время учительницей гимназии, в доме оставались только брат Антон, отец, мать и я, и часы тянулись необыкновенно длинно. Ложились еще раньше, чем летом, и случалось так, что Антон Павлович просыпался в первом часу ночи, садился заниматься и затем укладывался под утро спать снова. Он в эту зиму много писал.

Но как только приезжали гости и возвращалась из Москвы сестра Маша, жизнь круто изменялась. Пели, играли на рояле, смеялись. Остроумию и веселости не было конца. Евгения Яковлевна напрягала все усилия, чтобы стол по-прежнему ломился от яств; отец с таинственным видом выносил специально им самим заготовленные настоечки на березовых почках и на смородинном листу и наливочки, и тогда казалось, что Мелихово имеет что-то особенное, свое, чего не имела бы никакая другая усадьба и никакая другая семья. Антон Павлович всегда был особенно доволен, когда приезжали к нему «прекрасная Лика» и писатель Потапенко. Мы поджидали их с нетерпением, то и дело поглядывая на часы и отсчитывая минуты. Когда слышались наконец бубенчики и скрип снега под полозьями саней, подъезжавших к крыльцу, то мы все бросались в прихожую и, не давая раздеваться гостям, заключали их в объятия. Тогда уже дым поднимался коромыслом, ложились спать далеко за полночь, и в такие дни Антон Павлович писал только урывками, только потому, что это было его потребностью. И всякий раз,

урвав минутку, он писал строчек пять-шесть и снова поднимался и шел к гостям.

— Написал на шестьдесят копеек,— говорил он, улыбаясь.

Случалось, что в это же самое время, по другую сторону его письменного стола, усаживался писать срочную работу и Потапенко. Пока Чехов сидел за пятью-шестью строками, Потапенко отмахивал уже целые пол-листа, а то и больше. И я однажды слышал такой их разговор:

Чехов. Скажи, пожалуйста, Игнатий Николаевич, как это ты ухитряешься так скоро писать? Вот я написал всего только десять строк, а ты накачал уже целые пол-листа.

Потапенко (не отрывая глаз от бумаги). Есть бабы, которые не могут разрешиться от бремени в течение целых двух суток, а есть и такие, которые рожают в один час.

Вообще Потапенко писал много и быстро. Его произведения появлялись почти во всех тогдашних толстых и тонких журналах, но у него было столько обязательств, столько ему приходилось посылать алиментов туда и сюда, что никаких заработков ему не хватало. Он вечно нуждался и всегда был принужден брать авансы под произведения, находившиеся еще на корню и даже еще копошившиеся, а может быть, даже и не копошившиеся у него в голове. По части уменья «вымаклачить» от какой-нибудь редакции аванс он был вне всякой конкуренции. Никто, кроме него, не мог сделать это так артистически. При этом он умел получить непременно крупную сумму, тогда как от всех прочих сотрудников редакторы отделывались только крохами.

— Единственное место, где нельзя получить аванса,— шутил Потапенко, приезжая к нам,— это Мелихово. Здесь и я не сумел бы вымаклачить ничего.

Потапенко оказал большую услугу Антону Павловичу. Как известно, произведения А. П. Чехова («В сумерках», «Хмурые люди» и так далее) издавала фирма А. С. Суворина. Когда Чехову понадобились деньги и он хотел рассчитаться с ней, то бухгалтерия этой фирмы ответила, что ему не только ничего не причитается за изданные фирмой книги, но, наоборот, Антон Павлович еще состоит ее должником за типографские работы. Это очень встревожило Чехова. Гостивший тогда в Мелихове Игнатий Николаевич вызвался разобрать это дело, по приезде своем в Петербург, на месте. И действительно, оказалось, что не

Антон Павлович был должен фирме, а с самой фирмы причиталось ему получить чистыми, кажется, свыше двух тысяч рублей.

В Мелихове у Антона Павловича, вероятно от переутомления, расходились нервы — он почти совсем не спал. Стоило только ему начать забываться сном, как его «дергало». Он вдруг в ужасе пробуждался, какая-то странная сила подбрасывала его на постели, внутри у него что-то обрывалось «с корнем», он вскакивал и уже долго не мог уснуть. Но, как бы ни было, приезд Лики и Потапенко сильно развлекал его. С Потапенко у него было очень много общих литературных интересов, не говоря уже о том, что, кажется, и сам Потапенко в ту пору переживал самые красивые свои дни. Потапенко пел, играл на скрипке, острил, и с ним действительно было весело.

Обыкновенно случалось так, что когда он и Лика приезжали в Мелихово, то Лика садилась за рояль и начинала петь входившую тогда в моду «Валахскую легенду» Брага.

> О, что за звуки слышу я,
> Сердце они пленяют
> И на крыльях зефира к нам сюда
> Как бы с небес долетают.

В этой легенде больная девушка слышит в бреду доносящуюся до нее с неба песнь ангелов, просит мать выйти на балкон и узнать, откуда несутся эти звуки, но мать не слышит их, не понимает ее, и девушка в разочаровании засыпает снова.

Обыкновенно вторую партию в этой легенде играл Потапенко на скрипке.

Выходило очень хорошо. В доме поют красивый романс, а в открытые окна слышатся крики птиц и доносится действительно одурманивающий аромат цветов, щедро насаженных в саду нашей сестрой Марией Павловной.

Антон Павлович находил в этом романсе что-то мистическое, полное красивого романтизма. Я упоминаю об этом потому, что этот романс имел большое отношение к происхождению его рассказа «Черный монах».

Как-то раз, когда в летний тихий безоблачный вечер солнце красным громадным кругом приближалось к горизонту, мы сидели у ворот, выходивших в поле, и кто-то из нас поднял вопрос: почему, когда солнце садится, оно бывает краснее и гораздо больших размеров, чем днем? После долгих дебатов решили, что в такие моменты солн-

це уже всегда находится под горизонтом, но так как воздух представляет собой для него то же, что и стеклянная призма для свечи, то, преломляясь сквозь призму воздуха, солнце становится для нас видимым из-под горизонта, уже потерявшим свою естественную окраску и гораздо больших размеров, чем днем, когда оно бывает над горизонтом. Заговорили затем о мираже, о преломлении лучей солнца через воздух и так далее, и в результате возник вопрос: может ли и самый мираж преломиться в воздухе и дать от себя второй мираж? Очевидно, может. А этот второй мираж может дать собою третий мираж, третий — четвертый и так далее, до бесконечности. Следовательно, возможно, что сейчас по вселенной гуляют те миражи, в которых отразились местности и даже люди и животные еще тысячи лет тому назад. Не на этом ли основаны привидения? Конечно, все это был только юношеский разговор, граничивший со вздором, но решение таких вопросов было для всех нас в Мелихове тогда очень интересным.

Я уже говорил, что обедали в Мелихове в двенадцать часов. Бывали дни, когда весь дом погружался в послеобеденный сон. Даже Хина и Бром переставали бегать и засыпали. Как это ни странно, каждую весну и каждый конец лета я всегда страдал бессонницами. Антон Павлович говорил, что это во мне — атавизм, что это говорят во мне предки, которым из поколения в поколение каждую весну нужно было вставать до зари, чтобы пахать, а каждый конец лета — чтобы заниматься уборкой хлеба. Поэтому, чтобы покрепче спать ночью, я, насколько хватало сил, старался не спать днем, хотя и очень хотелось.

Сижу я как-то после обеда у самого дома на лавочке, и вдруг выбегает брат Антон и как-то странно начинает ходить и тереть себе лоб и глаза. Мы все уже привыкли к его «дерганьям» во сне, и я понял так, что это его «дернуло» и он выскочил в сад, не успев еще хорошенько прийти в себя.

— Что, опять дернуло? — спросил я.

— Нет, — ответил он. — Я видел сейчас страшный сон. Мне приснился черный монах.

Впечатление черного монаха было настолько сильное, что брат Антон еще долго не мог успокоиться и долго потом говорил о монахе, пока, наконец, не написал о нем свой известный рассказ. Мне до сих пор непонятно

и странно только одно: почему в письме к Суворину от 25 января 1894 года (то есть полгода спустя после описанного случая) сам Антон Павлович говорит следующее: «Монах же, несущийся через поле, приснился мне, и я, проснувшись утром, рассказал о нем Мише». Эпизод этот произошел не утром, а в два часа дня, после послеобеденного сна. Впрочем, дело было летом, а письмо было написано зимой, так что не мудрено было и забыть. Да и сущность рассказа брата не в часе.

Шли месяцы. Мелихово менялось с каждым днем. Бывали моменты, когда всего Антона Павловича положительно охватывала радость, но усилившийся геморрой не давал ему покоя, мешал ему заниматься, наводил на него хандру и мрачные мысли и делал его раздражительным из-за пустяков. А тут еще стал донимать его и кашель. В особенности он беспокоил его по утрам. Прислушиваясь к этому кашлю из столовой мать, Евгения Яковлевна, вздыхала и поглядывала на образ.

— Антоша опять пробухал всю ночь,— говорила она с тоской.

Но Антон Павлович даже и вида не подавал, что ему плохо. Он боялся нас смутить, а может быть, и сам не подозревал опасности или же старался себя обмануть. Во всяком случае, он писал Суворину, что будет пить хину и принимать любые порошки, но выслушать себя какому-нибудь врачу не позволит. Я сам однажды видел мокроту писателя, окрашенную кровью. Когда я спросил у него, что с ним, то он смутился, испугался своей оплошности, быстро смыл мокроту и сказал:

— Это так, пустяки... Не надо говорить Маше и матери.

Ко всему этому присоединилась еще мучительная боль в левом виске, от которой происходило надоедливое мелькание в глазу (скотома). Но все эти болезни овладевали им приступами. Пройдут — и нет. И снова наш Антон Павлович весел, работает — и о болезнях нет и помина.

Положение Мелихова на большой дороге из Лопасни в Каширу повлекло за собой то, что к Антону Павловичу стали заезжать многие местные земцы и землевладельцы, были ли они знакомы с ним или нет. Летом же 1893 года было в Мелихове особенно многолюдно. Дом был битком набит приезжими. Спали на диванах и по нескольку

человек во всех комнатах; ночевали даже в сенях. Писатели, девицы — почитательницы таланта, земские деятели, местные врачи, какие-то дальние родственники с сынишками — все эти люди, как в калейдоскопе, проходили сквозь Мелихово чередой. Антон Павлович при этом был центром, вокруг которого сосредоточивалось внимание всех: его искали, интервьюировали, каждое его слово ловилось на лету. Но приезжали и люди, плохо понимавшие, что такое деликатность: вваливались охотники с собаками, желавшие поохотиться в чеховских лесах; одна девица, с головою, как определил Антон Павлович, «похожей на ручку от контрабаса», с которой ни он сам, ни его семья не имели ровно ничего общего, приезжала в Мелихово, беззастенчиво занимала целую комнату и жила целыми неделями. Когда кто-нибудь из домашних деликатно замечал ей, что пора, мол, понять, в чем дело, то она немедленно отвечала:

— Я в гостях у Антона Павловича, а не у вас.

Очень часто приезжал сосед, который донимал своим враньем и ни одной фразы не начинал без того, чтобы не оговориться заранее:

— Хотите — верьте, хотите — нет...

И так далее.

Около этого же времени посетил Антона Павловича в Мелихове и публицист М. О. Меньшиков. Тогда он был главным персонажем в газете «Неделя», в книжках которой помещал свои статьи. Публика зачитывалась его статьями о возможности счастья на земле[90]. Находясь под очевидным влиянием философии Л. Н. Толстого, Меньшиков призывал к земле, к труду, к слиянию с природой. Нам было известно, что Меньшиков — бывший морской офицер, и вдруг к нам приехал в полном смысле человек в футляре: штатский, в больших калошах, в теплом ватном пальто с приподнятым воротником и с громадным дождевым зонтиком, несмотря на сухую летнюю погоду. С розовыми, пухлыми щеками и с жиденькой русой бородкой, он походил скорее на дьячка или начетчика, чем на литератора. Он не показался нам таким интересным, как, бывало, его статьи в книжках «Недели», и, сказать по правде, в Мелихове вздохнули с облегчением, когда он уехал. Позднее, кажется в 1901 году, когда я жил в Петербурге, Меньшиков ко мне вдруг явился неожиданно и молча просидел весь вечер. Я не знал, о чем с ним гово-

рить. И вдруг выяснилась цель его прихода ко мне. Он очень прозрачно намекнул мне, что хотел бы сотрудничать в «Новом времени» и что я мог бы ему оказать в этом протекцию, так как он знает, что А. С. Суворин близок с нашей семьей. Я не обещал ему, но, вероятно, Меньшиков нашел другие возможности проникнуть в «Новое время», так как вскоре же в этой газете стали появляться его «Письма к ближним», в которых никак нельзя было узнать его прежних писаний в «Неделе». Затем он сделался одним из главных сотрудников «Нового времени», где к нему относились очень благожелательно и, как я слышал, хорошо оплачивали его труд.

Но вернусь обратно в Мелихово.

Как-то помощник исправника, в минуту откровенности, сказал мне:

— Над вашим братом Антоном установлен негласный надзор. Мы получили об этом сообщение.

И, вероятно благодаря этому, к Антону Павловичу вскоре приехал познакомиться молодой человек в военной форме, отрекомендовавшийся врачом. Он стал изъясняться насчет политики, вызывать на откровенность, горько плакался на то, что его отец будто бы был жандармом и что он считает это проклятием своей жизни, и перешел, наконец, на такие колючие темы, что нетрудно было отгадать в нем шпиона. Я присутствовал при этом их разговоре, и было неприятно видеть этого человека, напрашивавшегося на откровенность.

В кругу своих близких друзей Антон Павлович чувствовал себя совершенно свободно и всех заражал своею веселостью. Иногда он любил совершать прогулку по своему «герцогству» или в ближайший монастырь — Давыдову пустынь. Запрягали тарантас, телегу и беговые дрожки. Антон Павлович надевал белый китель, перетягивал себя ремешком и садился на беговые дрожки. Сзади него, бочком, помещались Лика или Наташа Линтварева и держались руками за этот ремешок. Белый китель и ремешок давали Антону Павловичу повод называть себя гусаром. Компания трогалась; впереди ехал на беговых дрожках «гусар», а за ним — телега и тарантас, переполненные гостями.

В Мелихове у нас постоянно жил привязавшийся к нашей семье А. И. Иваненко, гостили подолгу многие другие и приезжали третьи, им же несть числа. Целый месяц

прогостил художник И. Э. Браз, писавший для Третьяковской галереи портрет Антона Павловича, заезжали местные деятели. С особенным радушием Антон Павлович относился к земскому врачу серпуховской лечебницы И. Г. Витте и к милейшему санитарному врачу П. И. Куркину, впоследствии известному ученому, оставившему ряд трудов в медицинской литературе. Антон Павлович очень любил его, долго переписывался с ним потом из-за границы и из Ялты, и это именно он, доктор Куркин, исполнил картограмму, которую доктор Астров показывает Елене Андреевне в «Дяде Ване». Это был настоящий ученый врач. Когда я приезжал к нему, то меня поражало, что все стены его квартиры были увешаны всевозможными картограммами и таблицами, из которых в один миг можно было постигнуть все, что касалось здоровья населения Серпуховского уезда, на что без этих его произведений требовались бы целые годы.

Другой местный деятель, с которым любил встречаться Антон Павлович, был врач серпуховской земской больницы Иван Германович Витте. Это был очень талантливый организатор, смелый хирург, и его лечебница, в постройке которой он сам принимал участие, считалась образцовой не только в губернии, но и во всей России. Иван Германович был необыкновенно гостеприимным человеком. Его квартира в Серпухове служила приютом и брату Антону, когда он приезжал туда по делам. Витте был страстным цветоводом-любителем, и в его маленьком садике при больнице были такие цветы, которые можно встретить под самыми жгучими тропиками. Под конец жизни он, бедняга, ослеп, должен был расстаться с своим детищем, переселиться в Крым и там кончать свои дни. «Напиши ему,— писал мне оттуда Антон Павлович,— ему будет приятно». Но вскоре Иван Германович умер.

Но как ни было теперь многолюдно в Мелихове, все-таки чувствовалась в нем какая-то угрюмость, точно что-то было и ушло безвозвратно или точно сразу все мы постарели на десять или двадцать лет и стали терять интерес во всем том, в чем до сих пор его так широко находили.

«Прекрасная Лика» неожиданно уехала в Париж, за ней тотчас же потянулся туда и Потапенко[91], и на душе

у нас осталось такое чувство, точно мы похоронили кого-то навеки и не увидим уже больше никогда.

Из-за постоянного многолюдства в доме уже не стало хватать места. Антон Павлович и раньше помышлял о постройке хутора у выкопанного им пруда или подальше, в другом участке, но это не осуществилось. Вместо хутора начались постройки в самой усадьбе. Одни хозяйственные постройки были сломаны и перенесены на новое место, другие возведены вновь. Появились новый скотный двор, при нем изба с колодцем и плетнем на украинский манер, баня, амбар и, наконец, мечта Антона Павловича — флигель. Это был маленький домик в две крошечных комнатки, в одной из которых с трудом вмещалась кровать, а в другой — письменный стол. Сперва этот флигелек предназначался только для гостей, а затем Антон Павлович переселился в него сам и там впоследствии написал свою «Чайку». Флигелек этот был расположен среди ягодных кустарников, и, чтобы попасть в него, нужно было пройти через яблочный сад. Весной, когда цвели вишни и яблони, в этом флигельке было приятно пожить, а зимой его так заносило снегом, что к нему прокапывались целые траншеи в рост человека.

Переселение Антона Павловича из Москвы в Мелихово на постоянное жительство и весть о том, что вот-де там-то поселился писатель Чехов, повели неминуемо к официальным знакомствам. Кончилось дело тем, что Антона Павловича (и меня) выбрали в члены санитарного совета. Таким образом, началась земская деятельность писателя. Он стал принимать непосредственное участие в земских делах, строил школы, причем ему помогала в этом наша сестра Мария Павловна, проводил шоссе, заведовал холерными участками, и ни одно, даже самое маленькое, общественное дело не проходило мимо его внимания. В этом отношении он целиком походил на нашего дядю Митрофана Егоровича. То и дело к нему приходил то с той, то с другой казенной бумагой сотский, и каждая такая бумага звала его к деятельности. Этот сотский, или, как он сам называл себя, «цоцкай», служил при Бавыкинском волостном правлении, к которому в административном отношении принадлежало Мелихово, и он-то и выведен Чеховым в рассказе «По делам службы» и в «Трех сестрах». Это был необыкновенный человек; он «ходил» уже тридцать лет, все им помыкали: и полиция, и юсти-

ция, и акцизный, и земская управа, и прочее и прочее, и он выполнял их требования, даже самого домашнего свойства, безропотно, с сознанием, если можно так выразиться, стихийности своей службы.

X

Голодный 1892 год. Общественная работа Антона Павловича по помощи голодающим.— Чехов в Нижнем Новгороде.— Заведование холерным участком.— Визиты Антона Павловича за помощью к «высокопоставленным».— Жюль Легра в гостях у Чехова.— Осознание Антоном Павловичем серьезности своей болезни.— На ярославских торжествах.— Торжественный спектакль «Ревизора».— Чествование Л. Н. Трефолева.— Первое представление «Чайки» в Петербурге.— Пожертвование библиотеки Антоном Павловичем Таганрогу.— Архитектор-художник Шехтель.— Участие Чехова в народной переписи.— Мелиховские впечатления в творчестве Антона Павловича.— Проект организации Народного дома.— Припадок в «Эрмитаже».— Чехов в Ницце и Париже.— Смерть отца.— Антон Павлович в Ялте.— Постройка дачи.— Избрание Антона Павловича в почетные академики.— Приезд в Крым Художественного театра.— Женитьба Антона Павловича.— Смерть и похороны.

Весной 1891 года стали появляться в обществе и в печати опасения, что из-за неурожайного предшествовавшего года все хлебные запасы страны истощились и что новый сельскохозяйственный год ничего хорошего впереди не обещает; попросту — урожая не будет.

Опасения эти скоро подтвердились. После сплошной засухи в течение весны и лета надвинулись тяжелые осень и зима, в которые многие местности были объявлены голодающими, или, как тогда говорилось для успокоения общественного мнения, «пострадавшими от неурожая». В столицах этот голод вовсе не чувствовался, в городах французская булка по-прежнему стоила пять копеек и ни в чем недостатка не ощущалось. Голод был «где-то там». Когда, по инициативе пастора петербургской голландской церкви Гиллота, стал присылаться хлеб из-за границы для раздачи голодавшим, то привезших его людей чествовали шампанским, возили по ресторанам, говорили речи и обкармливали до отвала. Рядом со слабой правительственной помощью населению и как бы в пику ей возникла широкая деятельность отдельных обществ и частных лиц.

Не мог оставаться равнодушным к этому движению и Антон Павлович: он стал собирать пожертвования

и принимать участие в разных литературных сборниках, издававшихся для помощи голодающим. Особенно пострадавшими от неурожая были губернии Нижегородская и Воронежская, и вот в первой из них, как я писал уже выше, оказался у Чехова знакомый, когда-то близкий приятель еще по Воскресенску, Е. П. Егоров, служивший теперь там в должности земского начальника, большой идеалист. Чехов списался с ним, организовал подписку по сбору пожертвований и в суровую зиму отправился лично в Нижегородскую губернию. Здесь, организуя помощь населению, он едва не погиб: он сбился с пути во время метели, стал замерзать и уже ожидал своего конца. Ему и Егорову все-таки удалось обеспечить в нижегородских деревнях крестьян рабочими лошадьми.

В то время Нижним Новгородом правил всесильный генерал-губернатор Н. М. Баранов. Это тот самый Баранов, который в молодости, в русско-турецкую войну 1877—1878 годов, без позволения начальства атаковал турецкий броненосец, пустил его ко дну и за это был судим военным судом по обвинению своего начальника адмирала Рожественского, сдавшего впоследствии всю русскую эскадру японцам под Цусимой. Он же во время борьбы с холерой приказал высечь купца Китаева за то, что сей благодушный обыватель говорил своим покупателям, что холеры вовсе нет, а что это так просто хворают животами. Когда Антон Павлович приехал к этому генерал-губернатору, то застал у него всевозможных лиц, предлагавших свои услуги для помощи голодавшим. Больше всех добивался такой концессии какой-то отставной военный, который не оставлял Баранова в покое ни на минуту, все время бегал за ним следом и умолял:

— Отец-командир! А я-то на что? Пошлите туда меня! Отец-командир!..

Затем, вместе с Сувориным, Антон Павлович отправился в Воронежскую губернию. Но поездка эта оказалась неудачной. Как и в Нижнем Новгороде, его возмущали в Воронеже торжественные обеды, с которыми встречали его там как писателя. Ему как-то странно было слышать о голоде и в то же время присутствовать на обедах, когда вся губерния страдала от недорода, между тем без справок обойтись было невозможно, и приходилось поневоле заезжать в губернские города. Тогда провинциальная пресса была в загоне, ограничивалась только «Губернски-

ми ведомостями», которые в большинстве случаев были ничтожны и шли на поводу у редактировавших их вице-губернаторов. К тому же и поездка Антона Павловича совместно с Сувориным связывала его и лишала самостоятельности. Ему хотелось кипучей личной деятельности, как он рассказывал мне потом, которая и получила затем применение в его борьбе с надвигавшейся холерой.

А холера была уже у ворот. Она охватила весь юг России и с каждым днем все ближе и ближе подходила к Московской губернии. Захват ее становился все шире и шире, так как она находила для себя удобную почву среди населения, уже обессиленного голодом за осень и зиму. Необходимо было принимать спешные меры. Закипела работа в Серпуховском уезде. Были приглашены врачи и студенты, но участки были велики, и, несмотря на добрые пожелания, в случае появления холеры все равно земство осталось бы без рук. Тогда Антону Павловичу, как члену санитарного совета и как врачу, было предложено принять на себя заведование холерным участком. Он тотчас же согласился, безвозмездно.

На его долю выпала тяжелая работа: средствами земство не обладало; кроме одной парусиновой палатки, во всем участке Антона Павловича не было ни одного, даже походного, барака, и ему приходилось ездить по местным фабрикантам, унижаться перед ними и убеждать их со своей стороны принимать посильные меры к борьбе с холерой. О том, как его иногда встречали в таких случаях даже высокопоставленные люди, от которых, казалось, можно было бы ожидать полного содействия, свидетельствуют его письма к Суворину, в которых он описывает ему свои визиты к графине Орловой-Давыдовой и к архимандриту знаменитой, владевшей миллионами Давыдовой пустыни. Но были и такие люди, которые охотно шли навстречу хлопотам Антона Павловича и сами предлагали ему помещения под бараки и оборудовали их. К таким лицам принадлежали местные фабриканты из крестьян, братья С. и А. Толоконниковы и их дальний родственник — перчаточный фабрикант И. Т. Толоконников[92].

Как бы то ни было, а усилия Антона Павловича все-таки увенчались успехом. Скоро весь участок, в котором было до 25 деревень, покрылся целой сетью необходимых учреждений. Несколько месяцев писатель почти не выле-

зал из тарантаса. В это время ему приходилось и разъезжать по участку, и принимать больных у себя на дому, и заниматься литературой. Разбитый, усталый возвращался он домой, но держал себя так, точно делает пустяки, отпускал шуточки и по-прежнему всех смешил и вел разговоры с Хинкой о ее предполагаемых болезнях. Я тоже был назначен санитарным попечителем большой, многолюдной слободы.

Деятельность по борьбе с холерой и знакомство Антона Павловича с земскими деятелями имели своим следствием то, что писатель был избран в земские гласные. Антон Павлович стал охотно посещать земские собрания и участвовать в рассмотрении многих земских вопросов. Но наибольшее его внимание обращали на себя народное здравие и народное образование. Чувствуя себя совершенно беспомощным в рассмотрении земских смет и ходатайств перед высшими правительственными учреждениями, он живо интересовался тем, какие намечены к постройке новые дороги, какие предположено открыть новые больницы и школы. Вечно ищущий, чем бы помочь бедняку и что бы сделать для крестьянина, Антон Павлович то строит пожарный сарай, то, по просьбе крестьян, сооружает колокольню с зеркальным крестом, который блестит на солнце и при луне так, точно маяк на море, и виден издали за целые тринадцать верст, и тому подобное.

Одно время Антона Павловича охватывает необыкновенная жажда жизни. Это было ясно для всех нас. Ему ничего не хочется делать, его тянет путешествовать как можно дальше, куда-нибудь в Алжир или на Канарские острова, и в то же время у него не хватает ни средств, ни сил, чтобы осуществить свои мечты. То ему нужно закончить какое-нибудь литературное произведение, то у него нет денег, то так хорошо в самом Мелихове, что не хочется уезжать. Не будучи в состоянии привести в исполнение свои мечты о далеком путешествии, он еще заботливее начинает ухаживать за своими розами, тюльпанами, гиацинтами, сажает фруктовые деревья, следит за неуловимым ростом посаженных им сосен.

В Мелихове нас посетил французский ученый и писатель Жюль Легра (Jules Legras).

Большой любитель собирать грибы, Антон Павлович каждое утро обходил свои собственные места и возвра-

щался домой с горстями белых грибов и рыжиков. За ним всегда важно следовали его собаки Хина и Бром. За этим-то занятием и застал его профессор Бордоского университета Жюль Легра, приехавший в Россию и посетивший Чехова в Мелихове. Вот как он описывает в своей книге «Au pays russe»* свою первую встречу с Антоном Павловичем: «Он выходит ко мне навстречу своей медленной походкой в сопровождении двух церемонных смешных такс. Ему с небольшим тридцать лет; он высокого роста, стройный, с большим лбом и длинными волосами, которые он отбрасывает машинальным движением руки назад... В обращении он несколько холоден, но без принужденности: очевидно, он хочет догадаться, с кем имеет дело, и чувствует, что и его в это время тоже изучают. Вскоре, однако, первое напряжение проходит: мы заговариваем о том, что французы мало знают русских, а русские — французов, и разговор завязывается горячий.

— А не собирать ли нам грибы? — вдруг предлагает он.

Мы направляемся в четырехугольник из берез. Нагнувшись над землей, очень занятые собиранием рыжиков (les petits rouges), мы продолжаем беседовать на самые серьезные темы».

Помню я этого Легра. Он бывал у нас в Мелихове не раз. Блондин, с ярко выраженным французским профилем, он приходил к нам в русской красной рубахе, с удовольствием пил квас и с еще большим удовольствием охотился в наших лесах. Он чувствовал себя великолепно. Никто ему не запрещал стрелять, нигде его не могли привлечь к ответственности за браконьерство, как сделали бы это во Франции, и он вкушал у нас редкое для француза счастье свободы. А когда мы возвращались обратно, он усаживался за ужин, выпивал рюмку водки, причем раньше закусывал, а выпивал потом, и с аппетитом ел.

— Кушайте, Юлий Антонович, — обращался к нему Антон Павлович. — Это chien rôti (жареная собака).

Позднее этот Жюль Легра ездил на обследование Обь-Енисейского канала, написал о нем доклад и быстро выучился хорошо говорить по-русски. Когда он уезжал, я послал с ним поклон жившей тогда в Париже «прекрасной Лике», и он мне ответил, что посетил эту «красивую девушку» и исполнил мое поручение.

---

* «В русской стране» *(фр.)*.

В 1895 году Антон Павлович ездил в Ясную Поляну, чтобы познакомиться со Львом Николаевичем Толстым. Уже давно до него доходили слухи, что Толстой хочет этого знакомства, и приезжали к нему общие друзья, чтобы затянуть его к Толстому, но он всегда отказывался, так как не хотел иметь провожатых, или, как он называл их, «посредников», и отправился в Ясную Поляну единолично. Вернувшись оттуда, он опять с увлечением принялся за деревья и цветы. Теперь он уже значительно изменился: нам сразу стало бросаться в глаза, как он осунулся, постарел и пожелтел. Было заметно, что в нем происходила в это время какая-то тайная внутренняя работа, и я помню, как, не видавшись с ним около месяца, я резко почувствовал эту перемену. Он кашлял, уже не оживлялся так, как прежде, когда я рассказывал ему о своих впечатлениях в глубокой провинции, которые он обыкновенно так охотно выслушивал. Было ясно, что теперь уже он и сам сознавал серьезность своей болезни, но по-прежнему никому не жаловался, старался ее скрыть даже от врачей и, кажется, обмануть и себя самого. Между прочим, сюжет для его рассказа «Супруга» привез ему из Ярославля я, где один знакомый посвятил меня в тайну своей жизни, а некоторые детали в рассказе «Убийство» я привез ему из далекого Углича.

В этом самом Угличе я встретился с И. А. Забелиным, бывшим попечителем Туркестанского учебного округа, уже разбитым на ноги стариком, который жил там на покое в отставке и ходил в черном сюртуке, из-под лацкана которого выглядывала звезда. Как тайный советник, он получал иностранные журналы без цензуры, всегда искал, с кем бы поделиться их содержанием, но во всем Угличе никто языков не знал. Услышав о моем приезде, он сам пришел ко мне с целой стопой иностранных журналов.

— И вы можете еще спокойно жить при таком возмутительном режиме, как у нас? — было его первой фразой. — Здравствуйте, голубчик. Услыхал о вас, и вот заехал. И вы можете еще мириться с таким подлым правительством?

Эти его слова в первую минуту меня немного удивили. Он разложил передо мной английские и французские журналы и продолжал:

— Вот прочтите-ка, что пишут здесь про наших сатрапов да про Ивана Кронштадтского! Ведь это Азия! Народная истерия! А вот эта статья Жана Фико в «Revue des Revues»*. Я удивляюсь, как они там в Петербурге не сгорают со стыда! А эта дальневосточная авантюра! Боже мой, зачем я еще живу на свете? Зачем я являюсь еще свидетелем всех этих безобразий!

Я не прочитал принесенные И. А. Забелиным журналы, а просто их проглотил. Он принес мне их ещё целую кипу. И я очень благодарен ему, что он дал мне возможность узнать то, чего, без его великодушной услуги, я не знал бы ни за что на свете. После этого я как-то сразу вырос в своих глазах, поумнел, точно с моих глаз спала завеса или точно я пробудился от долгого сна.

Говоря об Ярославле, я хочу попутно рассказать, что тут мне удалось присутствовать на двух редких событиях, очень интересовавших Антона Павловича: на полуторастолетнем юбилее русского театра и на пятидесятилетнем юбилее поэта Л. Н. Трефолева. Как известно, Ярославль — колыбель русского театра. На торжество Ярославского театра — праотца всех русских театров — съехалось из столиц много представителей печати, с которыми мне удалось возобновить знакомство, и, что главнее всего, приехала труппа Александринского театра с Савиной и Варламовым во главе. Несравненные артисты выступили в парадном спектакле в «Ревизоре», в котором приняли участие В. Н. Давыдов, М. Г. Савина, К. А. Варламов, и я не помню, чтобы когда-нибудь я видел лучшее исполнение. Артисты были вдохновлены не только самой пьесой, которая им всегда так удавалась, и не только тем, что их слушала такая избранная, съехавшаяся на торжество со всех концов России публика, но, как они мне говорили после спектакля, еще и тем, что на их долю выпала высокая честь выступать в первом русском театре и именно в такой великий для каждого сценического деятеля день.

Юбилей Л. Н. Трефолева праздновался в том же театре. Ярославский поэт Трефолев был скромным, незаметным человеком, который для хлеба насущного служил в местном Демидовском лицее делопроизводителем и, кроме того, писал стихи, много переводя польского поэта Сырокомлю; но самая его популярная вещь — это «Ка-

---

* «Обозрение обозрений» *(фр.)*.

маринский мужик», сделавшийся народной песнью («Как по улице Варваринской шел Касьян, мужик Камаринский» и так далее). Кому-то из местных жителей пришла в голову мысль почтить юбилей Трефолева. Скоро нашлись сторонники этой мысли, был заарендован на один вечер театр, на его сцене развернули громадный стол под зеленым сукном, за который уселись местные представители печати и предержащие власти, послали за ничего не подозревавшим Л. Н. Трефолевым, привезли его и усадили на самом видном месте.

Старенький, лысенький, похожий на общипанную ворону, юбиляр чувствовал себя странно и не знал, что ему делать и куда девать руки. Как я узнал потом, ему неизвестна была даже программа вечера, ему нечем было отвечать на адреса и приветствия, так как он не успел заготовить и двух слов. А тут то и дело раздавалось:

— Леонид Николаевич! Ваша полувековая плодотворная и многополезная деятельность...

И так далее.

Музыка играла туш, певчие пели «славу», а бедный поэт только вставал и, сложив крестообразно руки на груди, низко, в пояс, по-монашески кланялся на все четыре стороны.

Но опять вернусь обратно в Мелихово.

В выстроенном для себя флигельке Антон Павлович написал свою пьесу «Чайка». Он поставил ее на сцене петербургского Александринского театра, поехал туда сам и с горечью писал оттуда сестре, что все кругом него злы, мелочны, фальшивы, что спектакль, по всем видимостям, пройдет хмуро и что настроение у него неважное. В день первого представления «Чайки» к нему поехала в Питер сестра, и, как она говорила мне потом, он встретил ее на вокзале угрюмый, мрачный и на ее вопрос, в чем дело, ответил, что актеры пьесы не поняли, ролей вовсе не знают, автора не слушают...

Ставилась «Чайка» в бенефис комической актрисы Левкеевой, и публика ожидала и от пьесы комического. Как передавала мне сестра дома, с первых же сцен в театре произошел скандал. Шумели, кричали, шикали. Как и тогда, на первом представлении в Москве «Иванова», в Александринском театре произошла целая неразбериха, все превратилось в один сплошной, бесформенный хаос. Брат Антон куда-то исчез из театра. Его везде искали по

телефону, но он не находился. В час ночи к Сувориным приехала сестра Мария Павловна, еле держась на ногах от пережитых волнений и беспокойства, осведомляясь, где Антон, но и там ей не могли ничего ответить. Брат Антон написал мне из Петербурга открытку: «Пьеса шлепнулась и провалилась»,—и уехал тотчас же обратно в Мелихово, не простившись в Питере ни с кем[93]. Так сестра и не видала его после спектакля.

Антон Павлович питал любовь к книгам. Кропотливо, изо дня в день он собирал всевозможные книги, привозил с собою целые ящики из столицы, и в Мелихове у него составилась большая библиотека. В 1896 году он пожертвовал ее родному городу Таганрогу для общественной библиотеки[94]. Между прочим, туда ушли все те книги, которые он получал от авторов с их надписями. Затем через него же таганрогская библиотека стала пополняться книгами все более и более. Она вылилась теперь в прекрасное культурное учреждение и помещается в особом здании, сооруженном по проекту академика Ф. О. Шехтеля, и посвящена имени покойного писателя.

Мы были знакомы с Ф. О. Шехтелем по крайней мере лет тридцать пять. Сын повара из Саратова, он приехал в Москву в 1875 году, поступил в Училище живописи, ваяния и зодчества, где он и сошелся близко с моим братом Николаем. Их дружба продолжалась до самой смерти художника. Еще будучи совсем молоденьким учеником, посещавшим архитектурные классы, Шехтель часто приходил к нам в 1877 году, когда мы были особенно бедны, и стоило только нашей матери пожаловаться, что у нее нет дров, как он и его товарищ Хелиус уже приносили ей под мышками по паре здоровенных поленьев, украденных ими где-то из чужого штабеля по пути. Очень изобретательный и одаренный от природы прекрасным, общительным характером, Шехтель скоро обогнал своих сверстников, и уже в 1883 году на большом народном гулянье на Ходынском поле в Москве по случаю коронации Александра III по его рисункам была выполнена грандиозная процессия «Весна-красна», и с тех пор его популярность стала возрастать с каждым днем. В антрепризе известного Лентовского в его саду «Эрмитаж» и в театре на Театральной площади Шехтель ставил головокружительные феерии, которых до него не знал еще ни один театр. Достаточно указать на «Путешествие на Луну» и на

«Курочку — золотые яички», где Шехтель удивлял публику всевозможными сценическими трюками. Ему принадлежит масса построек в Москве и в провинции. Между прочим, он принимал деятельное участие в постройке Верхних торговых рядов в Москве, и, наконец, ему принадлежит здание Московского Художественного театра, за постройку которого он был удостоен звания академика архитектуры. После смерти брата Николая Шехтель перенес свою дружбу на Антона Павловича и всегда считал его своим лучшим другом.

В 1897 году Антон Павлович принял деятельное участие в народной переписи. Он по опыту знал, насколько это дело сближает человека с народом. Ему принадлежала перепись всего населения острова Сахалина, произведенная им по своему почину и собственными средствами еще в 1890 году. Теперь он участвовал в переписи вновь. Он изучил мужицкую жизнь во всех проявлениях, он близко сошелся со всеми своими соседями-крестьянами, которым он и до этого всегда готов был дать добрый совет и как врач, и как человек, и эти семь лет «мелиховского сидения» не прошли для него даром. Они наложили на его произведения этого периода свой особый отпечаток, особый колорит. Это влияние Мелихова признавал он и сам. Достаточно вспомнить об его «Мужиках» и «В овраге», где на каждой странице сквозят мелиховские картины и персонажи. Тогда же его захватил целиком проект устройства в Москве Народного дома. В то время о Народных домах в России не было еще помина. Деревенские люди проводили свое время в питейных домах в полной власти у кабатчиков. Народный дом, по мысли Антона Павловича, должен был строиться на широких началах: библиотеки, читальни, лекции, музеи, театр. Предполагалось выполнить все это на акционерных началах с капиталом в полмиллиона рублей. Ф. О. Шехтель составил проект. Но провести эту затею в жизнь Антону Павловичу не удалось «по не зависящим от него причинам».

В марте 1897 года брат Антон опасно заболел. Ничего не предчувствуя и не подозревая, он отправился из Мелихова в Москву, где его ожидал Суворин. Едва только они сели в «Эрмитаже» за обед, как у Антона Павловича хлынула из легких кровь. Несмотря на принятые обычные меры, истечение крови не прекращалось.

Вот как описывает старик Суворин это несчастье в своем «Дневнике», причем я для ясности буду в его заметку вставлять свои пояснения в скобках: «Третьего дня у Чехова пошла кровь горлом, когда мы сели за обед в «Эрмитаже». Он спросил себе льду, и мы, не начиная обеда, уехали. Сегодня он ушел к себе в «Б. Моск.» (овскую гостиницу). Два дня лежал у меня (в номере у Суворина в гостинице «Славянский базар», куда старик отвез его из «Эрмитажа»). Он испугался этого припадка и говорил мне, что это очень тяжелое состояние. «Для успокоения больных (говорил Чехов) мы говорим во время кашля, что он — желудочный, а во время кровотечения — что оно геморроидальное. Но желудочного кашля не бывает, а кровотечение непременно из легких. У меня из правого легкого кровь идет, как у брата и другой моей родственницы, которая тоже умерла от чахотки»...[95] Вчера (я, Суворин) встал в 5 часов утра, не уснул ни минуты, написал записку Чехову и сам отнес ее в «Б. Моск.» (овскую гостиницу), потом гулял в Кремле, по набережной к Спасу и обратно в «Слав. базар». В 7 часов пришел (обратно к себе) в отель. Лег и уснул немного. В 11-м часу пришел (от Чехова) доктор Оболонский и сказал, что у Чехова в 6 часов утра пошла опять кровь горлом и он отвез его в клинику Остроумова на Девичьем поле. Надо знать, что 24 (марта) утром, когда я еще спал (и когда Чехов двое суток после описанного обеда в «Эрмитаже» провел в номере у Суворина),Чехов оделся, разбудил меня и сказал, что он уходит к себе в отель. Как я ни уговаривал его остаться (у меня), он ссылался на то, что (у него в гостинице на его имя) получено много писем, что со многими ему надо видеться и т. д. ...Целый день он говорил, устал, и припадок к утру повторился. Я дважды был вчера у Чехова в клинике. Как там ни чисто, а все-таки это больница и там больные. Обедали в коридоре, в особой комнате. Чехов лежал в № 16, на десять номеров выше, чем его «Палата № 6», как заметил Оболонский. Больной смеется и шутит, по своему обыкновению, отхаркивая кровь в большой стакан. Но когда я сказал, что смотрел, как шел лед по Москве-реке, он изменился в лице и сказал: «Разве река тронулась?» Я пожалел, что упомянул об этом. Ему, вероятно, пришло в голову, не имеют ли связь эта вскрывшаяся река и его кровохарканье. Несколько дней тому назад он говорил мне: «Когда мужика лечишь

от чахотки, он говорит: «Не поможет». С вешней водой уйду» («Дневник», стр. 151). О том, что случилось с Антоном Павловичем во время обеда в «Эрмитаже» и происходило потом все последующие дни, мы, все Чеховы, узнали далеко не тотчас. Но даже после выхода в свет суворинского «Дневника» для нас явилось полной неожиданностью то, что после случившегося припадка Антон Павлович целые двое суток пролежал не у себя, а в номере у Суворина в гостинице «Славянский базар», где, без сомнения, пользовался чисто отеческим уходом. Когда Антона Павловича поместили в клинику, то я был далеко на Волге, а сестра Мария Павловна находилась в Мелихове и ничего не знала. Приехав в Москву, она, к удивлению своему, встретила на вокзале брата Ивана Павловича, который передал ей карточку для посещения в клинике больного писателя. На карточке было написано: «Пожалуйста, ничего не рассказывай матери и отцу». Бросив случайный взгляд на столик, она увидела на нем рисунок легких, причем верхушка левого была очерчена красным карандашом. Она тотчас же догадалась, что у Антона Павловича была поражена именно эта часть. Это и самый вид больного ее встревожили. Всегда бодрый, веселый, жизнерадостный, Антон Павлович походил теперь на тяжелобольного; ему запрещено было двигаться, разговаривать, да он и сам едва ли бы имел для этого достаточно сил. Когда его перевели потом из отдельной комнаты в большую палату, то навещавшая его вновь сестра застала его ходившим по ней взад и вперед в халате и говорившим: «Как это я мог прозевать у себя притупление?» В клинике Антона Павловича посетил Лев Николаевич Толстой, разговаривавший с ним об искусстве.

Как бы то ни было, а теперь дело представлялось ясным. У Антона Павловича была официально констатирована бугорчатка легких, и необходимо было теперь от нее спасаться во что бы то ни стало и, несмотря ни на что, бежать от гнилой северной весны.

Выйдя из клиники, Антон Павлович возвратился в Мелихово и уже поспешил написать А. И. Эртелю о состоянии своего здоровья: «Самочувствие у меня великолепное, ничего не болит, ничего не беспокоит внутри, но доктора запретили мне vinum*, движение, разговоры, приказали много есть, запретили практику — и мне как

* Вино *(лат.)*.

будто скучно» (17 апреля 1897 года). Затем он стал собираться за границу. Он поехал сперва в Биарриц, но там его встретила дурная погода, которая так все время и продолжалась, и он не почувствовал себя удовлетворенным. Вскоре он переехал в Ниццу. Здесь он надолго и прочно поселился в «Pension Russe» на улице Gounod*. Жизнь его здесь, по-видимому, удовлетворяла. Ему нравились тепло, культурность, «ложе, как у Клеопатры» в его комнате и общение с такими людьми, как профессор М. М. Ковалевский, В. М. Соболевский, В. И. Немирович-Данченко[96] и художник В. И. Якоби. Приезжали туда и И. Н. Потапенко и А. И. Сумбатов-Южин, с которыми Антон Павлович наезжал иногда в Монте-Карло и поигрывал в рулетку.

В Ницце Антон Павлович прожил осень и зиму и в феврале 1898 года засбирался в Африку, но профессор М. М. Ковалевский, с которым он хотел поехать туда, заболел, и от путешествия пришлось отказаться. Подумывал он и о поездке на остров Корсику, но и это ему не удалось. К тому же он перенес в этом месяце в Ницце тяжелую болезнь. Зубной врач француз очень неискусно вырвал у него зуб, заразил его грязными щипцами, и у него приключился периостит в тяжелой форме с полной тифозной кривой. По его словам, «он лез от боли на стену». К этому еще стало присоединяться убеждение в безнравственности проживания в Ницце: «Смотрю я,— пишет он А. С. Суворину,— на русских барынь, живущих в Pension Russe,— рожи скучны, праздны, себялюбиво праздны, и я боюсь походить на них, и все мне кажется, что лечиться, как лечимся здесь мы (т. е. я и эти барыни),— это препротивный эгоизм» (14 декабря 1897 года).

И вот, едва только наступила весна 1898 года, как его уже неудержимо потянуло в Россию. Вынужденное безделье утомило его, ему недоставало снега и русской деревни, и в то же время его беспокоила мысль о том, что, несмотря на климат, на хорошее питание и на безделье, он нисколько не прибавился в весе. «По-видимому, я никогда уже более не поправлюсь»[97],— писал он одному из знакомых.

Пока он находился в Ницце, Франция переживала беспокойные, тяжелые дни. Разбиралось вновь дело Дрейфуса. Чуткий ко всему, Антон Павлович принялся за его изу-

* «Русский пансион»... Гуно *(фр.)*.

чение по стенограммам и, убедившись в невиновности Дрейфуса, написал А. С. Суворину горячее письмо, охладившее их отношения. Но об этом я писал уже в своем месте.

Март 1898 года Чехов провел в Париже, где познакомился с знаменитым скульптором М. М. Антокольским. Благодаря этому знакомству город Таганрог получил для памятника фигуру Петра I работы этого скульптора и для тамошнего чеховского музея — ценную скульптуру его же работы «Последний вздох». В мае Антон Павлович вернулся наконец в Мелихово. С его приездом здесь все ожило. Опять стали приезжать гости, но он уже не шутил, как прежде, был задумчив и, вероятно, из-за своей болезни, стал мало разговаривать. Как и прежде, он ухаживал за розами, обрезал кусты. В это время сестра затеяла постройку мелиховской школы, и он очень был этим заинтересован, но... прошли счастливые дни Аранжуэца! «Цветы повторяются каждую весну, а радости нет» (из «Иванова»).

В Мелихове Чехов прожил до сентября. Начались спозаранку дожди, запахло осенью, и 14 сентября писатель отбыл в Ялту. Ему предстояла альтернатива: или опять Ницца, или Ялта, но ехать снова за границу ему не хотелось, и он предпочел Ялту, рассчитывая, что, быть может, он зимою улучит время и съездит ненадолго в Москву, где должна была идти его «Чайка» в Художественном театре. Его выбор оказался удачным. Осень и зима в Ялте были превосходны, и он чувствовал себя там отлично. Но в октябре нашу семью постигло несчастье. Наш отец приподнял в Мелихове с полу тяжелый ящик с книгами, и у него произошло невправимое ущемление грыжи. Пока по отвратительной грязной дороге его довезли до станции (13 верст), пока три часа везли в поезде в Москву и пока поместили в клинику, кишка у него омертвела, и явилась необходимостью вскрывать брюшную полость. Отец не выдержал операции и умер. Мы похоронили его в Новодевичьем монастыре, и я, мать и сестра с грустью возвратились в Мелихово. Я прошел по пустынным комнатам. Брата Антона нет — он в Ялте; отца нет — он в могиле; «прекрасной Лики» тоже нет — она в Париже. Даже нет нашего вечного друга А. И. Иваненко — он навсегда уехал к себе на родину. Опустело наше Мелихово! Точно

один отец занимал весь наш дом, — так почувствовалось в Мелихове его отсутствие.

Затем вскоре Антон Павлович уведомил сестру, что он купил в Ялте участок и будет строиться, чтобы иметь место, где зимовать. Участок этот был приобретен далеко от Ялты, бок о бок с татарским кладбищем, весь заросший корявым, выродившимся виноградником. На Марию Павловну, когда брат Антон повез ее туда, чтобы показать ей свою покупку, участок произвел угнетающее впечатление. Как мне говорил живший тогда в Ялте бывший певец оперы Усатов, служивший там по городским выборам, этот участок непрактичному Антону Павловичу просто «всучили». Тогда он не был включен ни в водопроводную сеть, ни в канализацию, и первые три года жизни на нем пришлось довольствоваться дождевой водой, а молодой сад поливали помоями из-под умывания.

Началась постройка. Предполагалось истратить тысяч около десяти, большую часть которых решили взять из кредитного учреждения под залог самой постройки, но, пока дом строился, появились деньги из других источников[98], и на заглохшем пустыре в Аутке по проекту Л. Н. Шаповалова было выстроена прекрасная дача, в которой каждый камень, каждое деревцо говорят о созидательном таланте Антона Павловича и его сестры. Писатель проводил на постройке целые дни. Свозили камень и известку, турки и татары копали землю, а сам Чехов с педантизмом хирурга сажал деревья и с отеческой любовью следил за каждым новым побегом.

В январе 1899 года у Антона Павловича начались переговоры с Марксом о продаже его произведений этой фирме на вечные времена. Переговоры эти закончились тем, что к Марксу перешло все право издания сочинений писателя за 75 тысяч рублей и право на будущие произведения по особому тарифу. К сожалению, уплата этих 75 тысяч была рассрочена на три срока, и Антон Павлович не почувствовал себя богатым. Строился ялтинский дом, были долги, необходимо было рассчитаться с А. С. Сувориным, и от первой получки скоро не осталось ничего. До второй получки пришлось доставать денег под обязательство, и Антону Павловичу стало казаться, что над ним выросла большая фабричная труба, в которую должно было вылететь все его благосостояние.

Дом еще не был готов, а зима 1899 года в Крыму была чрезвычайно суровая. Холод, снег, морские бури и полное отсутствие близких по духу людей утомили писателя. Он стал тосковать. По словам сестры, его неудержимо потянуло на север, и ему стало казаться, что если бы он переехал на зиму в Россию, в Москву, где с таким успехом шли в Художественном театре его пьесы и где все для него было так полно интереса, то для его здоровья это было бы не хуже, чем в Ялте. Но, против воли, пришлось примириться с жизнью в Аутке. А эта жизнь уже и со своей стороны стала предъявлять к нему свои права: как местный житель, он был избран в члены попечительского совета женской гимназии, и при этом еще приходилось выносить и много душевных волнений из-за чахоточных больных, которые со всех концов России стали обращаться к нему с просьбами устроить их в Ялте. А те, которые приезжали сами по себе, были так бедны, что кончали в Ялте свою жизнь в невозможных условиях и в тоске по родине. Приходилось подумать и о них. Антон Павлович хлопотал за всех, печатал воззвания в газетах, собирал деньги и посильно облегчал их положение. Между прочим, он тогда пожертвовал 500 рублей на постройку школы в Мухолатке.

Весною его неудержимо потянуло на север, и 12 апреля он прибыл в Москву, а затем в мае — в Мелихово. В Москве специально для него Художественный театр ставил «Чайку»,— он, как говорится, завертелся и сам не знал, что с собою делать.

Уже 15 мая он писал П. Ф. Иорданову в Таганрог: «Я не знаю, что с собой делать. Строю дачу в Ялте, но приехал в Москву, тут мне вдруг понравилось, несмотря на вонь, и я нанял квартиру на целый год, теперь я в деревне, квартира заперта, дачу строят без меня — и выходит какая-то белиберда».

Тем не менее 29 августа Антон Павлович все-таки окончательно переселился наконец в свой собственный дом в Ялте. После этого было продано Мелихово, и мать и сестра отправились к нему на постоянное жительство в Крым. Так в жизни Антона Павловича совершился новый переворот — уже последний в его жизни, лишивший его любимого севера навсегда.

17 января 1900 года, как раз в самый день именин писателя, его выбрали в почетные академики Пушкинского отделения Академии наук. Все домашние обрадовались. Я помню, как наша старая-престарая кухарка Марьюшка, доживавшая свой век на покое у Антона Павловича в Ялте, когда я приехал туда, вышла из флигеля и многозначительно мне сказала:

— Теперь наш батюшка Антон Павлович уже генерал.

И действительно, с избранием в почетные академики Антона Павловича, кто в шутку, а кто и всерьез, стали величать «вашим превосходительством». Даже приходившая к нему очень важная персона — швейцар Ливадийского дворца — раз сто подряд назвал его «превосходительством».

А этот «генерал» так дорожил своим генеральством, что немедленно же от него отказался, как только узнал, что Горького тоже выбрали в академики, но тотчас же, ввиду его политической неблагонадежности, и исключили. Характерны письмо Антона Павловича по этому поводу на имя президента академии великого князя Константина Константиновича и отношение к этому же инциденту В. Г. Короленко. Антон Павлович не скрывал, что ему не понравилась самая организация отделения изящной словесности Академии наук. По его мнению, академики сделали все, чтобы обезопасить себя от литераторов, общество которых всегда их шокировало. Беллетристы могли быть только почетными академиками, а это ничего не значило, так как звание почетного академика не давало ни жалованья, ни права голоса. «Ловко обошли! — писал Антон Павлович А. С. Суворину 8 января 1900 года.— В действительные академики будут избираться профессора, а в почетные академики те из писателей, которые не живут в Петербурге, т. е. те, которые не могут бывать на заседаниях и ругаться с профессорами».

Отвратительная весна, бывшая в тот год в Ялте, сильно повлияла на здоровье и на настроение Антона Павловича. 5 марта выпал снег. Это удручало его, и все его мысли были в Москве, где в то время развивал свою деятельность Московский Художественный театр. Его цели, организация и идейное отношение к делу были ему очень симпатичны, он даже мечтал принять близкое участие в его делах и с нетерпением ожидал, когда этот театр

приедет в Крым. Он хлопотал о помещении для него в Ялте и даже об устройстве в этом помещении электрического освещения.

Весной приехал в Крым Художественный театр. Он остановился для нескольких спектаклей в Севастополе. Станиславский и артисты ожидали приезда туда Антона Павловича, но завернула такая ужасная погода, что они напрасно его прождали. Только на Пасху, когда потеплело, он туда приехал. Специально для него там давали «Дядю Ваню». Из Севастополя театр переехал в Ялту, и — странное дело! — точно по щучьему веленью, сюда же собрались и писатели: Чириков, Бунин, Елпатьевский, Куприн и Максим Горький. В доме на Аутке сразу все ожило. Каждый день там собиралась вся труппа, приходили писатели, и для наших матери и сестры опять настали мелиховские времена: они занялись приемом своих гостей. Беленькая, ласковая, общительная, мать Евгения Яковлевна восседала во главе стола, угощала и следила за каждым гостем, хорошо ли он ест.

Уехал театр — Антона Павловича стали одолевать посетители. Гости, гости и гости! Приходили люди, с которыми он не имел ровно ничего общего, сидели подолгу, заводили неинтересные разговоры, часа по два просиживали за стаканом чая, молча и со звоном вертя в нем ложечкой. А он в это время был в самом писательском настроении, должен был скрываться от них, бросать свой письменный стол и запираться в спальной.

«Мне жестоко мешают, — писал он в одном из своих писем, — скверно и подло мешают. Пьеса сидит в голове, уже вылилась, просится на бумагу, но едва я за бумагу, как отворяется дверь и вползает какое-нибудь рыло» (18 августа 1900 года).

Осень 1900 года Антон Павлович провел в Москве, а в начале декабря опять уехал за границу, но снег и холода погнали его обратно домой, и в первых же числах февраля 1901 года он возвратился к себе в Ялту. В это время я находился далеко на севере[99] и потому не знаю, как он проводил время до весны. По странной игре судьбы я даже за все это время не получал писем ни от него, ни от домашних. Как вдруг в конце мая 1901 года я неожиданно узнал из газет, что он женился. Свадьба состоялась в Москве 25 мая 1901 года. В первое время я даже и не

знал, кто была его невеста. Я сказал «неожиданно» потому, что эта неожиданность коснулась не одного только меня, но и моего брата Ивана Павловича, бывшего в то время в Москве и видевшегося с ним в то же утро, перед самым венчанием, за какой-нибудь час до церемонии, и узнавшего об этом только тогда, когда все уже совершилось[100].

Прямо из-под венца Ольга Леонардовна повезла своего супруга на кумыс в Уфимскую губернию, и с этой поры я уже совсем потерял брата Антона из виду и больше не видал его никогда[101].

Прошло три года.

3 июля 1904 года я отправился в Ялту, чтобы навестить своих мать и сестру. Тогда Антон Павлович с женой находились за границей, в Баденвейлере.

Когда пароход приставал в Ялте к молу, то мне кто-то помахал с берега шляпой. Это был мой двоюродный брат Жорж[102], служивший агентом в Русском обществе пароходства в Ялте и вышедший на мол принять пароход. Он узнал меня издали, приложил рупором ладони ко рту и крикнул мне с берега:

— Антон скончался!

Это ударило меня как обухом по голове. Хотелось заплакать. Вся поездка, вся эта прекрасная с парохода Ялта, эти горы и море сразу же померкли в моих глазах и потеряли цену.

Я отправился в Аутку. Сестра в это время была с братом Иваном Павловичем в Боржоме. Послали ей срочную телеграмму, а от матери все время скрывали. Ничего еще не подозревавшая, она радостно встретила меня, стала угощать,— но кусок не шел мне в рот, и мне было неловко перед ней, что я скрывал от нее такое важное событие и должен был поддерживать комедию, чтобы подготовить ее к удару постепенно.

Затем возвратились в Ялту брат и сестра, и тотчас же была получена телеграмма от вдовы о том, что она везет тело покойного через Петербург в Москву. Стали появляться сообщения и в газетах. Не прожив и пяти дней в Ялте, я должен был возвращаться опять на север, чтобы встретить тело и проводить его до могилы. Собралась и сестра. Перед отъездом открыли, наконец, матери тайну. Она схватилась руками за голову, опустилась на сту-

пеньки лестницы, где стояла, и громко зарыдала. Не было сил присутствовать при этом тяжком ее горе. Затем, придя понемногу в себя, стала собираться с нами в Москву и она.

Мы отправились на север вчетвером. Ялтинский дом остался сиротою.

Мы приехали в Москву к самым похоронам. Нас встретил на вокзале в Москве В. С. Миролюбов и повез в карете к университету, так как тело уже прибыло из Петербурга и его несли с Николаевского вокзала в Новодевичий монастырь. Если бы наш поезд опоздал, то мы так бы и не попали на похороны. Несметные толпы народа сопровождали гроб, причем на тех улицах, по которым его несли, было прекращено движение трамваев и экипажей, и вливавшиеся в них другие улицы и переулки были перетянуты канатами. Нам удалось присоединиться к процессии только по пути, да и то с трудом, так как в нас не хотели признавать родственников покойного и не пропускали к телу. Вся московская молодежь, взявшись за руки и составив таким образом колоссальный хоровод в диаметре никак не менее полуверсты, охраняла кортеж от многих тысяч сопровождавших, желавших поближе протиснуться к гробу.

Так мы дошли до самого монастыря под охраной молодежи, которая заботливо оберегала нас от толпы. Когда же процессия стала входить в узкие монастырские ворота, началась такая давка, что я пришел в настоящий ужас. Каждому поскорее хотелось пробраться внутрь, и получился такой затор, что если бы не та же распорядительная молодежь, то дело не обошлось бы без катастрофы. Еле пронесли сквозь ворота гроб, еле вдавились в них мы с депутатами и близкими к покойному людьми, а народ все напирал и напирал. Слышались возгласы и стоны. Наконец ввалилась на кладбище вся толпа — и стали трещать кресты, валиться памятники, рушиться решетки и затаптываться цветы.

Брата Антона опустили в могилу рядом с отцом. Мы взглянули в нее последний раз, бросили по прощальной горсти земли, она ударилась о крышку гроба — и могила закрылась навсегда.

На другой же день мы поехали обратно в Ялту. С нами вместе ехала туда же и вдова.

А затем — долгая тоска, пока не привыкли, и обидные для чувства формальности по вводу во владение оставшимся после покойного наследством. Оно доставалось по закону нам, трем братьям покойного писателя, но мы, зная его последнюю волю, отказались от наследства и все, в полном составе, передали нашей сестре Марии Павловне.

Теперь, благодаря неустанным стараниям нашей сестры, ее бескорыстному отношению к незабвенной памяти покойного брата, ее поистине самоотверженной деятельности, Республика обогатилась полным поэзии и трогательной чеховской лирики культурным учреждением, которое известно теперь всему просвещенному миру и которое носит теперь название

«ДОМ-МУЗЕЙ А. П. ЧЕХОВА В ЯЛТЕ»

М. П. ЧЕХОВА

ИЗ ДАЛЕКОГО ПРОШЛОГО

<*И. И. Левитан*>



Я не помню, в каком году я познакомилась с Исааком Ильичом Левитаном, но приблизительно это было в начале 80-х годов, когда Антон Павлович уже переехал в Москву. Левитан учился вместе с братом Николаем в Училище живописи, ваяния и зодчества. Одно время они и жили вместе в номерах на Садовой, где обычно ютилась бедная учащаяся молодежь.

Как-то я зашла к брату. Сижу, разговариваю — входит его товарищ. Коля познакомил нас.

— А сестга Чехова уже багышня! — как бы удивленно сказал товарищ брата, здороваясь со мной.

Это и был И. И. Левитан. Он сильно картавил, не произносил звука «р», а вместо «ш» у него получалось «ф», меня, например, он всегда называл — Мафа.

Позднее, познакомившись с Антоном Павловичем, Левитан быстро с ним подружился, стал постоянно бывать у нас и сделался для нашей семьи близким человеком. Левитан глубоко любил русскую природу, очень тонко чувствовал ее и своим талантом живописца поистине воспел красоту русского пейзажа. Антон Павлович в литературе был великим мастером, глубоко чувствующим красоту русской природы. Эта общая любовь к природе, признание таланта друг друга сблизили и взаимно привлекли великих художников.

У Левитана было выразительное лицо, крупный нос, томные с поволокой глаза, шапка темных волос. Я бы не сказала, что он был красив, но он пользовался успехом у женщин и сам был необыкновенно влюбчивым и экспансивным в проявлении своих чувств. Однако временами он впадал в мрачную меланхолию, готов был покончить с собой, повеситься, застрелиться, но эти настроения проходили.

В Бабкино вместе с нами он попал не случайно. Вот как описал это сам Антон Павлович в одном из писем с дачи: «Со мной живет художник Левитан (не тот*, а другой — пейзажист)... С беднягой творится что-то недоброе. Психоз какой-то начинается. Хотел на Святой с ним во Владимирскую губернию съездить, проветрить его (он же и подбил меня), а прихожу к нему в назначенный для отъезда день, мне говорят, что он на Кавказ уехал... В конце апреля вернулся откуда-то, но не из Кавказа... Хотел вешаться... Взял я его с собой на дачу и теперь прогуливаю... Словно бы легче стало...»

Первое время Левитан жил в деревне Максимовке, а затем по настоянию Антона Павловича переехал в небольшой флигелек к нам в Бабкино. На этом домике Антон Павлович повесил шутливую вывеску «Ссудная касса купца Левитана». Никто без смеха не мог пройти мимо.

* * *

Иду я однажды по дороге из Бабкина к лесу и неожиданно встречаю Левитана. Мы остановились, начали говорить о том о сем, как вдруг Левитан бух передо мной на колени и... объяснение в любви.

Помню, как я смутилась, мне стало как-то стыдно, и я закрыла лицо руками.

— Милая Мафа, каждая точка на твоем лице мне дорогá... — слышу голос Левитана.

Я не нашла ничего лучшго, как повернуться и убежать.

Целый день я, расстроенная, сидела в своей комнате и плакала, уткнувшись в подушку. К обеду, как всегда, пришел Левитан. Я не вышла. Антон Павлович спросил окружающих, почему меня нет. Миша, подсмотрев, что я плачу, сказал ему об этом. Тогда Антон Павлович встал из-за стола и пришел ко мне.

— Чего ты ревешь?

Я рассказала ему о случившемся и призналась, что не знаю, как и что нужно сказать теперь Левитану. Брат ответил мне так:

— Ты, конечно, если хочешь, можешь выйти за него замуж, но имей в виду, что ему нужны женщины бальзаковского возраста, а не такие, как ты.

Мне стыдно было сознаться брату, что я не знаю, что такое «женщина бальзаковского возраста», и, в сущности,

---

* Имеется в виду брат И. И. Левитана художник Адольф Левитан. *(Здесь и далее примеч. М. П. Чеховой.)*

я не поняла смысла фразы Антона Павловича, но почувствовала, что он в чем-то предостерегает меня. Левитану я тогда ничего не ответила, и он опять с неделю ходил по Бабкину мрачной тенью. Да и я никуда не выходила из дома. Но вскоре все бабкинцы об этом «происшествии» узнали. Придет, бывало, Владимир Петрович Бегичев и зовет:

— Ну, Марьюшка, пойдем немного пройдемся.

Возьмет меня под руку и непременно поведет в сторону левитановского флигеля, и чем ближе мы подходим, тем все крепче прижимает мой локоть, чтобы я не убежала.

Потом, как это всегда в жизни бывает, я привыкла и стала вновь встречаться с Левитаном. На этом весь наш «роман» и закончился. Всю его жизнь мы продолжали быть с ним лучшими друзьями. Он много помогал мне в занятиях живописью. Правда, он мне не раз говорил потом и повторил незадолго перед своей смертью, когда я навестила его уже тяжело больным:

— Если бы я когда-нибудь женился, то только бы на вас, Мафа...

Но Левитану не суждено было жениться. Вся жизнь его прошла в увлечениях, в метаниях. Однажды он так запутался в одном романе, героинями которого были мать и дочь, что даже стрелялся. Антон Павлович ездил тогда в имение, где произошли эти события, лечить Левитана и прожил у него около недели. Но Левитана нужно было лечить не столько от раны, сколько от психической подавленности.

Позднее Левитан откровенничал со мной:

— Чегт знает что! Понимаете, Мафа, мать и дочь...

На что я ему ответила:

— Это вы взяли из Мопассана...

Еще об одном увлечении Левитана, которое в какой-то степени нашло отражение в рассказе Антона Павловича «Попрыгунья», много писалось и говорилось. Добавлю лишь, что как ни старался Антон Павлович отмахнулся от «обвинения», но все-таки отношения между художником Рябовским и «попрыгуньей» Дымовой и весь сюжет рассказа во многом напоминают то, что произошло между Левитаном и художницей С. П. Кувшинниковой, хотя, конечно, нельзя ставить знака равенства между Левитаном и Рябовским. Этот рассказ был единственной причиной временного перерыва дружеских отношений между Левитаном и Антоном Павловичем, продолжавшегося

около трех лет, до января 1895 года, когда наша общая приятельница Татьяна Львовна Щепкина-Куперник привезла Левитана в Мелихово. Встретились они с Антоном Павловичем тепло и радостно. Левитан, проведя у нас вечер и ночь, рано утром уехал, оставив брату такую записку: «... Я рад несказанно, что вновь здесь у Чеховых. Вернулся опять к тому, что было дорого и что на самом деле и не переставало быть дорогим». Все было забыто, и в нашем доме вновь зазвучал милый голос «крокодила».

Левитан нежно любил Антона Павловича. Когда брат в 1897 году неожиданно для всех заболел, Левитан прислал ему тревожное письмо, предлагал вместе поехать для лечения за границу, спрашивал, не нужно ли денег. «Ах, зачем ты болен, зачем это нужно, тысяча праздных, гнусных людей пользуются великолепным здоровьем! Бессмыслица!» — писал он в этом письме. Причем у самого Левитана дела со здоровьем в это время были неважные. У него было тяжелое сердечное заболевание. Приведу одно из писем Левитана, написанное мне в Мелихово в этот период:

«Хорошая моя Мария Павловна! Я писал как-то Антону Павловичу, но ответа не получил, из чего заключаю, что его нет в деревне. Где он, а главное, как его здоровье? На днях один мой знакомый прочел, что Антон Павлович был в Одессе. Правда это? Проездом куда-нибудь?* Разве ему посоветовали теперь ехать на юг? Голубушка Мафа, напишите обо всем этом.

Какую дивную вещь написал Антон Павлович — «Мужики». Это потрясающая вещь. Он достиг в этой вещи поразительно художественной компактности. Я от нее в восторге.

Что вы поделываете, дорогая моя славная девушка? Ужасно хочется вас видеть, да так плох, что просто боюсь переезда к вам, да по такой жаре вдобавок. Я немного поправился за границей, а все-таки слаб ужасно, и провести два часа в вагоне, да потом еще 10 верст по плохой дороге — не под силу. Может быть, похолоднее будет, решусь приехать к вам. Мало работаю — невероятно скоро устаю. Да, израсходовался я вконец, и нечем жить дальше! Должно быть, допел свою песню. Что ваши, здоровы ли? Мой привет им. Искренно преданный вам Левитан».

* Это была газетная «утка». Антон Павлович летом 1897 года в Одессе не был.

Два года спустя, в декабре 1899 года, Левитан приезжал к нам в Ялту. Здоровье его тогда было уже настолько плохо, что, гуляя с ним по окружающим нашу дачу холмам, я протягивала ему палку и, идя впереди, тянула его кверху.

Через полгода Левитан скончался в возрасте всего лишь тридцати девяти лет. Антон Павлович искренно горевал о ранней смерти своего друга и все собирался написать о нем статью, да так и не собрался.

Вскоре после смерти Исаака Ильича его брат Адольф Ильич передал мне фотокопию завещательной записки Левитана, в которой тот просил после его смерти сжечь все его письма. А. И. Левитан выполнил волю брата. Вот почему остались неизвестными письма Антона Павловича к И. И. Левитану.

Моя подруга Лика

Провожу я как-то урок в своем классе (я служила тогда в гимназии Ржевской уже не первый год) и слышу в соседней комнате голос новой учительницы:

— Медам, тсш!.. Медам, тсш!..

Фраза «медам, тсш!», которой пользовались для того, чтобы навести тишину в классе, была характерна для тех, кто оканчивал тогдашний институт благородных девиц. Выход из соседнего класса был через мою комнату, и после окончания урока я немного задержалась, чтобы посмотреть на новую учительницу. Вижу, идет совсем молоденькая девушка. Это была наша новая учительница в младших классах — Лидия Стахиевна Мизинова, или Лика, как ее потом звали в нашей семье.

Вскоре мы познакомились, а потом и подружились. Возвращаясь из гимназии домой после уроков, мы с Ликой обычно шли вместе, так как нам было по дороге.

Лидия Стахиевна была необыкновенно красива. Правильные черты лица, чудесные серые глаза, пышные пепельные волосы и черные брови делали ее очаровательной. Ее красота настолько обращала на себя внимание, что на нее при встречах заглядывались. Мои подруги не раз останавливали меня вопросом:

— Чехова, скажите, кто эта красавица с вами?

Я ввела Лидию Стахиевну в наш дом и познакомила с братьями. Когда она в первый раз зашла за чем-то ко мне, произошел такой забавный эпизод. Мы жили тогда в доме Корнеева на Садовой Кудринской. Войдя вместе

с Ликой, я оставила ее в прихожей, а сама поднялась по лестнице к себе в комнату наверх. В это время младший брат Миша стал спускаться по лестнице в кабинет Антона Павловича, расположенный в первом этаже, и увидел Лику. Лидия Стахиевна всегда была очень застенчива. Она прижалась к вешалке и полузакрыла лицо воротником своей шубы. Но Михаил Павлович успел ее разглядеть. Войдя в кабинет к брату, он сказал ему:

— Послушай, Антон, к Марье пришла такая хорошенькая! Стоит в прихожей.

— Гм... да? — ответил Антон Павлович, затем встал и пошел через прихожую наверх.

За ним снова поднялся Михаил Павлович. Побыв минутку наверху, Антон Павлович спустился. Миша тоже вскоре спустился, потом поднялся: это оба брата повторяли несколько раз, стараясь рассмотреть Лику. Впоследствии Лика рассказывала мне, что в тот первый раз у нее создалось впечатление, что в нашей семье страшно много мужчин, которые все ходили вверх и вниз!

После знакомства с нашей семьей Лика сделалась постоянной гостьей в нашем доме, стала общим другом и любимицей всех, не исключая и наших родителей. В кругу близких людей она была веселой и очаровательной. Мои братья и все, кто бывал в нашем доме, не считаясь ни с возрастом, ни с положением, — все ухаживали за ней. Когда я знакомила Лику с кем-нибудь, я обычно рекомендовала ее так:

— Подруга моя и моих братьев...

Антон Павлович действительно очень подружился с Ликой и, по своему обыкновению, называл ее различными шутливыми именами: Жаме, Мелитой, Канталупочкой, Мизюкиной и др. Ему всегда было весело и приятно в обществе Лики. На обычные шутки брата она всегда отвечала тоже шутками, хотя иногда ей и доставалось от него.

Летом 1891 года, когда мы жили на даче под г. Алексиным, сюда к нам приезжала погостить и Лика. Антон Павлович любил компанией гулять по окрестным лесам и лугам. В этих местах рос хороший щавель, и мы ходили все вместе его собирать. Антон Павлович придумал Лике особые обязанности: ей было поручено ходить с корзинкой и брать от нас нарванные пучки щавеля. Как только кто-нибудь соберет достаточный пучок травы, то призывает Лику к себе возгласом: «Счет!»

Откуда мы взяли это слово! В известном московском магазине Мюр и Мерилиза в те времена существовал такой порядок: покупатели ходили по магазину и выбирали товары; стоимость купленных предметов записывалась на особые записки-счета, которые подписывались главным приказчиком, ходившим по магазину. После этого клиент шел в другие отделы и покупал там; это снова записывалось в счет, пока наконец покупки не заканчивались и счет не оплачивался в кассу. Для того чтобы главный приказчик подошел подписать счет-записку, выкрикивали: «Счет!» Требования «счет!» слышались в разных концах магазина, и главный приказчик должен был быстро появляться то тут, то там. Вот это мы в шутку и использовали в Алексине при сборе щавеля с участием Лики.

Появится у меня пучок, я кричу: «Счет!» — Лика подбегает с корзинкой. Затем из другого конца Антон Павлович кричит: «Счет!» — Лика бежит туда; наконец, еще откуда-то кричит Миша: «Счет!» — бедняжка Лика бежит туда. Лика бегала, бегала и, умаявшись, рассердилась и бросила корзинку...

Антон Павлович переписывался с Ликой. Письма его были полны остроумия и шуток. Он часто поддразнивал Лику придуманным им ее мифическим поклонником, называл его Трофимом, причем произносил это имя по-французски Trophin. И в письмах так же писал, например: «Бросьте курить и не разговаривайте на улице. Если Вы умрете, то Трофим (Trophin) застрелится, а Прыщиков заболеет родимчиком...» Или же посылал ей такое письмо: «Трофим! Если ты, сукин сын, не перестанешь ухаживать за Ликой, то я тебе...» и мне брат писал в таком же роде: «Поклон Лидии Егоровне Мизюковой. Скажи ей, чтобы она не ела мучного и избегала Левитана. Лучшего поклонника, как я, ей не найти ни в Думе*, ни в высшем свете».

Да и Лика не отставала от него и порой отвечала ему в таком же духе, вроде того что она приняла предложение выйти замуж за одного владельца винного завода — старичка семидесяти двух лет.

Когда мы жили в Мелихове, Лика бывала у нас там постоянно. Мы так к ней привыкли, что даже родители наши скучали, когда она долго не приезжала.

Работая в Москве, в гимназии, я в конце недели уезжала в Мелихово. Часто со мной ездила и Лика. Уезжая из

---

* Лика служила в то время уже в Московской городской думе.

дома в Москву, я всегда получала поручения привезти что-нибудь по хозяйству: грабли, косы, лопаты и прочее. И вот тому, кто ехал со мной, всегда доставалось везти что-нибудь. В тарантасе по отвратительной дороге от станции Лопасня до Мелихова эти вещи доставляли всегда большие неудобства.

— Проклятая Машка опять везет с собой эту пакость! — ворчала Лика.

В летнюю пору Лика жила у нас в Мелихове подолгу. С ее участием у нас происходили чудесные музыкальные вечера. Лика недурно пела и одно время даже готовилась быть оперной певицей.

Между Ликой и Антоном Павловичем в конце концов возникли довольно сложные отношения. Они очень подружились, и похоже было, что увлеклись друг другом. Правда, тогда, да и долгое время спустя, я думала, что больше чувств было со стороны брата, чем Лики. Лика не была откровенна со мной о своих чувствах к Антону Павловичу, как, скажем, она была откровенна в дальнейших письмах ко мне по поводу ее отношений к И. Н. Потапенко. Отношения Лики и Антона Павловича раскрылись позднее, когда стали известны ее письма к Антону Павловичу.

Лика в письме к брату пишет: «У нас с Вами отношения странные. Мне просто хочется Вас видеть, и я всегда первая делаю все, что могу. Вы же хотите, чтобы Вам было спокойно и хорошо и чтобы около Вас сидели и приезжали бы к Вам, а сами не сделаете ни шагу ни для кого. Я уверена, что если я в течение года почему-либо не приеду к Вам, Вы не шевельнетесь сами повидаться со мной... Я буду бесконечно счастлива, когда, наконец, ко всему этому и к Вам смогу относиться вполне равнодушно», — это уже говорит о серьезном чувстве Лики к Антону Павловичу и о том, что он знал об этом чувстве.

Другие письма Лики рассказывают о большой ее любви и страданиях, которые Антон Павлович причинял ей своим равнодушием: «Вы отлично знаете, *как* я отношусь к Вам, а потому я нисколько не стыжусь и писать об этом. Знаю также и Ваше отношение — или снисходительное, или полное игнорирования. Самое мое горячее желание — вылечиться от этого ужасного состояния, в котором нахожусь, но это так трудно самой. Умоляю Вас, помогите мне, не зовите меня к себе, не видайтесь со мной. Для Вас это не так важно, а мне, может быть, это и поможет Вас забыть».

Антон Павлович обращал все это в шутку, а Лика... продолжала по-прежнему бывать у нас. Я не знаю, что было в душе брата, но мне кажется, что он стремился побороть свое чувство к Лике. К тому же у Лики были некоторые черты, чуждые брату: бесхарактерность, склонность к быту богемы. И, может быть, то, что он писал ей однажды в шутку, впоследствии оказалось сказанным всерьез: «В Вас, Лика, сидит большой крокодил, и, в сущности, я хорошо делаю, что слушаюсь здравого смысла, а не сердца, которое Вы укусили».

* * *

В те годы у нас в Мелихове постоянно гостил писатель Игнатий Николаевич Потапенко. Он познакомился с Антоном Павловичем в Одессе в 1889 году, когда брат был там проездом в Крым. Любопытно, что Потапенко тогда показался ему очень скучным человеком и был назван им даже «богом скуки». Затем они несколько лет не встречались, и лишь в начале 1893 года знакомство их возобновилось. Летом этого года Потапенко впервые побывал у нас в Мелихове и произвел на Антона Павловича совсем другое впечатление, чем в Одессе. Потом они стали встречаться в Москве, и это было началом их близости. «Одесский Потапенко и московский — это ворона и орел. Разница страшная. Он нравится мне все больше и больше»,— писал о нем Антон Павлович в одном из писем. Вскоре между ними установились дружеские отношения, они перешли на «ты». Потапенко звал брата «Антонио», а тот его «Игнациусом».

У Игнатия Николаевича была интересная внешность, он был общительным и веселым человеком. В компании умел веселиться сам и веселить других. Он был очень музыкален — окончил консерваторию по классу пения и играл на скрипке. Его приезду в Мелихово всегда были рады.

Очень часто Потапенко и Лика гостили в Мелихове в одно время. Тогда у нас было особенно весело — музыка, пение, танцы, неистощимый юмор Антона Павловича... Лика тоже пела. Романсы Чайковского, Глинки, русские народные песни всегда звучали в нашей гостиной. Часто исполнялась популярная в то время серенада Браги «Валахская легенда». Лика пела и аккомпанировала на рояле, Потапенко играл партию скрипки. Сидишь, бывало, в летний вечер на террасе, выходившей в сад, слушаешь

льющиеся из гостиной звуки музыки и невольно унесешься мечтами далеко, далеко. Эта поэтическая музыкальная атмосфера впоследствии была передана братом в его известном рассказе «Черный монах».

Я и Лика подружились с Игнатием Николаевичем. Мы стали называться его «сестрами», перешли на «ты». Он был искренен и трогателен в своих отношениях с нами. Как-то он уехал по делам в Петербург и оттуда написал мне такое письмо: «Милая сестренка Маша! Помнишь ли ты своего бедного брата, столь внезапно отторженного судьбой от своих сестер? Ради бога, не забывай его и питай к нему те же чувства, что питала до отъезда его из Москвы. Поверишь ли, что его новое родство, это приобретение сестер Маши и Лиды,— одно из самых приятных явлений моей жизни? Петербург — северный город, мне в нем холодно. Душевно холодно. Это не то, что милая Москва с теплыми душами (разумей без каламбура)... Пожалуйста, Маша, агитируй, чтобы состоялся костюмированный вечер. Мне хочется подурачиться и повеселить других. Ты знаешь, что я иногда умею это делать...».

И вот, как это нередко бывает в жизни, одна из «сестер» — Лика начала увлекаться Потапенко. Очень может быть, что ей хотелось забыться и освободиться от своего мучительного безответного чувства к Антону Павловичу. Но у Потапенко была семья: жена и две дочери...

Лика и Потапенко стали встречаться и в Москве. В конце концов, постепенно разрастаясь, их увлечение перешло в роман.

Начался самый драматический этап в жизни Лики — роман с Потапенко. Все это происходило у нас в Мелихове и в Москве в зиму 1893/94 года. В начале марта 1894 года Лика и Игнаша, как мы его звали, решили уехать в Париж. Сначала уехал он, а через несколько дней с большой грустью я проводила Лику.

В первом же письме Лики из Парижа ко мне (19 марта 1894 г.) появились невеселые нотки: «Дорогая моя Маша! Вот уже четвертый день, как я в Париже, и четвертый день реву белугой!.. я провожу время в поисках помещения, бегаю с утра до вечера и потом, придя домой, начинаю реветь. Третьего дня послала Игнатию письмо poste restante, как мы уговорились, и сегодня он был у меня, но ровно на ½ часа. Пришел в 10½ и ушел в 11 ч. У него очень убитый вид — по-видимому, ему нельзя уходить одному из дома. Принес даже мне на сохранение все мои и твои письма и мой портрет — значит, бедному пло-

хо. Дней через пять они все уезжают в Италию на три месяца, он говорил, что застал свою супругу совсем больной, и думает, что у нее чахотка, а я так думаю, что притворяется опять!

В общем, наше свидание было такое, что радости ни малейшей не принесло, а у меня оставило тяжелое впечатление, и настроение еще хуже стало... Грустно, грустно и грустно. Никогда я не чувствовала себя еще такой одинокой! Когда привыкну и когда начну дело — не знаю*.

Напиши мне адрес Антона Павловича**, я ему написала из Берлина в Ялту, но ведь он, верно, уже основался где-нибудь, и ты напиши поскорее. Когда я уезжала, мне казалось, что грустно расставаться только с людьми, а тут вдруг появилась и тоска по России. Вчера на улице вдруг услыхала русскую фразу, и так приятно было!»

Даже в то время, когда Лика была за границей, вместе с человеком, которого полюбила, она не забывает Антона Павловича и пишет ему в Ялту, что была «дважды отвергнута» им. Он опять полушутя ответил ей: «Хотя Вы и пугаете в письме, что скоро умрете, хотя и дразните, что отвергнуты мной... Я отлично знаю, что Вы не умрете и что никто Вас не отвергал».

Дальше происходит тривиальное и вместе с тем трагическое: Лика ждет ребенка. Потапенко ее оставляет. Лика переезжает из Парижа в Швейцарию. Свое положение и разрыв с Потапенко она от меня скрывает. Но Антону Павловичу в письме 20 сентября 1894 года она отчасти призналась:

«Видно, уж мне суждено так, что люди, которых я люблю, в конце концов мною пренебрегают. Я очень, очень несчастна. Не смейтесь. От прежней Лики не осталось и следа. И как я ни думаю, все-таки не могу не сказать, что виной всему Вы. Впрочем, такова, видно, судьба. Одно могу сказать, что я переживала минуты, которые никогда не думала переживать. Я одна, около меня нет ни одной души, которой я могла бы поведать все то, что я переживаю. Дай Бог никому не испытать что-либо подобное. Все это темно, но я думаю, что *Вам* все ясно. Недаром Вы психолог. Мне кажется только, что еще несколько дней, и я больше не выдержу. *Вам* я верю и потому могу получить от Вас несколько строк. Может быть, по обыкнове-

* Лика приехала учиться пению.
** Антон Павлович в это время уехал на месяц в Ялту.

нию, обругаете меня, назовете дурой, но, право же, это лучше, чем ничего не отвечать».

Так Лика еще раз подчеркнула Антону Павловичу, что в конечном счете виновником ее несчастья она считает его. Брат в это время был в Ницце и оттуда сделал мне в своем письме такую приписку: «Потапенко... и свинья». Он был возмущен его поступком с Ликой.

От меня Лика все это долго скрывала, пока наконец Потапенко сам не рассказал мне все, сообщив об этом Лике. После этого в начале февраля 1895 года я получила от нее из Парижа письмо с тяжелой исповедью:

«Сегодня получила письмо от Игнатия, что он рассказал тебе нашу печальную историю... Я и не рада, и рада. Не рада потому, что не хотела бы, чтобы ты знала все не от меня и могла бы обвинить в чем-либо Игнатия из-за меня! Рада потому, что могу наконец поговорить по душе с тобой. Теперь, зная все, ты поняла, насколько все это было сложно и неописуемо в письме. Вот почему я молчала, а сколько раз у меня являлось непреодолимое желание поговорить с тобой. Вот почему я редко писала, потому что притворяться не могла, а правду написать не хотела, чтобы у тебя не явилось ложного представления обо всем.

Что же сказать теперь? Веселого нет ничего... Вот уже почти год, как я забыла, что значит покой, радость и тому подобные приятные вещи. С первого дня в Париже начались муки, ложь, скрыванье и т. д. Затем в самое трудное для меня время оказалось, что ни на что надеяться нельзя, и я была в таком состоянии, что не шутя думала покончить с собой. В Швейцарии все последнее время я думала, что сойду с ума. Представь себе: сидеть одной, не иметь возможности сказать слова, ни написать, вечно бояться, что мама узнает все и это ее убьет, и при этом стараться писать ей веселые, беспечные письма!

Затем поездка в Париж, опять дрожание и скрывание, наконец, болезнь и рождение моей девочки при самых ужасных условиях. На девятый день я встала и начала делать все, этим вконец расстроила себе здоровье и теперь представляю из себя собрание всевозможных болезней. Затем отъезд Игнатия и в душе сознание, что прощание это навсегда.

Вот так я и живу. Для чего и для кого — неизвестно...

Но несмотря ни на что, я ничего не жалею, рада, что у меня есть существо, которое начинает уже меня радовать. Девчонка моя славная! Я хотела бы тебе ею похва-

статься! За нее мне можно дать медаль, что, несмотря на мое ужасное состояние все время до ее рождения — она у меня вышла такой. Ей будет 8-го три месяца, а ей все дают пять! Надеюсь, что будет умная, потому что теперь уже много соображает, разговаривает сама с собою и со мной. Кормилица уверяет, что она вылитый портрет Игнатия, но я этого не вижу, и, во всяком случае, она красивее его. Впрочем, сама увидишь, хотя еще не скоро. Вероятно, я проживу здесь еще года полтора для того, чтобы окончить пение. Теперь я опять много занимаюсь, и дело идет успешно. На этом я строю все свое будущее, и теперь мне это необходимо более, чем когда-нибудь. После поездки в Россию изучу массаж и, надеюсь, не пропаду.

Тебя, верно, удивляет, что я говорю о будущем в таком виде? Но, друг мой, в другое будущее я не верю. Я верю, что Игнатий меня любит больше всего на свете, но это несчастнейший человек. У него нет воли, нет характера, и при этом он имеет счастье обладать супругой, которая не останавливается ни перед какими средствами, чтобы не отказаться от положения m-me Потапенко! Она играет на струнке детей и его порядочности... Когда он написал ей все и сказал, что совместная жизнь невозможна, она жила здесь в Париже и целые дни покупала тряпки... А ему писала, что убьет себя и детей. Конечно, она никогда этого не сделает, но все-таки будет всегда стращать этим. А у него не хватает смелости рискнуть. Вот почему я и говорю, что никогда ничего не выйдет. Поэтому можешь себе представить, что я чувствую и какова моя жизнь. Из твоей Лики сделался мертвец. Я надеюсь только, что недолго протяну...

Если бы ты знала, как я жажду съездить домой, как невыносим мне Париж. Если бы я не строила всю мою жизнь на пении, то давно бы бежала из него. До людского мнения мне нет дела. Я думаю, что немногие люди, которых я люблю, останутся ко мне по-прежнему и не отвернутся от меня. Мне так хочется тебя видеть и поговорить с тобой обо всем. Ведь даже Игнатию я не пишу всего того, что чувствую, чтобы не мучить его еще больше. Я страдаю за него столько же, как и за себя. Знаю его обстановку, знаю, что способности его гибнут, написать ничего хорошего не может из-за вечной погони за деньгами для тряпок и шляпок!

Бывают дни, когда я боюсь войти в детскую, потому что один вид моей девочки вызывает слезы и отчаяние. И тут опять должна скрываться, чтобы кормилица не ви-

дела всего и не вывела своих заключений. Тем более что она сейчас же начинает разговоры о monsieur, о его приезде, о том, что он будет доволен девочкой и т. д. Все это переворачивает душу! Я мечтаю только поскорее рассказать все маме и быть покойной, что если со мной что-нибудь случится, то ребенок будет в ее руках.

Да, представь! Супруга выражала желание отнять у меня ребенка и взять его к себе, чтобы он не мог привязать Игнатия ко мне еще сильнее. Как тебе это нравится?! Ах, все отвратительно, и когда я тебе расскажу все, ты удивишься, как Игнатий до сих пор еще не застрелился. Мне так его жаль, так мучительно я его люблю! Почему это случилось — не знаю. Вероятно, потому, что меня никогда, никто не любил так, как он, без размышлений, без рассудочности. Он верит в наше будущее, строит планы, но я знаю, что ничего не будет.

Ну, пиши же мне, мне так необходимы твои письма, пиши все, что думаешь, как смотришь на все это. Буду ждать с нетерпением ответа. Прощай, целую тебя и дочь тоже. Лида».

Почти одновременно с этим письмом я получила от Потапенко из Петербурга, где он в то время жил, тоже несколько строк: «Милый друг Маша, не придавай большого значения тому, что тебе напишет Лида об известном тебе вопросе. Верь только мне. Ей свойствен пессимизм, поэтому она не хочет верить в будущее, а я твердо знаю, что оно будет таким, как надо... Будь здорова и счастлива и, пожалуйста, продолжай любить Лиду».

Лика была более чуткой и дальновидной, получилось именно так, как говорила она. В одном из других писем Лика писала мне: «У меня есть и будет одно только — это моя девочка... Она воплощение всего, что у меня в жизни было хорошего и светлого. И при этом — сознание, что всѐ кончено, что все хорошее продолжалось три месяца...».

Мне бесконечно жаль было Лику. К несчастью, утешение Лики ее дочерью продолжалось тоже недолго. Приехав в Россию, Лика успокоилась, жила с матерью и воспитывала дочь. Но скоро, в возрасте около двух лет, Христина — так звали ее девочку — заболела и умерла.

Я подробно рассказала об этом эпизоде из жизни Лидии Стахиевны Мизиновой потому, что он имел прямое отношение к Антону Павловичу, а потом в какой-то степени послужил ему материалом для создания пьесы «Чайка». Роман Нины Заречной с Тригориным — это роман

Лики с Потапенко. Те же события — Тригорин бросает с ребенком Нину, возвращается к Аркадиной. Теми чертами, которыми наделил Аркадину Антон Павлович, она тоже напоминала Марию Андреевну — жену Потапенко.

«Чайка» была написана осенью 1895 года, когда Лика уже вернулась из-за границы. Когда пьеса была написана и прочитана близкими знакомыми, они не могли не обратить внимания на сходство сюжета пьесы с драмой Лики. Эти разговоры дошли и до Лики, и она спросила в письме Антона Павловича: «Говорят, что «Чайка» заимствована из моей жизни и что Вы хорошо отделали еще кого-то?»

Так же, как в свое время в «Попрыгунье», Антон Павлович и в «Чайке» создавал художественные образы и сюжетную канву произведения, используя жизненные наблюдения. Толки в обществе о сходстве сюжета «Чайки» с историей Лики и Потапенко стали беспокоить брата. Если в пьесе «в самом деле похоже, что изображен Потапенко, то, конечно, ставить и печатать ее нельзя», — писал он Суворину. Но «Чайка» была все же поставлена, и Лика вместе со мной ездила в Петербург на первый неудачный спектакль в Александринском театре.

Потом, когда Лика после своего несчастья оправилась и окрепла, она снова постоянно стала бывать в Мелихове. Между ней и Антоном Павловичем опять установились дружеские шутливые отношения. Спектакли «Чайки» всегда волновали Лику. Спустя шесть лет после пережитой ею драмы я как-то брала ее в Художественный театр и потом писала брату: «На твои именины я водила Лику на «Чайку». Она плакала в театре, воспоминанья перед ней, должно быть, развернули свиток длинный...».

С мечтой Лики стать оперной певицей ничего не получилось. Осенью 1901 года Лика пыталась поступить артисткой в труппу Художественного театра, держала приемный экзамен, но данных для артистической карьеры не оказалось. Ее приняли в театр в статистки на «выхода», но она и тут из-за застенчивости и неумения держаться на сцене была признана непригодной и пробыла в театре только один сезон.

В 1902 году Лика вышла замуж за режиссера Художественного театра Александра Акимовича Шенберга-Санина.

Чувство Лики к Антону Павловичу сохранилось навсегда. В 1898 году, когда Лика опять ездила в Париж, она прислала оттуда брату свою фотографию с такой надпи-

сью на обороте: «Дорогому Антону Павловичу на добрую память о воспоминании хороших отношений. Лика.

Будут ли дни мои ясны, унылы,
Скоро ли сгину я, жизнь погубя,—
Знаю одно, что до самой могилы
Помыслы, чувства, и песни, и силы —
Все для тебя!!
(Чайковский — Апухтин)

Пусть эта надпись Вас скомпрометирует, я буду рада. Париж, 11 октября 1898 г.

Я могла написать это восемь лет тому назад, а пишу сейчас и напишу через 10 лет».

Но через десять лет Лика не могла повторить эти слова... Антона Павловича уже не было в живых. Мне не забыть, как в Москве после похорон Антона Павловича Лика, вся в черном, пришла к нам и часа два молча простояла у окна, не отвечая на наши попытки заговорить с ней... Все прошлое, пережитое, должно быть, стояло перед ее глазами.

Потом Лика с мужем жила в Париже. Перед Октябрьской революцией они вернулись в Россию. В последний раз я видела Лику в Москве в начале двадцатых годов. Вскоре она с мужем вновь уехала за границу и уже навсегда. С тех пор я потеряла с ней связь. Умерла она во Франции, незадолго до второй мировой войны, в возрасте около семидесяти лет.

«Чайка» в Петербурге

В четверг 17 октября 1896 года в Петербурге в Александринском театре должна была состояться премьера новой пьесы Антона Павловича «Чайка». Конечно, мне очень хотелось быть в театре на первом спектакле, и, когда брат уезжал в первых числах октября в Петербург, мы условились, что он пришлет мне деньги и в день спектакля я приеду в Петербург.

Но 12 октября он вдруг написал мне из Петербурга, что не советует ехать: «... «Чайка» идет неинтересно. В Петербурге скучно, сезон начнется только в ноябре. Все злы, мелочны, фальшивы... Спектакль пройдет не шумно, а хмуро. Вообще настроение неважное». Это письмо, однако, не охладило моего желания поехать в Петербург, наоборот, мне непременно хотелось быть в это время вблизи брата. 16 октября с ночным поездом я выехала из Москвы в Петербург.

Утром 17 октября Антон Павлович, угрюмым и суровым, встретил меня на Московском вокзале. Идя по перрону, покашливая, он говорил мне:

— Актеры ролей не знают. Ничего не понимают. Играют ужасно. Одна Комиссаржевская хороша. Пьеса провалится. Напрасно ты приехала.

Я посмотрела на брата. В этот момент, помню, выглянуло солнце, и серая, мрачная петербургская осень сразу стала мягкой, ласковой, все по-весеннему заулыбалось. Я воскликнула:

— Ничего, Антоша, все будет хорошо! Посмотри, какая чудная погода, светит солнышко. Оставь свои дурные мысли.

Не знаю, подействовала ли на него перемена погоды, или мой оптимистический тон, но он не стал больше говорить об актерах и пьесе, а шутливо сообщил мне:

— Я тебе в ложе целую выставку устроил. Все красавцы будут. А вот Лике, возможно, будет неприятно. В театре будет Игнатий, и с Марией Андреевной. Лике от этой особы может достаться, да и самой ей едва ли приятна эта встреча.

Лидия Стахиевна Мизинова днем раньше приехала в Петербург. У нее были свои основания волноваться по поводу первой постановки «Чайки». Всего только около двух лет прошло с тех пор, как она пережила свой неудачный роман с Игнатием Николаевичем Потапенко. Ей предстояло теперь в присутствии в театре самого Потапенко и его жены смотреть пьесу, в которой Антон Павлович в какой-то степени отразил этот их роман. И, конечно, спектакль Лику волновал.

Я остановилась в одном номере с Ликой в гостинице «Англетер» на Исакиевской площади. Антон Павлович жил, как обычно во время своих приездов в Петербург, в «собственной» квартире у Суворина в Эртелевом переулке, где он всегда располагал двумя комнатами.

Днем до спектакля мы с Ликой погуляли по Петербургу. Антона Павловича мы не беспокоили, зная, что до самого вечера он будет занят в театре. А утром, еще на вокзале, он сказал мне, чтобы мы ждали его в своей гостинице, он приедет после спектакля, и будем вместе ужинать.

Настал вечер. Александринский театр был полон. Петербургские театралы пришли посмотреть новую пьесу московского писателя Чехова, который в Петербурге был очень популярен как беллетрист. К тому же эта пьеса

шла в бенефис любимицы публики, комической актрисы Левкеевой, хотя сама бенефициантка в этой пьесе не участвовала, а играла в другой пьесе — «Счастливый день»*, шедшей после «Чайки». Так нередко практиковалось в те времена.

Чем больше я вглядывалась в эту чопорную, расфранченную, холодную петербургскую публику, тем сильнее овладевало мной беспокойство, и я вспоминала слова брата из письма, что здесь «все злы, мелочны, фальшивы».

Начался первый акт. С первых же минут я почувствовала невнимательность публики и ироническое отношение к происходящему на сцене. Но когда по ходу действия открылся занавес на второй сцене-эстраде и появилась обернутая в простыню Комиссаржевская, как-то неуверенно игравшая в этот вечер, и начала известный монолог: «Люди, львы, орлы и куропатки...» — в публике послышался явный смех, громкие переговоры, местами раздавалось шиканье. Я почувствовала, как внутри меня все похолодело. Чем дальше шло действие, тем сильнее нарастал шум в зале. В конце концов в театре разразился целый скандал. По окончании первого действия жидкие аплодисменты потонули в шиканье, свисте, в обидных репликах по адресу автора и исполнителей. Стал очевиден явный провал. Следующие акты шли в такой же атмосфере враждебного отношения публики к пьесе. Совершенно убитая, с тяжелым чувством, но не подавая вида, досидела я в своей ложе до конца. По окончании спектакля я уехала к себе в гостиницу.

Молча, подавленные, сидели мы с Ликой в своем номере, ожидая приезда Антона Павловича ужинать, как мы уговорились утром. Я пыталась собрать свои мысли и объяснить себе причины такого неуспеха у публики. Вспоминала, с каким удовольствием все мы слушали «Чайку» однажды у нас дома. Мы тогда живо переживали пьесу, а тут... никто ничего не понял... этот ядовитый смех, колкости, оскорбительные выкрики.

Было уже за полночь, а Антон Павлович все не появлялся. Наконец звонит из редакции «Нового времени» старший брат Александр и спрашивает:

— Где Антоний, нет ли его у тебя? У Суворина его тоже нет!

Я забеспокоилась еще больше и попросила Александра попытаться разыскать его. Спустя некоторое время

---

* Комедия в 3-х действиях А. Н. Островского и Н. Соловьева.

я сама позвонила Александру Павловичу. Антона Павловича нигде не нашли: ни в театре, ни у Потапенко, ни у Левкеевой, где собирались на ужин актеры. Тогда уже во втором часу ночи я сама поехала к Сувориным.

Помню, как, войдя в огромную квартиру Сувориных, я ощутила состояние потерянности. В квартире было темно, и лишь далеко, далеко в глубине через анфиладу комнат в открытые двери светился огонек. Я пошла на этот огонек. Там я увидела Анну Ивановну, жену Суворина, сидевшую в одиночестве, с распущенными волосами. Вся обстановка, темнота, пустая квартира — все это еще более удручающе подействовало на мое настроение.

— Анна Ивановна, где может быть брат? — обратилась я к ней.

Желая, видимо, развлечь и успокоить меня, она начала болтать о пустяках, об артистах, о писателях. Через некоторое время появился сам Суворин и начал говорить мне о тех изменениях и переделках, которые, по его мнению, нужно сделать в пьесе, чтобы в дальнейшем она имела успех. Но я совсем не расположена была слушать об этом и только просила разыскать брата. Затем Суворин куда-то ушел и вскоре же вернулся веселым.

— Ну, можете успокоиться. Братец ваш уже дома, лежит под одеялом, только никого не хочет видеть и со мной не пожелал разговаривать. Гулял, говорит, по улицам.

Я облегченно вздохнула и уехала к себе в гостиницу. Ужин наш так и не состоялся.

На другой день, приехав к Сувориным, я брата уже не застала. Он утром, ни с кем в доме не простившись, уехал товарно-пассажирским поездом домой в Москву, а мне от него была лишь передана следующая записочка:

«Я уезжаю в Мелихово; буду там завтра во втором часу дня. Вчерашнее происшествие не поразило и не очень огорчило меня, потому что я уже был подготовлен к нему репетициями, — и чувствую я себя не особенно скверно.

Когда приедешь в Мелихово, привези с собой Лику».

Суворину он тоже оставил прощальную записку, заканчивавшуюся словами: «*Никогда* я не буду ни писать пьес, ни ставить».

В полночь того же дня и я уехала домой. В Мелихове брат встретил меня словами: «О спектакле — больше ни слова!»

В каком состоянии Антон Павлович возвращался домой — можно судить по тому, что, всегда аккуратный и внимательный, он при выходе из вагона поезда забыл взять свои вещи и потом давал телеграмму поездному оберкондуктору с просьбой выслать их в Лопасню.

Жестокий провал «Чайки», свидетельницей которого я была, надолго остался в моей памяти кошмарным воспоминанием. Но еще большее огорчение и тяжесть он оставил в душе Антона Павловича и, без сомнения, ускорил ухудшение его здоровья. Всего лишь несколько месяцев спустя Антон Павлович попал в клинику Остроумова в связи с легочным кровотечением.

<Л. А. Авилова>

Лидия Алексеевна жила в Петербурге. Муж ее был чиновником одного из департаментов. Антон Павлович познакомился с ней через редактора-издателя «Петербургской газеты» С. Н. Худекова, у которого бывал, когда приезжал в Петербург. Авилова была сестрой его жены.

Антон Павлович ценил литературные способности Авиловой и принимал участие в ее писательской деятельности: оказывал содействие в опубликовании ее произведений, давал ей много литературных советов и критических указаний. Лидия Алексеевна испытала особые чувства к Антону Павловичу, о которых она сама рассказала в своих известных воспоминаниях «А. П. Чехов в моей жизни»*. Эти воспоминания, живо и интересно написанные, правдивы в описании многих фактов таких, например, как подарок Авиловой Антону Павловичу брелока в форме книги, на котором были выгравированы цифры, обозначающие порядковые страницы и строки в одной из его книг. Раскрыв эту книгу и найдя указанные строки, можно было прочитать такую многозначительную фразу: «Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее». Как известно, этот эпизод (подарок брелока и эта фраза) был использован Антоном Павловичем в его пьесе «Чайка», только цифры страницы и строк он действительно, как и пишет Л. А. Авилова, переменил. Это был как бы ответ со сцены на вопрос Авиловой, заданный ему когда-то на маскараде в Петербурге.

---

* Сборник «Чехов в воспоминаниях современников», изд. 2-е. М., 1954. С. 186—254.

Все это правильно. И правильно, видимо, Лидия Алексеевна сообщает о тех больших чувствах к Антону Павловичу, которые она когда-то пережила. Но вот когда она пытается раскрыть чувства к ней со стороны Антона Павловича, тут у нее получается слишком «субъективно». В ее мемуарах провляются уже элементы творчества, художественного — вольного или невольного — домысла писательницы. Из этой части воспоминаний вытекает, что Антон Павлович любил ее, что их отношения стояли на грани романа, что он сам говорил ей об этом. Этого не было. Ведь Лидия Алексеевна сама писала мне о том, что не знает, как относился к ней Антон Павлович, и ей это тяжело.

В 1904 году, через одиннадцать дней после похорон Антона Павловича, она написала мне письмо, которое привожу здесь полностью и впервые:

«Многоуважаемая Мария Павловна, мне очень трудно писать, потому что я не знаю Вас. Не знаю, как Вы отнесетесь к моему письму. Но я не могу иначе. Ведь получаете же Вы отовсюду письма, телеграммы, соболезнования, и должно же это быть Вам приятно.

Я пишу *только Вам,* а не для публики, даже не для окружающих Вас. У меня именно к Вам личное чувство, и я думаю о Вас, потому что не могу больше думать о том, кого нет. Как я надеялась встретить Вас на могиле! Нет! Когда я была там, я видела только какую-то старушку и мальчика. Теперь я вернулась в деревню и опять все думаю о Вас и не могу отделаться от этой мысли.

Я видела Вас однажды, мельком, около клиники, когда он заболел в Москве, лет семь тому назад.

О, если бы мне знать, рассердит ли Вас то, что я решилась написать Вам? Поймете ли, почему мне это так нужно было?

Я вовсе не хочу инсинуировать, что я его хорошо знала, что и я была для него хоть чем-нибудь. Нет, я его, вероятно, плохо знала, но он имел такое влияние на всю мою жизнь, я ему так многим обязана. Не могу писать связно и спокойно. Из жизни исчезло что-то до такой степени красивое, светлое и дорогое. Не до фраз...

Простите меня, пожалуйста, если я тревожу Ваше горе. Поверьте мне: если бы я сама не чувствовала этого го-

ря, если бы я не тосковала, если бы я могла совладать с собой — я бы не считала себя вправе обратиться к Вам. У меня много его писем. Я не знаю, почему он звал меня «матушка». Я не видела его пять лет.

И мне некому, некому, кроме Вас, сказать, как это все ужасно, как это все трудно понять и, когда поймешь, как безотрадно, скучно жить. Без этих «чувств изящных и красивых, как цветы».

Я написала Вам, что у меня много его писем. Но я не знаю, как он относился ко мне. Мне это очень тяжело.

Не до фраз. А может быть, если бы я постаралась написать Вам и выразила бы все свои чувства покрасивее и потрогательнее — для меня было бы лучше. Но я хочу быть только искренней, и что бы Вы ни думали обо мне, я буду думать о Вас как о его любимой сестре. И если бы когда-нибудь я могла бы быть Вам чем-нибудь полезной, как я была бы счастлива! Запомните это на всякий случай.

Л. Авилова

Клекотки, Тульской губ., 20 июля».

Письмо говорит о том, что у Лидии Алексеевны были глубокие чувства к Антону Павловичу, оставившие след в ее жизни. И вместе с тем, повторяю, она признается в том, что не знала, как же Антон Павлович к ней относился.

Я не была знакома с Л. А. Авиловой до того, как начала собирать письма Антона Павловича для издания его эпистолярного наследия. Лидия Алексеевна передала мне все письма к ней брата и, в свою очередь, попросила меня вернуть ей ее письма к Антону Павловичу, что я и сделала. По поводу публикаций некоторых писем у нас произошли разногласия, и я с ней после того больше не виделась.

Прошло ровно четверть века. И вот как-то в апреле 1939 года я вдруг получила от Авиловой письмо, написанное уже нетвердым почерком постаревшего человека. Это письмо взволновало меня. В нем Лидия Алексеевна еще раз сказала о бывшем в ее жизни единственном чувстве и совершенно неожиданно напомнила мне и о моем прошлом. Вот это ее последнее письмо ко мне:

«14 апреля 1939 г.

Дорогая Мария Павловна!

Не сердитесь, что я называю Вас «дорогой». Поверьте, что иного обращения к Вам я в душе своей найти бы не могла.

Думаю о Вас часто и много. И грустно мне, что я Вам чужда и, возможно, неприятна. Мы не сошлись с Вами когда-то в одном вопросе, и Вы огорчились тогда до слез. С тех пор я считала, что Вы не хотите больше иметь со мной никаких отношений. Даже не решилась зайти к Вам, когда была в Ялте. А я до сих пор горячо благодарна Вам за то, что Вы дали мне случай поцеловать руку Евгении Яковлевны.

Сегодня был у меня Ал. Р. Эйгес. Я спросила его, как бы Вы отнеслись, если бы я написала Вам? Он меня поощрил. Сваливаю свою вину, если она есть, на него.

А знаете, что мне хотелось сообщить Вам? Несколько лет тому назад я жила летом и осенью на даче под Полтавой и познакомилась с Ал. Ив. Смагиным. Он был мне чрезвычайно симпатичен, тем более что он постоянно говорил о Вашей семье. И вот он признался, что любил Вас всю жизнь. Любил только Вас. А один раз он сказал: «Не только любил, а люблю. И теперь люблю». И если бы Вы видели его лицо при этом признании!

Теперь он умер. Пусть Вы вспомните лишний раз о его большой любви и преданности. И пусть это будет ему наградой. А на меня Вы не рассердитесь за то, что я напоминаю Вам о нем? Нет, пожалуйста, не сердитесь на меня! Я старая, больная, слабая. Надеюсь, что скоро я умру. И так мне хочется от Вас хотя бы одно ласковое слово!

Ведь и у меня тоже, как у Смагина, всю жизнь была одна любовь. Можно мне Вас поцеловать?

Сердечно любящая Вас

Л. Авилова».

Повторяю, что письмо это очень взволновало меня. При очередной моей поездке из Ялты в Москву, летом 1939 года, я зашла сама к Авиловой на квартиру. Она жила тогда на улице Воровского в доме № 10. Я увидела старую, больную, опустившуюся женщину. На столе лежала груда окурков от папирос.

Свидание наше было грустным и — последним. В 1943 году Лидия Алексеевна умерла.

<Л. Н. Толстой>

В апреле 1899 года, когда наступила весна, Антон Павлович приехал в Москву и остановился в моей квартире на углу М. Дмитровки и Успенского переулка. Через несколько дней мы переехали в новую, более удобную, квартиру, там же, на М. Дмитровке в доме Шешкова.

С приездом Антона Павловича у нас в квартире вновь стало шумно. Буквально не было дня, чтобы не приходил кто-нибудь из старых знакомых, друзей, писателей, артистов. Приходили повидаться после долгой разлуки, узнать о здоровье, поговорить о новостях в литературе и театре. Однажды в конце апреля в этой квартире у меня произошла знаменательная встреча.

Как-то днем, когда у Антона Павловича в гостях было несколько знакомых, среди них артисты А. Л. Вишневский и А. И. Сумбатов-Южин, раздался звонок. Я пошла открывать. И вдруг вижу небольшого роста старичка в легком пальто. Я обомлела — передо мной стоял Лев Николаевич Толстой. Я его узнала сразу же, только по портрету Репина он представлялся мне человеком крупным, высокого роста.

— Ох, Лев Николаевич... это вы?! — смущенно встретила я его.

Он ласково ответил:

— А это сестра Чехова, Мария Павловна?

Он вошел в прихожую. Я хотела взять его пальто, но Лев Николаевич отстранил мою руку.

— Нет, нет, я сам.

Я повела Льва Николаевича в кабинет к брату. С порога я не удержалась многозначительно сказать:

— Антоша, знаешь, кто к нам пришел?!

В кабинете брата в это время шел громкий разговор. Вишневский всегда имел обыкновение громко говорить, чуть не кричать. Брат был смущен обстановкой, в которой ему пришлось принимать Л. Н. Толстого. Им так и не удалось как следует поговорить. Лев Николаевич пробыл недолго и ушел. Он приходил, видимо, просто навестить Чехова, услышав о его приезде в Москву, тем более что после встречи в клинике Остроумова весной 1897 года они больше не виделись.

На другой день к нам на Дмитровку зашла дочь Толстого Татьяна Львовна. Меня не было дома. Татьяна Львовна передала мне через брата приглашение побывать у них. Как все это было и как я реагировала на приглаше-

ние, Антон Павлович рассказал в письме к журналисту Михаилу Осиповичу Меньшикову. Приведу это письмо:

«Был у меня Л. Н. Толстой, но поговорить с ним не удалось, так как было у меня много всякого народу, в том числе два актера, глубоко убежденные, что выше театра нет ничего не свете. На другой день я был у Льва Николаевича, обедал там. Татьяна Львовна была у меня до обеда, сестры не застала дома. Она сказала мне: «Михаил Осипович писал мне, чтобы я познакомилась с вашей сестрой. Он говорил, что мы многому можем научиться друг у друга».

Вернувшись после обеда домой, я передал эти слова сестре. Она пришла в ужас, замахала руками: «Нет, ни за что не поеду! Ни за что!»

То, что Татьяна Львовна может у нее поучиться, так испугало ее, что до сих пор я все никак не могу уговорить ее поехать к Татьяне Львовне — и мне неловко. И, как нарочно, сестра все время не в духе, хандрит, утомлена, и настроение у нас вообще неважное».

Через несколько дней я все же по настоянию Антона Павловича поехала к Толстым в Хамовники. Я попала к ним в то время, когда вся семья обедала. Не желая мешать им, я не стала входить в дом и подождала во дворе. Помню, как мимо меня все время проходили какие-то люди с пачками книг и куда-то уходили. Наконец вышла Татьяна Львовна и пригласила пройти в сад. В саду была искусственная горка, какие раньше устраивались в старинных садах, со скамейками. Там я встретила Льва Николаевича и еще кого-то. Лев Николаевич был таким же приветливым, как и тогда, когда был у нас. Вскоре пришла с большими садовыми ножницами в руках Софья Андреевна.

Лев Николаевич посадил меня на скамейку рядом с собой. Кто-то из гостей, продолжая, очевидно, ранее начатый разговор, говорил о том, как странно, что гусар ушел в монахи. Тогда я рассказала о нашем знакомом студенте Степане Алексеевиче Петрове, веселом молодом человеке, который бывал и танцевал на наших вечеринках, а после окончания университета постригся в монахи и принял имя отца Сергия и теперь стал архиереем. Помню, Лев Николаевич как-то забавно подскочил на скамейке и стал расспрашивать подробности.

Когда я стала собираться домой, Татьяна Львовна предложила пойти проводить меня до извозчика, но Лев Николаевич сказал:

— Нет, я провожу Марию Павловну.

Мы пошли по Хамовническому переулку. Толстой все продолжал расспрашивать меня о С. А. Петрове. Дойдя до извозчичьей стоянки, Лев Николаевич усадил меня в экипаж, и мы простились.

Позднее, узнав о повести Толстого «Отец Сергий» и вспомнив расспросы Льва Николаевича, я в первый момент подумала, нет ли тут связи с тем, что я тогда ему рассказывала. Но когда я прочла повесть и узнала, что она писалась в 1890—1895 годах, я поняла, что связи никакой нет, а лишь интересное совпадение имен и событий, и что, может быть, именно поэтому Лев Николаевич и проявил такой повышенный интерес к моему рассказу.

Больше я с Л. Н. Толстым не встречалась.

Женитьба брата

Когда в феврале 1899 года после знакомства с артистами Московского Художественного театра я писала Антону Павловичу в Ялту, что советую ему поухаживать за Книппер, я, конечно, не предполагала, что за этой невинной шуткой в будущем встанет что-то серьезное, большое... Но, впрочем, как стало известно уже позднее, брат и не нуждался в этом моем совете — он еще при первом знакомстве с О. Л. Книппер обратил на нее внимание. Посмотрев впервые репетицию пьесы «Царь Федор Иоаннович», где Ольга Леонардовна играла Ирину, Антон Павлович писал Суворину, что если бы он остался в Москве, то «влюбился бы в Ирину»! В общем, вышло, что вкусы наши с братом совпали.

После первого знакомства на спектакле «Чайка» я начала встречаться с Ольгой Леонардовной в Москве и помимо театра. Весной 1899 года, когда Антон Павлович вернулся из Ялты, мы поехали в Мелихово и пригласили погостить к нам О. Л. Книппер. Она три дня прожила у нас, оживляя наше тихое Мелихово своим звонким голосом и веселым смехом.

У Антона Павловича начинается переписка с Ольгой Леонардовной. Летом этого же года, заранее списавшись, Антон Павлович встречает Ольгу Леонардовну в Новороссийске (он ездил тогда по делам в Таганрог). Оттуда они вместе едут на пароходе в Ялту. Там в течение двух не-

дель они часто встречаются, совершают прогулки и вместе возвращаются в Москву.

В 1900 году Ольга Леонардовна дважды была гостьей в нашем доме в Ялте: во время гастролей Художественного театра и в июле во время театральных каникул.

К этому времени я очень подружилась с Ольгой Леонардовной. Мы постоянно встречались, бывали в театрах, в клубах, иногда она у меня ночевала, часто я бывала у нее в доме. Словом, она стала моей первой и лучшей подругой. В письмах к Антону Павловичу я не скрывала своей восторженной оценки Ольги Леонардовны как талантливой актрисы и как человека. Например, я была однажды вместе с Ольгой Леонардовной в клубе Литературного кружка и потом писала брату: «Книппер в первый раз была в клубе, имела успех, ею любовались, говорили приятные вещи и т. д. А какой она прекрасный человек, в этом я убеждаюсь каждый день. Большая труженица и, по-моему, весьма талантлива». Зная интерес друг к другу брата и Ольги Леонардовны, я иногда в своих письмах невинно подшучивала над ними: «С Книппер видаемся очень часто, я обедала у нее несколько раз и хорошо познакомилась с мамашей, то есть твоей тещей... Твоя Книппер имеет большой успех, Коновицер уже влюблен в нее». В редком письме брату я не упоминала имени Оли, Книппуши, Книпшиц — моего самого близкого друга в то время.

Я как-то никогда не задумывалась, чем могут закончиться отношения между Олей и братом, хотя иногда где-то и мелькала мысль о возможном браке.

В мае 1901 года Антон Павлович уехал в Москву, чтобы показаться там врачу, а потом поехать полечиться на кумыс. И вот получаю я от него из Москвы письмо, в котором он сообщает, что доктор Шуровский велел ему немедленно ехать на кумыс в Уфимскую губернию. «Ехать одному скучно, — писал он, — жить на кумысе скучно, а везти с собой кого-нибудь было бы эгоистично и потому неприятно. Женился бы, да нет при мне документа, все в Ялте на столе». Так впервые, неожиданно для меня брат заговорил о своей женитьбе. Как все это я восприняла и пережила, я расскажу своими письмами, которые я писала в те дни Антону Павловичу.

На это письмо брата я ответила ему так: «Позволь мне высказать свое мнение насчет твоей женитьбы. Для меня лично свадебная процедура ужасна! Да и для тебя эти лишние волнения ни к чему. Если тебя любят, то тебя не

бросят, и жертвы тут никакой нет, эгоизма с твоей стороны тоже нет ни малейшего. Как это тебе могло прийти в голову? Какой эгоизм? Окрутиться же всегда успеешь. Так и передай твоей Книпшиц. Прежде всего нужно думать о том, чтобы ты был здоров. Ты, ради бога, не думай, что мною руководит эгоизм. Ты для меня был всегда самым близким и дорогим человеком, и, кроме счастья, я для тебя ничего другого не желаю. Был бы ты здоров и счастлив — для меня больше ничего не надо. Во всяком случае, действуй по своему усмотрению, быть может, я и пристрастна в данном случае. Ты же сам воспитал меня быть без предрассудков!

Через день мы в Ялте получили такую телеграмму: «Милая мама, благословите, женюсь. Все останется по-старому. Уезжаю на кумыс. Адрес: Аксеново, Самаро-Златоустовской. Здоровье лучше. Антон».

Эта телеграмма о совершившемся факте подействовала на меня и на мать ошеломляюще. Мы не сразу пришли в себя. Через два дня я писала брату: «Хожу я и все думаю, думаю без конца. Мысли у меня толкают одна другую. Так мне жутко, что ты вдруг женат! Конечно, я знала, что Оля рано или поздно сделается для тебя близким человеком, но факт, что ты повенчан, как-то сразу взбудоражил все мое существо, заставил думать и о тебе, и о себе, и о наших будущих отношениях с Олей. И вдруг они изменятся к худшему, как я этого боюсь... Я чувствую себя одинокой более, чем когда-либо. Ты не думай, тут нет никакой с моей стороны злобы или чего-нибудь подобного, нет, я люблю тебя еще больше, чем прежде, и желаю тебе от всей души всего хорошего, и Олю тоже, хотя и не знаю, как у нас с ней будет, и теперь пока не могу отдать себе отчета в своем чувстве к ней. Я немного сердита на нее, почему она мне ровно ничего не сказала, что будет свадьба, не могло же это случиться экспромтом. Знаешь, Антоша, я очень грущу, и настроение плохое... Видеть хочу только вас и никого больше, а между тем все у всех на глазах, уйти некуда.

Пока я еще никому не говорю, хотя по городу слухи уже носятся. Конечно, скрывать уже нечего. Когда получили от тебя телеграмму, мать от неожиданности как-то остолбенела... Но вскоре она совершенно оправилась и теперь удивляет меня своим спокойствием...

Напиши, умоляю тебя, о себе... Будь здоров и счастлив, кланяйся Оле. Попроси Олю написать мне».

Не получая писем и очень волнуясь, я телеграфировала брату в Аксеново 4 июня: «Умоляю написать. Маша». На другой день я получила телеграфный ответ: «Чеки получил. Спасибо. Посылаю письмо, в котором предлагаю проехаться вместе по Волге. Здоров. Напрасно волнуешься. Все остается по-старому. Привет мамаше. Пиши. Антон»*.

Наконец 6 июня я получила от брата первое письмо из Аксенова, написанное 2 июня:

«Здравствуй, милая Маша! Все собираюсь написать тебе и никак не соберусь, много всяких дел, и, конечно, мелких. О том, что я женился, ты уже знаешь. Думаю, что сей мой поступок нисколько не изменит моей жизни и той обстановки, в какой я до сих пор пребывал. Мать, наверное, говорит уже Бог знает что, но скажи ей, что перемен не будет решительно никаких, все останется по-старому. Буду жить так, как жил до сих пор, и мать тоже; и к тебе у меня останутся отношения неизменно теплыми и хорошими, какими были до сих пор...».

Это письмо и телеграмма помогли разрядиться моему напряженному состоянию, и мне стало легче. Я написала в Аксеново:

«Ну, у меня вдвойне праздник: получила от вас письма и дождик пошел, хороший, крупный, идет со вчерашнего вечера. А уж письмам обрадовалась несказанно! Вчера получила сразу три и сегодня утром одно от тебя.

В «Новостях дня», полученных сегодня, помещены ваши портреты. Да, и наделали же шуму вы вашей свадьбой! Кто из вас знаменитей, ты или Книпшиц? Ее изобразили в костюме из «Дяди Вани», а тебя в пенсне. За телеграмму очень и очень благодарю, буду ждать письма. Может быть, я вас побеспокоила, но мне так тяжело было не знать про вас ровно ничего целых две недели».

Нужно сказать несколько слов о том, как Антон Павлович обставил свою свадьбу в Москве. Дело в том, что, как я уже не раз здесь упоминала, брат всегда боялся всяких публичных выступлений. Пышная, торжественная процедура свадебного обряда, связанные с ним традиции

* Эта телеграмма Антона Павловича ко мне публикуется в печати впервые. До сих пор я считала ее утерянной и лишь недавно обнаружила в своем архиве.

его буквально пугали. Он еще за месяц до свадьбы писал Ольге Леонардовне:

«Если ты дашь слово, что ни одна душа в Москве не будет знать о нашей свадьбе до тех пор, пока она не совершится, — то я повенчаюсь с тобой хоть в день приезда. Ужасно почему-то боюсь венчания, и поздравлений, и шампанского, которое нужно держать в руке и при этом неопределенно улыбаться».

Поэтому Антон Павлович попросил артиста Художественного театра Александра Леонидовича Вишневского устроить в день свадьбы торжественный обед и пригласить на него всех родных его и Ольги Леонардовны. А. Л. Вишневский это выполнил. В назначенный час все собрались, ждут Антона Павловича и Ольгу Леонардовну. Их все нет и нет. Начали уже волноваться. Наконец откуда-то стало известно, что Антон Павлович и Ольга Леонардовна только что обвенчались, заехали из церкви к Анне Ивановне Книппер, матери Ольги Леонардовны, и оттуда проехали на вокзал и сейчас... уже едут в поезде в Нижний Новгород!

Пусть читатели сами представят себе то забавное положение, в котором оказались гости на званом обеде, когда пригласившие их на этот обед хозяева... сбежали.

С такой тактической хитростью Антон Павлович разрешил этот «тяжелый» для него вопрос. На венчании же в церкви присутствовали только требовавшиеся законом того времени четыре свидетеля, называвшиеся шаферами, — брат и дядя Ольги Леонардовны и еще два знакомых студента.

* * *

Моими письмами, в которых я писала брату о своих переживаниях, связанных с его неожиданной женитьбой, я, конечно, невольно доставила им обоим огорчение, о чем мне позднее Ольга Леонардовна откровенно и сообщила. На это я написала Антону Павловичу письмо, в котором рассказала, почему это все так у меня получилось:

«Милый Антоша, Оля пишет мне, что ты очень огорчился моим письмом. Прости меня, что я не сумела сдержать своего тревожного настроения. Мне казалось, что ты поймешь меня и простишь. Это первый раз, что я дала во-

лю своей откровенности, и теперь каюсь, что этим огорчила тебя и Олю. Если бы ты женился на другой, а не на Книпшиц, то, вероятно, я ничего не писала бы тебе, а уже ненавидела бы твою жену. Но тут совсем другое: твоя супруга была мне другом, к которому я успела привязаться и пережить уже многое. Вот и закопошились во мне разные сомнения и тревоги, быть может, напрасные и преувеличенные, но зато я искренно писала все, что думала. Оля мне сама рассказывала, как ей трудно было пережить женитьбу своего старшего брата, и мне кажется, она скорее всего могла понять мое состояние и не бранить меня. Во всяком случае, мне очень неприятно, что огорчила вас, больше никогда, никогда не буду.

Теперь я чувствую себя хорошо. В доме все благополучно, и все веселы, ждут вас...

...Очень рада, что кумыс действует на тебя благотворно, пей, не спеши, авось совсем выздоровеешь. Мое тревожное состояние зависело еще от слов твоего доктора Шуровского. Так не сердись же на меня и знай, что тебя и Олю я люблю больше всех на свете».

Вскоре Антон Павлович и Ольга Леонардовна вернулись из Аксенова, и мы дружно и весело прожили вместе все лето в Ялте. Никогда никаких разговоров или объяснений больше у нас не возникало.

В дальнейшем мы в Москве жили с Ольгой Леонардовной вместе на одной квартире и делили с ней все радости и горести. Дружба наша никогда и ничем не омрачалась. С тех пор прошло более полувека, и по сей день Ольга Леонардовна всегда была и остается моей любимой невесткой и самым близким и дорогим мне человеком.

Ялтинская жизнь

Много народа перебывало у нас в Ялте при жизни Антона Павловича — писатели, артисты, художники, музыканты, общественные деятели, академики. Приезжали и наши старые московские и мелиховские друзья, но большинство из ялтинского окружения Антона Павловича было уже из числа новых знакомых, сблизившихся с братом в ялтинский период его жизни.

Еще в первый год пребывания Антона Павловича в Ялте, пока наш дом только строился, к брату приезжал познакомиться входивший тогда в большую славу писатель Максим Горький — Алексей Максимович Пешков. Это было в марте 1899 года. Они часто встречались в те

дни, говорили о литературе, о творчестве и произвели хорошее впечатление друг на друга. После этого между ними установились дружеские отношения и началась интересная и содержательная переписка.

Антон Павлович считал Горького талантливым человеком, из которого выйдет «большущий писателище». По просьбе самого Алексея Максимовича он давал ему много литературных советов, помогал критическими указаниями. В своих письмах Горький искренно благодарил Антона Павловича и потом посвятил ему свою повесть «Фома Гордеев».

Я встретилась впервые с А. М. Горьким, когда он приезжал в Ялту во время гастролей Художественного театра весной 1900 года. Его имя тогда было очень популярно. С удивлением и любопытством я присматривалась к нему. Удивлял он меня тем, что ходил всегда в длинных русских рубахах-косоворотках (летом в белых, зимой в черных), в сапогах с заложенными в голенища брюками,— вообще производил вид не столько писателя, сколько какого-нибудь мастерового. Но когда он начинал что-нибудь рассказывать, а рассказывал он большей частью о своей жизни, о своих скитаниях по России, то нельзя было не восхищаться красочными описаниями, интересными образными сравнениями и вообще мастерством изложения. На всех актеров Художественного театра он произвел тогда такое же сильное впечатление, и те всегда окружали его и без конца слушали увлекательные рассказы. У Горького было природное дарование великолепного и интереснейшего рассказчика.

Приезжая в Крым, Горький всегда встречался с Антоном Павловичем и в дальнейшем стал в нашем доме своим человеком. Однажды, в 1901 г., он даже жил у нас несколько дней перед тем, как переехать в Олеиз. Он в то время находился под полицейским надзором за революционную деятельность. Ему было разрешено по состоянию здоровья прожить зиму 1901/02 года в Крыму, но за исключением Ялты, где он не имел права останавливаться. Но так как наш дом был не в городе, а в деревне Аутке, то Антон Павлович и прописал Горького у себя. Правда, полицейский пристав почти ежедневно справлялся у брата, у него ли находится Горький... В эту зиму писатели много встречались или в Ялте, или у Горького на даче «Нюра» в Олеизе. Иногда они ездили вместе к Льву Николаевичу Толстому, тоже проживавшему в тот год на южном берегу Крыма, в Гаспре, в имении Паниной.

Бывал Алексей Максимович у нас в Ялте и вместе с женой Екатериной Павловной и детишками — мальчиком Максимкой и девочкой Катей. Как сейчас помню две маленькие фигурки, бегающие в высокой траве нашего сада и оживлявшие его тишину своими детскими голосами. У Антона Павловича и Горького была своя излюбленная скамеечка в нашем саду, куда они обычно уединялись для разговоров, чтобы никто им не мешал. Я уже всегда знала, что если их в доме нигде нет, то, значит, они там, и, когда нужно было садиться за стол к обеду или чаю, я выходила на балкон своей комнаты и кричала через весь сад:

— Антоша, Алексей Максимович, идите обедать...

Эта скамеечка сохранилась в саду до сих пор и носит теперь название «горьковской».

Однажды Горький предложил мне пойти вместе с ним на конспиративное собрание одного революционного кружка. Я знала, что в России есть революционные кружки, есть люди, которые посвятили всю свою деятельность и всю свою жизнь делу революции, но сама я стояла далеко от политической жизни. Возможно, Горькому захотелось возбудить во мне интерес к политическим вопросам, а может быть, даже и привлечь меня к революционной работе.

— Я познакомлю вас с хорошими людьми... Очень хорошими,— сказал он, сильно «окая» в слове «хорошими».

Не имея понятия о конспирации, я пригласила пойти вместе с нами отдыхающего тогда в Ялте писателя И. А. Бунина. Горький не возражал против этого.

Помню, как темным вечером шли мы втроем по улицам Ялты. Дошли до Лаврового переулка и зашли в дом, принадлежавший неким Серебряковым. Поднялись на второй этаж. Там в довольно большой, сильно накуренной комнате происходило собрание. Несколько незнакомых мне очень просто одетых людей о чем-то спорили. Что они говорили, я плохо понимала. К тому же и Бунин, считая, очевидно, своим долгом развлекать меня, мешал мне слушать своими разговорами.

Я не помню теперь, выступал ли тогда на этом собрании А. М. Горький. У меня сохранилась в памяти только внешняя сторона этого эпизода, характерного для всего облика Алексея Максимовича того времени. Насколько я могу судить теперь, попытка его сблизить меня с революционными кружками не была успешной.

Встречалась я с Алексеем Максимовичем и в Москве. Он не раз приходил ко мне в гости.

А. М. Горький очень любил Антона Павловича и высоко ценил его как писателя. Об этом говорят его воспоминания о Чехове, письма и статьи.

* * *

С И. А. Буниным Антон Павлович познакомился еще в 1895 году, но начал встречаться с ним уже тогда, когда жил в Ялте. Бунин был на десять лет моложе Антона Павловича. Происходил он из обедневшей дворянской семьи и жил только на средства, получаемые от литературного труда.

Я познакомилась с Буниным, так же как и с Горьким, в Ялте во время гастролей Художественного театра в апреле 1900 года. Иван Алексеевич, воспитанный, остроумный, живой, веселый человек, произвел на меня очень приятное впечатление. В литературе он выступал тогда как поэт и как беллетрист. Он был большим мастером стихотворных экспромтов.

Антон Павлович чувствовал большое расположение к Ивану Алексеевичу, был очень ласков с ним и всегда просил, когда тот бывал в Ялте, каждый день, и пораньше, приезжать к нему. Целые дни они проводили вместе в беседах. Оба они любили тонкий юмор, шутку, часто придумывали вместе подробности, эпизоды какого-нибудь смешного рассказа, и порой из кабинета брата слышались взрывы громкого смеха. Бунин великолепно читал ранние юмористические произведения Антона Павловича. Обычно брат сначала старался слушать Бунина серьезно, но, сколько ни крепился, все-таки не мог удержаться от смеха, слушая свои собственные старые рассказы. Антон Павлович называл Ивана Алексеевича придуманным им прозвищем «Букишон», иногда добавляя к этому: «Господин французский депутат Букишон».

Однажды, в конце декабря 1900 года, Бунин приехал в Ялту и остановился по приглашению брата в нашем доме. Поселился в одной из комнат нижнего цокольного этажа. Я обычно во время рождественских каникул жила тоже в Ялте. Антона Павловича дома тогда не было, он уезжал в Ниццу. Нам с матерью тоскливо было проводить праздники без Антона Павловича, и приезд И. А. Бунина был очень кстати. Он вносил большое оживление в нашу жизнь, скрасив наше одиночество.

Одно из своих писем брату в Ниццу (от 28 декабря 1900 года) я начала таким бунинским шутливым экспромтом:

«Позабывши снег и вьюгу,
Я помчалась прямо к югу.
Здесь ужасно холоднó.
Целый день мы топим печки,
Глядим с Буниным в окно
И гуляем, как овечки.

По-моему, последняя строчка глупа, но Бунин, который сочинил мне сейчас эти стихи, находит, что эта строчка самая лучшая! Напиши свое мнение. Бунин приехал и остановился у нас внизу...».

На встрече Нового года Иван Алексеевич написал мне такой экспромт:

Гуляй, гуляй, Маша,
Пока воля наша.—
Когда замуж отдадут,
Такой воли не дадут!

За те дни, что Иван Алексеевич прожил у нас, я с ним очень подружилась. Он стал меня шутливо звать «Амаранта», а себя «Дон Зинзага», заимствуя эти имена из рассказа Антона Павловича «Жены артистов», когда-то опубликованного в первом сборнике его рассказов под названием «Сказки Мельпомены». Иногда он звал меня, копируя покойного Левитана, и Мафой.

После весело проведенных каникул я уехала в Москву, а Бунин продолжал жить в нашем доме, за что я была ему очень признательна, иначе наша мать осталась бы совсем одна. Мы думали, что если Антон Павлович не задержится за границей, то Бунин дождется его в Ялте.

Иван Алексеевич стал писать мне в Москву, и с этого времени началась наша дружеская с ним переписка, продолжавшаяся более десяти лет. Я приведу здесь те письма ко мне Ивана Алексеевича, в которых упоминается имя Антона Павловича или раскрывается отношение Бунина к Антону Павловичу, которого он любил тогда искренно, глубоко, нежно.

Вот эти письма И. А. Бунина в отрывках:

«Ялта, 22 января 1901 г.

Очень виноват перед Вами, милая и хорошая Амаранта, но, право, я не вижу дней. Они мелькают так, что их за хвост не поймаешь, благодаря моему трудолюбивому и

аскетическому образу жизни. Читаю, думаю, мечтаю, иногда кое-что запишу, кушаю на доброе здоровьице, беседую за столом с милой и кроткой Евгенией Яковлевной, бегаю на почту... Евгения Яковлевна здорова,— немного было распухло у нее горло, теперь прошло. Удивляемся, что значит, что Антон Павлович не пишет Вам. Он опять повторяет, что скоро, очень скоро приедет...

Если бы Вы были здесь, я бы рассказал Вам много трогательного и красивого, что придумал и видел за последнее время. А сколько экспромтов пропало задаром!..

Опишите представление «Трех сестер», поклонитесь Книпперам. Прощайте, Амаранта.

Ваш Дон Зинзага».

«Ялта, 18 февраля 1901 г.

Дорогая Мария Павловна! 13-го февраля, во вторник, я выбыл из Аутки на пароход, но на набережной увидел чрезвычайное волнение моря и поэтому, дабы не докучать своей возней Евгении Яковлевне, отправился в гостиницу «Ялта», где живу и до сего времени. Во вторник же Варвара Константиновна* получила телеграмму из Одессы от Антона Павловича, что он едет. Значит, сложилось все чудесно, мы беспокоились только, что Антона Павловича будет качать.

В четверг ночью он приехал, а в пятницу утром позвонил мне в телефон и позвал к себе. Был у него и в пятницу, и в субботу, и сегодня — по целым дням; конечно, по его желанию, а не вследствие нахальства, присущего мне. Был он со мной очень ласков, а мне было очень приятно с ним. Он задержал меня здесь — этим и объясняется то, что я еще здесь. Но в Аутку не переезжаю, ибо я все-таки на отлете.

Антон Павлович имел сперва немного утомленный вид, но сегодня был хорош, дай ему бог тысячу лет здоровья! Милая Евгения Яковлевна счастлива и здорова. Что Вы, милая Мафа?

Многое поручил мне Антон Павлович написать Вам, но потом решил написать сам. Ну, пока до свиданья, милая Амаранта.

Ваш Ив. Бунин.

Поклон Книпперчику... Впрочем, она в Петербурге?»

---

* Варвара Константиновна Харкеевич — начальница ялтинской женской гимназии.

«Одесса, 3 марта 1901 г.

Дорогая Марья Павловна, пожалуйста, не сердитесь за молчание. Мне самому очень неприятно, что я так долго не писал Вам...

Уезжая из Ялты или, кажется, с парохода писал Вам, как мил и сравнительно здоров и весел был дорогой Антон Павлович. Теперь больше ничего не могу сказать. Писем от него не получал. Успех Художественного театра меня искренно радует...

Ваш Зинзага.

Антон Павлович все называл меня «Букишоном». Правда, хорошо?»

«Одесса (середина марта), 1901 г.

Милая и дорогая Амаранта, очень крепко целую Ваши ручки за ласку и приглашение, но не знаю, приеду ли в Ялту. Пора на покой, домой, а то что ж это — опять «вагоны, буфеты, отбивные котлеты», коридорные... Работать, конечно, в Ялте нельзя будет... то есть очень мало шансов на это. И, главное, долго ли Вы пробудете в Ялте? Не скрою, ей-богу, страшно хочется видеть Вас, видеть Ялту, Антона Павловича... Потом плыть с Вами по морю и держать путь в Россию уже по нежной весне. Очень хорошо! Но... ей-богу, не знаю... Одним словом, подумаю.

Относительно Антона Павловича Вы напрасно беспокоитесь. Я ничего не скрыл от Вас и сказал «сравнительно» просто потому, что ведь никогда же Антон Павлович не производит впечатления крепчайшего здоровья.

Олечку очень жалею*. Остальных нечего, вероятно, жалеть. Да и в общем ведь все-таки успех огромный.

Жду от Вас еще письма — как и что. А я подумаю. Только, пожалуйста, не думайте, милая, что у меня просто нет желания ехать**.

---

* Художественный театр в то время был на гастролях в Петербурге. В своих рецензиях петербургские газеты ругали спектакли театра; на Ольгу Леонардовну это действовало тяжело.

** Антон Павлович тоже писал в это время Бунину: «Непременно, обязательно приезжайте».

Мальчик мой болен немного. Да и вообще много грустного*. Жену мельком как-то видел.

Ваш Ив. Бунин».

«Лукьяново, Тульс. губ., 28 апр. 1901 г.

Дорогая Амаранта, не припишите мое долгое молчание тому, что я не думал о Вас это время,— просто я жил в беспорядке. В Ялте Вы все что-то были не в духе, и, по правде сказать, мне жаль чего-то... эти полторы недели могли пройти лучше. Все же я опять с большой любовью вспоминаю Ялту и Вас, и Книпшиц, и «Антошу», и все и вся**.

Как здоровье Антона Павловича, и где он, и сколько он пробудет в Москве, если он уже в Москве. Я в родном гнезде чувствую себя недурно... Пишу много стихов — иногда хороших...

Ваш душой Ив. Бунин».

«Ефремово, 28 мая 1901 г.

---

* У Бунина в это время были семейные неприятности. Он разводился с женой. Сын оставался с матерью. Иван Алексеевич приходил повидаться с ним через день.

** И. А. Бунин в начале апреля все-таки в Ялту приезжал и прожил полторы недели. В эти же дни у нас гостила и Ольга Леонардовна. Мы все вместе весело проводили время, гуляли. Однажды мы ездили в Гурзуф, завтракали там в ресторане. После этой прогулки на просьбу Ивана Алексеевича сказать, какая часть расхода приходится на его долю, Антон Павлович «выписал» ему такой шутливый счет:

«Счет господину Букишону (французскому депутату и маркизу)
Израсходовано на Вас:

1 переднее место у извозчика .	. . . . 5 р.
2 бычков а ля фам о натюрель	. 1 р. 50 коп.
1 бутылка вина экстра сек .	. 2 р. 75 коп.
4 рюмки водки . .	1 р. 20 коп.
1 филей	. . . 2 р.
2 шашлыка из барашка	. . . 2 р.
2 барашка	. 2 р.
Салад тирбушон . .	. 1 р.
Кофей	. 2 р.
Прочее	. . . 11 р.
Итого:	27 р. 75 коп.

С почтением Антон и Марья Чеховы, домовладельцы».

14 апреля мы втроем выехали из Ялты: я и Ольга Леонардовна в Москву, Бунин — в Одессу.

Дорогая Амаранта, о которой я часто вспоминаю с большим удовольствием! Очень тружусь и потому долго не писал Вам. Вы мне прислали чудесное письмо — письма Вы пишете не хуже брата. Собираюсь в Москву и надеюсь увидеть там Олечку и Антона Павловича. Он мне писал, но письмо начал так: «Милый, душеспасительный Иван Алексеевич, господин Букишон!..» За «душеспасительного» я чуть не обиделся...*. Напишите мне в Москву. Друзья меня любят — поеду в Москву, заверну на дачу к Телешову, а потом пишите так: Москва, Чистые пруды, дом Терехова, Н. Д. Телешову, для меня.

...кланяюсь Евгении Яковлевне и всем обитателям в милой и благородной Белой Даче.

Весь Ваш Ив. Бунин.

Видите ли Купришу?**. Ему мои поцелуи».

«Москва, <начало июня> 1901 г.

Дорогая Марья Павловна! Что Вы замолчали? Каково Ваше настроение? Приехавши в Москву, получил совершенно неожиданное известие об Антоне Павловиче***. Был у Анны Ивановны****, она говорит, что он поехал очень веселый. Мое желание Вы знаете — от всей души желаю, чтобы для всех вас это было и вышло хорошо во всех отношениях. Напишите мне о себе хоть что-нибудь и поклонитесь милой и уважаемой Евгении Яковлевне.

Ив. Бунин».

«Лукьяново, 7 июля 1901 г.

Дорогая Марья Павловна, давно не писал Вам, но опять-таки вследствие скудости внешней моей жизни. Сижу у родителей, по утрам купаюсь, после обеда сплю в кленовой аллее, читаю много ... остальное время беседую с музой. Хочется мне Толстого за пояс заткнуть, да и только!

---

* Упоминаемое Буниным письмо к нему Антона Павловича неизвестно, в полное собрание писем А. П. Чехова оно не попало. Видимо, Бунин мне его в свое время не дал для публикации.

** «Куприша» — А. И. Куприн.

*** Венчание Антона Павловича и Ольги Леонардовны в Москве 25 мая.

**** Анна Ивановна Книппер — мать Ольги Леонардовны.

Вас, милая и хорошая Амаранта, от всего сердца жалел, прочтя Ваше грустное письмо*. Искал Вам жениха — ничего подходящего, — лето! Подождем зимы, которую я буду почти всю проводить в Москве. Ваш милый, знаменитый брат прислал мне письмо, по обыкновению ничего не пишет о здоровье. Что сделал кумыс? Напишите, пожалуйста, — я вас всех очень люблю. И побольше напишите о себе, как проводите ялтинские дни? Конечно, самый низкий поклон молодым, уважаемой Евгении Яковлевне, всему вашему дому и знакомым.

Ваш душой Ив. Бунин».

«2 июня 1902 г.

Дорогой друг, простите, что не писал. Сидел в деревне у своих и «творил». Теперь еду под Москву... Напишите, как живете, где Антон Павлович с женой. Пожалуйста, напишите, мне очень хочется о Вас знать хоть что-нибудь...

Ваш Ив. Бунин».

«Севастополь, 2 августа 1902 г.

Сижу на приморском бульваре, в Севастополе, на скамейке у самой воды, которая шумит и полощется, прямо против солнца, опускающегося к морю, против нестерпимо блестящей полосы по морю, в желтоватом вечернем освещении, обвеваемый ласковым ветром с моря.

Второй день, то есть с самого отъезда из Гурзуфа, до физической боли тоскую. Опять я в пути, в своем бесконечном пути, и так, как и вчера и сегодня, нет поблизости ни одного более или менее родного человека. Хочется плакать от одиночества. Впрочем, этих близких людей у меня на всем свете не более десяти. Вы одна из них, и вчера я даже хотел снова проехать к Вам в Гурзуф провести вечер, так как было страшно одиноко, а мне так грустно за последнее время...

Ваш Ив. Бунин».

---

* Письмо мое было написано в период душевного смятения после первого известия о женитьбе брата.

«Лукьяново, 5 июля 1904 г.

Дорогая и милая Амаранта, напишите мне, пожалуйста, как здоровье Антона Павловича и где он? Я слышал, что он нездоров, и мне это очень, очень грустно...*

Преданный Вам Ив. Бунин».

«Лукьяново, 9 июля 1904 г.

Дорогой, горячо любимый друг, я буквально как громом поражен. А тут еще горе — у матери крупозное воспаление легких, а ей под семьдесят лет. Не мог и не могу поэтому приехать в Москву, прошу Вас только помнить, что все Ваши страдания в эти дни я переживаю с Вами с невыразимой болью.

Преданный Вам всей душой Ив. Бунин».

Позднее И. А. Бунин писал в своих воспоминаниях о том, как он узнал о смерти Антона Павловича: «Я поехал верхом в село на почту, забрал там газеты, письма и завернул к кузнецу перековать лошади ногу. Был жаркий и сонный степной день с тусклым блеском неба, с горячим южным ветром. Я развернул газету, сидя на пороге кузнецовской избы,— и вдруг точно ледяная бритва полоснула мне по сердцу...»

Спустя несколько лет после смерти Антона Павловича, когда я стала издавать письма брата, я просила И. А. Бунина написать предисловие. Он дал согласие. Дальнейшее объяснит его письмо мне 25 сентября 1911 года:

«...Письма Антона Павловича брал у Сытина и, мгновенно перечитав, снова возвратил ему для набора. Письма восхитительны и могли бы дать материала на целую огромную статью. Но тем более берет меня сомнение: нужно ли мне писать вступление к ним? Крепко подумавши, прихожу к заключению, что не нужно. Ибо что я могу сказать во вступлении? Похвалить их? Но они не нуждаются в этом. Они — драгоценный материал для биографии, для характеристики Антона Павловича, для со-

* Когда писалось это письмо, Антона Павловича уже не было в живых.

здания портрета его. Но уж если создавать портрет, то надо использовать не один том их, а все, да многое почерпнуть и из других источников. А какой смысл во вступительной заметке?

Пожалуйста, напишите мне Ваше мнение. Думаю, что Вы согласитесь со мной, тем более, что ведь и выпускать письма надо поскорее.

Кланяюсь Евгении Яковлевне.

Искренно преданный Вам Ив. Бунин».

Я согласилась с Иваном Алексеевичем, и вместо вступительной статьи моим братом Михаилом Павловичем были написаны биографические очерки к каждому тому писем.

В последующие годы мы уже реже видались с И. А. Буниным. Он женился вторично и стал мало бывать в Крыму. Переписка тоже заглохла. А после революции мы и совсем расстались. Бунин не был ни капиталистом, ни помещиком, хотя у него и было небольшое старинное родительское имение в одной из деревень Тульской губернии. Жил он только своим литературным трудом и всегда был стеснен в деньгах. И тем не менее И. А. Бунин не мог понять Великую Октябрьскую социалистическую революцию и эмигрировал за границу. Там он прожил остаток своей жизни. Печально закончились дни этого талантливого человека, любившего свою родину, но не сумевшего отказаться от некоторых своих взглядов. Он умер за границей в 1953 году восьмидесяти трех лет от роду.

В заключение воспоминаний об Иване Алексеевиче могу добавить, что в июльской книжке журнала «Русская мысль» за 1902 год был опубликован рассказ Бунина «Свидание», посвященный мне.

* * *

Бывал у нас в ялтинском доме еще один талантливый писатель, к которому Антон Павлович тоже тепло относился и произведения которого хвалил,— Александр Иванович Куприн. Так же как и Бунин, он был на десять лет моложе Антона Павловича. Он прожил трудную жизнь: был офицером, актером, землемером...

Куприн бывал у нас с 1900 года. Он относился к Антону Павловичу с большой любовью и уважением. Он был уже довольно известным писателем, когда в 1901 году подарил Антону Павловичу свою книжку «Миниатюры» с такой надписью: «Глубокоуважаемому Антону Павловичу Чехову с чувством большой робости. Автор».

Как-то весной Александр Иванович жил в Ялте, но не в самом городе (у него тогда были плохие денежные дела), а в деревне Аутке, недалеко от нашего дома. В шумной квартире, где он снимал комнату, ему было трудно писать, и Антон Павлович предложил ему работать у нас. Александр Иванович работал в столовой первого этажа, под кабинетом брата. Кстати, известный рассказ «В цирке» Куприн написал в этой комнате.

Куприн и Бунин были дружны между собой, вместе бывали в Ялте, и я иногда в шутку называла их «двумя Аяксами». У меня с Куприным, так же как и с Буниным, сложились дружеские отношения.

Вот, например, одно из писем Куприна ко мне:

«Вы помните, Бодлер как-то сказал:

«...каждый раз, когда я встречал чистую изящную женщину с нежной душой, мне хотелось носить ее на руках и плакать от умиления».

...нечто подобное я всегда испытывал к Вам. Я думаю о Вас часто, часто... Рад, что Вы позволяете мне это».

Бунин и Куприн в письмах ко мне подтрунивали друг над другом. Бунин писал: «Слышал с неудовольствием про Ваш флирт с Куприным. Надеюсь, этот демон уже уехал?» Куприн же писал: «Скажите Ваничке Бунину, что всякого другого на его месте я возненавидел бы, но ему великодушно прощаю...».

Я помню А. И. Куприна на похоронах Антона Павловича, когда слезы неудержимо текли по его лицу. Он искренно и глубоко любил Антона Павловича. Его воспоминания о моем брате исполнены большой душевной теплоты. Позднее он помогал мне доставать письма Антона Павловича у петербургских адресатов, когда я подготовляла издание эпистолярного наследия брата.

А. И. Куприн после революции тоже эмигрировал за границу. Но, тяжело переживая свою оторванность от родины и народа, он обратился к Советскому правительству с просьбой разрешить ему вернуться на родину. Он вер-

нулся уже постаревшим, больным и вскоре, в 1938 году, умер в Москве.

Я с ним после революции не виделась ни разу.

* * *

Я упоминала выше, что наш старый друг дядя Гиляй бывал у нас в Ялте. Как-то в одно из посещений В. А. Гиляровский написал на косяке двери, выходившей из галерейки во двор, такой стихотворный экспромт:

Край, друзья, у нас премилый,
Наслаждайся и гуляй:
Шарик, Тузик косорылый*
И какой-то Бабакай...**

Антон Павлович искренно смеялся и шутил, что это — лучшее стихотворение того времени.

Я очень сожалела позднее, что не досмотрела, как во время очередной покраски галерейки это стихотворение Владимира Алексеевича было закрашено.

* * *

В конце 1890 года, во время рождественских праздников, к нам приезжал наш старый, дорогой друг И. И. Левитан. Он тогда был уже тяжело больным. Эта его встреча с Антоном Павловичем, в сущности, оказалась последней (если не считать кратковременного посещения Антоном Павловичем больного Левитана в мае 1900 года в Москве).

В эти последние дни 1899 года в нашем доме появилась еще одна картина Левитана — написанный маслом этюд «Стоги сена в лунную ночь». Появлению этого этюда предшествовал разговор Антона Павловича с Левитаном о русской природе. Левитан сидел в кабинете брата в кресле перед камином, а Антон Павлович, медленно

---

* Дело в том, что у нас в Ялте, так же как и в Мелихове, всегда жило по нескольку собак. Некоторых мы сами заводили, другие просто приходили и приживались. Были у нас симпатичные собачки Каштан, Тузик, Шарик, потом был Шнап, которого я звала по-своему Фомой. Когда Антон Павлович выходил в сад, они всегда окружали его. Собаки удивительно чувствуют отношение к ним человека и на ласку отвечают своей трогательной собачьей лаской. Вот так наши дворовые собаки всегда ласкались к Антону Павловичу.

** Бабакай Осипович Кальфа, подрядчик, производивший у нас строительные работы.

прохаживаясь по комнате, говорил о том, что он соскучился по родному среднерусскому пейзажу, что крымская южная природа хотя и красивая, но холодная. Я сидела тут же в комнате. Вдруг Левитан обращается ко мне:

— Мафа, принесите мне, пожалуйста, картону.

Я принесла, Исаак Ильич вырезал кусок по размеру ниши камина, вставил его туда, взял краски и начал писать. В каких-нибудь полчаса этюд был готов. На нем были изображены копна сена в поле во время сенокоса в лунную ночь, вдали лес. В нижнем правом углу он написал: «И. Левитан — А. Чехову». Так этот подарок друга навсегда остался в нише камина.

В кабинете брата были еще две картины Левитана: «Река Истра», написанная в 1885 году в Бабкине, когда мы жили там вместе с Левитаном, и «Дуб и березка». Обе эти картины Левитаном были подарены Антону Павловичу и всегда висели в его кабинете, где бы мы ни жили — в Москве, Мелихове, Ялте. Несколько левитановских картин и этюдов, подаренных им мне, находились в моей комнате.

* * *

Бывал у нас в Ялте Федор Иванович Шаляпин. Он любил Антона Павловича и очень высоко ценил его произведения. Обычно после просмотра в Художественном театре новой пьесы Антона Павловича Шаляпин посылал ему телеграмму с выражением восхищения и благодарности.

Брат любил слушать Шаляпина, и тот всегда много для него пел. Федор Иванович приходил к нам в Ялте запросто, аккомпаниатора для него у нас в доме не было, поэтому он сам садился за рояль и, аккомпанируя себе, пел русские народные песни. Они у него получались великолепно — и лирически-задушевные, и задорно-залихватские, и шуточно-комические. И было в его пении столько обаяния, красоты, столько эмоционального воздействия, что его можно было часами слушать и слушать. Антон Павлович любил неповторимый шаляпинский голос.

Из артистов бывали еще П. Н. Орленев, все просивший Антона Павловича написать для него пьесу, которую он исполнил бы во время гастролей за границей, первая исполнительница роли Нины в «Чайке» Комиссаржевская, бывший певец Московского Большого театра

В. С. Миролюбов (по сцене Миров), издававший «Журнал для всех», в котором Антоном Павловичем были напечатаны рассказы «Архиерей» и «Невеста».

Изредка приезжали в Ялту и всегда к нам заходившие писатели, с которыми Антон Павлович был знаком еще раньше и к которым относился с большой теплотой,— Д. Н. Мамин-Сибиряк, Н. Д. Телешов, писатель-академик и прогрессивный судебный деятель А. Ф. Кони, а также и те писатели, с которыми брат познакомился уже в ялтинский период своей жизни: Л. Н. Андреев, В. В. Вересаев, С. Г. Скиталец, Е. Н. Чириков, поэт К. Д. Бальмонт, драматург С. А. Найденов, пьесы которого Антон Павлович очень хвалил.

Бывал у Антона Павловича симпатичный человек и писатель Н. Г. Гарин-Михайловский. Он был видным инженером-путейцем и в те времена проектировал строительство железной дороги по южному берегу Крыма в Ялту. Брат ценил произведения Гарина-Михайловского и считал его талантливым писателем. Бывали и такие литераторы, как Б. А. Лазаревский, которые утомляли Антона Павловича своими длинными разговорами, но которым он никогда не давал этого понять из-за своей щепетильной деликатности. Лишь после их ухода он жаловался нам, что у него разболелась голова, что ему не дали работать. К сожалению, таких посетителей и посетительниц было немало, и нам, домашним, трудно было уберечь Антона Павловича от них.

Я уже упоминала о том, что в осенне-зимний сезон 1901/02 года на южном берегу Крыма жил Лев Николаевич Толстой. Жил он в имении графини Паниной в Гаспре, верстах в двенадцати от Ялты*. Антон Павлович много раз виделся с Толстым в Гаспре. У нас в ялтинском доме Лев Николаевич не бывал.

Толстой в Гаспре тяжело заболел. Брат часто его навещал и сокрушался, что, сам больной, он не может принять участия в дежурстве у постели Толстого в качестве врача. Он очень любил Льва Николаевича. В дни тяжелой болезни Толстого Антон Павлович служил для Москвы источником правдивых сведений о положении больного, так как царское правительство скрывало тогда от народа правду о Толстом.

Постоянно посещал нас писатель и врач Сергей Яковлевич Елпатьевский, тоже построивший себе в Ялте дом.

* Ныне санаторий «Ясная Поляна».

Вместе с ним Антон Павлович трудился по оказанию помощи приезжавшим без средств туберкулезным больным и созданию для них общедоступного санатория.

Антон Павлович в Ялте по состоянию здоровья практической медицинской работой уже не занимался. Но к нему часто обращались больные из Аутки, а также приезжие студенты, и он никому не отказывал в бесплатной врачебной помощи. На его письменном столе всегда лежала медицинская трубочка, плессиметр и молоточек. Бывали и такие курьезные случаи. Пришел к нему однажды незнакомый человек и попросил принять его как пациента. Брат объяснил ему, что не занимается врачебной практикой, но тот просил, настаивал. Тогда Антон Павлович согласился, осмотрел его, выслушал. После этого посетитель положил на стол четыре золотых десятирублевых монеты. Брат с возмущением повторил ему, что он не практикует, и если согласился осмотреть его, то только в виде исключения, и что эти сорок рублей для него равносильны нанесенной ему обиде... Но потом передумал и, убедившись, что посетитель вполне обеспеченный человек, сказал:

— А впрочем, подождите...

Он вынул свою квитанционную книжку, по которой принимал пожертвования в пользу неимущих больных, и выписал квитанцию в получении от этого посетителя сорока рублей в фонд помощи нуждающимся больным. Тот сначала отказался взять квитанцию, но потом тоже сказал:

— А впрочем, это автограф.— И взял.

* * *

В годы жизни Антона Павловича в Ялте популярность его как писателя была необычайно велика. На Волге, например, плавал пароход под названием «Антон Чехов». Издавались открытки с портретом Антона Павловича. Одесские газеты сообщали о приезде писателя Чехова, хотя в то время он никуда не выезжал. Где-то на каком-то пароходе неизвестный, назвавшись писателем Чеховым, просил взаймы денег, и ему дали не задумываясь. Какой-то субъект ухаживал за девушкой, назвавшись Чеховым, и потом Антон Павлович получил от ее родителей письмо: они упрекали его в том, что он кружит голову молоденьким девушкам... Одним словом, предприим-

чивые люди пользовались именем Чехова, потому что имя это вызывало у читателей симпатии...

В Ялте популярность Антона Павловича в те времена была особенно велика. Когда он прогуливался по набережной, за ним в некотором отдалении следовала целая толпа поклонников или, точнее сказать, поклонниц. Их в Ялте было очень много, и в нашей семье они получили специальное название: «антоновки». Эти «антоновки» были бесхитростными «обожательницами» Антона Павловича. Им хотелось увидеть писателя Чехова, перемолвиться с ним парой слов, помочь ему донести что-нибудь из города или проводить его и, наконец, просто подежурить у ограды дома и посмотреть на Чехова, прогуливающегося в своем саду. В иные дни можно было видеть по нескольку «антоновок», часами стоявших у белой фигурной ограды, окружавшей нашу усадьбу. Они ждали, не пойдет ли Чехов гулять в город, не выйдет ли в сад... Все это очень стесняло Антона Павловича, он старался ходить на прогулку в город в обществе кого-либо из друзей или близких знакомых.

Однажды произошел такой случай. В те времена на львиной террасе Воронцовского дворца в Алупке иногда устраивались концерты. Как-то летом мы поехали туда втроем: Антон Павлович, Ольга Леонардовна и я. В ожидании начала мы сидели за столиком и пили чай. Народу было много. Вдруг из-за одного столика поднимается кто-то, неизвестный, и громко произносит высокопарное слово по поводу «присутствующего среди нас» писателя Чехова и т. п. Все повернулись в нашу сторону, Антон Павлович страшно покраснел, встал и вышел. Не дождавшись, мы пошли разыскивать его и нашли его в парке. Он был очень расстроен, отказался идти слушать концерт, и мы уехали домой, не послушав концерта.

Попутно расскажу еще о таком эпизоде. Едем мы как-то с Антоном Павловичем вместе в поезде, не помню уж куда. С нами в купе едут двое мужчин. Сначала шел общий разговор о том и о сем. Коснулись литературной темы, и вдруг наши попутчики заговорили о писателе Чехове. Как раз перед этим на какой-то станции один из них купил журнал, в котором был опубликован рассказ Антона Павловича (теперь не помню какой).

— Читали ли вы что-нибудь из произведений Чехова? Вот хороший писатель, рекомендую почитать! — обратился один из них к Антону Павловичу.

Второй пассажир поддержал его. Я была не в состоянии сдержать улыбки и исподтишка взглянула на брата. Он был невозмутим, и только прищуренные уголки его глаз говорили о том, что он сдерживает смех.

— Гм... да? Когда-то...— неопределенно отвечал Антон Павлович.

— Ну, и как находите? Это один из лучших современных писателей!

— Гм... Не знаю... Не разбираюсь...— опять отвечал Антон Павлович.

Те продолжали убеждать и рассказывать брату о достоинствах литературных произведений Чехова. Антон Павлович сидел, слушал и, покашливая, невнятно мычал: «Гм... гм...».

Меня страшно подмывало открыть им правду.

— Антоша,— шепчу я ему тихо,— ну, скажи им, кто ты...

— Гм...— ответил он и покачал головой.

— Ну, Антоша!..— приставала я к брату.

Но он как будто не слышал меня. Я замолчала, но время от времени, слушая рассуждения попутчиков о творчестве Чехова, я легонько толкала брата в бок.

— Ну-у...

Скоро уже должно было кончиться наше совместное путешествие. Я сказала брату:

— Ну, позволь мне сказать им, что ты Чехов!

Он опять посмотрел на меня смеющимися глазами и отрицательно покачал головой. Я не посмела ослушаться. Мы расстались с нашими попутчиками. Они так и не узнали, что тогда в вагоне они пытались убедить самого Чехова в том, что в русской литературе есть хороший и интересный писатель А. П. Чехов, произведения которого им стоит почитать!

Этот эпизод, видимо, развеселил Антона Павловича и не был ему неприятен,— он понимал, что собеседники говорят о нем просто и искренно, без всяких пышных слов.

В общем, все как будто шло хорошо. Жили мы всей семьей дружно, спокойно. Антон Павлович в литературе и драматургии давно уже был признан выдающимся художником. Каждое новое произведение, выходившее из-под его пера, воспринималось в литературном мире как событие. Так было с повестью «В овраге», рассказами «Дама с собачкой», «Невеста», пьесой «Вишневый сад».

Все было бы хорошо, если бы не здоровье Антона Павловича, которое становилось с каждым годом все хуже и хуже. Правда, нам, близким родным, это не так было заметно, как людям со стороны — нашим друзьям и знакомым, встречавшим Антона Павловича время от времени. Мы как-то даже несколько свыклись с тем, что Антон Павлович частенько прихварывал, потом снова поправлялся и чувствовал себя хорошо. Но все же, конечно, постоянной заботой у нас в семье всегда оставалось здоровье Антона Павловича. В последние годы болезнь стала распространяться и задела кишечник, брату не все можно было есть, и я по совету врачей составляла ему специальное меню, расписанное по дням. Я варила, например, ему особый бульон в бутылке, погруженной в кастрюлю с кипящей водой, и брату он нравился. Каждый из нас, и я, и наша мать, и Ольга Леонардовна, старались делать все, чтобы поддержать здоровье Антона Павловича.

И. П. ЧЕХОВ

<ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ>



Театром Антон Павлович увлекался с самого раннего детства.

Первое, что он видел, была оперетка «Прекрасная Елена».

Ходили мы в театр обыкновенно вдвоем. Билеты брали на галерку. Места в Таганрогском театре были не нумерованные, и мы с Антоном Павловичем приходили часа за два до начала представления, чтобы захватить первые места.

В коридорах и на лестнице в это время бывало еще темно. Мы пробирались потихоньку наверх. Как сейчас помню последнюю лестницу, узкую деревянную, какие бывают при входе на чердак, а в конце ее — двери на галерею, у которых мы, сидя на ступеньках, терпеливо ждали, когда нас наконец впустят. Понемногу набиралась публика.

Наконец гремел замок, дверь распахивалась, и мы с Антоном Павловичем неслись со всех ног, чтобы захватить места в первом ряду. За нами с криками гналась нетерпеливая толпа, и едва мы успевали занять места, как тотчас же остальная публика наваливалась на нас и самым жестоким образом прижимала к барьеру.

До начала все же еще было далеко. Весь театр был совершенно пуст и неосвещен. На всю громадную черную яму горел только один газовый рожок. И, помню, нестерпимо пахло газом.

Задним рядам было трудно стоять без опоры, и они обыкновенно устраивались локтями на наших спинах и плечах. Кроме того, все зрители грызли подсолнухи. Бывало так тесно, что весь вечер так и не удавалось снять шуб.

Но, несмотря на все эти неудобства, в антрактах мы не покидали своих мест, зная, что их тотчас же займут другие.

Когда мы шли в театр, мы не знали, что там будут играть,— мы не имели понятия о том, что такое драма, опера или оперетка,— нам все было одинаково интересно.

Часто к нам присоединялся еще один страстный театрал, наш дядя Митрофан Георгиевич Чехов. В Таганроге его прозвали Богомоловым за его религиозность. В Великом посту он всегда говел по два раза и в день исповеди ничего не ел, так что, когда он шел к причастию, мы его поддерживали под руки, боясь, чтобы он не упал от слабости. А в день Св. Пасхи он объезжал все тюрьмы, сумасшедшие дома, развозил арестантам куличи, яйца, пасхи и христосовался со всеми арестантами и сумасшедшими.

Но вместе с тем он был таким же отчаянным любителем театра, как и мы с братом. Он был беден, и мы ходили в театр только на галерею.

И вот, когда нам удавалось скопить необходимое количество денег, мы все втроем, не справляясь с афишей, тотчас же отправлялись в театр, чтобы насладиться представлением.

Идя из театра, мы всю дорогу, не замечая ни погоды, ни неудобной мостовой, шли по улице и оживленно вспоминали, что делалось в театре.

А на следующий день Антон Павлович все это разыгрывал в лицах.

Если мы видели оперетку, то брат Николай, обладавший редким слухом, играл всю музыку на память, а Антон Павлович изображал действующих лиц, и все мы хохотали до упаду.

Помню, смотрели мы «Прекрасную Елену», потом была такая пьеса — «Петербургские когти», потом «Убийство Коверлей»[1] и многое в таком роде. Видели и «Ревизора». На следующий день мы его, конечно, разыгрывали дома, и Антон Павлович играл городничего.

Потом, когда Антон Павлович был постарше, он страшно любил Московский Малый театр. Как-то проездом мы были в Москве и узнали, что в этот день Ленский играл Ричарда III. Мы побежали в кассу, но там остались билеты только в первом ряду. Антон Павлович недолго колебался: мы сложили все, что у нас было, долго шарили по всем карманам и вечером важно сидели в первом ряду; зато денег ни у меня, ни у Антона Павловича не осталось ни копейки, что отразилось на нас жестоко на следующий день.

* * *

Когда шел в первый раз в Москве у Корша «Медведь», Антон Павлович никому из нас об этом не сказал. Он боялся, что это будет ужасно. Но отец совершенно случайно увидел на афише, что идет водевиль «Медведь» А. П. Чехова, и пошел на галерею смотреть.

Играли Соловцов и Рыбчинская. Успех был громадный, аплодисментам не было конца. Сам Антон Павлович был в восторге. Когда вернулись домой отец и Антон Павлович,— отец с восхищением сказал ему:

— Какую чудесную вещь ты написал, Антон, как хорошо играли!..

После «Медведь» был напечатан фельетоном в «Новом времени».

Другой его водевиль «Предложение» шел в Александринском театре, где уже был поставлен «Иванов». Иногда обе эти пьесы, «Иванов» и «Предложение», шли в один вечер, тогда Антон Павлович хвастал:

— Вот теперь получу гонорар за пять актов.

Антон Павлович находил, что «Предложение» играли великолепно на Александринском театре. Жениха там играл Свободин, отца — Варламов, а невесту — Савина. В особенный восторг приводил Антона Павловича Свободин.

Этот водевиль очень любил Александр III и часто смотрел его. Иногда он приходил после этого на сцену и разговаривал с актерами.

Со Свободиным обыкновенно происходил такой разговор:

— Я очень много смеялся сегодня,— говорил Александр III.

— Рад, ваше величество,— отвечал Свободин.

— Чья это пьеса?

— Это автора «Иванова», ваше величество.

— А! Иванов! — говорил Александр III, уходя,— очень хорошо.

И так каждый раз.

«Предложение» так нравилось при дворе, что часто Савину, Варламова и Свободина приглашали в Царское Село, и они там играли.— «Как посмотришь в зал,— говорит Свободин,— так и видишь только звезды и ордена, и ленты, сплошь весь партер».

О. Л. КНИППЕР-ЧЕХОВА

О А. П. ЧЕХОВЕ



Бывают в жизни большие, светлые праздники. Таким светлым праздником был в моей жизни 1898 год — год моего окончания драматической школы Филармонического училища в Москве, год открытия Московского Художественного театра, год моей встречи с А. П. Чеховым. И ряд последующих лет был продолжением этого праздника. То были годы радостного созидания, работы, полной любви и самоотвержения, годы больших волнений и крепкой веры.

Мой путь к сцене был не без препятствий. Я росла в семье, не терпевшей нужды. Отец мой, инженер-технолог, был некоторое время управляющим завода в бывшей Вятской губернии, где я и родилась. Родители переехали в Москву, когда мне было два года, и здесь провела я всю свою жизнь. Моя мать была в высшей степени одаренной музыкальной натурой, она обладала прекрасным голосом и была хорошей пианисткой, но, по настоянию отца, ради семьи, не пошла ни на сцену, ни даже в консерваторию. После смерти отца и потери сравнительно обеспеченного существования она стала педагогом и профессором пения при школе Филармонического училища, иногда выступала в концертах и трудно мирилась со своей неудачно сложившейся артистической карьерой.

Я после окончания частной женской гимназии жила, по тогдашним понятиям, «барышней»: занималась языками, музыкой, рисованием. Отец мечтал, чтобы я стала художницей, — он даже показывал мои рисунки Вл. Маковскому, с семьей которого мы были знакомы, — или переводчицей; я в ранней юности переводила сказки, повести и увлекалась переводами. В семье меня, единственную дочь, баловали, но держали далеко от жизни... Товарищ старшего брата, студент-медик, говорил мне о выс-

ших женских курсах, о свободной жизни (видя иногда мое подавленное состояние), и когда заметили, как я жадно слушала эти рассказы, как горели у меня глаза, милого студента тихо удалили на время из нашего дома. А я осталась со своей мечтой о свободной жизни.

Детьми и в ранней юности мы ежегодно устраивали спектакли; смастерили сцену у нас в зале, играли и у нас, и у знакомых, участвовали и в благотворительных вечерах. Но когда мне было уже за двадцать лет и когда мы стали серьезно поговаривать о создании драматического кружка, отец, видя мое увлечение, мягко, но внушительно и категорически прекратил эти мечтания, и я продолжала жить как в тумане, занимаясь то тем, то другим, но не видя цели. Сцена меня манила, но по тогдашним понятиям казалось какой-то дикостью сломать семью, которая окружала меня заботами и любовью, уйти, и куда уйти? Очевидно, и своей решимости и веры в себя было мало.

Резко изменившиеся после внезапной смерти отца материальные условия поставили все на свое место. Надо было думать о куске хлеба, надо было зарабатывать его, так как у нас ничего не осталось, кроме нанятой в большом особняке квартиры, пяти человек прислуги и долгов. Переменили квартиру, отпустили прислугу и начали работать с невероятной энергией, как окрыленные. Мы поселились «коммуной» с братьями матери (один был врач, другой — военный) и работали дружно и энергично. Мать давала уроки пения, я — уроки музыки, младший брат, студент, был репетитором, старший уже служил инженером на Кавказе.

Это было время большой внутренней переработки, из «барышни» я превращалась в свободного, зарабатывающего на свою жизнь человека, впервые увидавшего эту жизнь во всей ее пестроте.

Но во мне вырастала и крепла прежняя, давнишняя мечта — о сцене. Ее поддержало пребывание в течение двух летних сезонов после смерти отца в Полотняном заводе, майоратном имении Гончаровых, с которыми дружили и родители, и мы, молодежь. Разыскав по архивным документам, что небольшой дом, в котором тогда помещался трактир, имел в прошлом отношение, хотя и весьма смутное, к Пушкину (его жена происходила из того же рода), мы упросили отдать этот дом в наше распоряжение, и вся наша жизнь сосредоточилась в этом доме. Мы устроили сцену и начали дружно составлять программу народного театра. Мы играли Островского, воде-

вили с пением, пели, читали в концертах. Наша маленькая труппа пополнялась рабочими и служащими писчебумажной фабрики Гончаровых. Когда в 1898 году мы открывали Художественный театр «Царем Федором», я получила трогательный адрес с массой подписей от рабочих Полотняного завода,— это была большая радость, так как Полотняный завод оставил в моей памяти незабываемое впечатление на всю мою жизнь.

Мало-помалу сцена делалась для меня осознанной и желанной целью. Никакой другой жизни, кроме артистической, я уже себе не представляла. Потихоньку от матери подготовила я с трудом свое поступление в драматическую школу при Малом театре, была принята очень милостиво, прозанималась там месяц, как вдруг неожиданно был назначен «проверочный» экзамен, после которого мне было предложено оставить школу, но сказано, что я не лишена права поступления на следующий год. Это было похоже на издевательство. Как впоследствии выяснилось, я из числа четырех учениц была единственной, принятой без протекции, а теперь нужно было устроить еще одну, поступавшую с сильной протекцией, отказать нельзя было. И вот я была устранена.

Это был для меня страшный удар, так как вопрос о театре стоял для меня тогда уже очень остро — быть или не быть, вот — солнце, вот — тьма. Мать, видя мое подавленное состояние и несмотря на то, что до этого времени была очень против моего решения идти на сцену, устроила через своих знакомых директоров Филармонии мое поступление в драматическую школу, хотя прием туда уже целый месяц как был прекращен.

Три года я пробыла в школе по классу Вл. И. Немировича-Данченко и А. А. Федотова, одновременно бегая по урокам, чтоб иметь возможность платить за учение и зарабатывать на жизнь.

Зимой 1897/98 года я кончала курс драматической школы. Уже ходили неясные, волновавшие нас слухи о создании в Москве какого-то нового, «особенного» театра; уже появлялась в стенах школы живописная фигура Станиславского с седыми волосами и черными бровями, и рядом с ним характерный силуэт Санина; уже смотрели они репетицию «Трактирщицы» [1], во время которой сладко замирало сердце от волнения; уже среди зимы учитель наш, Вл. И. Немирович-Данченко, говорил М. Г. Савицкой, мне и некоторым другим моим товарищам, что мы будем оставлены в этом театре, и мы бережно хранили

эту тайну... И вот тянулась зима, надежда то крепла, то, казалось, совсем пропадала, пока шли переговоры... И уже наш третий курс волновался пьесой Чехова «Чайка», уже заразил нас Владимир Иванович своей трепетной любовью к ней, и мы ходили неразлучно с желтым томиком Чехова, и читали, и перечитывали, и не понимали, как можно играть эту пьесу, но все сильнее и глубже охватывала она наши души тонкой влюбленностью, словно это было предчувствие того, что в скором времени должно было так слиться с нашей жизнью и стать чем-то неотъемлемым, своим, родным.

Все мы любили Чехова-писателя, он нас волновал, но, читая «Чайку», мы, повторяю, недоумевали: возможно ли ее играть? Так она была непохожа на пьесы, шедшие в других театрах.

Владимир Иванович Немирович-Данченко говорил о «Чайке» с взволнованной влюбленностью и хотел ее ставить на выпускном спектакле. И когда обсуждали репертуар нашего начинающегося молодого дела, он опять убежденно и проникновенно говорил, что непременно пойдет «Чайка». И «Чайкой» все мы волновались, и все, увлекаемые Владимиром Ивановичем, были тревожно влюблены в «Чайку». Но, казалось, пьеса была так хрупка, нежна и благоуханна, что страшно было подойти к ней и воплотить все эти образы на сцене...

Прошли наши выпускные экзамены, происходившие на сцене Малого театра. И вот наконец я у цели, я достигла того, о чем мечтала, я актриса, да еще в каком-то новом, необычном театре.

14/26 июня 1898 года в Пушкине произошло слияние труппы нового театра: члены Общества искусства и литературы, возглавляемого К. С. Станиславским, и мы, кончившие школу Филармонии, с Вл. И. Немировичем-Данченко, нашим руководителем, во главе. Началось незабываемое лето в Пушкине, где мы готовили пьесы к открытию. Для репетиций нам было предоставлено выстроенное в парке знакомых К. С. летнее здание со сценой и одним рядом стульев. Началась работа над «Царем Федором Иоанновичем», «Шейлоком», «Ганнеле»[2], а затем принялись за «Чайку», уже к осени.

Приступали мы к работе с благоговением, с трепетом и с большой любовью, но было страшно! Так недавно бедная «Чайка» обломала крылья в Петербурге в первоклассном театре, и вот мы, никакие актеры, в театре, никому не известном, смело и с верой беремся за пьесу лю-

бимого писателя. Приходит сестра Антона Павловича Мария Павловна и тревожно спрашивает, что это за отважные люди, решающиеся играть «Чайку» после того, как она доставила столько страданий Чехову,— спрашивает, тревожась за брата.

А мы работаем, мучаемся, падаем духом, опять уповаем. Трудно было работать еще потому, что все мало знали друг друга, только приглядывались. Константин Сергеевич как-то не сразу почувствовал пьесу, и вот Владимир Иванович со свойственным ему одному умением «заражать» заражает Станиславского любовью к Чехову, к «Чайке».

Я вступала на сцену с твердой убежденностью, что ничто и никогда меня не оторвет от нее, тем более что в личной жизни моей прошла трагедия разочарования первого юного чувства. Театр, казалось мне, должен был заполнить один все стороны моей жизни.

Но на самом пороге этой жизни, как только я приступила к давно грезившейся мне деятельности, как только началась моя артистическая жизнь, органически слитая с жизнью нарождавшегося нашего театра, этот самый театр и эта самая жизнь столкнули меня с тем, что я восприняла как «явление» на своем горизонте, что заставило меня глубоко задуматься и сильно пережить,— я встретилась с Антоном Павловичем Чеховым.

А. П. Чехов последних шести лет — таким я знала его: Чехов, слабеющий физически и крепнущий духовно...

Впечатление этих шести лет — какого-то беспокойства, метания,— точно чайка над океаном, не знающая, куда присесть: смерть его отца, продажа Мелихова, продажа своих произведений А. Ф. Марксу, покупка земли под Ялтой, устройство дома и сада и в то же время сильное тяготение к Москве, к новому своему, театральному делу; метание между Москвой и Ялтой, которая казалась уже тюрьмой; женитьба, поиски клочка земли недалеко от трогательно любимой Москвы и уже почти осуществление мечты — ему разрешено было врачами провести зиму в Средней России; мечты о поездке по северным рекам, в Соловки, в Швецию, в Норвегию, в Швейцарию, и мечта последняя и самая сильная, уже в Шварцвальде, в Баденвейлере, перед смертью,— ехать в Россию через Италию, манившую его своими красками, соком жизни, главное — музыкой и цветами,— все эти метания, все мечты были кончены 2/15 июля 1904 года его собственными словами: «Ich sterbe» (Я умираю).

Жизнь внутренняя за эти шесть лет прошла до чрезвычайности полно, насыщенно, интересно и сложно, так что внешняя неустроенность и неудобства теряли свою остроту, но все же, когда оглядываешься назад, то кажется, что жизнь этих шести лет сложилась из цепи мучительных разлук и радостных свиданий.

«Если мы теперь не вместе, то виноваты в этом не я и не ты, а бес, вложивший в меня бацилл, а в тебя любовь к искусству»[3], — писал как-то Антон Павлович.

Казалось бы, очень просто разрешить эту задачу — бросить театр и быть при Антоне Павловиче. Я жила этой мыслью и боролась с ней, потому что знала и чувствовала, как ломка моей жизни отразилась бы на нем и тяготила бы его. Он никогда бы не согласился на мой добровольный уход из театра, который и его живо интересовал и как бы связывал его с жизнью, которую он так любил. Человек с такой тонкой духовной организацией, он отлично понимал, что́ значил бы для него и для меня мой уход со сцены, он ведь знал, как нелегко досталось мне это жизненное самоопределение.

Мы встретились впервые 9/21 сентября 1898 года — знаменательный и на всю жизнь не забытый день.

До сих пор помню все до мелочей, и трудно говорить словами о том большом волнении, которое охватило меня и всех нас, актеров нового театра, при первой встрече с любимым писателем, имя которого мы, воспитанные Вл. И. Немировичем-Данченко, привыкли произносить с благоговением.

Никогда не забуду ни той трепетной взволнованности, которая овладела мною еще накануне, когда я прочла записку Владимира Ивановича о том, что завтра, 9 сентября, А. П. Чехов будет у нас на репетиции «Чайки», ни того необычайного состояния, в котором шла я в тот день в Охотничий клуб на Воздвиженке, где мы репетировали, пока не было готово здание нашего театра в Каретном ряду, ни того мгновения, когда я в первый раз стояла лицом к лицу с А. П. Чеховым.

Все мы были захвачены необыкновенно тонким обаянием его личности, его простоты, его неумения «учить», «показывать». Не знали, как и о чем говорить... И он смотрел на нас, то улыбаясь, то вдруг необычайно серьезно, с каким-то смущением, пощипывая бородку и вскидывая пенсне и тут же внимательно разглядывая «античные» урны, которые изготовлялись для спектакля «Антигоны»[4].

Антон Павлович, когда его спрашивали, отвечал как-то неожиданно, как будто и не по существу, как будто и общо, и не знали мы, как принять его замечания — серьезно или в шутку. Но так казалось только в первую минуту, и сейчас же чувствовалось, что это брошенное как бы вскользь замечание начинает проникать в мозг и душу и от едва уловимой характерной черточки начинает проясняться вся суть человека.

Один из актеров[5], например, просил Антона Павловича охарактеризовать тип писателя в «Чайке», на что последовал ответ: «Да он же носит клетчатые брюки». Мы не скоро привыкли к этой манере общения с нами автора, и много было впоследствии невыясненного, непонятого, в особенности когда мы начинали горячиться; но потом, успокоившись, доходили до корня сделанного замечания.

И с этой встречи начал медленно затягиваться тонкий и сложный узел моей жизни.

Второй раз Чехов появился на репетиции «Царя Федора» уже в «Эрмитаже», в нашем новом театре, где мы предполагали играть сезон. Репетировали мы вечером в сыром, холодном, далеко еще не готовом помещении, без пола, с огарками в бутылках вместо освещения, сами закутанные в пальто. Репетировали сцену примирения Шуйского с Годуновым, и такими необычными казались звуки наших собственных голосов в этом темном, сыром, холодном пространстве, где не видно было ни потолка, ни стен, с какими-то грустными громадными, ползающими тенями... и радостно было чувствовать, что там, в пустом темном партере, сидит любимая нами всеми «душа» и слушает нас.

На другой день, в дождливую, сырую погоду, Чехов уезжал на юг, в тепло, в нелюбимую им тогда Ялту.

17 декабря 1898 года мы играли «Чайку» в первый раз. Наш маленький театр был не совсем полон. Мы уже сыграли и «Федора», и «Шейлока»; хоть и хвалили нас, однако составилось мнение, что обстановка, костюмы необыкновенно жизненны, толпа играет исключительно, но... «актеров пока не видно», хотя Москвин прекрасно и с большим успехом сыграл Федора. И вот идет «Чайка», в которой нет ни обстановки, ни костюмов — один актер. Мы все точно готовились к атаке. Настроение было серьезное, избегали говорить друг с другом, избегали смотреть в глаза, молчали, все насыщенные любовью к Чехову и к новому нашему молодому театру, точно боялись расплескать эти две любви, и несли мы их с каким-то сча-

стьем, и страхом, и упованием. Владимир Иванович от волнения не входил даже в ложу весь первый акт, а бродил по коридору.

Первые два акта прошли... Мы ничего не понимали... Во время первого акта чувствовалось недоумение в зале, беспокойство, даже слышались протесты — все казалось новым, неприемлемым: и темнота на сцене, и то, что актеры сидели спиной к публике, и сама пьеса. Ждали третьего акта... И вот по окончании его — тишина какие-то несколько секунд, и затем что-то случилось, точно плотину прорвало, мы сразу не поняли даже, что это было; и тут-то началось какое-то безумие, когда перестаешь чувствовать, что есть у тебя ноги, голова, тело... Все слилось в одно сумасшедшее ликование, зрительный зал и сцена были как бы одно, занавес не опускался, мы все стояли, как пьяные, слезы текли у всех, мы обнимались, целовались, в публике звенели взволнованные голоса, говорившие что-то, требовавшие послать телеграмму в Ялту... И «Чайка», и Чехов-драматург были реабилитированы.

Чем же мы взяли? Актеры мы все, за исключением Станиславского и Вишневского, были неопытные и не так уж прекрасно играли «Чайку», но думается, что вот эти две любви — к Чехову и к нашему театру, которыми мы были полны до краев и которые мы несли с таким счастьем и страхом на сцену, — не могли не перелиться в души зрителей. Они-то и дали нам эту радость победы...

Следующие спектакли «Чайки» пришлось отменить из-за моей болезни — я первое представление играла с температурой 39° и сильнейшим бронхитом, а на другой день слегла совсем. И нервы не выдержали; первые дни болезни никого не пускали ко мне; я лежала в слезах, негодуя на свою болезнь. Первый большой успех — и нельзя играть!

А бедный Чехов в Ялте, получив поздравительные телеграммы и затем известие об отмене «Чайки», решил, что опять полный неуспех, что болезнь Книппер — только предлог, чтобы не волновать его, не вполне здорового человека, известием о новой неудачной постановке «Чайки».

К Новому году я поправилась, и мы с непрерывающимся успехом играли весь сезон нашу «Чайку».

Весной приезжает Чехов в Москву. Конечно, мы хотели непременно показать «Чайку» автору, но... у нас не было своего театра. Сезон кончался, с началом великого поста кончалась и аренда нашего театра. Мы репетировали где попало, снимая на Бронной какой-то частный театр.

Решили на один вечер снять театр «Парадиз» на Большой Никитской, где всегда играли в Москве приезжие иностранные гастролеры. Театр нетопленый, декорации не наши, обстановка угнетающая после всего «нашего», нового, связанного с нами.

По окончании четвертого акта, ожидая, после зимнего успеха, похвал автора, мы вдруг видим: Чехов, мягкий, деликатный Чехов, идет на сцену с часами в руках, бледный, серьезный, и очень решительно говорит, что все очень хорошо, но «пьесу мою я прошу кончать третьим актом, четвертый акт не позволю играть...». Он был со многим не согласен, главное с темпом, очень волновался и уверял, что этот акт не из его пьесы. И правда, у нас что-то не ладилось в этот раз. Владимир Иванович и Константин Сергеевич долго успокаивали его, доказывая, что причина неудачной нашей игры в том, что мы давно не играли (весь пост), а все актеры настолько зеленые, что потерялись среди чужой, неуютной обстановки мрачного театра. Конечно, впоследствии забылось это впечатление, все поправилось, но всегда вспоминался этот случай, когда так решительно и необычно для него протестовал Чехов, когда ему было что-то действительно не по душе.

Была радостная, чудесная весна, полная волнующих переживаний: создание нового нашего театра, итоги первого сезона, успех и неуспех некоторых постановок, необычайная наша сплоченность и общее волнение и трепет за каждый спектакль; большой, исключительный успех «Чайки», знакомство с Чеховым, радостное сознание, что у нас есть «свой», близкий нам автор, которого мы нежно любили,— все это радостно волновало и наполняло наши души. Снимались с автором — группа участвующих в «Чайке» и в середине Чехов, якобы читающий пьесу. Уже говорили о постановке «Дяди Вани» в будущем сезоне.

Этой весной я ближе познакомилась с Чеховым и со всей его милой семьей. С сестрой его Марией Павловной мы познакомились еще зимой и как-то сразу улыбнулись друг другу. Помню, А. Л. Вишневский привел Марию Павловну ко мне в уборную в один из спектаклей «Чайки».

Помню солнечные весенние дни, первый день Пасхи, веселое смятение колоколов, наполнявших весенний воздух чем-то таким радостным, полным ожидания... И в первый день Пасхи пришел вдруг Чехов с визитом, он, никуда и никогда не ходивший в гости...

В такой же солнечный весенний день мы пошли с ним на выставку картин, смотреть Левитана, его друга, и были свидетелями того, как публика не понимала и смеялась над его чудесной картиной «Стога сена при лунном свете»[6], — так это казалось ново и непонятно.

Чехов, Левитан и Чайковский — эти три имени связаны одной нитью, и, правда, они были певцами прекрасной русской лирики, они были выразителями целой полосы русской жизни.

Именно Чехов в своих произведениях дал право на жизнь простому, внешне незаметному человеку с его страданиями и радостями, с его неудовлетворенностью и мечтой о будущем, об иной, «невообразимо прекрасной» жизни.

И в жизни Чехов относился с необыкновенной любовью и вниманием к каждому так называемому незаметному человеку и находил в нем душевную красоту. Люди любили его нежно и шли к нему, не зная его, чтобы повидать, послушать; а он утомлялся, иногда мучился этими посещениями и не знал, что сказать, когда ему задавали вопрос: как надо жить? Учить он не умел и не любил... Я спрашивала этих людей, почему они ходят к Антону Павловичу, ведь он не проповедник, говорить не умеет, а они отвечали с кроткой и нежной улыбкой, что когда посидишь только около Чехова, хоть молча, и то уйдешь обновленным человеком...

Помню, когда я везла тело Антона Павловича из Баденвейлера в Москву, на одной глухой, заброшенной, никому не известной станции, стоявшей одиноко среди необозримого пространства, подошли две робкие фигуры с полными слез глазами и робко и бережно прикрепили какие-то простые полевые цветы к грубым железным засовам запечатанного товарного вагона, в котором стоял гроб с телом Чехова. Это, конечно, были люди — не герои, из тех, которые приходили к нему «посидеть», чтобы после молчаливого визита уйти с новой верой в жизнь.

Не могу не пережить в памяти первого и последнего посещения студии Левитана (он вскоре скончался), не могу не вспомнить тишины и прелести тех нескольких часов, когда он показывал свои картины и этюды Марии Павловне и мне. Сильно волнуясь (у него была болезнь сердца), бледный, с горячими красивыми глазами, Левитан говорил о мучениях, которые он испытывал в продолжение шести лет, пока он не сумел передать на холсте лунную ночь средней полосы России, ее тишину, ее прозрач-

ность, легкость, даль, пригорок, две-три нежные березки... И действительно, это была одна из замечательнейших его картин.

Три чудесных весенних солнечных дня провела я в Мелихове, небольшом имении Чеховых под Серпуховом. Все там дышало уютом, простой здоровой жизнью, чувствовалась хорошая, любовная атмосфера семейной жизни. Очаровательная матушка Антона Павловича, тихая, русская женщина, с юмором, которую я нежно любила, Антон Павлович, такой радостный, веселый... Он показывал свои «владения»: пруд с карасями, которыми гордился, — он был страстный рыболов, — огород, цветник. Он очень любил садоводство, любил все, что дает земля. Вид срезанных или сорванных цветов наводил на него уныние, и когда, случалось, дамы приносили ему цветы, он через несколько минут после их ухода молча выносил их в другую комнату. Все решительно пленило меня там: и дом, и флигель, где написана была «Чайка», и сад, и пруд, и цветущие фруктовые деревья, и телята, и утки, и сельская учительница, гулявшая с учителем по дорожке, — казалось, что шла Маша с Медведенко, — пленяли радушие, ласковость, уют, беседы, полные шуток, остроумия...

Это были три дня, полные чудесного предчувствия, полные радости, солнца... «Какие чувства — чувства, похожие на нежные, изящные цветы...»[7].

Кончился сезон, и я уехала отдыхать на Кавказ, где жил мой брат с семьей на даче около Мцхета. К этому периоду относится начало нашей переписки. Еще в Москве я обещала приехать с Кавказа в Крым, где Антон Павлович купил участок земли и строил дом. Письмами мы сговорились встретиться на пароходе в Новороссийске около 20 июля и вместе приехали в Ялту, где я остановилась в семье доктора Л. В. Средина, с которой была дружна вся наша семья. А Антон Павлович жил на набережной в гостинице «Марино», откуда он ходил ежедневно на постройку своего дома в Аутку. Он плохо питался, так как никогда не думал о еде, уставал, и как мы с Срединым ни старались зазывать его под разными предлогами, чтобы устроить ему нормальное питание, это удавалось очень редко: Антон Павлович не любил ходить «в гости» и избегал обедов не у себя дома, хотя к Срединым он относился с симпатией. У них было всегда так просто и радушно, и все, что бывало в Ялте из мира артистического, литера-

турного и музыкального, все это посещало всегда Срединых (Горький, Аренский, Васнецов, Ермолова).

Место, которое Антон Павлович приобрел для постройки дома, было далеко от моря, от набережной, от города и представляло собой в полном смысле слова пустырь с несколькими грушевыми деревьями.

Но вот стараниями Антона Павловича, его большой любовью ко всему, что родит земля, этот пустырь понемногу превращается в чудесный, пышный, разнообразный сад.

За постройкой дома Антон Павлович следил сам, ездил на работы и наблюдал. В городе его часто можно было видеть на набережной, в книжном магазине И. А. Синани, к которому Антон Павлович относился с большой симпатией, к нему и его семье. Исаак Абрамович был очень предан Антону Павловичу, с каким-то благоговением помогал ему хлопотать о приобретении Кучук-Коя и участка под Ялтой, наблюдал, помогал советами, исполнял трогательно все поручения.

Около магазина была скамейка, знаменитая скамейка, где сходились, встречались, сидели и болтали все приезжавшие в Ялту «знаменитости»: и литераторы, и певцы, и художники, и музыканты... У Исаака Абрамовича была в магазине книга, в которой расписывались все эти «знаменитости» (и он гордился тем, что все это общество сходилось у него); у него же в магазине и на скамейке узнавались все новости, все, что случалось и в небольшой Ялте, и в большом мире. И всегда тянуло пойти на ослепительно белую, залитую солнцем набережную, вдыхать там теплый, волнующий аромат моря, щуриться и улыбаться, глядя на лазурный огонь морской поверхности, тянуло поздороваться и перекинуться несколькими фразами с ласковым хозяином, посмотреть полки с книгами, нет ли чего новенького, узнать, нет ли новых приехавших, послушать невинные сплетни...

В августе мы с Антоном Павловичем вместе уехали в Москву, ехали на лошадях до Бахчисарая, через Ай-Петри... Хорошо было покачиваться на мягких рессорах, дышать напоенным запахом сосны воздухом, и болтать в милом, шутливом, чеховском тоне, и подремывать, когда сильно припекало южное солнце и морило душу зноем. Хорошо было ехать через живописную долину Коккоза, полную какого-то особенного очарования и прелести...

Дорога шла мимо земской больницы, расположенной в некотором отдалении от шоссе. На террасе стояла груп-

па людей, отчаянно махавших руками в нашем направлении и как будто что-то кричавших... Мы ехали, углубившись в какой-то разговор, и хотя видели суетившихся людей, но все же не подумали, что это могло относиться к нам, и решили, что это сумасшедшие... Впоследствии оказалось, что это были не сумасшедшие, а группа ялтинских знакомых нам докторов, бывших в больнице на какой-то консультации и усиленно старавшихся остановить нас... Этот эпизод потом был источником смеха и всевозможных анекдотов.

В Москве Антон Павлович пробыл недолго и в конце августа уехал обратно в Ялту, а уже с 3 сентября возобновилась наша переписка.

В сезон 1899/900 года мы играли «Дядю Ваню».

С «Дядей Ваней» не так было благополучно. Первое представление похоже было почти на неуспех. В чем же причина? Думаю, что в нас. Играть пьесы Чехова очень трудно: мало быть хорошим актером и с мастерством играть свою роль. Надо любить, чувствовать Чехова, надо уметь проникнуться всей атмосферой данной полосы жизни, а главное — надо любить человека, как любил его Чехов, и жить жизнью его людей. А найдешь то живое, вечное, что есть у Чехова,— сколько ни играй потом образ, он никогда не потеряет аромата, всегда будешь находить что-то новое, неиспользованное в нем.

В «Дяде Ване» не все мы сразу овладели образами, но чем дальше, тем сильнее и глубже вживались в суть пьесы, и «Дядя Ваня» на многие-многие годы сделался любимой пьесой нашего репертуара. Вообще пьесы Чехова не вызывали сразу шумного восторга, но медленно, шаг за шагом, внедрялись глубоко и прочно в души актеров и зрителей и обволакивали сердца своим обаянием. Случалось не играть некоторые пьесы несколько лет, но при возобновлении никогда у нас, артистов и режиссеров, не было такого отношения: ах, опять старое возобновлять! К каждому возобновлению приступали мы с радостью, репетировали пьесу, как новую, и находили в ней все новое и новое...

В конце марта труппа Художественного театра решила приехать в Крым с пьесами «Чайка», «Дядя Ваня», «Одинокие» и «Гедда Габлер»[8].

Я приехала еще на страстной с Марией Павловной, и как казалось уютно и тепло в этом новом доме, который летом только еще строился и был нежилым... Все интересовало, каждый пустяк; Антон Павлович любил хо-

дить, и показывать, и рассказывать, чего еще нет и что должно быть со временем; и, главное, занимал его сад, фруктовые посадки...

С помощью сестры, Марии Павловны, Антон Павлович сам рисует план сада, намечает, где будет какое дерево, где скамеечка, выписывает со всех концов России деревья, кустарники, фруктовые деревья, устраивает груши и яблони шпалерами, и результатом были действительно великолепные персики, абрикосы, черешни, яблоки и груши. С большой любовью растил он березку, напоминавшую ему нашу северную природу, ухаживал за штамбовыми розами и гордился ими, за посаженным эвкалиптом около его любимой скамеечки, который, однако, недолго жил, так же как березка: налетела буря, ветер сломал хрупкое белое деревце, которое, конечно, не могло быть крепким и выносливым в чуждой ему почве. Аллея акаций выросла невероятно быстро, длинные и гибкие, они при малейшем ветре как-то задумчиво колебались, наклонялись, вытягивались, и было что-то фантастическое в этих движениях, беспокойное и тоскливое... На них-то всегда глядел Антон Павлович из большого итальянского окна своего кабинета... Были и японские деревца, развесистая слива с красными листьями, крупнейших размеров смородина, были и виноград, и миндаль, и пирамидальный тополь — все это принималось и росло с удивительной быстротой благодаря любовному глазу Антона Павловича. Одна беда — был вечный недостаток в воде, пока наконец Аутку не присоединили к Ялте и не явилась возможность устроить водопровод.

По утрам Антон Павлович обыкновенно сиживал в саду, и при нем всегдашние адъютанты — две собаки-дворняжки, которые откуда-то появились и прижились очень быстро благодаря симпатии, с которой Антон Павлович относился к ним, и два журавля с подрезанными крыльями, которые всегда были около людей, но в руки не давались. Журавли эти были очень привязаны к Арсению (дворнику и садовнику вместе), очень тосковали, когда он отлучался. О возвращении Арсения из города весь дом знал по крику этих серых птиц и странным движениям, которыми они выражали свою радость, — что-то вроде вальса.

В это же время был в Ялте и А. М. Горький, входивший в славу тогда быстро и сильно, как ракета. Он бывал у Антона Павловича и как чудесно, увлекательно, красочно рассказывал о своих скитаниях. И он сам, и то, что он

рассказывал,— все казалось таким новым, свежим, и долго молча сидели мы в кабинете Антона Павловича и слушали...

Тихо, уютно и быстро прошла страстная неделя, неделя отдыха, и надо было ехать в Севастополь, куда прибыла труппа Художественного театра. Помню, какое чувство одиночества охватило меня, когда я в первый раз в жизни осталась в номере гостиницы, да еще в пасхальную ночь, да еще после ласковости и уюта чеховской семьи... Но уже начались приготовления к спектаклям, приехал Антон Павлович, и жизнь завертелась... Начался какой-то весенний праздник... Переехали в Ялту — и праздник стал еще ярче, нас буквально засыпали цветами... Закончился этот праздник феерией на крыше дачи гостеприимной Ф. К. Татариновой, которая с такой любовью относилась к нашему молодому театру и не знала, как и чем выразить свое поклонение Станиславскому и Немировичу-Данченко, создавшим этот театр. Артисты приезжали часто к Антону Павловичу, обедали, бродили по саду, сидели в уютном кабинете, и как нравилось все это Антону Павловичу,— он так любил жизнь подвижную, кипучую, а тогда у нас все надеялось, кипело, радовалось...

Жаль было расставаться и с югом, и с солнцем, и с Чеховым, и с атмосферой праздника... Но надо было ехать в Москву репетировать. Вскоре приехал в Москву и Антон Павлович, ему казалось пусто в Ялте после жизни и смятения, которые внес приезд нашего театра, но в Москве он почувствовал себя нездоровым и быстро вернулся на юг.

Я в конце мая уехала с матерью на Кавказ, и каково было мое удивление и радость, когда в поезде Тифлис — Батум я встретила Антона Павловича, Горького, Васнецова, доктора Алексина, ехавших в Батум. Ехали мы вместе часов шесть, до станции Михайлово, где мы с матерью пересели на Боржомскую ветку.

В июле я снова гостила у Чеховых в Ялте.

Переписка возобновилась с моего отъезда в Москву в начале августа и прервалась приездом Антона Павловича в Москву с пьесой «Три сестры».

Когда Антон Павлович прочел нам, артистам и режиссерам, долго ждавшим новой пьесы от любимого автора, свою пьесу «Три сестры», воцарилось какое-то недоумение, молчание... Антон Павлович смущенно улыбался и, нервно покашливая, ходил среди нас... Начали одиноко брошенными фразами что-то высказывать, слышалось:

«Это же не пьеса, это только схема...», «Этого нельзя играть, нет ролей, какие-то намеки только...» Работа была трудная, много надо было распахивать в душах...

Но вот прошло несколько лет, и мы уже с удивлением думали: неужели эта наша любимая пьеса, такая насыщенная переживаниями, такая глубокая, такая значительная, способная затрагивать самые скрытые прекрасные уголки души человеческой, неужели эта пьеса могла казаться не пьесой, а схемой и мы могли говорить, что нет ролей?

В 1917 году, после Октябрьской революции, одной из первых пьес, которые мы играли, была пьеса «Три сестры», и у всех было такое чувство, что мы раньше играли ее бессознательно, не придавая значения вложенным в нее мыслям и переживаниям, а главное — мечтам. И впрямь иначе зазвучала вся пьеса, почувствовалось, что это были не просто мечты, а какие-то предчувствия, и что действительно «надвинулась на нас всех громада», сильная буря сдула «с нашего общества лень, равнодушие, предубеждение к труду, гнилую скуку...»[9].

В середине декабря Антон Павлович отправился на юг Франции, в Ниццу, где он прожил около трех месяцев, сильно волнуясь ходом работ в театре над постановкой пьесы «Три сестры».

В Москве он смотрел «Когда мы, мертвые, пробуждаемся». К Ибсену Антон Павлович относился как-то недоверчиво и с улыбкой, он казался ему сложным, непростым и умствующим. Постановке «Снегурочки»[10] Антон Павлович тоже не очень сочувствовал; он говорил, что пока мы не должны ставить таких пьес, а придерживаться пьес типа «Одиноких».

Наша возобновившаяся переписка тянулась с 11 декабря по 18 марта 1901 года. В начале апреля я ненадолго приезжала в Ялту, а с половины апреля (до половины мая) шла опять переписка.

Таковы были внешние факты. А внутри росло и крепло чувство, которое требовало каких-то определенных решений, и я решила соединить мою жизнь с жизнью Антона Павловича, несмотря на его слабое здоровье и на мою любовь к сцене. Верилось, что жизнь может и должна быть прекрасной, и она стала такой, несмотря на наши горестные разлуки, — они ведь кончались радостными встречами. Жизнь с таким человеком мне казалась нестрашной и нетрудной: он так умел отбрасывать всю тину, все мелочи жизненные и все ненужное, что затемняет и засоряет самую сущность и прелесть жизни.

В половине мая 1901 года Антон Павлович приехал в Москву. 25 мая мы повенчались и уехали по Волге, Каме, Белой до Уфы, откуда часов шесть по железной дороге — в Андреевский санаторий около станции Аксеново. По дороге навестили в Нижнем Новгороде А. М. Горького, отбывавшего домашний арест.

У пристани Пьяный Бор (Кама) мы застряли на целые сутки и ночевали на полу в простой избе, в нескольких верстах от пристани, но спать нельзя было, так как неизвестно было время, когда мог прийти пароход на Уфу. И в продолжение ночи, и на рассвете пришлось несколько раз выходить и ждать, не появится ли какой пароход. На Антона Павловича эта ночь, полная отчужденности от всего культурного мира, ночь величавая, памятная какой-то покойной, серьезной содержательностью и жутковатой красотой и тихим рассветом, произвела сильное впечатление, и в его книжечке, куда он заносил все свои мысли и впечатления, отмечен Пьяный Бор.

В Аксенове Антону Павловичу нравилась природа, длинные тени по степи после шести часов, фырканье лошадей в табуне, нравилась флора, река Дема (Аксаковская), куда мы ездили однажды на рыбную ловлю. Санаторий стоял в прекрасном дубовом лесу, но устроен был примитивно, и жить было неудобно при минимальном комфорте. Даже за подушками пришлось мне ехать в Уфу. Кумыс сначала пришелся по вкусу Антону Павловичу, но вскоре надоел, и, не выдержав шести недель, мы отправились в Ялту через Самару, по Волге до Царицына и на Новороссийск. До 20 августа мы пробыли в Ялте. Затем мне надо было возвращаться в Москву: возобновлялась театральная работа.

И опять начинаются разлуки и встречи, только расставания становятся еще чувствительнее и мучительнее, и уже через несколько месяцев я стала сильно подумывать, не бросить ли сцену. Но рядом вставал вопрос: нужна ли Антону Павловичу просто жена, оторванная от живого дела? Я чуяла в нем человека-одиночку, который, может быть, тяготился бы ломкой жизни своей и чужой. И он так дорожил связью через меня с театром, возбудившим его живейший интерес.

Я невольно с необычайной остротой вспомнила все эти переживания, когда много лет спустя, при издании писем Антона Павловича, я прочла его слова, обращенные к А. С. Суворину еще в 1895 году: «Извольте, я женюсь, если Вы хотите этого. Но мои условия: все должно

быть, как было до этого, то есть она должна жить в Москве, а я в деревне (он жил тогда в Мелихове), и я буду к ней ездить. Счастья же, которое продолжается изо дня в день, от утра до утра, я не выдержу. Я обещаю быть великолепным мужем, но дайте мне такую жену, которая, как луна, являлась бы на моем небе не каждый день».

Я не знала тогда этих слов, но чувствовала, что я нужна ему такая, какая я есть, и все-таки после моей тяжелой болезни в 1902 году я опять серьезно говорила с нашими директорами о своем уходе из театра, но встретила сильный отпор. Антон Павлович тоже восставал, хотя и воздерживался от окончательного решения. Я понимала причину его сдержанности, но никогда мы не трогали ее словами и не говорили о том, что мешало нам до конца соединить жизнь, и только в письмах у меня появлялись недоговоренности, и подозрительность, и иногда раздражение.

Так и потекла жизнь — урывками, с учащенной перепиской в периоды разлуки.

С этой поры жизнь Антона Павловича больше, чем прежде, делится между Москвой и Ялтой. Начались частые встречи и проводы на Курском вокзале и на вокзале в Севастополе. В Ялте ему «надо» было жить, в Москву «тянуло» все время. Хотелось быть ближе к жизни, наблюдать ее, чувствовать, участвовать в ней, хотелось видеть людей, которые хотя иногда и утомляли его своими разговорами, но без которых он жить не мог: не в его силах было отказывать человеку, который пришел с тем, чтобы повидать его и побеседовать с ним.

В Ялте привлекали сначала только постройка дома, разбивка сада, устройство жизни, а впоследствии он свыкся с ней, хотя и называл ее своей «теплой Сибирью». В Москву все время стремился, стремился быть ближе к театру, быть среди актеров, ходить на репетиции, болтать, шутить, смотреть спектакли, любил пройтись по Петровке, по Кузнецкому, посмотреть на магазины, на толпу. Но в самый живой период московской жизни ему приходилось быть вдали от нее. Только зиму 1903—1904 года доктора разрешили ему провести в столице, и как он радовался и умилялся на настоящую московскую снежную зиму, радовался, что можно ходить на репетиции, радовался, как ребенок, своей новой шубе и бобровой шапке.

Мы эту зиму приискивали клочок земли с домом под Москвой, чтобы Антон Павлович мог и в дальнейшем зи-

мовать близко от нежно любимой Москвы (никто не думал, что развязка так недалека). И вот мы поехали в один солнечный февральский день в Царицыно, чтобы осмотреть маленькую усадьбу, которую нам предлагали купить. Обратно (не то мы опоздали на поезд, не то его не было) пришлось ехать на лошадях верст около тридцати. Несмотря на довольно сильный мороз, как наслаждался Антон Павлович видом белой, горевшей на солнце равнины и скрипом полозьев по крепкому, укатанному снегу! Точно судьба решила побаловать его и дала ему в последний год жизни все те радости, которыми он дорожил: и Москву, и зиму, и постановку «Вишневого сада», и людей, которых он так любил...

Работа над «Вишневым садом» была трудная, мучительная, я бы сказала. Никак не могли понять друг друга, сговориться режиссеры с автором.

Но все хорошо, что хорошо кончается, и после всех препятствий, трудностей и страданий, среди которых рождался «Вишневый сад», мы играли его с 1904 года до наших дней и ни разу не снимали его с репертуара, между тем как другие пьесы отдыхали по одному, по два, три года.

«Вишневый сад» мы впервые играли 17/30 января 1904 года, в день именин Антона Павловича.

Первое представление «Вишневого сада» было днем чествования Чехова литераторами и друзьями. Его это утомляло, он не любил показных торжеств и даже отказался приехать в театр. Он очень волновался постановкой «Вишневого сада» и приехал только тогда, когда за ним послали.

Первое представление «Чайки» было торжеством в театре, и первое представление последней его пьесы тоже было торжеством. Но как непохожи были эти два торжества! Было беспокойно, в воздухе висело что-то зловещее. Не знаю, может быть, теперь эти события окрасились так благодаря всем последующим, но что не было ноты чистой радости в этот вечер 17 января — это верно. Антон Павлович очень внимательно, очень серьезно слушал все приветствия, но временами он вскидывал голову своим характерным движением, и казалось, что на все происходящее он смотрит с высоты птичьего полета, что он здесь ни при чем, и лицо освещалось его мягкой, лучистой улыбкой, и появлялись характерные морщины около рта, — это он, вероятно, услышал что-нибудь смешное, что

он потом будет вспоминать и над чем неизменно будет смеяться своим детским смехом.

Вообще Антон Павлович необычайно любил все смешное, все, в чем чувствовался юмор, любил слушать рассказы смешные и, сидя в уголке, подперев рукой голову, пощипывая бородку, заливался таким заразительным смехом, что я часто, бывало, переставала слушать рассказчика, воспринимая рассказ через Антона Павловича. Он очень любил фокусников, клоунов. Помню, мы с ним как-то в Ялте долго стояли и не могли оторваться от всевозможных фокусов, которые проделывали дрессированные блохи. Любил Антон Павлович выдумывать — легко, изящно и очень смешно, это вообще характерная черта чеховской семьи. Так, в начале нашего знакомства большую роль у нас играла «Наденька», якобы жена или невеста Антона Павловича, и эта «Наденька» фигурировала везде и всюду, ничто в наших отношениях не обходилось без «Наденьки», — она нашла себе место и в письмах.

Даже за несколько часов до своей смерти он заставил меня смеяться, выдумывая один рассказ. Это было в Баденвейлере. После трех тревожных, тяжелых дней ему стало легче к вечеру. Он послал меня пробежаться по парку, так как я не отлучалась от него эти дни, и когда я пришла, он все беспокоился, почему я не иду ужинать, на что я ответила, что гонг еще не прозвонил. Гонг, как оказалось после, мы просто прослушали, а Антон Павлович начал придумывать рассказ, описывая необычайно модный курорт, где много сытых, жирных банкиров, здоровых, любящих хорошо поесть, краснощеких англичан и американцев, и вот все они, кто с экскурсии, кто с катанья, с пешеходной прогулки — одним словом, отовсюду собираются с мечтой хорошо и сытно поесть после физической усталости дня. И тут вдруг оказывается, что повар сбежал и ужина никакого нет, — и вот как этот удар по желудку отразился на всех этих избалованных людях. Я сидела, прикорнувши на диване после тревоги последних дней, и от души смеялась. И в голову не могло прийти, что через несколько часов я буду стоять перед телом Чехова!

В последний год жизни у Антона Павловича была мысль написать пьесу. Она была еще неясна, но он говорил мне, что герой пьесы — ученый, любит женщину, которая или не любит его, или изменяет ему, и вот этот ученый уезжает на Дальний Север. Третий акт ему представлялся именно так: стоит пароход, затертый льдами,

северное сияние, ученый одиноко стоит на палубе, тишина, покой и величие ночи, и вот на фоне северного сияния он видит: проносится тень любимой женщины.

Антон Павлович тихо, покойно отошел в другой мир. В начале ночи он проснулся и первый раз в жизни сам попросил послать за доктором. Ощущение чего-то огромного, надвигающегося придавало всему, что я делала, необычайный покой и точность, как будто кто-то уверенно вел меня. Помню только жуткую минуту потерянности: ощущение близости массы людей в большом спящем отеле и вместе с тем чувство полной моей одинокости и беспомощности. Я вспомнила, что в этом же отеле жили знакомые русские студенты — два брата, и вот одного я попросила сбегать за доктором, сама пошла колоть лед, чтобы положить на сердце умирающему. Я слышу, как сейчас, среди давящей тишины июльской мучительно душной ночи звук удаляющихся шагов по скрипучему песку...

Пришел доктор, велел дать шампанского. Антон Павлович сел и как-то значительно, громко сказал доктору по-немецки (он очень мало знал по-немецки): «Ich sterbe...»

Потом взял бокал, повернул ко мне лицо, улыбнулся своей удивительной улыбкой, сказал: «Давно я не пил шампанского...», покойно выпил все до дна, тихо лег на левый бок и вскоре умолкнул навсегда... И страшную тишину ночи нарушала только как вихрь ворвавшаяся огромных размеров черная ночная бабочка, которая мучительно билась о горящие электрические лампочки и металась по комнате.

Ушел доктор, среди тишины и духоты ночи со страшным шумом выскочила пробка из недопитой бутылки шампанского... Начало светать, и вместе с пробуждающейся природой раздалось, как первая панихида, нежное, прекрасное пение птиц, и донеслись звуки органа из ближней церкви. Не было звука людского голоса, не было суеты обыденной жизни, были красота, покой и величие смерти...

И у меня сознание горя, потери такого человека, как Антон Павлович, пришло только с первыми звуками пробуждающейся жизни, с приходом людей, а то, что я испытывала и переживала, стоя одна на балконе и глядя то на восходящее солнце и на звенящее пробуждение природы, то на прекрасное, успокоившееся, как бы улыбающееся лицо Антона Павловича, словно понявшего

что-то,— это для меня, повторяю, пока остается тайной неразгаданности... Таких минут у меня в жизни не было и не будет...

1921—1933 гг.

ДНЕВНИК О. Л. КНИППЕР В ФОРМЕ ПИСЕМ К А. П. ЧЕХОВУ

19-ое августа 1904 г.

Наконец-то я могу писать — тебе, дорогой мой, милый, и далекий, и такой близкий, Антон мой! Где ты теперь — я не знаю. Давно ждала я того дня, что мне можно будет писать тебе. Сегодня я приехала в Москву, побывала на твоей могилке... Как там хорошо, если бы ты знал! После засохшего юга все здесь кажется таким сочным, ароматным, пахнет землей, зеленью, деревья так мягко шумят. Как непонятно, что тебя нет среди живых людей! Мне тебе надо так много, много написать, рассказать тебе все, что я пережила за последнее время твоей болезни и после той минуты, когда перестало биться твое сердце, твое наболевшее, исстрадавшееся сердце.

Мне сейчас странно, что я пишу тебе, но мне этого хочется, безумно хочется. И когда я пишу тебе, мне кажется, что ты жив и где-то ждешь моего письма. Дусик мой, милый мой, нежный мой, дай мне сказать тебе ласковые нежные слова, дай мне погладить твои мягкие шелковистые волосы, дай взглянуть в твои добрые, лучистые, ласковые глаза.

Если бы я знала, чувствовал ли ты, что уходишь из этой жизни! Мне кажется, что все-таки чувствовал, может быть, неясно, но все-таки чувствовал. 29-го июня, когда тебе сделалось нехорошо, ты велел выписать деньги, последние наши, из Берлина через Иоллоса и велел мне писать Иоллосу, чтобы он выслал на мое имя. Мне это было неприятно, и я не хотела делать этого, но ты настоял. Потом ты сказал, чтоб я написала Маше, и я тут же написала ей. Мы с ней нехорошо расстались в мае, когда она уезжала; но я дала ей слово писать каждый день и писала, а потом перестала. Ты ведь ей часто писал из Баденвейлера. Чувствовал ли ты, что происходило между нами? Ведь все это была ревность, и больше ничего. Ведь любили мы друг друга очень. А ей все казалось, что я от-

няла у нее все, и дом, и тебя, и держала себя какой-то жертвой. Сначала я все объяснялась с ней, говорила много, горячо убеждала, умоляла; сколько мы слез пролили, если бы ты знал! Но все не ладилось, и в конце концов я махнула рукой. Если бы она только знала, сколько мы с тобой говорили, помнишь в Аксенове, о том, чтобы она не чувствовала себя обездоленной. Ведь я же не выказывала никаких хозяйских прав или наклонностей, всегда считала Ялту *ее* домом, и мне так больно было слышать, когда она говорила, что у нее теперь нет ни дома, ни угла, ни сада. Боже мой, зачем это все так сложилось! Если бы она знала, с какими радужными надеждами я ехала с тобой из Уфы в Ялту! Не вышло с первого же дня... А если бы все так было, как я мечтала, я бы, вероятно, остыла к театру... Но сразу я почувствовала, что тут не может быть полноты жизни, полной гармонии. О, как я страдала эти полтора месяца в Ялте! И все эти осложнения из-за обряда в церкви!..

20-ое августа. Здравствуй, дорогой мой! Я сейчас приехала от брата Ивана, разволновала их своими рассказами о тебе, о твоих последних днях, но чувствовала, что им было хорошо, хотя и тяжело. Я бы вечно и всегда могла говорить обо всем этом, о тебе, о Баденвейлере, о чем-то большом, величественном, неумолимом, что произошло в этом сочном, изумрудном местечке в Шварцвальде.

Помнишь, как мы любили с тобой наши прогулочки в экипаже, нашу «Rundreise», как мы ее называли? Какой ты был нежный, как я тебя понимала в эти минуты. Мне было так блаженно чисто на душе. Помнишь, как ты тихонечко брал мою руку и пожимал, и когда я спрашивала, хорошо ли тебе, ты только молча кивал и улыбался мне в ответ.

С каким благоговением я поцеловала твою руку в одну из таких минут! Ты долго держал мою руку, и так мы ехали в сосновом благоухающем лесу. А любимое твое местечко была изумрудная сочная лужайка, залитая солнцем. По прорытой канавочке славненько журчала водичка, так все там было сыто, напоено, и ты всегда велел ехать тише, наслаждался видом фруктовых деревьев, которые занимали огромное пространство и стояли на свободе, не огороженные, и никто не рвал, не воровал ни вишен, ни груш. Ты вспомнил нашу бедную Россию... А помнишь очаровательную мельничку,— как-то она внизу

стояла, вся спрятанная в густой зелени, и только искрилась вода на колесе? Как тебе нравились благоустроенные, чистые деревеньки, садики с обязательной грядкой белых лилий, кустами роз, огородиком! С какой болью ты говорил: «Дуся, когда же наши мужички будут жить в таких домиках!»

Дуся, дуся моя, где ты теперь!

В Ялте первое время я тебя чувствовала всюду и везде — в воздухе, в зелени, в шелесте ветра. Во время прогулок мне казалось, что твоя легкая прозрачная фигура с палочкой идет то близко, то далеко от меня, идет, не трогая земли, в голубоватой дымке гор. И сейчас я прямо ощущаю твою голову рядом с моей щекой.

24-ое августа. Вот как долго не писала тебе, дорогой мой! Такая я была разбитая к вечеру, что не могла взять пера в руку.

Эти ночи спала у нас Кундасова, приезжал Костя из Петербурга и останавливался у меня, и это тоже мешало мне писать тебе. В субботу мы с О. П. проболтали о тебе до 4-х ч. ночи. Утром в воскресенье я ездила в Новодевичий монастырь. Так у меня радостно бьется сердце всякий раз, как начинают виднеться башни монастыря! Точно я еду к тебе, и ты ждешь меня там. Как я плакала на твоей могилке! Я бы часами могла лежать на коленях, прижав голову к земле, к зеленой травке на холмике, под которым лежишь ты... Родной мой, где ты?!

Днем я наконец расхрабрилась и поехала в театр. Вошла в контору и расплакалась. Чуждо и дико показалось мне в театре без тебя. Тяжело было встречаться с товарищами. Посидела, послушала репетицию «Слепых». Больше смотрела на всех, чем слушала. Сидела с Бутовой, Раевской, Лужским, Качаловым. Лужский все старался меня расшевелить своими анекдотами. Мне казалось странным, что они все по-прежнему разговаривают, ходят, все по-старому...

Обедали у меня все родные, Ваня с Соней. Безумно горячо говорили о войне, а я о ней слышать не могу. Она столько боли причинила тебе, мой родной. Сколько мы с тобой читали немецких газет, и как мне трудно было переводить тебе беспощадно написанное о нашей бедной России, когда я чувствовала, как это тебе было больно. Скорее бы кончился этот ужас! А чем он кончится, неизвестно.

Вечером была беседа об «Иванове». Немирович сказал вступительное слово, потом говорили о ролях. Мне тяжко было сидеть и слушать.

Вчера я опять была в монастыре, с Костей. Хотела бы каждый день ездить. Вчера же купила и отправила на могилку скамеечку, чтобы там сидеть. Вчера у мамы встретилась со студентом Рабенек, который был при мне все время в Баденвейлере. Славный он юноша.

27-ое августа. Два дня не писала тебе, дусик мой родной, а кажется, что целую вечность не писала.

Хожу на репетиции «Иванова». В театре кислота, точно все осели, никто не зажигается. Да и время тяжелое. Твоя смерть, война, о эта ужасная война. Жив ли дядя Саша?!

Я ужасно одинока, дуся.

Живу так, как будто ты опять придешь ко мне, посмотришь на меня своими удивительными лучистыми глазами, погладишь меня, назовешь своей собачкой... Голубчик мой, где ты?!

Устроила свою комнату в твоем кабинете, и вышло страшно уютно. Маша будет в нашей большой спальне, моя спаленка в бывшем Машином кабинетике. Маша, поросенок, мне редко пишет, а обещалась каждый день писать. Я держу слово и пишу ей часто.

Была сегодня на могилке уже в сумерки, часов в семь. Тихо, хорошо, только птицы шумят, перепархивая с дерева на дерево, да слышны шаги торопливые монахинь, виднеются их темные силуэты. Кругом, как светлячки, горят неугасимые лампады. И у тебя горит, и как-то от нее тепло, хорошо на душе. Поплакала, целовала травку зеленую на твоей могилке. Скамеечка там стоит теперь, можно сидеть. Опять я мысленно перенеслась в Баденвейлер и старалась понять, что там произошло. Дуся, я должна тебе все рассказать, только пока еще не могу.

Когда я увидела студента, я до боли переживала каждую минуту той ужасной ночи. Я слышала даже скрип его шагов по песку среди этого удивительного, величавого и жуткого молчания ночи, когда он бежал за доктором.

А все-таки смерти нет...

Об этом после...

Разбирали mise en scène 1-го акта «Иванова». У Константина Сергеевича — Шабельского уже намечается тон,

у Москвина что-то выходит. Вишневский — Боркин не внушает доверия. У меня ничего еще нет.

Видела Бальмонта на репетиции Метерлинка. «Слепцами» он доволен.

30-ое августа. Идут дни, ночи, какие-то безразличные. Опять из Красного стана прислали массу чудных роз и гладиолусов, и опять так же таинственно. Меня трогают эти цветы.

Дуся моя, золото мое, родной мой. Пишу тебе, и мне кажется, что мы только временно в разлуке. 2-го приедет Маша.

Как тоскливо, как невыразимо тяжело было время, проведенное в Ялте. И вместе с тем хорошо. Я все только торчала в твоих комнатах и трогала и глядела или перетирала твои вещи. Все стоит на своем месте, до последней мелочи. Лампадку мамаша зажгла в твоей спальне. Мне так хотелось. По вечерам я проходила через твой темный кабинет, и сквозь резную дверь мерцал огонек лампадки. Я все тебя ждала, каждый вечер ждала, что увижу тебя на твоем месте. Даже громко говорила с тобой, и голос так странно одиноко разлетался по кабинету. По утрам по-прежнему ходили с Машей купаться. Домой возвращалась я уже не спеша... Никто меня не ждал, чтобы начинать свой утренний туалет, никто не ждал моего прихода в постели, с лукавой физиономией и с двумя кукишами. Каждое утро так было. И мне делалось весело, я тебя целовала, ласкала, так хотелось, чтоб ты чувствовал вместе со мной всю свежесть моря и прелесть раннего утреннего купанья. Какой ты славненький лежал! Я тобою любовалась. А ты все глупости говорил и смешил меня.

Сад это лето выглядит плачевно, все высохло. Дождей нет, воды нет. Ленивый Арсений ушел, и теперь Онуфрий привел сад в приличный вид. Окопано каждое деревцо, все полито.

Сегодня наконец была телеграмма от дяди Саши, что жив и «гарцует». Сейчас я пришла от мамы, где были хозяева дяди Саши (офицер Гретман с женой). Они его очень любят и много говорили сейчас о нем. Телеграмма из Мукдена.

Вчера смотрела генеральную черновую «Слепцов» Метерлинка. Пока еще нет ахового впечатления, но интересно. Мешает напряженная дикция Савицкой и ее искусственный говор под старуху. Мешала конфетная фигура

Красковской, совершенно не в тоне нашего театра, с пошибом дешевого декадентства. Это все надо поправить. Москвин очень хорош. Живописна в роли без слов Бутова (безумная слепая) с диким хохотом.

11-ое сентября. Дуся моя, дорогой мой, нежный мой, сколько времени я не болтала с тобой! Трепаная я была, непокойная, такая, какой ты меня не любил. Как бы я сейчас постояла на коленях перед тобой, как бывало, прислонила бы голову к груди твоей, послушала бы твое сердце, а ты бы меня нежно поглаживал — помнишь? Антончик мой, где ты? Неужели мы с тобой никогда не увидимся?! Не может этого быть. Наша жизнь только что начиналась, и вдруг все оборвалось, всему конец. Как мы с тобой славно, хорошо жили! Ты все говорил, что никогда не думал, что можно жить так хорошо «женатым». Я так слепо верила, что мы с тобой еще долго, долго будем жить... Еще за несколько дней до твоей смерти мы говорили и мечтали о девчоночке, которая должна бы у нас родиться. У меня такая боль в душе, что не осталось ребенка. Много мы говорили с тобой на эту тему. В ноябре было бы уже два года младенчику моему, если бы не было катастрофы. Отчего это случилось! Ребенок у меня все бы перетянул, я это чувствую. Как бы ты его любил! Хоть помечтать об этом!

Театр, театр... Не знаю, любить мне его или проклинать... Так все восхитительно перепутано в жизни сей! Теперь, кроме него, у меня нет ничего в жизни. Все эти три года были сплошной борьбой для меня. Я жила с вечным упреком себе. Оттого я такая неспокойная была, неровная, нигде устроиться не могла, свить себе гнездо. Точно все против своей совести поступала. А впрочем, кто знает,— если бы я бросила сцену...

М. А. ЧЕХОВ

ЖИЗНЬ И ВСТРЕЧИ



Первый человек, которого я «встретил» в жизни, человек, глубоко поразивший меня, был мой отец. Я трепетал перед ним, изумлялся ему, боялся, но не мог полюбить никогда. Для меня он был страшен во всех своих проявлениях. Сила его взгляда и голоса, его рост и атлетическая фигура пугали меня. Физические, душевные и умственные силы его казались мне безграничными. Но он был слишком большой оригинал, и это помешало ему использовать свои знания и громадную жизненную энергию сколько-нибудь систематически.

В играх моих я имел доброго, славного друга. Он действовал на меня успокаивающе, приучая меня к систематическим действиям даже во время игры. И сам он играл со мной в шахматы, в теннис и участвовал в беготне и в шалостях на дворе. Это был наш жилец, скромный, веселый бородатый мужчина. Работа у него была ночная. Возвращался он утром усталый, слегка похудевший, но бодрый и радостный. Я ждал его возвращения с нетерпением. Издали завидев его фигуру, его размашистую, мягкую походку, плохонькую широкополую шляпу и драное, залатанное пальто, я бежал к нему навстречу и повисал у него на руке. Его русское лицо было чем-то похоже на лицо Антона Павловича Чехова. И это особенно привлекало меня к нему. Звали его Степан Степанович Данилов.

И все же, несмотря на благотворное влияние моего друга, мучительное «не успею!» быстро развило во мне привычку к хаотическому образу жизни. Моя страстная натура помогала этому. Я бросался от одного дела к другому, от одной цели к другой без разбора, не спрашивая, возможно или невозможно осуществление моего жела-

ния. Игры мои были страстны и преувеличенны. В комнате появлялись поленья, доски, листы железа, и когда уже не оставалось места для постройки, я изыскивал способ разрушить свое грандиозное здание так, чтобы достигнуть наибольшего эффекта. Поленья, доски и железо с грохотом рушились, приводя в отчаяние мою мать и старую няню. Я же испытывал восторг от «величия» совершающегося. В войну играли все мальчики той дачной местности, где мы жили. Драки были настоящие, с поранениями и увечьями. Однажды, с энтузиазмом верности служа своему «генералу», я вместе с отрядом бежал на врага. Я видел только спины своих соратников и, доверяя их мужеству и военному гению, бежал сзади всех. Но вдруг они остановились, и я увидел их лица и направленные на меня «ружья». Что случилось? Враг напал сзади? Я обернулся. Никого. И тут я вдруг понял: измена! Отряд, во главе с генералом, изменил. И кому же? Мне, верному рядовому. Мне одному! Изменил и присоединился к врагу. Когда произошел заговор, я не знаю, но было страшно, оскорбительно и стыдно. Я бросился к матери и рыдал безутешно, не умея объяснить, что случилось со мной, с моей душой. В минуту измены я что-то узнал, что оставило след навсегда в моей жизни.

После ужаса «военной измены» я спрятался внутренне, ушел в себя, стал еще более труслив и незаметно для себя, в виде самозащиты, научился улыбаться тем, кого боялся. Уже и тогда я смутно чувствовал стыд и недостойность такого средства защиты, но другого не было еще в моем распоряжении.

Был у меня и еще друг помимо Степана Степановича. Тоже бородатый, тоже скромный и радостный, но был он бродяга и пьяница горький. Малоросс, от природы философ, он всегда чего-то искал, куда-то стремился, всех любил, беседовал с птицами, понимал небеса, был чист душою и честен. Бродяга — не жулик. По фамилии: Ларченко, по имени-отчеству: Василь Осич. Он пил для экстаза. Места жительства не имел и спал где придется. Чаще всего у нас на дворе, в бане или в оранжерее. Когда приходила нужда и было не на что выпить, он высматривал, не стоит ли где мать у окна, и когда замечал ее, срезал веточку с дерева, снимал шапку и ждал платы за труд: дескать, видите, за садом хожу! Получив пятачок, он выражал свою благодарность по-своему, одним жестом, без слов: взмахнув рукой вверх, он с чувством хватался за шею и затем, подбросив бороду снизу, ковырнув рукой в воздухе

около уха и завернувшись большим пальцем в затылок, делал паузу. Потом, снова чеснув в бороде, хватал шапку под мышку и походкой с припрыгом несся в кабак. Я изучил его жест в совершенстве и, применив его в роли на сцене, привел в восторг публику.

Скоро, шатаясь, Ларченко снова являлся. Он был в экстазе. На голове нес лоток, с лотка свисали цветы и сыпались мелкие камушки. Весь его вид говорил: «Поглядите, я — человек, я — торговец, торгую цветами!»

— Цветики, цветочки! — кричал он на всякие голоса, то блаженно, то с нежностью, то с ухарским счастьем.

Проходя мимо окон, он оборачивал голову вместе с тяжелым лотком и хохотал, сияя любовью и к нам и ко всему белому свету. Ноги его сами собой начинали налаживать пляску, угрожая лотку. Мы отходили от окон, чтобы спасти цветы от погибели. Он удалялся, но еще было слышно:

— А вот они, цветики, вот полевые! Ах, и цветики, эх, распрекрасные!

Но бывало, экстаз заводил его и в область науки. Он погружался в канаву и длинной веревкой измерял ее, что-то ворча и шепча, путаясь в собственных сложных до крайности жестах.

— Что ты делаешь, Вася? — спрашивал я.

Он с восторгом глядел на меня своими хохлацкими, лучистыми глазами и, задыхаясь от чувств, выговаривал:

— Землемер я... простите!..

И — жест.

Встречаясь с отцом, он молчал, украдкой косясь на него. Отец тоже косился. Оба с хохлацкими душами, они и без слов понимали друг друга. Так могли они подолгу простаивать вместе, не то договариваясь, не то совещаясь о чем-то.

И договорились однажды.

— Ну так вот, — сказал сурово отец, — так и будет!

Ларченко снял шапку.

— Довольно бродяжить. Вот тебе комната в доме, вот тебе ключ. Помесячно — жалованье. Ты — дворник. И ни капли! Ни-ни! Если замечу — каюк!

Трудно сказать, кто больше был рад — Василь Осич или я. Теперь я буду видеть его каждый день, когда захочу!

Сад был выметен, ветки с деревьев сострижены, цветы пересажены, предметы на дворе передвинуты, лопата до блеска начищена, и когда все было сделано, снова был вы-

метен сад. Ключ то и дело переходил из кармана в карман, отряхивались штаны для изящества, прутиком выбивалась лохматая шапка, а взгляд Василь Осича все искал нового дела.

Он стал серьезен, солиден и с достоинством кивал головой проходившим по улице бродягам-приятелям. А те подмигивали ему, как будто себе на уме.

Кушал он в кухне с прислугою. После завтрака ему подавали большую кастрюлю жидкого кофе, и он долго, со смаком занимался ею. Не только лицо его, но и затылок и спина выражали: «дворник фрыштыкает». Откушав, Василь Осич деликатно отставлял пустую кастрюлю, осторожно, чтобы не загреметь стулом и не стучать сапогами, шел к двери и, рыгнув на всю кухню, скрывался.

Я хоть и часто видел теперь Василь Осича, но прежней веселости не было.

Прошел месяц.

Однажды ночью, когда все уже спали, под окнами дома раздалось залихватское пение с вариациями и вокальными импровизациями всякого рода.

Я узнал голос (скорее душу) моего друга и, вскочив с постели, высунулся в окно.

— Вася, милый, иди скорее спать!

— Царица небесная,— закричал Вася, увидев меня.— Я есть служащий человек! Мне теперь сам черт по колено! Чеховский дворник я!

— Завтра, Вася, иди к себе,— умолял я его,— услышит отец — пропадешь!

«Ах ты, сукин сын, камаринский мужик!
Ты не хочешь своей барыне служить!..»

Вася размахнулся и, бросив шапку на землю, пустился отплясывать камаринского.

— Четыре отделения в голове человеческой! — кричал он.— В одном умственность, в другом дурственность, в третьем невозможность, а в четвертом...

Окно отца растворилось.

Я никогда не узнал, что было в четвертом отделении. Наутро Василь Осич был изгнан отцом.

Через несколько лет я случайно узнал, что умер Ларченко одиноко, где-то в казенной больнице.

Были типы и другого рода. Запомнилась мне фигура «печника». Тощий, высокий, в бабьей кофте, в штанах чуть пониже колен (низ давно обтрепался) и без шапки. Густые, лохматые волосы делали его голову несоразмерно большой. На исхудалой шее она казалась мне пробкой

в бутылке шампанского. Кудри волос закрывали половину лица и кольцами падали по обе стороны распухшего сизого носа. Он громко и часто чихал, приводя меня в восторг тем особенным криком, который он изобрел для своего и без того выразительного чиханья. Приветствовав нас, он встряхивал кудрями и шел дальше, неизвестно куда. «Печником» он назывался потому, что из дырявого кармана его всегда торчала лопаточка для смешивания известки и глины.

Обойдя в первые дни все притоны, отец уже оставался безвыходно дома во все время своей болезни.

Часто ночь начиналась игрою в шахматы. Несмотря на большое количество выпитого, отец никогда не терял способности мыслить и играл умно и смело. В его большом кабинете с притушенной, часто коптившей керосиновой лампой, среди множества книг, я погружался в таинственную атмосферу. Шахматная игра кончалась, и отец начинал рисовать карикатуры.

Когда рисование надоедало отцу, он начинал показывать мне физические и химические фокусы. Под его «магическим» влиянием то тут, то там — на полу, на столах, на полках с книгами — вспыхивали разноцветные огни, закипали сами собой жидкости в стеклянных сосудах, образовывались красивые кристаллы в колбах, из банок поднимались густые пары и, рассеиваясь, исчезали под потолком, в бутылочках происходили небольшие взрывы, горели куски проволоки, и все это я приписывал необыкновенной и непонятной мне силе отца.

Фокусы сменялись рассказами о знаменитых авантюристах. Их отважные проделки всегда удавались: они были свободны от страха и смерти и рисковали своими жизнями так же, как и чужими.

Наступала вторая половина ночи. Отец садился на диван и начиная рассказывать о звездном мире. Внезапный взмах его руки вычерчивал орбиту планеты, и она неслась в пространстве, следуя жесту отца. Недвижный пояс знаков Зодиака, охвативший весь звездный мир, был мне виден в остановившемся, далеко устремленном взгляде отца. Взгляд этот был страшен и холоден. Он внезапно выкрикивал одно-два слова, и спина моя холодела. Но я не мог и не хотел выходить из этой душной атмосферы ночи, в которую вовлек меня отец. И хотя душа моя с жадностью вбирала в себя космические картины, так ис-

кусно изображаемые отцом, все же мрачны и бездушны казались мне эти туманности, метеоры, кометы, дико носившиеся в мировых пространствах. Человеческое существо всегда выступало в рассказах отца как ничтожное, случайно возникшее явление. *Какая-то* комбинация *каких-то* сил, *когда-то и где-то* столкнувшихся, зародила сознание! Значит — чудо? Но отец говорил — чуда нет. Случай! Но кто же его делает? Кто им «заведует»? «Случай» рисовался мне как умный, хитрый, очень большой, все видящий, все могущий, все вперед рассчитавший НЕКТО. Но был он так одинок, этот НЕКТО, так жалко было его, что слезы душили меня. Обо всех он заботится, все для всех делает, создал мир, а его знать не хотят.

Начинало светать. Отец вставал, падающей походкой шел к окнам, раздвигал шторы, тушил лампу и снова тяжело опускался на диван.

Теперь отец говорил о сознании. Возникшее из НИЧТО, оно, миллионами лет подвергаясь «случайностям», достигло наконец своего апогея в прекрасной, жаркой, солнечной Греции. Человек, такой ничтожный, затерявшийся в космических вихрях, в новом виде представал передо мной. Фигуры первых философов Фалеса и Анаксагора, с их учениями, сменялись другими, столь же чудесными. Вот гигант Аристотель, вот его учитель Платон, вот различия их образа мыслей. Все картинно, ярко, понятно и связно. Шаг за шагом вел меня отец по широким и узким, прямым и кривым путям развития человеческой мысли. Хотя и усталый, с отяжелевшей головой, я все же напряженно старался слушать отца и с уважением вглядывался в фигуры мыслителей, являвшихся моему воображению. Минуя христианство, отец вел меня дальше, в средние века. Греция оставалась далеко позади. Новые образы представали предо мной. И хотя мы шли дальше и дальше, но один образ не хотел покинуть нас. Старый грек шел неотступно за нами. Он мешал мне следить за рассказом отца. Я пытался не раз отогнать его. Он исчезал на минуту и тут же снова являлся. Чем ближе подходили мы к нашему времени, тем курьезнее выглядел грек-старичок. Вот уже и Кант. В мастерском рассказе отца даже этот мыслитель становился понятен мне.

Откуда брал отец эти дивные примеры, сравнения, образы, так облегчавшие мне понимание философских концепций? Но старик грек положительно мешал мне. Он не вязался ни с атмосферой раннего утра, ни с моим упорным желанием оставаться серьезным. Против воли

я вспоминал о веселом Степан Степаныче. Захотелось, чтобы и он взглянул на грека. Нет, буду слушать отца. Может быть, завтра удастся уговорить Ларченко сесть в бочку? Но все это завтра. Степан Степаныч, наверное, пройдется Александром Македонским. За сараем, я знаю, есть для Васи подходящий фонарь. Но все это после. Иногда мне казалось, что отец не только рассказывал, но изображал и Шопенгауэра, и Ницше, и Гартмана. Уж очень ярко я видел их. Но не только их, но их *мысли,* казалось, играл он. Как он делал это? Можно, пожалуй, у няни для Васи достать простыню. Я что-то прослушал в рассказе отца. Да и сам он уже невнятно произносил слова. Было почти совсем светло. Хотелось на двор, в сад, на свежий воздух, но глаза слипались, и смешил грек. Подходила мать, брала меня за руку и вела в спальню.

Вдруг наступал день, когда отец, всегда неожиданно для самого себя, отставлял недопитый стакан и говорил: «Кончено!» Болезнь проходила внезапно, и отец начинал работать без устали. Он быстро возвращал все пропитые и розданные деньги. Он был членом Академии наук[1], и его литературные, беллетристические и научные труды ценились и хорошо оплачивались издателями.

С годами запои отца становились все чаще и продолжительнее, и он спился быстро и окончательно после того, как потерял своего единственного друга, которого нежно любил и перед которым преклонялся. Другом этим был брат его Антон Павлович Чехов. Их переписка, полная юмора, взаимной любви и глубоких мыслей, была после смерти отца и А. П. Чехова подобрана мною в хронологическом порядке. Известие о смерти А. П. Чехова не только вызвало приступ болезни отца, но и изменило его характер. Он стал как-то бесцельно метаться, меньше работал, душевно ослаб и стал делать ненужные, ничем не оправданные вещи. Он вдруг ушел из семьи, без причины, стал жить один, но постоянно звал к себе мать и меня. Терпел ненужные, мелкие неудобства, путешествовал тоже бесцельно, тосковал — и скоро вернулся в семью. Но вернулся он больным и приговоренным врачами к смерти. Умер он в тяжких мучениях.

Смерть отца произвела на меня странное впечатление. *Не так* должен был умереть, казалось мне, такой сильный, всегда неожиданный и страшный человек. Я видел, как он задыхался, как кошмарные видения терзали его душу, и в минуты, когда к нему возвращалось сознание, ужасался его непросветленному гневу, даже злобе на дол-

гие свои страдания. Я все ждал от него в эти ужасные дни и ночи какой-то новой правды, невысказанной им до сих пор. Когда последняя судорога пробежала по его лицу, когда он перестал дышать и метаться и лежал с открытым ртом и открытыми, никуда не смотрящими глазами, я все еще ждал. Но «аккорд» остался неразрешенным. Я отошел от его постели, лег и сам перестал двигаться. Это мое состояние длилось до тех пор, пока я не нарисовал его лицо в момент его смерти. Рисунок производил неприятное впечатление, и домашние забросили его куда-то. Но мне стало легче, и я начал быстро забывать отца.

Полное «разрешение аккорда» я осознал в себе только после того, как сыграл на сцене три различные смерти.

Иоанн Грозный, умирая, увидел шутов и скоморохов, с диким визгом, свистом и кривляньями не то провожавших его из этой жизни, не то встречавших на пороге будущей. Его растерзанная и грешная душа все же увидела искаженный облик потустороннего.

Эрик XIV за мгновение до смерти тоже взглянул в тот мир, куда вела его судьба. То, что он увидел, было светом по сравнению с его темной, безысходной жизнью. Он весь раскрылся, и его пораженная, хотя еще не понимающая душа страстно устремилась навстречу неведомому — и он умер.

Гамлет принял смерть как знающий: он *перешел* спокойно, с ясным сознанием, как бы осторожно сложив с себя свое тело.

Все три смерти были для меня не только уходом *отсюда,* но и различным вступлением *туда.* Я постарался передать это публике как в игре, так и в нюансах постановок. Так, изобразив три смерти на сцене, я пережил то, чего не хватало мне в смерти отца.

Воспоминания мои об А. П. Чехове, к сожалению, крайне скудны.

Я помню, например, себя сидящим на коленях Антона Павловича (мне было тогда, вероятно, шесть-семь лет). Антон Павлович нагибается ко мне и ласково спрашивает о чем-то, а я смущаюсь и прячу от него лицо.

Вспоминаю, как отец мой в первый раз привез меня в Ялту и вошел со мной в кабинет Антона Павловича.

— Это кто же? — спросил он, протягивая мне руку.— Антон? (Другой сын моего отца.)

— Нет, это Мишка.

— Ну, здравствуй, Миша.

В это время Антону Павловичу подали пакет с книгами, только что принесенный с почты. Это было роскошное издание «Каштанки».

— Читал ты «Каштанку»? — спросил Антон Павлович.

— Нет, — ответил я.

— Ну так вот тебе, — он подал мне книгу, — пойди и прочти. А «Белолобого» читал?

— Нет.

— Тоже прочти. Дай-ка мне книжку, я тебе надпишу.

Еще запечатлелась в моей памяти прогулка с Антоном Павловичем по ялтинской улице. Он, худой, сгорбленный, тихо шел, опираясь на палку. Уличные мальчишки прыгали вокруг него, крича:

— Антошка — чахотка! Антошка — чахотка!

А он, ласково улыбаясь, глядел в землю.

Как-то вышел он к вечернему чаю в столовую, где сидели его мать Евгения Яковлевна, моя мать и я. Он, очевидно, долго писал перед этим — взгляд его был несколько рассеян, и счастливая улыбка временами играла на его губах. Ему подали чай, и он своим тихим, теплым баском сказал:

— Ложка собакой пахнет.

Мать его встревожилась и стала уверять, что ложки, да и вся посуда моется в кухне хорошо.

— Что это ты, Антоша, какая собака, откуда!

Я закатился смехом и видел, как Антон Павлович, как бы исподтишка, улыбаясь глазами, поглядывал на меня.

Сиживал я у него в кабинете, молча, часами, когда он писал. Я сгорал от любопытства узнать, что стоит у него в углу в длинном закрытом футляре. Разглядывал множество маленьких вещичек, лежавших на его письменном столе, и хотел, чтобы он дал мне их. И он, действительно, вдруг переставал писать и давал мне одну из вещичек, давно облюбованных мною.

— Спасибо, — говорил я басом от смущения и тотчас же намечал другую вещичку. Скоро у меня набралось много «подарков» Антона Павловича.

Собирал он медные копейки в большую фарфоровую вазу. Сколько накопилось, мне узнать не удалось — ваза стояла высоко на камине.

Приезжал раз Орленев. Он шумно, размашисто ходил по кабинету, громко рассказывал эффектные истории, иногда останавливаясь в картинной позе против Антона

Павловича. Мне казалось, что молча слушавший Антон Павлович утомлялся, следя за беспокойной фигурой Орленева. Но недружелюбного выражения я не заметил ни разу на его лице.

Забрался я однажды в спальню Антона Павловича, когда его не было дома. Над его кроватью висела большая картина, написанная масляными красками братом его, художником Николаем. Картина изображала бедную швею с измученным, усталым лицом, опустившую руки на колени. То, что она шила, упало на пол. На столе горела маленькая тусклая керосиновая лампа. Худая рубашонка сползла с плеча швеи. В грустном, почти плачущем лице ее я узнал мою мать. Я вышел из спальни, и на меня нашла задумчивость. Когда я подрос, мне рассказали, что Антон Павлович и моя мать любили друг друга. Почему они не женились, осталось для меня неизвестным.

С самых юных лет я был в состоянии непрестанной влюбленности.

Влюбленность делала меня застенчивым и мрачным. Я краснел, становился особенно неловким и думал:

— Вот разлюбит! Вот уже разлюбила!

Когда собиралось много детей и затевались игры, я заранее обижался на всех, зная, что что-нибудь будет не так.

Играли однажды в «слова». Бросали друг другу платок, говоря первый слог слова. Тот, кто ловил платок, должен был слово докончить. Я бросил платок «ей», той, кого любил.

— «Жо..!» — крикнул я и в ужасе схватился за голову. Потом застонал и поник на стуле. Все испугались и затихли. Девица постарше, руководившая нашей игрой, помолчала, подумала и сказала:

— Ну что же такого, ну: «Жо-равль».

Ей поверили, успокоились и продолжали игру. Уши мои горели, лицо стало неподвижным, нижняя губа сдвинулась и не могла попасть на место. Я знал, что я некрасив, но все же *теперь* я любил ее больше, чем прежде. После того что произошло, *что* она слышала от меня сейчас, мы уже близкие люди. Уж раз *это* слово сказано — больше стесняться не надо. Теперь мы свои, мы — как муж и жена. Может быть, встать и сказать всем, что мы любим и никогда уже теперь не расстанемся?..

Я взглянул на нее.

Она с визгом тянулась к платку и, не вставая со стула, прыгала на месте. Платком завладел длиннолицый мальчишка в противных зеленых чулках. Он дразнил ее с глупым смехом.

Как она может?! В такую минуту! Таращит глаза на него! Может, дать ему по затылку? И зачем я сошелся с тобой! Домой хочу. Надо как-нибудь сделать, чтобы не жить поскорее.

Любовь моя кончилась.

Моя мать и старая няня были первыми зрителями моих «домашних спектаклей». Я собирал со всего дома одежду: отцовские пиджаки, нянины юбки и кофты, шляпы мужские и женские, зонтики, галоши — все, что попадалось под руку, и начинал импровизировать без предварительного плана, без цели. Я брал первую попавшуюся под руки часть одежды, надевал на себя и, надевши, чувствовал, *кто я такой.* Импровизации были юмористическими или серьезными в зависимости от костюмов.

Но, что бы я ни изображал, реакция няни была все та же: она закатывалась долгим свистящим смехом, переходившим в слезы.

— Наш-то, наш-то! — приговаривала она, утирая глаза подолом юбки.

Няня никогда, до конца дней своих, не усвоила мысли о том, что я вырос. Точно так же реагировала она и на мою игру, когда видела меня на сцене МХТ.

Иногда, рассердившись, она пугала меня, как маленького:

— Вот ужо погоди, я уеду от тебя, — говорила она.

— Когда, няня?

— А вот числа 34-го и поеду!

Видя меня за книгой, за письменным столом, она осторожно входила, останавливалась в дверях и делала знаки, знакомые и понятные мне с детских лет.

— Милый, поди сделай... — говорила она, — уж время тебе.

Когда я женился, она сразу же взяла на подозрение мою красавицу жену и, многозначительно кивая матери головой, шепотом говорила:

— Уж больно красива! Не обошла бы нашего-то. Ну да я дознаюсь!

Я чувствовал себя счастливым, только когда импровизировал. Попробовав однажды следовать написанному

тексту, я растерялся, расплакался и в отчаянии убежал «за кулисы» (простыня на веревке отделяла зрительный зал от сцены). Публика утешала меня, но я решил «бросить сцену навсегда». Почему я должен переносить такие мучения, если я могу стать хирургом или пожарным? Но «хирург» продолжал играть, если и не на «настоящей сцене» (за простыней на балконе), то на улицах, перед дачами соседей, во время перемен в гимназии и, наконец, в одиночестве, для самого себя.

Местный клуб устраивал любительские спектакли. Я был приглашен принять участие в одном из них. Появившись в первый раз перед большой публикой в качестве «смешного» старичка дядюшки, я неожиданно для себя очутился на середине сцены. Сконфузившись и не имея мужества ни сесть, ни отойти в сторону, я стал говорить «хэ-хэ-хэ» (ведь роль была комическая) и переминался с ноги на ногу. Отец прислал за кулисы сказать мне: «Не качайся, болван!» Но Степан Степаныч с восторгом принимал все мои выступления.

Клубные спектакли решили мою судьбу. Я перестал учиться и сосредоточил свой интерес на любительских спектаклях. Меня отдали в театральную школу Суворина.

Не могу сказать, чтобы я учился театральному искусству в школе. Один из преподавателей, например, учил нас изображать гнев в четыре приема: 1 — топнуть ногой, 2 — поднять руки кверху, 3 — крикнуть с закрытым ртом, 4 — дважды быстро скрестить кулаки над головой. Другой показывал прием «сложного падения», в то время когда вы, играя сыщика или полицейского, схватываете бандита и вместе с ним в борьбе падаете на землю. Третий просто выкрикивал горячо и с душой: «Лепите, детки, лепите!» Учитель грима (морской офицер) стирал с наших лиц неудававшиеся ему гримы своим носовым платком. Он смачивал его водой или просто поплевывал на него, приговаривая:

— Эх, тут бы надо растушевочкой!..

Незабываемыми учителями были для меня актеры Александринского театра Варламов, Давыдов, Стрельская и вся плеяда русских театральных гениев того времени. Я поражался тем чудесам, которые они творили на сцене. Когда фигура Варламова или Давыдова появлялась на сцене, я, как и всякий зритель, вдруг каким-то непостижимым образом угадывал вперед *всю жизнь, всю судьбу* героя. Еще не было произнесено ни одного слова со сцены, но зритель уже встречал Варламова, Давыдова, Далматова,

Стрельскую смехом, слезами, негодованием, восторгом, состраданием, гневом! Силой своего дарования они делали зрителя прозорливцем. И все, что видел и слышал зритель потом, следя за их игрой в течение вечера, все вызывало в душе его чувство: «да, да, я так и предвидел, так это и должно было быть!» И никогда не изображали эти чародеи *образ* данной роли *только*. В их исполнении это всегда был *прообраз таких* людей, *таких* душ, *таких* переживаний человеческих. Их «несчастный» герой заставлял содрогаться зрителя от того, *что* раскрывалось перед ним как человеческое страдание *вообще*. Оно, как обертон в музыке, витало около них. А их юмор? Ни Варламов, ни Стрельская, ни Давыдов не смешили публику *текстом автора,* как это делают современные актеры, принимая смех зрителя на свой счет. Они заставляли смеяться тому душевному состоянию, в которое приводили себя, в то время как текст автора они произносили легко и свободно. Их *души* становились смешными, независимо от текста.

Вот уже больше тридцати лет прошло с тех пор, как я видел этих чародеев на сцене, но я не забыл и не могу забыть сотен и сотен деталей в их игре. Вот Стрельская обмахнула пыль с портрета умершего сына — и зал зарыдал от боли. Для меня это — чудо. Далматов в комической роли, дымя сигарой, говорит: «Байрон, Шекспир, Гете, Вольтер...» — и вы видите, что Шекспира-то, именно Шекспира — он не читал! Что-то случилось еле заметное, нет, совсем незаметное с его сигарой, с дымком, и по ним вы знаете: *не читал!* Разве это не чудо? Варламов — Пищик в «Вишневом саде». Он узнает, что дом продан. Короткая пауза, пять-шесть секунд. Варламов взглянул на стул рядом с ним, на окно, на портьеру, на пустое пространство стены — и все изменилось: на сцене, в зрительном зале, в сердце зрителя, в атмосфере спектакля. Ясно: *кончилась жизнь в этом доме!*

О, они знали, что значит *актер* и как надо играть. Они знали, но другим передать не могли. Все делалось «божиею милостью» у этих гигантов. И в их время они были правы. *Им* не нужно было ни школы, ни режиссера. Но времена изменились. «Божия милость» оставила нас, а мы все еще не хотим ни школы, ни режиссера. Время скажет свое. Придет новое поколение и на новых началах построит театр. Ум, знание, работа и техника поведут театр вперед. И тогда «божия милость» снова сойдет на актера, хотя и по-иному. Будущее поколение, пережив вторую

мировую войну и все последствия ее, поймет, что современный театр выглядит так же старомодно, как выглядел бы сегодня военный курьер, посланный на лошадях с эстафетой из Каира в Алжир. Только испорченность современной публики, недомыслие критиков и наивность актеров позволяют закрывать глаза на правду современного театра.

Глаголин давал мне все новые и новые роли самого разнообразного характера. Даже женскую роль сыграл я в водевиле, поставленном Глаголиным[2]. Он сам играл «Орлеанскую Деву» и оставил в моей душе неизгладимое впечатление. Я был очарован его смелой и прекрасной игрой.

В первый раз я увидел русскую провинцию, когда труппа Малого театра совершала гастрольную поездку[3]. Русская публика всегда любила театр, но такого обожания актеров и преклонения перед театром, как в русской провинции, я не видел никогда и нигде. Зритель, приходя на спектакль, становился другим человеком. Жил он, этот провинциальный зритель, в Миргороде или в том богоспасаемом городе, где франтил почтмейстер и разводил гусей с гусенятами Ляпкин-Тяпкин. Что окружало его изо дня в день? Посмотрите на вывески провинциальных магазинов. Вот молочное заведение. Баба в платочке доит корову. Силой таланта художника она глубоко вписана в самую корову, а огненно-красный петух на заднем плане превосходит по величине и корову и бабу, вписанную в нее. Клюв петуха широко раскрыт — он поет. Тело не участвует в пении. Оно как бы покоится на нашесте. Ноги схвачены художником в момент стремительного бега. Вот парикмахерская. Дама с лицом рыженькой лошадки упирается головой в верхний край вывески. Прическа не поместилась. То же случилось и со стоящим около нее парикмахером. Он, как секирой, замахнулся на нее страшной гребенкой. Две трети вывески заняты его и ее ногами. Несомненно, художник начал писать свою композицию снизу, с ног, и, не рассчитав расстояния, почти обезглавил своих героев.

Жители Миргорода не видели, как безвкусны их костюмы, как смешны шляпки их дам, но, приходя в театр, они вдруг начинали понимать тонкости переживания человеческой души, с трепетом следили за сложными судьбами героев и героинь, шли уверенно в душевные изгибы сарказма, юмора и тоски, куда вели их Гоголь, Чехов, Тургенев. Зародившееся во мне тогда смутное чувство той

роли, которую может играть театр в человеческой культурной жизни, окрепло и получило ясные формы, когда за границей я увидел, какое ничтожное значение имеет театр в жизни общества, на какой низкой ступени развития стоит он и вся актерская масса.

Сейчас театр болен. Иногда хочется сказать — безнадежно. Но это несправедливо, конечно. Театр оживет и выйдет на новую дорогу. Правда, болезнь его не слишком почтенная: натурализм, вульгарный и плоский. Но он достиг уже высшей точки своего развития, и теперь можно надеяться на оздоровление.

В самом деле, как может развиваться натурализм дальше, после того как публика видела на сцене: муж сознательно сводит с ума жену; человека давит поездом; вампир (во фраке) высасывает кровь девушки; «герлс» долго и искусно раздеваются на сцене или носят декольте, прикрытое только тонким газом? Нервы зрителя притупляются, требуют нового, более сильного раздражения, а его уже нет в сокровищницах натурализма. Надо менять направление. Надо лечиться. Характерной чертой натурализма является его безыдейность, его *немудрость.*

Разве в наши дни не выковывается мудрость для будущего? Я сомневаюсь, чтобы матери, отцы, братья, сестры, жены, невесты, дни и ночи представляющие себе, *как* погиб их любимый на фронте, *долго ли* он страдал, *что* хотел сказать им, умирая,— я сомневаюсь, чтобы эти люди снова захотели смотреть человека, раздавленного поездом, или слышать плоскую «современную» шутку со сцены. Да и те, кто вернутся живыми, захотят ли *они* этого? Верно ли мы представляем себе их возвращение? Мы знали их *до* войны, но узнаем ли *после!* Те, кто вернутся другими,— захотят перестроить и прежнюю жизнь и прежнее мировоззрение.

В том многом, что, вернувшись, они скажут нам, будет и слово, обращенное к натурализму в искусстве. И *этого* слова натурализм не выдержит.

Будем надеяться.

Поездка Малого театра по провинции проходила больше чем весело. Дисциплина отсутствовала, но я не замечал этого. Я еще не был знаком с театром стиля МХТ. «Место актера в буфете»,— думал я и не стеснял себя в удовольствиях.

Когда театр въехал в черту оседлости, благодарная еврейская публика стала заполнять зрительный зал. В одной из пьес я играл еврея-ростовщика, вроде Шейлока, и мои товарищи подшутили надо мной. После одного из спектаклей, разгримировываясь, я почувствовал себя окруженным странной атмосферой. Товарищи мои были как будто чем-то озабочены, перешептывались и украдкой поглядывали на меня. Их беспокойство передалось и мне. После долгих колебаний, сомнений и подготовлений мне сообщили, что еврейское население города собралось недалеко от театра и поджидает меня, чтобы избить за тот отрицательный тип еврея, который я изображал в сегодняшнем спектакле. Ужас охватил меня. Прежде чем сообразить, что я делаю, я сбросил свое пальто и шляпу и, схватив чье-то чужое, очень большое пальто и такую же большую соломенную шляпу с полями, выбежал из театра. Евреи, попадавшиеся мне на улицах, шарахались в стороны от меня, а я — от них. Я бежал зигзагами, как атакованный стрелок, направляясь на запасные пути железной дороги, где стоял наш вагон. Товарищи, невидимо для меня, бежали за мной, наслаждаясь достигнутым эффектом.

Параллельно с актерской, веселой и праздной жизнью я вел другую, ни в чем не похожую на первую. Среди персонажей, окружавших меня в этой жизни, выделялись три почтенных старца. (Впрочем, один из них был сравнительно моложе других.) Они были моими наставниками. Один из них старательно убеждал меня в том, что жизнь есть беспощадная борьба за существование и что мораль и религия — только иллюзии, хотя, может быть, и прекрасные. Что я сам, в конечном счете, есть только *мое тело,* со всем тем, что я унаследовал от моих родителей. Этим наставником был Чарльз Дарвин. Другой тратил свое красноречие на то, чтобы объяснить мне, что если по упрямству моего характера я непременно хочу видеть и ценить *душу* в человеке, то я должен делать это по крайней мере соответственно научным методам, то есть видеть вещи объективно, такими, каковы они есть на самом деле, независимо от моих симпатий и антипатий. И он показывал мне подсознательное человеческой души со всей нечистотой и сексуальными ее импульсами. Это был Зигмунд Фрейд. Третий наставник старался сделать для меня мирок, где царили наследственность, борьба

и сексуальные импульсы, насколько возможно, привлекательным. Он опьянял меня очарованием тоски и пессимизма и учил меня любоваться бесцельностью человеческого существования. Эту заботу о моей внутренней жизни взял на себя Артур Шопенгауэр. В благодарность за это его портретами была увешана вся моя комната. Все-таки он был самый добрый и милый из них. Правда, он ругался (как извозчик!), но только с Фихте и Гегелем, но нас, своих почитателей, он, по-видимому, очень любил. Я не то чтобы не верил моим наставникам, но как-то уж слишком они пригнетали меня к земле. Иногда хотелось выкинуть какую-нибудь штуку против них, но штуки такой я не находил и продолжал учтиво сгибаться под тяжестью их логики. Моего любимца Шопенгауэра мне давно уже хотелось отблагодарить за его заботы обо мне, но я еще не знал, как это сделать. Почитывал я и Канта (уж очень Шопенгауэр настаивал на этом), следил за развитием психологии и особенно интересовался направлением, отрицавшим человеческое «я», как самостоятельную сущность. Все шло хорошо и в соответствии с научными методами. Играл же я по-прежнему с наслаждением и без усилий держал отдельно оба моих мира.

Моя мать инстинктивно чувствовала, что я жил в нездоровой душевной атмосфере. Она видела, как возрастал мой цинизм, презрение к людям, и страдала за меня. Я же видел ее страдания, и она укором стояла предо мной всегда, когда я вел «беседы» со своими наставниками и пил. Мне хотелось загладить свою вину перед матерью, изменить образ жизни, но воли на это не хватало. Иногда меня душили слезы и хотелось выйти из-под гнета и Канта, и Шопенгауэра, и Фрейда, но они были сильнее меня и быстро подавляли мои бунтарства.

В часы тоски я часто блуждал по ночным опустевшим улицам Петербурга. Белые ночи действовали на меня как чары. Казалось, мучившей меня реальности не существует вовсе, и ночь никогда не кончится, и что я буду идти по берегу Невы, не останавливаясь, пока не выйду совсем из пределов жизни, и там будет покой, и там я встречу мать, и мы не вернемся больше туда, где так мучительно настоящее и так страшно будущее. Изредка встречались фигуры с поднятыми воротниками и надвинутыми на лица шапками. В их походках и в бесцельности шага я видел ту же нереальность и завидовал им, *уже* вышедшим из жизни. Скорей бы домой, скорей бы достать с полки Толстого и читать, читать его! Наступили дни страстного мораль-

ного подъема. Я читал много и жадно. Толстой и Соловьев вернулись в мою душу и завладели ею. Прошел день, два, три, и я почувствовал желание молиться, читать жития святых, следить за каждым своим шагом, боясь аморального поступка, и, как это бывало со мною всегда, страстность моей натуры бросила меня из одной крайности в другую. Я вдруг устал от внутреннего напряжения и потерял под ногами почву.

Вскоре я переехал в Москву.

Станиславский сам следил за моим актерским развитием и уделял мне немало времени, занимаясь со мной системой. Он часто приглашал меня к себе на завтрак и, увлекаясь упражнениями на «чувство правды», не замечал, что я не успеваю есть. Когда я все же, улучив момент, брал со стола вилку, он вдруг говорил:

— А вот попробуйте есть, как будто с вами только что случилось несчастье. Ну что вы чувствуете? Вот вы простите, а я вам не верю. Человек в несчастье не будет так есть. Зачем вы так напряжены? Ослабьте мышцы и представьте себе, что ваш ребенок умер. Ну теперь ешьте! Вот, опять не верю!

Он ревниво оберегал наши занятия и даже жене своей, М. П. Лилиной, не разрешал присутствовать на них.

— Маруся, уйди, пожалуйста, ты все равно ничего не понимаешь,— говорил он ей.

Станиславский сразу же дал мне несколько ролей в текущем репертуаре и сам репетировал их со мной. Когда, режиссируя, он показывал, как надо играть ту или иную сцену, он был неподражаем! Повторить его показ сразу было невозможно. Несколько дней должно было пройти, для того чтобы душа могла усвоить всю тонкость, глубину или юмор показанного им.

Он был требователен не только к другим, но и к себе самому. Иногда во время репетиции он доводил себя до отчаяния, добиваясь нужного ему результата по своей же системе. Иногда (редко, впрочем) он даже прерывал репетицию и ехал с кем-нибудь из актеров кататься на извозчике.

— Зачем мне нужно все это! — говорил он, всхлипывая, как младенец.— Я купец, у меня есть фабрика... зачем же я должен так мучиться!

Жизнь в МХТ не была так весела, как в Малом театре. Строгая дисциплина, серьезность подхода к работе и постоянный наблюдающий «глаз» Станиславского приучили меня относиться к театру по-иному.

Зависти и интриг в МХТ не было. Станиславский и Немирович-Данченко приучили нас любить театр больше, чем собственную карьеру и выгоду. Но жажда играть была одинаково велика у всех. Пьес в театре шло сравнительно мало, и актеры не могли изжить вполне своей страсти к игре. Т. Х. Дейкарханова рассказывала мне, что даже Москвин, столько переигравший на своем веку, не был удовлетворен до конца и играл для себя. Он «хоронил» актеров и актрис МХТ, соглашавшихся на это. «Покойник» или «покойница» клались на стол, а Москвин служил панихиду, обливаясь слезами. Или он брал сделанный по его просьбе из картона маленький детский гробик, садился на извозчика и ездил по улицам Москвы, без шапки, крестясь и плача. Народ останавливался и тоже крестился.

Однажды Москвин заболел в день представления «Царя Федора», и вечерний спектакль был в опасности. Станиславский предупредил меня, что, может быть, мне придется экспромтом заменить Москвина. Узнав об этом, Москвин приехал в театр и больной, с температурой провел весь спектакль. В другой раз Москвин настоял на том, чтобы роль Опискина в «Селе Степанчикове» была передана ему уже после того, как я получил ее официально. Но все это делалось не из зависти или интриганства, но из нормального, здорового желания и даже потребности играть. Москвина я слишком любил, чтобы иметь что-нибудь против него персонально, но случай с Опискиным огорчил меня очень. Я уже успел влюбиться в роль и видел Фому Фомича в своем изображении с такой ясностью, что угасить его, забыть и разлюбить было делом нелегким. Станиславский утешал меня по-отечески. Однако вполне я успокоился, только когда увидел Москвина в этой роли. Это было так прекрасно, неожиданно и оригинально, я так был захвачен и потрясен этим новым москвинским шедевром, что почти совершенно забыл своего Фому Фомича.

В полутемном зрительном зале театра я впервые увидел М. В. Добужинского. На сцене — его декорация к «Николаю Ставрогину»[4]. Сам он сидит со Станислав-

ским за режиссерским столом. Оба они сидят молча, только изредка перекидываясь двумя-тремя словами. Издали, из темноты, я наблюдаю их. Маленькая лампочка освещает профиль Добужинского. Чем больше я смотрю на него, тем больше начинаю любоваться им. Что декорации его выразительны, полны смысла и проникнуты настроением — становится ясным с первого взгляда. Я любуюсь и ими. Но есть в них и что-то еще, чего я не могу разгадать. Я перевожу взгляд с декораций на самого Добужинского, с Добужинского на декорации, и мне начинает казаться, что как бы нити тянутся от режиссерского столика к сцене. Есть что-то *похожее* в лице Добужинского и в его декорациях на сцене. Но что же это? Временами то один, то другой из сидящих за столиком что-то чертит на бумаге под лампочкой, и потом снова — два неподвижных профиля. Когда чертит Станиславский, он весь пригибается к столу и медленно, с нажимом водит карандашом по бумаге. Не так Добужинский. Почти не отделяясь от спинки кресла, он, скорей, *пролетает* над бумагой своим карандашиком, что-то бросая на нее, откуда-то сбоку и сверху. Тронув поверхность бумаги, рука легко отлетает и падает мягко на стол. И вдруг я понял! Декорации в их композиции, в деталях и в целом, в формах, красках, пропорциях — *страшно красивы!* Вот разгадка! Так же красивы, как он сам! Отсюда — и сходство и нити! И он и они — красивы и внешне и внутренне. И тут я влюбился!

С тех пор я часто следил за ним из темноты, любовался походкой, фигурой, движениями и, как всегда, его профилем. Но я никогда не говорил с ним, не подходил к нему — мой роман развивался в одиночестве, в полутемном зрительном зале.

В год моего поступления в МХТ организовалась Первая студия. В ней Станиславский с помощью Сулержицкого вел курс занятий по системе. Е. Б. Вахтангов (годом или двумя раньше меня пришедший в театр) помогал им в преподавании.

Вахтангов стал заниматься и со мной. Я ценил его как актера и педагога, но всегда считал, что его настоящее дарование и сила проявлялись в его режиссерских работах и идеях. Он всем существом чувствовал разницу между психологией *режиссера* (показывающего) и *актера* (делающего). Он мог переключиться по желанию из *показыва-*

ющего в *делающего* и наоборот. Как показывающий он приобретал уверенность, легкость и ловкость. Его чувство ответственности становилось свободным от эгоистического страха перед публикой и перед возможной неудачей.

Я многому научился от Вахтангова. Он был *мыслящим* художником, и это его качество в нем привлекало меня. С ним можно было *говорить* об искусстве. У него были идеалы и проблемы (отличительная черта русского художника). Он шаг за шагом осуществлял их в своих постановках и быстро рос и развивался.

Мы скоро подружились с ним.

Он просил меня однажды прийти на закрытую генеральную репетицию «Дибука»[5] в «Габиме». В зрительном зале никого, кроме нас, не было. Во время репетиции я несколько раз выражал ему свои восторги, говоря, что понимаю происходящее, несмотря на незнание языка. Он оставался равнодушным к моим похвалам и молча ждал окончания репетиции. Когда последний занавес опустился, он вызвал актеров так, как они были, в гримах и костюмах, в зрительный зал и при всех спросил меня, *все* ли я понял из того, что происходило на сцене. Я сказал, что только немногие места остались мне непонятными из-за незнания древнееврейского языка. Он просил меня сказать, какие именно сцены остались для меня непонятными. Я перечислил их, и Вахтангов, обратившись к актерам, сказал:

— То, что Чехов не понял в спектакле, зависело не от языка, но от того, что вы плохо играли. Хорошая игра должна быть понятна всем, независимо от языка. Мы будем репетировать снова все сцены, названные Чеховым.

Он репетировал до глубокой ночи и достиг поразительных результатов. Я сам был изумлен, как много может сделать одна игра, если актер перестает надеяться на *смысловое* содержание текста, данного автором, и ищет средств выразительности в *своей актерской душе.*

Я давно уже был снова во власти моих трех «наставников». Но Шопенгауэр по-прежнему доминировал над всеми. Теперь я достаточно «созрел», чтобы выразить ему свою благодарность. «Если ты действительно ставишь жизнь ни во что,— сказал я себе,— соверши сознательно неразумный поступок, который отразился бы на всей твоей жизни». Я стал думать. Неплохо было бы жениться: и неразумно и обременительно. Мысль эта понравилась

мне. Но на ком жениться? У О. Л. Книппер-Чеховой гостили две ее племянницы, и я решил жениться на одной из них. Не надеясь получить согласие ее родителей на брак, я задумал похищение и однажды ранним утром в далекой загородной церкви, подкупив священника, обвенчался без документов и формальностей. Свою молодую красавицу жену я скоро горячо полюбил и привязался к ней. Со свойственным ей чутьем она угадывала, в какой душевной неправде я жил, старалась помочь мне, но все же тоска и одиночество не оставляли меня. В моем письменном столе лежал заряженный браунинг, и я с трудом боролся с соблазнительным желанием.

Скоро в мои «философские» мысли стали вплетаться картины и образы, группировавшиеся вокруг двух центров. Одним из них была идея: так как Бога нет, то все, что мы называем жизнью — личной, социальной и исторической,— все это есть только сложная комбинация *случайностей*. Я мог доказать это логически. Человечество находится в опасности. Катастрофа, неожиданная и неизбежная (она-то и являлась моему воображению), может разразиться в каждое данное мгновение. Когда же я думал, что все-таки, может быть, существует разумная Мировая Душа, какой-то голос говорил мне: «А ты уверен, что Мировая Душа не сошла с ума?»

Вторым центром, вокруг которого группировались возникавшие образы, была моя мать. Теперь я уже был уверен, что неминуемая опасность нависла над ней. Увидев однажды, как горько и тихо плакала она, сидя в своей полутемной спальне, я вдруг «увидел» ее в момент самоубийства и с тех пор стал следить за ней, чтобы успеть предотвратить несчастье.

Скоро к навязчивым образам присоединились и звуки. Я стал различать, правда еще слабо, как бы отдаленные стоны, плач и крики страдающих от боли людей и животных. Животных я любил всегда, и их крики особенно волновали меня.

Ища освобождения от внутреннего хаоса, я обратился к профессору психологии Челпанову (с его трудами я был давно знаком) и просил его составить мне программу систематических занятий по философии и психологии. Он ласково принял меня, выслушал, внимательно посмотрел на меня и сказал:

— Я советовал бы вам заняться вопросами религии и отложить философию и психологию.

Его ответ разочаровал меня, и я снова погрузился в хаос мыслей и чувств.

В минуты, когда я сознавал, каким в действительности было мое душевное состояние, мне становилось тяжело от мысли, что я не успею осуществить своей мечты, не успею сыграть или поставить на сцене любимые мною образы Дон Кихота, короля Лира и Вечного Жида. Мне хотелось проникнуть в их тайны и передать их со сцены другим.

Я смотрел на Кихота и видел: он — Ангел. Смешной, печальный, незадачливый Ангел, с тазом цирульника на голове. Он из свиты самого Люцифера. Его прекрасный, но лживый властитель вложил в его сердце Любовь, но скрыл от него то царство, где можно и нужно любить: земля с ее простотой не видна гордому Ангелу в заржавленных латах. Но Любовь в его сердце, Любовь все же вела его вниз, через красивую ложь Люцифера, через видения, мечты, идеалы, вниз, вниз к земле — привела и сказала: «ты — Человек, ты — добрый идальго Кихано». Ангел снял таз и стал для нас милым, как ангел.

Путь Лира иной. Жестокий тиран, земной полубог всей своей царственной волей, всем существом привязан к земле. Его царство — он сам. Как в сказочном замке, как в башне, он заключен в своем собственном «я». Все земное подвластно ему, но душа его жаждет иного: *любви человека.* Тиран просить не умеет, искать не привык, ждать не хочет и совершает проступок: он дает повеление *любить!* Но кого же? Его самого! И снова, как в сказке, рушится царство, и сам он в ужасе мечется в подземных глубинах бывших владений своих. И там, после проклятий, мук, слез, после молитв и безумия, он все же находит Любовь. Но где? Не вовне, а внутри, в своем собственном сердце. И эта Любовь ведет его снова на землю. Но теперь Лир другой. Он не *требует,* он *дарует* любовь. Здесь он равен Кихоту. Но судьба ведет его дальше. Вернувшись на землю, он находит Корделию и снова теряет ее. На *земле* Корделии нет. И Лир вслед за ней переходит в иной мир. Занавес падает, действие кончено, не видно героев, не слышно их слов, но *жизнь* Лира не кончена: кто захочет последовать за Лиром в тот мир, где он и Корделия находят друг друга,— тот сможет увидеть и тот *эпилог,* ради которого создана вся трагедия. Здесь Лир выше Кихота. Его путь был сложнее, его просветление глубже.

Еще сложнее путь Агасфера. Нет такой муки душевной, нет такой боли, нет катастрофы, которые не стали б уделом Вечного Странника. Образ Страника нужен каждой душе, Агасфер человек: вы, я, он, все мы... Поэтому мне так хотелось сыграть его. Но сыграть не пришлось ни его, ни Кихота, ни Лира. Все же образы эти и сейчас иногда посещают меня, раскрывая мне свои тайны.

Актерская жизнь моя все еще шла параллельно с другой. Но вот постепенно «слух» мой стал обостряться. Я мог по желанию «слышать» на любом расстоянии. Сидя в своем кабинете, я «ходил» (вернее, метался) по улицам, площадям и переулкам Москвы. Куда бы я ни направил свое внимание, всюду я «слышал» звуки и по ним составлял себе представление о том, *что* тут или там происходит. Желание играть постепенно угасло, и я оставил театр (тайком убежав со спектакля во время антракта, в костюме и гриме). В течение целого года я не выходил из дома и даже старался не покидать своей комнаты: «образы» подступали вплотную к дверям и ждали меня за порогом. Отношение мое к людям изменилось. Не надо было «видеть» и «слышать» (как это поневоле приходилось делать мне), для того чтобы понять, что мир есть возникшая в беспредельности потенциальная катастрофа. Элементарная истина эта открывалась простому логическому мышлению — так рассуждал я, — но люди не хотели мыслить, и я жалел их, возмущался ими и втайне не считал их нормальными. Приходилось быть осторожным и внимательным в общении с ними, вести себя просто, как со здоровыми, и уметь молчать, когда это было нужно.

По настоянию Станиславского я согласился на консилиум московских психиатров. Три или четыре знаменитости пришли ко мне в дом и ласковыми, спокойными голосами, «как со здоровым», начали разговаривать со мной и задавать мне вопросы. Почти против своей воли я из жалости к ним стал еле заметно «играть» то, что могло показаться им симптомами душевной болезни. Между нами установились тонкие, до крайности деликатные отношения. Я был доволен. Мысленно поставив за них диагноз на основании моей «игры», я терпеливо ждал их ухода. Но вот один из моих гостей неожиданно и без всякой надобности жестоко обидел меня: он попросил меня пролезть между стеной и спинкой дивана! Это было грубо и унизительно! Мое сочувствие к нему и к его коллегам пропало. Я перестал «играть» для них симптом болезни и предоставил им самим искать выход из неловкого поло-

жения. Но я насторожился, когда один из них предложил мне одеться и выйти с ним на улицу. Если выходка с диваном была не умна, то прогулка внушала опасения. Я уже не был уверен в них. Что они затевали? Я заупрямился. Они деликатно настаивали. Но я уже не верил в их деликатность. Вдруг мне пришла в голову мысль! Внимательно и быстро осмотрев их, я увидел, что один из них был худ и мал ростом. Я без труда мог справиться с ним физически. Кроме того, я знал, что, если я *захочу,* я могу увеличить свою физическую силу до очень большой степени. Я согласился выйти на несколько минут с моим слабым гостем. Гуляя, я следил за каждым его движением и готов был броситься на него каждую минуту. Физическая сила моя возросла до предела, я чувствовал себя непобедимым и решил щадить моего спутника до последней минуты. Неприятная прогулка скоро окончилась, но консилиум продолжался еще долго. Я потерял всякое уважение и жалость к моим непрошеным посетителям, хотел остаться один и с трудом переносил их присутствие. По их уходе мне было сказано, что врачи доложат о своих наблюдениях самому Станиславскому. Мнение их меня мало интересовало, я устал и был рад их исчезновению. Встреча с учеными знаменитостями (которых я уважал до сих пор) теперь еще больше разочаровала меня в людях.

Два обстоятельства ухудшили мое положение за этот год. После четырехлетнего замужества жена моя Ольга ушла от меня с человеком, о котором я хочу сказать несколько слов[6]. Это был авантюрист того типа, о котором мне так много и занимательно рассказывал мой отец. Изящный, красивый, обаятельный и талантливый человек этот обладал большой внутренней силой, неотразимо влиявшей на людей. Он безошибочно достигал всех своих целей, но цели эти всегда были темны и аморальны. Он выдавал себя за писателя и часто увлекательно излагал нам темы своих будущих рассказов. Одна из первых же тем, рассказанная им, была мне давно известна. Он рассказал мне, что силы своей над людьми он достигает путем ненависти, которую он может вызвать в себе по желанию. Однажды я просил его продемонстрировать мне свою силу. Под его влиянием я должен был выполнить определенное действие. С полминуты он сидел неподвижно, опустив глаза. Я видел, как лицо, шея и уши его краснели, наливаясь кровью. Наконец он взглянул на меня. Выражение его глаз было отвратительно! Под его

взглядом, полным ненависти, я выполнил то, что он хотел. Эксперимент этот доставил мне мало удовольствия — я предпочел бы не видеть его искаженного злобой лица. Прошло еще полминуты, и его лицо приняло обычное веселое выражение и стало обаятельным. Как всегда. Когда на улицах Москвы еще шли бои, когда через несколько домов от нас артиллерия расстреливала здание, в котором засели юнкера, когда свист пуль слышался не переставая днем и ночью и стекла в окнах были выбиты и заложены изнутри подушками — авантюрист, о котором я говорю, свободно ходил по улицам, ежедневно посещая нас, был весел и очарователен, как всегда. Смеясь, он говорил, что его не могут убить.

— Если ты умеешь презирать жизнь до конца,— говорил он,— она вне опасности.

Под его влиянием Ольга ушла от меня.

Помню, как, уходя, уже одетая, она, видя, как тяжело я переживаю разлуку, приласкала меня и сказала:

— Какой ты некрасивый. Ну, прощай. Скоро забудешь.— И, поцеловав меня дружески, ушла.

Вторым обстоятельством, ухудшившим мое душевное состояние, было то, что двоюродный брат мой Володя застрелился, похитив браунинг из моего письменного стола.

Я поехал проститься с телом брата накануне его похорон. Три момента запечатлелись в моей памяти. И. П. Чехов (отец Володи) неподвижно и молча стоит в дверях дальней комнаты — прямой, худой, с вытянутой шеей, с высоко поднятыми бровями, как бы вглядываясь в даль или прислушиваясь к неясному звуку. Нос его заострился. Костюм висит, как с чужого плеча, и складки брюк внизу падают так, что он кажется прикрепленной к полу деревянной фигуркой. На мой поклон он не ответил. Мать Володи сидит в кресле со спокойным, почти улыбающимся лицом. Я никогда не видел ее такой нежной и простой. Но я с трудом узнаю ее лицо. Те же знакомые мне черты, но за ними — другое, новое, совсем незнакомое мне существо.

— Поди к нему, Миша,— шепчет она,— но, пожалуйста, голубчик, не кричи.

Вижу лицо Володи в гробу. Он не изменился. Таким я знал его, когда он бывал весел. Часто мы оба мазали себе лица красками или жженой пробкой, изображая клоунов или играя в шарады. И теперь лицо его покрыто, как

бы в шутку, черно-синими пятнами. На голове повязка, как будто он изображает смешного турка в чалме. Я не могу ощутить смерти, и это особенно тяжело мне.

Спасаясь от голода, Студия МХТ выехала с гастрольными спектаклями на юг и Кавказ. Но голод гнал не только нас. Сотни крестьян, баб и мужиков, пробирались на юг, в хлебные губернии. Они осаждали поезда, прячась в ящиках около рессор, вися на буферах и на ступеньках площадок, и гибли под колесами вагонов, сваливаясь от изнеможения на полотно железной дороги. Солдаты, по распоряжению из центра, вели с ними ожесточенную борьбу, но голод все же гнал их вперед. Иногда на остановках, когда солдаты приближались к ним, они хватали камни и, удерживая солдат на расстоянии, ждали, когда снова тронется поезд.

В душе моей росло и крепло сознание незначительности и ненужности того, что делаем мы, актеры. Наши репетиции и спектакли, всегда такие чистенькие и аккуратные,— какое значение имеют они в наши дни? Даже репетиции Вахтангова, цельные, художественно завершенные и волнующие, вызывали во мне легкое подозрение и стыд. Полная любви атмосфера «Сверчка на печи», юмор «Потопа» — что дают они голодным, дичающим людям? Не абстрактное, ничего не чувствующее «человечество» историков и политических деятелей занимало меня, но те конкретные, живые люди, которые сейчас, в эту минуту, висят под вагонами поезда. Не проходим ли мы *мимо* действительности с нашим утонченным искусством? — спрашивал я себя. И все же по мере продвижения вперед все пережитое становилось для нас только воспоминанием, и сама голодная Москва тускнела и уходила из наших умов и сердец. Все, что мы видели в ней — трупы лошадей, окруженные стаями голодных собак, изможденные злые лица горожан, изыскивающих пропитание, грязные беспризорные дети,— все это было почти забыто, когда мы, выехав из голодного района, со свойственным человеку эгоизмом набросились на хлеб и белые булки.

Потому ли, что окружающая жизнь показывала мне мое бессилие, или по другим, неясным мне самому причинам, но проблема *силы* стала серьезно занимать меня. Как-то в разговоре с Вахтанговым мы оба должны были признаться друг другу, что нам знакома возникающая

в нас временами непонятная нам сила. У меня — во время игры на сцене, у него — в повседневной жизни. Сила эта давала мне власть над публикой, ему — над людьми, окружавшими его. И хотя мы оба условились признать эту силу отрицательной, все же в течение некоторого времени мы позволяли себе кокетничать с нею: Вахтангов достиг однажды намеченной им (безобидной) цели путем концентрации на желаемом, я же удовлетворился несколькими удавшимися мне опытами гипноза. Еще без всякого религиозного чувства я стал читать одну за другой книги о йогах и их способах внутреннего развития. Новая тема (о силе) скоро увлекла меня, и я проводил за книгами все свободное время.

Мы всегда любили подшутить друг над другом, и Вахтангов часто говорил мне:

— Если бы у тебя не было знаменитого дяди, ты никогда бы не сделал себе карьеры в театре.

Он знал, что эта тема несколько раздражала меня, и поэтому любил ее особенно. Он пришел в большой восторг, когда узнал, что после одного из спектаклей «Вишневого сада», где я играл Епиходова, какой-то гражданин из публики указал на меня пальцем и прокричал:

— Вот он! Вы подумайте: сам же пишет и сам же играет!

Нередко Вахтангов и я проводили свободные от спектаклей вечера, импровизируя сценки и образы. Вахтангов делал это с особенным мастерством. Часто он начинал свою импровизацию без предварительного плана. Первое, случайное действие давало импульс его фантазии. Он видел, например, на столе карандаш, брал его в руку и то, *как* он делал это, становилось для него первым звеном в цепи последующих моментов. Рука его *неуклюже* берет карандаш, и немедленно лицо его и вся фигура изменяются: передо мной стоит простоватый парень. Он смущенно глядит на свою руку, на карандаш, медленно садится к столу и выводит карандашом инициалы... *ее* имени. Простоватый парень влюблен! На лице его появляется румянец, он конфузливо глядит на инициалы и снова и снова обводит их карандашом, пока инициалы не превращаются в черные бесформенные кружки с завитками. Глаза парня полны слез: он любит, он счастлив, он тоскует о ней. Карандаш ставит большую точку, и парень идет к зеркалу, висящему на стене. Гамма чувств проходит в его душе и отражается в глазах, в губах, в каждой черте лица, во всей фигуре... он любит, он сомневается, надеет-

ся, он хочет выглядеть лучше, красивее, еще красивее... слезы текут по его щекам, лицо приближается к зеркалу, он уже не видит себя, он видит *ее*, только *ее* одну, и парень в зеркале получает горячий поцелуй от парня перед зеркалом...

Так импровизирует Вахтангов дальше и дальше, пока это забавляет его. Иногда он берет определенную задачу. Пьяный пытается надеть галоши, опустить спичку в бутылку с узеньким горлышком, закурить папиросу или надеть пальто с вывернутым наизнанку рукавом и т. п. Изобретательности и юмору Вахтангова в таких шутках нет предела. И не только он, изображающий пьяного, смешон, но и сами предметы, с которыми он играет,— спичка, папироса, галоши, пальто — становятся смешными, оживают в его руках и приобретают что-то вроде индивидуальности. И еще много дней спустя юмор Вахтангова остается на предметах, оживленных им, и при взгляде на них становится смешно.

Вахтангов, неутомимый работник, дни проводил в Студии МХТ, ночи — в своей (Третьей) студии. По возвращении в Москву, несмотря на развивавшуюся болезнь, он удвоил свою энергию. Я убежден, что, чувствуя бессознательно приближение смерти, он спешил сделать как можно больше.

Параллельно с Эриком я под режиссерством Станиславского репетировал Хлестакова в МХАТ. Репетиций было много, и бóльшая часть из них была до крайности мучительна. Станиславский был требовательный режиссер. Иногда он не различал режиссуры от педагогики и относился к актерам как к плохим ученикам. Для него не существовало авторитета даже таких артистов, как Москвин, Качалов, Книппер, Грибунин,— он на всех покрикивал и многих восстановил против себя.

Помню, Москвин, Книппер и я слегка перепутали текст нашей уже много раз репетировавшейся сцены и из зрительного зала услышали холодный и строгий голос:

— Стоп! Тринадцать раз извольте повторить текст!

Мы, как школьники, стали вслух повторять наш текст. Станиславский с упорством громко считал до тринадцати, отстукивая пальцем по столу.

Но все же его любили и боялись все, кроме Л. М. Леонидова. Со свойственным ему бешеным темпераментом и несдержанностью Леонидов приводил в ужас Станиславского.

Одна из трудных сторон работы со Станиславским была еще и та, что, создавая свою систему, он часто менял ее, забывая о том, что говорил вчера.

— Какой дурак сказал вам это? — спрашивал он иногда с негодованием о том, что сам же преподал нам еще накануне.

Очарователен был Станиславский, когда он *показывал* актерам, как надо играть. Тут он давал свободу своему таланту. Правда, фантазия его иногда незаметно для него самого уводила его далеко от темы, и он начинал показывать сцены, вовсе не существующие в пьесе, но все это было так хорошо и талантливо, что его никогда не останавливали и не возвращали к теме.

Постановка «Ревизора» удалась, имела успех, и он сам любил смотреть этот спектакль. Он громко смеялся, сидя в зрительном зале. То смех его слышался раньше, чем следует (он ведь знал, что сейчас будет), то запаздывал, выжидая реакции публики. Иногда он смеялся один на мелкие детали, выдуманные им во время репетиции и не доходившие до сознания публики.

Из педагогических соображений после каждого акта он заходил ко мне в уборную и, если я играл хорошо, говорил:

— Ужасно! Никому не нужно! Три копейки! Надо все сначала репетировать.

Или, когда я плохо играл, он входил ко мне с неестественной улыбкой и, не глядя в глаза, говорил:

— Очень хорошо. Просто хорошо. Роль растет. Поздравляю.

В первом случае он боялся, чтобы я «не зазнался», во втором — чтобы «не упал духом».

Однажды (в частной жизни), желая удержать меня от неправильного поступка, он сказал мне несколько сердечных слов о Боге. Я ответил ему какой-то атеистической пошлостью, и он с сожалением и легким презрением взглянул на меня. Этого взгляда я не забыл еще и сейчас. В другой раз он передал мне поклон от того психиатра, который на консилиуме неуважительно отозвался о Шопенгауэре. Я сказал, что профессор этот глуп и что я не люблю его. Станиславский вдруг со злобой, которой я раньше не видел у него, резко сказал:

— А кого вы любите! — и отвернулся от меня.

О Хлестакове и об Эрике много писали и говорили. Мне часто приходилось слышать на улицах разговоры о себе.

— Если Чехов будет так же играть и дальше,— услышал я однажды,— то он непременно сойдет с ума.

Эта фраза врезалась в мое сознание, я почувствовал, что теряю душевное равновесие, и стал бороться с этой фразой как с живым существом. Через некоторое время под влиянием возвратившихся болезненных ощущений я стал заикаться. Придя к Станиславскому, я сказал ему, что играть, по всей вероятности, больше не смогу. Выслушав меня, он встал и сказал:

— В тот момент, когда я открою окно, вы перестанете заикаться.

Так оно и случилось. Я продолжал играть.

Несмотря на то, что сам Станиславский поощрял нас, молодых актеров, к созданию первых спектаклей студии и сам принимал близкое участие в нашей работе, скоро стало заметным его отчуждение от нас. Ревновал ли он нас к нашей самостоятельности или был не согласен с направлением, в котором вел нас Вахтангов, судить не берусь, но он, а за ним и все «старики» МХТ отстранялись от нас все больше и больше. Вахтангов отчасти под влиянием Мейерхольда, отчасти в силу наклонностей своего собственного таланта все больше отходил от натурализма. Он вел нас сначала через «стилизацию», как, например, в «Эрике XIV», потом заражал нас «театральностью», выявленной им ярче всего в его блестящей постановке «Принцессы Турандот» (показанной в его студии). Я склонялся к направлению Вахтангова. Станиславскому это не нравилось, и он несколько раз вызывал меня на беседы с ним о «направлении», увлекавшем меня. (Его неудовольствие по отношению ко мне выразилось в том, что он стал называть меня не Мишей, как прежде, но Михаилом Александровичем.) Официально признавая такие постановки Вахтангова, как «Дибук» и «Турандот», он в частных беседах все же критиковал их. *Ту правду,* которую Станиславский привил русскому театру, правду, которую так полюбили и оценили вся русская публика и актеры, он называл *натурализмом* и, как мне казалось, не отличал от *реализма.* Реализм так же правдив, как и натурализм, с той только разницей, что реальным может быть всякий *фантастический* образ, ситуация или психология. Баба Яга, Иван-царевич, Змей о двенадцати головах из русской сказки или архангелы в прологе гетевского «Фауста» могут быть правдивы и реальны на сцене, но они не подходят

под определение натурального. Все, что сделал Вахтангов в «Принцессе Турандот» и в «Дибуке», было не натурально, но реально и правдиво. Это было «театрально», по определению Вахтангова. Станиславский поставил, с одной стороны, «Синюю птицу», с другой — «Бронепоезд». Сценическая *правда* делала для него обе эти постановки художественно равноценными, и он не замечал, что «Бронепоезд» по сравнению с живой фантастикой «Синей птицы» был не больше как фотографическим повторением событий 1918—1920 годов. Это была *натура*, то есть то, что *уже* существовало, независимо от театра, независимо от искусства вообще. Недостаток перспективы во времени делал эти события на сцене нехудожественными, лишенными элемента фантастики. Когда в первые месяцы Октябрьской революции В. И. Немировича-Данченко спросили, не правда ли, что наше время дает богатый материал для создания трагедий в стиле и масштабе Шекспира, он ответил:

— Это станет правдой через шестьдесят лет.

Когда в 1928 году, уже за границей, Станиславский вызвал меня на беседу о его системе (это была последняя наша встреча), мы договорились (хотя и не согласились) относительно двух пунктов, вызывавших разногласие. Первым из них был вопрос об «аффективных воспоминаниях». Станиславский находил, что воспоминания из личной, интимной жизни актера, если сосредоточиться на них, приведут к живым, творческим чувствам, нужным актеру на сцене. Я же позволял себе возражать ему, что истинно творческие чувства достигаются через *фантазию*. По моим понятиям, чем меньше актер затрагивает свои *личные* переживания, тем больше он *творит*. Он пользуется при этом очищенными от всего личного творческими чувствами. Душа его *забывает* личные переживания, перерабатывает их в своих подсознательных глубинах и претворяет их в художественные. Прием же «аффективных воспоминаний» Станиславского не позволяет душе забыть личные переживания. Мое мнение подтверждалось для меня еще и тем, что «аффективные воспоминания» часто приводили актеров (преимущественно актрис) в нервное и даже истерическое состояние.

В связи с этим первым пунктом находился и второй. Он касался того, *как* актер должен фантазировать, или, по выражению Станиславского, «мечтать» об образе своей роли. Если актер играет, например, Отелло, то он должен вообразить *себя* в обстоятельствах Отелло. Это вызо-

вет в нем чувства, нужные ему для исполнения роли Отелло, утверждал Станиславский. Мое возражение заключалось в следующем. Актер должен *забыть себя* и представить в своей фантазии Отелло, окруженного соответствующими обстоятельствами. Наблюдая Отелло (но не себя самого) в своем воображении, как бы со стороны, актер почувствует то, что чувствует Отелло, и чувства его в этом случае будут чистыми, претворенными и не будут втягивать его в его собственную личность. Образ Отелло, увиденный в фантазии, воспламенит в актере те таинственные, творческие чувства, которые обычно называются «вдохновением».

Оба пункта нашей беседы, в сущности, являются одним: *надо ли устранять или привлекать к творческой работе личные, непроработанные чувства актера?* Беседа эта, так много выяснившая для меня, происходила в берлинском кафе на Курфюрстендам. Мы встретились около девяти часов вечера и разошлись в пять часов утра.

Я с признательностью вспоминаю эти часы, подаренные мне Станиславским.

На третьем этаже Студии МХТ была небольшая, узкая и длинная комната с одним окном и скудной мебелью. В этой комнате работал и подолгу жил истинный вдохновитель и творец студии Леопольд Антонович Сулержицкий. Много передумал он в этой комнате, стараясь наилучшим образом сорганизовать совместную жизнь студийцев. Его фантазия подсказывала ему все новые формы управления студией, где каждый из нас мог бы получить наибольшую радость как в часы работы, так и отдыха. Он часто советовался об этом со своим учеником и другом Вахтанговым.

Для каждого из нас было радостью войти в комнату Сулержицкого. Несмотря на ее неприглядную внешность, она была полна теплой, дружеской атмосферы и производила впечатление уютной и даже неплохо обставленной комнаты.

Почему мне казалось всегда, что живет в ней не один Сулер (так называли Леопольда Антоновича), а два? Не потому ли, что слишком богата была его внутренняя жизнь, что за словами, поступками и настроениями его всегда чудилось что-то больше того, что можно было видеть и слышать в обычном смысле?

Я гляжу на него в образе моих воспоминаний и вижу: маленький подвижный человечек, с бородкой, глазки смеются, брови печальны. Казалось, войдет он в комнату и не заметят его. Но Сулер входил, и все, кто знал и не знал его, все оборачивались, все глядели на Сулера, не то ожидая чего-то, не то удивляясь чему-то. И чем скромнее он был, тем пытливее делались взгляды. И мне казалось: вот Сулер маленький, скромный, а вот Сулер большой, удивляющий, значительный и даже «нехотя» имеющий власть над людьми. И ходили и двигались эти два Сулера различно. Маленький, с бородкой — кривился набок, покачивался конфузливо, втягивал кисти рук в длинные рукава и слегка дурачился, слегка представлял простака (чтобы спрятаться). Другой, большой, Сулер держал голову гордо (при этом большой лоб его становился заметен), кисти рук появлялись из-под рукавов, и жесты их становились завершенными, красивыми и имели всегда один и тот же определенный характер... как бы выразить это... они были *моральны*. Взгляните на жесты человека, когда он говорит. Отвлекитесь от смысла слов его и попробуйте сами подобрать слова к его *жестам*. Много неожиданного «услышите» вы от человека через язык его жестов. Пусть он перед вами в прекрасных словах развивает свои идеалы, а посмотрите на руки, на жесты его, и вы, быть может, увидите, как он угрожает вам, оскорбляет, толкает вас. Язык жестов правдивее слов. Так и у Сулера. Он или не делал жестов совсем, или жесты его говорили о любви, человечности, нежности, чистоте — словом, были *моральны*. Случалось, что Сулер сердился, кричал, угрожал, а жесты выдавали его, говоря: все вы мне милы, я люблю вас, не бойтесь.

Любил Сулер детей и особенно младенцев в люльках. Часами просиживал он над люлькой своего младшего сына и хохотал над чем-то до слез, безудержно и до усталости. А когда среди взрослых он бывал весел и смеялся, его жесты были жестами младенца в люльке: ладони раскрыты, руки беспредметно двигаются в воздухе, вверх, вниз, кругами — словом, как в люльке.

Часто Сулер тосковал. По-своему, по-особенному. Я видел его в его комнате на третьем этаже, когда он тосковал. Вот он стоит у стены, плотно прижавшись к ней боком и лбом. Глаза закрыты. Он слегка, еле слышно напевает неизвестный, вероятно, им самим сочиненный мотив, а рука легко отбивает такты и ритмы по той же стене. Ритмы меняются, «слышны» тоскливые ноты, «ферма-

та», вот «стаккато», «легато», вот пауза, долгая, грустная, вот темп растет и видно: Сулер несется куда-то под тоскливое мурлыканье песенки. Я знаю, он часами простаивал так у стены. Или он тосковал, улыбаясь какой-то особенной, доброй улыбкой, прищурив глаза и двигаясь медленно, нехотя. Днями не сходила эта улыбка с его лица, и мы знали: Сулер тоскует. Но когда он был весел — сколько строгости он умел напустить на себя! Он был страшен — так думал он, — и это забавляло его (да и нас).

Иногда Сулер брал метлу и в зале, где было больше студийцев, начинал подметать. Это означало, что нехорошо чувствовать себя господами, что всякий труд достоин уважения и что если мы действительно любим свою студию, то и пол самим подмести не мешает.

Во время работы над «Сверчком на печи» Сулер (как художественный руководитель, он принимал участие во всех постановках) раскрыл для нас *душу* этого произведения Диккенса. Как он сделал это? Не речами, не объяснениями, не трактовкой пьесы, но тем, что сам на время работы превратился в диккенсовский тип, собственно в Калеба Племмера, игрушечного мастера. Не думаю, чтобы он сознавал эту перемену в себе. Она произошла в нем сама собой, правдиво и естественно, как и все хорошее, что делал он. Его присутствие на репетициях создавало ту атмосферу, которая так сильно передавалась потом публике и в значительной мере содействовала успеху спектакля. Вот он сидит на низеньком трехногом стульчике перед своей слепой дочерью Бертой и поет ей веселую песенку. Слеза бежит по его щеке. Рука сжимает кисть с красной, веселой краской, спина согнулась, шея вытянулась, как у испуганного цыпленка. Песенка кончена, слепая Берта смеется, смеется и Сулер — Калеб, украдкой вытирая мокрую щеку. На щеке остается большое пятно от тряпки, пропитанной красками. Я смотрю на Сулера, и в душе моей растет и крепнет то, что нельзя выразить никакими словами, — я знаю, что *сыграю Калеба,* я уже люблю его (и Сулера) всем существом, всем сердцем. Вот Сулер — Тэкльтон. Он входит на сцену с прищуренным глазом, злой, мрачный, жестокий, сухой. Произносит две-три фразы и... вдруг слышит сдержанный смех... Он останавливается, ищет глазами смеющегося и находит Вахтангова. Виновато прижимая руки к сердцу, Вахтангов сквозь смех старается оправдаться перед Сулером, объяснить ему что-то. Но Сулеру не нужно объяснений, он и сам хохо-

чет, долго, закатисто и, как всегда, до слез. Он не может изображать злых и отрицательных людей без того, чтобы они не были смешны. Зло, которого Сулер сам никогда не боялся, всегда было смешным в его изображении. Тэкльтон Сулера смешон в его злобности, но Вахтангов играет Тэкльтона без юмора. Он действительно зол и жесток. И Джона, и Малютку, и девочку Тилли изображает Сулер, и все, что он делает, и вся репетиция проникнуты атмосферой диккенсовской любви, уюта и юмора.

Сулер кончает репетицию, надо уходить, но уйти невозможно. Уже поздно, но Сулер предлагает устроить чаепитие. Завтра рано вставать, но этот ночной чай, эта атмосфера Сулера — Диккенса зачаровывает всех нас, участников «Сверчка», и мы сидим, сидим... Я остаюсь позже всех. Я привык не спать по ночам, люблю ночные часы, и, когда все расходятся, Сулер и я идем в декоративную мастерскую и вырезываем, клеим, красим игрушки для калебовской бедной комнаты. Сулер разложил на полу мешок и старательно выписывает серой краской «glass»* на шершавой поверхности будущего пальто старого Калеба. «Glass» придется как раз на спине, как это сказано у Диккенса. Он зевает, трет глаза кулаками и снова рисует или делает куклу с удивленными глазами или паяца, такого «страшного», что сам, глядя на него, начинает хохотать.

Совсем иным, чем в период «Сверчка», был Сулер во время работы над «Праздником мира» Гауптмана. Острый, нервный, проницательный, он вместе с Вахтанговым разбирал запутанную психологию «больных людей», вводя нас в атмосферу пьесы. И другим он был во время постановки «Потопа». «Потоп» репетировался долго и нелегко нам давался. Пьеса не имела ясно выраженного стиля, не выявляла индивидуальности автора. Мы не знали, следует ли ее играть как драму или как комедию. И то и другое было возможно. Решили играть как комедию. Но юмор скоро иссяк, и репетиции проходили бледно, безрадостно. Пришел Сулер и сказал:

— «Потоп» есть трагедия. Со всей искренностью и серьезностью мы будем репетировать каждый момент как глубоко трагический.

Через полчаса хохот стоял на сцене. «Потоп» как трагедия оказался невероятно смешон. Сулер торжествовал — он вернул нам юмор «Потопа». Скоро пьеса была показана публике.

---

* Стакан, стекло *(англ.)*.

Станиславский глубоко ценил Сулера как художника и искренне любил его как человека. Когда Станиславский был опасно болен, Сулер ночи просиживал около его постели. Он никогда не щадил себя, если его помощь нужна была другим.

Сулержицкого называли толстовцем, но если это и было так, то он был толстовец особенного типа. Ни следа фанатизма или сектантства не было в нем. Все, что он делал доброго и хорошего, исходило от *него самого,* было органически ему свойственно, и идеи Толстого не наложили на него внешнего отпечатка. Известно, что Толстой любил его и, может быть, именно за то, *как* он воплощал его идеи. Все, что Сулержицкий усваивал со стороны — было ли это учение Толстого или система Станиславского,— все он перерабатывал в себе и делал своим, никому не подражал, был во всем оригинален и своеобразен. В его рассуждениях о жизни, добре, морали и Боге мы никогда не слышали шаблонных мыслей и фраз, вроде: «каждый верует по-своему», «история повторяется», «добро — понятие относительное», «человек есть всегда человек», «истина проста», «живем мы однажды» и т. п. Такие фразы (для многих заменяющие мышление) были не нужны Сулержицкому.

Когда Сулержицкий умер, гроб с его телом стоял в нашей студии.

После похорон, на гражданской панихиде, среди говоривших о нем выступил и Станиславский. Он был бледен, и губы его дрожали. Речи своей он не кончил и, сдерживая рыдания, ушел за кулисы нашей маленькой сцены[7].

Поскольку позволяли дела театра, я ездил на гастроли в Петербург и по провинции с ролью Хлестакова. В Петербурге я играл в Александринском театре на той дорогой мне сцене, где я видел когда-то Варламова, Давыдова, Савину, Стрельскую, Далматова. Я горячо любил не только Александринский театр, но и Петербург, где я родился и жил до поступления в МХТ. Удивительно, как сохранилась для меня вся сказочность и нереальность Петербурга, воображенные и нафантазированные в детстве. Пожарная каланча на Невском проспекте, не каланча, а замок, полный тайн, то необитаемый, то скрывающий за красными своими стенами сонмы странных существ, по временам вырывающихся на свободу со звоном, шумом

и грохотом. Паровичок, ходивший к Александро-Невской лавре, оживал и делался опасным и недобрым, когда близко подходил к тротуару, а потом снился часто, гоняясь за мной по каменным лестницам дома, из первого этажа во второй, из второго в третий, пока я не захлопывал перед ним дверь и потом слышал, как, недовольный, он, погромыхивая, катился вниз. Невский проспект не имел ни начала, ни конца и тянулся через весь мир. Откуда-то шли и ехали люди и, не останавливаясь, куда-то исчезали — из вечности в вечность. Пять Углов представлялись мне как неразрешимая задача, и люди там казались заблудившимися, потерявшими направление. И теперь, гуляя по улицам Петербурга, я чувствовал их нереальность и на душе становилось волнительно-приятно.

Репетиция. Я знакомлюсь с режиссером Е. П. Карповым и с труппой театра. Ко мне подходит старушка актриса и дружески пожимает руку. Это Домашева. Хочется сказать ей, как много лет назад я восторгался ее игрой, как учился, глядя на нее, но я сдерживаю свои восторги: вспоминать пришлось бы о молодой очаровательной девушке, передо мной же стояла старушка. Но зачем она здесь, на репетиции «Ревизора»? Кого может она играть в этой пьесе? Для маленькой роли Пошлепкиной она слишком почтенная, слишком знаменитая актриса, а других старушек в пьесе я не знаю. Я спросил режиссера. Он ответил: ее роль в «Ревизоре» — Марья Антоновна, дочь городничего. Барышня лет шестнадцати, почти девочка! Домашевой же было тогда за шестьдесят![8] «Что же будет с моим темпом? — пронеслось у меня в голове. — Пропала сцена! А публика? Ведь будут смеяться!» Я скрыл свой испуг. Репетировать начали со второго акта, с выхода Хлестакова. Репетиция с гастролером — явление особого порядка. Предполагается, во-первых, что гастролер не нуждается в репетиции: он все знает. Единственно, что ему нужно, это удобная для него мизансцена партнеров. Эти мизансцены он и должен им указать. Во-вторых, он получает состав, уже игравший пьесу, в которой выступает гастролер... Репетиция поэтому бывает обычно одна, и походит она больше на урок танцев, чем на репетицию: все всем кланяются, все вежливо и легко скользят по полу в pas chassé, все улыбаются, всех все устраивает. «Могли бы вы, если это вам не совсем неудобно, на шаг отступить...» — «О, с восторгом! Вот так?» — «Прекрасно, прекрасно!» — «Очень рад». — «Могу я просить вас привстать и слегка поклониться, когда я...» — «Ага! Я пони-

маю вашу идею! Так? Выше? Ниже?» — «О, так, совершенно так, как вы это сделали! Чудесно! Мерси!» — «Рад служить!» Режиссеру на таких репетициях дела не много. Он вежливо присутствует и одобрительно кивает головой, встречая чей-нибудь взгляд. Так прошла и сцена с Домашевой. Слова бормотали или шептали, делая неопределенные жесты (намечая!) и только внезапно ударяя на репликах для вступления партнера.

Мы быстро дошли до четвертого акта. Перед сценой Растаковского я заметил замешательство среди актеров. Сцены этой в МХТ я не играл, в составе же Александринского театра почтенный, старый, заслуженный артист К.[9] всегда играл роль Растаковского и был знаменит в Петербурге в этой роли. Прежде чем я понял, в чем дело, я увидел умоляющие глаза моих коллег. Они страдали за своего старшего товарища, но и не решались просить меня сыграть эту сцену экспромтом. В глубине сцены я увидел самого К. Высокий старик с седой головой был мрачен и обижен. Постояв с минуту или две, он печально покачал головой и медленно направился к выходу. В это время я уже успел понять, в чем дело, и, бросившись к нему, просил его оказать мне честь сыграть со мной сцену Растаковского. Он показал мне свои мизансцены, я обещал ему выучить слова Хлестакова к завтрашнему спектаклю, и он, довольный, раскланялся и удалился. Труппа была тоже довольна и благодарила меня.

Наступил спектакль. В первом акте я встал за кулисы, чтобы посмотреть, что будет делать шестидесятилетняя Домашева. Когда на сцену выбежала Марья Антоновна, я с облегчением понял, что Домашеву удалось заменить молодой актрисой. Марья Антоновна была прелестна! Ее молодость, несомненный талант, ее чудный звонкий голос, обаяние — все поразило меня. Стоя за кулисами, я, как это бывало в молодости, с молниеносной быстротой влюбился и в Марью Антоновну, и в актрису, игравшую ее. Я впился в нее глазами, следя за ее грациозными и вместе с тем провинциально-смешными движениями. Какой талант! И вдруг... или это только показалось мне?.. я увидел Домашеву! Да, это была она! Очаровательная Марья Антоновна была... Домашева! Влюбленность моя сменилась благоговением перед ее талантом, перед тем поразительным чудом, которое совершилось с ее телом, голосом, со всем ее существом. Мне захотелось играть, и я был счастлив в течение всего спектакля. Сцена Марьи Антоновны прошла под гром аплодисментов.

Совсем иными были мои провинциальные впечатления.

В одном украинском городе перед началом четвертого акта «Ревизора» в дверь моей уборной просунулся человек с черной взъерошенной головой.

— Получили?

— Что?

— Деньги.

— Какие?

— За гастроли.

— Нет.

— Не выходите на сцену!

Взъерошенный человек вбежал, схватил меня за плечи и прижал к спинке стула.

— Оставайтесь здесь и требуйте деньги!

— Да зачем же, ведь я еще не доиграл.

— И не доигрывайте! — сдавленным шепотом прокричал он.— Деньги на бочку! Я скажу им, что вы не позволяете начинать.

— Что вы, разве так можно! Я лучше доиграю.

Отступив к двери, черноволосый человек стал тяжело дышать, руки его сжались в кулаки, и глаза беспокойно забегали. Я догадался, что это был местный трагик.

— Пропали деньги! — сказал он и выбежал из уборной.

По окончании спектакля один из антрепренеров (их было два) вошел в уборную, притворил за собой дверь и, не глядя на меня, тяжело опустился на стул. Воротник его пальто был поднят, и пальцы нервно застегивали и расстегивали пуговицы. Он натер докрасна свои маленькие глазки и умоляюще взглянул на меня.

— Арестована,— прошептал он.

— Кто?

— Касса.

Он отер пот с сухого лба и, мигая, наивно уставился на меня. Изображая страдальца, он больше походил на больного с высокой температурой.

— И надо же было случиться несчастью,— плаксиво проговорил он,— как раз когда вы, вы, наш любимый артист, наш дорогой гость (публика в восторге!) приехали к нам...

Голос страдальца задрожал. Это и натертые докрасна глазки вдохновили его к слезам. Я по опыту знал, как трудно на сцене плакать и говорить одновременно, и с любопытством ждал, как выйдет страдалец из техниче-

ских затруднений речи. Неосторожно всхлипнув, он действительно скоро запутался в слезах и уже не мог больше произнести ни слова. Нужна была помощь. Дверь распахнулась, и второй антрепренер бодро, уверенно, с цветком в петлице влетел в уборную. Бросив укоризненный взгляд на компаньона, он схватил меня за руки.

— Боже ты мой, Боже великий! Слышали? Черт его знает, ведь надо же было случиться такому несчастью. Но, родной вы мой, какой вы артист! Дайте, я вас поцелую. Искра Божия, черт вас возьми! — сыпал он, не давая мне вставить слова.

— Талант, талантище, Бог вас возьми совсем!

Он отступил, рассматривая меня на расстоянии, как картину. Я хотел было заговорить, но он бросился ко мне и стал быстро крестить меня, приговаривая:

— Христос вас храни, да будут силы небесные над вами. Идите, выспитесь хорошенько и помните: у вас нет лучше друга, чем я. Увидимся завтра на вокзале. Спать, спать! — и, вытолкнув за дверь страдальца, скрылся.

В уборную ворвался трагик. Расставив широко ноги, прищуренными глазами он долго и молча смотрел на меня. Потом расхохотался, не разжимая губ, постоял еще, раздул ноздри и не без эффекта вышел из уборной. (Отелло, догадался я.)

На другое утро на вокзале перед самым отходом поезда в конце платформы я увидел обоих моих антрепренеров. Широко раскрыв объятия и перегоняя страдальца, приближался мой новый друг. Подбежав ко мне, он обнял меня, трижды, по-русски, поцеловал в обе щеки и сказал:

— В вагон, в вагон, сейчас тронется. Храни вас царица небесная!

Он впихнул меня в вагон. Высунувшись из окна, я увидел, что он достает из кармана конверт. «Принес, — подумал я с облегчением, — все-таки славный народ».

— Милый мальчик! — сказал он, передавая мне конверт. — Чудный, славный мальчик! — в глазах его блеснули слезы. «Мальчик? Уж не слишком ли это фамильярно?» — подумал я и хотел было обидеться, но сдержался: подтянувшись к окну, друг мой с рвением снова крестил меня, шепча слова молитвы. Легкими движениями головы он давал мне понять, что его нельзя перебивать. Он молился, пока не тронулся поезд. Тут он поднял обе руки и, как бы отпуская поезд, громко прокричал:

— Ну, теперь с Богом!!!

Страдалец, стоя рядом с ним, кланялся и махал шапочкой. Войдя в купе, я раскрыл конверт, чтобы убедиться, всю ли сумму выплатил мне мой друг. В конверте я нашел портрет мальчика лет шести с надписью: «Нашему любимому, гордости русской сцены М. А. Ч. от отца и сына». Портрет «милого мальчика» я привез домой и в рамке поставил на письменный стол.

Несколько слов об Андрее Белом (Борисе Николаевиче Бугаеве).

Философ, ученый, поэт, математик, писатель и мистик уживались в нем, объединяясь в образе устремленного, проницательно-страстного человека-мыслителя.

— Да,— говорил он,— я знаю, я — огонь! И в младенчестве первое слово, что я произнес, было «огонь»!

Но и поэт, и философ, и мистик, и все они, хоть и жили, укрывшись под одной черепной коробкой, все же, встречая друг друга, вступали в конфликты. Конфликты вели к катастрофам, то смешным, то трагичным, а Белый — страдал.

«Взрывы сознания» (его выражение) в высшей степени были свойственны Белому. Когда он не «взрывался», был спокоен, как все, то казалось: он притворяется. Его вежливость (я в этом уверен) была защитительной маской, помогавшей ему общаться с людьми, без того чтобы ранить или быть раненым. Жил в нем дух неприятия, дух протеста, и он *отрицал,* «взрываясь сознанием». Это было понятным для тех, кто мог видеть: Белый жил в мире, отличном от мира людей, его окружавших, и мир обычный, принятый всеми, он отрицал. *Время* в мире Белого было не тем, что у нас. Он мыслил *эпохами.* Вот пример: он несся сознанием к средним векам, дальше — к первым векам христианства, еще дальше — к древним культурам, и перед ним раскрывались законы развития, смысл истории, метаморфозы сознания. <...>

<...> Лекции Белого вас *удивляли.* О чем бы он ни читал — все казалось неожиданным, новым, неслыханным. И все от того, *как* он читал. Как-то раз, говоря о силе притяжения Земли, он вскочил, приподнял край столика, за которым сидел, и, глядя на публику в зале, зачаровал ее ритмами слов и движений, а потом *так* сумел опустить приподнятый столик, что в зале все ахнули: столик казался пронизанным *такой* силой, тянувшей его к центру Земли, что стало чудом: как остался он здесь,

на эстраде, почему не пробил земную кору и не унесся в недра земные!

И рядом со всем этим, тут же, на лекции, он так неудачно взмахнул рукой вверх, что черная шапочка (для чего-то сегодня надетая) взлетела на воздух, вызвав смех в публике, а он рассердился на публику. (Черная шапочка — хоть и странно, все же как-то понятно. Но однажды зайдя к нему, я застал его так: сидел он на стуле в углу съежившись, спрятав кисти рук в рукава, в фуфайке, конечно, и — в дамской шляпе с отделкой из серого меха. Я не мог не спросить его, что это значило, и он объяснил: «Немощь, зябну, чихаю». Но все же осталось неясным: почему шляпа дамская?)

Помню, на этой же лекции, вызвав рукоплескания слушавших, он (упустив из вида себя самого) стал аплодировать вместе со всеми, с улыбкой шныряя глазами в кулисах, по зале и сзади себя.

Слово *рассеянный* (в смысле: ни к чему не внимательный) к нему не подходило никак. Напротив, всегда устремленный куда-то, он был сосредоточен и, кроме объекта внимания, все остальное на время терял. И вместе с тем — все замечал, все регистрировал где-то в сознании и хранил, как старьевщик, а потом, искусно подчистив, размещал свою мелочь на страницах романа.

Кто-то сказал ему раз:

— Смотрите: дивные краски заката сегодня!

— Я вижу! — крикнул он злобно. — Мне не надо указывать!!!

Но он и предвидел. Вернувшись за год или два до первой войны в Германии, он сказал:

— Катастрофа грядущая там у них притаилась! За всем их благополучным порядком сидит она в каждом углу (и при этом он сам сел на корточки).

И все же по-своему он *был* рассеян. На стулья, столы и диваны он не натыкался, но бегущий трамвай он «толкнул». Так потом и рассказывал:

— Я толкнул его и очнулся, когда с полицейским сидел на пролетке — ехал в больницу. Полицейский спросил: «Ваша фамилия?» — «Андрей Белый». — «Белый? А почему же не синий?» Как глупо!

И Белый каждый раз злился, доходя до этого места рассказа.

После лекции в незнакомом ему помещении он несся по залам и вбежал (ища выхода) в зеркало. Натолкнув-

шись с размаху на себя самого, отступил, дал дорогу, прошипев раздраженно: «Какой неприятный субъект!»

В другой раз, завидев знакомого издали, он, дружески вытянув руку, пустился навстречу, но, поравнявшись, забыл, прошел мимо, держа руку в воздухе и удивляясь: зачем же рука?

В романе «Москва» профессор Коробкин, *рассеянный*, надел на себя вместо шапки кота. Я прочел, и мне стало неловко, что Белый позволил себе такую неправду. Но однажды, уходя от меня поздно ночью, он в передней схватил вместо шапки кота и (беру из его же романа): «...цап ее (мнимую шапку) на себя!

В тот же миг оцарапало голову что-то: из схваченной шапки над ярким махром головы опустились четыре ноги и пушистый развеялся хвост...»

И дальше было точь-в-точь как в романе: стоявшие около душились от смеха, а он «не смеясь, как-то криво им всем подмигнувши, почти со слезами в глазах громко вскрикнул:

— Забавная-с штука-с, да-с — да-с!» — и «побежал катышом прямо в дверь».

Профессор Коробкин стал для меня кошмарной реальностью. Но Белый запомнил придушенный смех, и в другой раз, уходя от меня так же поздно с приятелем, он, хитро покосившись, подал приятелю шапку (дескать, вот видите, разбираюсь и в шапках, когда захочу!).

— Ваша? — спросил он.

— Нет, ваша, Борис Николаевич, — ответил приятель.

Я видел, как Белый и тут обозлился.

И странности Белого были особые. Вот он говорит, развивает блестящую мысль и вдруг замирает надолго: на губах застывает улыбка, глаза смотрят вдаль, брови сдвигаются, лоб напрягается мыслью, руки раскинуты вправо и влево, плечи приподняты — боится спугнуть две-три одновременно вспыхнувшие мысли. Вихрь в сознании требует неподвижности в теле. Вихрь утихает, и первоначальную мысль он излагает так же стройно, картинно и ясно. Но теперь он, напротив, «танцует» — жесты круглятся, льются, гранят, завершают, вводят вас в новую мысль. Но вот он поднялся на цыпочки, и через мгновение так же внезапно он стоит на коленях или, глядя снизу на вас, пружинит на корточках. Если вы собеседник неопытный, вы на время его потеряете, а найдя, вы не будете знать: не встать ли и вам на колени. Но Белый уже на диване, засел в уголке, подобрав под себя одну ногу. Не

надолго. Он уже бегает, ловко лавируя между столами и стульями.

Он был сильный рассказчик, любил и умел говорить, вспоминал символистов, обрисовывал образы старых друзей, их характеры, странности, мысли, судьбу. Но вдруг обижался, прерывал себя жалобным возгласом:

— Да что я, рассказчик вам, что ли!

И, пробежавшись по комнате, забивался куда-нибудь в угол и оттуда просил:

— Расскажите же вы!

Но рассказа не слушал: прищуривал рысьи глаза, оставлял вам улыбку, а сам уносился куда-то...

С чувством юмора Белый как будто бы был не в ладах. Он не смеялся, когда смеялись другие, или смеялся один. Помню, увидев однажды карикатуру смешную в журнале на себя самого, он рассердился и стал *карикатурно изображать карикатуру.* Впечатление было гнетущим. Но все же «беловский» юмор — с сарказмом и болью — силен. Прочтите хотя бы главу, где описан вечер «Свободной эстетики» («Московский чудак»), или встречу японца с профессором («Москва под ударом»), и вы, если вообще принимаете Белого, будете, может быть, так же смеяться, как смеются любители шуток Шекспира.

Белый жил в увлечениях, постоянно меняя их. То он собирал осенние листья, сортировал их часами по оттенкам цветов, то мешками возил разноцветные камушки с берега моря из Крыма в Москву, приводя своих близких в отчаяние. (Между прочим, камушки он собирал, появляясь на пляже в одном лишь носке — другая нога была голая.) То собирал обожженные спички и грудами складывал их у себя под кроватью. (Кто-то прознал, что он собирал их на случай, если в Москве не окажется топлива.)

Интересен процесс его творчества. Схему романа он задумывал в общих чертах и затем *наблюдал* терпеливо им же вызванных к жизни героев. Они обступали его день за днем, развиваясь, ища отношений друг с другом, меняя интригу, вскрывая глубокие смыслы и, наконец, становясь символичными. Белый сам говорит, что порой произведение искусства представляет *сюрприз для художника.* Но такие сюрпризы были обычным явлением для Белого. Воображение художника такого масштаба, как он, обладает способностью соединять два процесса, противоположных друг другу. В нем *самостоятельность* образов сочетается с их *подчиненностью* воле художника. Белый, следя *объективно* за игрой этих образов, «взглядом» своим рождал

в них свое, *субъективное.* Противоречие делалось кооперацией образов с автором. Он едва успевал регистрировать в памяти все, что жило, горело в его творческой мысли. Он знал: что часто вначале являлось ему как «свалень событий», ряд фигур, атмосфер, мест, домов, улиц, комнат, безделушек на столиках, на этажерочках, полочках,— все вливалось само постепенно в интригу, в идею, давало им краски, становясь обертонами и полутонами и иногда поднимаясь до символа. Он как-то увидел в фантазии человечка, нескладного, странного, видом ученого (похож на профессора!). Он бежал за каретой с мелком, стараясь на черном квадрате убегавшей кареты формулку вычертить. Профессор бежал все «быстрее, быстрее, быстрее! Но вдвинулась вдруг лошадиная морда громаднейшим ускореньем оглобли: бабахнула! Тело, опоры лишенное, падает: пал и профессор на камни со струйкой крови, залившей лицо». Когда Белый увидел все это, он не знал еще с точностью, что это будет московский чудак, любимый герой его, профессор Коробкин.

Но бывали у Белого и страшные образы и факты, уже выходившие из сферы искусства. Ими он мучил себя и других.

Много темного жило в душе его. Но Белого трудно судить, еще трудней осудить его, многоликого, жившего вечно в бунтарстве, в контрастах, в умственных «трюках». Но и не осуждая, я все же скажу: чувство в нем далеко отставало от мысли. Мысль-огонь увлекала его в «бездны сознания» (его выражение) и подолгу держала его в отчуждении, в холодных и темных углах, тупиках, лабиринтах, где сердце молчит и где близки границы безумия. Все обостряя рассудком до искажения, он начинал ненавидеть им же созданный мысленный призрак. Любил ли он? Вероятно, любил, но по-своему, силою мысли (не сердца). Он *утверждал,* и это ему заменяло любовь. Но он мог утверждать при желании: *тьма есть свет,* и мог жить в этой тьме, «полюбив ее мыслью», до нового «трюка» рассудка.

Когда студия потеряла Сулержицкого и Вахтангова, группа основных ее членов взяла на себя художественное и административное руководство. Однако отсутствие единой, крепкой художественной воли скоро сказалось. Тенденции того времени стали оказывать заметное влияние на художественную жизнь студии. Театрам приходилось

считаться с требованием времени. Пьесы агитационного и пропагандного характера (продукт первой эпохи революции) стали появляться на подмостках московских и петербургских театров. Натурализм, «простота, как в жизни», фотографически точная передача текущих событий были единственно возможным «стилем» их выполнения. Качество актерской игры стало падать, элементы творческой фантазии, театральной выдумки и оригинальности отошли на второй план. Театры и актеры шли за массами, угождая их вкусам. Однако многие искренне верили, что идут в первых рядах, считали себя пионерами. Впрочем, не легко было разобраться в этот первый период горячей ломки старого и попыток создать новое — кто за кем идет или кому и чему служит. Жизнь этого периода была, несмотря на свою кажущуюся конкретность, поистине фантастична и породила множество новых, «современных» драматургов. Своими произведениями они наводнили клубные и заводские подмостки и пытались проникнуть на сцену нашей студии. Луначарский долго терпел их, надеясь, по-видимому, что из их среды выйдут со временем настоящие пролетарские писатели. Но скоро ему пришлось убедиться, что эти слишком быстро заявившие о своем существовании драматурги не были пролетариями ни по уму, ни по духу, и Луначарскому все же пришлось указать им их надлежащее место. Однако случилось это не сразу. Им дали высказаться и слушали их, пока, наконец, они не договорились до абсурда.

— Толстому Льву легко было писать, товарищи! — заявил один из них на заседании Наркомпроса.— Дайте-ка мне «Ясную» его «Поляну», так я вам, может, не хуже него напишу, товарищи, извиняюсь!

Помню, как возмутились Луначарский и Станиславский и как Мейерхольд в своей блестящей речи высмеял как оратора, так и всех подобных ему «пролетарских писателей» с их обидами, хвастовством, угрозами прошлому и туманными обещаниями на будущее.

Блестяще вел себя Мейерхольд на таких заседаниях. Он смело и со свойственным ему умом отстаивал наши права и художественную свободу. Многое в этом направлении сделал и Станиславский. Уже одно присутствие его заставляло «ораторов» выбирать выражения и держаться в известных границах. Его авторитет был и до конца дней остался непоколебимым. Его нежелание делать компромиссы заставляло уважать его и считаться

с ним. Со Станиславским считались не только как с художником, но и как с человеком. Много добра сделал он.

Будучи всего лишь одним из членов правления студии, я не мог выполнить того, что казалось мне необходимым для сохранения художественной жизни студии. Я решил взять управление в свои руки и объявил себя «диктатором». Впечатление, произведенное моим поступком, было настолько ошеломляющим, что открытой оппозиции я не встретил, хотя и видел, что кое-кто затаил злобу против меня. Я назначил при себе правление из четырех членов студии. Все они пользовались уважением и доверием труппы. Через два-три дня после «захвата мною власти» Наркомпрос санкционировал мое директорство.

Я прежде всего решил поставить «Гамлета». Полтора года продолжалась работа над этой трагедией, и мне удалось осуществить в ней кое-что из моих заветных театральных мечтаний. К тексту мы подошли, например, по-новому: через *движение.* (Я говорю не о смысле, не о содержании текста, но о способе произнесения слов со сцены.) Мы рассматривали звуковую сторону слова как *движение, превращенное в звук.* В том, что музыкальный звук вызывает в нас представление о движении, едва ли можно сомневаться. Мы слышим *жест,* зачарованный в нем. Такой же *жест* живет и за звуком человеческой речи, но мы не воспринимаем его с такой легкостью, как в музыкальном звуке: нам мешает смысловое, интеллектуальное содержание речи. Мы следим за тем, ЧТО говорит нам человек, и не замечаем того, КАК ЗВУЧИТ его речь. Отрешившись на время от содержания слышимых слов, мы начинаем улавливать их *звучание,* а вместе с ним и *жест,* скрытый за этим звучанием. Художественность речи определяется ее *звукожестом,* а не смыслом. Смысловая сторона произносимых актером со сцены слов принадлежит не ему, но автору, и в этом нет его, актерской, заслуги. Но в том, *как* он произносит эти слова, как *звучат* они со сцены, заключается уже его заслуга и определяется ценность его как художника. Работая над «Гамлетом», мы старались пережить жесты слов в их звучании и для этого подбирали к словам и фразам соответствующие движения. В них мы вкладывали нужную нам силу, придавали им определенную душевную окраску и производили их до тех пор, пока душа не начинала полно реагировать на них. Зажигалось горячее творческое чувство, вспыхивал волевой импульс, и уже после этого мы произносили слова и фразы. Жест переходил в слово и звучал в нем. Ак-

теры сразу оценили этот занимательный и давший прекрасные результаты подход к художественной речи. Целые диалоги, целые сцены мы проходили таким образом, производя движения в молчании. Для того чтобы жест не превратился в пантомиму и оставался, так сказать, отвлеченным, мы иногда перебрасывались мячами. Мячи заменяли для нас слова и уводили от пантомимы. Мы также работали много и в области воображения. По указанию режиссера и под его руководством мы проигрывали в воображении целые сцены, мы, так сказать, *репетировали* в воображении, каждый за себя и за своих партнеров. Потом, когда репетиция производилась на сцене, много прекрасного и оригинального переносили актеры из своих «воображаемых» репетиций в реальные. Мы увлекались той свободой и легкостью, которые допускали наши «бестелесные» репетиции. Развивалась изобретательность, актерская смелость и столь желанная и нужная актеру уверенность хорошего тона во время репетиций на сцене.

В первые три года обстоятельства благоприятствовали мне. «Гамлет» имел успех, и студия постановлением Наркомпроса была переименована во Второй Московский Художественный театр и перешла в новое помещение на Театральной площади (бывш. театр Незлобина). После исполнения роли Датского принца я получил звание заслуженного артиста и вместе с Собиновым был избран членом Моссовета. Театр сразу поднялся на большую высоту. Чтобы я не «зазнался», Станиславский сказал мне:

— Вы, Миша, не трагик. Трагик плюнет — и все дрожит, а вы плюнете — и ничего не будет.

Для актеров, желавших совершенствовать и развивать свою технику, я организовал занятия с упражнениями. Вся труппа (за исключением нескольких ее членов) принимала участие в занятиях. Даже «старики» МХАТ заходили иногда посмотреть на нашу работу, и многих она серьезно интересовала. Но методы, которые я пытался привить актерам нашего театра, были новы и чужды «старикам» МХАТ. Однажды, полушутя, Немирович-Данченко сказал мне:

— Не следовало бы пускать наших актеров на ваши занятия — вы можете их быстро испортить.

Признаюсь, я был польщен этой шуткой.

Наши репетиции, в особенности вначале, носили характер экспериментов больше, чем профессиональной работы в обычном смысле слова. Каждая новая постановка давала нам случай исследовать и проработать новые при-

емы игры и режиссуры. Увлеченный художественной работой, я перестал интересоваться тем, что делалось вне стен театра. Вскоре я получил заграничный паспорт и покинул Россию. Однако я все еще не был уверен, что останусь за границей совсем.

Берлин. В праздничном настроении, с маленьким томиком «Гамлета» на немецком языке (был уже выучен первый акт и половина монолога «Sein oder nicht sein»*) я вошел в контору известного антрепренера, ценителя искусств, делавшего «хорошие дела». Он встретил меня приветливо и, усадив в кресло, чуть было не смутил слишком откровенным комплиментом:

— Не каждый день приезжают к нам из России Чеховы, — сказал он.

Маленькую паузу я истолковал как вступление к важной радостной беседе. Я глядел на него с любовью человека, добровольно отдающего себя во власть другого. Солидный переплет немецкого томика приятно напоминал о себе, продавливая бок.

— Ну-с, — сказал наконец известный антрепренер, — мы будем делать с вами хорошие дела!

Я слегка поклонился и красиво развел руками (дескать, весь к вашим услугам) и тут же почувствовал, что нечаянно сымитировал Станиславского — в минуту, когда он, сознавая свое величие, хотел быть простым и приятным. «Моисси приезжал с Гамлетом в Москву, а я вот в Берлин, — думал я с приятностью, — ответный как бы визит».

— Танцуете? — спросил вдруг антрепренер и, подождав несколько секунд ответа, повторил свой вопрос, для ясности попрыгав руками в воздухе.

— Я?

— Вы.

«Какие же в «Гамлете» танцы? — соображал я. — Фехтование есть... пантомима... Какая неприятная ошибка. Он должен бы знать».

— Зачем танцевать? — спросил я с улыбкой.

— Мы начнем с кабаре. Я сделаю из вас второго Грока**. На инструментах играете? Поете? Ну хоть чуть-чуть?

---

* «Быть или не быть» *(нем.)*.

** Грок — известный швейцарский клоун. *(Примеч. М. А. Чехова.)*

— Простите,— перебил я его, холодея,— я, собственно... Гамлет... я приехал играть Гамлета...

— Гамлет — это не важно,— отмахнулся антрепренер,— публике нужно другое. Условия мои таковы: годовой контракт *со мной.* Такой-то месячный оклад. Имею право продавать вас по своему усмотрению, включая фильм. Abgemacht?*

Не то пауза наступила, не то я провалился куда-то. И, как у героя Достоевского, в одну секунду в моей голове пронеслось множество мыслей. Без борьбы, единым словом человек уничтожает мечту, смысл и цель! В чем его сила? В деньгах? Что же, это и есть капиталистический строй? Вся моя театральная жизнь, с ее борьбой, накоплением идеалов, верой в публику встала предо мной. Станиславский, Шаляпин, Штейнер больше двадцати лет воспитывали во мне веру в великую миссию театра; в Москве на «Гамлета» ходили с благоговением; Чехословацкое правительство приглашало меня в их страну именно для того, чтобы я создал там театр Шекспира, театр высокой трагедии и комедии...

— Но ведь не вся же публика хочет кабаре,— сказал я вслух,— многие хотят и «Гамлета».

— Два десятка полоумных шекспироведов! Сядут в пустой зал с книжечками и будут, уткнув носы, следить, верно ли вы произносите текст. Это не «дело». Поверьте мне, милый друг,— он отечески дотронулся до моего рукава,— я знаю публику лучше, чем вы!

Я встал.

— Подумайте,— сказал он.

— Подумаю,— сказал я, и мы расстались.

Солидный томик в кармане по-прежнему напоминал о себе.

Через два дня я снова сидел в конторе известного антрепренера. Он телеграфировал Рейнгардту о моем приезде и теперь показывал мне ответную телеграмму из Зальцбурга. (По длине она, как и все телеграммы Рейнгардта, была похожа на письмо.) Рейнгардт «радовался моему приезду» и приглашал в Зальцбург погостить и переговорить о предстоящей работе.

— Поздравляю,— говорил антрепренер, хохоча и тряся мою руку.— Мои условия таковы...

И он изложил свои новые условия в связи с приглашением Рейнгардта.

---

* Согласны? *(нем.)*

Вторая телеграмма из Зальцбурга извещала, что дела заставляют Рейнгардта экстренно выехать в Берлин, где он и надеется встретиться со мной.

...Роскошная квартира. Громадные залы, напоминающие дворец. Рейнгардт вышел ко мне навстречу и, не выпуская моей руки, подвел к большому письменному столу. Усадив меня, сам он сел напротив. Его большие глаза, смеющиеся, умные и проницательные, глядели на меня. Я смутился.

— Я знаю,— сказал он,— какую роль вы хотите играть.

У меня была затаенная мечта. Тоже шекспировский герой. Никто не знал об этом. Рейнгардт назвал этого героя. Я окончательно смутился.

После двух-трех общих фраз Рейнгардт спросил о Станиславском и о манере его работы. Узнав, что в МХТ пьесы репетируются месяцами и только две-три новые постановки включаются ежегодно в репертуар, он опустил глаза и печально покачал головой.

— У нас, у немцев, другой метод.

Жалел ли он нас или немцев — не знаю.

— Eine wunderbare Rolle!* — воскликнул он, вдруг переходя к своему деловому предложению. Его хитрый, интригующий взгляд говорил: «Вы в восторге и ждете, что я скажу дальше». Я невольно подчинился этому обаятельному взгляду и с восторгом просил его рассказать мне о роли.

Он предложил мне сыграть роль Skid'a в «Artisten»**[10]. Skid — клоун (!). Роль трагикомичная. В Берлине Skid'a с большим успехом играл В. А. Соколов. Рейнгардт хотел, чтобы я играл в Вене. Я должен был ехать туда немедленно, чтобы еще до приезда Рейнгардта заняться с его ассистентом исправлением немецкой речи и учиться клоунским трюкам. Но что же с «Гамлетом»? Уходя, я спросил Рейнгардта, почему он не ставит больше классических вещей.

— Не время,— ответил он,— публика не хочет этого сейчас. Но театр еще увидит классиков.

Рейнгардт проводил меня до двери, все так же проницательно следя за каждым моим движением.

---

* Замечательная роль! *(нем.)*
** Скид в «Артистах» *(нем.)*.

Вена. Маленький, четырехугольный, уже немолодой доктор S, ассистент Рейнгардта, принял меня вежливо, но сухо и строго. <...>

Чужой мне язык, интонации д-ра S, акробатика и ужас перед надвигавшейся премьерой мешали заучиванию текста.

<...> Генеральная репетиция накануне премьеры. В первый раз костюмы, гримы, свет и полные декорации. По сцене бегают рабочие, два красных и раздраженных помощника режиссера, с достоинством ходит д-р S и суетятся полузагримированные, полуодетые актеры. Я плохо узнаю их, и мне начинает казаться, что среди них есть новые лица, до сих пор не принимавшие участия в репетициях. Приглядевшись, я замечаю целую толпу новых персонажей, загримированных и одетых, как и мы все: это настоящие клоуны и артисты кабаре. Рейнгардт пригласил их для того, чтобы создать атмосферу цирка и позабавить публику. С тоской и нежностью вспомнил я далекий, любимый МХАТ с *его* атмосферой. Станиславского, на цыпочках ходящего за кулисами, Немировича-Данченко, всегда строгого, но такого доброго и ласкового в дни генеральных репетиций, трепет и волнение актеров и особую, незабываемую тишину этого единственного в мире театра. Весело покрикивая и смеясь, акробаты, жонглеры и клоуны вертелись, скользили по полу, не передвигая ног, падали, не сгибаясь, складывались в комочки, спотыкались в воздухе, легко подкидывали тяжелые предметы и не могли сдвинуть с места легких, и все это красиво, смешно и четко. «Боже мой, что же будет с моим неуклюжим прыжком через ногу и жалкими «рыбками» среди этой блестящей компании!» Но я был так утомлен и подавлен, что у меня не хватило энергии просить Рейнгардта об отмене моих «трюков». Бестолковая нервная репетиция началась. Рейнгардт появлялся то на сцене, то за кулисами, то в зрительном зале. Он волновался и раздражался не меньше других, но искусно прятал свое возбужденное состояние под маской холода и покоя. Даже двигался он медленнее, чем обычно. Репетиция прерывалась каждые несколько минут. На игру никто не обращал внимания. Свет, декорации, костюмы, вставные номера клоунов и акробатов заняли все время. Мой первый «трюк»: прыжок на стол без разбега. Я с грохотом лечу на пол. Испуганный крик партнерши, крик Рейнгардта в зрительном зале и боль в содранных коленях и локтях. Только тут Рейнгардт, заметив, что носки моих клоунских са-

пог были фута в полтора длиной, отменил все мои «трюки». Репетиция кончилась на рассвете. Вечером премьера. «Не напиться ли?» — подумал было я, но и на это не было достаточно воли.

С тупым равнодушием вышел я на сцену. Циркачи и акробаты имели шумный успех. Прошли первый и второй акты. В третьем — центральная сцена клоуна Skid'a: он произносит эффектный трагикомический монолог.

Я начал. Странно прозвучали для меня самого несколько первых фраз Skid'a: «совсем не гортанно, не по-немецки... сердечно... должно быть, это и есть «russische Stimme»*, — пронеслось в моем сознании. «И как просто он говорит, совсем не так, как на репетиции. Это, должно быть, оттого, что я не играю. Надо бы сделать усилие... нет, подожду еще минуточку, сил нет... монолог такой длинный». Skid говорил, и мне стало казаться, что я в первый раз по-настоящему понимаю смысл его слов, его неудачную любовь к Bonny, его драму. Усталость и покой сделали меня зрителем своей собственной игры. «Как верно, что голос его такой теплый, задушевный... Неужели от этого создалась такая волнующая, напряженная атмосфера? Зрители насторожились, слушают внимательно... и актеры слушают... и Bonny. На репетициях она занималась только собой. Как же я не видел, какая она славная... конечно, Skid любит ее!» Я следил за Skid'ом со вниманием. Bonny запела у рояля грустную песенку. Я взглянул на сидевшего на полу Skid'a, и мне показалось, что я «увидел» его чувства, его волнение и боль. И манера речи его показалась мне странной: то он внезапно менял темп, то прерывал свои фразы паузами, неожиданными, но такими уместными, то делал нелогичные ударения, то причудливые жесты... «Клоун-профессионал», — подумал я. В первый раз я увидел в партнерах настоящий живой интерес к словам и к душевной драме Skid'a. С удивлением я заметил, что начинаю угадывать, что произойдет через мгновение в его душе. Тоска его росла. Мне стало жалко его, и в эту минуту из глаз клоуна брызнули слезы. Я испугался! «Это сентиментально, не надо слез, останови их!» Skid сдержал слезы, но вместо них из глаз его вырвалась сила. В ней была боль, такая трагичная, такая близкая и знакомая человеческому сердцу... Skid встал, странной походкой прошелся по сцене и вдруг стал танцевать, по-клоунски, одними ногами, смешно, все быстрее, бы-

---

* Русский голос *(нем.)*.

стрее... Слова монолога, жаркие, четкие, острые, разлетались по залу, уносились в партер, к ложам, на галерею... «Что это? Откуда? Я не репетировал так!» Партнеры встали с мест и отступили к стенам павильона. «И они не делали этого раньше!» Теперь я мог руководить игрой Skid'a. Сознание мое раздвоилось — я был в зрительном зале, и около себя самого, и в каждом из моих партнеров, я узнал, что чувствуют, чего хотят, чего ждут они все. «Слезы!» — подсказал я танцующему Skid'y. «Теперь можно!» Усталость исчезла... легкость, радость, счастье! Монолог подходил к концу... как жалко, так много еще можно высказать, такие сложные, неожиданные чувства поднимались в душе, так гибко, послушно становилось клоунское тело... И вдруг все существо, и мое и Skid'a, наполнилось страшной, почти непереносимой силой! И не было преград для нее — она проникала всюду и могла все! Мне стало жутко. Сделав усилие воли, я снова вошел в себя и по инерции договорил две-три оставшиеся фразы монолога.

Действие кончилось. Опустили занавес. Публика, Рейнгардт и даже сам д-р S щедро вознаградили меня за мучения последних дней. Я был благодарен и растроган. Теперь я, что называется, «нашел роль», мука прошла, и я все с большим удовольствием стал играть своего клоуна.

Уже несколько лет я старался привести в порядок свой театральный опыт, систематизировать наблюдения, разрешить ряд интересовавших меня вопросов. И в этом смысле только что описанное переживание оказало мне большую услугу. В то время меня занимал вопрос о вдохновении и о пути к нему. Я был близок к его решению и прежде, но теперь правильность его подтвердилась для меня непосредственным переживанием. (В несколько более слабой степени оно и раньше было знакомо мне.)

В одаренном человеке постоянно происходит борьба между его высшим и низшим «я». Каждое из них ищет господства над другим. В обыденной жизни победителем оказывается низшее, со всем его честолюбием, страстями и эгоистическим волнением. Но в творческом процессе побеждает (должно побеждать) другое «я». Низшее вообще склонно отрицать существование высшего и приписывать *себе* его силы, способности и качества. Напротив, выс-

шее признает существование своего двойника, но отрицает его рабовладельческие и собственнические инстинкты. Оно хочет сделать его проводником *своих* идей, чувств и сил. Пока низшее говорит: «я» — высшее принуждено молчать. Но оно может освободиться от него, оставить его, выйти (частично) из него, и тогда оставленное «я», в свою очередь, умолкает, замирает. Наступает род раздвоения сознания: высшее становится *вдохновителем*, низшее — проводником, выполнителем. Интересно, что высшее само в это время также становится проводником. Оно не замыкается эгоистично в себе и готово признать истинный источник творческих идей в сферах более высоких. Оно со стороны наблюдает и направляет низшее, руководит им и *сочувствует* воображаемым страданиям и радостям героя. Это выражается в том, что актер на сцене страдает, плачет, радуется и смеется и вместе с тем *лично* остается незатронутым этими переживаниями. Плохие актеры гордятся тем, что им иногда удается *так* «пережить» на сцене, что они себя не помнят! Такие актеры ломают мебель, вывихивают руки партнерам и душат своих любовниц во время игры. «Переживающие» актрисы часто впадают в истерику за кулисами. И как устают они после спектакля! Актеры же, играющие раздвоенным сознанием, с «сочувствием» вместо личных чувств, не устают, наоборот, они испытывают прилив новых сил, оздоровляющих и укрепляющих. Вместе с вдохновением они притекают из высшего «я».

Наблюдая игру Шаляпина, например, я всегда «подозревал», что в лучшие свои минуты на сцене он жил одновременно в двух различных сознаниях и играл, не насилуя своих личных чувств. Сын его, мой друг, Федор Федорович Шаляпин, подтвердил мои догадки. Он хорошо знал своего отца как художника, много беседовал с ним и глубоко проникал в его душу. Вот что сказал он мне о своем отце:

— Мой отец был умный актер... — и с улыбкой прибавил: — умный и хитрый! В каком бы приподнятом, творческом состоянии он ни был — он никогда не терял контроля над собой и всегда следил за своей игрой как бы со стороны. «В том-то и дело, — говорил он мне, — что Дон Кихот у меня играет, а Шаляпин ходит за ним и смотрит, как он играет!» Он всегда отличал себя от того образа, который играл на сцене. «Тебе кого жаль, отца или Кихо-

та?» — спросил он моего семилетнего брата Борю*, когда тот плакал и целовал отца после представления «Кихота».

И на тему о *«сочувствии»* важные слова своего отца передал мне Федор Федорович: «Я могу, как зритель в зале, плакать, что умирает Дон Кихот, но и, играя, я могу *также* плакать, что он умирает». Или: «Это у меня не Сусанин плачет, это я плачу, потому что мне жаль его. Особенно когда он поет: «Прощайте, дети». Но слезы приходится иногда и сдерживать — мешают петь. Надо контролировать себя».

— Однажды, будучи еще молодым, — рассказал Федор Федорович, — отец мой где-то в провинции слушал оперу «Паяцы» и очень удивлялся, видя, как певец, исполнявший Канио, в арии «Смейся, паяц» плакал настоящими слезами. Ему даже, кажется, понравилось это. Но когда он пошел после окончания акта за кулисы и увидел, что и там тенор продолжает плакать безудержно, отец сказал: «Не надо *так* «переживать»! Это не верно и не профессионально. Этак через два сезона и чахоткой заболеть можно!» Когда отец плакал на сцене, он плакал от сочувствия к образу, а себя никогда не доводил до истерики, как Канио, например. Он говорил: «Я об-плакиваю свои роли». Но этих слез никто не видел. Он стеснялся их, скрывал. Это было его интимное дело, не напоказ!

У Штейнера я также нашел указания на факт раздвоения сознания у больших художников. Известно, например, что Гете обладал способностью непрестанно наблюдать самого себя со стороны, со всеми своими переживаниями (даже в момент любви!). И только Станиславский прямо не говорил об этом. Но он часто ссылался на «бессознательное» в творчестве, и, может быть, это можно понять как недоговоренную мысль его о раздвоении сознания в творческом состоянии.

Ввиду того что во время премьеры «Artisten» утомление, равнодушие, безнадежность и примиренность с неизбежной неудачей выключили непроизвольно мою личность с ее тщеславием, страхом, нервностью и часть высшего «я» освободилась — создались условия для вдохновения.

У больших художников раздвоение сознания происходило само собой, современные же актеры могут научиться этому. (Подробно я излагаю свои мысли по этому поводу в книге о технике актера.) <...>

---

* Художник Б. Ф. Шаляпин. *(Примеч. М. А. Чехова.)*

В течение двух лет я мог наблюдать работу Рейнгардта. Он был последним представителем театра «милостью божией». Объективные знания сценических законов и техники актерского творчества были чужды его вдохновенной душе. Тонкий вкус, богатая фантазия и блестящая театральная «выдумка» выработали для него его собственные, рейнгардтовские привычки и приемы. Ими он и пользовался всегда, сам не понимая их значения и не умея передать их другим. Нельзя передать то, чего не понимаешь, нельзя передать стихийную силу таланта, можно передать только *школу*. Но школы Рейнгардт не создал. Он умел блестяще *показать* актеру, проиграть перед ним его роль, проговорить для него его текст. Но дать актеру технические средства для достижения желаемых результатов он не мог.

Поражала меня в Рейнгардте его способность произносить для актера слова его роли так, что казалось: укажи он пути к развитию этого искусства выразительного слова — и начнется новая эра в театре. Но он не указывал этих путей. Больше того: он просмотрел, что пути к новому, выразительному слову уже указаны. Его же родной язык был первым, на котором Рудольф Штейнер продемонстрировал новые методы художественной речи. Многое угадывал Рейнгардт интуитивно. В чем заключалась чарующая сила его слова, когда он вдруг вставал со своего кресла на авансцене, становился на место актера и играл за него, произнося текст его роли? В том, что *каждый* произнесенный им звук, *каждая* буква в слове наполнялись особой выразительностью, свойственной только *этой* букве, *этому* звуку человеческой речи! Актеры любят «ловко» произнесенные слова, но они не знают (и пока, кажется, не хотят знать), чем достигается этот эффект. В силу своего таланта Рейнгардт мастерски владел отдельными звуками речи, выражая ими то характер героя, то придавая своей речи упругость и пластичность, то пользуясь ими, как живописец красками, то, как музыкант, сочетая их в мелодии.

Разве не важно было бы добросовестному актеру узнать о том, *как* в течение многих и многих тысячелетий образовывалась человеческая речь? «А», «е», «и», «о», «у» — все это отдельные, самостоятельные существа с индивидуальной душой и им одним свойственным *звуковым* содержанием. Все эти «индивидуальности» тысячелетиями воздействовали на человека, развивая и формируя ап-

парат его речи. Все они жили вокруг человека, ища своего выражения через человеческую речь.

В явлениях и силах природы жили они вне человека и — как его реакция на них — в нем самом. Человек глубокой древности жил в тесном и близком общении со своим окружением. Он проникал в него не рассудком, как мы, но всем своим существом. Он слышал раскаты грома и делал усилия понять их. Он искал *звук,* подобный раскатам грома. Он начинал имитировать их, и его речь все с большей отчетливостью формировала звук: «ррр». Жест помогал ему в этом. Все, что вращалось, катилось, кружилось, все, что было спирально, округло, завернуто, все это он имитировал в жесте, всем телом, руками, ногами. И все это было в нем: «ррр»! Жест входил в звук и жил в нем как сила. Целый мир становился понятен ему через «р». Другой мир открывался ему во всем том, что лилось, наливалось, летело, цвело и ласкало, и он проникал в него, подражая ему в жестах и звуках: так формировал он постепенно звук «л» в своей речи. Все согласные, говорит Рудольф Штейнер, — результат имитации внешнего мира. Гласные звуки теплее согласных. В них нашли свое выражение чувства, желания, страсти человека, формировавшего свою речь. Когда в изумлении или благоговении весь человек открывался навстречу явлению, он восклицал: «А!» В «а» — жест раскрытия, принятия. Когда же, наоборот, он пугался, стараясь замкнуться от того, что страшило его, он произносил: «у». Два противоположных жеста живут в этих звуках. В словах, еще мало испорченных, можно слышать, как отдельные звуки выражают собой содержание слова. Жест закрытия и чувство страха живут в разных вариациях в словах, где звучит «у»: мука, буря, ужас, туча, труд, трус. То же относится, разумеется, и к другим языкам. Немецкие слова: Furcht, Sturm, Blut, dumpf, dumm, dunkel*или английские: doom, boor, brutal, cruel** также выражают вариации страха и раскрытия. Жест раскрытия и чувство радости перемешиваются в словах со звуком «а»: дар, рай, правда, благо; Wahrheit, Gabe, Strahl, Schlacht***, Star, grant, calm, glance**** и т. д. Сколько новой творческой радости ждет будущего актера, когда он поймет, что жест, скрытый

---

* Страх, буря, кровь, глухой, глупый, темный *(нем.).*

** Рок, грубый, жестокий, мучительный *(англ.).*

*** Правда, дар, луч, битва *(нем.).*

**** Звезда, согласие, спокойный, взгляд *(англ.).*

в звуке, даст не только выразительность, но и силу его речи. Путем упражнений он в состоянии будет пережить, например, охватывающий, любовно познающий жест в звуке «о»; укрепляющий, утверждающий себя, стремящийся вдаль жест звука «и»; или сосредоточенно, мудро проникающий в явления жест, заключенный в «м»; жест «к» — ломает, рушит, крушит или, взятый в духовном аспекте, он преодолевает сопротивление материи, творя в ней новые формы. Для будущего актера его родной язык, так изученный, постепенно станет ключом к психологии самого народа. Но и характер других народов станет через звуки раскрываться перед ним. Что живет, например, в звуке русского слова «я»? В нем два звука: слабое «й» в начале и сильное «а» в конце: «йа». В звуке «й» только слабо намечается для русского человека сила самоутверждения, свойственная этому (й) звуку. Русский человек, едва коснувшись самого себя, теряется, расплывается в «а», ища слияния с миром, с космическим своим окружением. Его самосознание уводит его *от* земли. Разве не высказывается в этом прирожденная нашему народу тенденция к исканию, к жизни в проблемах? Через нравственное укрепление воли проходил свой русский путь Толстой; сквозь муки и страсти русского сердца старался разглядеть бога Достоевский. Как бы сильно, упорно, настойчиво ни произносил русский человек свое «я», он все же только усилит «а», раскрывающее его душу познанию высшего. «IO» (ио) — скажет итальянец. Прислушайтесь, как крепко стоит он на земле в своем «i». Но и как горячо, как сильно любит он землю, на которой стоит: в «о» он обнимает и ее, и солнце, и свет, и тепло, и воздух, и краски, и звездное небо. О чем говорит нам английское «i» (ай)? Разве оно не полная противоположность русскому «я» (ia)? Достигши космических сфер в «а», англичанин спешит назад к земле в «и» (й). В сфере земли он дома. Духовные знания нужны ему для земных целей. Он не мечтатель. Он склонен к материализму. В нем он находит свой упор и смысл своего существования. Англичанин, американец — истинные творцы внешней цивилизации. В этом в настоящую эпоху развития человечества изживается их народный гений. Их самосознание ведет их *от* мира к земле. Как бы сильно ни произносил англичанин свое «i» (ай) — он не может долго задержаться на звуке «а», он должен постепенно спуститься к «и» (й), в то время как русский может долго пребывать в своем «а». И плакать и смеяться может русский в этом, ничем не

ограниченном, широком, убегающем от него самого «й-ааа!». Английское «i» (ай) не допускает эмоций. Оно земное, короткое и решительное. Немецкое «ich». Какая сила звучит в этом жестком, пронизывающем немца сознании! «Ich» требует ударения на «i», иначе оно останется невыразительным. Прежде всего, лучше и больше всего знает и ценит немец себя самого. *Он* центр, из которого развивается для него вся его деятельность и все познание. В «ch» он поднимается от земли, ищет своих идеалов, философствует, морализует, создает свою систему отвлеченных понятий, но никогда не теряет земли и крепко, крепко стоит на ней! Как ни сильно итальянское «i» (и) — оно все же слабее немецкого. Итальянец *любит* землю, немец *владеет* ею. Упрямое, гордое, потенциально опасное немецкое «i» (и) уравновешивается его познающим «ch». Убейте это «ch» в немецком самосознании, и немец проявит разрушительную силу своего агрессивного «i» (и). Жесткое «i» (и) станет *жестким.* Разве не это мы видим сейчас? Разве все мы не оттого страдаем, что у немецкого народа отняли его «ch», идеалистическую философию, и заменили ее суррогатом?

Так говорит мудрость языка немецкого, английского, русского — всякого. Язык, слово — главное орудие актера на сцене — оставлено им в пренебрежении.

Кто заменит нам Рейнгардта? Где гении в современном театре? Их больше нет. Никто после него уже не будет иметь права сказать про себя самого, как сказал он однажды в разговоре со мной, пробегая историю театра новых времен:

— Был X, — сказал он, — потом пришел Y, его сменил Z, потом пришел Я.

Какую самоуверенность нужно иметь современному актеру для того, чтобы, отказавшись от школы, от знаний, от упорной работы, полагаться, как Рейнгардт, на гений, на случайные вспышки интуиции. Думаю, что я не ошибусь, если скажу, что все-таки русский актер будет первым, кто захочет новой правды в театре, он, рано или поздно, снова найдет себя самого и останется верен своим исканиям. Язык, художественная речь станет *проблемой* для русского актера, и он уже не проглядит то ценное, что ждет его в этой области.

Манера работы Рейнгардта была мне чужда, в особенности в первое время. Готовя постановку, он продумывал

ее в одиночестве у себя в кабинете. Он записывал мизансцены, общий план постановки и детали игры, создавая «Regiebuch»*. По ней его доктора-ассистенты вели подготовительную работу на сцене с актерами. Но когда являлся сам Рейнгардт (поздно, почти к концу репетиции), все менялось в его присутствии. Доктора с достоинством отходили на задний план, и актеры, хотя и утомленные, оживлялись и репетировали еще много часов со своим любимым Профессором. Правда, это не мешало некоторым из них, в особенности пожилым и почтенным, в каждую «свободную» минуту решать крестословицы и читать газеты, которыми были набиты их карманы. Но все же общая атмосфера репетиции поднималась. Рейнгардт говорил мало, но актеры сами вычитывали в его выразительном (и всегда чуть смеющемся) взгляде либо похвалу, либо осуждение себе. Наблюдая за ним, я заметил: он не только смотрел на актеров и слушал их. Он непрестанно играл и говорил за них внутренне. Актеры чувствовали это и старались угадать, что хочет Профессор от них. Это возбуждало их актерское честолюбие, их чувство соревнования и желание достигнуть того, что могло бы удовлетворить их Профессора. Они делали внутреннее усилие, и роли их быстро росли. Так молча режиссировал Рейнгардт одним своим присутствием, одним взглядом и достигал больших результатов.

Рейнгардт благодаря своему таланту, обаянию своей личности, внутренней силе и поистине королевской манере держаться всегда производил величественное впечатление. Никому не приходило в голову, что он мал ростом и некрасив лицом. И я никогда не думал об этом, пока одно обстоятельство не заставило меня «увидеть» Рейнгардта и заволноваться.

Предстояла встреча Рейнгардта со Станиславским, и я не на шутку испугался за моего любимого Макса Рейнгардта. Станиславский — гигант с львиной седой головой, и Рейнгардт — едва ли достигающий до его плеча, встанут рядом. Что будет? Неужели Профессор не выдержит сравнения? Это было в один из приездов Станиславского в Берлин. Рейнгардт давал в его честь ужин. Приглашенных было не больше десяти человек. Торжественная атмосфера ожидания. Множество фотографов. С изысканным вкусом накрытый стол во «дворце» Рейнгардта. Если не ошибаюсь, это была первая встреча великих ре-

---

* Режиссерский экземпляр *(нем.)*.

жиссеров[11]. Мой страх возрастал с каждой минутой. Обоих я любил глубоко и никому из них не желал торжества над другим. Маленький Рейнгардт сидел в большом кресле. Боже мой, как мал он казался мне в эту минуту! Как я умолял его, мысленно, встать! Как хотел, чтобы никто, кроме меня, не заметил этой несносно большой спинки с резной короной где-то высоко-высоко над головой Рейнгардта, делавшей его как бы старинным портретом, сползающим вниз в своей позолоченной раме. Громадный пустой зал еще больше подавлял моего маленького любимца, распятого на кресле. В соседней зале послышались голоса и шаги. Приехал Станиславский. Рейнгардт встал... (нет, мал, ужасно мал!) ...и медленно, очень медленно (молодец!) пошел к двери. Лакеи раздвинули тяжелые портьеры, и показалась фигура седовласого гиганта. Он остановился в дверях, щурясь подслеповатыми глазами и улыбаясь, еще не зная кому. Пауза. А Рейнгардт все шел и шел! Одна рука в кармане. Уже присутствующие, не выдерживая паузы, улыбались и неуверенно изгибались в полупоклонах. А Рейнгардт, не прибавляя шага, все шел и шел. Он уже подходил. Вдруг Станиславский разглядел его. Он бросился к нему навстречу, стал жать его руку и, не зная немецкого языка, бормотал очаровательную бессмыслицу. Левая рука Рейнгардта грациозно выскользнула из кармана и красиво повисла вдоль тела. Правая вдруг вытянулась и не то заставила на шаг отступить Станиславского, не то отклонила назад самого Рейнгардта. Образовалась дистанция. Рейнгардт поднял голову и взглянул вверх на Станиславского. Но как? Так, как смотрят знатоки в галереях на картины Рафаэля, Рембрандта, да Винчи — не унижаясь, не теряя достоинства, наоборот, вызывая уважение окружающих, любующихся «знатоком», пожалуй, не меньше, чем картиной. Несколько молчаливых секунд отсчитало мое бьющееся сердце. И чудо совершилось на глазах у всех: все еще держа дистанцию, Рейнгардт стал расти, расти и вырос в прежнего, величественного, исполненного королевского достоинства Макса Рейнгардта! Маг и чародей победил! (Как мог я сомневаться в тебе!) Он повел своего гостя через залу, и чем суетливее вел себя Станиславский, тем медленнее и спокойнее двигался Рейнгардт. Оба были прекрасны: один в своем смущении и детской открытости, другой — в уверенном спокойствии «знатока». Все поняли тон, продиктованный встречей: *надо быть Рейнгардтом, чтобы знать, кто такой Станиславский!* Все стало легко и искренне ра-

достно. Засуетились фотографы, отодвинули кресло (теперь такое красивое и безопасное) и поставили обоих великанов рядом. Но тут произошло маленькое qui pro quo*: Рейнгардт протянул руку и поставил меня рядом с собой. Он хотел, чтобы сняли нас троих, очевидно, желая этим проявить внимание к Станиславскому, оказывая честь *его* актеру. Но фотографы имели на этот счет свои соображения. Они снова задвигали кресло, перешептываясь наспех, засуетились около Станиславского и Рейнгардта и, ловко оттеснив меня в сторону, защелкали аппаратами. Эпизод этот после предшествовавшего напряжения привел меня в смешливое состояние, с которым я не мог справиться в течение почти всего вечера. Боюсь, что я уже неприлично хохотал, когда Рейнгардт и Станиславский обменивались речами — один на немецком, другой на русском языке, не понимая друг друга. Отвечал Станиславский. Он так смущался, что даже русские слова произносил не по-русски и трудно было уловить смысл его речи. Двое из присутствующих говорили по-русски, и я искал сочувствия в их взглядах, но они упорно и сосредоточенно смотрели под стол. К концу вечера Станиславскому готовился сюрприз. Великолепный автомобиль ожидал его у подъезда рейнгардтовского «дворца». Это был подарок Рейнгардта своему гостю. Вероятно, по озорству характера я еще во время вечера шепнул Станиславскому о том, что ожидает его. Испуг выразился на его лице. Но, не желая огорчать Рейнгардта, он сделал вид, что ничего не знает. Вечер закончился. Один из директоров рейнгардтовских берлинских театров, говоривший по-русски, проводил Станиславского вниз. Увидев «свой» автомобиль, Станиславский растерялся: он не был уверен, знает ли он уже или еще нет о сюрпризе. Шофер распахнул дверцу, и директор, сняв шляпу, преподнес Станиславскому автомобиль от имени Рейнгардта. Станиславский развел руками, отступив от автомобиля, и стал играть сначала изумление, потом радость, потом благодарность. Когда церемония окончилась, утомленный и несчастный Станиславский сел в автомобиль. Он попросил меня доехать с ним до гостиницы. С тоской и испугом он сказал:

— Боже мой, боже мой, что же мне делать с этим?

— С чем? — спросил я.

— Да вот, с этим... мотором? Все это очень хорошо и трогательно, но куда же я его дену? Везти с собой не-

---

* Неожиданность *(лат.)*.

возможно. Оставить тут тоже... как-то... не знаю. Ужас, ужас! И зачем он сделал это!

Подъехав к гостинице, Станиславский с растерянным выражением лица, прижав руки к груди, несколько раз поклонился шоферу и, простившись со мной, скрылся в дверях гостиницы.

Как обаятелен бывал Станиславский в минуты растерянности или рассеянности! Он делал и говорил странные вещи, никогда сам не замечая их.

Помню, однажды в Москве он принимал у себя в Каретном ряду какого-то знатного иностранного гостя. Тогда он тоже был несколько растерян. Усадив гостя около стола, неудобно и на отлете, сам он сел на некотором расстоянии от него и с неопределенной улыбкой, молча, стал смотреть ему в глаза. Раза четыре он наклонялся всем туловищем вперед, не то приветствуя гостя, не то поудобнее усаживаясь на стуле. Потом, помолчав, он кашлянул и, глядя гостю в ухо, сказал:

— Может, вы хотите пи-пи?

Со Станиславским мне приходилось часто встречаться в Берлине: он читал мне отрывки из своей книги, которую писал тогда*.

Скоро приехал и Мейерхольд с талантливой актрисой его театра Зинаидой Райх. Я виделся и с ними. Много раз, еще в Москве, Мейерхольд приглашал меня играть в его театре. Мне всегда хотелось приготовить роль под его режиссерством. Теперь он возобновил свое предложение. Зная мою любовь к «Гамлету», он сказал, что по возвращении в Москву будет ставить эту трагедию. Он начал рассказывать мне план своей постановки и, когда увидел, что я слушаю с увлечением, остановился, хитро покосился на меня из-за большого своего носа и сказал:

— А вот и не расскажу. Вы украдете. Приезжайте в Москву, поработаем вместе.

Отношения мои с Зинаидой Райх не были такими дружескими. Мы часто ссорились с ней, но Мейерхольд делал вид, что не замечает этого. Из Москвы он писал мне и звал к себе, гарантируя свободу в творческой работе, но я решил остаться за границей. Это окончательно раздражило Зинаиду Райх. Она написала мне жестокое и оскорбительное письмо, назвав меня «предателем». С тех пор перестал писать и Мейерхольд.

Звали меня в Малый театр и в МХТ.

---

* «An Actor Prepares». *(Примеч. М. А. Чехова.)*

Проводив Станиславского и Мейерхольда, я с грустью почувствовал, что стал немецким актером.

Для коротких гастролей и для подготовки нескольких новых постановок «Габима» приехала в Берлин. Я рад был увидеть моих старых друзей. «Габима» хотела иметь в репертуаре шекспировскую пьесу. Остановились на «Двенадцатой ночи» и предложили постановку мне. Началась работа, и я погрузился в знакомую мне специфическую атмосферу театра.

Удивительный народ габимовцы! Сколько сильных, но противоречивых элементов сочетается в них: фанатизм служения и холодная рассудочность (во всем, даже в подходе к художественной работе); неразрывная дружба и несмолкаемые споры (не ссоры); полная открытость ко всему новому в театре и замкнутость, преследование каких-то неясных им самим «своих» целей. Общая атмосфера их переживалась как напряженная, волевая, активная.

«Двенадцатая ночь» — одна из пьес Шекспира, где *легкость* в игре, в произнесении текста и в психологии действующих лиц является необходимым условием при передаче сущности этой романтической шутки. Все герои любят или влюблены, и все не очень серьезно: нет среди них ни Ромео, ни Отелло, ни Джульетты, ни Дездемоны. Габимовцы — народ тяжелый физически и душевно. (Вспомните «Дибука».) Древнееврейский язык (непревзойденный по своей магической силе, трагизму и красоте) мало пригоден для любовных монологов Оливии. Как при таких условиях ставить и играть «Двенадцатую ночь»? На первой же репетиции я поставил перед моими друзьями этот вопрос. Габимовцы зашумели, заговорили все сразу (на двух языках — на русском и на древнееврейском), замахали руками, каждый в своем ритме, в своем темпе. Ловко ловя в воздухе руки собеседников, они быстро решили вопрос и все разом обернулись ко мне. Один кричал с угрозой: «Если нужна легкость, то — нужна легкость!»; другой убеждал меня по секрету, чтобы я не соглашался ни на что, кроме легкости, третий, приложив мою пуговицу к своей, говорил с упреком: «Что значит?» (как будто я уговаривал их быть тяжелыми). Те, кто стояли близко ко мне, кричали, другие, подальше, делали знаки руками и глазами, что, мол, легкость будет! Шум перешел в восторг, новая задача сразу увлекла всех, мы

тут же перецеловались и, пошумев еще немного, сели за большой стол. Наступила тишина. Габимовская, напряженная тишина. Роли были уже распределены (при условии, что, если актер не оправдает надежд, режиссер откровенно скажет об этом, и актер будет заменен. Так всегда поступали габимовцы. Они хотели хороших спектаклей и никаких компромиссов в этом смысле не допускали). С первой же репетиции стали добиваться легкости. Каждый день часть рабочего времени посвящалась специальным упражнениям. Упорно, фанатично и тяжело добивались габимовцы легкости. И добились! Такой трудоспособности я не видел нигде, никогда и ни в каком театре. Если чудо может совершиться одними земными средствами, то здесь оно совершилось на моих глазах. Мескин, например, тяжелый, как из бронзы вылитый человек, обладавший таким низким голосом, что подчас, слушая его, хотелось откашляться, порхал по сцене легким, пузатеньким сэром Тоби и рассыпал шекспировские шуточки и словечки, как будто они и написаны-то были на его родном языке. Барац, маленький, но грузный человек, ходивший на пятках, стаптывавший даже резиновые каблуки, став сэром Андреем Эгьючиком, всех удивил, заставив сделать открытие: «Смотрите, Барац на цыпочках!» Хохот, веселье, возгласы! Габимовцы не узнавали друг друга. То один, то другой из них, вскинув и руки, и брови, и плечи (одно — чуть повыше), молча и подолгу качали головами. С каждым днем шекспировская комедия, преображая участников, росла, вскрывая свой юмор и обаяние.

Декорации художника Масютина были легки, смешны и ярки. Их передвигали и меняли во время игры сами участники спектакля, создавая в намеках то дворец Оливии, то веселый кабачок сэра Тоби, то сад, то улицу.

Эрнст Тох, со свойственным ему талантом и юмором, сочинял песенки. Как лейтмотив он дал нам неподражаемую по своей задорности мелодию в размере полечки. Ее пели все и хором, и в одиночку, и дома, и на улицах, и за кулисами. Оркестровка, сделанная Тохом, была до такой степени смешна, что музыканты не раз прерывали свои репетиции и из оркестра слышался хохот.

Иногда то один, то другой из участников спектакля начинал сомневаться: не слишком ли я свободно обращаюсь с Шекспиром? Но сомнения их скоро проходили: они не были «шекспироведами», и мне без труда удалось убедить их, что автор «Двенадцатой ночи» — самый современный

из всех ныне живущих драматургов, а герои его — живые люди, так же, как и мы, не переносящие ходульности и ложного пафоса.

Репетиции проходили весело и, как всегда в «Габиме», напряженно. После работы атмосфера разряжалась: габимовцы пели мне свои песни колнидрей, свадебные, синагогальные и, наконец, из «Дибука». С каким упоением слушал я этих современных евреев, в песнях своих так глубоко, но вполне бессознательно передававших все муки, надежды и немногие радости своего народа. Я слушал их, и мне чудилось: кто-то *призвал* их в эту минуту и поет через них, и говорит, и плачет, и как бы хочет разбудить певцов, но они заснули давно, девятнадцать с половиной веков назад, и пение уже не будит их. И чем веселее становился напев, тем сильнее подступали слезы, и подчас я не мог сдержать их. Полные неведения, но любовно смеялись габимовцы над моими слезами.

Часто посещал наши репетиции знаменитый и талантливый еврейский писатель Д. Он приходил в восторг от работы своих друзей. Энергия его быстро возрастала. Ему не сиделось. Стул под ним начинал скрипеть, он вставал, садился, снова вставал и наконец изливал свою энергию в бесконечных спорах без всякого повода.

— Сколько лет вы даете Оливии? — задавал он мне вопрос, закидывая колено на ручку моего кресла.

— Столько-то, — отвечал я наугад, жалея о прерванной репетиции.

— Откуда вы знаете? Так я вам скажу: ей *не* столько лет!

Ритмически ударяя себя по колену (и глядя на габимовцев), он начинал:

— Что такое Оливия? Что это, девочка? Нет! Это женщина? Нет! Так сколько же ей лет? *Не* сколько девочке и *не* сколько женщине...

— Но, господин Д., ведь, право же, не важно...

— Что значит: не важно?! В искусстве все важно!

— Я говорю, не важно для публики, сколько лет вы даете...

— Я даю? Я *не* даю. *Вы* даете!..

Смущенные габимовцы начинали волноваться. Деликатно они старались отвлечь его внимание от меня, но это приводило к тому, что он обращался уже к ним. Дружески грозя им пальцем (и поглядывая на меня), он говорил:

— Э-э! Нехорошо, господа артисты! Я принужден назвать вас ленивцами! Уже который раз я прихожу и вижу вас сидеть сложа ручки! — щеголял он русским языком. — А что вы скажете на: «кто не работает, тот не должен кушать»?

Иногда Д. приходил с фотографическим аппаратом. Начиналась мучительная «съемка господ артистов вне грима», как он выражался.

— Группируйтесь пластически! — командовал он.

— Снимайте, господин Д., — торопили его габимовцы, — снимайте блиц!

— Если блиц, то сколько времени? — спрашивал Д., расставляя габимовцев в «пластическую группу».

Съемка кончалась, он брал под руку ближайшего к нему габимовца, отводил его в сторону и уже на древнееврейском языке затевал с ним «дискуссию», мешая работать.

Раз или два посетили и мои немецкие коллеги репетиции «Габимы». Им хотелось посмотреть, что делают «diese Russen»* такого, что никак не могут приготовить и одной пьесы, когда они сами за это время могут шутя приготовить две или даже три. И много веселились они, когда я все снова и снова повторял одну и ту же сцену.

— Чего ты добиваешься от них? — спрашивали они. — Ведь они знают свой текст отлично!

— Многого. (Немцы приготовились посмеяться. Один из них с розовыми щечками и без бровей даже захлопал в ладоши, как дитя.) Я добиваюсь от них стиля, правды, легкости, юмора, театральности... (Габимовцы издали наблюдали смеющихся гостей.)

— Но, мой милый, — сказал один из них, по-военному закидывая назад голову, — если ты не оставишь их в покое, ты убьешь в них инди-виду-альность! (Немцы закивали головами.) Да, конечно, это требует много времени! О, я понимаю: ты, как ваш знаменитый Станиславский, хочешь сделать всех одинаковыми!

— А ты видел Художественный театр?

— Нет, но это не важно. Пойдем пиво пить!

Выходя, коллега мой с розовыми щечками, приплясывая на одной ноге, сымпровизировал песенку: «Мы — немцы, вы — русские! Слава Богу, что не наоборот!..»

Премьера была обставлена торжественно. Залу наполнила приглашенная публика. Перед поднятием занавеса

---

* Эти русские *(нем.)*.

из ложи бенуара я произнес вступительную речь на немецком языке. В середине первого акта в зрительном зале послышались легкий шум и движение. К первому ряду в сопровождении почтительной свиты шел человек в длинной темно-фиолетовой одежде. На голове его была такого же цвета шапочка. Высокая фигура, красивое правильное лицо и белая борода вызывали представление о жреце древних мистерий. Это был Рабиндранат Тагор.

Спектакль имел успех. Его показали несколько раз в Берлине и затем в Лондоне. Джон Окези отозвался на него тонкой хвалебной статьей.

В этот же период времени, играя на немецкой сцене, я уже снова был одержим идеей «Гамлета». Эту трагедию я представлял себе как первый шаг к осуществлению нового театра. Трагедию Шекспира пришлось сократить и приспособить последовательность сцен таким образом, чтобы каждый из немногих участников мог появляться по нескольку раз в разных ролях. В сцене «мышеловки», например, удалось так построить мизансцены, что король и королева, смотревшие спектакль, в известные моменты незаметно для публики покидали свои троны и появлялись в качестве театральных короля и королевы в пантомиме. И затем снова оказывались сидящими на троне, когда подходило время их реплик.

Где-то в глубине души моей жило сознание, что идея «нового театра» еще не созрела во мне, но радость идеалистического подъема оказалась сильнее здравого смысла. Вопреки очевидности я искусственно поддерживал в себе веру в идеальную публику, уставшую от старого театра, лишенного творческого воображения, больших целей и общественного значения. Донкихотское настроение мое, как волшебное зеркало, коварно отражало и слегка преувеличивало недостатки современного театра. Успех на немецкой сцене не увлекал меня. Я был равнодушен (казалось мне) к интересу, с которым относилась ко мне немецкая публика и пресса. Все чаще приходилось надевать фрак, появляясь на банкетах и вечерах. (Я делал это с чувством легкого разочарования.) Приятно волновал успех у молодых очаровательных актрис берлинских театров. Но красота моя подлежала сомнению, и однажды я спросил одну из «поклонниц» моих — что находит она во мне? Потупившись, с наивной откровенностью, она сказала:

— Aber Sie sind doch ein gemachter Mann*.

---

* Но вы — совершенство *(нем.)*.

«Комнатного» «Гамлета» должна была увидеть избранная публика. Она должна была прийти в восторг. Восторг — реализоваться в деньги. Деньги — в новый театр. Но я не встретил и следов интереса к моему «Гамлету». Почему же публика приходила в восторг, щедро награждая меня аплодисментами, когда я изображал какого-нибудь незатейливого русского эмигранта, и не хотела видеть того же актера в полной значения роли Гамлета? Дон Кихот во мне недоумевал. Он готов был разъезжать по улицам Берлина в цирковом фургоне, давать на перекрестках представления шекспировской трагедии и произносить страстные, зажигательные речи. Все чаще вспоминался русский актер и русский зритель. Зарождалась настоящая глубокая любовь к родному театру. Мысль обратилась к Франции, к Парижу. Там, думал я, большая русская колония, и там поддержат мои начинания и помогут создать новый театр.

Вопреки разумным советам близких я решил оставить Рейнгардта и все открывавшиеся мне возможности на немецкой сцене и спешно переехать в Париж.

Я уже видел себя в обществе артистов, художников, писателей, как и я горячо обсуждающих идею «нового театра». Она им близка, они давно ждали ее осуществления и теперь дарят новому начинанию свои таланты, энергию, знания. Моя парижская квартира становится центром кипучей культурной жизни. Я спешил.

Однако отъезд мой пришлось неожиданно отложить на несколько недель. Разыгрался пролог, достойный моей последующей парижской жизни.

В Берлин приехал мой старый приятель С., инженер, уже многие годы живший в Чехословакии. Там он работал, имел обширное семейство и не переставая мечтал о театре. Всю свою жизнь С. был влюблен в театр и, несмотря на свое малороссийское происхождение, обладал горячим и беспокойным темпераментом, принимая его за сценическое дарование. Никогда не упускал он случая выступить в качестве актера в любительском спектакле, кем бы он ни затевался, детьми ли или взрослыми, и какая бы роль ни выпала ему на долю. Он считал себя комиком, потому, вероятно, что, получив роль, с первой же репетиции начинал хохотать от восторга. И уже никто не в состоянии был убедить его, что не ко всякой фразе подходит смех. Невзирая на свой возраст, могучую, развевающуюся от быстрых движений и часто застревавшую на плече бороду, он поступил на драматические курсы, но, окончив

их, вдруг пошел по военной части. Ко мне в Берлин он явился, блистая золотом погон, медью пуговиц и всякого рода военных украшений, мелькавших на его груди из-под рыжеватой с проседью пушистой бороды. Явился он с тем, чтобы напомнить мне о намерении Чехословацкого правительства создать в Праге театр классической драмы и комедии. Он предложил мне свои услуги (в особенности же свое влияние) для осуществления этой, хотя и несколько запоздалой, идеи.

Начал он с того, что сделал довольно неожиданное вступление. Встав передо мной во весь свой гигантский рост и выразив страдание на лице, он проговорил с малороссийским акцентом:

— Голуба ты моя, сделай мне такую великую милость: проведи ты меня в свою кухоньку и дай мне сварить себе парочку яичек всмятку! А?

Несколько недоумевая, я провел его в кухню.

— Ты что же, сам хочешь варить себе яйца?

— Вот то-то и оно, что *сам,* голуба моя! — ответил он многозначительно, беря из моих рук яйца и откладывая их в сторону.— Ты не можешь поверить, как я устал от власти, дорогуша моя! Только пальцем мигнешь, глядь, а уж все и готово. Даже яйца себе сварить не могу! Утомительная эта вещь — власть.

И, взяв меня под мышку, он отправился обратно в комнаты. Тут он заговорил о главной цели своего визита: об организации театра в Праге. Он говорил о своих связях в правительственных кругах, о дружбе с министрами, о любви президента Масарика к театру и о том, как легко будет создать театр при его, С., влиянии в министерстве.

— Но, друг мой, я еду в Париж.

— Ни-ни! Не моги в Париж! Рано! — кричал он, приходя в азарт.— Я сам скажу тебе, когда в Париж, когда что! Как бог свят, прогремит театр наш на всю Европу, и вот тогда, друже ты мой, тогда, высоко подняв это самое... как его... въедешь ты (да и я с тобой) на победной колеснице в этот самый Париж! Ух и натворим же мы делов, сердэнько мое! — Он закрыл глаза и стал ерошить волосы на лысой голове.— И это тем более, что половина дела уже сделана.

— Как же так? — полюбопытствовал я.

— А вот как: скажи-ка мне, голубок, что, по-твоему, главное в театре?

— Я полагаю, актер,— ответил я.

— Ни-ни! — пропел он, хитро грозя мне пальцем.— Актер дело второе, голуба. Играть штука не хитрая, если талант налицо! (Он указал себе под ложечку.) Главное и первое в театре — это администратор, то есть человек с головой и хозяйственный. А раз у нас таковой уже имеется, то и половина дела сделана! Понял ты меня, сердце мое?

— Да где же у нас такой администратор?

— Где? А вот он! — Он раскинул руки и выставил вперед свою могучую грудь.— За мной — как за каменной стеной: спи спокойно, твори, ни о чем не думай и работай!

Он закатился счастливым смехом, горячо обнял меня и потом долго молча смотрел мне в лицо, подмигивая то одним, то другим глазом, а я все думал о яйцах, забытых на кухне, и пытался сложить свои губы в улыбку.

— Но, голуба моя,— вдруг заволновался С.,— не обрастай людьми. Я сам подберу тебе правильных человечков, ты же никого не моги приглашать в дело, не спросясь меня. Боже тебя упаси! Теперь давай карандаш и бумагу, составим смету и направим ее прямо к господину президенту Масарику. Пиши!

Диктуя мне пункт за пунктом, он метался по комнате, все повышая голос.

— Точка! — выкрикивал он, притопывая ногой.

Иногда он угрожающе двигался на меня из угла комнаты с вытянутой рукой и указательным пальцем.

Смета вышла большая, что-то около миллиона чешских крон.

— Так-с! — сказал он, рассеянно глядя из-за моей спины на итог.— Это вот, видите ли, такая получилась у нас общая сумма, так-с, понимаю... сумма... суммочка... суммчоночка... понятно. Ну-с, голуба моя, требуются небольшие поправочки.

— Да, я полагаю,— сказал я с облегчением,— скромность нам не помешает.

— Именно, не помешает...

И, схватив карандаш, он перегнулся через меня, как рыжей вуалью завесив мое лицо своей пушистой бородой.

— Начнем с другого конца, с итога, а потом подведем под него и статьи.

Отстранив слегка бороду, я увидел, как, перечеркнув наш почти миллионный итог, он вывел красивую пятерку. За нею появились шесть таких же красивых нолей — пять миллионов.

— Ты ошибся на один ноль,— сказал я ему,— но и пятисот тысяч, по-моему, многовато. Я бы хотел поскромнее.

С. замигал на меня своими выпуклыми глазами, подбоченился и сказал с расстановкой:

— Ты что же, голуба моя, милостыни, что ли, у Масарика просить собираешься?

И, выдержав выразительную паузу, он подсел ко мне, сдвинув в сторону предметы, лежавшие на столе, повернул меня вместе со стулом к себе лицом и начал наставительно:

— Да отдаешь ли ты себе отчет, миленок ты мой, кто ты такой? Да как же *ты* можешь просить меньше пяти миллионов? К лицу ли это тебе? Культурное начинание в европейском масштабе, новая эра в театре, президент республики, ты, Станиславский... И пр. и пр.

Пристыдив меня, он погрозил мне пальцем, и сказав, что раз он сам с его влиянием понесет эту смету куда следует, то мне тут беспокоиться нечего, что мое дело сцена, а что «по ту сторону рампы», так тут уже он, и он один. Взяв смету, он уехал в Прагу, приказав мне ждать и не «рыпаться». Ждал я неделю, две, три и наконец получил из Канцелярии президента очень вежливый отказ, мотивированный невозможностью затратить в данный момент на организацию театра суммы, указанной в моей смете. Я буквально сгорел от стыда, проклиная себя за слабость и бесхарактерность. Сгоряча я написал С. возмущенное письмо, но ответ пришел полный любовных излияний, дружеских чувств, утешений и даже туманных намеков на будущие возможности и связи. Письмо было написано разноцветными карандашами, со множеством восклицательных и вопросительных знаков, с многоточиями, приписками на полях, с крупными, подчеркнутыми фразами вроде: «Друже, не грусти!», «Голуба, вперед!», «Мы еще покажем!» и т. п. Письмо я бросил, не дочитав до конца, и стал поспешно готовиться к отъезду.

Я не люблю вспоминать парижский период моей жизни. Весь он представляется мне теперь беспорядочным, торопливым, анекдотичным. Увлеченный ролью «идеалиста», я с первого же дня хотел видеть последние достижения и несся вперед, спотыкаясь о препятствия конкретной действительности.

С чрезмерной хлопотливостью приступил я к осуществлению своих планов в Париже. Чуть ли не с вокзала я отправился искать квартиру, непременно дорогую и не-

пременно в центре города. К вечеру следующего дня я распаковывал чемоданы в дешевой квартире на окраине. Квартира была в уровень с тротуаром, и всякий проходивший мимо окон гражданин невольно и неизменно заглядывал в комнату. Не важно! Квартиру всегда можно переменить.

Не теряя ни одного дня, я, как и в Берлине, окружил себя русскими актерами. С надеждой и упованием пришли они ко мне, ища серьезного театра и мечтая встретить руководителя. Я назначил им жалованья и роздал авансы. Они были в восторге: дело, несомненно, стояло на твердом фундаменте.

Приехав с намерением показать парижской публике «Гамлета», я вдруг переменил решение и приступил к репетициям «Дон Кихота». Одновременно начались поиски театра. Нужны были декорации. Я отправился к художнику Масютину... с авансом. Декорации были задуманы сложные, с фокусами и трюками. Театр был снят на Шанзелизе[12]. На моем столе появилась бумага с бланками, печати, множество почтовых марок и особые папки для входящей и исходящей корреспонденции. К ним была приставлена секретарша. С нею вместе я начал ежедневные посещения французских театров. На каждом спектакле новая надежда вспыхивала в моей душе: здесь все так поверхностно, так легкомысленно, говорил я себе, новый театр *нужен.* Они сами поймут и оценят ту глубину и силу, которая свойственна нашему русскому театру. Ее-то им и не хватает. Один Жуве произвел на меня чарующее впечатление: он имел право на легкость, в нем она не превращалась в легкомысленность.

Вместо планомерной подготовительной работы я спешил, много говорил, торопил окружающих и, как магнитом, притягивал к себе ненужных и бесполезных людей.

Вскоре около меня появились два «представителя русской эмиграции». Они близко приняли к сердцу идею создания «русского театра за рубежом». Особенную активность проявила полная пожилая дама с детским взором. Она восхищалась, верила, восклицала, поддерживала во мне «святой огонь», подносила платок к глазам, целовала меня и потом подолгу сидела в креслах, мечтательно улыбаясь.

Одновременно с дамой появился и человек, черный, с неподвижными, широко раскрытыми глазами, острыми плечами, беспокойный и шумливый. Он отрекомендовался другом Чаплина.

— Чарли мы возьмем за бока,— сказал он,— пусть, сукин сын, работает!

Он часто хватал телефонную трубку, вызывал кого-то к телефону, но этот «кто-то» всегда, «черт дери», оказывался в отъезде. Он вдруг хватал шляпу и палку, уезжал ненадолго по «нашему делу», быстро возвращался, говорил: «Готово!», снова хватал телефонную трубку и затем в сотый раз спрашивал меня: *что же, что,* собственно, мне нужно как художнику? Просил меня не думать ни о чем, кроме искусства, предоставив все остальное ему. Я вспоминал при этом моего бородатого друга в победной колеснице, но все же искренне благодарил моего нового заботливого администратора. Он носился по комнатам моей квартиры, заглядывал во все углы, останавливался на минуту рассеянно где-нибудь в дверях, мешая ходить, стучал палкой по мебели и подоконникам или вдруг, устремившись взором в одну точку, начинал шарить у себя в карманах.

Вскоре по настоянию секретарши были приглашены газетные люди для рекламных статей и интервью. Газетные статьи привлекли внимание группы молодых любителей театрального искусства. Они явились ко мне с предложением своих услуг. На сцене они меня не видели и «благоговели» передо мной понаслышке. Один из них выразил желание вести секретарскую работу. Затруднений со стороны секретарши не встретилось — мысли ее были заняты другим: она глядела на меня (или это только казалось мне?) слишком преданно и нежно. За это я водил ее в кафе. Из чувства порядочности я не раз пытался влюбиться в нее, но, разглядывая ее лицо, волосы, шею, плечи, я всегда находил какую-нибудь мелочь, неудовлетворявшую меня и мешавшую осуществлению благого намерения. Раз только чувство вспыхнуло во мне, я заторопился, быстро схватил ее руку, но чувство вдруг угасло, и я вернул ей ее руку, пожав неопределенно и невыразительно.

Новый секретарь начал с того, что сменил благоговейное выражение лица на озабоченное, потирал руки и время от времени изящно прикасался к конвертам, бумаге с бланками и почтовым маркам.

На следующее же утро после занятия им должности он разбудил меня стуком в окно.

— Театр едет в Америку! Вставайте! Поздравляю! — услышал я его взволнованный голос за окном,

вместе с легким дребезжанием стекла, к которому он припал лицом.

Мой секретарь вез меня на свидание с «миллионером», только что прибывшим из Америки. Отсутствие репертуара секретаря пока не смущало. Приезжий американец принял нас с недоумением, безразлично выслушал вступительную речь секретаря о моем таланте и всемирной известности и, встав, холодно заявил, что театром не интересуется. Секретарь мой вспыхнул, наговорил ему дерзостей и пулей вылетел из роскошной гостиницы, забыв меня в номере наверху. Внизу у подъезда он пересказал мне все, что произошло наверху и чему я был свидетелем всего несколько минут назад. Выходило так, что на спокойные и убедительные слова секретаря «этот мерзавец американец разорался и чуть ли не спустил нас с лестницы».

Утомленный и расстроенный, секретарь мой захотел посидеть в кафе. В некотором отдалении от нас я увидел человека со скучным, маловыразительным лицом и большим подбородком. Он казался мне знакомым, но я не мог вспомнить, где и когда я видел его. Вдруг сердце мое забилось. Это был Грок. Я впился глазами в гениального клоуна. Я глубоко преклонялся перед ним и был счастлив увидеть его в жизни. Но тут секретарь вдруг проявил инициативу. Он подбежал к Гроку и, указывая на меня, сказал ему что-то. Грок вскочил и, застегивая на ходу пуговицы пиджака, быстро направился ко мне. Он почтительно усадил меня за свой столик и, видимо, ждал, чтобы я начал разговор. Я был в отчаянии: что сказал обо мне услужливый секретарь Гроку? Кем был я теперь в его представлении? Радость моя пропала, я краснел и не находил слов.

— Зачем вы приехали в Париж? — спросил я его наконец не то с обидой, не то с упреком.

— Я приехал посмотреть свой фильм,— ответил он вежливо, с легким поклоном и снова умолк, ожидая дальнейших вопросов. Секретарь стоял в почтительном отдалении со счастливой улыбкой на устах. Как я ненавидел его в эту минуту! Я краснел все больше и больше, уши мои горели, глаза потеряли способность моргать. Наконец, собрав все свои силы, я встал, неуклюже поклонился и вышел из кафе, оставив Грока в недоумении. Секретарь шагал рядом со мной, счастливый и довольный собой. К «канцелярской» работе он не вернулся, но заставил ме-

ня давать уроки драматического искусства ему и его друзьям.

Секретарша снова приступила к исполнению своих обязанностей, на этот раз с идеей ввести меня в круг французских знаменитостей.

Monsieur P. (известный французский актер) был ее первой (и единственной) жертвой. Он принужден был угостить нас обедом. На изящно накрытом столе появился небольшой кусок вареной рыбы. Хозяин молча и холодно выслушал доклад секретарши обо мне как о непревзойденном гении. Этим знакомство и кончилось.

На следующий день рано утром я был введен в дом к видному представителю французской прессы. Представитель вышел к нам бледный, опухший, с каплями пота на лбу. Стакан за стаканом он пил белое вино, постепенно приходя в себя после вчерашнего кутежа.

От дальнейших знакомств в этом роде я отказался и стал с большим рвением репетировать «Дон Кихота». Актеров на многие роли не было еще вовсе... но... потом, потом...

Макет Масютина был готов. Это было чудо изобретательности, подвижная конструкция из дерева, меняясь, как головоломка, давала все семь декораций. Эскизы костюмов также были готовы. Декоративная смета превышала мои финансовые возможности. Подсчитав деньги, я увидел, что их оказалось меньше, чем я думал (впрочем, до этого момента я о них не думал). Кто-то подал мысль идти с макетом и эскизами костюмов к Ротшильду. И макет, и костюмы, и идея постановки понравились. Мы торжествовали. На другое утро от Ротшильда пришел отказ.

Наскоро сорганизовалось Общество друзей театра. Была заготовлена книжка квитанций на ожидавшиеся денежные поступления. В первый же день были получены от семейства Высоцких 250 франков. Больше поступлений не последовало. Мое финансовое состояние стало известным, и полная дама, сочувственно относившаяся к моим начинаниям, исчезла. Вскоре она прислала мне «анонимное» письмо. Оставил меня и «друг Чаплина». Заказывая В. Коринской костюмы для «Дон Кихота», он нажимал пальцем пластинку телефонного аппарата, разъединяющую абонента со станцией. И пока он кричал в телефон: «Варя, брось все, спешный заказ! Для меня!» — я наблюдал его. Он заметил мой взгляд, с треском положил телефонную трубку и, сказав: «Заметано! Костюмы в кармане!» — исчез. Покинула меня и секретарша.

Разочарованные актеры стали реже являться на репетиции. Жалованье им шло. Тщетно искали выхода. Проходили месяцы. Бездействие и неопределенное будущее несколько отрезвили меня.

Вдруг совсем неожиданно благодаря добрым стараниям все того же семейства Высоцких в мое распоряжение была предоставлена небольшая сумма денег. На дорогую постановку «Дон Кихота» ее не хватало, и я решил поставить пантомиму на тему русской сказки. Отсутствие языка делало представление доступным как для французской, так и для русской публики: при удаче можно было рассчитывать на сборы. Приступили к репетициям. Появилось новое лицо: музыкант, изящно одетый молодой человек с хитрыми глазками. Он хотел попробовать себя как дирижер и, достав дешевых музыкантов (что музыканты нас не разорят, я убедился с первых же репетиций), стал разучивать с ними партии.

Пантомима готовилась в спешном порядке. Она была далека от совершенства. Но все же кое-какие художественные цели, намеченные мной, осуществить удалось. Для внимательного зрителя или по крайней мере для театрального критика они не должны были бы пропасть. Русский театр за рубежом, как я представлял его себе, должен был сказать хотя бы и скромное, но все же свое, новое слово. С. М. Волконский, присутствовавший на одной из репетиций, кое-что критиковал, кое-что хвалил, охотно давал советы, был дружески настроен и мил. После премьеры его рецензия оказалась уничтожающей. Мне не часто приходилось читать такую беспощадную критику. Она могла соперничать только с рецензиями Ходасевича, со страстью и жестокостью преследовавшего мои парижские начинания. За исключением двух-трех добродушных отзывов (во французской прессе), русские газеты с негодованием отвергли мои «новшества» и требовали «настоящего» театра. Зачем же, в самом деле, я всю свою жизнь провел в Художественном театре и как осмелился «искать», когда все уже найдено! Пантомима (а вместе с ней и надежда на спасение) провалилась недвусмысленно и безнадежно.

Впрочем, неуспеху первого спектакля содействовал и скандал, неожиданно разыгравшийся в нашем оркестре. За время репетиций молодой дирижер сумел восстановить против себя музыкантов, и они в отместку ему перед началом спектакля из каждой нотной тетрадки вынули по одному листу. Сыграли увертюру, дали занавес, и дейст-

вие началось. Публика насторожилась, смотрела со вниманием и ждала. Прошло две-три минуты, и... оркестр споткнулся, жалко пискнула скрипка, свистнула флейта, и все затихло. Еще мгновение — и в напряженной тишине кто-то тихо усмехнулся в зрительном зале. Дирижер задергался и запрыгал, как марионетка на ниточках. Его увидели из зрительного зала, тишина оборвалась, поднялся смех, свист, шиканье, и послышались остроты по адресу музыкантов... Как и всякая толпа, публика проявила жестокость. Бледный дирижер выскочил было к публике, но, испугавшись криков и свиста, исчез. Музыканты шумели, ища затерявшиеся нотные листки. Актеры замерли в позах живой картины. Ноты нашлись, действие возобновилось, но вскоре снова прервалось. Три или четыре раза в течение первого акта на сцене, к удовольствию зрителей, появлялись живые картины. В антракте ноты были найдены, но спектакль был погублен.

Расставшись с дирижером и затратив последние деньги на новых музыкантов, я решился на второй спектакль. Но зал уже пустовал. В порыве отчаяния и обиды в гриме и костюме я вышел на авансцену перед занавесом и, обращаясь к десятку разбросанных по залу зрителей, сказал им, что нас не смущает малое количество присутствующих, что мы работаем как идеалисты, просил всех пересесть ближе к сцене и обещал им, что актеры исполнят свои роли с полной энергией и с самым теплым чувством к собравшейся сегодня немногочисленной публике. С галерки с шумом и криком сбежали несколько молодых людей и разместились в первом ряду. Остальные зрители остались на местах. Актеры не одобрили моего выступления и просили не повторять его: унизительно. Скоро представления пантомимы прекратились совсем.

Собрав актеров, я поблагодарил их за усилия и предложил им считать себя свободными. Но актеры, зная безвыходность моего положения (театр был снят на сезон — надлежало выплатить сумму полностью), поступили со мной по-товарищески. Они предложили наскоро поставить «Потоп», имевший успех в Москве. «Потоп» был поставлен, и русские газеты отозвались одобрительно: «перемену репертуара» они рассматривали как признак художественного оздоровления. Русская публика стала посещать нас. Надо было спешно готовить спектакли в том же роде, чтобы держать русскую публику. Появились «Эрик XIV», Чеховский вечер, составленный из нескольких рассказов Чехова, и шекспировская «Двенадца-

тая ночь» — все из репертуара Второго Художественного театра.

Для шекспировской комедии решили заказать хоть сколько-нибудь приличные декорации. Французская декоративная мастерская приняла заказ без эскизов: там знали, каких декораций требует эта пьеса! Декорации прибыли за сорок минут до поднятия занавеса. Расторопные рабочие быстро расставили их. Посередине сцены во всю ее величину на деревянных подпорках был установлен фонтан. Его пытался наполнить маленький амурчик, прибитый к верхушке картонной колонны. Других декораций не было. Актеры в гримах и костюмах в недоумении смотрели на веселых французских рабочих. Все предчувствовали недоброе, и никто не решался спросить, что это за фонтан и зачем его ставят на нашей сцене. Но медлить было нельзя — надо было выяснять. И оказалось: произошла ошибка — фонтан предназначался для другого театра, туда отвезли нашу «Двенадцатую ночь», мы же получили амурчика. Публика волновалась и требовала начала. Актеры набросились на фонтан и вместе с амурчиком и колонной, переломав их в куски, выбросили за кулисы. Остались три худеньких деревца на сетке. Занавес подняли.

Потянулся ряд скучных, кое-как срепетированных «настоящих» спектаклей. С каждым днем тоска все больше наполняла мое сердце. Русской публики в Париже было недостаточно, чтобы поддерживать постоянный театр. Будущее было темно. Ехать было некуда, да и не было энергии думать о новых начинаниях. Об «идеальном театре» во Франции можно было так же мало говорить, как и в Германии. Теперь я вполне сознавал и ошибки моего донкихотского идеализма, но сознавал и сравнительно невысокие требования театральной публики. Чем дальше от русской границы, тем тоскливее становится русскому актеру. С трудом закончили один сезон и с неохотой начали другой. Энергия моя сменилась апатией, и круг интересов сузился. Шахматы — единственное, что занимало меня теперь. Я ходил на парижские турниры, участвовал в сеансах одновременной игры Алехина и Бернштейна, бывал у Алехина в гостях и с восторгом следил за его игрой с Бернштейном в уютной семейной обстановке. Личность Алехина меня давно интересовала. Нервность его поражала меня. Его пальцы, например, всегда легко брали с доски шахматную фигуру, но не всегда могли легко выпустить ее: фигура прыгала в его руке и не хотела от нее отделяться. Он почти стряхивал ее с пальцев. Когда он

и Бернштейн обсуждали какую-нибудь шахматную комбинацию или анализировали положение, я буквально хохотал, видя, как фигуры стремительно летали по доске, почти не задерживаясь на ней (похоже было на маленький пинг-понг), и как оба маэстро одновременно говорили и одновременно замолкали, когда проблема была решена. Интересно, что на турнирах Бернштейн почти всегда проигрывал Алехину, в домашней же обстановке за дружеской игрой Алехин неизменно проигрывал Бернштейну.

Продолжал я заниматься и с труппой любителей театрального искусства во главе с моим «секретарем». Теперь я отдавал им больше внимания. С удивлением я стал замечать, что мой театральный опыт, понимание актерской техники и педагогические приемы выросли, оформились и уточнились. Когда? Я почти не думал о них в течение последнего времени. Кто-то продумал их за меня. То, что в моем сознании (вернее, в подсознании) многолетний мой опыт как бы сам собой складывался в систему, навело меня на мысль, что в основе он был верен и органически правдив. Я ничего не выдумывал, не вносил рассудочных измышлений, не создавал искусственной связи частей — стройность возникала сама собой. Я заинтересовался процессом, происходившим во мне, и стал следить за ним, строго оберегая его от вмешательства рассудка. Но записей в это время я еще не делал.

Я уже давно жил на Монмартре. Моя дешевая квартира сменилась дешевой комнатой на грязной шумной улице, пропитанной запахом рынка и мясных лавок. Бесцельное скитание по ночным парижским бульварам привело меня однажды в цирк, где в течение почти целой недели, день и ночь, происходили «марафонские танцы». Парижане сходили с ума. Восемь или десять пар танцевали непрерывно, без сна и отдыха. Тех, кто падал без чувств, уносили с арены. Над входом цирка вывешивались плакаты, извещавшие о ходе танца. Цирк был переполнен. Зрители ревели, неистовствовали, заглушая оркестр. На арену танцующим бросали деньги. Но главный выигрыш в 25 000 франков предназначался тому, кто «умрет» последним. Я застал танец на четвертый или пятый день. Оставались три пары и одна дама, потерявшая своего кавалера. Животный рев толпы ошеломил меня. Я стал следить за рыжей женщиной с позеленевшим полуобнаженным те-

лом и мужчиной с искаженным лицом. Я, как и все, превратился в зверя и хотел, чтобы при мне упал человек. И мужчина скоро упал, пришлепнувшись к дощатому полу арены, стукнувшись головой и уродливо подвернув руку под спину. Толпа заревела, засвистала, загикала. Люди ругались, дрались, срывали с себя и с других шапки и кидали их в танцующих. С улицы непрестанно врывались новые толпы, потерявшие терпение, их выталкивали, они снова врывались и с жадностью замирали на мгновение, впиваясь глазами в наполовину умершие фигуры танцующих.

Я очнулся, когда вдруг почувствовал острую, жгучую ненависть. Не к ним, но к себе самому, к «идее нового театра», к мечте об «идеальной публике», к зрелищу вообще и к тому отвратительному двойнику моему, которого я называл Дон Кихотом. Зверь, разбуженный во мне атмосферой ночного цирка, искал своей жертвы. Я хотел разрушить, уничтожить, убить. И я убил: смертельный удар пал на рыцаря с тазом цирюльника на голове. Все прежнее, что жило во мне, все беспочвенные мечтания, вся страсть к пустому «идеализму», весь восторг перед самим собой — все исчезло, остановилось, умерло. Я выбежал из цирка и снова оказался на бульварах. Опустевшая душа моя ждала чего-то. И «что-то» начало медленно подниматься из ее глубин. Что это было, я еще не знал, но чувствовал: это серьезно, это то, без чего нельзя вернуться к жизни, нельзя встретить завтрашний день. «Оно» несло с собой покой и силу. Я начинал догадываться: это было *рождение* мировоззрения во мне. Не в уме только, но во всем моем существе — и в сердце, и в воле, и в руках, и в ногах, и во всем теле. Только бы не потерять это *новое,* никогда доселе не испытанное *единство,* это «я», спокойное и сильное, этого *человека* во мне! Только бы не погрузиться снова в этого, идущего по бульвару, чужого и постороннего мне человека, которого я до сих пор принимал за себя, за свое «я»...

Что я потерял в Париже? Деньги и излишнее честолюбие. Что приобрел? Некоторую способность самокритики и наклонность к обдуманным действиям. И жизнь моя, как это часто бывает, изменилась и внешне и внутренне одновременно. Начался период удач. Из Риги пришло приглашение на гастрольные спектакли с Хлестаковым. Я читал письмо директора Русской драмы и не верил.

И только в вагоне железной дороги (догоняя свое собственное существо, давно уже прибывшее в Ригу и нетерпеливо ожидавшее там своего телесного двойника) я поверил и обрадовался.

В Риге на вокзале меня встретила депутация от театров Русской драмы и Латвийского государственного с их директорами во главе. Группа актеров, репортеров и фотографов. Я заволновался, как мальчишка, и чуть было опять не впал в грех честолюбия.

Рига! Теперь я второй раз влюбился в нее! Много, много лет назад, когда театр наш был еще Первой студией, я вместе с труппой отправился на гастроли за границу[13]. Это был мой первый выезд из России. Что такое заграница? Я воображал себе Париж, Берлин, Лондон, Рим, даже осмеливался думать о Нью-Йорке, но о Риге я не думал, забыл о ней. И вот она, первая, тогда раскрыла передо мной соблазнительные тайны «заграницы». Прожив столько лет в России в более чем скромных условиях, забыв о существовании ресторанов, смокингов, балов, вечеров, отвыкнув от веселой праздности, я вдруг все это встретил за границей в чистенькой, уютной и веселой Риге. Рига тогда всеми силами старалась подражать Парижу, и в этот «Париж» я бросился с безудержной жаждой жизни.

Гостеприимные хозяева водили меня из ресторана в ресторан, днем — «Германский парк», «Римский погреб», ночью — подвальные кабачки с красно-сине-желтыми мигающими лампочками. Я ел, пил, шумел, подписывал карточки, всех любил, обнимал, отплясывал «Русскую», врываясь в томные фокстроты, обнимал девушек, внезапно появлявшихся на моих коленях, влюблялся в них и тотчас же терял их из виду. В ресторанах меня узнавали, кричали:

— Господин Чехов, к нам, за наш столик!

Я пробегал от одной компании к другой, кого-то с тоской провожал, кого-то встречал как родного. На рассвете катался на лодке с непременным намерением выехать на простор в Рижский (а может быть, и в Финский) залив. Однажды, под утро, я нашел на скамейке в саду дремавшую девушку с размазанной краской на опухших губах. Как жалко! Я подошел к ней и с чувством сказал:

— Дорогая моя, я спасу вас, хотите?

От спасения она отказалась, и мне стало легче. Я предложил ей денег, много денег, но она отказалась и от де-

нег, сидя «повернулась на другой бок» и, кашлянув басом, заснула.

Однако эта первая, легкомысленная, встреча с «заграницей» не мешала мне играть с увлечением. Молодых сил хватало на все. Спектакли имели успех, и жалко было по окончании гастролей покидать маленький «Париж». Но впереди ждали Берлин, Прага и, может быть, большой, настоящий Париж.

Но покидать Ригу было нелегко еще и потому, что приходилось расстаться с семьей Цетлиных. Их дом был местом радости, веселья и отдыха. Не только русские актеры, жившие в Риге, находили гостеприимный прием в этом доме, но и все проезжавшие Ригу актеры МХТ чуть не с вокзала отправлялись на поклон к Михаилу Львовичу и Марии Лазаревне. Поклон затягивался, и Качалов, Москвин, Леонидов, Лужский «засиживались» у Цетлиных днями. Трудно было уйти от этих людей. Как чародеи привораживали они к себе своих, прошеных и непрошеных, гостей. Люди в их присутствии становились жизнерадостны, просты и свободны. И не только ради веселья ходили мы к Цетлиным. Свои беды, невзгоды и неудачи несли мы на их суд и рассмотрение. Щурясь от дымка папироски, Мария Лазаревна со смешком и улыбочкой разрешала «труднейшие» наши проблемы, а Михаил Львович, поддакивая баском, похаживал вокруг нее и радостно смеялся, когда гордиев узел был разрублен. Не оставалось ничего больше, как выпить рюмочку с новой, еще невиданной доселе закуской. И сколько бы нас, жаждущих атмосферы цетлинского уюта, ни собиралось в их доме — стены таинственно раздвигались, и всем находилось место, самое уютное и самое почетное.

Такова была моя первая встреча с Ригой, первая «заграничная любовь».

Теперь, на вокзале, когда меня встречала депутация, я живо вспомнил *ту* Ригу, но положение гастролера и несколько торжественная обстановка заставили меня приосаниться и держать шляпу над головой, пока вспыхивали лампочки фотографов. В толпе я заметил моего старого друга, веселого завсегдатая ночных кабачков, но теперь он солидно подходил ко мне с официальной речью и долго жал мне руку, пока не убедился, что его официальный вид запечатлен и появится завтра в газете. В этот приезд я осматривал город, посещал театры, знакомился с видными и уважаемыми в городе лицами. Теперь, после того как я видел и «старую Прагу», и «старый Ревель», и уголки

Парижа, и чудеса Венеции, и Понто Веккио во Флоренции, я с бо́льшим пониманием мог оценить и «старую Ригу». Я с любовью вспоминаю о ней, и все мне кажется, что я жил там когда-то, кого-то любил и делал какое-то свое, скромное и тайное, заполнявшее всю мою жизнь дело, в полутемной комнатке под крышей.

Без ложной скромности скажу: Рига оказала «московский» прием моему Хлестакову. И репетиции проходили, как в Москве, в моем родном театре, в благоговейной тишине, сосредоточенно и любовно. Актеры подтянулись. Я чувствовал: они играют лучше, чем обычно, хотя до этого времени я не видел никого из них на сцене. Билеты были распроданы в первые же два дня на все гастрольные спектакли. Душа моя отдыхала. Я снова почувствовал, что я актер, что «халтуры» здесь не хотят, что все готовятся к хорошему спектаклю и что никто из пишущей братии не ждет сладострастно провала. Рига — город театральный. Государственные Опера и Драма стоят на большой высоте. Частные театры (например, театр Смилгиса) смело экспериментируют, ищут новых форм игры и постановок. Рецензенты не отделываются фразами: «и на месте был такой-то», но разбираются подробно и обстоятельно в достоинствах и недостатках каждого нового спектакля. Молодежь ищет серьезного театра, серьезной школы. Она, как сказал бы Станиславский, «любит искусство, а не себя в искусстве». Даже цирк в Риге один из лучших. Спектакли «Ревизора» проходили с большим подъемом. Два из них были особенно торжественны, не только для меня, но и для всей труппы: на одном присутствовал Шаляпин, на другом Рейнгардт. Шаляпин в антракте приходил ко мне за кулисы, а по окончании спектакля мы ужинали с ним в одном из так хорошо знакомых мне ресторанов. Он хвалил мою игру, рассказывал кое-что о себе самом и, как он часто делал это, имитировал плохих оперных певцов, заставляя меня хохотать до слез. Что похвалы Шаляпина были искренни, я заключаю из того, что сыну своему Федору Федоровичу он сказал обо мне:

— Кружева плетет, сукин сын.

Отзывы Рейнгардта были не менее лестны (хотя, к сожалению, и без «сукина сына»).

Кончились гастроли, и нужно было возвращаться в Париж. Но там мне нечего было делать. После рижской театральной радости я уже не в состоянии был снова опуститься до «халтуры». Однако в Париже я пробыл недолго. От директоров Латвийского государственного театра

и Русской драмы я получил предложение принять постоянную работу в их театрах в качестве режиссера и актера. Париж я покинул без сожаления и вместе с женой переехал в Ригу.

Разумеется, «Гамлет» был первой моей постановкой на латвийской сцене. И хотя постановка эта не могла быть так детально проработана в смысле исполнения и стиля, как московская, все же и в ней удалось сохранить основную атмосферу спектакля. Партнеры мои играли на латышском языке, я — на русском. Это никому не мешало — в Риге знали русский язык. (Хотя кое-кто из молодежи уже и стал притворяться, что не понимает по-русски. Это была дань шовинизму, очень скоро принявшему уродливые размеры.)

Второй постановкой на латвийской сцене была «Смерть Иоанна Грозного». Она шла параллельно с «Гамлетом». О роли Грозного я мечтал давно.

Удивительное явление актерская душа! Если ее интересует какой-нибудь образ, она работает над ним бессознательно и непрестанно и бескорыстно доводит свою работу до конца. Когда я приступил к репетициям «Грозного», я в первую же минуту (даже секунду!) понял, что роль у меня готова! Это обстоятельство поразило меня тем более, что даже текста я еще не знал наизусть, но, заговорив, услышал новый, незнакомый для меня голос, голос Грозного, его специфические интонации и особый, присущий ему ритм речи. В Москве я не репетировал этой роли (ее прекрасно сыграл А. И. Чебан) и только принимал участие в постановке ее (как, впрочем, и во всех постановках, шедших в нашем театре). Образ Грозного, созданный Чебаном, был настолько отличен от образа, бессознательно возникшего в моей душе, что мысль о возможном влиянии Чебана пришлось откинуть. Я с полным доверием отдал себя в распоряжение Грозного и только следил, как день за днем он *сам* воплощался, вырабатывая детали своего существа и поведения на сцене. К концу репетиционного периода в нем удивительным образом сочетались крайняя жестокость и детскость. Он вызывал жалость в зрителе. «Когда играешь злого — ищи, где он добрый», — учил нас Станиславский. Мой Грозный нашел, где он добрый. Чем ближе подходила к нему смерть, чем страшнее становился он внешне, тем больше тосковала его душа, и зрителю хотелось помочь этому обреченному старику. Его злоба и ярость становились криками ужаса перед неизбежной смертью. Через

образ Грозного я увидел всю пьесу как длительный процесс умирания, как *«Смерть* Иоанна Грозного». В течение спектакля жестокий царь превращался в беззащитного человека, старик — в младенца. Удивительно умирал он в последней сцене: прозрачным становилось его телесное существо, слабыми — руки, ноги, шея и только шире раскрывались глаза, как у испуганного младенца. И странное течение времени установилось на сцене, когда смерть подходила к нему. Не только я, не только мои партнеры, но и вся публика чувствовала это: в последние две-три минуты перед смертью оно стало замедляться. Не темп игры актера, но именно время, *чувство* времени. Оно шло к полной остановке и остановилось на мгновение совсем, и все знали безошибочно: Грозный умер. Затем к концу акта время снова стало ускоряться. Позднее, разбираясь в этом сценическом эффекте, я понял две вещи. Во-первых, важна правильная ритмическая (так сказать, музыкальная) подготовка эффекта, связанного с чувством времени. Ее можно достичь режиссерскими приемами. И, во-вторых (и это самое важное), не поддающейся внешнему учету силой излучения, исходящей от актера. Вдохновленный умирающим Грозным, я действительно излучал в зрительный зал и замедленное время и полную его остановку. В момент вдохновения (то есть отказа от своей маленькой личности) путем излучения актер может передать своему зрителю все, что хочет он сам, автор пьесы и их общее творение — сценический образ.

Но не всегда подсознание так охотно помогало мне в моей творческой работе, как это было с ролью Грозного. Бывало, что связь с подсознательным прерывалась надолго. Бывало и так, что только на генеральной репетиции или на премьере вспыхивало это высшее сознание. В «Потопе» и «Эрике XIV», например, я мучился, «выдумывая» роль в течение всего периода работы. Вахтангов, ставивший эти пьесы, был в отчаянии. После последней генеральной репетиции «Эрика» он хотел даже отменить уже объявленную и распроданную премьеру. Но, зная меня как актера, со всеми моими душевными особенностями, он рискнул и не ошибся: на премьере подсознательные творческие силы прорвали преграду и тут же, на глазах зрителя и к неописуемой радости Вахтангова, создали образ безумного короля таким, каким ни я, ни Вахтангов не ждали его. В «Потопе» это проявилось с еще большей силой. Не только весь образ Фрэзера изменился, появившись впервые перед публикой, но он неожиданно

оказался евреем! Евреем он и остался навсегда. Так его исполняли и все три моих дублера (Вахтангов, Дикий и Азарин). Но бывали случаи, когда подсознание упорно молчало, и роль не удавалась. Так было с Епиходовым в МХТ и в «Селе Степанчикове» в рижской Русской драме. В обоих случаях мне пришлось играть роли, которые я видел до того в более чем прекрасном исполнении гениального Москвина. Его образы всегда производили на меня такое неотразимое впечатление, так глубоко поражали мое воображение, что я уже не мог освободиться от них и невольно копировал их. Копия получалась плохая, и не оставалось места для проявления оригинального творчества.

В Русской драме шли «Ревизор» и «Потоп» и некоторое время продержалось неудавшееся «Село Степанчиково». В Латвийском театре — «Гамлет» и «Смерть Грозного». Распределяя роли в «Грозном», я, вопреки увещеваниям и предостережению директора и к удивлению всей труппы, избрал своим партнером для роли Годунова актера, исполнявшего до этого времени третьестепенные, почти выходные роли. Зачем я сделал это? Во мне всегда жил неудавшийся революционер с сильным уклоном в примитивную мораль. Иногда он прорывался наружу, и это всегда вело к нежелательным последствиям. Мне показалось (именно показалось — настоящих оснований не было никаких), что этого актера (случайно попавшегося мне на глаза) «дирекция угнетает». Революционер во мне возмутился, и я властью режиссера, не задумываясь, вознес угнетенного на высоту. Упомяну, кстати, о другой такой революции, произведенной мною в первый же год моего поступления в МХТ. Станиславский ставил мольеровского «Мнимого больного». Вместе со всей тогдашней молодежью театра (Готовцевым, Вахтанговым, Сушкевичем, Чебаном, Диким и другими) я принимал участие в пантомиме докторов в конце пьесы. Все шло благополучно, пока вдруг во мне не проснулся мой революционер-моралист. Я собрал своих новых товарищей (да простит мне читатель) в уборной для мужчин (этого требовала конспирация) и там стал внушать им вольнодумные идеи. Стыдно, говорил я им, вы позволяете угнетать себя, вы бессловесно носите по сцене какие-то клистиры. Вы, взрослые люди, художники, позволяете обращаться с собой как со статистами в опере. Где ваше человеческое достоинство? Где артистическая гордость? Может быть, у некоторых из вас есть жены и дети — как же вы можете

смотреть им в глаза не краснея? Качаловы и Москвины играют все, что хотят, захватывают себе лучшие роли, а вы молчите и трусливо кланяетесь им в коридорах театра! Проснитесь! Протестуйте! Вдруг дверца одного из кабинетиков уборной, щелкнув задвижкой, отворилась, и передо мной во весь свой рост встал Станиславский. Зловещая, метерлинковская тишина воцарилась в уборной. Подойдя ко мне вплотную, Станиславский долго и молча рассматривал мое побелевшее, задранное кверху курносое лицо. Затем он взял меня за ворот моей тужурки и легко приподнял на воздух. Когда мои глаза оказались на уровне его лица, он грустно и со вздохом сказал:

— Вы язва нашего театра,— и, опустив меня на пол, не спеша вышел из уборной.

С тех пор революционер во мне замер на многие годы, и вот только теперь, в Риге, он снова проснулся для совершения нового благородного поступка.

Как актер я жил полной жизнью. Свободного времени как будто не оставалось. Но это только казалось. Время нашлось и для работы в театральной школе, которую организовало латышское правительство, поручив руководство ею и преподавание в ней мне. Как иностранец, я не мог официально стоять во главе государственного учреждения, и директором школы был назначен всеми уважаемый в Риге бывший городской голова, г-н А. Полный, добродушный, он появлялся в классах для проформы, но всегда засыпал там. Вся фактическая ответственность лежала на мне. Моего протеже, актера Ш., я протащил и в школу, сделав его одним из своих ассистентов.

В каждой школе есть милые непрошеные наушники и наушницы. Были они и у нас.

— Господин Чехов,— сказала мне однажды такая наушница,— господин Ш. спросил нас сегодня на уроке, кто, по-нашему, самый лучший актер в Латвии. Мы ответили, что вы, а он сказал нам, что мы еще молоды и ничего не понимаем и что самый лучший актер — он сам.

Мне это не понравилось. Поведение Ш., голос и манера держаться менялись довольно быстро. Я стал замечать, что часто вокруг него где-нибудь в коридоре, в темном уголке, на лестнице собирались группы учеников и он шепотом говорил им что-то, вытянув вперед шею и оглядываясь по сторонам. Он стал чаще, чем нужно, появляться на моих уроках и занимался тем, что быстро и внезапно на латышском языке отвечал на вопросы учеников, обращенные ко мне по-русски. Однажды при распределении

ролей в ученических отрывках он стал мне противоречить и требовал назначения на женские роли учениц по его выбору. Я не соглашался, и вдруг он, расширив глаза до предела, уставился на меня с явным намерением воздействовать на меня гипнозом. Я испугался его глупости и понял, что могу ожидать от него всего. Он расцветал пышным цветом, рассказывал несмешные анекдоты и сам хохотал высоким, скрипучим голосом, хлопал по плечам людей, прежде недоступных ему по положению, появлялся там, где его не ждали, вмешивался в разговоры, много хохотал, пил, ел и стал заметно полнеть.

В период организации школы в Риге я получил приглашение Литовского государственного театра в Ковно от директора театра А. М. Жилинского. Жилинский был актером 1-го и 2-го МХТов и, следовательно, моим старым сослуживцем и другом. Он приглашал меня работать в его театре в качестве режиссера и лектора для труппы подведомственного ему театра. Как это ни странно, время нашлось и для этой работы. Правда, мне приходилось раза два-три в неделю переезжать из Латвии в Литву и обратно, но все же, при наличии помощников, мне удалось выполнить взятые на себя обязательства.

И Ковно не избежало моего «Гамлета». Но на этот раз я принимал в нем участие только как режиссер. Гамлета же играл сам Жилинский. Его Гамлет был удивительным существом. Как будто *над* событиями окружающей его жизни проходила, проносилась его душа. И вместе с тем весь он, с его пламенным, страдающим сердцем, острым умом и все пронизывающим взглядом, был здесь, на земле, с королем, королевой, Офелией, Горацио и старым Полонием. Как делал это Жилинский? Как достигал он такого удивительного эффекта? Это тайна его творческой души. И внешние данные его зачаровывали публику: красивое, правильное лицо, стройная высокая фигура и глубокий, проникающий в душу голос — все было к услугам этого замечательного актера. Я наслаждался, работая с ним. Оба воспитанники Станиславского и Немировича-Данченко, мы говорили на одном языке. Жилинский, сам драматический и оперный режиссер, играл с тем особенным «охватом целого», какое не всегда доступно даже талантливому актеру, если он не переживал режиссерских волнений. Не свою только роль чувствовал и играл Жилинский, но *весь* спектакль в целом. Весь своеобразный мир «Гамлета» излучался из его существа. Нельзя учесть и взвесить этих излучений, но сила их громадна, и зри-

тель всегда бессознательно бывает благодарен за них актеру. В следующей моей постановке в Ковно (в «Двенадцатой ночи») Жилинский играл сэра Тоби. Я смотрел на него и старался отыскать хоть намек, хоть одну незначительную черту в его игре, фигуре, голосе, которая выдавала бы только что сыгранного им принца Датского. И не нашел. Мудрые глаза превратились в подслеповато-пьяненькие, в голосе — разгул, в движениях — озорство и размашистость, и вся стройная фигура Гамлета преобразилась в рыхлую, уютную, отягченную немалым животиком фигуру сэра Тоби. Способность полного перевоплощения всегда была для меня признаком таланта, дара божия в актере. Она в высшей степени свойственна русскому актеру. Но придет время, когда и западный актер поймет, как бедно живет он на подмостках сцены, всю свою жизнь изображая самого себя. Скажут: а Чарли Чаплин? А Грок? Да, если вы обладаете их гением, если вы можете создать такой же фантастический образ, способный передавать все бесконечное разнообразие человеческих переживаний, какой создали Грок или Чаплин, — играйте всю свою жизнь одно и то же, тогда хвала вам и честь, тогда никто не осудит вас.

Занимаясь с актерами труппы, я делал с ними упражнения, этюды и импровизации. Большинство из них проявило настоящий, серьезный интерес к этим занятиям. По просьбе актеров я писал им из Латвии письма о театре. Это положило начало запискам, которые позднее, развивая их и совершенствуя, я оформил в книгу о технике актера. Два года, проведенных в театре Жилинского, я всегда буду вспоминать с радостной благодарностью.

Воистину судьба благоприятствовала мне в этот период моей жизни. После долгой разлуки я снова увидел М. В. Добужинского. Он работал теперь в Литовском государственном театре, в драме и опере. Я мог видеть его почти каждый день, больше — мог работать с ним в моих постановках. С великой наивностью думал я, что *знаю* художника Добужинского. И что же? Какое чудесное «разочарование»! Только теперь, в первый раз, я увидел его картины «Город будущего» — страшные, подобные видениям Апокалипсиса. Что сделал Добужинский с *пространством* в этих картинах? Это не наше пространство, не то, что мы видим вокруг. Оно больше, оно не реально, в нем легенда, пророчество, сказка. Я смотрел на картины, говорил и «боже ты мой!» и «что же это такое!» и не знал, что сказать, а Мстислав Валерьянович тут же сидел и... стес-

нялся. Неужели это тот же Мстислав Валерьянович, кто с нежной романтикой передавал уголки Петербурга, Тамбова, мостик, дрова у забора, крендель над булочной? В мастерских, под крышей театра, Мстислав Валерьянович писал декорации к своему «Ревизору». Я наблюдал, как он длинной кистью накладывал пятна на холст. Не дано мне было понять этих пятен вблизи. Но когда настал торжественный день установки декораций на сцене — я изумился! Гляжу на плоскость стены, на уголок комнаты Антона Антоновича Сквозника-Дмухановского. Не только живут и вибрируют теперь эти таинственные блики и пятна, но они и смешат! Они рассказывают мне о жизни Антона Антоновича, да еще с юмором Николая Васильевича, да еще с усмешечкой Мстислава Валерьяновича. Нет никаких искажений, дескать: «смейтесь!» — все натурально и просто и вместе с тем и не натурально и сложно. То же в костюмах, в планировке и в свете. А его декорации к вещам Достоевского? Неужели же это тот самый... нет, уж лучше не спрашивать.

И вот Мстислав Валерьянович ввел меня в грех: я захотел рисовать. На беду мою, у него была студия в Ковно. Помещалась она при его квартире. Я часто бывал у него для бесед о постановках («Ревизора» и «Гамлета») и вот стал с вожделением поглядывать на таинственную дверь, где скрывались счастливцы: ученики Добужинского. Я не долго колебался и однажды пришел к нему с просьбой принять меня в студию. Он удивился, подумал, издал звук не то «мм?», не то «аа!», и я понял: не надо бы. И, поняв, стал настаивать. Мстислав Валерьянович — сама доброта: отказать он не может. И вот я — ученик Добужинского. Преодолевая усталость после долгой дневной репетиции, я явился на первый урок. Добужинский сам прикрепил лист бумаги к доске на мольберте, поставил передо мной натюрморт и удалился. Быстро и смело я набросал углем коробочку, вазочку, складки материи и стал ждать. Однажды, когда при помощи карандашиков мы обсуждали костюмы и гримы для постановок, Мстислав Валерьянович сказал мне:

— Ого, да вы и рисуете!

Зачем же тогда он дал мне такую простую задачу? Впрочем, я ученик. Добужинский вошел, посмотрел и снова: не то «мм?», не то «аа!», но на этот раз с прибавлением твердого, ясного: «Ммда!» и затем:

— Коробочка въехала в вазочку, а лампочка скромно ушла в уголок. Нет композиции. Поищите ее.

И вдруг я увидел: не только коробочка въехала в вазочку, но и вазочка въехала в лампочку, а лампочка, уступая коробочке, прижавшись к краю бумаги, стала у́же и выше.

— Покушайте с нами! — услышал я ласковый голос.

Вошла Елизавета Осиповна Добужинская и (со свойственной ей деликатностью не заметив моего произведения) повела нас в столовую. Чудесный обед, изящно, со вкусом накрытый стол и присутствие доброй, очаровательной Елизаветы Осиповны несколько смягчили для меня неудачу первого урока. Но я все еще мысленно боролся с коробочкой и вазочкой, недоумевая, как я мог сам не заметить погрешностей.

О, ужас! И после второго урока слышал я от Мстислава Валерьяновича те же слова: нет композиции! Я все больше терял власть и над коробочкой, и над лампочкой, и над вазочкой. Я решил извиниться перед Мстиславом Валерьяновичем и прекратить уроки. Но не хватило мужества, и я снова сидел за гостеприимным столом Елизаветы Осиповны. Если бы можно было иногда обедать в этой уютной семье... без коробочки, мечтал я. А почему Мстислав Валерьянович, такой добрый, такой человечный, не уберет эту коробочку? Нельзя же сразу давать такие трудные задачи. Ведь я же, в конце концов, ученик. И вдруг я как бы по вдохновению нашел выход. Затушевав углем вазочку, лампочку и коробочку в стиле Рембрандта резинкой, я выхватил резкие блики, свет заиграл, выступили рельефы из теней, и весь натюрморт засверкал и залоснился, как лаком покрытый! Вот оно, с этого и надо было начать! Вошел Мстислав Валерьянович, и я скромно отступил от мольберта. Пауза. Гляжу на Мстислава Валерьяновича. На его красивых губах как будто играет улыбка. Не пойму: не то он скрывает смех, не то, наоборот, пытается улыбнуться? Наконец он оборачивается, смотрит мне в глаза ласково-снисходительно и тихо говорит:

— Кокетничаете? Ну, пойдемте, друг мой, Елизавета Осиповна ждет нас.

Это был мой последний урок. Но обеды продолжались, Елизавета Осиповна была все так же мила. Так же мил был и Мстислав Валерьянович. Даже первые нотки дружественного отношения почувствовал я с его стороны. Без коробочки стало жить легче.

Между тем мой рижский протеже Ш. не терял времени. В школе, восстанавливая молодежь против меня, он

играл на шовинистических чувствах. Себе же лично он готовил что-то вроде «политической карьеры». Он быстро шел вперед, анекдотиком и вовремя поднесенной рюмочкой закрепляя пройденный путь. Скоро он совсем распустился: научился хлопать по столам толстой, с негнущимися пальцами рукой, похожей на зимнюю перчатку, хвастался перед ученицами своими мускулами и, чтобы доказать независимость, громко чесался. Когда же в его присутствии говорили о политике, он принимал загадочный вид.

Был один только человек в Риге, которого Ш. боялся,— Янис Карклинь, по профессии театральный критик, был человеком необычайной внутренней силы. Идеалист, умевший любить свою родину без шовинизма, прямой, правдивый и бесстрашный, он был как бы совестью своих соотечественников. Все общественные круги считались с его мнением. На все он имел свою собственную, всегда оригинальную точку зрения. Он как бы *видел* добро и всегда безошибочно указывал путь к нему. Это был маленький улыбающийся человек лет сорока, молчаливый, скромный и незаметный. Если он появлялся на собраниях, его седая голова всегда виднелась в задних рядах. Если он тихонько, с улыбкой, поблескивая очками, кивал головой — собрание голосовало: «да»; если же он сидел неподвижно — дебаты продолжались. Янис взял нашу школу под свое негласное покровительство, и много скверных затей Ш. погибло под молчаливым взглядом Яниса. Однажды он сказал мне:

— Михаил, ты бы поставил нам оперу.

— Янис, друг, боюсь — не сумею, никогда не ставил опер.

— Ничего,— сказал он и умолк.

Через два дня директор оперы (дирижер) предложил мне постановку «Парсифаля», предоставив для работы неограниченное время и значительные материальные средства.

Спектакли с моим участием в обоих театрах продолжались, и уже были поставлены две картины оперы, когда со мной неожиданно случился сердечный припадок и я больше чем на месяц слег в больницу. В школе воцарился Ш., и судьба школы стала сильно тревожить меня. Янис успокаивал, говоря, что следит за Ш. Но еще больше беспокоила меня неоконченная работа в опере. Я умолял профессора, директора клиники, хоть на несколько часов в день отпускать меня для работы над «Парсифа-

лем», но он не внял моим мольбам, и пришлось прибегнуть к хитрости. Ассистент мой по ночам тайно пробирался в больницу. Я вставал и, крадучись, выходил в коридор. При свете тусклой синей лампочки я наскоро излагал ему план постановки той сцены, над которой он должен был работать наутро. Так, уставая и мучаясь от боли, я все же довел постановку до конца. Перед последней генеральной репетицией я потребовал, чтобы меня выписали из больницы, и, сидя в зрительном зале, глотая пилюли, прослушал всю оперу. Премьера была торжественной. Публика стала собираться задолго до начала, опоздавших не было, и в зале царила благоговейная тишина. Праздничная атмосфера зрительного зала передалась певцам и хористам, и они провели весь спектакль с большим подъемом. Аплодисментов между актами не было, но, когда опустился последний занавес, публика устроила овацию участникам спектакля, и вызовам не было конца. Зрители не скоро покинули зал.

После выхода из больницы жизнь моя резко изменилась. Я уже не мог играть и не в состоянии был ездить в Литву. Но школу я все еще иногда посещал. Уроков давал мало, педагогических и организационных заседаний старался не пропускать. Однажды ночью, возвращаясь с одного из таких заседаний, я заметил, что улицы как-то особенно пусты и тихи. И мне показалось: странная, напряженная атмосфера окружает меня, вызывая какие-то далекие, неясные воспоминания. Знакомое чувство беспокойства охватило меня. Я силился вспомнить, не мог, и это увеличивало безотчетную тоску. Вдруг мимо меня промчался грузовик. В нем плотно, плечо к плечу, стояли в молчании люди. Другой, третий грузовик. Снова все стихло. Наутро стало известно: в Латвии совершился бескровный переворот. Но переворот был в пользу фашистов. Воцарился Ульманис, и началась жестокая травля иностранцев. Настал день полного и окончательного торжества моего милого протеже Ш. Он вдруг оказался могущественным человеком. Не выходило ни одного газетного номера, где бы Ш., скрываясь под разными псевдонимами, не требовал моего немедленного удаления из их «обновленной» страны. Друг мой Янис был захвачен врасплох. Влияние его исчезло так же быстро, как возросло влияние Ш. Я уехал в деревню. Здоровье мое ухудшилось, и мне приказано было лежать. Я много читал, изучал циклы лекций Рудольфа Штейнера и продолжал записывать свои мысли об актерской технике.

Но вот мало-помалу внимание мое стали привлекать явления, в которых виделся ритм. В ясные солнечные дни, лежа в саду, я всматривался в гармоничные формы растений, следил мысленно за процессом вращения Земли и планет, искал гармонические композиции в пространстве и постепенно пришел к переживанию *невидимого внешне движения,* совершающегося во всех мировых явлениях. Даже в неподвижных, застывших формах чудилось мне такое движение. Оно-то и создавало и поддерживало каждую форму. Наблюдая это движение, я как бы присутствовал при творческом процессе: все, на что бы я ни взглянул, создавалось тут же, на моих глазах. Это невидимое движение, эту игру сил я назвал для себя «жестом». Наконец я стал замечать, что это не просто движения, что они исполнены содержанием: в них есть и воля и чувства — разнообразные, глубокие и волнующие. Через них, казалось мне, я проникал в самую сущность явлений. Теперь я уже говорил себе не только о «жесте» (то есть о форме и направлении движений), но и о его «качествах» (об идеях, чувствах и воле). Я стал искать «жесты» не только в природе, но и в произведениях искусства и поразился той ясности и силе, с которой они выступали мне навстречу из классических творений живописи, архитектуры, скульптуры и литературы. Божественный Шекспир стал для меня школой, где я мог изучать грандиозные, разнообразные, исполненные красоты и силы «жесты». Когда же я проделывал мной же самим созданные «жесты», они неизменно пробуждали во мне чувства, волю и вызывали творческие образы. Я стал думать о применении «жеста», так сильно действовавшего на душу, к театральному искусству и увидел: каждая пьеса, каждый сценический образ, костюм, декорации, мизансцены, речь, словом, все, что видит и слышит зритель на сцене, может быть оформлено как живой, волнующий «жест» с его «качествами». Их комбинации могут дать спектаклю и игре актера композиционную гармонию и углубить смысл происходящего на сцене. Но к концу лета, после всего, что я прочел и продумал, в моем сознании начала складываться такая сложная философская система, что нечего было и думать о применении ее к театральному искусству. Сам я, пожалуй, и смог бы использовать ее при постановке или игре на сцене, но как передать ее другим? Актеры, в особенности хорошие, боятся всяких рассуждений, систем и методов, которыми теоретики театра готовы задушить их. Я сам боюсь их до отчаяния, и вот, пользуясь вы-

ражением Достоевского, «Бог попутал» — я сам сочинил систему, которую без естествознания и астрономии, пожалуй, и не поймешь! Я загрустил.

Но вот неожиданно пришло облегчение: у меня появилась слушательница. Молодая очаровательная девушка, мадемуазель Жоржет[14]. Она была подругой моей жены и приехала из Парижа, чтобы провести с нами лето. Это была особенная девушка и особенная слушательница. Во-первых, она была доктором философии и автором аналитического труда о творчестве Шницлера. Во-вторых, несмотря на свою ученость, она была талантлива, остроумна и обладала богатой живой фантазией. В-третьих, Жоржет была так же проста и сговорчива в жизни, как сложна и упряма в своих философских трудах и беседах. Ей, этой милой и красивой Жоржет, я и рассказывал мою сложную теорию ритма и композиции в применении к театру. Но для нее мои мысли не были сложными! Напротив, своими вопросами, советами и рассуждениями она возносила меня на такие философские высоты или загоняла в такие тупики новейшей психологии, что я уже начинал побаиваться: уж не слишком ли простоваты мои измышления?

Когда я уставал говорить, Жоржет читала мне вслух биографию Песталоцци. Она мечтала видеть этот неподражаемый по своему обаянию и трагическому комизму образ на экране. Она готова была субсидировать фильм, если бы я был в состоянии играть самого Песталоцци. Несмотря на мои уговоры, она не соглашалась на другого исполнителя этой роли. (Между прочим, Жоржет и была тем ангелом-покровителем, с которым познакомили меня в Париже Высоцкие. Это она дала мне возможность осуществить постановку пантомимы, так печально окончившуюся для нас обоих.) Иногда Жоржет развлекала меня игрой в «слова». Она была лингвисткой, но русского языка не знала. Я говорил ей русское слово, и она, подумав немного, почти всегда безошибочно угадывала его смысл, «извлекая корень из слова». Жене моей она помогала ухаживать за мной и делала это с легкостью и ловкостью сестры милосердия. Чутьем угадывала она и находила положения для моего тела, при которых моя боль утихала.

Из Риги тем временем приходили все новые и новые сведения: Ш. назначен директором школы и уже подкапывается под директора Государственного театра. Русская драма в опасности. Актеров сгоняют на площади для репетиций национальных шествий, парадов и живых кар-

тин. Ученикам школы приказано разучивать фашистские пьесы.

Я давно уехал бы из Латвии, если бы не состояние моего здоровья. На этот раз мне было куда ехать. Я получил от берлинского антрепренера Л.[15] предложение совершить поездку по Америке с «Ревизором». Он ждал моего окончательного ответа, чтобы приступить к составлению труппы. Сборным пунктом был назначен Париж. Надеясь подлечиться, я медлил с окончательным ответом и, вероятно, прожил бы в Латвии еще некоторое время, если бы внезапно мне не было отказано в праве дальнейшего пребывания в этой стране. На семейном совете, с участием Жоржет, было решено сначала поехать в Италию, на курорт для сердечных больных, и только потом отправиться в Париж. Переезд в Италию был для меня настолько тяжел, что по приезде туда я снова должен был немалое время пролежать в постели. Но Л. торопил, и я, еще совсем больной, решил ехать во что бы то ни стало.

С. М. ЧЕХОВ

ТРИ ДВОЮРОДНЫХ БРАТА

От автора



В этой моей рукописи — два рода сведений: нейтральные, которые можно публиковать хоть сейчас, и интимные, семейные, которые сейчас публиковать нельзя.

Отдавать этот труд в ЦГАЛИ на закрытое хранение, скажем, на 25 лет, жалко. Ведь нейтральные его строки очень и очень могут понадобиться вскоре, так как процесс реабилитации памяти моего двоюродного брата Михаила Александровича Чехова свершается неуклонно. С другой стороны, не отдать эту рукопись в ЦГАЛИ — значит подвергнуть ее возможным случайностям.

Вот я и не знаю, как поступить?

К тому же хотелось бы, чтобы эту, еще сырую, рукопись подготавливали к печати (если это будет иметь место) мои родные или друзья, но отнюдь не посторонние.

Как это сможет осуществиться, если рукопись ляжет на 25 лет на закрытое хранение?

С. Чехов (С. М. Чехов)

6 ноября 1969 г.

В 1971 году вышли в свет две книги о Михаиле Александровиче Чехове: «В. А. Громов. Михаил Чехов» и «А. Моров. Трагедия художника». Моя рукопись была написана раньше выхода в свет этих книг. Поэтому я не стал использовать их материал в своих целях.

Оказалось, что мое повествование совпадает с повествованиями этих книг лишь в очень малой степени. Я рад этому.

С. Чехов

7 октября 1971 г.

Михаил Александрович Чехов, или, как звали его в нашей семье, просто Мишка, родился в Петербурге 16 августа 1891 года. Его крестным отцом был мой отец Михаил Павлович, в честь которого и был назван его новорожденный племянник. Когда Антон Павлович впервые увидел Мишу и его глубокие особенные глаза, он тут же написал Марии Павловне, что из мальчика, вероятно, выйдет талантливый, одаренный человек. Это предсказание сбылось. Миша стал крупнейшим актером мира.

С детства он постоянно кого-нибудь изображал или что-нибудь представлял сначала в домашней обстановке перед матерью или нянькой, потом, уже гимназистом, на дачной клубной сцене. Жил он с отцом и матерью на окраине Петербурга, в дачной местности Удельной. Его отец, а мой старший дядя, Александр Павлович был исключительно интересным, оригинальным человеком. Биография его частично уже освещена в литературе в первую очередь самим Михаилом Александровичем, затем моим отцом Михаилом Павловичем и другими мемуаристами.

Мать Миши Наталья Александровна, урожденная Гольден, была дочерью еврея — выкреста. Когда первая гражданская жена Александра Павловича Анна Ивановна Хрущева-Сокольникова заболела туберкулезом, он пригласил Наталью Александровну гувернанткой к своим двум малолетним «незаконным» детям. После смерти Анны Ивановны, в 1889 году, он повенчался с Натальей Александровной.

Отмечу одно странное, на мой взгляд, обстоятельство. Наша семья и семья дяди Саши жили в одном городе, но почему-то на протяжении многих лет не встречались. Нас, детей, мою сестру Женю и меня, в Удельную не возили вовсе, Миша у нас тоже не бывал. И получилось так, что с нашим двоюродным братом мы с сестрой познакомились, когда были уже подростками.

Между тем наш отец и дядя Саша были очень дружны, дядя Саша часто бывал у нас в петербургской квартире, и в трудные его времена отец деликатно помогал ему материально.

Крупное актерское дарование Миши стало к шестнадцати годам настолько очевидным, что в 1907 году родители, по его настойчивым просьбам, перевели его из гимназии в театральную школу петербургского Малого, так называемого «Суворинского», театра. Здесь он проучился

три года под руководством М. Г. Савиной, В. П. Далматова и других корифеев петербургской сцены. С успехом закончив школу, был принят в Суворинский театр, где в первый же год сыграл царя Федора в трилогии А. К. Толстого. Я отлично помню, как дядя Саша, как-то придя к нам, вынул из кармана фотокарточку, на которой был изображен Миша в бармах и в шапке Мономаха. На лице его запечатлелась еле заметная улыбка, а глаза смотрели куда-то вдаль, придавая взору кроткость и задумчивость.

Весной 1912 года, во время гастролей Московского Художественного театра в Петербурге, Миша с рекомендательным письмом тетушки Марии Павловны нанес визит вежливости другой тетушке, Ольге Леонардовне Книппер-Чеховой. Она приняла его радушно и пообещала поговорить с К. С. Станиславским о его переходе в Художественный театр.

— Я не смею мечтать об этом,— ответил Миша со всей искренностью.

На другой день, после беседы с К. С. Станиславским и небольшой пробы, Миша был принят в театр. В благодарственном письме к Марии Павловне он кратко, но выразительно ярко описывает этот поворотный в своей жизни день.

Теперь надо было переселяться в Москву. Началась новая бурная жизнь талантливейшего актера Михаила Чехова. В том же 1912 году образовалась Первая студия МХАТ, руководителями которой стали Л. А. Сулержицкий и Е. Б. Вахтангов, строившие театр на принципах системы Станиславского.

«Студия возникла буквально из пламенного, горячего стремления всех нас... Здесь была единая молодая воля и почти полное отсутствие колебаний и сомнений»,— вспоминает Михаил Александрович в своей книге «Путь актера» (стр. 64) [1].

В этот свой первый сезон Миша сыграл несколько крошечных ролей на основной сцене и большую роль Кобуса в спектакле «Гибель „Надежды“» Хейерманса, которая состоялась в Студии 15 января 1913 г. Публика встретила спектакль овациями.

Весной этого же года Московский Художественный театр снова приехал на гастроли в Петербург. С ним в столицу приехал и Миша. Вот тут-то в нашей большой

квартире на Каменноостровском проспекте мы, моя сестра и я, и познакомились с нашим двоюродным братом. Он не раз приходил к нам, конечно, смешил всех, рисовал карикатуры в альбом моей сестры.

Карикатуры эти легки, изящны и очень остры. На одной из них изображены сам Миша и Мишина мать Наталья Александровна, ставящая собаке клизму. Собака стоит на толстой книге «Весь Петербург». Рядом — голова моего отца Михаила Павловича, сбоку голова Мишиного отца Александра Павловича. На другом листе Миша изобразил самого себя в костюме врача в пьесе Мольера «Мнимый больной». Третья карикатура на подругу моей сестры. Примечательно, что Миша с первого взгляда схватил основные черты характера этой барышни — пустоту и недалекость.

В гастрольной поездке 1913 года Миша играл в трех пьесах: в «Братьях Карамазовых», в «Мнимом больном» и в «Пер-Гюнте».

В это самое время уже был смертельно болен его отец Александр Павлович. По окончании гастрольных спектаклей Миша в очередь с матерью стал дежурить у постели отца. Огромной силой воли дядя Саша всю зиму боролся с болезнью, старался никому не показывать, что знает о своей скорой смерти, по-прежнему шутил, острил. Но болезнь — саркома горла — делала свое дело, и он скончался после длительной агонии 17 мая 1913 года. Миша потерял отца, товарища, друга, перед которым благоговел, а мы все — ласкового, доброго и умного дядю Сашу.

Похоронив отца, Миша перевез свою мать в Москву.

Здесь я должен сделать некоторое отступление и рассказать о другом моем двоюродном брате, Владимире Ивановиче Чехове, или просто Володе, который отныне является участником дальнейших событий.

Отец Володи Иван Павлович не получил ни высшего, ни даже законченного среднего образования. Это обстоятельство всю жизнь мучило его и отразилось на его профессии — он был всего лишь учителем начальной школы; женат был на учительнице той же школы Софии Владимировне Андреевой. В положенное время Володя окончил гимназический курс и поступил в Московский университет на юридический факультет. Так же, как и наша семья, семья дяди Вани долгие годы не общалась с семьей дяди Саши, и Володя с Мишей встречались очень редко.

Сближение их началось только во второй половине 1912 года, после того как Миша был приглашен К. С. Станиславским в труппу Художественного театра и переселился в Москву.

Еще с последних гимназических лет Володя тоже мечтал пойти на сцену, хотя и понимал, что его дарование было меньше, чем у его двоюродного брата. Это сознание переплеталось с характером крутого и неумолимого отца, который считал актерское ремесло делом второго сорта и в ультимативной форме требовал, чтобы сын прежде окончил университет и получил диплом, а потом уже шел на театральные подмостки. Володя принужден был дать требуемое отцом слово и, в силу этого, мог совершенствовать сценические навыки лишь в домашней обстановке под влиянием и руководством Миши. По существу, Иван Павлович, отец Володи, своим настоянием предопределил страдный путь своего сына и трагедию, постигшую его.

В описываемое мною время Володя держал вступительные экзамены в университет и вовсю зубрил «энциклопедию права» и другие университетские дисциплины. Он пишет матери Софье Владимировне, гостившей у Марии Павловны в Ялте (19-VIII-13): «Был я несколько раз у Мишки. Он живет на Патриарших прудах в новом огромном доме, в квартире из четырех комнат с электрическим освещением, купил новое пианино и уже не занимает у швейцаров по 20 копеек, а сам дает направо и налево. За квартиру он платит 85 руб. Наталья Александровна сидит в черном капоте, косит глазом и курит, а Мишка в красных туфлях, сереньких брючках (сверху донизу расстегнутых) и без куртки лежит на диване и плюет в потолок...»

Получая в театре небольшое жалованье, Михаил Александрович не мог обставить свой быт так, как это описывает его двоюродный брат. Видимо, появились другие источники материального благополучия. Может быть, это были какие-нибудь сбережения, сделанные покойным отцом за всю его полную тяжкого труда жизнь, может быть, тут сыграла роль продажа дома в Удельной.

Миша и Володя, став друзьями, составили интересную пару. Уже было сказано, что Миша с детства любил что-нибудь представлять или кого-нибудь изображать. С годами эта страсть не ослабевала, напротив, он переда-

вал ее двоюродному брату, заражал его ею. К кому бы они оба ни пришли, у кого бы ни встретились, они начинали импровизировать, разыгрывая целые сцены экспромтом, выдумывая тут же на месте и фабулу и всю ситуацию представления, понимая друг друга с полуслова. Юмор бил ключом, и зрители покатывались со смеху.

В этот сезон 1913/14 г. Миша сыграл на основной сцене МХТ Епиходова и гостя в пьесе «Николай Ставрогин».

У Ольги Леонардовны были две племянницы: старшая — Ада и младшая — красавица Оля. Отец их занимал очень высокий пост в Петербурге. Иногда девушки приезжали погостить в Москву к тетушке — знаменитой актрисе; и тогда вся эта молодежь, включая товарищей Миши и Володи, встречалась у Ольги Леонардовны, обедала по воскресеньям у Марии Павловны, играли в шарады, катались на лыжах. Весной во время гастролей МХТ в Петербурге Володя умудрился тоже приехать в столицу и часто гостил в Мартышкине на даче родителей Оли, где молодежь целыми днями играла в теннис, купалась, веселилась. Володя приехал в Питер разодетый. На нем были клетчатые брюки, белые башмаки, шляпа канотье и ... ракетка в руках. Ясно, что поездка на дачу к Книпперам была заранее спланирована. Обстановка сложилась так, что предпосылки для романа между Володей и Олей были налицо. Считая себя влюбленным в Олю, но не ставя перед собою отдаленных проблем, он энергично ухаживал за нею. Конечно, тут были и поцелуи под пенье соловья, и прогулки при свете луны, и многое другое, всегда сопровождающее влюбленную пару. Но... оказалось, что Миша еще зимой тоже влюбился в Олечку Книппер и теперь, летом, ему стало известно об ухаживании за нею Володи. Сплетники преподнесли ему картину, разрисованную самыми яркими красками. Миша захотел выяснить отношения с Володей. Братья встретились и высказали друг другу все, что накопилось в душах.

Миша сказал Володе, что он любит Олечку, Володя ответил, что и он любит Олечку.

Миша сказал, что он давно любит Олечку, Володя ответил, что он любит Олечку уже почти полгода.

Миша заявил, что он на три года старше Володи и поэтому приоритет принадлежит ему, Володя ответил, что в вопросах любви приоритета не может быть.

Наконец, Миша указал на то обстоятельство, что он уже занимает некоторое положение в обществе, а Володя еще студент с неопределенным будущим. На это Володя ответил, что он возьмет с Олечки слово и она будет ждать, пока он окончит университет.

— Тебе твой отец не позволит жениться на Олечке,— почти крикнул Миша. На эту брошенную с силой фразу Володя только усмехнулся.

Крепкой дружбе братьев как будто бы стала грозить опасность. Понимая это и желая спасти все хорошее, что было за эти два с лишним года, они напрягли все свои внутренние силы и отогнали дух противоречия, который мог бы привести их к ссоре. Выдержанно и спокойно Миша спросил:

— Ну, что мы будем делать?

— Давай метать жребий,— ответил Володя,— чья будет решка, тот навсегда отойдет от Олечки и в сердце своем не даст места горечи.

Так и сделали. Кинули монету. Решка досталась Володе. Не говоря ничего больше, братья обнялись и крепко поцеловались. Нависшая туча рассеялась.

Все, что я здесь записал о метании жребия, я слышал от моей тетки Марии Павловны, когда мы, уже после революции, сидели на балконе чеховского дома в Ялте.

Прошло не больше двух недель после того, как Миша и Володя благополучно решили важнейшую проблему. Жизнь текла своим чередом. Все было спокойно, и вдруг произошел скандал. Описал этот скандал Володя в письме к матери в Ялту от 4 сентября 1914 года. Я привожу здесь это письмо:

«Вчера в нашей мирной компании случилось из ряда вон выходящее событие.

Вечером я и Борис сидели у Станислава, вдруг Станислава просят к телефону, он уходит и возвращается весь красный, чем-то пораженный, отзывает нас в сторону и объявляет: «Миша женился на Оле Книппер».

Когда мы приехали к ним на квартиру (т. е. на квартиру к Мише.— *С. Ч.*), вскоре явилась тетя Оля, которую кто-то известил, и ты не можешь себе представить, что тут было! Ольга Леонардовна хотела бить Мишку, потом раздумала, падала в обморок, рыдала; в другой комнате с Олей была истерика, в третьей без сознания лежала Наталья Александровна. Скандал был грандиозный и про-

должается посейчас. Чем все это кончится, не могу себе представить.

Тетя Оля дала телеграмму в Петербург, и, вероятно, завтра приедут родители. О, ужас! Мы с Борисом торжественно дали слово не жениться!!! Мишка хотел лично известить тетю Машу о своем браке, но я думаю, не скоро соберется, некогда! Я думаю, что ничего, если ты ей об этом сообщишь, только, ради Бога, чтобы это не распространилось и не вышло за пределы нашей семьи, я думаю, что нельзя распространять, так как Бог весть, что еще произойдет. Очень жаль тетю Олю, которая страшно потрясена, но не меньше жаль и «новобрачных», которые очень жалки! До приезда родителей Оля живет у Ольги Леонардовны, как будто ничего не случилось».

Выписанная из Петербурга Олечкина мать Луиза Юльевна не замедлила приехать в Москву и тут же увезла дочь в Петербург, а затем в Мартышкино. Брак был нарушен по инициативе Ольги Леонардовны. Но брак был церковный, законный, жених и невеста были надлежащим образом записаны в толстые церковные книги, и поэтому брак мог быть расторгнут лишь постановлением Духовной Консистории, а для подачи прошения о разводе не было абсолютно никаких оснований. Ольге Леонардовне и родным пришлось примириться.

Дела Мишины в театре в этот сезон 1914/15 г. шли превосходно. На основной сцене МХТ он сыграл роль Миши в пьесе Тургенева «Провинциалка», а в Студии — большую роль Калеба в пьесе «Сверчок на печи» (режиссер Б. М. Сушкевич, премьера 24 ноября 1914 года). Володя зубрил статистику и прочие дисциплины второго курса университета. Жизнь текла с ее радостями и горестями, а в это время на фронтах войны кровь текла рекою, и люди стояли в окопах по колено в мерзлой грязи.

В августе 1916 года родилась Ольга Чехова 4-я. Так называла Мария Павловна дочь Миши и Оли. Она имела при этом в виду, что в семье Чеховых было уже три Ольги: Ольга Леонардовна, моя мать Ольга Германовна и Ольга Константиновна, жена Миши.

Однако Мишин брак не дал ему счастья, а, наоборот, по-видимому, способствовал развитию глубокой душев-

ной депрессии, дошедшей в 1916 году до острого нервного расстройства. Уже вскоре после окончания медового месяца у супругов начались разногласия. Она, воспитанная в чопорной немецкой обстановке, не мирилась с широтой его характера и равнодушием к окружающему быту. Философский склад его ума был чужд ей, воспринимавшей лишь поверхностный тонус жизни. Думаю, что в свой духовный мир, в свое святая святых он ее не допускал и поэтому, вероятно, представлялся ей просто ненормальным. Усиливались нелады со свекровью. Ведь свекровь лишилась сознания, когда узнала, что ее единственный сыночек, ее обожаемое нéщечко, женился без спроса, привел в дом молодую хозяйку. Для Натальи Александровны началась пора жгучей ревности, что, конечно, не способствовало миру в семье. По-видимому, жена была настолько чужда Мише, что в своих воспоминаниях он даже не упоминает о ней, как будто ее вовсе не было. В книге «Путь актера» он делает подробный анализ гнетущих представлений, которые появились у него еще в детстве и достигли полного развития в 24—25 лет. Он описывает свое тяжелое душевное состояние, не изменившееся даже после принятия в Художественный театр, описывает нервную напряженность, которую он искусно скрывал от внешнего мира. Эта умелая маскировка и вводила в заблуждение многих. В поисках выхода из невыносимого состояния Миша обращался к философии, этике, религии, учению йогов, обдумывал способ самоубийства, стал пренебрегать театром. Нелады с женой усилились, и в конце 1917 года она ушла от него. В это же время застрелился Володя. Самоубийство двоюродного брата, конечно, произвело на Мишу сильнейшее впечатление и, быть может, удержало его от аналогичного поступка.

Мучительная внутренняя работа продолжалась. Он так описывает это время:

«Решив навсегда порвать с театром, я стал думать о способе добывания средств к дальнейшему существованию... Я решил вырезать из дерева шахматы... стал думать о переплетном ремесле... Я продолжал пить и под влиянием вина писал различные сочинения на невероятные темы. Я описывал, например, очень подробно и пространно, мгновение за мгновением, состояние человека, попадающего под колесо трамвая... Вопрос о добывании средств к существованию становился все острее. Один из

моих друзей дал мне однажды совет открыть театральную школу... Экзаменуя приходивших ко мне учеников, я отбирал себе состав будущей моей Студии. В моей запущенной и неуютной комнате протекали первые уроки» (101—102).

Здесь необходимо упомянуть, что Студия эта сформировалась в 1918 году, когда свирепствовал голод, тиф, разруха. В этом же году умерла Мишина мать Наталья Александровна. Миша был в таком состоянии, что даже не запомнил, где похоронил ее, и могила ее так и осталась неизвестной. Но, как ни странно, со смертью матери у него начался внутренний перелом к лучшему. В этом же направлении воздействовала и педагогическая деятельность.

«Четыре года,— пишет он,— существования «Чеховской Студии», как ее называли ученики, сыграли в моей жизни большую роль. В эти же годы медленно начало восстанавливаться мое здоровье».

Нельзя не отметить также благотворную роль второй жены Михаила Александровича — Ксении Карловны Зиллер, с которой он вступил в брак 3 июня 1918 года. Это была дочь владельца московского завода автомобильных масел, очень симпатичная женщина, с которой было легко. Я не знаю, при каких обстоятельствах Миша познакомился с нею, как протекал роман и как их отношения завершились браком. Мне ясно только то, что она полюбила, по существу, не человека, а развалину и сумела эту развалину вернуть к жизни.

Кризису помогли также несколько сеансов гипноза врача В. П. Каптерева и приглашение Студии МХАТ выступить в «Потопе».

Михаил Александрович вернулся в театр.

Процесс душевного оздоровления шел быстрыми шагами и был настолько действенным, что в 1920 году Миша уже смог принять предложение готовить роль Эрика XIV, а несколько позже роль Хлестакова.

Премьера «Эрика XIV» состоялась 29 марта 1921 года, премьера «Ревизора» — в следующем сезоне, 8 октября 1921 года.

После Эрика и Хлестакова Миша, как известно, стал знаменитостью. Он так играл эти роли, что получил полное и всеобщее признание во всех театральных кругах, в том числе и во враждебных. Талант его поражал и удивлял как работников театра, так и широкую публику. На

эти спектакли билеты всегда были проданы, ему устраивали овации, фамилия «Чехов» опять стала греметь.

Здесь я, к сожалению, должен сказать, что этот быстрый скачок от трагически больного, душевно разбитого пьяницы и пессимиста к актеру огромной славы, к кумиру многих поклонников не понравился кое-кому из соратников и товарищей Миши по Студии МХАТ.

Но об этом речь впереди, а пока несколько слов о себе.

Голод и разруху, охватившие всю страну, наша семья переживала на родине старшего поколения Чеховых, на родине моего отца в Таганроге. Я вырвался первым из этого провинциального городка. В начале 1922 года я написал в Москву моему другу Сергею Сергеевичу Толстому письмо с просьбой о приюте. Квартира Толстых в Малом Левшинском переулке была переполнена, и Сергей Сергеевич отправился к Михаилу Александровичу для беседы о моем приезде. Миша без колебаний дал согласие приютить меня впредь до нахождения мне комнаты или прибытия родителей.

Приехав в первопрестольную столицу, я с Казанского вокзала направился трамваем к Толстым. На улице меня ошеломило движение, но я был поражен убогостью внешнего вида Москвы. У домов — стены в трещинах, обвалившаяся штукатурка; на мостовых волнообразные поперечные гребни слежавшегося коричневого снега, тротуары — в ухабах, пешеходы падают. И везде очереди, очереди, очереди.

Начиналась эпоха нэпа.

Голода в Москве уже не было, но добывание продовольствия все еще было связано с большими трудностями. Голод надвигался теперь на Поволжье и юго-восток. По улицам Москвы был во множестве расклеен известный плакат художника Д. Моора «Помоги!». Плакат исключительно эмоциональный и впечатляющий: старик крестьянин, воздев обе руки, идет прямо на зрителя. Фигура его белая, фон черный. Помню и еще одно из первых впечатлений: любопытно было читать вывески с новыми словообразованиями, например: «Закрытый распределитель» или «Физохим» и т. д. Зато колокольный звон был таким же музыкальным, таким же «малиновым», как и прежде.

Миша жил на Арбатской площади, и С. С. Толстой привел меня прямо туда и сдал на руки брату. Мишка встретил меня очень приветливо и гостеприимно. У него — полное довольство, и на мой вопрос на следующий день, как мне быть в смысле платы за полный стол, которым меня буквально упитывают, он ответил:

— Неужели ты думаешь, что я так низко пал, что буду брать с тебя деньги?

Получив такое великолепное пристанище, я сразу же занялся своими срочными делами. В мою задачу входило добиться скорейшего переезда в Москву родителей, устроиться куда-нибудь на службу и найти себе жилье, чтобы не стеснять Мишу. Естественно, я стал наносить визиты старым и новым знакомым, посетил А. И. Ефремова и Н. Б. Полынова — старых друзей отца, А. А. Санина и жену его Лику Мизинову, Шаляпиных и других.

Все-таки я чувствовал себя неловко в связи с отказом Миши брать с меня деньги за стол. Я поделился этими мыслями с Л. С. Мизиновой. Она даже рассердилась на меня.

— Это же снобизм, — внушала она мне с раздражением, — ведь вы же братья, и к тому же Миша теперь, став знаменитостью, конечно, располагает достаточными средствами.

В письме к родителям (14.III.22) я рисовал картину моей жизни:

«Живу я у Миши, гостеприимство которого превышает всякие меры. Жена у него очень славная и сердечная. В Мише я нашел близкого себе по духу и по запросам человека... В квартире, кроме него с женой, живут коммуной 6 человек необыкновенно приятной молодежи. И я как-то сразу вошел в их семью и не чувствую никакой неловкости. Я уже отъелся и пополнел».

В квартире Миши на Арбатской площади было шесть комнат: круглая гостиная, столовая, где мне было предоставлено спать за ширмой на диване, комната Миши и его жены Ксении Карловны, две комнаты сестер Аспелунд и антресоли их матери — старушки, которая вела все хозяйство. В шестой комнате была устроена миниатюрная сцена с холщовым занавесом. Здесь раньше происходили занятия «Чеховской Студии», а теперь это было просто рабочее место молодых актеров, группировавшихся вокруг Миши.

Я хотел бы на этих страницах покаяться в воровстве, совершенном почти полвека тому назад. Дело в том, что я приехал из Таганрога истощенным. Мне не переставая хотелось есть. За столом я не мог оторвать глаз от масла или конфет. Хозяева замечали это и любезно подвигали их ко мне. Но самым большим лакомством для меня был черный хлеб, простой черный хлеб. Ах, как мне его не хватало!

Рядом с диваном, на котором я спал, стояла кирпичная печка-времянка — это порождение лет военного коммунизма. В духовку теперь уже бездействовавшей печки прятали хлеб. Мог ли я удержаться, чувствуя по ночам вкусный, пряный запах этого любимого черного хлеба, так недостававшего мне? Конечно, нет! Стыдясь съесть лишний кусок за столом, я воровал его по ночам из печки. Ныне я каюсь в этом тогдашнем грехе. Позже, когда мой организм восполнил нехватки, я освободился от этой мрачной и недостойной татьбы.

В продолжение двух месяцев мне довелось наблюдать Мишу в его домашней обстановке. Сразу же я отметил его острый, глубокий и проницательный ум, способность влиять на других, свежий юмор. С неделю мы присматривались друг к другу, наблюдали и изучали один другого, а затем состоялась серьезная, откровенная беседа. Однажды утром он вошел ко мне и сказал:

— Ну, выкладывай, чем ты живешь!

И своими слегка выпуклыми светлыми глазами он впился мне в глаза. В тот же момент я почувствовал, что должен, обязан рассказать ему все, чем я дышу, чем болею, что томит меня, что приносит радость.

Я рассказал, что ужасы мировой войны, множество трупов, которые приходилось видеть повсюду, поставили передо мною проблему бессмыслицы жизни и эта проблема отразилась на мне, как на художнике. Я стал писать символические произведения. Так родилась серия живописных холстов под общим названием «Симфония диссонансов». Над этой серией из 15 композиций я работал несколько месяцев. Я привез ее с собою в Москву и тут же, во время нашего разговора, продемонстрировал ее Мише. Он выразил полное понимание, очень одобрил, а затем попросил позволения показать своим ближайшим ученикам.

К моему глубочайшему сожалению, я не обеспечил сохранности этого моего самого сильного произведения, и сейчас у меня хранится лишь несколько холстов.

Самыми близкими Мише учениками были тогда В. Н. Татаринов и В. А. Громов. Чувствовалось, что у него с ними не простая дружба, не отношения учителя с учениками, а глубокое сродство душ. Они не столовались у Миши, но часто приходили, усаживались за стол, и тут начинались бесконечные непередаваемые экспромты, иногда полные юмора, иногда, наоборот, построенные на трагедийной основе. Часто навещал Мишу скрипач Большого театра З. М. Мазель. Миша почти всегда разговаривал с ним на еврейском местечковом жаргоне, имитируя самых старых посетителей синагог. Думаю, это получалось так выразительно и живо потому, что Мишина мать, как я уже говорил, была еврейского происхождения.

Как известно, Миша был талантливым карикатуристом. Вдвоем с молодым актером Бибиковым он затеял составление «Юмористической хрестоматии» и для этой хрестоматии нарисовал целую серию великолепных карикатур и шаржей. Я очень сожалею, что не собрал эти шедевры, которые потом валялись на подоконниках и под телефоном для записей.

Кстати о телефоне. Это был старинный аппарат с ручкой, которую надо было крутить. Телефон висел в столовой и очень докучал Мише. Под ним стоял столик с примусом, на котором разогревали ужин для Миши, когда он поздно возвращался. Измученный напряженной работой в течение всего дня, Миша с ненавистью относился к примусу и наконец потребовал переноса его в прихожую. Кажется, та же участь постигла и телефон.

В ту пору Миша очень много работал в театре и часто в изнеможении приходил домой около полуночи. Однажды, вернувшись в таком состоянии, он сказал мне:

— Сережка, давай выпьем водочки,— и открыл верхнюю дверцу буфета.

Эти слова слышала Ксения Карловна. Как тигрица, она бросилась к буфету и после минутной борьбы вырвала из Мишиных рук графинчик с водкой. При этом она бросила ему фразу:

— Мальчишку спаиваешь! Стыдись!

Миша покорился.

Сейчас, вспоминая этот эпизод, я думаю, что ведь проще и легче было бы вовсе не держать водку в буфете, чем отбивать ее у мужа почти в драке. Ответ на этот вопрос нахожу в предположении, что в период общего оздоровления и укрепления воли к жизни Миша *нарочно* держал графинчик с водкой в буфете, чтобы бороться с собою и с алкоголем и побеждать пагубную привычку. В описанном мною эпизоде усталый и замученный Миша по-видимому потерял волевой контроль и мог бы спасовать, но его выручила подоспевшая вовремя жена.

Ксения Карловна буквально обожала Мишу, не чаяла в нем души. Однажды Миша принимал ванну. Я слышал, как он, окончив мытье, проследовал в спальню. Через несколько минут вдруг открылась дверь, и Ксения Карловна позвала меня:

— Сергей, ну, посмотрите, какая прелесть!

Миша лежал в постели на белой подушке, покрытый белым одеялом. Его черноволосая голова отчетливо выделялась на этом фоне. Он хитро улыбался, а Ксения Карловна стояла у постели, молитвенно сложа руки, и любовалась своим супругом.

Иногда Миша дразнил жену. Откуда-то доставал фотокарточку Ольги Константиновны, показывал ее Ксении Карловне и, причмокивая, говорил:

— Ксеня, смотри, какая у меня красавица была первая жена.

Ксения Карловна смущалась, пыталась вырвать из рук Миши фотографию и все твердила:

— Мишка, не смей, Мишка, отдай!

Как-то в погожий весенний день Миша и Ксения Карловна решили пройтись и пригласили и меня. Помню, как встречные пешеходы, оборачиваясь на Мишу, узнавали его, и на лицах их появлялась улыбка.

— Ну, что ж,— сказала Ксения Карловна,— ведь ты теперь самый знаменитый актер.

Недели через две после моего приезда сестры Овчинниковы, Женя и Валя, которая потом стала моей женой, попросили меня сводить их в Студию МХАТ на «Эрика XIV». Миша охотно устроил нам контрамарки, и мы видели этот великолепный спектакль. Миша играл блестяще, и я лишний раз убедился, какой он был исключительный актер.

В те дни в Поволжье свирепствовали голод и людоедство (я видел душераздирающие документальные фотографии), и вся столичная интеллигенция старалась помочь голодающим кто чем мог. Во всех театрах устраивались сборы пожертвований. На этот раз в Студии в антракте деньги собирал Миша. В костюме Эрика XIV, в гриме, с большой тарелкой он шел по рядам и с необыкновенно теплой улыбкой благодарил каждого, кто что-либо давал. В следующем антракте было объявлено, что собрано столько-то миллионов рублей бумажными деньгами и один перстень с драгоценным камнем.

Во второй половине марта я поступил наконец на службу статистиком. Ежедневно, в течение шести часов, я сидел в учреждении, писал и подсчитывал на арифмометре цифры, одни только цифры. Однако теперь я мог участвовать деньгами в домашних расходах Миши, а также купить себе ботинки.

К марту — апрелю 1922 года уже отчетливо наметился внутренний разлад в Студии МХАТ. Возникли две группировки — сторонников натуралистического направления, возглавлявшегося Б. М. Сушкевичем, и сторонников творческого направления, возглавлявшегося М. А. Чеховым. Обе эти группировки взаимно считали себя и только себя правыми и относились одна к другой осудительно. Все бóльшую роль стала играть подкрадывавшаяся зависть по отношению к Мише, его головокружительной карьере и бурно расцветавшей славе.

29 мая 1922 года скончался Е. Б. Вахтангов. В своих воспоминаниях Миша так пишет об этой утрате:

«Со смертью Е. Б. Вахтангова Студия потеряла своего художественного руководителя, который мог бы повести ее по новым, живым путям. Эта потеря беспокоила меня. Еще при жизни Е. Б. Вахтангова Б. М. Сушкевич и я почти сговорились вести Студию туда, куда укажет нам талант Е. Б. Вахтангова. Но смерть его не позволила нам осуществить идею строгого выявления «лица Студии». Я стал думать о себе как о художественном руководителе театра. Часть товарищей поддерживала меня в моей мысли, другая же часть смотрела на меня с некоторой опаской... Еще так недавно я являлся перед ними в качестве мрачного, порой необузданного и несдержанного человека, не желающего сдерживать своих порывов и пр.

Кроме того, я продолжал еще в то время пить и часто бранил театр, не мотивируя своих слов. Все это вызывало в моих товарищах некоторое недоверие ко мне. Я не мог объяснить им, что во мне живут две самостоятельных души, из которых одна развивается, крепнет, возрастает, другая доживает свои дни. Но многие товарищи мои видели обе души и начинали прислушиваться к голосу той из них, которая таила в себе мысли и импульсы, направленные к обновлению и укреплению театра» (139—140).

В июне — августе 1922 года Студия МХАТ совершила гастрольную поездку за границу. Спектакли были в Ревеле (Таллинне), Праге, Берлине и других городах Германии.

В Берлине Миша встретился с актером МХАТ И. Н. Берсеневым и предложил ему войти в состав Студии в качестве актера и руководителя по административной части.

«Меня поразила,— вспоминает Миша,— его энергия, его острый ум — ум, который видел окружающую жизнь и толковал ее далеко не шаблонно. Его административный талант как раз и является результатом умения видеть факты в их внутренней сущности» (140).

Вероятно, в 1922 году Берсенев был именно таким, каким он описан Мишей, но позже он, так же как и Сушкевич, стал завидовать Мишиным лаврам.

Кстати, после смерти Е. Б. Вахтангова Студией управлял Центральный орган в составе 12 человек, который решал все важнейшие вопросы. Мишину мысль пригласить И. Н. Берсенева поддержал Сушкевич, но, когда Центральный орган стал рассматривать кандидатуру И. Н. Берсенева, многие высказались против. Берсенев был принят в Студию лишь после заверений и гарантий Сушкевича.

Обо всем этом мне рассказал в 1969 году А. И. Благонравов, бывший в 1922—1923 годах членом Центрального органа.

В продолжение нескольких лет в сознании Миши рождались представления о новом, *настоящем* театре. Начав свой путь с системы Станиславского, он постепенно пришел к выводу, что эту систему он уже внутренне перешагнул и подошел к своей собственной системе. Система Станиславского устарела и представляется натуралистичной. Актер, стремящийся сыграть, «как в жизни», «совсем

как в настоящей действительности», стоит на ложном пути. Он не актер, а подражатель. Настоящий актер должен сам создавать образы... Для этого ему даны пластика, мимика и голос.

Миша так писал в своей книге:

«Я помню два ночных заседания. Я пытался нарисовать перед студийцами картину той новой жизни, о которой я думал все это время. Я предлагал себя в качестве руководителя. Мне задавались сотни вопросов, делались бесчисленные возражения. Я пытался отвечать, как умел, и мучился от мысли, что если мои товарищи не захотят принять всех моих предложений, то придется отойти от театрального дела вообще...

К концу второй ночи В. В. Готовцев встал и сказал, обращаясь ко всем:

— Чем мы рискуем, если дадим Чехову попробовать осуществить его мысли конкретно? Ничем! Если мысли его нежизнеспособны, мы всегда сможем отказаться от них...

Это был правильный выход. Я объявил, что беру художественное руководство в свои руки на год. Мне казалось, что в течение года многое можно сделать в смысле повышения актерской театральной техники, но неопытность моя жестоко обманула меня... Поставленная мною художественная задача едва ли скоро найдет свое полное завершение».

Итак Студия МХАТ изменила свою внутреннюю структуру. Во главе ее встал директор М. А. Чехов, у которого было два заместителя — по административной части И. Н. Берсенев и по режиссерской Б. М. Сушкевич.

Первой постановкой в задуманном Мишей плане был «Гамлет». Михаил Александрович описывает, с какими внутренними мучениями он принял на себя исполнение роли Гамлета, с какими трудностями встретился, когда взялся за развитие у актеров начатков новой актерской техники, однако премьера «Гамлета» состоялась 20 ноября 1924 года. Это был шумный праздник. Ему предшествовало крупнейшее событие в жизни Студии: она получила здание нового театра в центре города, на площади Свердлова, вмещающее 1350 зрителей. Одновременно Студия была реорганизована в Московский Художественный театр Второй, которому была дана полная независимость от основного МХАТа.

Я не был на премьере «Гамлета», но мне рассказывали, что аплодисменты перешли в овацию, которая все ширилась и достигла кульминации, когда было объявлено, что Правительство РСФСР учредило звание заслуженного артиста республики и что этим званием награжден артист Михаил Александрович Чехов.

Итак, мой двоюродный брат стал первым «заслуженным».

Прошло три года в полном согласии, и вся труппа была довольна. После «Гамлета» авторитет Миши вырос настолько, что большинство актеров считали за счастье хоть несколько слов сказать ему и выслушать его ответ. Я видел, как на пути его из фойе театра в канцелярию выстраивалась очередь актеров и работников театра, желавших переговорить с ним. Но постепенно, понемножку стало выявляться движение, направленное против Миши. Единичные маленькие актеры стали поговаривать, что в трактовке Чеховым образа Гамлета заложена чертовщина, а то и крамола, распространились слухи, что Миша антропософ. Все эти слухи исходили от Б. М. Сушкевича, который в своей режиссерской деятельности придерживался натуралистических взглядов и Мишину систему разделить не мог, как не мог вытерпеть Мишину славу, столь бурно пришедшую к нему. Зависть, обыкновенная человеческая зависть встала стеной между бывшими друзьями. Миша ничем не задевал Сушкевича, Сушкевич же постепенно возглавлял кампанию, начинавшуюся против Миши, и привлек к этой кампании лихих театроведов и начетчиков.

В дальнейшем зависть Сушкевича привела не только к расколу, но и к гибели самого театра. Даже в наши дни, спустя сорок лет, в официальной прессе продолжают считать чеховского «Гамлета» «спектаклем, истолкованным как идеалистически-философское осмысление борьбы добра со злом» (Театральная энциклопедия, Статья МХТ, 2-е изд. 1967).

Сыграв Гамлета, Миша взялся за роль Аблеухова-отца в пьесе А. Белого «Петербург», премьера которого состоялась 14 ноября 1925 года. Постановка опять имела шумный успех, доходивший до оваций в Мишин адрес. Официальные же критики опять приклеили к постановке ярлык «символистический спектакль», сохранившийся до на-

ших дней и повторенный той же Театральной энциклопедией в статье о МХАТ 2, т. 3.

Однако нужно было что-то предпринимать для защиты. Нужно было чем-то оградить себя от злословия и упреков в мистицизме. Для этой цели Миша решил возобновить постановку шекспировской «Двенадцатой ночи», которую очень любил и в которой играл Мальволио, наполняя свою игру блестящим юмором. В какой-то мере это помогло. Трудно было обвинить его в мистике, антропософии и других крамолах, когда он заставлял хохотать весь зрительный зал.

В эти годы я работал инспектором-контролером «Контрагентства печати». В мои функции входило разъезжать по России и открывать и инспектировать книжные киоски на станциях железных дорог. Мне посчастливилось побывать в Новгороде и Пскове, где я дивился красотой древнерусской архитектуры и живописи; не один раз приезжал я в великолепный Петроград, плавал по Волге-матушке, был на Байкале. За год этой службы я оделся, обулся и накопил денег еще на год. Моей мечтою было учиться живописи. Осенью 1923 года моя тетя, Мария Павловна, приехала из Ялты в Москву и остановилась у нас. Навестить ее пришел академик живописи А. А. Виноградов, который, увидев мои этюды и композиции, сказал, что мне безусловно надо учиться. Он рекомендовал меня академику Дмитрию Николаевичу Кардовскому, который и принял меня в число учеников своей частной мастерской на ул. Горького, 29.

У меня началась новая, *настоящая* жизнь, для которой я был рожден и которая все не получалась из-за войны, разрухи, безденежья. Первый год обучения прошел исключительно удачно. Приехавшая осенью в Москву Мария Павловна осталась весьма довольна моими успехами в живописи и рисунке. Она обратилась к Мише с просьбой устроить меня театральным художником, Миша, как я уже говорил, был в то время человеком влиятельным, он переговорил с директором Государственных театров Колосковым, и я был принят художником-практикантом в Большой театр с окладом жалованья 60 рублей в месяц. Я познакомился с моим шефом — главным художником Михаилом Ивановичем Курилко, который выразил большое удовлетворение тем, что я был воспитан в духе школы Кардовского.

Первой моей работой в качестве театрального художника был кружевной занавес к третьему акту оперы «Король забавляется», затем последовали декорации и эскизы костюмов к балету «Эсмеральда». Проработав сезон 1925/26 г. я многому практически научился. Работу эту я продолжал совмещать с занятиями в студии Кардовского, что было чрезвычайно тяжело. Уходя из дома в 9.30 утра, я порой возвращался в 12 ночи.

Весной я был приглашен на режиссерское совещание МХАТ 2, посвященное предстоящей постановке «Дон-Кихота». Присутствовали Миша, В. П. Смышляев, В. А. Громов, В. Н. Татаринов и я. Меня пригласили быть художником этого спектакля. Миша сказал, что, зная мою «Симфонию диссонансов», он считает возможным поручить мне постановку «Дон-Кихота» и постарается устроить меня постоянным штатным художником театра.

Я вернулся домой счастливцем.

Когда я пришел к Мише с эскизами, он сказал, что «Дон-Кихот» откладывается и теперь надо готовить эскизы декорации к трагедии А. К. Толстого «Смерть Иоанна Грозного». Мысленно я возликовал. Я увлекался в те годы русской архитектурой, читал книги Грабаря, ездил в такие сокровищницы русского искусства, как Новгород, Псков, Полоцк и др. Конечно, я тяготел больше к русской исторической пьесе, чем к западной.

— Ты теперь начни искать,— сказал Миша в присутствии В. Н. Татаринова,— и показывай Владимиру Николаевичу. Когда найдешь решение, мы оформим с тобой договор.

Кроме того, он просил меня эту работу держать от всех в секрете, в особенности от деятелей МХАТа Первого.

Татаринову хотелось видеть декорации в стиле мозаики, хотя это не соответствовало исторической правде; он просил меня показать, что царство Иоанна Грозного разваливается, что в силу этого вся архитектура палат и теремов должна быть как бы сдвинута с места и органически входить в состав интерьера. Он хотел, чтобы каждый рисунок костюма представлял собою квинтэссенцию данного образа и таким приемом помогал бы актерам работать над ролями.

После двух неудачных попыток, отвергнутых Татариновым, я вдруг почувствовал, что у меня получается. С готовым эскизом я прибежал к Мише. Как только он и Татаринов взглянули на мою акварель — оба воскликнули:

— Ну вот, наконец-то!

Итак, я нашел художественное решение спектакля. Я уловил тот образ, который стучался в мой мозг и в сердце. Дальнейшее пошло значительно легче. Лето мы с женой провели в Крыму, я ежедневно писал акварелью эскизы костюмов и к осени сделал почти все.

Вернувшись в Москву, я показал Мише и Татаринову результаты моей летней работы. Просмотрев все эскизы, они очень одобрили то, что я сделал. В Мишиных слегка выпуклых глазах я увидел искру какой-то нежности ко мне, а Татаринов, рассматривая рисунки костюмов бояр, сказал:

— Как вы ловко передали их ужас!

В середине сентября меня пригласили в театр на заседание художественного совета. В маленькой комнатке собрались Миша, И. Н. Берсенев, В. Н. Татаринов, В. А. Подгорный, В. В. Готовцев, Б. М. Сушкевич и другие. Мне было предложено развернуть мои труды. Шепот одобрения пронесся по комнатке, когда я стал показывать мои акварели. Когда я поставил на стенд эскиз Бориса Годунова, Берсенев выхватил его у меня и стал всматриваться. Годунова должен был играть он.

— Здесь передано то движение, о котором мы с тобою говорили,— сказал он Мише.— Удивительное прозрение художника!

Я выслушал много похвал; план постановки, предложенный мною, был утвержден. Миша сказал Берсеневу, чтобы со мною был заключен договор. Прощаясь, Берсенев сказал мне:

— Мы очень, очень рады, что нашли еще одного Чехова.

Договор был подписан, работа моя шла на одном дыхании. Миша торопил меня. Он намекнул, что вокруг него сгущаются тучи, что усиливается подкоп под него. Не трудно было догадаться, что подкопом этим руководил Сушкевич, совсем недавно участвовавший в утверждении моих эскизов. Позже Миша сказал, что подкоп ведется и под меня как его ставленника. Может быть, некоторым лицам стало известно, что Миша хотел бы, чтобы я был

художником «Дон-Кихота», а в дальнейшем — постоянным (главным) художником театра. Обо мне был пущен слух, что я-де не театральный художник, неопытен, ничего не умею. Когда же мои эскизы были закончены, остеклены и развешены в декоративной мастерской, стал вариироваться слушок, что моя живопись своим богатством убьет актера.

Предполагалось, что премьера «Смерти Иоанна Грозного» состоится весной 1927 года. Но вдруг стало известно, что она перенесена на осень, а весной будет показано «Дело» Сухово-Кобылина. Сейчас я думаю, что это был ловкий маневр со стороны Миши. По-видимому, к этому времени подкоп под него стал настолько значительным, что ему пришлось обороняться. Очевидно, слух о том, что он показал две «мистических» роли подряд — Гамлета и Аблеухова,— все ширился, и ему потребовалось показать себя в пьесе реалистического характера. Роль Муромского он готовил и показал в творческом содружестве со своим главным идеологическим врагом, Б. М. Сушкевичем.

Премьера «Дела» состоялась 8 февраля 1927 г. Мишина хитрость удалась, и Репертком признал постановку вполне реалистической, без каких-либо «мистических» или «антропософских» тенденций. Имя актера М. А. Чехова стояло рядом с именем режиссера Б. М. Сушкевича. Лидеры двух враждебных направлений поздравляли друг друга, жали друг другу руки, казалось, мир и дружба получили прочные обоснования, но Мишина хитрость помогла ненадолго. Представители метода Сушкевича всячески клеветали.

Вскоре после премьеры «Дела» они перешли в широкое наступление и даже привлекли политическую аргументацию. Стали поговаривать, что метод Чехова несет в себе зерна чего-то недозволенного советской властью.

Я писал уже, что в ту пору театром управлял некий триумвират в составе Чехова, Сушкевича и Берсенева. В надвигавшемся конфликте Берсенев занял позицию умытых рук. Зависть влекла его на сторону Сушкевича, но явно отрываться от Чехова он не хотел. Он играл двойную игру, он лавировал.

К концу зимы я стал замечать некоторое изменение отношения ко мне со стороны отдельных лиц. Берсенев почему-то сделался холоден и сух. Главный художник

Матрунин, в обязанности которого входило своевременное обеспечение меня материалами и рабочей силой, часто манкировал, не являлся вовсе, не выполнял моих просьб, отчего у меня получались простои, бутафор Ивашкин открыто саботировал своевременное изготовление бутафории. Часть актеров из молодых перестала со мной здороваться при встречах. С Мишей в это время я беседовал мало. Я встречался с ним на ходу, и он неизменно освещал меня своей удивительной улыбкой, и мы расходились. Но однажды он шепнул мне на ухо, что он, как руководитель театра, послал народному комиссару А. В. Луначарскому письмо, в котором осветил ненормальное положение театра, имеющие место столкновения двух основных художественных направлений, доходящие до начинающейся вражды. Миша предлагал меры для оздоровления театра. Они состояли из предложения разделить театр в художественном отношении надвое, как это сделали Станиславский и Немирович-Данченко.

Теперь он с нетерпением ждал ответа.

Однажды мы собрались в макетной обсудить мой макет. Миша, Берсенев, Татаринов и я. Вдруг кто-то постучался в дверь, и Мише подали большой конверт. Он нервно распечатал, быстро прочел письмо и с огорчением сказал уныло:

— Вода!

Затем письмо читали Берсенев и Татаринов. Это был ответ А. В. Луначарского на предложение Миши разделить театр надвое. Я не читал письма, но мне стала ясна вся глубина Мишиного разочарования. По-видимому, Луначарский понял принципиальное расхождение в труппе МХАТ 2 как мелкую склоку в актерской среде и ответил, по существу, отпиской.

Я уже писал, что Берсенев играл двойную игру. Очевидно, через него весь театр узнал, что в этом случае Миша не получил поддержки у народного комиссара. Моментально в группе Сушкевича нашлись товарищи, которые направили жалобу по профсоюзной линии. В один из майских вечеров было назначено общее собрание работников театра под председательством представителя Мособлрабиса т. Славинского. До собрания Миша куда-то поехал искать поддержки, возможно, в ЦК Рабис. К семи часам вечера МХАТ 2 шумел, как улей. Актеры смеша-

лись с рабочими, каждый чувствовал приближение серьезного момента.

Вернулся Миша. Его обступили единомышленники. Я слышал только одно его слово:

— Распространяйте...

Затем меня оттерли, и я так и не узнал, куда Миша обращался за справедливостью и что нужно было распространять до начала собрания.

Приехал Славинский и сел за столик в малом фойе. Справа от него расположилась группа рабочих. Слева у сцены — Миша, Берсенев, Татаринов, Громов, Чебан, Дурасова, Кнебель, Скрябина, Оттен. Напротив них — Сушкевич, Ключарев, Пыжова, Бибиков, против Славинского — Николаевцев, Шиловцев, Подгорный, я, Гиацинтова, Азарин, Гуров и другие.

Собрание открыл Славинский, сказавший, что конфликты внутри театров вредны и что надо принять все меры к тому, чтобы данный конфликт был ликвидирован. Так же, как и Луначарский, Славинский не смог понять, что в данном случае имеет место не просто склока, но идеологическая война.

Не помню, кто выступал вторым или третьим, но прекрасно помню выступление какого-то рабочего сцены. Низенький, широкоплечий, он говорил так бессвязно, что ему подсказывали его же товарищи. А на лице его было написано сознание собственного достоинства и полное самоудовлетворение. Позже я узнал, что это активист. Из сказанного им можно было извлечь проблески мысли, которые в целом составляли приблизительно следующее:

— Мы не позволим, чтобы главари спорили между собою, а театр в это время шатался. Это все Чехов мутит!

Затем следовали выступления Сушкевича, Пыжовой, Ключарева и др., которые красочно доказывали, что театр должен быть новым, советским, что в нем не место буржуазным отрыжкам, а тем более не созвучным нашей замечательной эпохе положениям. Все они так или иначе, прямо или косвенно заушали Мишу. Помню я выступление актрисы Игнатьевой. Она сидела рядом со мной, и, когда стала говорить, весь зал притих. Она была из группы Сушкевича, начала с того, что М. А. Чехов — талантливый актер, но он деспот и насильно навязывает другим актерам свои концепции. Эти другие актеры задыхаются

под тяжелой рукой Чехова и в силу этого не могут расти и развиваться. Игнатьева говорила долго, смотрела во время речи вниз, как бы стесняясь аудитории. Но вдруг подняла голову, встала в гордую позу и, обращаясь к Берсеневу, спросила:

— А вы, Иван Николаевич, почему вы — и нашим, и вашим? Почему вы с Сушкевичем против Чехова, а с Чеховым — против Сушкевича? Объяснитесь немедленно!

С. Г. Бирман сидела сзади меня. Я услышал ее шепот:

— Какая актриса, ах какая замечательная актриса! Лучше бы ей на сцене так играть, чем здесь!

В зале воцарилось молчание. Все напряженно ждали, что ответит Берсенев. Все взоры были устремлены на него. Он встал и, подбирая слова для ответа на брошенное ему в лицо обвинение в двурушничестве, пробормотал что-то малопонятное, невразумительное.

Миша и его сторонники очень тактично не выступали вовсе. Было уже 7 часов утра, когда Славинский закрыл собрание. Он повторил то, что сказал во вступительном слове, отметил и похвалил за пролетарскую сознательность того кряжистого парня, который выступил вначале с хулой на Мишу, и объявил, что завтра Мособлрабис даст ответ, то есть представит копию протокола.

После собрания я лишь взглядами обменялся с Мишей. Мы не произнесли ни одного слова, но я прочел в его взоре скорбь замученного человека, скорбь полководца, проигравшего сражение.

Пришла копия решения Мособлрабиса. Это учреждение оказалось в очень трудном положении. Декретивно осудить актера мировой известности Чехова оно не могло. С другой стороны, нельзя было не реагировать на шум, поднятый группой Сушкевича. И написали примерно так:

1. Актер Чехов перегнул палку в своих индивидуалистических исканиях.

2. Деятельность актера и режиссера Сушкевича одобрить.

3. Группу сторонников Сушкевича, недовольных деятельностью Чехова, в составе Пыжовой, Ключарева, Игнатьевой, Гурова, Николаевцева, Бибикова и других перевести на постоянную работу в Театр Революции.

Вот те и на! Осудили Чехова, а переводят в другой театр его идеологических врагов! Такой маневр был, конечно, ясен для тех, кто понимал окружающую обстановку. Мишу оборонял признанный у нас и за границей талант и личные отношения с Луначарским.

После собрания театр еще долго гудел, как пчелиный рой, хотя внешне, казалось, ничто не изменилось. Так, во главе его стоял триумвират: директор Чехов и два заместителя — Сушкевич и Берсенев. Но сейчас это был уже триумвират не друзей, а врагов.

Я работал ежедневно до последнего дня сезона, который окончился в первых числах июня. Прощаясь с Мишей, Татариновым, Громовым и другими, я смутно надеялся, что за время летнего отдыха страсти улягутся и театр вновь заживет здоровой, нормальной жизнью. Но мои надежды не оправдались. Случилось наоборот.

В июне Миша с Ксенией Карловной уехали в Италию. В своей книге «Путь актера» он отводит ряд восторженных страниц этой прекрасной стране. В моем архиве хранится фото четы Чеховых, кормящих голубей на площади святого Марка в Венеции.

Несомненно, этим летом Миша дописал последние страницы своей книги, посвященные новой актерской технике. Он пишет:

«Я готовлюсь к принятию новой будущей техники, я жду и жажду ее. Немногие попытки овладения ею показали мне ее неизмеримые глубины и ценности. Я смотрю вперед с надеждой и верой. Я покончил внутренно со всем старым в театре, и мне мучительно трудно доживать в этом старом и бороться с препятствиями, встающими на пути к новому» (175—176).

Так писал и надеялся великий актер наших дней. Это были последние дни перед премьерой «Смерти Иоанна Грозного». Меня вызвали для завершения работ. Мишу я застал в процессе окончательной шлифовки спектакля. При полных декорациях и свете он смотрел из пустого зрительного зала игру актеров и давал указания им, постановщику Татаринову и режиссеру Чебану. Тут я еще раз убедился в его гениальности. С какой быстротой, с какой четкостью он обогащал мизансцены новыми открытиями, сколько он прибавлял интереса и содержания к игре актеров и ко всей постановке в целом!

Но Мишины недруги искали только случая, чтобы обескровить его. Случай скоро представился. Первой жертвой оказался я.

Напоминаю, что Миша имел намерение со временем сделать меня главным художником театра. Это стало известно теперешнему главному художнику Матрунину. Однажды он оскорбительным тоном стал обвинять меня в слепом подчинении Татаринову, в неграмотности по вопросу о мозаике в XII веке, в чрезмерных расходах на бронзу в порошке, потребную на эту мозаику. Когда я возразил, что оформление спектакля было утверждено художественным советом, а он, Матрунин, как главный художник, всячески тормозил мою работу, не выполняя вовремя моих просьб, Берсенев ударил по столу кулаком и закричал почти во весь голос:

— Сергей Михайлович, вы не смеете напрасно обвинять наших сотрудников в том, что они якобы тормозят вашу работу! Вы здесь человек пришлый, сегодня вы у нас, а завтра вас не будет! Да, да, завтра вас не будет!

Он еще долго кричал и обвинял меня, не давая мне возразить ни слова. Он прекрасно разыграл эту сцену. Я ведь понимал, что эта распеканка направлена не в мой адрес, а в адрес Миши. Остыв немного, я решил, что мне следует переговорить с Мишей. И я отправился к нему.

Миша выслушал мой рассказ молча. Его приветливое в начале разговора лицо постепенно покрывалось выражением печали. Ясные, умные глаза тускнели. Он стоял у окна, я — у стола. Он не шелохнулся в продолжение моего рассказа. Когда я кончил, он сказал мне:

— Видишь ли, Сереженька, я думал сделать так, чтобы ты стал главным художником театра. Но теперь, после таких разговоров, мне это не удается!

— Неужели? — спросил я, чтобы хоть что-нибудь спросить.

— Да, — ответил Миша твердо.

Я попрощался и пошел. Миша проводил меня до выходной двери. На лице его, как всегда, светилась приветливая улыбка, и только глаза выдавали глубокую грусть.

Он не произнес ни одного слова осуждения, ни одного упрека! А ведь я был виноват! Я невольно разрушил Мишины планы — иметь около себя не только верных актеров и режиссеров, но и художника.

10 сентября состоялся просмотр Реперткомом (то есть цензурой) всего спектакля. Чувствуя, что обстановка все более накаляется, Миша совершил хитрый маневр. Он пригласил на этот просмотр и А. В. Луначарского. Он правильно рассчитал, что Репертком не решится пристрастно пресекать постановку в присутствии народного комиссара.

В пустом зрительном зале Луначарский, Миша и представители Реперткома разместились в первом ряду бельэтажа. Мы с Татариновым — в партере у режиссерских столиков с сигнальными лампочками. Торжественная минута наступила. Занавес раздвинулся, и спектакль начался. Прошла первая картина. Занавес раздвинулся вновь для второй картины. Но когда на сцене показались мрачные своды, на которых мозаикой было выложено усекновение главы Иоанна Крестителя, а в глубине сцены чуть светились два нимба на иконе Богоматери с младенцем, я услышал сверху голос Луначарского:

— Послушайте, так ведь это прекрасные декорации! Кто художник?

Мишиного ответа я не расслышал, а Татаринов толкнул меня локтем. Он волновался, и Миша, конечно, тоже. Ведь, по существу, решалась Мишина судьба, судьба его новой театральной системы, так как всем было отлично известно, что истинным руководителем и вдохновителем спектакля был именно он. Именно поэтому его недруги постарались заранее создать и в Реперткоме, и в театре, среди актеров, атмосферу осуждения. Миша и Татаринов могли ждать всего самого худшего. Каковы же были радость одних и удивление других, когда Репертком после недолгого совещания объявил свое решение:

— Постановка «Смерть Иоанна Грозного» разрешается к представлению без каких-либо изменений.

Это было победой, и я убежден, что эту победу предопределил А. В. Луначарский, оказавшийся в зрительном зале, очевидно, неожиданно для членов Реперткома.

Казалось бы, после такой оценки спектакля надо было прекратить нападки на Мишу, снять с него подозрения мистика и антропософа и дать ему возможность спокойно работать в том плане новой актерской техники, которую он так страстно защищал в своей книге. Но враги не унимались и шли в наступление, прикрываясь приятными улыбками и выражением самых «искренних» чувств.

12 сентября состоялась генеральная репетиция. Когда раздвинулся занавес и публика увидела зал с уходящими в перспективу, покосившимися, толстыми, как бочонки, колоннами и слюдяными окнами — раздался гром аплодисментов, и я слышал откуда-то сверху голоса:

— Чехова, художника, Чехова!!!

Постановка имела успех. Говорили, что аншлаги были и через месяц, и через два.

Пресса была разноречивой. «Известия» изругали весь спектакль. Другие газеты высказались неопределенно. «Комсомольская правда» высказалась конкретно. В статье «Конец или начало?» некто Уриэль писал: «...В первую очередь следует отметить художника постановки Сергея Чехова. Его декорации были наиболее идеологически приемлемой для нас частью спектакля. Падающие, кривые своды, колонны, изогнутые линии не только декораций, но и мебели, замысловато-сумрачные тона окраски создавали впечатление чего-то шатающегося, обреченного».

Театральные журналы публиковали информации о спектакле с фотографиями ведущих актеров.

Я не удивился, когда узнал, что отложена постановка «Дон-Кихота», о котором Миша мечтал уже столько лет. Подробностей не знаю, но убежден, что это опять было дело рук людей, в задачу которых входило всячески мешать Мише быть и актером, и художественным руководителем театра. Его травили не открытым способом, шумом или заседаниями, а тихонько, исподволь с расчетом на медленное действие яда. Наиболее прыткие недруги распускали слушок, будто антропософия — это та же контрреволюция и что к директору МХАТа Второго следует присмотреться с политической точки зрения. Я не исключаю, что Мишу, может быть, вызывали в органы ОГПУ и предлагали объяснить, что такое антропософия.

Вот так два человека из зависти, от уязвленного самолюбия, от алчного стремления к монопольной славе доконали гениального актера нашей современности, сгубили русское национальное сокровище, и никто не захотел пресечь их черную работу. Считаю уместным упомянуть, что в этот сезон 1927/28 г. Миша не создал *ни одной роли*. Все силы художника уходили на борьбу.

Весною Миша и его жена опять уехали за границу. Думал ли он, что больше не вернется на родину? Предпола-

гаю, что подумывал. Мне кажется даже, что он не был уверен в своей свободе.

Когда труппа МХАТа Второго собралась к началу сезона, а Миша отсутствовал, пошли самые разнообразные слухи. Говорили, что он эмигрировал, что не вернется, что работает в Вене у Рейнгардта. Потом в какой-то газете промелькнуло короткое письмо в редакцию, в котором Миша сообщал, что эти слухи не соответствуют действительности. Однако спустя некоторое время мы прочли в газетах, что он заключил контракт с Рейнгардтом.

Итак, он порвал с Родиной. Значит, были достаточные причины. Для него это был шаг не шуточный. Длинный ряд великих людей, в котором блистали Шаляпин, Рахманинов, Бенуа и другие, пополнился Михаилом Чеховым.

Мишины скитания за границей сейчас достаточно освещены в литературе, и я не буду этого касаться.

Скажу только, что еще однажды увидел Мишу на экране в фильме «Рапсодия» в роли профессора музыки. С горечью досмотрел я фильм до конца. Миша, мой любимый брат, дал бытовой образ милого старичка, и только... Где же Гамлет, где Аблеухов, Эрик XIV, Муромский, Мальволио? Где все они? И зачем их вспоминать и сравнивать с бедным профессором музыки? Тоска объемлет сердце, когда вдумаешься в суть. Ведь мы — расточители национального достояния, мы променяли гениального актера на завистливых карьеристов.

Осенью 1955 года я был с визитом у моей тетушки Ольги Леонардовны Книппер-Чеховой. Она показала мне какую-то американскую газету за 30 сентября, в которой я увидел портрет Миши и прочел:

«Russian actor Michael Chekhof dead»*.

---

* «Русский актер Михаил Чехов скончался» *(англ.)*.

Е. М. ЧЕХОВА

ВОСПОМИНАНИЯ

...Я верю, с Чеховым для нас разлуки нет;
Пока душа жива — я знаю, Чехов с нами!

Т. Л. Щепкина-Куперник[1]

Мария Павловна



Я прожила долгую жизнь, но начала писать совсем недавно. Как-то перечитывая письма отца и родных, я подумала, что обязана поделиться с людьми всем тем, что сохранилось в моей памяти, чему я была свидетельницей и что до сих пор лежало неприкосновенным в моем небольшом архиве. Мне хочется поведать сегодняшнему читателю некоторые подробности из жизни семьи Чеховых, рассказать о близких ему людях, и, надеюсь, все это поможет глубже и полнее представить и самого великого писателя.

Мои сознательные воспоминания об Антоне Павловиче начинаются только с момента известия о его смерти. Это начало июля 1904 года.

Большой белый пароход причаливает к ялтинскому молу. Мы приехали из Петербурга в гости к тете Маше и бабушке Евгении Яковлевне. Мы — это отец, Михаил Павлович Чехов, мама, маленький трехлетний братишка и я. Мне шесть лет. Я старшая, и мне поручено присматривать за братишкой. Я в первый раз вижу море: оно поражает меня своей синевой и необъятностью. Мы стоим все четверо на палубе среди других пассажиров и с нетерпением ждем, когда наконец пришвартуется пароход. На молу — толпа встречающих. Мелькают цветные зонти-

ки, соломенные шляпы, красные турецкие фески, смуглые лица татар-носильщиков.

Но вот пароход вплотную подошел к молу, толчок, и начинается швартовка. Я вижу, с берега кто-то машет белой соломенной шляпой и что-то кричит. Это дядя Жорж, Георгий Митрофанович Чехов, двоюродный брат отца, гостивший минувшей зимой у нас в Петербурге. Винт парохода перестал стучать, и среди внезапно наступившей тишины я слышу голос дяди Жоржа.

— Несчастье!!!

— Какое?!! — испуганно кричит отец.

— Антоша скончался!!!

Мы сходим с парохода, садимся в четырехместный пароконный экипаж с белой парусиновой крышей-зонтиком и поднимаемся на Аутку в осиротевший дом. Глядя на потрясенные лица взрослых, притихли и мы — дети.

Входим во двор, поднимаемся на стеклянную террасу. Мария Павловна на Кавказе и уже знает о беде, но бабушке — Евгении Яковлевне — еще не сказали, и все боятся за нее. Скрыть невозможно, потому что все взрослые должны были уехать в Москву на похороны. Наконец кто-то решается... и я вижу бабушку, горько рыдающую на ступеньках лестницы, против двери в кабинет Антона Павловича. Она спускалась вниз из комнаты Марии Павловны и где стояла, там и села, сраженная страшной вестью.

Через несколько дней взрослые возвращаются из Москвы. Вместе с ними Ольга Леонардовна. Я на цыпочках вхожу в кабинет дяди Антона. Меня привлекает таинственная тишина, цветные стекла в огромном окне, камин с картинкой, какой-то неуловимый аромат. Ольга Леонардовна в черном платье с высоким воротом полулежит в глубоком кресле около письменного стола. Глаза закрыты, в руке зажат беленький платочек...

Эта картина так прочно врезалась в мое детское сознание, что и сейчас, и сегодня я как будто стою у двери кабинета и снова вижу и письменный стол, и камин, и цветные стекла, и черное платье Ольги Леонардовны.

Много лет спустя, в 1972 году, вышла книга «Ольга Леонардовна Книппер-Чехова». И вот здесь я прочла строки ее дневника в форме писем к Антону Павловичу, написанных вскоре после его кончины: «В Ялте первое время я тебя чувствовала всюду и везде — в воздухе, в зелени, в шелесте ветра. Во время прогулок мне казалось,

что твоя легкая прозрачная фигура с палочкой идет то близко, то далеко от меня, идет, не трогая земли, в голубоватой дымке гор... Как тоскливо, как невыразимо тяжело было время, проведенное в Ялте. И вместе с тем хорошо. Я все только торчала в твоих комнатах, и трогала, и глядела, и перетирала твои вещи. Все стоит на своем месте, до последней мелочи. Лампадку мамаша зажгла в твоей спальне. Мне так хотелось. По вечерам я проходила через твой темный кабинет, и сквозь резную дверь мерцал огонек лампадки. Я все тебя ждала, каждый вечер ждала, что увижу тебя на твоем месте. Даже громко говорила с тобой, и голос так странно одиноко разлетался по кабинету»[2].

Эти строки так живо воскрешают для меня тот летний вечер, когда я, шестилетняя девочка, сама того не подозревая, украдкой, была случайной свидетельницей одного из величайших человеческих переживаний. Как все маленькие дети, я не понимала тогда значения слов «смерть», «умер». Находясь постоянно рядом с отцом, нежно любившим старшего брата, я слушала его рассказы о детстве дяди Антона, о его выдумках и шутках, о его школьных годах. И я составила себе образ дяди Антона и привыкла думать, что он не умер, а просто живет где-то очень далеко, и мы с ним давно не виделись. Иметь такое представление о нем мне было тем более легко, что и другие родственники — бабушка Евгения Яковлевна, тетя Маша, дядя Иван — жили в Москве, и я видела их чрезвычайно редко.

Можно без преувеличения сказать, что в эти тяжелые, еще непостижимые моему детскому сознанию дни я присутствовала при рождении Дома-музея А. П. Чехова. Именно тогда возникла у Марии Павловны мысль сохранить в неприкосновенности комнаты и обстановку, среди которой жил любимый брат, замечательный русский писатель Чехов.

Сначала то были только кабинет и спальня, в остальных же комнатах жизнь текла своим порядком. Евгения Яковлевна жила в своей комнате, Мария Павловна у себя наверху, в мезонине; обедали в столовой, пили чай в стеклянной галерее. В нижнем цокольном этаже постоянно гостили летом родные: Ольга Леонардовна, брат Иван

Павлович с женой и сыном Володей, наша семья, приезжали знакомые из Москвы и Петербурга. За большим столом в столовой часто едва хватало места. Во главе стола, как всегда, сидела Евгения Яковлевна в белом или светло-сером платье-халатике и в белом же кружевном чепчике с распущенными по плечам накрахмаленными гофрированными завязками. Мария Павловна сидела слева от матери, разливала суп, раскладывала жаркое и с каким-то особым, присущим ей тактом втягивала всех в непринужденную беседу.

В последний раз вся чеховская семья собралась в ялтинском доме летом 1917 года.

Теперь мне хочется нарисовать читателю облик Марии Павловны, какой она была в те годы, в пору моей ранней юности.

Стройная, всегда подтянутая, элегантная, она обладала безупречным вкусом. От нее как бы веяло изяществом. Одевалась всегда безукоризненно, преимущественно в серые, коричневые, лиловые тона. Никогда не носила ничего яркого, крикливого. Походка у нее была легкая и вместе с тем спокойная. Голос негромкий. Когда она впоследствии проводила экскурсии по Дому-музею, ей приходилось сильно напрягать голос.

Она любила и понимала тонкий юмор, любила посмеяться и пошутить, сказать острое словцо, дать меткое сравнение, прозвище.

Постоянно носила на безымянном пальце левой руки кольцо, с круглым зеленым камнем, которое подарил ей однажды художник Константин Коровин. А в торжественных случаях надевала бриллиантовый кулон. Этот кулон в виде цифры «13» преподнес ей когда-то влюбленный в нее писатель И. А. Бунин. Мой отец рассказал однажды историю происхождения этого кулона: «Сколько вокруг нас трагедий, которых мы не замечаем! Разве не трагедия — Маше делает предложение Икс; чтобы не бросить Антона и найти благовидный предлог для отказа, она ссылается на то, что предложение сделано 13 числа, а она суеверна и в будущее счастье поэтому не верит. Они расходятся. Но ровно через 13 лет Икс присылает Маше бриллиантовый кулон в виде цифры 13. Так как это «тринадцать» принесло ей несчастье, ибо она так и не вышла

замуж, то она несет кулон к ювелиру и велит ему переставить цифры — сделать вместо «тринадцати» — «тридцать один»[3], но и эта трансформация не смогла вернуть ей прошлого. И этот кулон стал походить на красивый надгробный памятник, под которым лежит навеки скончавшаяся любовь».

Свое обаяние, изящество Мария Павловна сохранила до самой старости. Большой друг последних лет ее жизни, Иван Семенович Козловский писал о ней: «Она сохранила до глубокой старости ум, обаяние, жизнерадостный юмор и тонкую наблюдательность, от которой ничего не ускользало и в большом и в малом, окружавшем ее. Есть фотографии Марии Павловны, запечатлевшие до некоторой степени эти черты ее необыкновенного облика. Но за лукавым или ироническим взглядом всегда чувствуется глубокая человечность... Она принадлежала к людям, которые являются примером и для нашего времени, и для грядущих поколений»[4]. А Мария Петровна Максакова, тоже очень близкий Марии Павловне человек, отмечала ее удивительную непосредственность. «В ней мило проскальзывало кокетство, — вспоминала она. — Чуточку была капризна — что удивительно к ней шло. Суровой я ее не видела, но задумчивой и сосредоточенной она бывала часто»[5]..

Однажды, когда Мария Павловна была уже в очень преклонном возрасте, в Дом-музей приехали французские туристы, и по их просьбе она вышла к ним. Французы долго аплодировали ей, много говорили в ее адрес приятных слов. Мария Павловна рассказала им, что была в Париже, что любит этот город, что мечтает побывать там еще раз и т. д. А через месяц была получена французская газета со статьей, в которой была такая фраза: «Мы встретили там (в музее. — *Е. Ч.*) элегантную старую даму, прекрасно одетую, с кольцами на руках и с приветливым видом».

«Мария Павловна очаровывала публику не только своим приветливым видом, — вспоминала Е. Ф. Янова, — она еще больше нравилась тем, что со всеми находила общий язык. Если говорила с писателем, — знала, какие произведения им написаны; с архитектором делилась своими строительными планами. А что касается певцов, актеров, музыкантов, — тут она была уже в своей стихии»[6].

В предреволюционные годы отец, принимавший деятельное участие в издании шеститомника писем Антона Павловича, часто ездил из Петербурга, где мы тогда жили, в Москву и иногда брал с собою и меня. Однажды я прожила у Марии Павловны целых полтора месяца. Было мне тогда семнадцать лет, и я с жадностью впитывала новые впечатления.

Мария Павловна водила меня в театры на генеральные репетиции и на премьеры многих спектаклей. Тогда пьесой индийского писателя Калидасы «Сакунтала» открылся Камерный театр, театр в Каретном ряду впервые в России поставил «Пигмалиона» Б. Шоу, а в Первой студии МХТ родился «Сверчок на печи» Диккенса, в котором прославился мой двоюродный брат М. А. Чехов. Тогда же Мария Павловна познакомила меня с моими кумирами — К. С. Станиславским и В. И. Качаловым.

Но самый большой праздник был, когда мы пошли в Художественный театр на «Три сестры». У Марии Павловны был обычай: когда шел этот спектакль, кухарке заказывался большой пирог с мясом. Его отправляли в театр и по ходу действия на именинах Ирины в первом акте актеры съедали его на сцене без остатка и с большим удовольствием. На этот раз и я помогала в приготовлении и упаковке пирога. И когда на сцене его подали на стол, мне казалось, что я тоже участвую в спектакле.

Прошло много лет. Я также подружилась с актерами МХАТа, и мне захотелось возродить старый обычай Марии Павловны. В один из дней, когда шли «Три сестры», я приготовила большой пирог и отвезла мой подарок в театр. В закулисном фойе собрались все участники спектакля, и я рассказала им о возникновении такого обычая и обещала в дальнейшем продолжать эту традицию. Затем пирог был отнесен на сцену и поставлен на накрытый стол.

Но вернемся в прошлое. Я имела счастье видеть в спектакле «Три сестры» Ольгу Леонардовну Книппер-Чехову и Константина Сергеевича Станиславского и никогда не забуду сцены прощания Маши и Вершинина, описание которой приходилось потом читать в воспоминаниях многих авторов. Но ни один из них не сумел, как мне кажется, передать той неповторимой, внутренней правды, которою она была проникнута. И невольно задаешь себе вопрос: какое же огромное впечатление произ-

водила эта сцена на зрителей, если сама исполнительница роли Маши пишет о ней так: «Без внутреннего рыдания не могу вспомнить сцену прощания с... Вершининым. Я не чувствовала земли под собой, не чувствовала своего тела, когда шла из своей уборной на это прощание, точно несла меня какая-то сила... И как хорошо, что Чехов дал Маше одно только слово — «прощай». Крепко храню в своем сердце этот образ Вершинина, и вечная моя благодарность Константину Сергеевичу за то, что он помогал мне переживать на сцене такую любовь, какую Маша несла Вершинину»[7].

Большая наша актриса С. Г. Бирман всю жизнь хранила об этой постановке «Трех сестер» самые нежные воспоминания и только уже в преклонном возрасте решилась поведать о них О. Л. Книппер и М. П. Чеховой: «...я вспомнила, как очень молодой шла я по Моховой... Была весна, на тротуаре лежали сережки берез или тополей. Они расплющивались подошвами прохожих. Я шла после «Трех сестер». И плакала от нежности к Вершинину и Маше... Мои радостные слезы вызвал Антон Павлович Чехов, кумиры моей театральной юности — Станиславский и О. Л. Книппер-Чехова. Я не знала тогда того, что знаю теперь о Марии Павловне Чеховой, о ее человеческом великом таланте — быть хранительницей таланта, опорой его. И мне захотелось нарушить будни и разрешить себе отослать Вам на этом листке бумаги чувства «нежные и прекрасные, как цветы», — я знаю, уверена, что Вы не откажетесь их принять»[8].

«Строитель Сольнес» — так в шутку прозвали в семье Марию Павловну. В начале XX века большим успехом пользовались и ставились во многих театрах пьесы норвежского писателя Генриха Ибсена, в том числе и пьеса «Строитель Сольнес». С той поры и получила Мария Павловна это шутливое прозвище. Оно как нельзя более подходило к ней, ибо ее характеру была присуща любовь к созиданию, к строительству.

Еще в Мелихове она была деятельной помощницей Антона Павловича в устройстве вновь приобретенной усадьбы. Вместе с ним она планировала ее, ремонтировала, красила. Когда же Антон Павлович был вынужден перебраться в Ялту, она приняла такое же горячее участие

в возведении и устройстве дома, которому суждено было впоследствии сыграть столь большую роль и в ее жизни.

После смерти Антона Павловича ялтинский дом сделался ее родным детищем, которое она, в память брата, берегла и холила. Каждый камень, каждую стенку знала она. Каждая трещина волновала ее, как волнует любящую мать болезнь любимого ребенка. По утрам ежедневно обходила она свои владения: не повредила ли что-нибудь ночная буря, не сломаны ли деревья в саду, не пора ли покрасить крышу. Отдавала распоряжения садовнику. Оползни причиняли ей большие неприятности, и много усилий потратила она, чтобы предотвратить оседание почвы. Словом, оберегала любимый дом, как живое существо.

Во время гражданской войны, когда страна была истощена голодом, разрухой, интервенцией, Мария Павловна оставалась в доме с больной матерью, и только ухаживавшая за Евгенией Яковлевной Пелагея Павловна Диева да дворник с женой помогали ей, чем могли. Дом настоятельно требовал ремонта, дороговизна жизни была неимоверная, а средств у Марии Павловны не было. Дни ее проходили в волнении и в ожидании связи с Москвой, с родными.

Первые сведения, которые мы получили о Марии Павловне после Великой Октябрьской революции, относятся к 1922 году. Гражданская война, расстроенный транспорт, почти полное отсутствие почтовой связи разделили нас на целые три года. О Марии Павловне до нас долетали лишь скудные непроверенные слухи. Писем от нее не было, и наши письма до нее не доходили. За эти три года Мария Павловна схоронила мать, умер в Москве Иван Павлович, застрелился его сын Володя. Из всей когда-то большой семьи «старших» Чеховых остались только Мария и Михаил.

Евгения Яковлевна скончалась в 1919 году, но так как связи с Крымом не было, мы узнали о ее смерти только в 1922 году, когда возобновилась переписка брата и сестры. «Дорогая, хорошая Маша, моя милая, одинокая сирота...— пишет Михаил Павлович, получив известие о кончине матери.— Я измучился, все время думая о тебе. Ближе тебя у меня нет из родных никого... Мы оба уже стары, но нас крепко связует наше общее детство и равенство характеров... Постараемся начать новую жизнь».

Получив возможность снова заботиться о сестре, Михаил Павлович начал хлопоты в Москве об утверждении за ней авторского права, о гонораре за постановки пьес Антона Павловича в Московском Художественном театре, связался с Драматическим обществом, с книгоиздательством писателей — словом, делал все, чтобы облегчить материальное положение сестры.

Именно в эти годы вышло в свет несколько книг отца об Антоне Павловиче: «Антон Чехов и его сюжеты» (1923), «Антон Чехов, театр, актеры и «Татьяна Репина» (1924), «Антон Чехов на каникулах» (1929). Часть гонорара за эти издания он аккуратно пересылал сестре. Вот строки из его писем того времени: «Вышла моя книжка. Всего только 4 дня тому назад. Кажется, довольно приличная. Сегодня в «Известиях» уже появилась рецензия, в которой говорится, что она «прекрасно издана», но я, в общем, мало доволен. Клише оказались истертыми, корректура невежественная... Технически, правда, издание удалось. Я посылаю тебе экземпляр бандеролью... Едва книжка успела выйти в свет, как публика встретила ее настолько хорошо, что я уже сейчас могу послать тебе $2^1/_2$ миллиарда... Я хотел бы, чтобы это были твои личные деньги, независимые ни от каких посторонних давлений. Целую тебе руку и крепко-крепко прижимаю тебя к груди. Твой Мишель» (21 июня 1923 года). А 4 июля посылает почтовый перевод с запиской: «Дорогая сестра. Посылаю тебе еще одну тысячу рублей. Это за книжку. Идет хорошо. Потрать эти деньги только на одну себя. Твой Мишель».

Но вот наладилась почтовая связь с Крымом, стали ходить первые, еще переполненные поезда, и весной 1923 года отец смог наконец навестить сестру. Путь был трудный, утомительный; поезд едва тащился, подолгу простаивал на станциях, не совпадал с расписанием пароходов. Ездили тогда до Севастополя, а далее пароходом до Ялты, так как шоссе Симферополь — Ялта еще не было отремонтировано.

Добравшись до Ялты, отец прислал нам в Москву великолепное, полное юмора описание дорожных неурядиц[9]. Заканчивалось оно так: «В Ялту я приехал еще засветло. Настолько засветло, что вершины гор и все море были еще освещены солнцем. Вхожу в калитку. Пусто.

Сад так разросся, что положительно не видно сквозь деревья ничего. Двери заперты.

— Эй, кто здесь? — кричу. Выбегает из кухни приличный, весь в белом, татарин... и радостно всплескивает руками:

— Ах, боже мой! Михаил Павлович приехал!

Выбегает татарка. Это дворник и его жена. Ни я их, ни они меня не знают, но им уже известно, что я должен приехать. Иду в дом. Какая идеальная чистота!

— Миша!! — бросается ко мне Маша, и — слезы! Она только что раскладывала пасьянс, приеду ли я, пасьянс не вышел, и — вдруг я вхожу в дверь! Боже мой, как мне обрадовались, как пламенно меня здесь ожидали! Уже все готово для меня, все приспособлено... ложусь спать после сытного ужина и чаю, которого так хотелось выпить двадцать стаканов».

Это была лишь первая поездка отца в Ялту. В дальнейшем он стал приезжать к сестре по нескольку раз в год, а с 1926 года и совсем поселился в чеховском доме.

В те трудные годы в семью Чеховых в качестве верного друга вошел человек, которого я не могу обойти молчанием. Это — Ванда Станиславовна Дыдзюль (Дижулис), зубной врач. Мария Павловна и Михаил Павлович познакомились с «Вандочкой» в 1923 году, придя к ней как пациенты. Вскоре знакомство перешло в настоящую крепкую дружбу.

Биография Ванды Станиславовны необыкновенна. Уроженка Литвы, она в молодые годы, еще во время царизма, была женой известного революционера-коммуниста Капсукаса. После его ареста она под чужим именем пришла к нему на свиданье в тюрьму, но была схвачена жандармами и заперта в какой-то сарай. Ночью ей удалось сделать подкоп и бежать. Некоторое время пришлось скрываться. После поражения революции 1905 года Капсукас был сослан в Сибирь, где провел несколько лет, а Ванда с дочкой, больной туберкулезом, перебралась в Ялту. Потом она похоронила свою девятилетнюю дочку и в начале двадцатых годов стала работать зубным врачом в лечебницах Ялты и Алупки, имея практику и на дому.

Когда она познакомилась с Чеховыми, ей было уже около сорока лет. Обладая неистощимым запасом жизненной энергии, всегда веселая, готовая на всевозможные услуги и даже на жертвы, она всю себя отдала на служе-

ние близким. В описываемое мною время она жила вместе со своей сестрой и маленькой племянницей Юленькой на набережной около мола. Юленька считалась крестницей Михаила Павловича. Он рассказывал ей разные интересные истории, рисовал картинки, и она очень его любила. Как я уже говорила, жилось тогда ялтинцам нелегко, доставать продукты было непросто. И хотя мы постоянно посылали отцу из Москвы продуктовые посылки, нехватка была во многом. Вандочка помогала своим новым друзьям, как только могла. Обыкновенно она вихрем врывалась в тишину чеховского дома, будоражила всех, открывала свой постоянный спутник — коричневый чемоданчик (она произносила «чюмиданчик») и устраивала импровизированный ужин. Или затевала поездку пикником в горы или обед у себя дома. Придумывала праздничные и именинные подарки — словом, облегчала и украшала жизнь Михаила Павловича и Марии Павловны, как только могла.

В 1932 году по каким-то семейным обстоятельствам Ванда с сестрой и Юленькой должны были уехать к родным в Литву. Предполагалось, что отъезд будет временным, но обстоятельства сложились так, что Ванда в Ялту больше не вернулась. Она писала Чеховым, как отчаянно стремится покинуть буржуазную Литву, где все было для нее чуждо, где она тосковала по Ялте, по оставленным друзьям, которые вспоминали о ней с чувством глубокой и нежной благодарности. Она умоляла Михаила Павловича писать ей чаще, поддержать ее в ее отчаянии: «Пишите, пишите! Ваши письма несут с собою мне радость, и утешение, и надежду, и охоту к жизни, и любовь к югу. Они одни меня поддерживают от окончательной гибели в этом бездарном, гнусном болоте, в этой мещанской... обстановке. Я хочу, хочу в Ялту, хочу к себе домой, хочу к Вам на Аутку, но... все кончено! Я застряла и, должно быть, навсегда погубила свою жизнь!»[10]. Известие о кончине Михаила Павловича (1936 год), полученное Вандой Станиславовной почти одновременно от Марии Павловны и от моей матери, потрясло ее невероятно. Ее ответное письмо невозможно читать без слез. После этого письма след ее для нас на долгие годы потерялся. Лишь по окончании Великой Отечественной войны, после освобождения Литвы от немецких захватчиков, мы узнали трагическую судьбу Ванды Станиславовны. По доносу каких-то

низких людей, вспомнивших, что когда-то она была женой коммуниста, она была схвачена и расстреляна немцами в лесу около Паневежиса.

Все эти подробности мне рассказала Юленька, с которой мы неожиданно встретились в Ялте в 1972 году, то есть через сорок лет после описанных мною событий. Когда мы несколько успокоились, Юленька вынула из сумочки и протянула мне несколько фотографий моего отца, любить которого ее научила Ванда.

В начале 20-х годов чеховский дом в Ялте, к радости Марии Павловны, делавшей все возможное и невозможное, чтобы сохранить в неприкосновенности все, связанное с Чеховым, стал государственным достоянием. Тем не менее средств для поддержания дома не было, зарплата и выдача пайков задерживалась на месяцы. Единственным доходом были добровольные пожертвования по подписному листу немногих посетителей, осматривавших пока еще не музей, а просто дом, в котором провел последние годы жизни любимый писатель и который с такой настойчивостью и решительностью стремилась сохранить его сестра. Вот какие горестные письма присылал нам в это время отец из Ялты: «...на столе лежит подписной лист, по которому уже пожертвовано посетителями свыше 700 тысяч, это на ремонт...— пишет он в мае 1923 года.— Сад запущен, дорожки заросли, дом стал каким-то пегим и некрасивым. Всюду трещины... Маша сознает свое бессилие, но не может сделать ничего». «...Усиленно говорят о том, что дом необходимо отдать под детскую колонию, что это, мол, самое лучшее воспоминание об Антоне...» (31 марта 1924 года). Мария Павловна вела деятельную переписку с Москвой, просила помощи у руководящих работников Наркомпроса, обращалась к Народному комиссару здравоохранения Н. А. Семашко, который предоставлял ей возможность пользоваться местом в санитарном поезде во время ее командировок в Москву, что было для нее немалым облегчением: пассажирские поезда были до отказа переполнены.

Жить стало легче после того, как в 1926 году по просьбе Марии Павловны и Михаила Павловича дом был передан в ведение Государственной библиотеки имени В. И. Ленина, а Мария Павловна утверждена в качестве его директора.

Деятельную помощь в создании Дома-музея оказывал сестре Михаил Павлович. После организации Дома-музея они смогли наконец вздохнуть свободнее. Но начались новые трудности. Появились пока еще немногие сотрудники, которым надо было выплачивать зарплату по ведомостям, приходилось составлять сметы на ремонт, писать годовые отчеты — словом, быть одновременно и директором музея, и бухгалтером, и кассиром.

Жизнь Марии Павловны так сложилась, что о составлении деловых бумаг она имела слабое представление. И тут как нельзя более кстати оказались знания Михаила Павловича, юриста по образованию, человека большой деловой сметки. Он взял на себя все бухгалтерские и канцелярские дела. И Мария Павловна постепенно привыкала нести бремя административных функций.

Но тут пришла новая беда: землетрясение 1927 года. Я предлагаю читателю выдержки из писем отца той поры: «Сидим мы так, и вдруг я вижу, что над моей головой прогибаются потолки. Первой мыслью моей было: «Ах, зачем Маша вводит к Антону в кабинет сразу по стольку народа!» Но не успел я это подумать, как весь дом затрепетал, запрыгал, лампы стали описывать круги, все кругом зазвенело, затрещало, посыпалась штукатурка. И вдруг под нами что-то загудело. Мы оба выскочили в сад. Кругом стоял рев. Под нами гудели пушечные выстрелы, а кругом — шум от миллионов грузовых автомобилей и трескотня от мириадов мотоциклеток. Всеобщий, насколько хватало слуха, собачий вой и кудахтание испуганных кур. Мы стоим и слышим, чувствуем, осязаем, как под нашими ногами колеблется весь земной шар... Такое ощущение, точно сквозь всего тебя прошел сильный электрический ток. Очухиваемся. Вся экскурсия в страхе... буквально валится на землю. Бледная как полотно Маша стоит в дверях в испуге... На улице шум, крики: несут разбившегося человека; он весь в крови. Он сидел на втором этаже на балконе, и его выбросило на землю... Весь дом в трещинах. У Поленьки сорвались со стен все иконы, выскочила лампадка и облила маслом всю стену. Из кабинета выносят целую груду обвалившейся штукатурки. В комнате у Маши буквально все картины и все безделушки — на полу. В перилах у лестницы — на куски разлетелись балясники; сейчас буду склеивать...

Вечером... отправляемся в город. Всюду только и разговоров, что о землетрясении. Очевидцы рассказывают, что сперва гулявшую по Набережной публику отбросило к парапету у моря, а потом обратно к домам. У Ванды вспыхнуло все электричество и перегорели все лампы; один знакомый вернулся к себе в номер и нашел на своей кровати тяжелый лепной карниз... Пронеслись слухи, что очень встряхнуло Ласточкино гнездо...

Миленькие, вы только подумайте! Ведь я был свидетелем землетрясения!.. Да ведь это все равно что выиграть двести тысяч рублей!

Сейчас утро. Слышу — зовет Маша. Иду. Возвратился. У Маши — лицо, полное страдания. Когда она отворила сегодня у себя стенной шкафчик, то из него вывалилось само собой и все прямо на пол. В том числе и флакон духов Коти, который она вот уж сколько лет хранила как зеницу ока. Флакон разбился.

А все-таки подземный гул — штука довольно интересная. До сих пор стоит в ушах».

Это письмо относится к началу событий в июне 1927 года. Но стихия разбушевалась. И вот повествование о тех же событиях, но уже в октябре: «Каждый день нас трясет, и днями, и ночами, и растрясло так, что во всем доме не стало живого места — всюду щели. Утром просыпаемся, а на флигеле перевернулась печная труба и встала по диагонали. Теперь уже нет никакого сомнения, что комнаты Маши, Поленьки и Антошина спальня совершенно непригодны для жилья... Сделано в Москву представление о необходимости постройки сарая, в который можно было бы снести все экспонаты до весны, так как до весны никакого ремонта не будет, и... как все здесь скомкалось, переменило свою физиономию и усложнило быт. Ялта стала неузнаваема,— я уже тебе писал об этом. По-прежнему — ни души. Торговля затихла. По-прежнему люди спят под открытым небом, расположившись, точно цыгане, со всем своим скарбом в садах, во дворах, на бульварах. Кое-где строят бараки, но все меры принимаются как-то вяло... по-видимому, все чего-то ждут или чего-то боятся. Дождя все еще нет, и кипарисы стоят все серые от пыли... «все равно» теперь стало главным винтом нашей жизни... Благодаря домофобии, этому психопатическому, охватившему здесь решительно всех жителей страху перед домами, и этому «все равно» — всюду стала ца-

рить какая-то апатия, все ходят поджавши хвосты и при встречах друг с другом первым делом спрашивают: «Ну что? Слышали? Сегодня ночью? Как вы думаете, на сколько баллов?..» В какой-нибудь один месяц бедная Ялта лишилась стольких богатств. Нечего и говорить, что до будущего сезона она простоит все в том же виде... Наступает зимний сезон — кому придет охота строиться?.. С каждым днем, на глазах, щели становятся все шире и шире, как это происходит в нашем доме. Больно».

Трещины тревожили. Да и весь чеховский дом целиком наклонился к саду, так что по полу можно было ходить как по наклонной плоскости, очень заметной на глаз. И при взгляде на подпертые столбами, будто в шахтах, потолки обитателям дома делалось жутко, точно они входили к умирающему. Не удивительно поэтому, что «домофобией» невольно заразились и Мария Павловна, и ее домочадцы. Построили в саду фанерный домик размером немного больше купе вагона. Внутри все было оборудовано для ночлега двух-трех человек, и Мария Павловна перебралась на временное жительство в новую квартиру. Отец был убежден, что во время дождя крыша домика обязательно протечет. Сам он бесстрашно продолжал жить в своей комнате в цокольном этаже.

Наконец пошли дожди, и, как и предсказывал Михаил Павлович, «шалаши протекли». «Этого было достаточно,— пишет он,— чтобы... Мариша с супругом... немедленно же возвратились к себе в кухню на старое пепелище, чтобы их примеру последовала и Поленька, устроившаяся на диване в столовой... и чтобы и Маша тоже потянулась за нею и основалась в большой галерее. Как цыгане, все они потянулись со своими бебехами и узлами, и было смешно на них смотреть... Теперь, когда толкает или трясет, то я просто не обращаю внимания...»

Измученные жители стали покидать Ялту. Бесконечное количество подвод с узлами и мебелью двигалось по городу и по шоссе. На молу ящики и скарб по неделям ожидали погрузки, так как пароходы были не в состоянии все вместить.

23 ноября отец писал нам: «Город опустел совершенно. Все, что было из кирпича и из керченского камня, рассыпалось. Уцелело лишь то, что было выстроено, как и наш дом, из цельных глыб камня... Вчера я шел в город... И, странно сказать, от нашего дома и вплоть до са-

мой Набережной в 6 час. вечера не встретил *ни одного* человека. Пусто, пусто и уныло. Шумит море, стоят по бокам темные дома, как мертвецы».

И немного раньше, 25 октября: «Сейчас десятый час вечера. Пошел проведать Машу. Она встревожена тем, что на дворе буря и что какая-то птица хлопается к ней в галерею. Это летучая мышь просится к огню... Я отворил дверь, и мы оба, Маша и я, высунулись из нее на двор.

— Слышишь, как ревет море? — сказал я.

— Это не море, а лес в горах, — ответила Маша.

Я прислушался — и действительно, шум доносился не с моря, а с гор. Стало жутко. Темнота, хоть глаз выколи!..

Две старые совы — я и Маша».

Мария Павловна устала до полного изнеможения. «Маша вся как-то вдруг сгорбилась, постарела, все валится у нее из рук, — писал Михаил Павлович, — и я часто слышу, как она говорит: «Если этот дом разрушится, то я не переживу...» Ясно, что она лишилась своей прежней энергии... Дом был для нее всем. Одинокая, бездетная, она относилась к нему как к живому существу, и вдруг, в какой-нибудь один миг, вместе с землетрясением все ее идеалы рушились: все то, что она любила, все, чем жила, что составляло цель ее жизни...» Мария Павловна была глубоко потрясена и подавлена разрушениями, причиненными ее любимому детищу. Но, еще слабая после недавно перенесенной болезни, она нашла в себе силы, воспрянула духом и вся отдалась благородному делу восстановления Дома-музея.

Ремонт дома, пока стихия не утихомирилась, естественно, запрещали. Но наконец Михаил Павлович получил желанное разрешение. И вот тут-то Мария Павловна смогла проявить свои организаторские способности в полную силу.

Предлагаю снова обратиться к письмам Михаила Павловича: «Дом, все три этажа, со всех четырех сторон обносят лесами... Из всех комнат выносят вещи, полы посыпают толстым слоем опилок и поверх его устилают фанеры». И далее о Марии Павловне: «...она еле держится на ногах... Маленькое, сморщенное личико и тяжелый вид». «У нас ремонт в полном разгаре. Машин мезонин сломали до половины и уже выстроили вновь. Сейчас ломают Антошину спальню и мамашину комнату...», «...сижу на

тычке. У меня в моей комнате пробивают стену... Белая известковая пыль легла на всем. Неуютно. Каменщики уже отработали наверху, леса сняты, сейчас штукатурят изнутри Машин мезонин и после него примутся за внутреннюю оштукатурку комнаты матери и спальной и кабинета Антона. Работы идут полным ходом... На дворе у нас — не пролезть. Не то что не пройти, а прямо-таки не пролезть: бревна, доски, горы песку и камней, яма с известкой, бочки цемента, сарай для рабочих, груды железа, а около моего крыльца примостились кузнецы, развели горно и вот уже три недели, провоняв все кругом курным углем, куют железные связи». «Маша сравнительно поправилась. Очень рано встает, хлопочет, массу проворачивает дела».

И вот 25 июня 1928 года Михаил Павлович сообщал нам в Москву: «...наконец-то у нас кончился ремонт. Дом вышел как из-под иголочки. Точно его весь только вчера выстроили снова. Все сияет и блестит. Чистота и запах свежей краски и вдохновения. Сегодня будут ломать на дворе сарай, выстроенный специально для материалов и рабочих, и устилать гравием двор. В саду делается что-то необыкновенное: он весь белый от лилий и жасминов, весь розовый и красный от роз и гвоздик и весь зеленый от пышной зелени. Запах такой, что кружится голова... Но ремонт ужасно утомил нас...»

Однако какие-то восстановительные работы еще продолжались, и 20 июля отец пишет: «У нас ремонт закончился совсем, посетители осаждают массами, и для Маши нет времени даже пообедать. Ах, какая у нас повсюду чистота, как все кругом улыбается и радует своею новизной. Дом точно весь сполна выстроен вновь и выглядит будто новорожденный».

Но работы продолжались и позднее. Вот письмо отца от 1929 года: «...починяют ту громадную подпорную стену, к которой примыкает оранжерея. Ее подточила вода, прососавшаяся под мостовой, и, вместо того, чтобы вытекать по сделанной специально клоаке, она изменила свой путь и стала слезиться сквозь камни. Стену выпучило, улица осела, но наш гениальный «строитель Сольнес» Маша принялась за дело, появились мастера, и живо дело закипело. Сейчас уже воздвигнуты три могучие контрфорса и идет починка самой стены... Маша ходит без задних ног, но, по-видимому, это ее сфера!»

Если вспомнить, что в ту пору Марии Павловне было почти 70 лет, то можно только удивляться силе духа, которая жила в таком хрупком на вид теле. Эта сила руководила ею в течение всей ее долгой жизни и помогла ей сделать большое дело — сохранить целым и невредимым Дом-музей Антона Павловича Чехова, близкий и дорогой сердцу каждого советского человека.

В 1935 году исполнилось 75 лет со дня рождения Антона Павловича. К этой дате приурочивались разные юбилейные мероприятия, и в том числе предполагалась закладка памятников А. П. Чехову в Таганроге и на Страстном бульваре в Москве. Получив приглашения и в Таганрог и в Москву, Мария Павловна забеспокоилась, захлопотала. События такие значительные для нее, а поездка представляла тогда многие сложности. Железнодорожное сообщение было еще не совсем налажено, при пересадках приходилось иногда по полсуток просиживать на промежуточной станции. Кроме того, живя уже много лет в теплом климате, Мария Павловна не имела зимней одежды, а празднества назначались в январе. Однако на эти соблазнительные поездки она все же решилась.

А тем временем Ялта тоже отмечала юбилей Антона Павловича. Вот как описывает эти торжества мой отец: «31.1.35. Вчера было 30-е — день юбилея. Маша плавала в эмпиреях. То и дело она сбегала ко мне вниз, ахала и охала, говорила, как она уже устала, но глаза ее горели по-молодому и щеки пылали огнем. С утра и до вечера — все делегации, речи, фимиамы и воскурения... Одних только бесплатных, пришедших с приветствиями, было принято 324 чел. ...Маша даже охрипла. Местные газеты полны приветствий, Марию Павловну возносят до небес, напечатаны портреты всех, даже Поленьки в платке и Асеевны[11]. У нас в саду, под пение и под хлопанье в ладоши, состоялась лезгинка. Аутская улица переименована в Чеховскую, «Яузлар» получил новое имя, Мухалатской школе присвоено имя Чехова. Отпущены средства на украшение музейного сада и на окончание работ по оползням».

Не могу сказать, свидетелем каких событий была Мария Павловна в Москве, знаю только, что ездила она туда в конце марта 1935 года. А Таганрог перенес все торжест-

ва до весны. Мария Павловна поехала в родной город, но в дороге у нее внезапно обострился артрит. В Харькове, где ей пришлось ожидать на вокзале пересадки с 11 утра до 9 вечера, боли стали настолько сильными, что она должна была обратиться за помощью в больницу. В Ялту Мария Павловна вернулась разочарованной и очень скупо рассказывала брату о подробностях поездки.

А тем временем жизнь в Доме-музее налаживалась. Он уже занял прочное положение среди мемориальных памятников. Посещаемость его возрастала с каждым годом, штат сотрудников увеличился, и Марии Павловне становилось не под силу руководить одной этим большим делом. Михаил Павлович уже не мог, как прежде, быть ее помощником. Он тяжело болел и в 1936 году скончался. Необходимо было найти человека энергичного, работоспособного, который сразу взял бы на свои плечи и часть работы Марии Павловны, и личный уход за нею.

В 1935 году в помощь Марии Павловне была направлена на работу в качестве заместителя директора Елена Филипповна Янова. Молодая, деятельная, трудолюбивая, она скоро стала правой рукой своего «начальника», как она в шутку называла Марию Павловну. <...>

Доверие Марии Павловны к Елене Филипповне было беспредельно. Она всегда поручала ей делать покупки для себя лично и для приемов гостей, полагаясь на нее полностью. Зная, что она все до последней мелочи передаст ее наследникам, Мария Павловна в завещании назначила ее своим душеприказчиком.

Пришла война. Ялта была оккупирована. Опять Мария Павловна оказалась на целые два с половиной года отрезанной от Москвы, от родных, без средств. Перед приходом немцев друзья Марии Павловны позаботились прислать ей немного продуктов. В дальнейшем обе женщины существовали только тем, что удавалось выменивать на их личные вещи и одежду через каких-то людей в дальних районах. Они были счастливы получить хоть что-нибудь.

Конечно, главной заботой Марии Павловны было спасение дома от постоя гитлеровских солдат. Но избежать этого не удалось. Явился однажды немецкий майор фон Бааке и, осмотрев дом, потребовал, чтобы его поместили в кабинете и спальне Антона Павловича. Для Марии Пав-

ловны, целью жизни которой было сохранение комнат брата, исполнение такого требования было равносильно смерти. После продолжительного разговора с гитлеровцем ей каким-то чудом удалось убедить его, что эти комнаты — музейная реликвия, которой пользоваться нельзя. Как писал позднее И. С. Козловский, победили в этой ситуации «нравственная чистота, моральная сила и убежденность»[12] Марии Павловны. Может быть. Главное — реликвия была спасена. Мария Павловна собственноручно заперла кабинет и спальню на ключ, и «герр майор» должен был поместиться в столовой, а его подчиненные — в комнатах нижнего этажа. К счастью, майор прожил в доме всего одну неделю, но, уезжая, сделал надпись на парадной двери, что дом Чехова является его собственностью. В дальнейшем эта надпись все же помогала спасти дом от постоя немецких солдат.

В довершение всех бед Мария Павловна заболела брюшным тифом. Елена Филипповна совсем переселилась к ней. Ночи просиживала она над больной, со страхом слушая бомбежку, а днем собирала в саду сушняк, топила печурку, готовила незатейливый обед, принимала врача, ходила к «городскому голове», просила не давать дом под квартиры немцам и не рекомендовать его как музей, где есть ценные картины — подлинники Левитана. Словом, напрягала все силы, чтобы уберечь дом от разграбления.

Однажды приехал немецкий офицер из штаба Розенберга в сопровождении директора Библиотеки имени Чехова З. А. Чупинцевой. Он ведал всеми культурными делами на оккупированной территории. Хорошо говорил по-русски. Елена Филипповна приняла его одна, так как Мария Павловна была еще нездорова.

Представившись, он сказал:

— Вы должны написать в немецкую газету, что при большевиках вам жилось очень плохо, а с нашим приходом ваша жизнь изменилась к лучшему.

Елена Филипповна ответила, что Мария Павловна никогда этого не сделает. Он стал настаивать, но Елена Филипповна категорически отказалась, заявив:

— Мы все — большевики, и Мария Павловна никогда не будет писать плохо о своих.

При этом Елена Филипповна заметила, что Чупинцева смотрит на нее с удивлением.

Офицер уехал. К счастью, визит сей оказался без последствий для Елены Филипповны.

Но когда, после Победы, из ЦК партии прибыла проверочная комиссия, оказалось, что товарищ Чупинцева — как выяснилось, бывшая подпольщица — уже поставила комиссию в известность о мужественном и смелом поступке Елены Филипповны.

Но вернемся к годам оккупации.

«Наконец я стала поправляться,— рассказывала мне Мария Павловна в мой первый приезд в Ялту после освобождения ее от гитлеровцев.— Однажды, когда я еще лежала в постели, пришел меня навестить «городской голова», Анищенков. Я, еще слабая после болезни, с возмущением отвечала на его вопросы, как я себя чувствую, не нуждаюсь ли в чем. У нас не было ни продуктов, ни топлива. И вдруг Анищенков, сидевший у моей постели, схватил меня за руку и сказал:

— Мария Павловна, дорогая, потерпите, скоро все будет. Ведь скоро наши вернутся в Ялту.

Оказалось, он тоже работал на немцев для виду, а на самом деле был подпольщиком. Позже мы с огорчением узнали, что при отступлении немцы расстреляли его[13].

Много было пережито, много потрачено сил, чтобы уберечь дом от разграбления, пока наконец настал долгожданный час и входная дверь открылась перед советскими воинами.

Об этом незабываемом часе вспоминает писатель Дмитрий Холендро. «Мы спустились с улицы в сад, быстро подошли к двери, и я постучал в нее кулаком. Никто не ответил. Тишина. Я поколотил громче. И тогда из глубины дома донесся несмелый женский голос:

— Кто там?

— А кто тут есть?

— А вы кто?

— В город пришла Советская Армия,— сказал я.

Была секундная пауза. Потом голос зазвучал ближе и громче, но обращался не к нам, а еще к кому-то в доме.

— Маша! Это свои! Свои пришли! Слышишь?!

Двери распахнулись. Перед нами стояла, вглядываясь в нас и улыбаясь, высокая женщина в длинном темном платье, с белым шелковым кашне на шее. Темные волосы, темные глаза. А сверху, волнуясь, звал другой, слабый голос:

— Где они? Идите сюда! Я не могу подняться, Лена!

Мы пошли наверх и оказались в комнате с письменным столом и шкафами. В глубоком кожаном кресле сидела сестра великого писателя Мария Павловна Чехова. Худое лицо ее светилось. Руки, упираясь в подлокотники кресла, дрожали.

— Это от радости,— сказала она.— Не могу встать.

Мы познакомились. Встретившая нас женщина назвалась Еленой Филипповной Яновой.

— Мой первый помощник и друг, официально — заместитель директора музея,— сказала Мария Павловна,— я бы умерла без нее... Господи, свои, свои! Видишь, Лена? Неужели это так? Лена! Угостим их кофе?»

Так в Ялту пришло освобождение.

Конечно, годы оккупации тяжело отозвались на здоровье Марии Павловны. Ей хотелось покоя, отдыха, но в тогдашних условиях отдыхать было некогда. Она по-прежнему вникала во все дела Дома-музея, принимала множество посетителей, выходила беседовать с экскурсантами, продолжала при помощи Елены Филипповны работу над своим архивом, начатую в годы оккупации; выпустила в свет книгу «Письма к брату».

В 1944 году за многолетнюю работу по сохранению Дома-музея и за издание литературного наследия Антона Павловича правительство наградило Марию Павловну орденом Трудового Красного Знамени.

Но, как и брат ее Антон Павлович, Мария Павловна томилась в Ялте. «Как я тебе завидую,— пишет она мне летом 1950 года,— что ты будешь собирать землянику и грибки... Я не поклонница крымской природы и скучаю по северу, особенно летом, да и отдохнуть хочется. Ведь я никогда не брала отпуска и никогда вообще не отдыхала...»

Тем более приятны были Марии Павловне в ее крымском уединении гости с «большой земли». Огромной радостью стала для нее встреча с Ольгой Леонардовной, приехавшей в Ялту уже через месяц после освобождения ее от гитлеровцев. Ольга Леонардовна прожила тогда с Марией Павловной почти все лето.

В последующие годы постоянными гостями Марии Павловны были артисты М. П. Максакова, И. С. Коз-

ловский, профессор И. Е. Кочнова, С. Я. Маршак, П. А. Павленко, семья К. А. Тренева и многие другие. Елена Филипповна вспоминала: «Мария Павловна была необыкновенно гостеприимна. Особенно радовалась она приезду Ивана Семеновича Козловского. Мария Павловна любила его как человека и как певца, а Иван Семенович был к ней как-то особенно внимателен и нежен. Внизу в цокольном этаже накрывали парадно стол; кресло Марии Павловны стояло всегда в начале стола, чтобы она могла хорошо видеть всех. Иван Семенович неизменно садился рядом с Марией Павловной. Мы, окружавшие ее сотрудники, отлично знали, что Иван Семенович обязательно споет за ужином любимые романсы Марии Павловны, и поэтому заранее приносили и прятали гитару, чтобы в нужный момент дать ее в руки Ивану Семеновичу. Перед тем, как начать петь, он обычно говорил:

— Товарищи, здесь даром есть не дают! Здесь надо еще и поработать!

Звучала гитара и... «Я встретил вас...», «Средь шумного бала...», украинские песни... <...>

И. Е. Кочнова рассказала мне как-то один интересный эпизод из жизни Антона Павловича. Однажды на врачебной конференции к ней подошел очень пожилой человек. В разговоре выяснилось, что он стал врачом благодаря Антону Павловичу Чехову, который не только вылечил его от тяжелой болезни, но и покорил его ребячье сердце искусством врачевания и добротой. Он до сих пор помнит, как Антон Павлович сказал Марии Павловне, помогавшей ему при приеме больных в Мелихове: «Маша, принеси грелку». Он не мог осматривать ребенка на холодной кушетке, и в этом, казалось бы, мелком эпизоде сказалась огромная чеховская человечность.

Я тоже часто навещала Марию Павловну. Обыкновенно она присылала мне телеграмму «приезжай», и я летела хоть на несколько дней повидать близких сердцу людей. Мария Павловна, несмотря на возраст, была все так же изящна, элегантна и остроумна. Она сохранила даже свое кокетство, по-прежнему любила красиво одеться, бодрилась, но стала слабее, часто укладывалась подремать днем. Елена Филипповна все так же хлопотала вокруг нее, деятельно занималась делами Дома-музея.

Связанная работой в консерватории, я могла навещать Марию Павловну большей частью на ноябрьские или майские праздники. И, естественно, в эти дни у нее можно было встретить и работников горкома, и бывших партизан, и приезжих москвичей, и местных знакомых. Каждый стремился поздравить Марию Павловну, оказать ей внимание, для каждого она находила ласковое слово.

С сожалением приходилось расставаться с милым сердцу домом и его «начальником» до следующей встречи и довольствоваться перепиской.

В ту пору я посылала Машечке из Москвы «вкусные» посылки: сладкие пирожки, куличи, конфеты, домашнее варенье, маринованные грибы. В ответ получала благодарность и снова настойчивые приглашения приехать: «Пустячки», присланные тобою... очень обрадовали меня... Конечно, если бы ты приложила к этим «пустячкам» свой приезд ко мне — как бы я была счастлива!.. И рада!.. Вообще мне бы хотелось с тобой переговорить о многом...» «В Симферополе к твоим услугам рейсовая машина. Потом — мои объятия», — гласило очередное приглашение, и я опять заказывала билет на самолет и летела на несколько дней в эти милые объятия.

Часто письма Марии Павловны были шутливы, даже проказливы. Вот, например, открытка: «Дорогая моя Женюша... поздравляю с Новым годом, желаю здоровья и счастья. Только не выходи замуж, так как я сама собираюсь... Ожидаю подходящего женишка — богатенького и не очень молодого...»

В 1953 году широко отмечалось 90-летие Марии Павловны. Помню торжественное заседание в городском театре имени А. П. Чехова. В Ялту приехали О. Л. Книппер, И. С. Козловский и многие другие, зал театра битком набит. А вечером в саду Дома-музея — накрытые для ужина снесенные со всего дома столы. Приглашенных больше пятидесяти человек. Шумно, оживленно, произносятся приветствия и тосты в честь дорогой юбилярши. Мы с Ириной Федоровной Шаляпиной приготовили смешные частушки и, покрывшись пестрыми платочками, исполняем их под громкий смех гостей и самой Марии Павловны. Она, как всегда, элегантная, в новом красивом платье, с орденом Трудового Красного Знамени на груди,

шутит, смеется, отвечает на приветствия. Ее чествовала вся страна. Поздравительные телеграммы, письма, торжественные адреса приходили из разных городов. Советское правительство присвоило Марии Павловне почетное звание заслуженного деятеля искусств.

Мария Павловна скончалась 15 января 1957 года. Скорбные дни. Получив страшную весть о ее смерти, я вылетела из Москвы рано утром 16-го. Сквозь тяжелые набухшие облака, нависшие над мрачными, покрытыми снегом горами, уже в сумерки, прибываю в Ялту.

Знакомая белая решетка сада и за нею дом. Поражает темное окно в мезонине. Много лет оно было освещено, привлекая близких и далеких... В передней — проникновенная, горячая встреча с Еленой Филипповной, и вот — гроб с дорогим телом посреди столовой. Красивое спокойное лицо, значительное, умное, строгое. Белым блестящим шелком убран гроб. Все проникнуто скорбью. <...>

В год смерти Антона Павловича Мария Павловна посадила перед домом кипарис. Еще один кипарис посадили я и брат на другой день после ее погребения. Сейчас он уже достиг балкона ее комнаты.

<...> Желанной гостьей в доме Чеховых всегда была Мария Петровна Максакова, талантливая наша певица, давшая русской сцене незабываемые образы в операх Мусоргского, Римского-Корсакова, Чайковского. Будучи горячо привязанной к Марии Павловне, она питала самые теплые дружеские чувства и к Елене Филипповне. Очень трогательны и задушевны письма ее к Елене Филипповне, посвященные памяти Марии Павловны.

<...> После смерти Марии Павловны я ежегодно навещала Елену Филипповну в Ялте на ее прежней квартире. Мы обе горячо любили нашу Машечку и потому без устали говорили о ней, перебирали наши воспоминания, как дорогие сердцу письма.

И вот в июне 1976 года Елена Филипповна разрешила мне заняться ее небольшим архивом. Это письма друзей и знакомых Марии Павловны, бывавших в чеховском доме и до последних дней не порывавших теплой, дружеской, задушевной связи и с Еленой Филипповной. Читаю приветственные, поздравительные и деловые письма

Е. П. Пешковой, К. Г. Паустовского, М. И. Алигер, Л. Н. Сейфуллиной, К. А. Тренева, Д. Н. Журавлева, И. С. Козловского, М. П. Максаковой, И. Е. Кочновой и многих других. Но главное в этом архиве — 50 писем и 32 записки самой Марии Павловны к Елене Филипповне и 19 писем к ней же Ольги Леонардовны, писем еще никому не известных и нигде не опубликованных. Частично я использовала этот материал в своих мемуарах.

Мария Павловна писала во время своих служебных командировок в Москву, в Библиотеку имени В. И. Ленина, куда ездила до войны ежегодно весной, присоединяя к этим поездкам свой отпуск. Письма в большинстве своем — почтовые открытки делового характера, густо исписанные мельчайшим почерком. Но встречаются здесь и послания с рассказом о жизни Марии Павловны в Москве. Вот интересная выдержка из письма от 26 апреля 1940 года: «Замечательный спектакль «Три сестры». Целое событие в Москве! Что-то случилось великое и непостижимое! Приеду — все расскажу. Мы с Ольгой Леонардовной получили по большому букету роз, и когда Немирович-Данченко объявил, что мы в театре, то все зрители повернулись к нашей ложе и долго, долго аплодировали. Это было на премьере. А на репетиции я горько плакала, — мне жаль было, что Антона Павловича нет в живых... При нем такого триумфа не было».

Записки Марии Павловны обычно на маленьких листочках бумаги, в большинстве своем не датированы. Они посылались на дом к Елене Филипповне, когда та бывала больна, а также с верхнего этажа ялтинского дома в нижний, если Елена Филипповна почему-нибудь бывала срочно нужна Марии Павловне. Эти записочки хорошо передают напряженный, деловой ритм жизни Дома-музея. Хочется как пример привести несколько таких записочек. «Дорогая Елена Филипповна! Прибыл пароход «Чехов». Я была еще в постели, когда команда уже явилась. Кое-как Полине Павловне удалось уговорить их прийти позднее. Умоляю Вас, поспешите. Вот Вам и понедельник — день отдыха! М. Ч.» «Дорогая, милая, хорошая Елена Филипповна, умоляю Вас, простите меня за беспокойство, причиненное Вам мною в прошедшую ночь. Я очень плохо чувствую себя и сейчас — сердце меня пугает. Есть перебои. Простите, и больше ничего. Ваша М. Ч.» «Сегодня в 10 час. утра у нас будут знатные гости, которых мы

встретили, едучи в Гурзуф. Вчера ко мне приехало «лицо» и предупредило. Одевайтесь поважнее, мы вместе будем принимать. Приходите пораньше. Я волнуюсь. Известная Вам М. Ч.» «Дорогая Елена Филипповна! Надо сделать надпись по-французски для г. Дюкло — это трудно. Думаю, что Вы мне поможете. Не правда ли? М. Ч.»

Осенью 1979 года не стало и Елены Филипповны. Ушел из жизни преданный друг и помощник Марии Павловны, ушел человек необычайной душевной красоты и верного сердца <...>

Михаил Павлович и его семья

Когда мне случается бывать в Мелихове, всегда любуюсь той красотой, порядком и благоустроенностью, которая сразу бросается в глаза, как только вступаешь на территорию музея. Здесь каждое дерево, каждый кустик, каждая травинка носят на себе следы заботливого ухода. Ощущение чьей-то огромной, особенной любви к Антону Павловичу и к этому очаровательному уголку, который он когда-то создал, охватывает уже при первом взгляде на дом, на аккуратные дорожки, на цветники. Это любовь и забота директора Юрия Константиновича Авдеева и его верной спутницы и помощницы Любови Яковлевны помогли довести Музей-заповедник до теперешнего совершенства, хоть немало пришлось им для этого потрудиться и побороться в течение многих лет.

Для меня мелиховская усадьба имеет еще и ту притягательную силу, что в ее создании принимал когда-то деятельное участие мой отец Михаил Павлович.

Михаил Павлович был всесторонне одаренным человеком. Он по слуху прекрасно играл на рояле и на виолончели, читал лекции по русской и западноевропейской литературе, делал переводы с английского и французского. В тяжелые времена гражданской войны шил башмаки и кормил этим всю семью. Рисовал акварелью; рисунки его и сейчас экспонируются в Доме-музее А. П. Чехова на Садово-Кудринской в Москве. Он умел перетянуть пружины матраца, разводил розы в ялтинском саду, мог отполировать стол красного дерева, починить часы и даже сконструировал из фанеры отличные часы, которые находятся теперь в чеховском доме в Ялте. А по образованию он был юрист.

Окончив юридический факультет Московского университета, Михаил Павлович поступил на государственную службу, которая, правда, с каждым годом все больше его тяготила. Уже тогда он начал писать небольшие повести, статьи и рассказы для детей, но пренебречь казенной службой, дававшей верный заработок, не решался. Впоследствии он не переставал сожалеть о том, что не воспользовался советом Антона Павловича сразу и целиком посвятить себя литературе. Служебная деятельность его протекала в небольших уездных городках — Алексине, Серпухове, Угличе, среди мелких провинциальных интересов, и он пользовался каждым удобным случаем, чтобы навестить своих, невзирая на то, что его отлучки вызывали порой недовольство начальства.

Мелихово, как известно, было куплено в 1892 году. Михаил Павлович, всегда живший интересами семьи, тотчас же принялся помогать брату и сестре налаживать новое хозяйство. В то время, как Мария Павловна руководила работой в саду, Михаил Павлович взял на себя полевые работы. «Миша превосходно хозяйничает,— писал Антон Павлович.— Без него я бы ничего не сделал» [14].

Письма этих лет Михаила Павловича к Марии Павловне полны хозяйственных забот: «Не забудь: с 4-го марта у нас экипажная ярмарка. Важно не упустить времени. Если экипаж нужен и есть свободные деньги, то пришли переводом через банк. Постараюсь не ошибиться и купить тарантасик получше». «Маша. Посылаю тебе чек на 26 рублей и две дуги на 4 рубля... Дуги посылаются отличные, но особенно рекомендую некрашеную. Она продана мне с ручательством, и если кто-нибудь в Мелихове понимает в дугах толк, то убедится воочию, сколь мила некрашеная дуга. Покупая дуги, я имел в виду хорошую и дурную погоду: полированная — для хорошей езды и некрашеная — для грязи, когда все дуги лопаются». «Дорогая Машета. Я послал тебе с Ваней 25 рублей. Конечно, ты их получила, но я думал, что все-таки ты хоть что-нибудь напишешь. Я так соскучился по Мелихове, по всех вас и в особенности по матери, что если бы ты написала, что и как у вас, то кроме удовольствия не доставила бы ничего. Напиши, пожалуйста... Стоят большие морозы, Волга стала, но снегу нет. Воображаю, какие кочки по дороге в Мелихово!» «Стерляди невероятно дешевы. Если б было морозно, прислал бы и вам. Ты не поверишь: по 5 коп. за

штуку... Кланяйся старикам. Прижми мать к сердцу и скажи ей, что мы ее любим».

Отношение Михаила Павловича к матери Евгении Яковлевне было исключительно нежным. Он писал ей длинные обстоятельные письма, сообщал свои семейные новости. Уже будучи отцом семейства, подробно описывал наши детские шалости, игры, болезни и проч. Сохранилась целая пачка писем, писанных им якобы от меня, четырехлетней, к бабушке и тете Маше о том, как я и братишка научились лазать через забор, как ездили с папой и мамой на прогулку, как собирали грибы. Эти письма иллюстрированы наклеенными на них любительскими фотографиями, очень хорошо воспроизводящими быт нашей семьи.

Уже в 1910 году, вспоминая Мелихово, Михаил Павлович пишет матери: «Я так и вижу Вас... Вы стоите около комода или около стола и в очках читаете свое старинное, пузатое Евангелие, водя пальцем по строкам и то и дело отплевываясь на смущающих Вас нечистых духов... Желаю Вам здоровья. Вспоминаете ли Вы о Мелихове? Ведь там Вы были на лоне природы и хозяйничали; а я нигде сроду не ел никогда таких вкусных соленых огурцов, такой удивительной качанной капусты и красненьких, как именно у Вас в Мелихове. А Ваше мелиховское масло! А сметана!.. Оставайтесь богом хранимы. Ваш самый младший, но, увы! уже седой, сын Миша».

«К сожалению, грибов совсем почти нет. А ведь Вы любительница собирать грибы. Я ведь помню, как в Богимове и в Мелихове Вы с палочкой бродили по лесам!»[15].

Тою же нежностью и неусыпной заботой об Антоне Павловиче проникнуты и письма Михаила Павловича к сестре: «Два раза получили письма от Антона. Он пишет такие глупости и так смешно, что самочувствие, вероятно, у него превосходное. Остается только радоваться, радоваться и радоваться. Одно только ясно: он не должен приезжать зимой в Россию. Тоска по родине и скука по Мелихове поставят его в такое положение, что он войдет в сделку со своею совестью и убедит себя в том, что зимой приехать *можно*. Не нужно быть очень умным, чтобы вообразить себе, какие испытания придется перенести его организму, попадающему прямо из теплой Ниццы в наш январский Север в течение каких-нибудь пяти суток. А путешествие зимой в душном вагоне, при жаре внутри

и холоде снаружи, при вечных сквозняках — едва ли удобно. Нет, Антон должен зимовать в Ницце всю зиму, незачем ему приезжать зимою в Мелихово». А много лет спустя, когда Антона Павловича уже давно не было в живых, отец писал нам из Ялты о нем с гордостью: «...наш покойный Антон даже в свои самые тяжелые, бедственные годы ни за что на свете не принял бы от купца стипендии, если бы тому вздумалось ее ему предложить. С какой кропотливостью и с какими лишениями он выплачивал взятые из редакций, под давлением нужды, авансы! Вероятно, все это зависит от самовоспитания... Хорошо писать хорошие картины, сочинять великие оперы и симфонии, когда каждый месяц... получаешь от великодушных меценатов пособие. А ты вот попробуй побегать в трескучий мороз по редакциям, как Антон, да *выпрашивать* там *уже заработанный* гонорар!»

Но возвращаюсь к Мелихову. Мой отец подробно писал о притягательной силе чеховской усадьбы для множества гостей. Я лишь дополню его рассказ. В Мелихове подолгу и часто гостил старый друг семьи Александр Игнатьевич Иваненко. Однажды Антон Павлович поручил ему произвести «инвентаризацию» усадьбы.

Иваненко составил шутливую опись, в которой, после перечисления тарантасов, саней, беговых дрожек, плугов и прочего, о лошадях, носивших любопытные клички, сказано так: «По Мелиховским дорогам на 1 июня состязались: *Киргиз* 8 лет. Перегнал курьерский поезд 100 раз и сбросил владельца столько же раз. *Мальчик* 5 лет. Дрессированная лошадь, изящно танцует в запряжке. *Анна Петровна* 98 лет. По старости бесплодна, но подает надежды каждый год. *Казачка* 10 лет. Не выносит удилов». Далее следует описание свиней, уток, кур, собак. Две таксы, подаренные Лейкиным, выделены особо: «*Хина Марковна* отличается тучностью и неподвижностью. Ленива и ехидна. *Бром Исаевич* отличается резвостью и ненавистью к Белолобому. Благороден и искренен». В заключение рукописи сказано о хозяевах: «*Павел Егорович Чехов и его супруга Евгения Яковлевна Чехова:* счастливейшие из смертных. В законном супружестве состоят 42 года. Ура! Дети их: *Антон Павлович Чехов:* законный владелец Мелиховского царства, Сазонихи, Стружкина, царь Мидийский и пр. и пр., он же писатель и доктор. *Мария Павловна Чехова:* добра, умна, изящна, красива, грациозна, вспыльчива и отходчива,

строга, но справедлива. Любит конфеты и духи, хорошую книжку, хороших умных людей. Не влюбчива. Избегает красивых молодых людей и т. д.»[16].

В один прекрасный день в Мелихово приехала Лика Мизинова и привезла очаровательную свою подругу, графиню Клару Ивановну Мамуну[17]. Красивая девушка, небольшого роста, с огромной косой, получила в семье Чеховых прозвище «маленькая графиня». Отец рассказывал мне впоследствии, что якобы предком ее был знаменитый Аль-Мамун, великий визирь Багдадского калифа Гаруна-Аль-Рашида.

«Маленькая графиня» стала часто приезжать в Мелихово, и Михаил Павлович увлекся красивой девушкой. Она, со своей стороны, влюбилась в него. В промежутки между ее наездами в Мелихово молодые люди переписывались. Письма Михаила Павловича, к сожалению, не уцелели, но сохранилось у меня пятнадцать писем Клары Ивановны; пятнадцать небольших, исписанных бисерным почерком листочков, вложенных в крошечные конвертики со штемпелем «Москва», и с адресом, написанным тою же рукою: «Его высокоблагородию Михаилу Павловичу Чехову».

День ото дня пылкость «маленькой графини» возрастала... «Миша, что ты наделал! — пишет она. — Я без тебя жить не могу. Мне хочется, чтоб ты повторял бесконечно, что меня любишь... Напиши, скажи, что любишь».

В одно из этих писем вложен листочек бумаги, и на нем в качестве пробы пера несколько раз написано: «Клара Ивановна Чехова». В другом письме она уже подписывается: «Твоя Клара Ч....а». В письмах Клары Ивановны признания в любви, мечты о счастье с любимым человеком, воспоминания о часах, проведенных рядом с ним, чередуются с практическими соображениями о будущей свадьбе, о приданом и т. д. Она как бы торопит события...

Однако Михаил Павлович со свадьбой не спешил. По-видимому, он остерегался связывать себя брачными узами. Как раз в это самое время у Антона Павловича развивался его роман с Ликой Мизиновой, роман, который и до наших дней является темой немалого числа исследований и домыслов. Антон Павлович очень серьезно смотрел на брак. Беспорядочная жизнь, «богемность» Лики, ее откровенные признания, видимо, как-то сдерживали

его чувства. И Михаил Павлович, очевидно под влиянием старшего брата, колебался, несмотря на свою безусловную любовь к Мамуне. Колебался так долго, что в одном из последующих писем Клара Ивановна пишет: «...зачем вся эта таинственность?.. Я больше прятаться не хочу, а лгать отцу, которому никогда не лгала, не могу... Неужели Вы до сих пор не догадались, что Ваше нежелание ближе узнать моих отца и родных меня оскорбляет?.. Если вы хотите меня видеть, то приезжайте чаще ко мне в Москву, где я, предупреждаю, показывать Вас буду всем своим. Вот Вам тема для размышлений. Подумайте и напишите». Такая активная позиция «маленькой графини», по-видимому, окончательно отпугнула Михаила Павловича, и он, будучи уже объявленным в Мелихове женихом, написал ей, что сомневается в своем чувстве, и просил извинить его.

И вот последнее ее письмо: «...в чем же мне Вас обвинять? Раз охладевшее чувство нельзя подогреть... поверьте, это была бы только вспышка... Миша, милый, подумай!.. Я не сумела удержать тебя, и ты не виноват... Сейчас нашла твою страстную записку ко мне, которую ты писал в Мелихове, и мне хочется плакать, и в то же время что-то злое подымается со дна бедного маленького сердца».

Возможно, это-то «злое» и заставило «маленькую графиню» совершить тот поступок, которым она навсегда отрезала себе путь к любимому человеку. Ее последнее письмо к Михаилу Павловичу датировано 18 марта 1893 года, а уже через месяц, как рассказала мне Мария Павловна, она «с горя», par depit*, как говорили тогда, вышла замуж за другого.

26 апреля 1893 года Антон Павлович сообщает Суворину: «Брат Миша влюбился в маленькую графиню, завел с ней жениховские амуры и перед Пасхой официально был признан женихом. Любовь лютая, мечты широкие... На Пасху графиня пишет, что она уезжает в Кострому к тетке. До последних дней писем от нее не было. Томящийся Миша, прослышав, что она в Москве, едет к ней и — о чудеса! — видит, что на окнах и воротах виснет народ. Что такое? Оказывается, что в доме свадьба, графиня выходит за какого-то золотопромышленника. Каково? Миша возвращается в отчаянии и тычет мне под нос неж-

---

* с досады, со зла *(фр.)*.

ные, полные любви письма графини, прося, чтобы я разрешил сию психологическую задачу». Бурная, но не совсем оправданная реакция, описанная Антоном Павловичем, естественно, вызвана запоздалым сожалением о возможном, но утерянном счастье. И хотя виновником разрыва, безусловно, был Михаил Павлович, он долго, как рассказывала мне Мария Павловна, не мог смотреть на миниатюрные вещи и нарочно разбил однажды какую-то маленькую сахарницу.

Какое-то неопределенное чувство заставило меня взять с собою пачечку писем К. И. Мамуны, когда я поехала в Мелихово 15 июля 1974 года. Мне хотелось, чтобы теперь, через 80 лет, они снова проделали тот же путь Москва — Мелихово. Директор Музея-заповедника Ю. К. Авдеев пригласил меня прочесть мои воспоминания. Была готова статья «Годы в Мелихове», и я читала в саду музея собравшимся слушателям и статью, и некоторые из этих писем. Одно письмо и копию фотографии Клары Ивановны я подарила Музею-заповеднику.

После романа с К. И. Мамуной прошло около двух лет. Михаил Павлович по-прежнему вникал во все мелочи мелиховского быта, по-прежнему приезжал в усадьбу помогать сестре и брату и по-прежнему был прикован к постылой казенной службе. Жизнь в маленьких, захолустных уездных городках с их мелкими интересами, сплетнями, служебными неурядицами угнетала Михаила Павловича. После длительных хлопот он в конце 1895 года получил наконец назначение в губернский город Ярославль.

Еще в Угличе он встретился с молодой девушкой Ольгой Германовной Владыкиной, которой суждено было стать его женой. После недолгого периода сватовства Михаил Павлович привез невесту в Мелихово и, оставив ее на попечение родителей и сестры, уехал на несколько дней по служебным делам.

Ольга Германовна пишет жениху 15 января 1895 года: «Какие славные твои папа и мама, Маша и все здесь вообще... Сижу, пишу тебе, вдруг приезжает Антон, все побежали его встречать, а я осталась в кабинете. Дверь отворяется, и входит он: извиняется, что мокрые руки, и представляется: «Старший Чехов». Вот тебе мое знакомство

с Антоном. Не знаю, что будет дальше». А дальше было так: на следующий день приехал Михаил Павлович; Павел Егорович и Евгения Яковлевна благословили иконою своего младшего сына, а, за отсутствием родных Ольги Германовны, Антон Павлович и Мария Павловна, в качестве посаженых отца и матери, благословили его невесту. Венчание происходило в домовой церкви соседней с Мелиховым усадьбы Васькино.

Будущие мои родители поселились в Ярославле по месту службы отца. Пройдет сорок лет, и отец, уже тяжело больной, напишет моей матери из Ялты такие благодарные и нежные слова: «Милая мамочка. Прежде всего позволь поздравить тебя с сорокалетием нашей свадьбы. Сорок лет! Ведь это не маково зерно! Ты только подумай, сколько за это время утекло воды, сколько улетело и прилетело птиц и сколько совершилось великих, исторических событий! Прошло сорок лет и сорок зим, но я отчетливо, до мельчайших подробностей, помню ту зиму, когда мы ехали с тобой из Мелихова в Васькино, чтобы повенчаться, и когда кучера были нашими свидетелями. Затем, приехав в Ярославль, мы стали устраиваться и завивать свое гнездо. И так далее и так далее,— и вот мы с тобой уже дожили до седин и до сороковой годовщины нашего союза!.. Если бы ты была здесь, то я сам нарвал бы в нашем саду и преподнес бы тебе букет. Кто поверит? Сегодня 30-е января, а на этих днях у нас уже пышно расцветает миндаль, и как-то дико смотреть на то, что на сливах у моего крыльца уже, точно бисер, высыпали белые цветочные почки. Подснежники... усеяли землю. Я еще никогда в жизни не видал такой зимы». Но до этого письма следовало прожить еще много лет. А пока они были молоды, счастливы...

В конце следующего, 1896 года родители мои приехали на Рождество погостить в Мелихово. Время проводили весело, катались на коньках, гуляли, ездили ряжеными к соседям. Ольга Германовна нарядилась однажды парнем хулиганской внешности — в старые брюки, пиджак и картуз. Антон Павлович сам нарисовал ей усики и написал известную записку: «Ваше высокоблагородие! Будучи преследуем в жизни многочисленными врагами, и пострадал за правду, потерял место, а также жена моя больна чревовещанием, а на детях сыпь, потому покорнейше

прошу пожаловать мне от щедрот ваших *келькшос** *благородному человеку.*

Василий Спиридонов Сволачев».

С этой запиской моя будущая мама обходила хозяев и гостей большого васькинского дома и собирала в картуз шуточное «подаяние».

Прошло еще два года. В феврале 1898 года родилась я. Михаил Павлович пишет сестре из Ярославля в Мелихово: «Девочку окрестили вчера. Тебя записали кумой, Антона — кумом. Большое тебе спасибо за чепчик и ризки, а главное — за то, что ты согласилась у нас крестить. Постараюсь воспитать дщерь свою в страхе и почтении перед тобой. Очень бы хотелось, чтобы ты повидала свою крестницу... Антошу записали кумом и за его счет на все крестины, вместе со крестом, израсходовали 11 рублей. Существует какое-то поверье, что расходы эти обязательно должен нести крестный отец. Поэтому, а отнюдь не из скаредности, я попрошу тебя вычесть в свою пользу из имеющихся у тебя Антошиных денег 11 рублей... Антон об этом уже извещен. Что делать, таковы уж порядки! Мать высказывает предположение, что Антоша обидится на то, что я так скупо обставил крестины, что это не в его правилах, но мне было как-то неловко тратить больше. Пусть извиняет. Я так доволен, что у меня кумом и кумою Антон и ты!»

В честь бабушки Евгении Яковлевны девочка была названа Евгенией... Метрика этой девочки гласит: «Дано сие... в том, что в копии метрической книги 1898 года под № 1 женска пола показано: у начальника Ярославской Казенной палаты, титулярного советника Михаила Павловича Чехова и законной жены его Ольги Германовны, обоих православных, Евгения родилась шестого... и крещена пятнадцатого... февраля... 1898 года. Восприемниками при крещении был врач Антон Павлович Чехов и домашняя учительница Мария Павловна Чехова».

В день моего тридцатилетия отец рассказал мне, что он тогда пережил: «Милая Женечка, дорогое мое дитя!.. Я так живо представляю себе твое появление на свет и затем те радости, которые я испытывал, когда носил тебя на руках и когда, сидя у меня на коленях, ты играла у ме-

* Кое-что (от *фр.* quelque chose).

ня на столе разными безделушками! Каждое твое слово было откровением для меня, каждое твое недомогание острою стрелою пронзало мою душу. Ты уже знаешь из семейных преданий, что было со мной, когда ты впервые увидела свет. Ты родилась в 5 часов утра. Когда я услышал первый твой крик, то от новизны и духовной усталости выбежал на улицу и помчался куда глядели глаза. Был мороз. Не помню, каким именно образом я оказался сидевшим на холодных ступенях Губернского казначейства... Ты явилась для меня желанной, и я старался передать тебе все, что знал, что умел, что понимал. Но ведь люди не боги. Конечно, было допущено много ошибок, и главная ошибка — это то, что ты была девочкой, а я — мужчина. Я многого не понимал, но то, что понимал, старался передать тебе искренней, радостной душой. Как старик, я оглядываюсь назад, окидываю оком всю мою жизнь и прихожу к заключению, что из всех моих произведений самым удачным являешься ты. Прими мой горячий привет и поцелуй, и пусть твоя дальнейшая жизнь протечет для тебя как волшебная сказка».

С моим появлением на свет у Антона Павловича появился новый адресат. В каждом письме к младшему брату теперь есть приписка: «Поклон Ольге Германовне и Жене». А мать мою он приветствует сразу после родов вот таким шутливым посланием: «Милая моя посаженая дочь Ольга Германовна, поздравляю Вас с прибавлением семейства и желаю, чтобы Ваша дочь была красива, умна, занимательна и в конце концов вышла бы за хорошего человека... который от своей тещи не выскочил бы в окошко»[18].

С самых ранних лет я знала от отца, что у меня есть бабушка Евгения Яковлевна, тетя Маша и дядя Антон, которых я уже научилась любить, хоть и видела их очень редко. В 1904 году родители повезли меня в Ялту, где я стала свидетельницей того, с чего начаты мои воспоминания и что запомнилось мне на всю жизнь.

Мое детство и юность протекли в Петербурге, в нашей большой квартире на Каменноостровском, теперь Кировском, проспекте.

В одном с нами доме жил артиллерийский полковник с женой, сыном и дочерью, моей ровесницей. Мы были, как говорилось в старину, «знакомы домами». И родители и дети часто бывали друг у друга в гостях, а на праздни-

ках — на Рождество, на Новый год, на масленицу — в обеих семьях устраивались веселые балы и маскарады, как для взрослых, так и для детей. Отец, всегда щедрый на всевозможные выдумки, обыкновенно придумывал какой-нибудь экстраординарный номер, повергавший в изумление всех. Помню, как однажды перед таким балом он купил какого-то пестрого ситца и заказал маме сшить из него короткое платье, куртку и брюки. Шитье происходило при запертых дверях, и мы, дети, все бегали подглядывать, что там происходит. Однако подсмотреть ничего не удалось.

Наступил вечер маскарада. Я и брат были в костюмах маленьких маркизы и маркиза. К шести часам нас отвели на детский бал в соседнюю квартиру. А в восемь часов начался бал для взрослых. И вдруг, среди толпы тореадоров, д'Артаньянов, рыбачек, японок и разных других масок, появилась пара негров в знакомых нам ситцевых костюмах. С трудом мы узнали вымазанных сажей наших родителей. Отец в черном курчавом парике и черных перчатках с увлечением отплясывал модный тогда негритянский танец кекуок. Мама в короткой, до колен, юбочке, что по тем временам было чрезвычайно смело, также в курчавом парике и длинных черных перчатках, жеманно выступала рядом с ним. Фурор был необыкновенный, хозяева и гости восхищались и выдумкой, и исполнением.

Но вот мы подросли и увлеклись любительскими спектаклями. Отец стал принимать деятельное участие в наших постановках. Он был и нашим режиссером, и костюмером, и осветителем. Если требовалась лунная ночь, он наводил на влюбленных сильную электрическую лампу и, сидя за кулисой, превосходно щелкал соловьем. Для водевиля «Беда от нежного сердца» клеил отличные цилиндры и кроил фраки — словом, всячески помогал нам во всех наших затеях.

В эти годы (1907—1917) он уже издавал журнал «Золотое детство», и наши детские интересы были ему особенно понятны и близки.

Надо сказать, что родители мои были необыкновенно энергичны и трудолюбивы, и когда они поженились, то все знакомые и друзья их единодушно говорили, что это будет «электрическое семейство». И они оказались правы. И отец и мама трудились всю жизнь не покладая рук, умели делать многое такое, о чем в большинстве других

семей не имели и понятия; и нам, детям, они привили любовь к труду, ловкость и быстроту во всякой работе. Уже в раннем возрасте мы помогали отцу в оформлении «Золотого детства». Брат составлял ребусы и шарады, я заклеивала бандероли и надписывала адреса.

В те же годы частыми гостями родителей были их близкие друзья — Лика Мизинова с мужем, талантливым режиссером Александром Акимовичем Саниным, и его сестрой Екатериной Акимовной, моей первой учительницей музыки, и Татьяна Львовна Щепкина-Куперник с мужем, известным петербургским адвокатом Николаем Борисовичем Полыновым. Обыкновенно все они собирались у нас на встречу Нового года и на именины отца 8-го ноября старого стиля. В эти дни мне разрешалось побыть с гостями до десяти часов вечера и принять участие в сервировке праздничного стола, чем я очень гордилась. На одной из таких новогодних встреч я впервые и увидела Татьяну Львовну. Меня, десятилетнюю девочку, больше всего поразила ее миниатюрность. Она была только чуточку повыше меня. Помню ее всегда оживленное лицо и быструю походку. При небольшом росте она была несколько полновата и во время ходьбы забавно «катилась», как шарик. Поминутно подносила к чуть прищуренным глазам лорнет, так как была очень близорука. У меня сохранилась расписная деревянная солонка, которую она подарила отцу в день его именин, и автограф ее шуточного поздравления. Вот оно:

Наш драгоценный Миша Чехов!
Чего Вам пожелать в стихах?
Здоровья, радостей, успехов,
Все остальное в жизни — прах.
Люблю Вас, Миша, с малолетства;
Пусть будет счастье Вам дано!
Пусть Ваше «Золотое детство»
Вам будет золотое дно.
И пусть супруга дорогая
Нас угощает раз в году
Горячим духом расстегая,
Какому равных не найду!..

Позже, в юности, когда я прочла ее переводы Ростана, я очень гордилась и хвастала перед подругами тем, что знаю ее лично...

Помню, как восторгался Александр Акимович легкостью, с которой Татьяна Львовна писала свои стихи.

— Понимаете, Ми-ш-шенька,— говорил он отцу, пришепетывая,— Танечка при мне присела на стул, подвернувш-ш-ши под себя ножку, и — через несколько минут стихи готовы.

И его, и Лидию Стахиевну я чрезвычайно любила. Моя «тетя Лика» была в ту пору уже немолода, но еще очень привлекательна. Она располнела, но, как говорили взрослые, не утратила своего былого обаяния. Курила тончайшие папироски с предлинными мундштучками. Говорила приятным, будто слегка охрипшим баском.

Я очень рано научилась читать. С четырехлетнего возраста любимой моей комнатой в нашей большой петербургской квартире был кабинет отца. Помню себя перед огромным книжным шкафом, за стеклами которого стоят в кожаных с золотом переплетах «История искусств» Гнедича, «Жизнь животных» Брема, сочинения Пушкина, Чехова, Толстого, русских и западных классиков.

Но вместе с нарядно изданными книгами в отцовском шкафу попадаются иногда скромные книжечки в обыкновенных коленкоровых переплетах, которые я потихоньку от родителей читаю тоже. «Вечный жид» Евгения Сю, «Три мушкетера» Дюма, поэма Колриджа «Старый моряк». И вот однажды, уже дотянувшись до третьей полки шкафа, нахожу небольшой томик в темном переплете. А. С. Суворин, «Татьяна Репина»,— читаю я на обложке.

Хочется поскорее узнать, кто такая Татьяна Репина, и я принимаюсь за чтение. Но я еще не умею читать драматические произведения: мне мешают имена действующих лиц перед каждой репликой, и я разочарованно ставлю книгу на ее прежнее место в шкафу.

Приходит увлечение Тургеневым. Мало популярное в ту пору произведение «Клара Милич» почему-то производит на меня большое впечатление, тем более что в это же время на экраны кино выходит «потрясающая драма» (так тогда рекламировали боевики) — «После смерти», поставленная по мотивам этой повести. В фильме участвуют кумиры публики — балерина Вера Коралли, Полонский и Максимов.

И тут я узнаю от отца, что прототипом Клары Милич, а следовательно, и героини «потрясающей драмы», была известная провинциальная актриса Кадмина; обманутая неверным возлюбленным, она во время представления в театре приняла яд и умерла прямо на сцене. Отец выни-

мает из шкафа не понравившуюся мне, забытую книжечку Суворина, и я узнаю, что пьеса его «Татьяна Репина» написана на тот же самый сюжет.

О поступке Кадминой очень много говорили в обществе. Знал о ней и Антон Павлович. В одном из писем Суворину он пишет: «На меня от скуки нашла блажь: надоела золотая середина, я всюду слоняюсь и жалуюсь, что нет оригинальных, бешеных женщин... Одним словом,— а он мятежный ищет бури! И все мне в один голос говорят: «Вот Кадмина, батюшка, Вам бы понравилась». И я мало-помалу изучаю Кадмину и, прислушиваясь к разговорам, нахожу, что она в самом деле была недюжинной натурой» [19].

Вскоре после постановки «Татьяны Репиной» в московском Малом театре Антону Павловичу понадобился французский словарь, и он попросил его у Суворина, у которого были свои книжные магазины, обещая «отдарить» старика. И вот в благодарность за присланные ему словари дядя Антон Павлович написал одноактную пьесу — продолжение суворинской «Татьяны Репиной». Пьеса эта также называется «Татьяна Репина», и в ней фигурируют те же самые лица, что и в пьесе Суворина.

Действие происходит в церкви, во время венчания неверного возлюбленного Репиной с его новой пассией — богатой невестой Олениной. Между возгласами священника и песнопениями церковного хора слышны разговоры и сплетни приглашенных на свадьбу гостей. Но жениха — Сабинина — мучает совесть. Ему кажется, что погубленная им Татьяна здесь, в церкви, он пытается, оставив невесту, ехать на могилу Репиной, чтобы отслужить там по ней панихиду. Оленина в смятении. Занавес закрывается, и пьеса заканчивается словами автора — Антона Павловича: «...а все остальное предоставляю фантазии А. С. Суворина».

Отец рассказал мне, что Антон Павлович был большим знатоком духовной литературы, отлично знал Священное писание и имел библиотеку богослужебных книг. Все это помогло ему при создании пьесы. Он писал ее, не предназначая ни для публики, ни для критики, ни тем более для цензуры — ведь действие происходит в церкви,— а выводить на сцену царские особы и духовных лиц тогда строго запрещалось. Это был только шутливый подарок в ответ на любезность Суворина. Получив от Чехова столь

изящный дар, Суворин распорядился отпечатать в своей типографии всего только два экземпляра пьесы Антона Павловича. Один он оставил себе, а другой отправил Чехову.

Узнав такие подробности, я тут же с жадностью «проглотила» книжку Суворина, но с пьесой Антона Павловича мне пришлось познакомиться значительно позднее, потому что, как известно, все бумаги писателя собирала, хранила и оберегала Мария Павловна, и пьеса Антона Павловича лежала в ее архиве.

В 1923 году в Ленинграде должен был выйти в свет Чеховский сборник, в который предполагалось включить воспоминания А. С. Суворина. Еще в 1912 году, сразу после смерти Суворина, в газетах сообщалось, что среди его бумаг оказался печатный экземпляр пьесы А. П. Чехова «Татьяна Репина». Составители сборника и решили включить в него вместе с воспоминаниями Суворина пьесу Чехова.

Узнав об этом и опасаясь, что пьеса, никому не известная, без соответствующего комментария, будет превратно понята читателями, Мария Павловна вынула из своего архива маленький томик, передала его младшему брату, сопроводив его таким письмом от 1 августа 1923 года: «Прими к сведению следующее: в Питере собираются выпускать Чеховский сборник (бедный Чехов!), где будут напечатаны воспоминания Суворина, и хотят поместить Антошину пьесу, которую передал издателям Ефремов. Скорей составляй томик, только не печатай «Татьяну» отдельной книжкой — боюсь кощунства. Нужно напечатать ее в виде воспоминания, как-нибудь вставить под соусом суворинской пьесы».

Михаил Павлович в точности исполнил желание и волю сестры, и в том же 1923 году его книга «Антон Чехов, театр, актеры и «Татьяна Репина» вышла в свет.

Вот тут-то, во время работы отца над книгой, будучи уже совсем взрослой, я впервые прочитала пьесу Антона Павловича.

Сейчас пьеса Суворина «Татьяна Репина» в красивом переплете, с автографом автора, подаренная им Марии Павловне, находится в Московском Литературном музее, а уникальный экземпляр пьесы А. П. Чехова «Татьяна Репина» — в Доме-музее писателя в Ялте.

В 1914 году я окончила с золотой медалью петербургский институт Терезии Ольденбургской. Помню, как торжественно прошел день выпуска. Утром в домовой церкви института был молебен. Нарядно одетая мама и отец в черном фраке стояли среди множества других таких же нарядных родителей моих подруг-институток. После молебна всех пригласили в актовый зал, где происходила раздача медалей и аттестатов, и мы принимали поздравления. Лакеи в ливреях, белых чулках и перчатках разносили шампанское. А вечером был бал. Каждая из выпускниц получила разрешение пригласить двух «кавалеров» (второй предназначался для подружек, у которых еще не было знакомых молодых людей). В дальнем углу зала, украшенном декоративными растениями, восседали начальница института (мы называли ее maman), инспектор классов и несколько наиболее почтенных классных дам. В сопровождении обоих «кавалеров» я должна была пройти через весь зал и представить их maman и начальству. Помню, как трудно было проделать это на глазах у всех, и путь через зал показался мне тогда чрезвычайно длинным.

Еще во время пребывания в институте я брала частные уроки музыки. Петь я любила с детства. К 17 годам у меня открылся певческий голос. Некоторое время я занималась вокалом у матери Ольги Леонардовны в Москве, куда отец отвез меня по настоянию Марии Павловны. Затем, вернувшись в Петербург, продолжала занятия у известной тогда преподавательницы пения Аллы Томской. Однако систематически, профессионально заняться пением мне удалось только в 1928 году уже в Москве. Окончив музыкальный техникум имени Игумнова со званием педагога-музыканта, я работала в кружках самодеятельности, не переставая частным образом заниматься вокалом и понемногу увеличивая свой репертуар.

Мне приятно сознавать, что я выбрала профессию, которая пришлась по душе моему отцу. «Как я радуюсь за Женю,— писал он в 1935 году,— что она уже настоящая певица, и как я доволен, что оба мои детеныша, и сын, и дочь — оба пошли по искусству. Ну подавай им Бог преуспеяния...»

За год до начала Отечественной войны мне случайно довелось спеть в консерватории «Песни и пляски смерти» Мусоргского. Мое пение понравилось экзаменационной

комиссии, и меня пригласили работать в консерватории в качестве певицы-иллюстратора концертмейстерского класса. Но вскоре разгорелась война, и я смогла вернуться к любимой работе только в 1945 году.

Работу в консерватории я считаю главной удачей своей жизни. Постоянное общение со множеством одаренной молодежи, с нашими талантливыми лауреатами, с которыми приходилось мне выступать и на показах, и на экзаменах с интереснейшими и труднейшими программами, огромное творческое удовлетворение и работа под руководством великолепных, высокоэрудированных педагогов нашей концертмейстерской кафедры — были для меня несказанным счастьем. Особенно дорожила я занятиями с Елизаветой Борисовной Брюхачевой, необыкновенным, тонким музыкантом, с величайшей любовью, проникновением и тщательностью проходившей со студентами учебный материал. Оригинальная, интересная трактовка и новых, и давно известных, «запетых» романсов, великолепное знание вокальной и скрипичной литературы, весь ее облик — надолго останутся в памяти всех знавших ее.

Репертуар мой непрерывно рос и перевалил за тысячу произведений русских, западных и советских авторов. А число студентов-пианистов, которым я помогла стать квалифицированными аккомпаниаторами, насчитывает почти четыре сотни.

Однако я забежала далеко вперед, и теперь мне хочется вернуться к образу моего дорогого отца.

У Михаила Павловича осталось немалое творческое наследие. Любимым его занятием, как я уже говорила, было — писать. В воспоминаниях моего детства я вижу его в кабинете нашей петербургской квартиры за письменным столом. Раннее утро. Лампа с зеленым абажуром бросает яркий свет на лежащую перед ним рукопись. Левая рука зажата между коленями, правая пишет, пишет, пишет красивым ровным почерком. Растет горка исписанных страниц.

Трудно счесть, сколько таких страниц было написано за всю его жизнь — повести, рассказы, журнал «Золотое детство», переводы, доклады. В 1904 году вышла в свет его книга «Очерки и рассказы», которая была удостоена Академией наук почетного отзыва имени А. С. Пушкина. В 1910 году вышел сборник рассказов «Свирель». Под тем же заглавием издан сборник и в 1969 году. И наконец, не-

сколько книг об Антоне Павловиче и первая биография великого писателя, помещенная в шеститомнике писем, изданных Марией Павловной в 1912—1916 годах.

Надо сказать, что Михаил Павлович и Мария Павловна и в творческих делах часто выступали вместе. Всегда, всю жизнь они по-дружески, по-родственному помогали друг другу. Они, как известно, были самыми младшими детьми в семье Павла Егоровича Чехова, и с детства их связывала крепкая взаимная привязанность. Мария Павловна рассказывала мне, что когда их, детей, приглашали в гости и угощали маленькую Машу конфеткой или пирожком, она, прежде чем взять лакомство, обязательно спрашивала: «А Мише?» — и лишь тогда принималась за еду, когда видела, что и братишка тоже получил угощение.

Едва окончив университет и поступив на службу, еще в годы своей холостой жизни, Михаил Павлович ежемесячно посылал сестре по 25 рублей, считая своим долгом помогать ей материально. Он не перестал делать это и после своей женитьбы, уже имея собственную семью.

В свою очередь, Мария Павловна, затеяв издание шеститомника писем А. П. Чехова, привлекла к этому большому делу брата, предложив ему написать биографию Антона Павловича. То была первая биография писателя, по поводу которой брат и сестра часто обменивались письмами и делились соображениями. И переписка их всегда была проникнута глубокой нежностью и взаимным уважением.

Что касается биографии Антона Павловича, то могу смело сказать, что она создавалась на моих глазах. Еще когда я и мой брат Сергей были совсем маленькими детьми, мы постоянно заставляли отца что-нибудь нам рассказывать. Рассказывать он любил и делал это мастерски. С его слов мы были знакомы с произведениями Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Дюма, Жюля Верна гораздо раньше, чем смогли их прочитать. Но самой любимой темой были рассказы из его детства о таганрогской жизни семьи Чеховых. Обыкновенно после ужина мы усаживались на большой турецкий диван, стоявший в столовой, и просили:

— Ну, папка, рассказывай!

И отец, шагая взад и вперед по комнате, начинал свой рассказ о том, как бабушка ехала на лошадях в Шую, через Муромские леса, в которых водились разбойники, нападавшие на проезжих; как мальчики Чеховы ловили

бычков на таганрогской пристани, как пели в церковном хоре, как помогали отцу в лавке, как любили дядю Митрофана Егоровича, какие шалости придумывал Антоша, и многое, многое другое, из чего впоследствии составилась биография Антона Павловича. После этих рассказов нас с трудом можно было уложить в постель, и мы с нетерпением ждали завтрашнего вечера, чтобы узнать, чем окончились вчерашние приключения Саши или Антоши. Таким образом, к тому времени, как Мария Павловна предложила моему отцу участвовать в издании шеститомника, биография Антона Павловича фактически была готова, и оставалось только перенести ее на бумагу.

Работа брата и сестры над шеститомником началась в 1911 году. С того времени отец стал часто ездить в Москву и иногда брал с собою и меня. Я была тогда уже подростком и отлично помню, какую огромную переписку вела Мария Павловна с адресатами Антона Павловича. Случалось, она поручала мне снимать копии с писем Антона Павловича, присланных ей корреспондентами писателя. И я с гордостью переписывала их моим круглым, четким, еще полудетским почерком. Пишущие машинки тогда были редкостью, и все переписывалось от руки. Работа над «Письмами» протекала очень напряженно. И переписка с адресатами А. П. Чехова, и составление томов, написание биографических очерков, чтение корректур, сама организация издания — весь этот труд полностью взяли на себя Мария Павловна и Михаил Павлович. Переписка их той поры хорошо передает интенсивность их деятельности. 7 мая 1911 года Мария Павловна пишет брату: «Мне бы хотелось, чтобы ты теперь же приехал и, наладивши материал, отвез бы его сам Сытину для печатания. Кончила проверку материала для первой книжки и теперь проверяю для второй». И 22 мая: «Милый Миша, возьми в театре сто рублей и оставь их своей семье, чтобы тебе можно было не зарабатывать их, а поскорее приехать в Ялту, начать со мной работать. Начни теперь же краткую биографию, и вместе прочтем и обдумаем хорошенько». А 25 марта 1912 года пишет уже о втором томе: «Тебе нужно прочесть все письма второго тома, чтобы написать биографический очерк. Первый очерк всем очень нравится».

Отец отлично понимал огромное значение своих очерков как первой по сути дела биографии писателя. 30 сен-

тября 1912 года он пишет сестре из Петербурга: «Если ты выезжаешь из Ялты 15 окт., то 17-го, значит, будешь уже в Москве. Тогда телеграфируй или напиши, и я немедленно прискачу в Москву. Так будет удобнее. В Москве разберемся в биографии, многое вспомним вместе, исправим, добавим, вычеркнем и изменим — и выйдет хорошо. Мое глубокое мнение: биография должна быть при *каждом* томе. Хоть маленькая, хоть куцая,— но должна быть. Я ли ее буду писать, другой ли кто,— это все равно,— но без биографического очерка нарушилась бы цельность и последовательность издания. Я очень хорошо сознаю свою ответственность перед обществом в этих биографических очерках и потому охотно уклонился бы от писания их; но по совести должен сказать, что раз уж начато дело именно так, то оно и должно продолжаться именно так же, а не иначе». К этой своей работе отец относился исключительно добросовестно. Волновался, что иногда не может приехать в Москву по вызову сестры, так как выпускает очередной номер журнала «Золотое детство». «Сам еду на вокзал,— пишет он,— чтобы опустить в поезд это письмо... Посылаю часть биографии. Старался изо всех сил, но не мне, конечно, судить, что вышло... Очень беспокоюсь. Прочти. Если хорошо, то сдай в печать и оттиск пришли в свое время мне. Но во всяком случае я *теперь же* хотел бы знать твое мнение, чтобы с большей свободой духа продолжать».

Мария Павловна высоко ценила помощь и советы брата. Пересылая ему гонорар за биографические очерки, не забывала сопровождать денежные переводы теплыми словами и добрыми пожеланиями. Отец отвечал ей тем же. Вот несколько его писем. «Перевод получил. Спасибо. Не столько обрадовался деньгам, сколько ласковым, нежным строкам твоего на нем письма». «Хорошая Маша. Я получил твой банковский перевод. Очень благодарю, хотя, откровенно, и не знаю, нужно ли, чтобы ты присылала. Ведь мы делаем общественное дело, я так считаю твое издание «Писем»...» «Я получил от тебя корректуру и уже исправил ее и сегодня пошлю ее к тебе обратно. Сделал все так, как ты пометила. Поздравляю тебя: ты сделала большие успехи. Судя по пометкам, у тебя — настоящий мужской ум. И знаешь? Я жалею, что ты — не мужчина... При твоей общественности, деловитости, смелости — из тебя вышел бы отличный деятель...»

Вскоре после революции наша семья переехала в Москву, а с середины 20-х годов отец заболел стенокардией. Холодные зимы, четвертый этаж коммунальной квартиры, без лифта, различные бытовые трудности делали для него неприемлемой дальнейшую жизнь в Москве. И, когда в 1926 году явилась возможность поселиться в ялтинском доме в качестве научного сотрудника Музея, он с радостью согласился. Но, несмотря на все преимущества жизни в Ялте, очень тосковал по семье. Целый ряд его писем говорит о глубокой любви и нежности к жене и детям, сожалении о том, что нельзя жить вместе. Некоторые из этих писем я приводила уже выше. А вот еще одно: «Иногда я воображаю себе всех вас в сборе. Вот я вхожу к вам. Вы обедаете. Спиной ко мне сидит мамаша, зять и Женя на своих обычных местах... Я — в шапке-невидимке. Я раздеваюсь, вхожу в комнату и усаживаюсь в свой уголок. Вы начинаете говорить обо мне, хохочете, начинаете припоминать все мои слабости. Женя говорит о моих тоненьких ножках... И никто из вас даже не подозревает, что в моем уголку, на моем месте сидит мое астральное тело и разделяет с вами компанию».

В ялтинском доме Михаил Павлович поселился в большой комнате цокольного этажа, входившей в экспозицию музея, в которой и прожил последние 10 лет своей жизни. Здесь и была написана книга «Вокруг Чехова».

Живя в Ялте, Михаил Павлович занимался переводами с английского и с французского и продолжал работу над биографическими материалами брата. К 1929 году им было написано несколько статей об Антоне Павловиче, которые теперь он решил объединить в книгу под одним названием. Рукопись была подготовлена и послана в Государственное издательство в Москву, но ответа оттуда не последовало. В 1930 году Мария Павловна поехала в Москву в служебную командировку и после переговоров с издательством «Academia» телеграфировала брату, что его книга принята и выйдет тиражом 5 тысяч экземпляров. Михаил Павлович получил от издательства договор, подписал его, отослал в Москву и... опять все надолго замолкло. Наконец к началу 1932 года стало известно, что издательство приступило к работе над книгой и что предисловие и комментарии к ней должен писать М. П. Сокольников. Это последнее обстоятельство немало беспо-

коило Михаила Павловича. 8 января он написал нам в Москву: «Итак, значит, моей книге все-таки суждено увидеть свет. Я долго ждал о ней известий, наводил справки, но все было напрасно. Приезжавший сюда писатель Чуковский, один из деятелей означенного издательства, говорил мне, что моя книга вовсе не будет издана по каким-то бумажным соображениям, и мне было грустно... Но, с другой стороны, мне не хотелось бы, чтобы кто-нибудь посторонний писал к ней примечания,— это может придать ей колорит писавшего». А 6 февраля он уже беспокоится о корректуре: «Уже больше месяца, как писал Сокольникову относительно моей книги и просил его выслать корректуру. Но ни ответа, ни привета. Боюсь, как бы не выпустили без моего ведома».

Возможно, оттого, что он находился так далеко и не мог сам следить за работой над его книгой, он очень волновался. «Откровенно говоря,— писал он 13 февраля,— я очень сожалею, что затеял эту книгу. Лежала бы она да лежала у меня в столе, пока ее не изгрызли бы мыши, но Маша вдруг вздумала отвезти ее тогда в Москву и передать на рассмотрение... А сколько будет волнений, трясения нервов, скорби из-за газетных рецензий! Себе дороже обойдется». И в письме к нам от 2 марта ощутимо то же волнение: «...ровно через месяц... кончится и срок моего договора с «Академией» на право издания моих мемуаров. Откровенно говоря, я так бы не хотел, чтобы они выходили в свет! Я нарочно старался, чтобы в них было как можно меньше автобиографического, но, судя по тому, как там принялись за предисловия да за примечания, боюсь, как бы моей книге не придали большего значения, чем я то имел в виду. Хотелось бы, чтобы она прошла незаметно, чтобы она составила собою только обычный, скромный эпизод на книжном рынке и как можно скорее была забыта. Я не люблю и боюсь саморекламы. И пусть эта книга будет моим последним литературным грехом. Итого, значит, будет ровно 45 томов, которые я выпустил за всю свою жизнь!»

Однако дело понемногу двигалось, и в письме от 17 ноября отец сообщает нам, что книга его «еще не выходила в свет, но, как мне сообщили, уже набрана. Ей хотят придать приличный вид и потому командировали известного гравера Павлова во все музейные чеховские места обозревать все, касающееся моей книги, и гравировать.

Это, конечно, трогательно, но я боюсь, как бы они не выпустили книгу, так и не прислав мне корректуры». Но беспокоился он напрасно: «Сокольников прислал милое письмо и корректуру,— пишет он нам 31 января 1933 года.— Сижу над ней. Сроку дали только пять дней, но почта опоздала на два дня, и приходится теперь гнать и в хвост и в гриву». А 4 февраля уведомляет с большим удовлетворением: «Ну-с, отчитал я корректуру и уже возвратил ее обратно. Книга выйдет интересная и будет издана старательно и хорошо. Рисуночки — одна прелесть! Сокольников написал очень приличное предисловие и неплохие примечания». И вот, наконец, письмо от 2 июня: «Наконец-то вышла моя книжка в свет. Мне прислали сюда всего только один экземпляр, и я должен сознаться, что М. П. Сокольников постарался и действительно выпустил нечто художественное... Жаль только, что книжку очень сократили, дали ей заглавие «Вокруг Чехова» и, следовательно, сузили ее диапазон: вместо моих личных мемуаров получилась монография об Антоне Чехове...»

Итак, после нескольких лет волнений, хлопот, ожидания книга «Вокруг Чехова» наконец вышла в свет. Михаил Павлович явно недооценивал ее. Он рассчитывал, что ее появление пройдет незаметно и что она будет скоро забыта, однако ошибся. Книга выдержала проверку временем, неоднократно переиздавалась и в наши дни является одной из самых значительных работ в «Чеховиане», своего рода энциклопедией по Чехову.

Последней работой отца совместно с Марией Павловной было составление Каталога по Дому-музею А. П. Чехова в Ялте.

Это была идея Михаила Павловича. Первоначально он готовил просто каталог для Библиотеки имени В. И. Ленина. Но когда Мария Павловна показала его в библиотеке, было решено, что эта работа будет издана, и не как скромный каталог, а отдельной книгой, с иллюстрациями и фотографиями. Эта идея была поддержана и народным комиссаром просвещения А. С. Бубновым, о посещении которым Дома-музея в Ялте сообщал нам отец 14 октября 1934 года: «Бубнову очень понравилось у нас, он пробыл у нас целые два часа и не хотел уезжать... Маша хвасталась перед ним моим Каталогом, и он оставил следу-

ющую цидулу: «*Прекрасным подарком к чеховскому юбилею был бы этот Каталог. Хорошо было бы ускорить его издание. Издавать его надо хорошо, с фотографиями и иллюстрациями*». Маша, конечно, пришла в телячий восторг... Мое авторское самолюбие удовлетворено... Но, конечно, эта надпись Бубнова произвела впечатление и на Немировича. Как тебе известно, для полного окончания Каталога осталось в нем заприходовать всего только 6—7 фотографий, которые находятся в кабинете, в витрине налево, и о которых у меня не было решительно никаких сведений, т. е. о Качалове, Артеме, Немировиче, Станиславском и др. ... Представь себе, что благодаря этой надписи Немирович пришел в умиление и взялся сам написать о себе самом и о прочих вышеуказанных знаменитостях!»

Михаил Павлович много души вложил в Каталог, старался сделать его как можно интереснее, использовав здесь часть неопубликованного материала своей последней книги. Но по не зависящим от него обстоятельствам выпуск в свет Каталога очень затянулся, и вышел он уже после смерти автора.

Михаил Павлович скончался в 1936 году и погребен на ялтинском кладбище рядом с матерью Евгенией Яковлевной. Таким образом сбылось его давнее желание, о котором он когда-то писал сестре: «Тебе может это показаться странным, но мне так бы хотелось окончить свои дни в твоем доме на Аутке! Всегда, даже при тех неприятностях, которые иногда случались, я чувствовал там себя дома».

После М. П. Чехова осталось огромное эпистолярное наследство. Разнообразию тем и событий, которые привлекали внимание Михаила Павловича, поистине можно удивляться. И это не только рассказ о каких-то фактах, о быте, но и размышления о теории мироздания, астрономии, философии, технике, литературе, искусстве, которые чередуются с описанием впечатлений о прочитанных книгах по всем отраслям знаний, о встречах с интересными современниками. Письма отца часто перерастают в маленькие новеллы, в настоящие художественные произведения.

В заключение моего рассказа об отце хочу просто привести несколько фрагментов из его писем.

22 января 1932 года: «Сейчас у нас идет весенняя перекопка сада. Я хожу и глубоко вдыхаю в себя запах свежевскопанной земли. И странное дело! Отчего я так люблю запах земли, конского навоза, свеженамазанной дегтем крестьянской телеги и мужицкой упряжи? Говорит ли это во мне кровь моего пахаря деда, или таков уж мой собственный вкус? Не знаю... Но так как вместе с запахами у меня ассоциируются и события, то мне живо приходит на память мое детство. Я помню, как после долгого страдальческого учебного года, после девятимесячного сидения на голой скамье я, оттрубив экзамены, вдруг вырывался из-под власти проклятых учителей и получал свободу. Я мог ехать к своим в Бабкино или в Воскресенск. Ах, как бы я хотел теперь повидать эти места! Целый год я лишал себя всего, всех мальчишеских радостей, и скаредно откладывал по копеечке 52 копейки на железнодорожный билет и 1 рубль — далее на лошадей. И вот деньги уже бренчат у меня в кармане, майское солнце уже манит меня за город, экзамены уже свалились у меня с плеч, как гора,— и я с корзиночкой иду пешком на Николаевский вокзал. Я покупаю себе билет, усаживаюсь в вагон у окошечка и еду. Фабрики, заводы, огороды, свалки — все это медленно проползает мимо меня, и затем я вижу поля, леса, деревни, ленты крестьянских наделов, не могу наглядеться на железнодорожные будки и молю бога о том, чтобы и у меня когда-нибудь была такая же будка, с колодцем, с палисадничком и с цветущими подсолнухами. И локомотив обдает меня запахом угля-курняка. О, милый запах! Сколько в нем я чувствовал, обонял свободы! Но вот уж и станция. Как скоро мелькнуло путешествие в вагоне! Отчего на 52 копейки везут только 36 верст? Я выхожу со своей корзиночкой из вокзальчика... Теперь мне предстоит путь на лошадях в 21 версту. Меня обступают извозчики, я торгуюсь... затем усаживаюсь, и мы едем. И мне в лицо так и пыхает запахами крестьянской упряжи, свежеподмазанной телеги и сена, на котором я сижу. Мы едем через поля, то блестящие изумрудом озимей, то только что вспаханные, то еще только уставленные кучками навоза. И я чувствую запах свежеподнятой земли и навоза. А над головой, где-то в далекой вышине, поет незаметный снизу жаворонок».

25 марта 1932 года: «У нас плохая погода, но как-то, дня три тому назад, выдался удачный денек, и я вышел

пройтись по саду... И вдруг над головой, совсем низко, послышались крики журавлей. Значит, уже начался перелет. В душе что-то полугрустно, полурадостно отозвалось, чего-то захотелось, куда-то потянуло. И вспомнилась мне почему-то картина какого-то художника, которую я видел когда-то в молодости на выставке. Была изображена уже желтая осень, и прямо от зрителя, в глубину картины, уезжал поезд. Дым стлался налево по полю и через кусты. Так же убегали вдаль телеграфные столбы и — вслед за поездом — летел караван журавлей. Картина носила поэтическое название: «Счастливого пути!». Было ясно, что поезд мчался на юг, вероятно в Крым, что в нем сидели тогдашние «господа», уезжавшие от осени и зимы, и туда же летели и бедняжки журавли. Конечно, им было не угоняться за поездом, и наверное, они так же жалобно тогда кричали, как и теперь, когда я стоял в саду. Вероятно, и тогда, смотря на эту картину, я испытывал те же полурадость, полугрусть, что и теперь, и меня потянуло куда-то далеко-далеко, и захотелось чего-то томного, сладкого, необъяснимого.

И вот эти журавли полетели три дня тому назад на север. Что их там ожидает, как их там примет родина — это уж вопрос второстепенный, но главная суть заключается именно в том, что они летят. Почему они летят? Как они находят дорогу?.. И мне вспоминаются милые сообщения покойного Кайгородова, которые он каждую весну помещал в «Новом времени»: «Такого-то числа туда-то прилетели первые одиночные передовые скворцы». Вот кто ведет целые караваны!.. Эти маленькие крылатые одиночки, которые летят вперед одни и все вынюхивают, все разузнают по пути, возвращаются затем обратно к своей стае и ведут ее. А отлет! Сколько совещаний, сколько предварительных хлопот, сколько щебетаний, собираний в стайки и пробных полетов — и затем вдруг неожиданное исчезновение. Улетели! Их увел какой-нибудь маленький птичий Наполеон. Мы с Машей каждую осень наблюдаем, что происходит среди ласточек перед отлетом.

Но как бы то ни было, каковы бы ни были научные и ненаучные объяснения птичьих перелетов, в них, в этих перелетах, масса поэзии. От крика возвращающихся журавлей трепещет сердце, что-то происходит в душе странное, хорошее, теплое, что-то зовет к жизни, к свободе, будит мечты и увлекает за собою. Разве только одни запа-

хи способны сравниться с этими криками; только разве влажная гроздь цветущей сирени, к которой припадаешь лицом и впитываешь в себя ее аромат, способна унести твою душу в далекие мечты и оторвать тебя ненадолго от текущей жизни. Журавли кричат так жалобно, так трогательно:

— Курны! Курны! Курны!

Что это? Крик ли тяжкой усталости, или они так по-своему выражают свою радость? Или они жалуются на то, что им преграждают дорогу наши горы? С каким бы наслаждением я дал им у себя сейчас приют, накормил бы их, обласкал и затем снова благословил бы на дальний путь!

Так точно когда-то наши предки вдруг, неожиданно для самих себя, срывались с места, снаряжали свои кибитки, запихивали в них свой скарб, жен и детей и отправлялись в далекое, неизвестное путешествие. Так точно и наш Антон ровно 42 года тому назад, так же в марте, засбирался, а в апреле уже уехал на Сахалин. Эта поездка пришла ему в голову как-то сразу, без всяких подготовительных поводов, только потому, что я тогда, готовясь к экзамену, зубрил уголовное право[20]. Он пустился в путь очертя голову, ничем не обеспечив себя на дорогу, много страдал, многое вытерпел и, наверное, где-нибудь, в далеких дебрях Сибири, так же жалобно курныкал, как и журавли. Я помню, как мы все провожали его на Сахалин. Была ранняя, запоздавшая, как и в этом году, весна. Зелени еще не было, по вечерам было свежо, но уже стояли северные бледные ночи, похожие на больных, ласковых женщин. Мы все собрались на вокзале — отец, мать, Маша, я и много знакомых. Был светлый вечер. Стояли, переминались с ноги на ногу, чувствовали, что что-то еще недосказано, не находили слов говорить, а затем — звонок, спешное прощание, посадка в вагон, свисток — и Антон уехал. Мне было так грустно и в то же время так хотелось остаться одному, что я бросил на вокзале своих и один, пешком, отправился домой. Было уже пустынно на улицах, но светло, и там, где село солнце, еще алела за Сухаревой башней вечерняя заря. И если бы в ту минуту я находился не в Москве, а где-нибудь в деревне, в тех местах, по которым проходил Антошин поезд, то, вероятно, я увидел бы летевших вслед за ним журавлей и помахал бы им рукою вслед. И я почувствовал бы, как вот

и теперь, то, что чувствую всегда, когда слышу их крики, — и искренно, пламенно, из самой глубины души, крикнул бы им и уезжавшему Антону:

— Счастливого пути!»

27 декабря 1932 года: «А читали вы о подвиге «Сибирякова»?[21] Сколько благодаря ему польется теперь света ко всем этим заброшенным и отрезанным от мира непроходимыми тундрами и тайгами чукчам, гилякам, самоедам и прочим пасынкам природы! Великий народ! Талантливый, даровитый народ! Великое мы переживаем время! И как я рад, что я принадлежу к этому великому народу и собственными глазами и чувствами увидел и ощутил это время!»

Дядя Саша и мои братья

Высокий человек с добрыми глазами, с круглой седой, коротко остриженной головой и седой же, разделенной надвое бородой — таким живет в памяти мой дядя Саша, Александр Павлович Чехов, писатель А. Седой, старший брат Антона Павловича.

Помню, как удивилась я однажды, прочитав подпись «А. Седой».

— Папа, а почему тут подпись «А. Седой». Ведь дядя Саша — Чехов? — на что отец резонно ответил:

— Ты же видишь, что дядя Саша седой. Вот он и подписывается: «А. Седой».

В своей книге «Вокруг Чехова» отец пишет об Александре Павловиче как о человеке необычайно одаренном, интересном и обаятельном. Круг его интересов был безграничен. В каталоге Ленинской библиотеки — 18 книг Александра Павловича. Тут и сборники рассказов, и воспоминания о детских годах Антона Павловича, и книги по специальным вопросам, например — «Исторический очерк пожарного дела в России», «Призрение душевнобольных в Санкт-Петербурге», «Химический словарь фотографа» и др. Сын дяди Саши, Миша, писал позднее об отце: «...Я уважал его и даже благоговел перед ним... Эрудиция его была поистине удивительна: он великолепно ориентировался не только в вопросах философии, но и в медицине, естествознании, физике, химии, математике и т. д., владел несколькими языками и в 50-летнем возрасте, кажется в 2—3 месяца, изучил финский язык»[22].

В жизни Александр Павлович был неудачником. Первый брак его был несчастлив. Жена его, женщина с тяжелым характером, часто болела и рано умерла, оставив ему двух крошечных сыновей. Еще раньше он потерял свою любимую маленькую дочку[23], болезнь и смерть которой с глубокой, потрясающей скорбью описал в письмах к Антону Павловичу в январе и феврале 1884 года. Постоянная нехватка денег, беготня в поисках заработков очень изнуряли его. Работа в петербургских газетах оплачивалась скудно, и часто после короткого периода сравнительного благополучия не хватало денег на самое необходимое. Приезжая уже пожилым человеком к нам в Петербург из Удельной, пригорода, где он тогда жил, он бывал вынужден просить у младшего брата несколько копеек на обратный путь.

— Миша, дай пятачок на конку,— говорил он в таких случаях.

Однажды отец взял меня с собою в Удельную, и помню, как я была удивлена: в комнатах домика дяди Саши не было ничего, кроме железных кроватей с тощими матрацами, стола и нескольких венских стульев.

Сохранилась любительская фотография Александра Павловича, снятая в начале нашего века во время его пребывания в Ялте. Он стоит на балконе какого-то дома и смотрит на небо. Внизу фотографии надпись его рукою: «Журавли летят! И у них, поди, тоже семейные неприятности бывают... Н-да!»

Александр Павлович был превосходным лингвистом, и отец поручал ему переводы с французского и немецкого для «Золотого детства», которые потом и помещал в журнале, таким образом деликатно оказывая брату материальную помощь. Я очень любила читать эти переводы, которые находила на письменном столе отца. Исписанные ровным бисерным почерком странички в четвертушку бумаги доставляли неизъяснимое удовольствие.

Во время последней болезни Александра Павловича доктора посоветовали ему поехать на юг. Он собрался в Сухуми и перед отъездом приехал проститься с нами. Никто из нас не подозревал, что это было его последнее посещение.

— Ты пиши мне, дядька Сашка,— сказала я, обнимая его на прощание и не думая, что он принял мои слова всерьез.

Но, очевидно, его одинокая, неудачливая душа искала теплоты и общения, и я стала получать веселые, остроумные письма с подробным отчетом о том, где он был и что видел. Начинались они неизменно так: «Дорогая Женька!» — и заканчивались: «Твой поганый дядька Сашка». Писем было шестнадцать, но, к сожалению, они утеряны.

Умер дядя Саша в 1913 году от рака горла. Похоронили мы его на Литераторских мостках Волкова кладбища. В пятидесятых годах, во время поездки в Ленинград, я нашла его могилу недалеко от могилы Гаршина. Скромная надпись на каменной плите: «Писатель Александр Павлович Чехов (А. Седой), 1855—1913». Но потом прах его, как мне сказали, был перенесен в другое место.

Отец очень тосковал о брате. Даже в марте 1932 года он писал нам из Ялты: «Мне не хватает покойного брата Александра... С Александром... было просто, по душам, и он был так всесторонне образован, что с ним можно было говорить обо всем. К нему только нужно было уметь подойти — и он открывал необъятные тайники своей души».

В заключение моего рассказа об Александре Павловиче хочу добавить, что он, как и все Чеховы, обладал большим чувством юмора. Всем известно содержание произведения Жюля Верна «Дети капитана Гранта» и эпизод с брошенной в море бутылкой, в которой были заключены записки на трех разных языках о потерпевших крушение. Однажды, гостя в Мелихове (рассказывал мне отец), Александр Павлович тоже забросил в Мелиховский пруд запечатанную бутылку. Когда бутылка была обнаружена и выловлена, в ней оказалась записка, написанная на шести языках, в которой тоже было описано кораблекрушение. Характер и стиль каждого языка были великолепно выдержаны... Можно себе представить, какое впечатление произвела эта бутылка в Мелихове и сколько было смеха!

Иногда юмор даже подводил дядю Сашу.

Однажды, перебирая старые комплекты журналов «Столица и усадьба» и «Солнце России», я обнаружила заметку, автор которой сообщил такой забавный эпизод из жизни Александра Павловича: «Как известно, Александр Чехов был постоянным сотрудником «Нового времени», не имея никакого отношения к направлению этой газеты,

но давая туда различные заметки в отдел хроники. И вот, когда несколько лет тому назад в Варшаве была какая-то выставка, Александр Чехов должен был съездить в Варшаву. Дальше я буду передавать в точности то, что я слышал из уст самого Александра Павловича.

«Вы понимаете,— говорил Александр Павлович,— что исследованием одной только выставки я не мог удовольствоваться, и потому я еще решил подробно изучить все сорта варшавского пива. Должен вам, однако, сказать, что сортов этих довольно много и они весьма разнообразны. А потому в тот день, когда мне пришлось, наконец, покидать Варшаву, я почувствовал в душе моей как бы некоторое размягчение и преобладание лирических нот.

Ведь бывают же такие счастливцы,— подумал я,— которые еще при жизни своей знают, как оценивают их современники. Ведь вот, в самом деле, живешь, живешь, работаешь, и никто тебе искренно не скажет: какая тебе, Александру Чехову, цена. Умрешь, тогда напишут некролог, все взвесят, все оценят, а ты и знать не будешь. А ведь вот повезет иногда человеку, про которого распустят слух, что он умер. Смотришь, в газетах появились некрологи, и мнимый покойник может с приятностью, а иногда, впрочем, без особой приятности прочесть и узнать, какая ему существует цена.

— Ну, хорошо-с, и вот, когда такие мысли мной овладели, вдруг меня озарила блестящая идея, что и я могу узнать свою цену, узнать, что обо мне думают люди. Отправился я, будучи уже на вокзале и с билетом в кармане, на телеграф и послал в «Новое время» телеграмму следующего содержания: «Сегодня здесь от разрыва сердца скончался сотрудник «Нового времени» Александр Чехов». Послал я эту телеграмму и, забравшись в вагон, немедленно завалился спать и заснул крепчайшим сном, которому, вероятно, помогло основательное изучение разнообразных сортов варшавского пива.

Проснулся я, когда поезд подходил к Вильне. Проснулся и, вспомнив о своей телеграмме, стал представлять себе, что происходит теперь в редакции: кто написал некролог, кто что сказал и т. п. Должно быть, на венок собирают, кто-нибудь от редакции отправился в Удельную выразить соболезнование жене...[24] «Батюшки, да что же это я наделал,— подумал я,— да ведь, значит, они приедут и сообщат жене, что я умер. Да что же это будет?..» По-

езд только что остановился, как я уже вылетаю со всех ног, бегу на телеграф и посылаю жене телеграмму: «Буду в Петербурге в таком-то часу. Здоров».

Но некролога своего мне все-таки не удалось прочесть. Телеграмма, отправленная в «Новое время», почему-то опоздала и пришла, когда номер был уже в машине. Но на другой день в редакции все обсудили и, действительно, отправили двоих представителей в Удельную выразить соболезнование. Явились они к жене, как следует, с постными лицами, выражают сожаление: так, мол, жаль, такая потеря и т. д. и т. д. Жена ничего понять не может...

— Кто скончался?

— Как кто? Александр Павлович.

— Да что вы сочиняете? Я от него сама телеграмму получила, что он жив и здоров.

— Позвольте, мы тоже получили телеграмму.

— Откуда вы получили телеграмму?

— Мы из Варшавы получили.

— А я из Вильны получила.

Сверили телеграммы, видят, что телеграмма о здоровье отправлена позже, чем телеграмма о смерти, извинились, раскланялись и уехали.

Когда я приехал в Петербург, жена встретила меня на вокзале... И досталось же мне за телеграмму и за все сорта варшавского пива. Но представьте себе, что когда я пришел в редакцию, то хоть бы один словом обмолвился обо всей этой истории. Никто ни звука. Как воды в рот набрали. Прямо свинство»[25].

А писателем Александр Павлович был очень неплохим, что признавал даже такой взыскательный художник слова, как Антон Павлович. Так, в августе 1887 года он писал старшему брату: «Твой последний рассказ «На маяке» прекрасен и чуден... Я сам прочел, потом велел Мишке читать его вслух, потом дал читать Марье, и во все разы убедился, что этим маяком ты превзошел самого себя... Я в восторге... Ради Бога, продолжай в том же духе». И очень хотелось бы, чтоб произведения этого самого старшего из братьев Чеховых, незаслуженно забытого Александра Павловича, нашли свое место на наших книжных полках.

Посетив в феврале 1895 года старшего брата, Антон Павлович писал Марии Павловне: «А сын его Миша удивительный мальчик по интеллигентности. В его глазах блестит нервность. Я думаю, что из него выйдет талантливый человек».

О Михаиле Александровиче Чехове, замечательном русском актере, написано так много воспоминаний, что вряд ли я могу сказать что-нибудь новое о его сложном творческом пути, о его исканиях и разочарованиях, о его триумфах и неудачах как в России, так и за рубежом. Мне хочется рассказать лишь о тех годах, когда он еще не был знаменит, когда он был молод. В те годы я знала его очень близко.

Кроме того, в моих руках оказались все сохранившиеся письма Миши к Марии Павловне. Случилось это вот как. Однажды, в очередной мой приезд в Ялту, я, войдя к Марии Павловне, застала ее за разборкой архива. Архив помещался в небольшом кофре около письменного стола, за которым она всегда работала. Сейчас кофр был открыт, и сверху на перевязанных шнурками пачках писем лежал конверт с надписью: «Письма Михаила Александровича Чехова». Попросив разрешения, я с огромным интересом принялась читать эти письма и — не могла удержаться от смеха. Тут Мария Павловна велела мне читать вслух, и мы стали хохотать обе. Потом Мария Павловна сказала:

— Лучше тебя никто не сможет оценить этих писем, — дарю их тебе!

Таким образом я и стала обладательницей писем Михаила Александровича, еще нигде не опубликованных, да почти никому и не известных. Всех писем — двадцать четыре. Семнадцать из них написаны рукой Михаила Александровича, остальные — его матерью Натальей Александровной и его первой женой Ольгой Константиновной.

Я помню Мишу весной 1912 года в Петербурге. Небольшого роста, худенький, очень подвижный, небрежно одетый в какую-то поношенную вельветовую куртку, в рубашке, застегнутой у ворота на сломанную пуговку, и — о, ужас! — не только без крахмального, но даже без всякого воротничка, он пленял какой-то мягкой ласковостью, теплотой и милой улыбкой, заставлявшей забывать о его некрасивости. Характерным жестом он как-то особенно

«элегантно» подтягивал брюки и при этом забавно таращил глаза. Он служил тогда в Суворинском театре на Фонтанке и часто приезжал к нам в Петербург из Удельной, где жил с отцом и матерью. Мы вместе гуляли, дурачились, танцевали. То была пора увлечения танго, и мы без устали повторяли сложные фигуры танца в нашей гостиной. Он подарил мне тогда свое фото: лицо с нахмуренными бровями и надпись: «Вот так я выгляжу после танго!»

Этой же весной Московский Художественный театр, как всегда, приехал на гастроли в Петербург. Мария Павловна, озабоченная дальнейшей судьбой племянника и, может быть, уже заметив в нем талантливого актера, прислала ему из Москвы рекомендательное письмо к одному из деятелей Художественного театра. О результате, который возымело это письмо, Михаил Александрович пишет так: «Спасибо, большое, большое спасибо тебе, дорогая тетя Маша, за все то, что ты сделала для меня в Московском Художественном театре. С твоей карточкой к Румянцеву я опоздал, потому что Румянцев уже уехал из Петербурга, и я тогда отправился к Ольге Леонардовне, и встретила она меня очень тепло и хорошо (вообще все художники, насколько я узнал их, очень и очень милые люди). Ольга Леонардовна спросила, почему я не перехожу к ним, и предложила мне, при свидании с Константином Сергеевичем Станиславским (свидание это она обещала устроить), прочесть ему что-нибудь в виде вступительного экзамена, что ли. Я, признаться, не ожидал, что художники пригласят меня. Станиславский, Вишневский и Книппер слушали меня, и я был принят в их театр. В начале августа я приеду в Москву. Спасибо, тетя Маша. Воображаю, какое смешное и глупое впечатление произвел я на них. Я страшно застенчив. И так-то говорить не умею, а когда вижу человека в первый раз, то и совсем двух слов сказать не могу. До свидания, тетя Маша. В Москве увижу тебя. Твой племянник Миша.

Я уже люблю Станиславского и Вишневского. Будь добра, отправь, пожалуйста, прилагаемое здесь письмо Ольге Леонардовне Книппер, я не знаю ее адреса».

Итак, Миша стал актером Московского Художественного театра. Это открыло перед ним новые широкие возможности, но вместе с тем поставило и новые проблемы, одной из которых был переезд в Москву. Он до этих пор

никогда надолго не расставался с матерью, Натальей Александровной, с которой его связывала крепкая взаимная привязанность. Теперь же надо было устраиваться в Москве и жить врозь.

Миша трудно переносил разлуку с матерью. Однажды, по возвращении из гастролей, он писал Марии Павловне: «Золотая, серебряная Машечка. Поздравляю тебя и себя и весь свет с радостью великой, я вернулся домой! Действительно радость! Ты знаешь, Машечка, я измучился в поездке без матери... и материально поиздержался. Иду в Киеве по Крещатику, вижу — пьяный мужик несет голодного, трясущегося такса, держит его поперек живота и во все стороны качается... Я, Машечка, купил этого пса и привез домой. Теперь мы обладаем двумя таксами (мужчиной и женщиной). Когда будут щенята, прикажите одного Вам предоставить... Так возьмите щеночка, Ваше сиятельство... Простите, что обеспокоил письмом-с. Ваш Михрютка».

Сохранился рисунок Миши: маленький столик, на котором лежит огромный справочник «Весь Петербург». На справочнике стоит, задрав хвост, такса, а Наталья Александровна, удивительно похожая, с очками на носу, ставит таксе клизму. Справа виден профиль отца Миши и очень похожий мой отец. Слева — профиль самого Миши. Эту карикатуру он набросал на моих глазах во время нашей встречи в Петербурге.

Прожив в Москве под крылышком Марии Павловны следующую зиму, Миша приехал в Петербург вместе с Художественным театром на обычные весенние гастроли. В это время уже был смертельно болен его отец, Александр Павлович. Все время, свободное от репетиций и спектаклей, Миша проводил у его постели. Агония была долгая и мучительная. Наконец, все было кончено, и я, рядом с Мишей, шла за гробом дяди Саши.

Несчастье сблизило, особенно сдружило нас с Мишей. В скором времени он показал мне набросок, сделанный им во время агонии отца. Страсть к рисунку уже тогда была в нем так сильна, что даже в такой тяжкий момент рука его схватилась за карандаш. На наброске было лицо ужасное, с дикими молящими глазами. Оно врезалось мне в память на всю жизнь. Каково же было мое изумление, когда много лет спустя я увидела то же лицо на фотографии Михаила Александровича, изображенного

в гриме дьячка для инсценировки рассказа Антона Павловича Чехова «Ведьма» (Париж, 1931 год). И мне открылась одна из тайн творчества этого замечательного актера.

После смерти Александра Павловича дом в Удельной был продан, и Миша с матерью переселились в Москву. «Хорошая моя Машечка,— пишет он Марии Павловне в Мисхор,— был я на днях в Москве, искал квартиру. Четыре дня таскался по жаре в городе и похудел от злости... Грустно уезжать из Удельной, я очень люблю это, в сущности говоря, скверное место. Бабушку целую много раз! Дай ей мясца-то кусочек, что уж!»

Надо сказать, что в то время Мария Павловна увлеклась вегетарианством и ни себе, ни матери Евгении Яковлевне не разрешала ничего мясного. Племянники Миша и Володя (сын Ивана Павловича) постоянно над этим подтрунивали.

У Марии Павловны было три племянника — Миша, Володя, Сережа[26] — и одна племянница — я, но никто из нас не называл ее тетей Машей. Она была для нас Маша, Машечка, а старшие племянники Миша и Володя, кроме того, величали ее «графиней». Нельзя было без смеха смотреть на их преувеличенную вежливость, соблюдение этикета и благоговение перед такой «сиятельной» особой. Она же, включаясь в эту игру, снисходительно принимала их поклонение и шутливо, свысока, позволяла целовать ручку.

Каждое воскресенье в ее квартире на Долгоруковской улице устраивались семейные обеды, на которых, кроме родных, часто присутствовали племянницы Ольги Леонардовны Оля и Ада Книппер и товарищи Миши и Володи. В таких случаях после обеда начиналась игра в шарады. Для костюмов мобилизовались все шали, платки, халаты, старые шляпы, простыни и даже большой ковер с пола гостиной. Помню, как Володя, завернувшись в этот ковер и извиваясь по полу, изображал кита (слово было — Китай). Миша же, закутанный в простыню, с посохом, выходил ветхозаветным пророком Ионой, пробывшим, как известно, во чреве кита три дня и три ночи. Он нырял в раскрытую «пасть» кита и, спустя некоторое время, вылезал из другого конца свернутого ковра. Помню Володю в роли праотца Ноя, заснувшего от опьянения,

и особенно Мишу, который изображал наглого Хама, издевавшегося над наготой отца (слово было — портной). Еще в какой-то шараде Миша изображал нерасторопную санитарку на приеме в амбулатории. Одетый в белый халат, он с отчаянным видом носился за ширму, за которой лежала больная (Оля), выбегал назад, вносил и выносил медицинскую посуду, проливал воду, выслушивал выговоры врача и т. д. Словом, племянники состязались в остроумии, и Мария Павловна была их достойным партнером. Она появлялась то медицинской сестрой, то сварливой купчихой, то деревенской девчонкой. Самыми талантливыми были, конечно, Миша и Володя.

Нужно сказать, Миша некоторое время много пил и приходил к Марии Павловне иногда в нетрезвом состоянии, чем несказанно огорчал ее. Чтобы отучить его от пагубной привычки, она предложила давать ему 25 рублей в месяц «премии», если только он не будет пить. Он пообещал. Прошло несколько месяцев, он держал слово, и Мария Павловна радовалась, что спасла его. Но вдруг однажды он явился вдребезги пьяный в сопровождении Володи, который с унылым видом сообщил Марии Павловне, что встретил Мишу на улице в таком состоянии. Она горько расплакалась и стала укорять Мишу, что он не сдержал слова. Увидя ее слезы, Миша бросился перед ней на колени и совершенно «трезвым» голосом закричал:

— Машечка, родная, успокойся! Ведь это я нарочно! Прости меня!

Оказалось, племянники надумали «разыграть» тетушку, да не рассчитали, что шутка их зайдет так далеко и так огорчит ее. Впрочем, потом Мария Павловна сама любила рассказывать, как талантливо Миша «сыграл» пьяного и обманул ее.

В мои семнадцать лет я была очень счастлива, проводя время с двоюродными братьями и их друзьями. Кроме описанных уже импровизаций, мы катались на лыжах, гуляли, а по вечерам, взявшись под руки, цепью, ходили по заснеженной Тверской и, пугая извозчиков и лошадей, во все горло пели «Дни нашей жизни» — песню, приобретшую популярность благодаря одноименной пьесе Леонида Андреева, как раз в это время написанной и поставленной.

Первые роли, порученные Михаилу Александровичу в Художественном театре, были крохотные, иногда вовсе без слов. Помню, он играл двух персонажей, актера и нищего в «Гамлете», одного из докторов в мольеровском «Мнимом больном», Тролля в «Пер Гюнте» Ибсена.

Но вот образовалась Первая студия МХАТ и родился спектакль «Сверчок», положивший начало триумфам Миши. Это было в конце ноября 1914 года. Володя, я и Оля Книппер сидели на простых скамейках в первых рядах неуютного, не приспособленного к спектаклям зала. Эстрады не было. Свет погас, остался освещенным только один угол сцены. И вдруг забулькал чайник и запел сверчок. Волшебная сказка началась. Впечатление было огромно, в горле стоял комок, из глаз катились слезы. Случайно обернувшись, я увидела крупные слезы и на лицах Оли и Володи, сидевших позади меня, а затем и мокрые глаза почти у всех зрителей этого незабываемого спектакля. Помню еще, как поразилась я тому, что Миша, этот озорник, этот веселый проказник, которому не было еще 25 лет, нашел такие правдивые краски для изображения дряхлого скорбного старика.

Я уже говорила, что среди молодежи, посещавшей Марию Павловну, была Оля Книппер — племянница Ольги Леонардовны. Родители Оли жили в Петербурге и в эту же зиму 1914 года отпустили дочь погостить к тетке. В Москве Оля, имевшая некоторые способности к рисованию, поступила в мастерскую художника Юона по классу рисования и лепки. Она была очень увлечена своей работой и даже принимала какое-то участие в художественном оформлении «Сверчка». Ей было 17 лет, и она была очень хороша собою.

Двоюродные братья Миша и Володя скоро влюбились в нее оба, но Володя, очень любивший Мишу и уже тогда преклонявшийся перед его талантом, великодушно уступил ему дорогу. Однако произошел «скандал», подробности которого мне рассказал Володя, принимавший во всей этой истории непосредственное участие.

В одно прекрасное утро Оля, не сказав никому ни слова, ушла из дома тетки с маленьким чемоданчиком. Днем на репетиции в театре кто-то из актеров подошел к Ольге

Леонардовне и стал ее поздравлять. Она не могла понять, с чем ее поздравляют.

— Да как же, ведь ваш племянник женился,— ответили ей.

— Какой племянник?

— Да Михаил Александрович!

— На ком же он женился?

— Да на вашей племяннице, Ольге Константиновне.

Не помня себя, Ольга Леонардовна бросилась домой. Так как дома Оли не оказалось, она помчалась к Мише. Оля сама открыла ей дверь. Ольга Леонардовна была так взволнована, что при виде племянницы ей стало дурно, и она упала тут же на площадке лестницы. Оля, испугавшись за тетку, свалилась рядом с нею. Прибежавшая на шум Наталья Александровна, очень слабая и нервная женщина, упала тоже. И новобрачный Миша должен был перетаскивать всех трех дам в квартиру и оказывать им помощь один, так как Володя, бывший шафером на этой свадьбе, уже уехал домой.

Положение Ольги Леонардовны действительно выглядело очень неловким: родители доверили ей дочь, а она не усмотрела за ней. По понятиям того времени уход девушки из дому тайком, брак без согласия родителей, даже без их предварительного знакомства с женихом, считались верхом предосудительности. Кроме того, отец Оли занимал довольно важный пост в Петрограде, а Миша тогда был всего лишь маленьким актером «на выходах». Такой «мезальянс», конечно, был не по вкусу ни родителям, ни тетке. Именно это понятие «мезальянс», вероятно, и сыграло решающую роль в происшедшем инциденте. Безусловно, и Миша, и Оля вполне отдавали себе отчет в том, что ее родители ни за что не согласятся на этот брак. Поэтому они и предпочли поставить всех родных перед свершившимся фактом. Вот что пишет по этому поводу Марии Павловне в Ялту сам Михаил Александрович: «Машечка, хочу поделиться с тобой происшедшими за последние дни в моей жизни событиями. Дело в том, что я, Маша, женился на Оле, никому предварительно не сказав. Когда мы с Олей шли на это, то были готовы к разного рода неприятным последствиям, но того, что произошло, мы все-таки не ждали. Всех подробностей дела не опишешь, и я ограничусь пока главными событиями... Итак: женились. В вечер свадьбы, узнав о про-

исшедшем, приехала ко мне Ольга Леонардовна и... требовала, чтобы Оля сейчас же вернулась к ней. Затем приезжал от нее Сулер[27] с просьбой отпустить Олю к О. Л. на короткий срок поговорить. Взяв с Сулера слово, что он привезет мне Олю назад, я отпустил. Спустя час Оля вернулась, и Сулер стал настаивать, чтобы я отпустил Олю до приезда Луизы Юльевны жить к О. Л. Оля отказалась исполнить это. О. Л. звонила по телефону и, наконец, в 4 часа ночи приезжает Владимир Леонардович и просит ради О. Л. вернуться Олю домой. Я предоставил решить это самой Оле, и та, наконец, решила поехать к тетке, чтобы успокоить ее... Теперь я решил отпустить Олю с ее матерью в Петербург, чтобы там приготовить отца и объявить ему о случившемся. Вот в общих чертах главнейшие моменты истории.

Теперь несколько слов о себе. Прости, Маша, если нескладно пишу, но я в таком состоянии, что трудно требовать от меня складной речи. Я не говорю о той массе оскорблений и волнений, которые мне пришлось и, вероятно, придется еще перенести... Прости же, Маша, что пишу тебе такое, собой заполненное, письмо, но что делать? — переживаю острый момент».

Но все на свете забывается, стала сглаживаться и память об этом инциденте. Уже весной, когда Миша вместе с театром приехал на гастроли в Петроград, состоялось полное примирение молодоженов с родителями. Оля пишет Марии Павловне в Ялту: «Вот уже целую неделю, как мы в Петрограде, Миша играл уже раза три. Успех у него небывалый. Впрочем, ты, верно, сама знаешь из газет. Живем мы у моих родителей. Папа к Мише очень и очень хорошо относится. Мир полный». Письмо Миши подтверждает это: «Прекрасная Машечка, твой гениальный племянник приветствует тебя и желает сказать, что принят он здесь, у Олиных родных, чудесно... Сегодня Олины идут на «Сверчка». Стремлюсь домой к маме, и если бы мне не было так хорошо у Олиных, то я давно погиб бы от тоски... В ожидании Вашего сиятельного ответа. Граф Михаил Чехов».

Этой же весной я была приглашена на семейный обед к родителям Оли. Помню, как поразилась я, увидя Мишу в пиджаке и при воротничке, правда, мягком. Он и Оля сидели за столом рядом, поминутно целовались и подкладывали друг другу лакомые кусочки.

Как читатель мог уже понять, Миша и Володя очень дружили, хотя дружба их всегда была окрашена духом соперничества, полушутливого состязания. Об этом свидетельствуют и письма Миши к Марии Павловне: «Ты, конечно, сердита на меня за то, что долго не писал тебе. Веришь ли, Маша, как хорошо ничего не делать! Сидим мы все трое хотя и в городе, но все же в отдохновенном состоянии. Капсульке моей не особо приятно сидеть в городе, ибо она мечтала о набросках где-нибудь этак в полях и лесах, но что делать, было бы ей не выходить за меня. Вышла бы хоть за Володьку (ведь он за ней ухаживал и предложение приезжал делать ейным родителям), но она предпочла разделить со мной мою славу, нежели быть «мировой судьихой». Еще письмо: «Дорогая моя Машечка, я тебя люблю, но умоляю — гони от себя этого вредного паразита Володьку!.. Мне известно, что он, сидя у тебя в Ялте, пишет московским девкам письма, в которых говорит, что ты, Маша, будто бы даешь за ним в приданое: Мисхор, Аутку, Алупку и Алушту. Он, конечно, может писать, что ему угодно, но мне жалко девок, да и честь твоя что-нибудь да значит. Конечно, не мое это дело, но все же я бы посоветовал тебе посадить его около Евочки, и чтобы они доглядали друг за другом. Все же!»

В этом же письме три рисунка: на первом — автопортрет Миши и подпись: «Я», на втором — большое солнце с лучами во все стороны и подпись: «Ты». На третьем — куча мусора, над которой вьются мухи, и подпись: «Володька».

В августе 1915 года у Оли и Миши родилась дочь. Пишет Оля: «Дорогая тетя Маша! Думаю, что ты не обиделась на нас, не получая так долго от нас известий. Спасибо большое за поздравление. Вот уже месяц, как на свете существует еще Ольга Чехова, но уже настоящая».

Мария Павловна называла Мишину дочь «Ольга Чехова четвертая», имея в виду, что было уже три Ольги Чеховых: Ольга Леонардовна, моя мать Ольга Германовна и Ольга Константиновна. Но эти три Ольги носили фамилию Чеховых по мужьям, а маленькая Ольга Михайловна — рожденная Чехова.

Однако брак Миши и Оли оказался недолговечным. В 1917 году они разошлись, и Оля уехала в Германию.

Случилось так, что встретилась я с Мишей только в 1922 году, когда он уже стал известным актером. Я смот-

рела его во всех спектаклях и не переставала удивляться, как отлично удаются ему старики: и Калеб, и Муромский, и Мальволио, и Аблеухов. И наряду с этими стариками — блестящий Хлестаков, глубоко несчастный, трагичный Эрик XIV и особенно Гамлет — эта вершина актерского мастерства Михаила Александровича Чехова. «Гамлета» забыть невозможно. Помню, как по окончании спектакля я вместе с другими восторженно аплодировавшими зрителями стояла у рампы. Он вышел на аплодисменты. Раскланиваясь, увидел и узнал меня и улыбнулся мне сквозь грим Гамлета своей милой, Мишиной улыбкой.

Вскоре он пригласил меня к себе. Он был женат вторично и, должно быть, удачно; был ухожен, хорошо одет, выглядел неплохо. Мы поговорили о театре, о Марии Павловне, вспомнили наши юношеские годы.

Видела я и его маленькую дочку, которую привезли к нему проститься. Она уезжала с бабушкой Луизой Юльевной в Берлин, где уже начала свою карьеру ее мать, Ольга Чехова, впоследствии ставшая знаменитой немецкой киноактрисой.

Это была моя последняя встреча с Михаилом Александровичем. В дальнейшем я видела его уже только на экране.

В то же время, когда Миша разошелся с Олей, в семье Чеховых произошла трагедия: застрелился Володя. Никто не понимал причины самоубийства. Говорилось и о неудаче с работой, и о разочаровании в жизни, и о несчастной любви, но все это были догадки, а о настоящей причине так никто и не узнал. Все мы, и в первую очередь несчастные родители, были убиты неожиданным горем.

Володя был моим любимым двоюродным братом. Если с Мишей я познакомилась уже будучи подростком, то Володю знала с детства. Он часто проводил с нами лето на даче, иногда с родителями, иногда без них. Володя был на четыре года старше меня и во всем являлся для меня примером. Чтобы заслужить его одобрение, стать во всем похожей на него, я готова была на всевозможные «подвиги». Он, например, снисходительно посмеивался надо мной, глядя, как я «по-девчонски» сверху вниз бросаю в воду камни. И я до тех пор тренировалась, по секрету от него, пока не научилась бросать их по-мальчишечьи, горизонтально. То же было с нашей любимой игрой

в городки. Отводя руку с битой далеко назад, я одним ударом научилась выбивать фигуру. И как гордилась я, когда слышала одобрение Володи: «Вот молодец! Настоящий мальчишка!» Было мне тогда 10—12 лет.

Когда мы подросли и Володя был уже студентом, он стал поочередно ухаживать за моими подругами. Городки сменил теннис, начались прогулки на велосипедах. И только одно огорчало меня: он не умел и не хотел уметь танцевать, вероятно, желая быть оригинальным на фоне поголовно танцующей молодежи.

Володя жил с родителями в Москве. Это был необыкновенно развитой, умный, интересный, очаровательный юноша. Он мечтал стать актером Художественного театра, особенно после того, как, уже будучи студентом, познакомился с Мишей. Но его отец, Иван Павлович, не разрешал ему этого до окончания университета. Мне кажется, Володе не посчастливилось в отношениях с родителями: Иван Павлович был очень деспотичен, и между ним и сыном нередко возникали неприятные разговоры. Володя часто страдал от невозможности найти взаимопонимание с отцом. Может быть, именно поэтому он был особенно дружен с Марией Павловной. Они ежедневно виделись, он помогал ей в работе над шеститомником, ездил по ее поручениям к адресатам Антона Павловича, вообще участвовал в ее домашней жизни.

Лето 1917 года — последние месяцы жизни Володи. Все Чеховы собрались тогда в Мисхоре, на даче Марии Павловны, куда она в те годы обычно переезжала в самые жаркие месяцы, чтобы быть поближе к морю. Аутка ведь от моря очень далеко. И вот, кажется, в 1908 году Мария Павловна приобрела крошечный клочок земли в только что отстраивавшемся тогда Новом Мисхоре и, по проекту художника Браиловского, построила на этом клочке очаровательную маленькую дачу в том благородном стиле «модерн», который был так популярен в начале нашего века. Теперь эта дача, до неузнаваемости перестроенная, входит в состав санатория «Коммунары». Вот на этой-то даче и жили все Чеховы: Мария Павловна с матерью, семья Ивана Павловича и наша семья.

Мы, молодежь, — Володя, мой шестнадцатилетний брат Сережа и я, — конечно, с раннего утра до самого обеда пропадали на пляже. Потом бежали на теннисную площадку, находившуюся где-то около знаменитой дачи «Нюра». А по вечерам гуляли в прибрежном парке, по Юсуповской набережной возле «Русалки» и «Дюльбера».

И танцевали в одном из санаториев, где долечивались и отдыхали раненые военные: шли последние месяцы империалистической войны. В то же лето на мисхорском берегу жила семья Федора Ивановича Шаляпина: его жена Иола Игнатьевна, два сына — Боря и Федя и три дочери. Старшие, Ирина и Лида, были в то лето моими подругами. Володя и Сергей, конечно, ухаживали за ними, и все вместе большой компанией мы очень весело проводили время.

В том году в Студии МХТ пользовался большим успехом водевиль «Спичка между двух огней»[28], который разыгрывали молодые студийцы Михаил Александрович Чехов, Софья Владимировна Гиацинтова и Ольга Ивановна Пыжова. Мы решили тоже поставить его в порядке «самодеятельности», и водевиль был исполнен Володей, Ириной и Лидой под мисхорскими небесами. Я выступала в качестве пианистки-аккомпаниатора, потому что, как в каждом водевиле, там требовалось пение куплетов. Сережа «работал» суфлером. У меня сохранились два карандашных наброска этого спектакля, сделанных Лидой Шаляпиной. На одном с несомненным сходством изображены трое участников пьесы. Другой представляет собой одну из мизансцен (вид из зрительного зала), я за кулисой энергично аккомпанирую на пианино, а Сережа, в азарте, с тетрадкой в руке, суфлирует из будки.

Не могу умолчать о еще одном случае, когда мне пришлось аккомпанировать в то лето. Однажды вечером в ялтинский дом, куда мы перебрались уже в конце лета, приехал навестить Марию Павловну Ф. И. Шаляпин. И когда он захотел спеть, то обратился ко мне с просьбой ему аккомпанировать. Я была счастлива исполнить его просьбу. Под мой аккомпанемент он спел «На холмах Грузии...» Римского-Корсакова, а потом сел за пианино сам и исполнил еще несколько народных песен.

Так кончилось лето 1917 года, когда все Чеховы в последний раз собрались вместе под гостеприимной крышей Марии Павловны, о чем я говорила уже в начале своих воспоминаний.

Мне остается сказать еще только о двух Чеховых, двух художниках, двух Сергеях.

Мой родной брат, Сережа, в 1917 году окончил среднее училище. Но еще раньше Мария Павловна, очень заботившаяся обо всех своих племянниках, распознала в Се-

реже художественный талант и устроила его в студию Званцевой. Рисовал он тогда, конечно, еще по-детски, неуверенно. Он сам вспоминал, как однажды в доме Марии Павловны пытался нарисовать с натуры Шаляпина. Федор Иванович, увидев рисунок, сказал: «Не так». «И, взяв карандаш,— рассказывал брат,— прошелся прямо по моему робкому рисунку своим смелым, могучим штрихом». Студию Званцевой посетил как-то К. С. Петров-Водкин. Просмотрев работы брата, сначала поругал его, но один этюд привлек его внимание. «А знаете, из Вас хорошего Коровина можно сделать»,— сказал он пятнадцатилетнему мальчугану. Мария Павловна, которая, будучи и сама художницей, немало помогала племяннику советами, позднее способствовала его определению в ученики к академику Д. Н. Кардовскому. Это окончательно решило судьбу Сережи. Он стал художником-графиком.

Очень много сделал Сергей Михайлович для увековечения памяти Антона Павловича Чехова. Большой любитель путешествий, он изъездил все места, связанные с именем Антона Павловича. Результатом этих поездок явилось более чем триста рисунков. Часть их издана в серии «Чеховские места нашей родины». В 1958 году Сергей Михайлович вместе с сыном Сережей повторили большой и трудный путь Антона Павловича по острову Сахалину, создав около пятидесяти рисунков и целую серию линогравюр «Сахалин каторжный и Сахалин советский».

Работы Сергея Михайловича неоднократно выставлялись и публиковались в газетах и журналах и выходили отдельными изданиями. «По Чеховским местам Подмосковья», «Мелихово», «Дом-музей А. П. Чехова в Ялте», серия портретов актеров МХАТа — это далеко не полный перечень работ художника.

В эти же послевоенные годы брат принимал деятельное участие в создании Музея А. П. Чехова в Мелихове.

Сергей Михайлович известен и как неутомимый собиратель материалов о семье Чеховых: составитель родословной Антона Павловича, автор многих работ по Чехову. Его литературная деятельность завершилась книгой «О семье Чеховых».

В 1973 году Сергей Михайлович скончался, завещав государству весь свой большой эпистолярный и рукописный архив.

Сын Сергея Михайловича, Сергей Сергеевич Чехов, тоже был художником. Дарование его проявилось очень рано, в четырехлетнем возрасте, когда он, сидя с родите-

лями в бомбоубежище, акварелью и цветными карандашами создавал фантастические рисунки на военные темы.

Правда, в детстве у Сережи ярко проявились музыкальные способности, его даже поместили в Центральную детскую музыкальную школу, где он несколько лет проучился. Однако художник в нем пересилил. Окончив Институт имени Сурикова, он стал художником-монументалистом. Учился в институте у А. А. Дейнеки, а потом большое влияние на его творчество оказал известный художник-монументалист Б. П. Чернышов. Одна из последних работ Сережи — оформление Института электронной техники в городе Зеленограде — получила широкую известность.

Большой знаток древнего искусства, Сережа был горячим поклонником русской старины. Он объездил множество старинных русских городов, ему были отлично знакомы все древние архитектурные памятники, а родную Москву он знал до мельчайших подробностей. Он был одним из самых энергичных деятелей по охране памятников Москвы и других городов и смело боролся с невежеством и безразличием, приводившими к гибели ценнейших сооружений прошлого.

Во время одной из поездок в Мелихово Сережа обнаружил в маленькой деревянной церкви сельского кладбища у околицы села следы древнего зодчества. Он добился решения о ее реставрации, и эта церковка, колокольню которой построил когда-то, по просьбе крестьян, Антон Павлович, входит теперь в комплекс Музея-заповедника Мелихово.

Каждый, кто видел Сережу в его самые молодые годы, отмечал его большое внешнее сходство с Антоном Павловичем. И духовно он тоже был светлым человеком. Его личное обаяние облагораживающе действовало на всех, встречавшихся с ним.

Умер Сережа внезапно, в расцвете творческих сил, 37 лет от роду. Но то, что он успел совершить в своей короткой жизни, останется ценным вкладом в историю нашей культуры.

Последний путь его был в Мелихово. Гроб его поставили для прощания в кабинете Антона Павловича, потом родные и близкие отнесли его к той самой деревянной церкви и похоронили там, среди высоких лип, елей, берез...

Заканчивая мои воспоминания, я очень хочу верить, что мне удалось хоть отчасти обрисовать родных Антона Павловича, посвятивших памяти его свои жизни.

СЕМЬДЕСЯТ ЛЕТ СПУСТЯ

Об Ольге Константиновне Чеховой

Первые мои воспоминания об Ольге Константиновне относятся к 1914 году. У меня была веселая и дружная компания, состоявшая из моих двоюродных братьев, сестер и друзей.

<...> Однажды — это было уже в 1974 году — я с большой группой писателей, чеховедов, артистов отправилась в традиционную поездку — в чеховское Мелихово. Это было на самом исходе зимы, в начале марта. В Москве уже таяло, а в Мелихове зима казалась еще нетронутой. Помню ясный день, притихший лес, снеговые шапки на вершинах огромных елей. После встречи с местным населением, выступлений приехавших деятелей искусств мы сидели в жарко натопленной комнате за самоваром. Хозяева — директор мелиховского Дома-музея Чехова Юрий Константинович Авдеев, его жена Любовь Яковлевна — были, как всегда, предупредительны и гостеприимны. После чая перешли в мастерскую Юрия Константиновича — посмотреть его картины и этюды. Я увидела на письменном столе изящно оформленную книгу. Красивое женское лицо смотрело с обложки и как будто спрашивало: «Ну, что? Не узнаешь?» Я прочитала по-немецки: «Maine Uhren gehen anders» — «Мои часы идут иначе». Автор — Ольга Чехова. Так это же она, Оля, постаревшая, но не состарившаяся, не потерявшая своей удивительной красоты!

Ко мне подходит Юрий Константинович.

— Узнали свою родственницу? Я уже давно думал о том, чтобы установить с ней контакт. Многие годы наш музей связывала дружба с сотрудником газеты «Голос Родины» Г. Я. Короткевичем, который не раз привозил к нам гостей Комитета по культурным связям с соотечественниками за рубежом (теперь эта организация называется общество «Родина»). Одним из гостей общества был русский врач, проживающий в ФРГ, Юрий Георгиевич Балабаев. Я попросил его помочь мне найти адрес Ольги Чеховой. И послал ей свою книжку «В чеховском Мели-

хове», книгу С. М. Чехова «О семье Чеховых» и письмо. В июне 1974 года пришел ответ Ольги Константиновны:

«Милый друг! — писала она.— Не знаю Вашего отчества... Ю. К.? Спасибо за книгу и письмо... Обо мне вышла книга, автор я сама. «Meine Uhren gehen anders» («Мои часы идут иначе»). Там я пишу свои воспоминания о тете Оле, дяде Антоне, тете Маше, Евгении Яковлевне (матери А. П. Чехова) и многое о своей жизни. Возможно ли это «произведение» прислать Вам? Или нет?

В 1943 году я не была в Москве — это было во время войны невозможно, но летом 1945 года была в Москве.

Я вот уже 15 лет не играю — ни на сцене, ни в фильме, пропагандирую «природную» и «народную» косметику и работаю сама в своей лаборатории.

15 июля буду опять в Баденвейлере, где каждый год поминают день смерти Антона Павловича.

Вам сердечный привет и большое спасибо.

Ваша Ольга Чехова».

А затем пришли две толстые бандероли от Ю. Г. Балабаева. В одной были цветные фотографии чеховских мест в Баденвейлере, фотографии участников юбилея, в том числе и О. К. Чеховой, прекрасно изданный к этому дню буклет, программа юбилея с автографами всех участников. Но больше всего нас обрадовали 50 ксерокопий: материалы из городских архивов, документы о последних днях жизни Чехова, до которых еще не добрался ни один литературовед, ни один журналист...

Юрий Константинович сообщил мне адрес Ольги Чеховой. Я, не откладывая, сейчас же написала ей и заодно послала свои воспоминания, напечатанные в журнале «Наука и жизнь», главы будущей моей книги.

Ответ пришел незамедлительно:

«17/X—74 г.

Милая Женичка!

Вот как обрадовали Вашим письмом! Все юные годы восстали! Как вчера... С тетей Машей (Марией Павловной) я переписывалась много во время войны,— посылала ей сахар и кое-что покушать. Тетя Оля (Ольга Леонардовна) еще за несколько дней до смерти писала моей сестре Аде Константиновне — она живет под Берлином. Я вот уже 15 лет как бросила сцену и фильм и «переучилась», с успе-

хом проповедую... способ жизни, чтобы не стареть. Прилагаю последнюю фотографию. Черкните, можно ли послать Вам посылочку моей косметики?

Миша (Чехов) уже давно скончался в Америке, его жена Ксения тоже, два года тому назад.

Спасибо большое за «Науку и жизнь»! С восторгом все прочла — интересное издание!

Ведь мне уже «стукнуло» 77 лет, но я работаю с утра до ночи.

Дочь погибла с самолетом (Олечка) вот уже 8 лет. Ее дочь Вера живет с мужем (известный актер Вадим Гловна) и с ихним сыном — 13 лет, Коля — возле меня.

Буду рада весточке — обнимаю Вас сердечно.

Оля!!»

С карточки смотрит симпатичное лицо женщины, которой просто невозможно дать семьдесят семь лет. Видимо, Ольге Чеховой — косметологу удача сопутствовала не меньше, чем актрисе.

А затем пришла книжка Ольги Чеховой «Мои часы идут иначе». Я стала читать ее и сразу же решила сделать перевод. В молодые годы я занималась немецким языком. Так что сейчас у меня «Часы» Ольги Чеховой — в обоих вариантах: немецком и русском.

Она родилась 13 (26) апреля 1897 года на Кавказе, в Тифлисе. Ее отец был министром путей сообщения. В своей книге она рассказывает об одном из самых ранних детских впечатлений. Болен младший брат Ольги и Ады — будущий композитор Лев Книппер, автор песни «Полюшко-поле». Он лежит в затемненной комнате в корсете, двигаться ему нельзя.

«Ноги крепко привязаны к спинке кровати, голова неподвижна под кожаным ремнем, протянутым под подбородком.

Маленький Лео должен перенести длительную, мучительную вытяжку позвоночника.

Около кровати сидит врач. Он ласково говорит с Лео и показывает ему маленький граммофон, который принес с собой. Лео улыбается радостно и благодарно, несмотря на боль. Он невероятно музыкален. Врач это знает. Граммофон является одним из средств терапии.

Доктор строен, его овальное лицо обрамлено темными волосами и красивой бородкой. Его глаза сияют необычайным блеском. Это мужественное сияние помогает

пациентам больше, чем медицина. Он хорошо знает детское сердце и не прописывает таблетки, которые трудно глотать, но все любят принимать его капли.

Доктор прописывает лекарства, рекомендует свежий воздух, косые солнечные лучи и вегетарианскую диету.

Этот доктор — знаменитый писатель Антон Павлович Чехов, мой дядя.

Дядя Антон еще раз улыбается маленькому Леве и поворачивается к папе, маме, моей сестре и мне. Он остерегается подходить к нам близко, потому что неизлечимо болен туберкулезом».

Затем — первые театральные впечатления. В Петербурге, где теперь живет семья Константина Книппера, гастролирует Элеонора Дузе.

«Всемирно известная, знаменитая трагическая актриса находится в самом зените своей славы. Она не пользуется сильной жестикуляцией и приподнятым тоном для выражения глубоких чувств. Она отказывается от трафаретного сценического пафоса и придает каждой роли особый отпечаток искренности. Она сияет, «светится» даже, когда стоит просто так и не говорит ни слова».

«И Дузе приходит к нам, в нашу петербургскую квартиру, с моей теткой Книппер-Чеховой, известной актрисой театра Станиславского. Она смотрит на меня, гладит по голове и говорит тихо:

— Ты будешь знаменитой артисткой, малютка...

Я начинаю плакать, сама не зная почему. Я просто не могу удержать слезы.

— Почему ты плачешь? — спрашивает Дузе.— Разве ты боишься стать актрисой? Только ты должна знать — на сцену надо идти нагой...

Я понимаю ее слова буквально и плачу еще сильнее — голой на сцене! Даже акробаты на трапеции в цирке «не совсем голые».

Позже я понимаю, что хотела сказать Дузе. Преодолеть все препятствия и показывать публике «свою душу всегда открытой, новой».

И еще одно театральное впечатление — на всю жизнь: Станиславский. Родители Ольги отправляют ее к Ольге Леонардовне в Москву. Под ее покровительством она посещает студию Московского Художественного театра. Ее учитель — Константин Сергеевич. Ольга участвует в благотворительном спектакле «Гамлет». Заглавную роль исполняет Михаил Чехов, роль Офелии — Ольга.

«Гремят аплодисменты. Снова и снова я выхожу вместе с Мишей перед занавесом. Станиславский хвалит меня, тетя Ольга поздравляет. Я горжусь моим первым триумфом».

«Константин Сергеевич Станиславский высокого роста, у него белоснежная шевелюра, мохнатые брови и ясный взгляд. Его появление, разумеется, вызывает уважение и преклонение перед ним у каждого и особенно у молодых актеров. Его критика неподкупна, хотя иногда ехидна, его педагогические приемы изумительны. Кроме того, он требует строгой дисциплины и безусловного порядка в художественных делах.

Каждый актер, независимо от того, большую или маленькую роль он играет, должен быть в гримерной за час до начала спектакля. Если он опаздывает на репетицию или на спектакль, он получает на первый раз предупреждение, второй раз штрафуют на пять рублей, третий раз — на десять. Если прогульщик неизлечим, он считается уволенным за «невнимание к труппе». Я не замечала, чтобы кто-нибудь дошел до этого.

Перед каждым студийцем поставлены разнообразные по трудности многочисленные задачи. Так, например, во время спектакля мы распределяемся за кулисами для помощи режиссерам, следим за реквизиторами и все вместе наблюдаем за электропроводкой позади сцены. Мы являемся также помощниками в работе сценариста-постановщика, когда он представляет свой проект в виде миниатюрного макета сначала режиссеру, а потом самому Станиславскому.

В студии же мы, конечно, получаем профессиональное образование: пантомима, ритмика, дыхание, музыкальные упражнения, сведения об истории театра и костюмерии.

Когда пьеса в студии пройдена основательно и крепко «стоит на ногах», назначается несколько «горячих» репетиций, после которых заведующий студией Евгений Вахтангов или первый режиссер Михаил Чехов находят возможным показать Станиславскому. Разумеется, не обходится без горьких разочарований, а иногда и отчаяния. Ведь бывает, что мы репетируем 150—200 раз.

— Я не могу больше! — кричит какая-нибудь ученица и в изнеможении падает на пол.

— Не может быть, чтобы актер что-нибудь не мог, если он достаточно одарен. Если вы думаете иначе — поищите себе другое занятие!

Развитие каждой пьесы от первой рабочей читки до выпуска на сцену требует напряженной, точной работы.

Перед началом репетиции пьеса с уже распределенными ролями перечитывается вновь в течение недели. К мимике, жестам и акцентам в этой стадии еще не приступают. Потом, с тетрадью в руке,— сквозное действие. То же самое с каждым отдельным актом. И только после этого нам разрешается самостоятельно работать над текстом. После такой интенсивной проработки нам, конечно, становится легче и «борьба» с преодолением текста не кажется трудной».

Затем — война, революция, рождение дочери Оли (1915), развод с Михаилом Чеховым и поездка в 1921 году в Германию, где Ольга Чехова остается навсегда. Она приехала, зная всего лишь несколько слов по-немецки. Но очень быстро — тут сказалось ее книпперское упорство — овладевает языком. Первый кинофильм, в котором участвует Ольга,— «Замок Фогелед». Он сделан по роману криминальному, даже несколько фантастическому. После благоговейной тишины и внутренней мобилизованности всех участников в студии Художественного театра киносъемки кажутся сначала не то адом, не то сумасшедшим домом.

«Хронологию соблюдать не требуется; действие или кусок его начинается, как только приготовлена декорация. Нельзя играть «сквозное действие», как на сцене театра. Играют отдельные части: с конца, с середины и с начала сценария. Необходима огромная сосредоточенность, а в этом гвалте мне невозможно ее добиться».

И все-таки первый фильм с участием Ольги Чеховой имеет успех. Пресса ее хвалит.

Когда читаешь страницы книги о первых кинематографических и театральных шагах Ольги Чеховой, становится ясно: перед нами актриса, которая хорошо помнит уроки Станиславского, Художественного театра, русского реалистического театра. На немецкую сцену она перенесла многое из того, что запало в душу на сцене московской.

В Германии появляется Михаил Чехов с женой. Ольга Чехова, забыв былые обиды, помогает ему устроиться.

«Я нанимаю для него и его жены двухкомнатную квартиру недалеко от нас — это относительно просто. Труднее найти работу, гораздо труднее. Берлин не нуждается в русских актерах, не говорящих ни слова по-немецки. После ряда неудач я иду к продюсеру, которого хорошо знаю. На этот раз мне везет. Продюсер принадлежит

к тому поколению, которое помнит Мишу как актера театра Станиславского. Он загорается мыслью, что «русский, да еще знаменитый актер Станиславского, выступит в немецком фильме».

Я начинаю надеяться. Продюсер обращается ко мне:

— А вы, Ольга Чехова, бывшая жена, будете режиссером этого фильма!

Мне кажется, что я ослышалась. Но продюсер повторяет сказанное.

Так я выступаю как режиссер с Михаилом Чеховым — в одном из последних немых фильмов под названием «Шут своей любви» (по французскому роману «Полишинель»).

В ателье немого фильма царит типичное для него «вавилонское столпотворение»... Мы объясняемся по-немецки, по-английски, по-французски и по-русски. С Мишей я говорю по-русски. Он очень доволен, что в своем первом фильме на чужбине он слышит слова режиссуры на родном языке. Это позволяет ему быть непринужденным, и скоро он играет уже ярко и свободно. Как переложение французского романа фильм пользуется во Франции огромным успехом.

Первые шаги Миши в Германии сделаны. Дальнейшего он должен добиваться сам. Прежде всего он должен учить немецкий язык. Он способен к языкам и учится быстро. Я знакомлю его с Максом Рейнгардтом, и он получает ангажемент. Так завершается круг».

С 1933 года начинается новая полоса в жизни Ольги Чеховой. К власти приходит Гитлер. К этому времени Ольга — одна из самых прославленных актрис Германии. Память о России живет в ее душе не ослабевая. Она заботится о чеховском Доме-музее в Ялте, и в том, что он не разрушен захватчиками, — немалая доля ее участия.

Ей приходится бывать на официальных правительственных приемах. Вот как она описывает один из них — в год, когда началась война с Советским Союзом:

«Правительственная машина отвозит меня и несколько коллег к завтраку в загородное имение Геббельса... Нас около 35 человек. Коллеги, дипломаты, партийные сотрудники Геббельса, до предела напыщенные, ведут националистические разговоры. Он, разумеется, уже празднует взятие Москвы.

Я думаю о бесконечных русских пространствах, о смертельных русских холодах...

В этот момент Геббельс обращается непосредственно ко мне:

— У нас есть эксперт из России — фрау Чехова. Не думаете ли вы, мадам, что эта война будет окончена еще до зимы и Рождество мы будем праздновать в Москве?

— Нет,— отвечаю я просто.

Геббельс холодно:

— А почему нет?

— Наполеон недооценил русские пространства.

— Между французами и нами большая разница,— иронически улыбается Геббельс,— мы являемся как поддержка народов России, как освободители. Большевистская государственная клика будет свергнута гигантской революцией.

Я пытаюсь овладеть собой. Но это мне не удается.

— Эта революция не состоится, господин министр, потому что перед опасностью все русские будут солидарны.

Спокойствие Геббельса возрастает. Он немного наклоняется и говорит холодно:

— Интересно, мадам, значит, вы не доверяете немецкому военному могуществу? Вы предсказываете русскую победу...

— Я ничего не предсказываю, господин министр. Вы меня спросили, будут ли наши солдаты к Рождеству в Москве. Я сказала вам мое мнение об этом. Мое мнение может быть и верным и ошибочным.

Геббельс смотрит на меня подозрительно. Воцаряется неловкое молчание».

Конец войны. Ольга Чехова, ее дочь Ольга, внучка Вера, друзья прячутся от бомбежек в погребе под домом. Потом появляется советский офицер. Он спрашивает Ольгу, не родственница ли она О. Л. Книппер-Чеховой?

— Она моя тетя.

И вскоре Ольга Чехова на советском самолете летит в Москву. Четверть века спустя она снова видит Красную площадь, ходит по московским улицам, беседует с москвичами.

«Мне стало теперь ясно, что Россия перенесла бóльшие разорения и потери, чем все союзники и противники, вместе взятые. И последствия войны поразили здесь каждого отдельного человека и гораздо бóльше, чем в какой-либо другой стране».

26 июля 1945 года Ольгу Чехову доставляют на самолете обратно в Берлин.

В 60 лет Ольга Чехова начинает новую жизнь. Она переезжает из Берлина в Мюнхен. И здесь, в центре Баварии, она открывает салон косметики.

«Что я вкладываю в дело? Знание косметики, нашей и заграничной, приобретенное мною в течение десятилетий; в дополнение к ним: диплом из Брюсселя, диплом Института красоты из Парижа, университетские открытия Берлина и Мюнхена, подтвержденные советами известного русского биолога, доктора Богомольца, который дополнительно рекомендовал мне несколько рецептов».

«Друзья и знакомые начинают все чаще пользоваться моими кремами и масками, играя роль подопытных животных. Я имею успех среди молодых людей, которым их кожа причиняет неприятные заботы. И, наконец, я пользуюсь собственным опытом женщины, которая жила открытой жизнью, всегда была на виду, всегда должна была хорошо выглядеть, безразлично, пострадала ли от грима ее кожа, или нет».

Руководимая Ольгой Чеховой фирма получает многочисленные награды на выставках — например, интернациональное Гран-при в Венеции.

В эти годы и начинается моя переписка с Ольгой Константиновной.

Я посылаю ей все, что печатала о Чехове, о его семье.

«Дорогая, милая Женя! — писала она мне 22 октября 1976 года. — Как я обрадовалась, получив Ваши две книги и письмо. Большое, сердечное спасибо. Очевидно, Вы почувствовали, что мое желание — время от времени иметь журнал «Наука и жизнь».

У меня гостит сейчас моя сестра Ада — она с восторгом бросилась на чеховскую книгу (речь идет о выпуске «Чеховских чтений в Ялте»). Ведь она уже многие годы была переводчицей писем тети Оли и дяди Антона (живет в Берлине, ГДР).

Спасибо, обнимаю Вас, целую.

Ольга Чехова».

15 июля 1979 года исполнилось 75 лет со дня смерти Чехова, а 29 января 1980 года — 120 лет со дня его рождения. К этим датам были приурочены чеховские выставки в ФРГ — по материалам нашего литературного музея. Выставки должны были экспонироваться в Дюссельдорфе, Майнце и Баденвейлере.

В апреле 1979 года в Майнц вылетела Галина Федоровна Щеболева, заведующая московским Домом-музеем Чехова, моя хорошая знакомая. Ей предстояло развернуть выставку. Вернувшись из поездки, она рассказала:

— Среди экспонатов выставки были личные вещи Чехова, его автографы, портрет писателя кисти В. Серова, многое другое. Времени на монтаж было очень мало, а главное — встретил меня директор тамошнего Музея довольно недружелюбно. День приезда был трудный, нервный, напряженный. В разгар работы меня вдруг пригласили к телефону. Звонок из Мюнхена. Оказывается, меня разыскивает Ольга Чехова.

В телефонной трубке звучал красивый и, как мне показалось, очень молодой голос. Без малейшего акцента, на чистом русском языке, хочется сказать — с мхатовским произношением; говорила Ольга Константиновна слова привета. Сказала, что радуется успехам выставок Чехова и гастролей Художественного театра. Сожалела, что из-за нездоровья не сумеет приехать на открытие нашей выставки. Просила звонить, предлагала помощь. Но она мне уже помогла — своим звонком. После него отношение ко мне сразу же заметно изменилось. Директор перестал мешать своим сотрудникам участвовать в нашей работе.

Через два дня последовал второй звонок Ольги Константиновны. Она интересовалась, как идет работа. Говорила, что не может себе представить, как можно подготовить большую выставку за четыре дня. Я рассказала о своих помощниках, местных энтузиастах. Среди них — видный исследователь и переводчик Чехова Петер Урбан.

Ольга Константиновна с гордостью рассказывала о своей внучке, Олиной дочке Вере: она стала актрисой и принята была в тот год в Мюнхенский драматический театр.

Буквально засыпала меня Ольга Константиновна вопросами: как выглядит сейчас Москва? Что нового в московском Доме-музее Чехова? Кто собирается в моем доме из писателей, артистов, чеховедов? Очень радовалась, что вокруг Дома-музея образовался прочный и дружный актив. Горько сетовала, что ей уже больше не увидеть Москвы. Просила поклониться Москве, Дому-музею Чехова, москвичам.

Через месяц я снова приехала в Майнц — забирать выставку домой. И на одни сутки отправилась в Баденвейлер, в город, где Чехову суждено было закончить свой путь. Меня пригласил бургомистр города. Уже за месяц

до «дня Чехова» весь город жил этим событием. Везде портреты писателя, репетиции оркестра, который будет исполнять русскую музыку. Я остановилась в «Парк-отеле», бывшем «Зоммер». Владелец отеля любезно разрешил побывать в комнате, в которой жил и скончался Чехов.

В эти дни в третий раз прозвучал звонок из Мюнхена. Ольга Константиновна приветствовала меня, сказала, что много раз бывала в Баденвейлере, что пришлет мне свою фотографию отеля «Зоммер». И снова с грустью говорила, что теперь уже не сможет побывать в России, в Москве. И вдруг меня словно кольнуло что-то — только теперь я осознала, что молодой, звонкий голос принадлежит очень немолодому человеку. И что просьбу — поклониться Москве — я обязательно выполню...

Я слушаю рассказ Г. Ф. Щеболевой об Ольге Константиновне, о ее поддержке и внимании, которые так помогли наладить выставку. И вспоминаю другие случаи. Как Ольга помогла в Германии Михаилу Чехову. Как она заботилась о Доме-музее Чехова в Ялте в годы войны. Все это не случайные совпадения, а ясные свидетельства, говорящие о личности, щедрой, деятельной и добропамятной. Живые нити, соединявшие Ольгу Константиновну Чехову с Москвой, с Россией, никогда не прерывались.

Столь же глубока связь с русской культурой Ады Константиновны, сестры Ольги. Она жила в ГДР, переводила Чехова, ездила в Мюнхен навещать сестру. Когда пришло известие о смерти Ольги, я написала Аде Константиновне, попросила рассказать о последних днях жизни сестры.

Ответ пришел только 22 августа 1980 года. Ада Константиновна сообщала, что долго не писала из-за того, что повредила себе правую руку.

«Ваше письмо, где Вы спрашивали об архиве Ольги, получила. Но, милая Женя, я ничего не нашла у Ольги, что бы Вас заинтересовало... О своей жизни с Мишей Чеховым она в Москву послала, по-моему, год назад уже небольшую рукопись...

Мы надеялись с ней отпраздновать 83-й день рождения. Я до сих пор не могу еще осознать, что Ольги нет; все думаю, вот-вот поеду опять к ней в Мюнхен. Она раньше иногда каждый день звонила ко мне по телефону. Милая Женя, Вы просите Вам написать о ее жизни в последние годы. Это не так просто, и я не знаю, что Вас именно интересует. Пока она была здорова, ее жизнью была последние годы ее фабрика косметики, которая из

простого хобби благодаря энергии Ольги превратилась в предприятие. Она много ездила с докладами о косметике, о правильном и здоровом питании и т. п. Вечерами всегда была дома, очень рано ложилась спать. Очень, очень редко где-нибудь бывала...

Я несколько раз в году ездила на две-три недели в Мюнхен к Ольге... В прошлом году приехала в октябре на две недели. Ольгу застала больной и осталась по ее просьбе надолго у нее. 4½ месяца! У нее была анемия (малокровие), которое под конец стало белокровием. Все, что возможно и невозможно было, делали врачи. Лекарства приходили даже из-за границы. Ольга пробовала лечиться гомеопатией — одним словом, что только возможно, но спасти Ольгу не удалось. Я 4½ месяца не покидала ее домика, днем и ночью была около нее. Временами ей было лучше. Она сама была полна надежд. Два раза за это время она перенесла воспаление легких — врачи говорили, что чувствовала себя усталой... За два дня до смерти она мне ночью вдруг сказала, что она хочет умереть. Совсем здоровой она не сможет быть, что она «живым трупом» жить не хочет; она рада скоро увидеть свою дочь Олечку. Умерла она в воскресенье 9 марта 1980 года, в 15 час. 30 мин., с улыбкой на лице...».

За годы, прошедшие со дня смерти Ольги Чеховой, интерес к ее жизни, личности возрос еще больше. О ней пишет в своей статье театровед и киновед М. Туровская — «Смерть в Баденвейлере» (газета «Советская культура» от 8 июня 1982 года). Она рассказывает о поездке по Федеративной Республике Германии. М. Туровская списалась с Ольгой Константиновной, поговорила с ней по телефону, но когда приехала в Мюнхен, Ольгу Чехову она уже не застала.

«И вот я,— пишет М. Туровская,— в небольшом особнячке в тихой парковой части Мюнхена — в бывшем владении Ольги Чеховой, у ее внучки Веры. От Ольги Книппер-Чеховой-младшей она унаследовала не только фамилию, но и фамильный дар изящества и женственности, хотя мало похожа на бабку и прабабку. Унаследовала она и профессию киноактрисы». К этому хочется добавить, что, кроме генов бабки и прабабки, Вера унаследовала и ген своего великого деда — Михаила Александровича Чехова. М. Туровская сообщает, что Вера никогда не была в Москве.

Год спустя, 15 июля 1983 года, московский Дом-музей Чехова отмечал памятную чеховскую дату. И в вечере

приняла участие Вера, приехавшая в Москву вместе со своим мужем — режиссером Вадимом Гловной. Галина Федоровна Щеболева посетила с ними могилы Чехова и Ольги Леонардовны Книппер-Чеховой на Ново-Девичьем кладбище, а оттуда они поехали на вечер в музее. Мне очень не повезло: из-за нездоровья я не смогла быть в музее в столь дорогой для меня день. Однако на следующий день участники-чеховеды подробно рассказали мне о том, как прошел чеховский вечер.

Вера оказалась очень эмоциональной, обаятельной, с живым юмором женщиной. Она с волнением говорила о том, какая радость для нее быть в Москве, восторженно отзывалась о Чехове — прозаике и драматурге, заразительно смеялась, когда шел разговор о его юморе. В журнале «Театральная жизнь» (1984, № 8) был опубликован интересный очерк о Вере Чеховой.

Вера — об этом говорили все, кто с ней встретился накануне,— отзывается о своей бабушке Ольге Чеховой как о женщине необычайной силы и жизнестойкости. Ей нравится, что она, артистка, служит тому же делу, что и бабушка. Так, из поколения в поколение рода Книппер-Чеховых передаются уроки, восходящие еще к молодому Художественному театру.

...Эти строки я пишу в 1984 году. 70 лет пробежало с тех пор, как мы встречались с Ольгой, играли в шарады, веселились, ходили на спектакли и концерты. Мысленно перебираю моменты ее ни на какую другую не похожей, драматичнейшей судьбы. Думаю о ее разлуке с Родиной, с которой она все-таки душою своей не разлучалась. Часто перечитываю ее письма. Одно из них, от 24 октября 1978 года, кончается так:

«Внуки и я — живем-поживаем — дни летят, и жизнь делается все короче. Последнее время я бросилась на русскую литературу — современную и классиков. Антон Павлович и Пушкин — бессмертны!

Обнимаю тебя сердечно.

Оля».

ПРИМЕЧАНИЯ

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

ГБЛ — Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина (Москва).

ЛН — Литературное наследство. Чехов. М.: Наука, 1960. Т. 68.

Переписка — Переписка А. П. Чехова. В 2 т. — М.: Худож. лит., 1984.

ЦГАЛИ — Центральный Государственный архив литературы и искусства (Москва).

П. Е. ЧЕХОВ

Жизнь Павла Чехова

Семейная летопись, составленная П. Е. Чеховым, публикуется по изданию: Красный архив, 1939, № 6, С. 180—181.

Н. П. ЧЕХОВ

<Детство>

Печатается по тексту публикации: ЛН. С. 531—536. В рукописи текст не озаглавлен. Название дано редакцией «Литературного наследства» на основании того, что так же названо неоконченное письмо Н. П. Чехова к М. Е. Чехову, текст которого близок публикуемым воспоминаниям.

Ал. П. ЧЕХОВ

А. П. Чехов в греческой школе

Печатается по публикации: Вестник Европы, 1907. Т. 2. Кн. 4. С. 545—571.

[1] М. П. Чехов напечатал воспоминания «Об А. П. Чехове» в «Журнале для всех», 1905, № 7; 1906, № 7.

[2] Антон и Николай Чеховы были отданы в приготовительный класс греческой приходской школы осенью 1866 г.

[5] Речь идет об изданном на греческом языке «Сборнике произведений русских писателей» (хранится в Доме-музее А. П. Чехова в Ялте) с дарственной надписью переводчика П. С. Лефи от 8 февраля 1904 г.

В гостях у дедушки и бабушки

Печатается по публикации: Спб.: Типография Л. Я. Гинзбург, 1912. 128 с.

Описанная поездка в Княжую состоялась в 1871 г.

В Мелихове

Печатается по публикации: Нива, 1911, № 26. С. 478—483.

[1] О том, что «Чайка» писалась во флигеле, говорил сам А. П. Чехов.

[2] Названная фотография помещена в сборнике «О Чехове» (М., 1910. С. 272).

[3] Речь, очевидно, идет о рассказе «Бабы».

[4] По свидетельству М. П. Чехова, П. Е. Чехов надорвался, подняв тяжелый ящик с книгами (см. наст. изд., с. 315).

М. П. ЧЕХОВ

Вокруг Чехова

ВСТРЕЧИ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Воспоминания М. П. Чехова впервые вышли при жизни автора (М.; Л.: Academia, 1933) и после этого переиздавались сыном М. П. Чехова Сергеем Михайловичем с дополнениями и исправлениями. В настоящем сборнике дается текст последнего издания: Чехов М. П. Вокруг Чехова: Встречи и впечатления; Чехова Е. М. Воспоминания. М.: Худож. лит., 1981.

[1] *«Маменькин сынок»* — комедия, переделанная с французского П. А. Каратыгиным (Спб., 1878), *«Беда от нежного сердца»* (1850) — широко известный водевиль В. А. Соллогуба.

[2] Отчество прадеда, как теперь установлено,— Евстафьевич.

[3] Александра Егоровна Чехова вышла замуж за Василия Григорьевича Кожевникова, с которым уехала из Ольховатки на его родину в село Твердохлебово Богучаровского уезда Воронежской губернии.

[4] С. М. Чеховым установлено, что прадедом Чехова с материнской стороны был Герасим Никитич Морозов (1764—1825), крепостной крестьянин, выкупивший в 1817 г. на волю себя и свою семью. После этого приписался к купечеству.

[5] У Ал. П. Чехова было еще два сына, Антон и Николай, от первой жены А. И. Хрущевой-Сокольниковой.

[6] Картины «Гулянье первого мая в Сокольниках» и «Въезд Мессалины в Рим». В храме Христа Спасителя Н. П. Чехов расписывал стены на хорах.

[7] В 1871—1872 гг. Николай и Антон учились в третьем классе, а Иван — в первом.

[8] В доме Моисеева (ныне — дом на углу ул. Свердлова и Гоголевского пер.) Чеховы жили с 1869 по 1874 г. В 1977 г. в этом доме открылся филиал Литературного музея А. П. Чехова — «Лавка Чехова».

[9] Речь идет о Надежде Константиновне Сигиде (урожденной Малоксиано). Она была подвергнута телесному наказанию (100 розог), после чего покончила с собой.

[10] См. примеч. 2, с. 618. Александр Чехов начал учебу в греческой школе раньше своих младших братьев.

[11] Путешествие в Криничку состоялось летом 1873 г.

[12] Александр Павлович Чехов, будучи гимназистом выпускного класса, в 1874—1875 гг. жил в доме директора таганрогской гимназии Э. Р. Рейтлингера и репетировал его детей.

[13] Чехов в письме к А. Н. Плещееву от 9 февраля 1888 г. относит время болезни не к 1875, а к 1877 г.: «В 1877 году я в дороге однажды заболел перитонитом (воспалением брюшины) и провел страдальческую ночь на постоялом дворе Мойсея Мойсеича».

[14] И. П. Чехов уехал в Москву в июне 1877 г.

[15] Когда семья уехала в Москву, А. П. Чехов перешел в седьмой класс.

[16] Чехов гостил у Кравцовых на хуторе Рагозина Балка в 1877 и 1878 гг.

[17] Речь идет о Селивановой (в замужестве Краузе) Александре Львовне.

[18] М. П. Чехов в воспоминаниях «Антон Чехов на каникулах» («А. П. Чехов в воспоминаниях современников». М.: Гослитиздат, 1960. С. 83) рассказывает историю происхождения этого прозвища: на вопрос учителя, как по-гречески «блаженный», Зембулатов вместо «мáкар» сказал «макáр» — и «этим благодаря Антоше перекрестил себя для всей гимназии и затем для университета и для жизни».

[19] «*Убийство Коверлей*» — мелодрама Барюса и Кризафули, переведенная с французского Н. П. Киреевым.

[20] Водевиль «*Недаром курица пела*» не сохранился. О пьесе «*Безотцовщина*» существуют разные мнения. Судя по мемуарам М. П. Чехова «Безотцовщина» тоже пропала, а в начале московского периода Чехов написал новую драму, названия которой младший брат писателя не помнит (см. с. 195). Последняя пьеса была издана Н. Ф. Бельчиковым («Неизданная пьеса А. П. Чехова». Документы по истории литературы и общественности. М.: Новая Москва, 1923. Вып. 5). В настоящее время принято считать, что это и есть «Безотцовщина»; под этим названием она печатается и в последнем Полном собрании сочинений и писем Чехова в 30-ти томах (М., 1978. Т. 11), хотя в предыдущем Полном собрании сочинений и писем Чехова в 20-ти томах она печаталась как «Пьеса без названия» (М., 1949. Т. 12).

[21] «*Пчела*» — «сборник для народного чтения и употребления при народном обучении» (Спб., 1865).

[22] Письма А. П. Чехова бережно хранились отцом писателя и были кем-то украдены в Мелихове, когда П. Е. Чехова в 1898 г. увезли со смертельным приступом в больницу.

[23] Племянник П. Е. Чехова — Михаил Михайлович Чехов — служил конторщиком у купца И. Е. Гаврилова.

[24] Имеется в виду Казимир Клементьевич Павликовский, преподаватель древних языков во 2-й московской мужской гимназии (полное имя дано в машинописи книги «Вокруг Чехова», ЦГАЛИ).

[25] В 1882—1897 гг. министром народного просвещения был И. Д. Делянов, отличавшийся крайней реакционностью.

[26] В настоящее время возникло сомнение в авторстве Чехова; высказано предположение, что стихотворение принадлежит Н. П. Чехову.

[27] Имеется в виду О. П. Кундасова, в юности работавшая в Московской обсерватории.

[28] Ф. О. Шехтель в здании бывшего Лианозовского театра, где поместился Московский Художественный театр, произвел перестройку и внутренних и внешних помещений.

[29] Ал. П. Чехов учился в университете с 1875 по 1882 г.

[30] Братья Третьяковы.

[31] В журнале «Стрекоза», № 10, 9 марта были напечатаны два произведения Чехова — «Письмо к ученому соседу» (подпись: ...въ) и «Что чаще всего встречается в романах, повестях и т. п.?» (подпись: Антоша).

[32] Картина «Гулянье первого мая в Сокольниках» была воспроизведена Н. П. Чеховым в виде автолитографии и опубликована в журнале «Москва» (1882, № 16). И. С. Зильберштейн, напечатав автолитографию в книге «А. П. Чехов. Несобранные рассказы» (М.: Academia, 1922), полагал, что «юноша с букетом» — А. П. Чехов.

[33] Утверждение принадлежит Ю. И. Лядовой, воспоминания которой написаны в 1928 г. и опубликованы в кн.: «А. П. Чехов. Сборник статей и материалов». Ростов н/Д., 1960. Вып. 2.

[34] В рассказе названы только Мухтар (Ф. И. Гундобин), Иван Иванович (Лядов) и Коля (очевидно, Н. П. Чехов).

[35] Этот ответ дан в «Почтовом ящике» «Стрекозы» 21 декабря 1880 г. (№ 51), после чего Чехов прервал сотрудничество в журнале. Следующий его рассказ, «Раз в год», появился в «Стрекозе» лишь в июне 1883 г.

[36] Рисунок Н. П. Чехова помещен в «Зрителе» (1881, № 22. С. 12—13).

[37] В журнале «Зритель» Чехов печатался с сентября 1881 по март 1883 г.

[38] Это произведение Чехова неизвестно.

[39] Такая газета неизвестна. «Театральная газета» в эти же годы издавалась в Петербурге.

[40] С начала 1950-х годов эта юношеская пьеса Чехова в сокращенных режиссерских вариантах и под разными названиями шла в Лондоне, Праге, Турине, Милане, Риме. Известен спектакль под названием «Безумец Платонов», поставленный французским режиссером Жаном Виларом. В 1957—1960 гг. под названием «Платонов» пьеса шла в Псковском и Московском драматических театрах, в Театре им. Евг. Вахтангова, Казахском русском драматическом театре и др. По мотивам этой драмы режиссер Н. С. Михалков снял фильм «Неоконченная пьеса для механического пианино».

[41] На первом, чистом, листе рукописи есть запись А. П. Чехова — обращение к М. Н. Ермоловой с просьбой познакомиться с пьесой (ЦГАЛИ).

[42] Речь идет о книге П. А. Сергеенко «Как живет и работает гр. Л. Н. Толстой» (М., 1898).

[43] Знакомство А. П. и Н. П. Чеховых с Н. А. Лейкиным произошло в октябре 1882 г.

[44] И. П. Чехов преподавал в мещанском училище Московского купеческого общества с 23 января 1884 г. по 7 апреля 1886 г.

[45] Рисунок «Он выпил» помещен в № 16 журнала «Москва» (1882), а в следующем, № 17, был напечатан рассказ А. П. Чехова «Свидание хотя и состоялось, но...», где есть эпизод, к которому рисунок Н. П. Чехова мог бы служить иллюстрацией.

[46] В «Москве» Чехов напечатал рецензию — «Гамлет» на Пушкинской сцене» (1882, № 3), много рассказов. Повесть «Зеленая коса» опубликована в «Литературных приложениях» к журналу (1882, № 15 и 16).

[47] Однако из писем А. Д. Курепина к Чехову (письмо Чехова к Курепину не сохранилось) можно сделать вывод об известном редакторском произволе. Так, 29 июля 1882 г. Курепин писал Чехову: «Сейчас прочел все, доставленное Вами из «Победы», и убедился, что пора кончать... Будем лучше печатать мелкие рассказики» (ГБЛ). Из следующего письма Курепина видно, что Чехов не согласился с этим мнением, и Курепин должен был разрешить Чехову занять еще три номера. Но и этого оказалось недостаточным для завершения повести, и Чехов, захватив место еще в одном номере, все же был вынужден скомкать конец. Следы произвольных сокращений заметны в тексте повести.

[48] Упомянутый рисунок помещен в журнале «Свет и тени», 1881, № 19, 16 мая.

[49] Публикация «Старого моряка» С. Т. Колриджа с гравюрами Г. Доре осуществлена не «Мирским толком», а журналом «Свет и тени» (1878, № 2—7).

[50] Новоиерусалимский монастырь был основан в XVII в. патриархом Никоном. Известно, что у Никона был чертеж иерусалимского храма, однако постройки в Новом Иерусалиме повторяют лишь внешние типологические черты, являясь по существу оригинальным архитектурным сооружением.

[51] Всероссийская промышленно-художественная выставка проходила в Москве в 1882 г.

[52] В настоящее время установлено, что первая книга Чехова, включающая двенадцать рассказов и талантливо иллюстрированная Н. П. Чеховым, имела первоначальное название «Шалопаи и благодушные», замененное затем на «Шалость» (см. Громов М. П. Книга о Чехове. М.: «Современник», 1989. С. 92—101).

[53] Не совсем точно. А. П. Чехов в письме к А. С. Суворину от 14 февраля 1889 г. замечает «„Новое время" удивительная газета. Маклая иронизировала, а Ашинова поднимала до небес». Чехов имеет в виду печатавшиеся в «Новом времени» в 1888—1889 гг. сообщения об экспедиции Ашинова и критическое отношение к Н. Н. Миклухо-Маклаю.

[54] Фраза эта из рассказа «В суде» (1886), но читается она несколько иначе: «Тут и юстиция, тут и полиция, тут и милиция — совсем институт благородных девиц».

[55] Рассказа «На вскрытии» у Чехова нет. Возможно, речь идет о рассказе 1887 г. «Следователь».

[56] У Гамбурцевой была и третья племянница — Елизавета Константиновна Маркова (в замужестве Сахарова), с которой переписывался А. П. Чехов и которая оставила о нем воспоминания (ЦГАЛИ).

[57] Рассказ «Смерть чиновника» написан в 1883 г., когда Чеховы еще не жили в Бабкине, однако с Киселевыми уже были знакомы.

[58] Не совсем точно. П. И. Чайковский пришел к Чехову 14 октября 1889 г. поблагодарить писателя за желание посвятить ему сборник рассказов «Хмурые люди» (Чехов писал об этом Чайковскому 12 октября 1889 г.). Сразу же после визита Чайковский с посланным отправил Чехову письмо и свою фотографию с надписью: «А. П. Чехову от пламенного почитателя. П. Чайковский. 14 окт. 89». В тот же день Чехов послал композитору книги «В сумерках» (3-е изд., 1889) и «Рассказы» (2-е изд., 1889), а также письмо, где были следующие строки: «Посылаю Вам и фотографию, и книги, и послал бы даже солнце, если бы оно принадлежало мне».

[59] Сборник «Хмурые люди» (Спб., 1890) был пятым по счету сборником. До этого вышли четыре книжки Чехова: «Сказки Мельпомены», «Пестрые рассказы», «Невинные речи», «В сумерках». Помимо этого, был подготовлен сборник «Шалость», не вышедший в свет (см. примеч. на с. 622).

[60] Известно, что Д. В. Григорович обратил внимание на творчество Чехова именно после рассказа «Егерь» и содействовал приглашению молодого автора в газету «Новое время», где в феврале 1886 г. появились чеховские рассказы «Панихида», «Ведьма», «Агафья». После этих-то рассказов, 25 марта 1886 г., и написал Григорович Чехову свое первое письмо.

[61] А. М. Скабический в рецензии на сборник Чехова «Пестрые рассказы» («Северный вестник», № 6, без подписи) сожалел, что Чехов «записался в цех газетных клоунов» и что книга его «представляет собою весьма печальное и трагическое зрелище самоубийства молодого таланта». В рецензии рисовалась мрачная судьба «газетных писателей», которым суждено «в полном забвении умирать где-нибудь под забором».

[62] М. П. Чехов имеет в виду фельетон Маркевича «С берегов Невы», содержащий клеветнические выпады против Тургенева («Московские ведомости», 1879, № 313, 9 декабря); подписан псевдонимом — «Иногородний обыватель»). Ответ «Иногороднему обывателю» Тургенева был напечатан в «Вестнике Европы» (1880, № 6).

[63] Приведенные стихотворные строки принадлежат М. П. Чехову.

[64] М. П. Чехов ошибся: Д. П. Кувшинников умер в 1902 г., С. П. Кувшинникова—в 1907 г., а И. И. Левитан скончался раньше них — в 1900 г.

[65] И. И. Левитан летом 1895 г. жил в усадьбе А. Н. Турчаниновой Горка, на берегу озера Островно, в Тверской губернии. Героинями «сложного» романа оказались хозяйка усадьбы А. Н. Турчанинова, ее старшая дочь Варя и младшая Юлия.

[66] Петрашевцев, в их числе был и А. Н. Плещеев, приговорили к смертной казни, но не через повешение, а к расстрелу. Плещееву казнь была заменена ссылкой в Оренбургскую губернию. Отбывая ссылку (1850—1858) в качестве рядового солдата, Плещеев участвовал в осаде и захвате кокандской крепости Ак-Мечеть.

[67] Журнал «Русская речь» издавался Е. В. Салиас-де-Турнемир (Евгения Тур) в 1861—1862 гг.

[68] За попытку выразить сочувствие сосланному Н. Г. Чернышевскому Суворин был приговорен к тюремному заключению на три месяца.

[69] Эта версия не соответствовала действительности и принадлежала самому А. С. Суворину, который старался сохранить репутацию человека свободомыслящего.

[70] Имеется в виду Федор Алексеевич Кони.

[71] Оригинал карикатуры хранится в Отделе рукописей ГБЛ.

[72] 22 мая 1893 г. Чехов сообщал Л. Я. Гуревич, что «Рассказ неизвестного человека» он «начал писать в 1887—1888 гг., не имея намерения печатать его где-либо, потом бросил; в прошлом году... переделал его, в этом же кончил».

[73] П. И. Кичеев, в рецензии «По театрам Москвы» («Московский листок», 1887, № 325, 22 ноября), назвал пьесу Чехова «глубоко безнравственной, нагло-цинической путаницей понятий», «цинической дребеденью», а автора — «бесшабашным клеветником на идеалы своего времени».

[74] *«Побежденный Рим»* — пьеса Доменико Александра Пароди.

[75] *«Сваха»* (1892) — пьеса Ф. А. Корша, *«Борьба за существование»* (1889) — перевод пьесы французского писателя А. Доде, *«Мадам Сан-Жен»* (1893) — перевод пьесы французских драматургов В. Сарду и Э. Моро.

[76] Письмо А. Н. Плещееву от 26 июня 1889 г. цитируется М. П. Чеховым по памяти.

[77] Эти слова, очевидно, могут быть отнесены лишь к последнему этапу работы Чехова над «Лешим». В действительности процесс работы над пьесой был значительно сложнее и протекал долго.

[78] Имеется в виду Мария Михайловна Глебова, исполнявшая роль Елены Андреевны.

[79] Из Мелихова Чехова в клинику не отвозили. Очевидно, М. П. Чехов имеет в виду приступ болезни, начавшийся в ресторане «Эрмитаж» в 1897 г.

[80] Н. А. Лейкин происходил из купеческой семьи.

[81] *Мадам Анго* — героиня оперетты Шарля Лекока «Дочь мадам Анго» (1840), *мадам Адан* — французская журналистка, присутствовавшая на банкете.

[82] Драма Э. Ростана, написанная в 1895 г. по мотивам средневековой легенды.

[83] М. П. Чехов жил в то время в г. Угличе Ярославской губернии.

[84] Мать А. Н. Островского, Любовь Ивановна, умерла в 1831 г. М. П. Чехов встретился, очевидно, с мачехой драматурга, Эмилией Андреевной.

[85] Поездка Чехова на Сахалин явилась результатом долгих раздумий и творческих исканий. Актриса К. А. Каратыгина, которая в гастрольных поездках «исколесила всю Россию и Сибирь с Кяхтой и Сахалином» (ЛН. С. 578), знала о готовящемся дальнем путешествии Чехова уже в июле 1889 г., когда он встречался с ней в Одессе. Из писем Каратыгиной к Чехову (январь 1890 г., ГБЛ) видно, что Чехов в Одессе расспрашивал ее о Сибири и Сахалине. В одном из писем Каратыгина вспоминает о просьбе Чехова не «проболтаться» в Москве о задуманной поездке.

[86] Бланк, выданный Чехову газетой «Новое время», гласил: «Предъявитель сего Антон Павлович Чехов отправляется корреспондентом «Нового времени» в разные места России и за границу».

[87] Чехов пробыл в Москве ровно месяц: приехал 7 декабря 1890 г., уехал в Петербург 7 января 1891 г.

[88] Дневник П. Е. Чехова хранится в ЦГАЛИ.

[89] Имеется в виду Клара Ивановна Мамуна.

[90] Речь идет о цикле статей М. О. Меньшикова «Думы о счастье», который печатался в «Книжках Недели», 1894, № 3—7.

[91] И. Н. Потапенко уехал в Париж 5 марта 1894 г., а Л. С. Мизинова — 12 марта.

[92] Иван Тимофеевич Толоконников был владельцем кожевенного завода в селе Угрюмово близ Мелихова. Перчаточной фабрикой, расположенной там же, владел его родственник Семен Тимофеевич.

[93] Ночь Чехов провел в Петербурге, бродил по городу, ужинал. Поздно вернулся домой и лишь утром 18 октября выехал из Петербурга. Провожал его И. Н. Потапенко.

[94] Первая посылка с книгами была отправлена Чеховым в Таганрог весной 1890 г.

[95] *Брат* — Н. П. Чехов, умер от туберкулеза в 1889 г. *Родственница* — двоюродная сестра Чехова, Елизавета Михайловна Чехова, умерла от туберкулеза в 1884 г.

[96] Писатель Василий Иванович Немирович-Данченко.

[97] Чехов писал Суворину 13 марта 1898 г.: «... в весе не прибавился ни капли и, по-видимому, уже никогда не прибавлюсь».

[98] Речь идет о продаже Чеховым права на издание своих сочинений А. Ф. Марксу.

[99] М. П. Чехов в это время жил с семьей в Петербурге.

[100] И. П. Чехов, по свидетельству О. Л. Книппер, знал о венчании.

[101] Чехов виделся с младшим братом во время поездки в Петербург (14—15 мая 1903 г.).

[102] Георгий Митрофанович Чехов.

М. П. ЧЕХОВА

Из далекого прошлого

(ФРАГМЕНТЫ)

Печатается по тексту публикации: Чехова М. П. Из далекого прошлого. М.: Гослитиздат, 1954.

Воспоминания создавались Марией Павловной в конце жизни, даны в литературной записи Н. Сысоева.

Примечания М. П. Чеховой даны постранично.

И. П. ЧЕХОВ.

<Из воспоминаний>

Печатается по публикации: Шиповник (альманах), 1914. Кн. 23. С. 149—152 (в записи Л. А. Сулержицкого).

[1] *«Прекрасная Елена»* (1864) — оперетта французского композитора Ж. Оффенбаха; *«Петербургские когти:* Картины петербургской жизни» — пьеса С. Н. Худекова и Г. Н. Жулева; *«Убийство Коверлей»* (см. примеч. на с. 620).

О. Л. КНИППЕР—ЧЕХОВА

О А. П. Чехове

Печатается по публикации: А. П. Чехов в воспоминаниях современников. М.: Худож. лит., 1986. С. 612—632.

[1] *«Трактирщица»* — комедия К. Гольдони.
[2] *«Шейлок»* — пьеса У. Шекспира, *«Ганнеле»* — пьеса Г. Гауптмана.
[3] Из письма к О. Л. Книппер от 27 сентября 1900 г.
[4] *«Антигона»* — трагедия Софокла.
[5] Имеется в виду К. С. Станиславский.
[6] Речь идет о картине И. И. Левитана «Сумерки. Стога».
[7] Слова Нины Заречной в «Чайке» (IV действие).
[8] *«Одинокие»* — пьеса Г. Гауптмана, *«Гедда Габлер»* — пьеса Г. Ибсена.
[9] Слова Тузенбаха в пьесе «Три сестры» (I действие).
[10] *«Снегурочка»* — пьеса А. Н. Островского.

Дневник О. Л. Книппер в форме писем к А. П. Чехову

Публикуется по изданию: Ольга Леонардовна Книппер-Чехова. М.: Искусство, 1972. Ч. 1. С. 379—384.

М. А. ЧЕХОВ

Жизнь и встречи

Публикуется по изданию: Михаил Чехов. Лит. наследие. М.: Искусство, 1986. Т. I. С. 150—265.

Воспоминания написаны для американского «Нового журнала», где были напечатаны в 1944—1945 гг. При подготовке советского издания были исправлены ошибки и неточности.

[1] О том, что Ал. П. Чехов был членом Академии наук, документальных сведений нет.
[2] Имеется в виду водевиль Б. С. Глаголина «На автомобиле», где М. Чехов сыграл роль горничной Палаши.
[3] Поездка Суворинского театра состоялась в мае 1912 г.
[4] Имеется в виду инсценировка романа «Бесы» Ф. М. Достоевского.
[5] Речь идет о пьесе «Гадибука» Ан-ского.
[6] О. К. Чехова в 1920 г. вышла замуж за Фридриха Яроши, бывшего австро-венгерского пленного и уехала с ним в Берлин.
[7] К. С. Станиславский выступал не на панихиде, а на вечере памяти Л. А. Сулержицкого 25 января 1917 г.
[8] М. П. Домашевой в 1927 г., когда состоялся спектакль, было 52 года.
[9] Речь идет об артисте Г. Г. Ге.
[10] *«Артисты»* — пьеса Г. Уоттерса и А. Хопкинса.
[11] М. А. Чехов ошибся — первая встреча Станиславского с Рейнгардтом состоялась в 1923 г.; описываемая встреча произошла в 1928 г.
[12] Сначала труппа в Париже играла в помещении театра «Ателье». Театр «Авеню» на Елисейских полях был снят осенью 1931 г.
[13] Эта гастрольная поездка состоялась в 1922 г.
[14] Имеется в виду Жоржет Бонер.
[15] Речь идет о Л. Д. Леонидове.

С. М. ЧЕХОВ

Три двоюродных брата

Рукопись «Три двоюродных брата» хранится у вдовы автора В. Я. Чеховой.

Предваряя возможность публикации рукописи, С. М. Чехов выражал желание, чтобы ее подготовили к печати «родные или друзья, но отнюдь не посторонние». В настоящем издании публикуется отрывок, выбранный Е. М. Чеховой, сестрой автора.

[1] Здесь и далее цитируется книга М. А. Чехова «Путь актера» (Л.: Academia, 1928).

Е. М. ЧЕХОВА

Воспоминания

Воспоминания Е. М. Чеховой отдельными очерками частично публиковались в журнале «Наука и жизнь» (1973, № 1; 1974, № 2; 1976, № 4; 1978, № 6) и в сборнике «Чеховские чтения в Ялте» (М., 1976). В настоящем сборнике публикуются по изданию: Чехов М. П. Вокруг Чехова: Встречи и впечатления; Чехова Е. М. Воспоминания. М.: Худож. лит., 1981.

[1] Строки из стихотворения Т. Л. Щепкиной-Куперник «Памяти А. П. Чехова».

[2] «Ольга Леонардовна Книппер-Чехова». М.: Искусство, 1972. Ч. 1. С. 381, 383; см. также наст. изд. С. 399, 401.

[3] 31 июля старого стиля — день рождения Марии Павловны.

[4] «Хозяйка чеховского дома. Воспоминания. Письма». Симферополь: Крым, 1965. С. 91.

[5] Там же. С. 91.

[6] Здесь и ниже цитируются устные воспоминания Е. Ф. Яновой в записи Е. М. Чеховой.

[7] «Ольга Леонардовна Книппер-Чехова». Ч. 1. С. 104.

[8] Там же. Ч. 2. С. 226—227.

[9] Цитируемые в данных воспоминаниях письма М. П. Чехова и М. П. Чеховой хранятся в ГБЛ, кроме писем М. П. Чехова семье, которые находятся в ЦГАЛИ.

[10] Это письмо В. С. Дыдзюль М. П. Чехов цитирует в своем письме семье от 5 декабря 1933 г.

[11] Речь идет об Анне Арсеньевне Асеевой, экскурсоводе музея.

[12] «Хозяйка чеховского дома». С. 91.

[13] Ялтинское подполье, созданное до захвата города фашистами, было ими вскоре обезглавлено. Преданные Советской власти люди стали вести самостоятельную борьбу, оказывая сопротивление оккупантам всеми доступными им средствами. Участниками этого движения были директор ялтинской библиотеки имени А. П. Чехова З. А. Чупинцева и юрист Н. С. Анищенков.

[14] Письмо А. П. Чехова к А. И. Смагину от 13 мая 1892 г.

[15] Письма М. П. Чехова к Е. Я. Чеховой находятся в ГБЛ.

[16] Эта опись хранится в мелиховском Музее-заповеднике А. П. Чехова.

[17] Письма К. И. Мамуны хранятся в ЦГАЛИ.

[18] Письмо А. П. Чехова О. Г. Чеховой от 22 февраля 1898 г.

[19] Письмо А. С. Суворину от 18 ноября 1888 г.

[20] См. примеч. 85 на с. 624.

[21] Ледокольно-транспортное судно «Александр Сибиряков» впервые совершило плавание по трассе Северного морского пути из Архангельска во Владивосток.

[22] М. А. Чехов пишет об отце в своей книге «Путь актера». Л.: 1928. С. 17.

[23] Речь идет о первой жене Ал. П. Чехова Анне Ивановне Хрущевой-Сокольниковой и их дочери Евгении.

[24] Вторая жена Ал. П. Чехова — Наталия Александровна Чехова (урожденная Гольден).

[25] Заметка А. Хозрякова об Ал. П. Чехове помещена в журнале «Солнце России» (1913, № 23).

[26] Речь идет о тех племянниках М. П. Чеховой, с которыми она поддерживала отношения. С сыновьями Ал. П. Чехова от первого брака Антоном и Николаем у М. П. Чеховой духовной близости не было.

[27] Имеется в виду Л. А. Сулержицкий.

[28] Водевиль, переведенный с французского Д. А. Мансфельдом (1889).

Семьдесят лет спустя

ОБ ОЛЬГЕ КОНСТАНТИНОВНЕ ЧЕХОВОЙ

Публикуется по тексту: Театр, 1985, № 2. С. 171—180. Статья является последней работой Е. М. Чеховой, увидевшей свет после ее смерти.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН*

---

* Аннотации содержат лишь сведения, необходимые для понимания текста; общеизвестные имена не аннотируются. Курсивом обозначены страницы вступительной статьи и примечаний.

СОДЕРЖАНИЕ

В 66 **Вокруг** Чехова / Сост., вступ. ст. и примеч. Е. М. Сахаровой.—М.: Правда, 1990.—656 с., 8 л. ил.

В книге представлены наиболее интересные воспоминания об А. П. Чехове и его окружении, принадлежащие родным писателя — братьям, сестре, племянникам; а также мемуары о чеховской семье.

В $\frac{4702010000-2164}{080(02)-90}$ 2164—90 **84 Р**

Литературно-художественное издание

ВОКРУГ ЧЕХОВА

Составитель
Сахарова Евгения Михайловна

Редактор Е. М. Кострова
Оформление художника С. Н. Оксмана
Художественный редактор Р. А. Клочков
Технический редактор Т. Б. Слизун

ИБ 2164

Сдано в набор 06.12.89. Подписано к печати 15.08.90. Формат 84×108[1]/32.
Бумага типографская № 2 Гарнитура «Гарамонд». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 35,28. Усл. кр.-отт. 36,54. Уч.-изд. л. 38,16.
Тираж 100 000 экз. Заказ № 85. Цена 2 р. 50 к.

Набор и фотоформы изготовлены в ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типографии имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865 ГСП, Москва, А-137, улица «Правды», 24.

Отпечатано в типографии издательства «Таврида». Крымская область, 333700. г. Симферополь, ул. Генерала Васильева, 44.





П. Е. Чехов. *1880-е гг.*
Вид Таганрога. *70-е гг. XIX в.*





Е. Я. Чехова. *1880-е гг.*
Вид Таганрога. *70-е гг. XIX в.*





И. П. Чехов, М. П. Чехова
М. П. Чехов



А. П. Чехов. *1888 г.*



«Татьянин день» в Москве
Рис. Н. П. Чехова



А. П. Чехов и Н. П. Чехов



В. А. Гиляровский, Н. А. Лейкин
Д. В. Григорович, А. Н. Плещеев



Т. Л. Щепкина-Куперник, Л. Б. Яворская и А. П. Чехов



В. Ф. Комиссаржевская, Л. А. Авилова
А. П. Чехов и Л. С. Мизинова



А. П. Чехов с сотрудниками
журнала «Русская мысль»
А. П. Чехов и Л. Н. Толстой в Гаспре



А. П. Чехов и М. Горький в Ялте



Е. Я. Чехова, М. П. Чехова,
О. Л. Книппер, А. П. Чехов



Ал. П. Чехов, М. П. Чехов.
Е. М. Чехова



М. А. Чехов, С. М. Чехов
О. К. Чехова